2Б
10
П 83
I

ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ

ДБ
10
П83

ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

СБОРНИК СТАТЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА 1939 ЛЕНИНГРАД

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

акад. Б. ГРЕКОВ, С. БУШУЕВ, В. ЛЕБЕДЕВ, А. СИДОРОВ, А. ШЕСТАКОВ и Ем. ЯРОСЛАВСКИЙ

Редактор И. У. Будовниц

Технический редактор И. П. Пошешулин. Корректор Л. Г. Афанасьева

Сдано в набор 23/V 1938 г. Подписано к печати 17/VIII 1938 г. Формат 62×92¹/₁₆. Объем 32¹/₂ п. л. В 1 п. л. л. 49 000 печ. зн. 36,22 уч.-авт. л. Тираж 15 000 экз. Уполн. Главлита Б-55131. АНИ № 1135. РИСО № 819. Заказ № 2251. Цена 10 руб., перепл. 3 руб.

3-я фабрика книги «Красный пролетарий» треста «Полиграфкнига». Москва, Краснопролетарская, 16.

ОТ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК СССР

Коммунистическая партия и советское правительство уделяют огромное внимание развитию советской исторической науки и делу исторического образования в СССР. В специальных постановлениях Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома СССР, в замечаниях товарищей Сталина, Кирова и Жданова на конспекты учебников по истории было указано на крайнее неблагополучие и большое отставание исторического фронта.

В этих важнейших директивных документах вскрыты причины этого отставания и указаны пути его устранения. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 26 января 1936 г. указывалось, что «среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку», присущие так называемой «школе М. Н. Покровского», упразднившей в сущности историческую науку и преподавание истории в школах. В своем постановлении от 14 ноября 1938 г. «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)», ЦК ВКП(б) еще раз специально подчеркнул вредное влияние антимарксистских взглядов М. Н. Покровского на развитие исторической науки в СССР. В этом постановлении сказано: «В исторической науке до последнего времени антимарксистские извращения и вульгаризаторство были связаны с так называемой «школой» Покровского, которая толковала исторические факты извращенно, вопреки историческому материализму освещала их с точки зрения сегодняшнего дня, а не с точки зрения тех условий, в обстановке которых протекали исторические события, и, тем самым, искажала действительную историю».

Прикрываясь антиленинскими взглядами М. Н. Покровского, многие представители этой «школы», ныне разоблаченные троцкистско-бухаринские наймиты фашизма, разваливали исторический фронт, ведя вредительскую и контрреволюционную работу в научных учреждениях, в том числе и в Институте истории Академии Наук.

Первым шагом по преодолению антинаучных и антипартийных взглядов М. Н. Покровского и его школы и искоренению вредительства на историческом фронте является вышедший первый том «Истории гражданской войны в СССР» и одобренный правительственной

Комиссией учебник по истории СССР для начальной школы под редакцией проф. А. В. Шестакова.

Недавно вышедший в свет «Краткий курс истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков)» является крупнейшим событием в идейной жизни нашей страны. Издание этой замечательной книги, являющейся энциклопедией марксизма-ленинизма, имеет исключительное значение для улучшения работы всего теоретического фронта и, прежде всего,—в области истории. «Краткий курс истории ВКП(б)» дает научную историю большевизма, в нем изложен и обобщен гигантский опыт Коммунистической партии. На примере этой замечательной книги советские историки должны учиться величайшей простоте и ясности изложения, соединенной с глубоко научным освещением исторических событий.

Центральный Комитет ВКП(б) и товарищ Сталин призывают всех работников науки, в том числе и советских историков, решительно и быстро покончить с недопустимым отставанием теоретического фронта и бороться за развитие передовой советской науки, смелее ставить и разрешать важнейшие теоретические вопросы и беспощадно бороться с вульгаризацией и опошлением марксистско-ленинской революционной теории.

Перед советскими историками стоит важнейшая задача преодоления вредных взглядов Покровского и ликвидации последствий вредительства на историческом фронте. Это имеет громадное значение для нашего культурного строительства, для воспитания и обучения нового поколения нашей социалистической родины.

Институт истории Академии Наук СССР по заданиям партии и правительства работает над составлением учебников по истории для средней и высшей школы. Институт приступил также к созданию многотомных изданий по истории СССР и всемирной истории. Ряд сотрудников Института работает над отдельными историческими монографиями.

Настоящий сборник содержит статьи, направленные против антиленинских, антиисторических взглядов М. Н. Покровского. Подготовляется к печати вторая часть сборника, в которую войдут статьи, критикующие взгляды М. Н. Покровского на татарское иго, на реформы Петра I, на внешнюю политику царизма, на революцию 1905 года, на Октябрьскую Социалистическую революцию и др.

В сборнике сделана попытка дать решение поставленных вопросов в свете марксистско-ленинской исторической науки. Редакция выражает надежду, что сборник поможет советским историкам преодолеть вредные антиисторические взгляды М. Н. Покровского и его «школы» и послужит толчком для дальнейшего развития передовой марксистско-ленинской исторической науки и подъема исторического образования в нашей стране.

А. ПАНКРАТОВА

РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I

В решении партии и правительства от 26 января 1936 г. была поставлена неотложная политическая задача разоблачения и преодоления антимарксистских, антиленинских, по сути дела ликвидаторских, антинаучных взглядов на историческую науку так называемой «исторической школы Покровского».

«...Задача преодоления этих вредных взглядов является необходимой предпосылкой как для составления учебников по истории, так и для развития марксистско-ленинской исторической науки и подъема исторического образования в СССР, имеющих важнейшее значение для дела нашего государства, нашей партии и для обучения подрастающего поколения»[1],—говорилось в решении СНК СССР и ЦК ВКП(б), подвергнувших суровой критике представленные учебники по истории СССР и постановивших организовать конкурс на составление нового, подлинно марксистского учебника.

Последовавшие события показали, какой высокий *образец большевистской бдительности* и политической проницательности представляло это решение.

Так называемая «школа Покровского» не случайно оказалась *базой* для вредительства со стороны врагов народа, разоблаченных органами НКВД, троцкистско-бухаринских наймитов фашизма, вредителей, шпионов и террористов, ловко маскировавшихся при помощи вредных, антиленинских исторических концепций М. Н. Покровского.

Только непростительной, идиотской беспечностью и потерей бдительности со стороны работников исторического фронта можно объяснить тот факт, что эта оголтелая банда врагов ленинизма долго и безнаказанно проводила вредительскую работу в области истории.

Еще Ленин в отзыве на «Русскую историю в самом сжатом очерке» Покровского, одобрив инициативу создания марксистского учебника по

---

[1] Сборник «К изучению истории». Партиздат, 1937, 21.

истории СССР, в деликатной, но решительной форме подчеркивал, что марксистский учебник по истории должен быть конкретен, должен давать факты. Ленин предложил Покровскому дополнить свой учебник фактическим материалом в виде хотя бы хронологического указателя. Ленин писал: «Учащиеся должны знать **и** Вашу книгу, **и** *указатель,* чтобы не было *верхоглядства,* чтобы **знали факты,** чтобы учились сравнивать старую науку и новую»[1]. В этом указании Ленин требовал от Покровского *перестроить* те исторические установки, которые приводили его к созданию часто оригинальных, но *не-марксистских* исторических работ.

Но ни сам Покровский, ни его «школа» не выполнили ленинских указаний, продолжая насаждать в исторической науке и в преподавании истории социологические, абстрактные схемы вместо *конкретной марксистской истории.* Заменяя конкретную историю социологией, факты—абстрактной схемой, Покровский и его «ученики» по существу пытались ликвидировать историю как науку.

К этому надо добавить и сознательную вредительскую «работу» врагов народа в области исторической науки. Был издан ряд «исторических» книг, в которых под видом «научных» исследований протаскивались право-троцкистские контрреволюционные идейки. Исторические журналы были использованы как трибуна негодяями из шпионско-вредительской банды лжеисториков. Они использовали ликвидаторские взгляды М. Н. Покровского на историю как науку и развернули вредительскую практику, ликвидировав преподавание истории в школах. История в школах была заменена схематической социологией с элементами политграмоты. Ни в начальной, ни в средней, ни в высшей школе не было учебников. Сжатый курс М. Н. Покровского, бывший основным учебным пособием в школах, не был пригоден, как учебник. Программы по истории, часто менявшиеся, противоречивые, дезориентировали учащихся. Подготовка кадров была почти прекращена. Исторические факультеты были «реорганизованы» и упразднены. Органы Наркомпроса, в которые тоже пробралось не мало вражеских элементов, не только не исправляли, а нередко поощряли эту вредительскую практику. Некоторые научные центры исторической науки (Общество историков-марксистов, институты истории в Москве и Ленинграде), а также учебные заведения, в руководстве которых орудовали троцкистско-бухаринские выродки и контрреволюционные двурушники, «теоретически» «обосновывали» эту вредительскую практику. В марте 1930 г. Общество историков-марксистов и научно-исследовательские институты истории постановили ликвидировать «косность до-марксистских исторических рубрик», по выражению М. Н. Покровского, и упразднить деление (а, следовательно, изучение и преподавание) истории на древнюю, среднюю, новую и т. п. Исследование конкретной, фактической, истории было заменено изучением по формациям и по про-

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XXIX, 442.

блемам, но формации изучались не конкретно-исторически, как это делали Маркс и Ленин, а как отвлеченные схемы. История превращалась в голую, схематическую, бесплодную социологию, враждебную марксизму-ленинизму.

Антимарксистские, антиленинские взгляды и концепции Покровского в особенности были использованы врагами социализма для протаскивания, под флагом марксизма, своей *буржуазной идеологии* и контрреволюционных «теорий». На исторических конференциях, кафедрах, семинарах, под флагом теоретических и исторических «дискуссий» лжеисторики из «школы Покровского» нередко протаскивали прямую троцкистскую контрабанду и проводили форменную ревизию основ марксизма-ленинизма.

Товарищ Сталин еще 27 декабря 1929 г. на конференции аграрников-марксистов призывал к особой бдительности на идеологическом фронте и к борьбе с распространением буржуазных теорий, требуя одновременно марксистско-ленинской разработки вопросов теории.

В 1931 г. товарищ Сталин выступил с новым предупреждением к работникам в области теории и в особенности в области истории. В письме в редакцию журнала «Пролетарская революция» «О некоторых вопросах истории большевизма» товарищ Сталин прямо разоблачал факты троцкистской контрабанды на историческом фронте. Историки не сумели сделать всех необходимых выводов и учесть уроки из этих фактов, несмотря на прямые директивы и предупреждение товарища Сталина.

В то же время партия, во главе с товарищем Сталиным, неоднократно требовала решительной борьбы с ликвидаторскими тенденциями в области изучения и преподавания истории. В ряде практических мероприятий и конкретных решений по вопросам школы ЦК и СНК постоянно обращали внимание на необходимость улучшения постановки преподавания истории в школе.

В августе 1932 г. ЦК указал на «*недостаточность* исторического подхода к программам по общественным предметам». ЦК ВКП(б) поручил Наркомпросу создать стабильные учебники по истории. В мае 1934 г. эти учебники были просмотрены и признаны неудовлетворительными. Тогда же были созданы специальные бригады историков, получившие задание подготовить новые учебники по истории. В своем решении от 16 мая 1934 г. ЦК и СНК указывали на основные недостатки как в деле преподавания истории в школах, так и в области ее изучения в научных учреждениях.

Решение Совнаркома и ЦК констатировало:

«Вместо преподавания *гражданской истории* в живой занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности, с характеристикой исторических деятелей—учащимся преподносят абстрактные определения общественно-экономических формаций, подменяя таким образом связное изложение гражданской истории отвлеченными социологическими схемами».

На основе решения ЦК от 16 мая 1934 г. были приняты решительные меры к улучшению исторического образования в СССР. В частности, были восстановлены исторические факультеты. Но все же перестройка исторического фронта двигалась медленно. Подготовленные конспекты, а затем и учебники, несмотря на помощь и указания партии и лично товарищей Сталина, Кирова и Жданова, все же оказались неудовлетворительными.

В решении от 26 января 1936 г. ЦК и СНК не только снова признали исключительное неблагополучие на фронте исторической науки, но и вскрыли *причины и источники* этого неблагополучия. В первую очередь они подчеркнули упорство и сопротивление историков «школы Покровского» в отстаивании своих вредных для дела социализма исторических взглядов.

«То обстоятельство,—указывалось в решении от 26 января 1936 г.,—что авторы указанных учебников продолжают настаивать на неоднократно уже вскрытых партией и явно несостоятельных исторических определениях и установках, имеющих в своей основе известные ошибки Покровского, Совнарком и ЦК не могут не расценивать, как свидетельство того, что среди некоторой части наших историков, особенно историков СССР, укоренились антимарксистские, антиленинские, по сути дела ликвидаторские, антинаучные взгляды на историческую науку [1]».

Партия и правительство призывали к решительной борьбе с этими взглядами и подчеркивали их характер и происхождение: «...Эти вредные тенденции и попытки ликвидации истории как науки связаны в первую очередь с распространением среди некоторых наших историков ошибочных исторических взглядов, свойственных так называемой «исторической школе Покровского» [2].

Характерно, что враги народа, разваливавшие, под прикрытием антиленинских взглядов Покровского, исторический фронт, рекламировали его концепции как подлинно марксистскую историческую науку, противодействуя в то же время малейшей попытке критики и самокритики в рядах историков. В тех же случаях, когда концепция Покровского подвергалась критике, эта критика шла с антиленинских позиций.

Фактически на поводу у этих врагов были те историки, которые проявили политическую слепоту и, вопреки прямым и ясным указаниям и предупреждениям партии, медлили с пересмотром, а по существу также оказывали сопротивление своевременной критике исторических взглядов и концепций Покровского. Даже до последнего времени эта разоблачительная и самокритическая работа в рядах историков развертывалась явно недостаточно, а ликвидация последствий вредительства идет слишком медленным темпом. Задача искоренения остатков буржуазной идеологии в области истории полностью еще не разрешена.

---

[1] Сборник «К изучению истории», 21.
[2] Там же.

Враги народа, использовав вредные антиленинские концепции Покровского, задержали творческие успехи исторической науки в СССР.

Это положение исторического фронта безусловно нетерпимо. Центральный комитет партии и лично товарищ Сталин своими многочисленными указаниями и решениями оказали советским историкам исключительную помощь. Вражеские контрреволюционные гнезда на фронте истории, как и на других участках нашего строительства, ныне разгромлены нашими славными наркомвнудельцами. Атмосфера расчищена. Созданы небывалые условия для небывалого подъема исторической науки в нашей социалистической стране. Благодаря помощи руководителей партии подготовлены марксистские учебники по истории СССР для миллионов наших советских школьников. Ведется работа по подготовке учебников по другим историческим дисциплинам. Под непосредственным руководством товарища Сталина продолжается громадная работа по истории гражданской войны. Преподавание истории в средней и высшей школе значительно улучшилось. Историческая наука получила широкие перспективы для своего дальнейшего развития на базе марксизма-ленинизма.

На приеме в Кремле работников высшей школы 17 мая 1938 г. товарищ Сталин провозгласил тост за процветание передовой советской науки,—«той науки, люди которой, понимая силу и значение установившихся в науке традиций и умело используя их в интересах науки, все же не хотят быть рабами этих традиций, которая имеет смелость, решимость ломать старые традиции, нормы, установки, когда они становятся устарелыми, когда они превращаются в тормоз для движения вперед, и которая умеет создавать новые традиции, новые нормы, новые установки». Товарищ Сталин напомнил пример величайшего корифея науки В. И. Ленина, который на основании научного анализа общественного развития России, на основании научного анализа международного положения, пришел к выводу, что единственным выходом из положения является победа социализма в России.

Великие вожди и учителя пролетариата Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин вырабатывали стратегию и тактику рабочего класса, опираясь на опыт мировой истории. Объективное материалистическое изучение истории человеческого общества придавало величайшую мудрость их политическому руководству революционными массами в борьбе с эксплоататорскими классами. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин глубоко изучали массовые движения всех времен и народов, серьезно интересовались отдельными историческими личностями. Изучая исторический опыт прошлых веков, они умели разглядеть причудливый классовый переплет в настоящем, с гениальной прозорливостью строили перспективы и боролись за осуществление великого будущего—за коммунизм.

Историческая наука всегда была и сейчас остается мощным орудием борьбы пролетариата за коммунизм. Молодые поколения СССР—новые отряды борцов за коммунизм, новые батальоны строителей

социализма в СССР. Они должны быть вооружены глубоким знанием и пониманием истории человеческого общества, для преобразования которого они будут жить и работать. Они должны знать и понимать историю порабощения и освобождения трудящихся, должны знать положение и цели борьбы угнетенных против угнетателей на разных этапах человеческой истории вообще и в разные периоды истории нашей великой родины в особенности. Тогда в свете прошлого еще грандиознее, дороже и ценнее станет завоеванное в великих исторических боях наше славное настоящее. Тогда глубже, осознаннее и решительнее будет наша борьба за победу коммунизма.

Антимарксистские, антиленинские концепции, препятствующие познанию нашей славной истории, должны быть разгромлены до конца. На основе настоящей большевистской критики и самокритики среди историков будет обеспечен небывалый творческий подъем передовой советской исторической науки в СССР.

II

На XVII партийном съезде товарищ Сталин с исключительной четкостью формулировал основные задачи идейно-политической работы партии в целях усиления теоретической вооруженности коммунистов в борьбе с врагами ленинизма:

«1) Поднять теоретический уровень партии на должную высоту;

2) Усилить идеологическую работу во всех звеньях партии;

3) Вести неустанную пропаганду ленинизма в рядах партии;

4) Воспитывать парторганизации и окружающий их беспартийный актив в духе ленинского интернационализма;

5) *Не замазывать, а критиковать смело отклонения некоторых товарищей от марксизма-ленинизма;*

6) *Систематически разоблачать идеологию и остатки идеологии враждебных ленинизму течений*»[1].

Эти указания вождя партии прямым образом относились и к задачам коммунистов на историческом фронте.

На основе этих указаний надо было смело развернуть критику антиленинских взглядов М. Н. Покровского и конкретно разоблачить враждебную концепцию в его исторических трудах.

М. Н. Покровский формировался как историк в борьбе с идеализмом буржуазных и мелкобуржуазных историков. Выступив с критикой дворянской буржуазной историографии, М. Н. Покровский, однако, сам не покончил с теми буржуазно-историческими взглядами, какие он разделял до вступления в ряды большевистской партии. Не владея методом материалистической диалектики, М. Н. Покровский легко поддавался буржуазным влияниям, которые временами даже усиливались в нем и приводили его к отходу от большевизма,

---

[1] И. Сталин. Вопросы ленинизма, 10-е изд., 589 (курсив мой.—*А. П.*).

как это было в годы реакции (1908—1911) или в период заключения брестского мира (начало 1918).

Совершенно несомненно, что остатки буржуазной идеологии, в том числе и антимарксистские взгляды М. Н. Покровского на историческую науку и на конкретное историческое развитие России, оказывали вредное влияние на политическую позицию Покровского в различные периоды его жизни. Точно так же его пребывание в рядах враждебных большевизму политических группировок не могло самым отрицательным образом не сказаться на формировании его исторических взглядов. Вот почему необходимо рассматривать процесс формирования М. Н. Покровского как историка в тесной связи с его политической эволюцией.

Первый этап формирования исторического мировоззрения М. Н. Покровского падает на 1890—1900 гг. В 1891 г. М. Н. Покровский окончил историко-филологический факультет Московского университета, после чего был оставлен для научной работы при университете по кафедре русской истории. Одновременно он начал свою научную и педагогическую работу на Педагогических женских курсах. Будучи учеником самых популярных тогда буржуазных профессоров—В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова, М. Н. Покровский получил от них вкус к изучению социальных проблем и приобрел хорошую техническую выучку для научной работы. В начале 90-х годов М. Н. Покровский был типичным представителем буржуазной интеллигенции с идеалистическим миропониманием, с буржуазно-либеральными политическими идеалами.

В 1893—1894 гг. в Москве сорганизовалось много кружков самообразования и саморазвития. Устраивались и проводились курсы и публичные лекции, оживилась издательская и внешкольно-педагогическая деятельность. В области истории со второй половины 90-х годов стала издаваться под редакцией проф. П. Г. Виноградова «Книга для чтения по истории средних веков». Во всех этих культурнических мероприятиях буржуазной интеллигенции принимал активное участие и молодой историк М. Н. Покровский. В своем идейно-политическом развитии в этот период он шел целиком в ногу с буржуазной интеллигенцией 90-х годов.

В 1893—1894 гг. среди московской передовой молодежи возрос интерес к марксизму, особенно в связи с развернувшейся борьбой марксистов с народниками. Существовали уже и соц.-дем. группы, занимавшиеся изучением марксистской истории. Первые рефераты марксистов (например покойного Григория Мандельштама в московском студенческом кружке в 1891 г.) знакомили молодежь с общественно-историческими и экономическими взглядами Маркса и Энгельса. Развернувшаяся борьба марксистов с народниками способствовала популяризации идей марксизма. Эпигоны народничества—Михайловский, Кареев, В. Воронцов, Н.-он (Н. Ф. Даниельсон) и другие вели в журнале «Русское богатство» и в других органах печати, а также в студенче-

ских кружках и на интеллигентских вечеринках шумную войну с марксистами, обвиняя их в «защите и насаждении капитализма».

Беспощадную борьбу против народников поднял В. И. Ленин. В январе 1894 г. Ленин приехал в Москву и выступил с сокрушительной критикой доклада известного народника Воронцова (В. В.). Речь Ленина против Воронцова произвела на всех громадное впечатление и очень помогла московским марксистам в их борьбе с народниками. Борьба Ленина с народничеством в 90-х годах привела к полному разгрому народничества. В особенности большую роль сыграла в этом идейном разгроме народничества замечательная работа Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», появившаяся в гектографированном виде в 1894 г., за несколько месяцев до опубликования работ Плеханова и Струве против народничества. Ленин возглавил идейную борьбу против народничества, и этой борьбой обеспечил победу и распространение марксизма в России.

М. Н. Покровский в этот период далеко отстоял от этих теоретических боев революционных марксистов с народниками. Работ Ленина этого времени он не знал, с зарождавшимся социал-демократическим движением в Москве связан не был. Многие представители интеллигенции в конце 90-х и в начале 900-х годов подпали под влияние так называемого «легального марксизма», буржуазный характер идеологии которого тогда же разоблачил Ленин.

К этому времени капитализм в Европе вступает в новую—империалистическую—стадию. Развитие капитализма в России, втянутой в мировой рынок, делало быстрые успехи. Вызванные успехами капитализма изменения в общественных отношениях должны были найти отражение и в идеологической области. После разгрома эпигонов народничества среди буржуазной интеллигенции приняла широкие размеры мода на марксизм.

«Это было вообще чрезвычайно оригинальное явление, в самую возможность которого не мог бы даже поверить никто в 80-х или начале 90-х годов,—писал Ленин, характеризуя наблюдавшийся в 90-х годах «медовый месяц» легального марксизма.—В стране самодержавной, с полным порабощением печати, в эпоху отчаянной политической реакции, преследовавшей самомалейшие ростки политического недовольства и протеста,—внезапно пробивает себе дорогу в *подцензурную* литературу теория революционного марксизма, излагаемая эзоповским, но для всех «интересующихся» понятным языком. Правительство привыкло считать опасной только теорию (революционного) народовольчества, не замечая, как водится, ее внутренней эволюции, радуясь *всякой* направленной против нее критике. Пока правительство спохватилось, пока тяжеловесная армия цензоров и жандармов разыскала нового врага и обрушилась на него,—до тех пор прошло немало (на наш русский счет) времени. А в это время выходили одна за другой марксистские книги, открывались марксистские журналы и газеты, марксистами становились повально все, марксистам льстили,

за марксистами ухаживали, издатели восторгались необычайно ходким сбытом марксистских книг»[1].

Это большое общественное движение пытались использовать, подменяя марксизм замаскированными либеральными взглядами на политику, буржуазные «попутчики». Это были буржуазные интеллигенты, которые стали называть себя марксистами. «Легальные марксисты» во главе со Струве, Булгаковым, Туган-Барановским и другими, являлись буржуазной агентурой в рабочем движении, стремящейся приспособить марксизм для апологетики капитализма и для защиты интересов буржуазии. Ленин называл их «проводниками буржуазного влияния на пролетариат».

Русские «легальные марксисты», как и германские бернштейнианцы и другие оппортунисты II Интернационала, открыто ревизовали учение Маркса. В 90-900-х годах в Западной Европе также появился ряд «трудов» (Зомбарта, Бернштейна, Кунова и др.), в которых подвергалась ревизии революционная теория Маркса и Энгельса. Особенно сильно извратили оппортунисты экономическую теорию Маркса и учение о диктатуре пролетариата.

В рядах этих русских и европейских вульгарных интерпретаторов марксизма, извращавших марксизм с целью его приспособления к интересам буржуазии, и появилась та методология «экономического материализма», которая с конца 90-х годов и до конца жизни определила историческое мировоззрение М. Н. Покровского.

Самый термин «экономический материализм» был буржуазного происхождения. Маркс и Энгельс никогда не употребляли его. Ленин, возражая народнику Михайловскому, писал:

«Но где читали Вы у Маркса или Энгельса, чтобы они говорили непременно об экономическом материализме? Характеризуя свое миросозерцание, они называли его просто материализмом. Их основная идея (совершенно определенно выраженная хотя бы в вышеприведенной цитате из Маркса) состояла в том, что общественные отношения делятся на материальные и идеологические. Последние представляют собой лишь надстройку над первыми, складывающимися помимо воли и сознания человека, как (результат) форма деятельности человека, направленной на поддержание его существования»[2].

Официальным манифестом «легальных марксистов» и «теоретическим» обоснованием идеологии «экономического материализма» явилась книга Струве «Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России», вышедшая в 1894 г. Указав, что в книге Струве, под видом критики народничества, защищались интересы буржуазии, Ленин разоблачил эту книгу как «отражение марксизма в буржуазной литературе».

В 1898 г. появилась большая работа Туган-Барановского «Русская фабрика в прошлом и настоящем», которая представляла собой

[1] В. И. Ленин. Что делать? Соч., IV, 373.
[2] В. И. Ленин. Что такое «друзья народа»? Соч., I, 71.

уже конкретную попытку применения теории «экономического материализма» к русской экономической истории.

Подобного рода попыткой была и докторская диссертация Н. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси XVI века», опубликованная в том же году. Рожков был первым из историков, требовавшим пересмотра всего русского исторического процесса в свете «экономического материализма». В журналах 90-х годов появился ряд историко-философских статей Рожкова, формулировавших эту задачу с наибольшей полнотой и последовательностью [1]. Развернувшаяся в 1898—1899 гг. на страницах журнала «Образование» полемика между народником Кареевым и Рожковым, ставшим на позиции «экономического материализма», приобрела характер большого принципиального спора о понимании задач истории как науки и ее отношении к социологии.

Эта дискуссия по вопросам истории являлась отражением более общей идейной борьбы между марксизмом и народничеством. Народническое учение об особом методе в социологии, представителями которого были Лавров и Михайловский, несомненно, оказало большое влияние на идеалистическое направление многих буржуазных и мелкобуржуазных историков конца XIX в. Положение Лаврова, что «личности создают историю», как и теория Михайловского о роли «критически-мыслящей» и «нравственно-развитой» личности, превращали историю, по выражению Ленина, «в ряд назиданий мещанской морали». Этим народнически-мещанским взглядам марксисты, во главе с Лениным, противопоставляли взгляды на историю как на естественно-исторический процесс. Буржуазные эклектики (например Ключевский) сочетали традиционную буржуазно-идеалистическую схему, по которой вся история изображалась как история государства, и популярную мелкобуржуазную схему исключительной роли личности в истории. Это эклектическое сочетание выражено в известной формуле Ключевского: «Итак, человеческая *личность,* людское *общество* и *природа* страны—вот те три основные исторические силы, которые строят людское общежитие» [2].

Господствовавшая в исторической науке 90-х годов школа Виноградова и Ключевского сделала робкий шаг вперед навстречу «экономическому материализму», эклектически выдвигая в своих трудах так называемые «природно-экономические факторы», которые, по их пониманию, играли подчиненную роль в историческом процессе. В первые годы своей научно-исторической и педагогической деятельности М. Н. Покровский как ученик Виноградова и Ключевского следовал сначала их направлению. Как историк он стоял на свойственной большинству буржуазных демократов идеалистической позиции, но проявлял явный интерес к вопросам социально-эко-

[1] См. «Социальный материализм», «Успехи социологии» и другие статьи в журн. «Образование» за 1899 г.

[2] В. Ключевский. Курс Русской истории. Гиз, 1920, ч. 1-я, стр. 11.

номической истории. На позиции «экономического материализма» он стал переходить с конца 90-х годов, подобно многим буржуазным интеллигентам, попавшим под влияние «легальных марксистов». Наряду с Рожковым, Туган-Барановским и другими историками, Покровский также стремился применить методологию «экономического материализма» к области исторической науки. Применение теории «экономического материализма» к истории было, таким образом, с одной стороны, результатом влияния на буржуазную интеллигенцию идейного разгрома марксизмом народнической «субъективной социологии», с другой стороны—результатом попытки буржуазной профессуры фальсифицировать марксизм в интересах буржуазии.

В 1925 г., пытаясь объяснить происхождение и источник своих теорий «экономического материализма», Покровский писал:

«Для того, чтобы обосновать объяснение политических перемен экономическими, для того, чтобы вышибить раз навсегда сладенькую легенду «субъективной социологии», делившей всех исторических деятелей на добрых и злых, на симпатичных и антипатичных,—для того, чтобы проложить дорогу хотя бы элементарно-научному пониманию истории,—нам пришлось собрать громадный экономический, в частности, историко-статистический материал. Мы им гордились, он делал чрезвычайно наглядной и «математически» неопровержимой нашу аргументацию, но... задерживаться долго в воротах не годится...»[1]

В этом объяснении, звучащем как самооправдание, а не самокритика, М. Н. Покровский приписывает себе (т. е. в то время «легальным марксистам») честь разгрома «легенды субъективной социологии», даже не упомянув, что народников разгромили революционные марксисты—Плеханов, Ленин и их сторонники.

Таким образом, «экономический материализм» определил историческое мировоззрение Покровского еще с конца 90-х годов, и пережитки этой идеологии сохранились у него на всю жизнь.

«Кто прошел через легальный марксизм,—объяснял в 1930 г. этот факт сам М. Н. Покровский,—тот обычно долго носил на себе след такой установки, известный пережиток, болезненный пережиток этого недиалектического, хотя и материалистического объяснения истории»[2].

Переход М. Н. Покровского на позиции «экономического материализма» в 90-х годах вовсе еще не означал для него полного разрыва с идеалистическими концепциями в области истории большинства буржуазных историков, которые не поднялись даже и до экономического материализма.

Со второй половины 90-х годов М. Н. Покровский активно участвовал в двух популярных изданиях, предпринятых буржуазной интеллигенцией: в «Книге для чтения по истории средних веков» под редакцией проф. П. Г. Виноградова и в сборнике под редакцией Сторо-

[1] М. Н. Покровский. Речь при открытии Об-ва историков-марксистов, 1925.

[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 268.

жева—«Русская история с древнейших времен до смутного времени» (1898 г.). В «Книге для чтения», составленной кружком преподавателей под редакцией проф. Виноградова, М. Н. Покровский в 1896—1899 гг. поместил восемь статей [1].

Эти ранние статьи М. Н. Покровского, показывая его эрудицию в вопросах средневековой истории, дают типичную буржуазно-идеалистическую схему. В этих статьях почти отсутствует анализ экономической истории средневековья и не показан конкретный ход и характер классовой борьбы. Типично идеалистическим является, например, объяснение причин создания империи Карла Великого:

«Империя была, если так можно выразиться, психологической необходимостью для средневекового человека. Несмотря на все неудачи и перевороты, постигшее это учреждение, *идея* его продолжала жить до тех пор, пока, вместе с возрождением и реформацией, выступили на сцену *новые понятия,* до основания разрушившие средневековое мировоззрение» [2]. Аналогичное идеалистическое объяснение дается и многим другим фактам средневековой истории.

В работах, написанных М. Н. Покровским в конце 90-х годов, заметно усиление его интереса к социально-экономическим проблемам. В статье «Отражение экономического быта в «Русской Правде» (1898) и особенно в статье «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков», помещенной в IV томе «Книги для чтения», хозяйственные отношения выдвигаются им как ведущее начало исторического процесса. В первой статье на основании анализа статей «Русской Правды», имеющих отношение к земледелию, М. Н. Покровский пытался определить степень экономического развития Киевской Руси времен «Русской Правды». В этой работе, носящей печать «экономического материализма», мы находим и зародыши того преувеличенного представления Покровского о роли торговли и, в частности, заграничной торговли в истории России, из которого выросла его пресловутая концепция торгового капитализма.

Анализируя значение появления денег, Покровский приходит к выводу, что в Киевской Руси в этот период происходил «настоящий экономический переворот», означающий разложение натурального хозяйства.

«Влияние заграничной торговли,—пишет Покровский,—выразилось не в одних терминах. Она вызвала целый экономический переворот, следы которого мы также находим в «Правде». Этот переворот заключался в быстром переходе от натурального хозяйства к денежному, следствием чего являются две особенности «Русской Правды», весьма

[1] «Восстановление западной Римской империи» (т. I); «Симеон царь Болгарский», «Средневековые ереси и инквизиция», «Четвертый крестовый поход и латинская империя» (т. II); «Господство Медичи во Флоренции», «Греки в Италии и возрождение платоновской философии», «Турки в Европе и падение Византии», «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» (т. IV).

[2] «Книга для чтения по истории средних веков», I, 424.

необычные для первобытного общества: выдающееся и отчасти даже привилегированное (статья 44) положение в обществе купцов, как владельцев денежного капитала, и ряд узаконений о росте, показывающих, что этот вопрос был в то время очень разработан»[1].

В статье того же периода (1899) «Хозяйственная жизнь Западной Европы в конце средних веков» Покровский «универсализирует» все экономические процессы, считая их не только общими, но и *одинаковыми* для различных стран Западной Европы и для России. Повсюду, утверждает Покровский, хлебная торговля приобретает решающую роль в процессе разложения натурального хозяйства и его замены денежным хозяйством. Уже в этой статье основой общественных перемен М. Н. Покровский берет изменения не в способе *производства*, а в отношениях *обмена*. Покровский приходит к выводу, что уже с XII в. (со времени появления рынков-городов) происходит разложение натурального хозяйства и переход к «средневековому капитализму». Он еще не обосновывает понятия торгового капитализма в его будущем значении, но уже ставит вопрос о том, что «повсюду промышленный капитал был сыном торгового и ростового»[2].

Сочетание методологии «экономического материализма» с философским идеализмом в историческом мировоззрении М. Н. Покровского в 90-х и 900-х годах не было случайным. Он и здесь был близок к «легальным марксистам» (Струве, Булгакову, Бердяеву и др.), которые в вопросах философии являлись идеалистами—неокантианцами.

Ленин первый открыл борьбу против русского неокантианца Струве в известной работе 1895 г. «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве». Легальные марксисты Струве и Булгаков начали ревизию философского учения Маркса. Струве поместил в «Вопросах философии и психологии» статью «О свободе и необходимости», подвергнув идеалистической ревизии исторический материализм. С 900-х годов ревизия философии марксизма проводилась в трудах и выступлениях русских махистов, прежде всего Богданова. В 1899 г. Богданов издал работу «Основные моменты исторического взгляда на природу» и в 1901 г. другую работу—«Познание с исторической точки зрения». Обе эти работы представляли уже отход Богданова от революционного марксизма. В. И. Ленин писал: «В 1899 году, когда он (Богданов.—*А. П.*) был еще наполовину материалистом и только начинал шататься под влиянием очень крупного химика и очень путаного философа—Вильгельма Оствальда...»[3]. В последующие годы Богданов перешел целиком на позицию

[1] М. Н. Покровский. Отражение экономического быта в «Русской Правде». Сборник «Русская история с древнейших времен до смутного времени». Под редакцией Сторожева, 1898, стр. 526.

[2] Там же, 468.

[3] В. И. Ленин. Соч., XIII, 137.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
496191.

махизма, переняв от Маха «основные посылки субъективного идеализма» *(Ленин)*. Философ Авенариус и физик Мах выступили представителями идеалистических взглядов в области теории познания. В то же время в Германии появился ряд философских работ, стремившихся сочетать учение Маркса и Канта. Лидер II Интернационала К. Каутский предоставлял страницы центрального органа германской социал-демократии («Neue Zeit») для ревизионистских статей неокантианцев. Свое примиренчество и пособничество ревизионистам К. Каутский в письме к Плеханову от 22 мая 1898 г. оправдывал тем, что «экономическая и историческая точка зрения Маркса и Энгельса, в крайнем случае, совместима с неокантианством». Ленин, а вслед за ним Плеханов и Роза Люксембург решительно разоблачали русских и заграничных ревизионистов философского учения Маркса. В своей работе «Что делать?», Ленин подчеркивал международное значение борьбы русских революционных марксистов с ревизионистами.

«В настоящее время (теперь это уже явственно видно),—писал Ленин,—английские фабианцы, французские министериалисты, немецкие бернштейнианцы, русские критики,—все это одна семья, все они друг друга хвалят, друг у друга учатся и сообща ополчаются против «догматического» марксизма»[1].

Философско-исторические взгляды Покровского с начала 900-х годов формировались под влиянием той махистской ревизии марксизма, какую представляли собою философские работы Богданова этого периода. Богдановские теории, в отличие от откровенного субъективного идеализма народников, представляли замаскированный субъективный идеализм Маха—Авенариуса и приобрели особенную популярность среди радикальной буржуазной интеллигенции. Приближение буржуазно-демократической революции радикализировало сознание буржуазной интеллигенции. Богданов, принимавший с начала 900-х годов участие в социал-демократическом движении, основал в 1904 г. в Москве типично интеллигентский журнал «Правда». В этом журнале концентрировалась будущая «богдановская школа». В числе активных сотрудников журнала были А. В. Луначарский и М. Н. Покровский. Впоследствии, в день своего 60-летнего юбилея, М. Н. Покровский объяснял свой идеализм 90-х и 900-х годов тем, что он «из отвращения к буржуазному либерализму впадал в исторический идеализм».

«Тогдашний буржуазный либерализм,—пояснял Покровский,—очень заигрывал с материализмом, и Плеханов не даром послал Милюкову поклон в Москву, как одному из наших. То, что буржуазные либералы с этим заигрывали, меня отталкивало. Конечно, это была детская болезнь левизны, не более, и я стыжусь тех статей, где это проглядывало. Эти статьи преимущественно 1893—1894 гг. по написанию»[2].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 366, примечание.
[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 298.

Мы полагаем, что Покровский упрощает как факт формирования своего идеалистического мировоззрения, так и процесс перехода от идеализма к марксизму. Об этом переходе он рассказывает следующее: «Продолжалось это до того, когда я в первый раз выступил перед массой. Этой массой были курсистки. Пришел я к ним и начал свою идеалистическую чепуху разводить о философии Платона, идеализме и т. п. Меня, к сожалению, слушали, но я понял довольно четко, что я говорю не то, что нужно, что я оставляю глубокую неудовлетворенность, и к следующему курсу я стал готовиться деловым образом, т. е. старался сообщать аудитории те исторические факты, которые этой аудитории нужны. И так я неизбежно пришел к историческому материализму. Я пришел к нему практическим путем от фактов. Всякий раз, когда человек серьезно берется за исторический сюжет, он оказывается историческим материалистом» [1].

При этом М. Н. Покровский добавляет, что эта первая «масса» курсисток, которую он встретил, делала его еще не марксистом, а «экономическим материалистом». Она же делала его и демократом.

Мы не можем так упрощать вопросы формирования идеологии, как это делает в отношении даже самого себя М. Н. Покровский. Факты политической биографии Покровского рисуют этот процесс гораздо сложнее. Формируясь идеологически в среде буржуазной интеллигенции, Покровский отражал в себе особенности классового положения и мировоззрения этой общественной группы.

В формировании философско-исторического мировоззрения Покровского наблюдалась закономерность, типичная для той классовой группы, к которой он принадлежал. В нем нашла свое крайне яркое выражение та историко-теоретическая и политическая эволюция, какую проделала до революции 1905 г. и после нее известная часть буржуазной интеллигенции, примкнувшая к рабочему классу и его партии в период первой буржуазно-демократической революции. Многие представители этой интеллигенции оказались просто временными попутчиками пролетарского движения. Ленин писал о них: «К нашей партии в ходе буржуазно-демократической революции примкнул ряд элементов, привлеченных не чисто пролетарской ее программой, а преимущественно ее яркой и энергичной борьбой за демократию и принявших революционно-демократические лозунги пролетарской партии вне их связи со всей борьбой социалистического пролетариата в ее целом» [2].

Часть таких попутчиков большевизма, примкнувших к нему во время революции 1905—1907 гг. и до нее, впоследствии навсегда ушла из рабочего движения (например, Богданов). Другая же часть, к которой принадлежал М. Н. Покровский, после отхода и борьбы против большевизма, вновь вернулась в партию.

Типичным и закономерным для «академической» буржуазной интел-

---

[1] Там же.
[2] В. И. Ленин. Соч., XIV, 97.

лигенции в 90-х годах был идеализм в различных его разновидностях, и М. Н. Покровский прошел этот этап развития до революции 1905 г.

С наибольшей яркостью отразилась идеалистически-махистская (богдановская) позиция М. Н. Покровского в его критике историко-философских теорий Риккерта и Виндельбанда. Риккерт выдвинул типично идеалистическую историко-философскую концепцию, отрицающую закономерность исторического развития.

«Понятие исторического закона есть contradictio in adjecto,—писал Риккерт,—так как история и закономерность суть понятия взаимно исключающие друг друга».

Доказывая, что закон отражает только повторимое и всеобщее, а история имеет дело с фактами неповторимыми и единичными, Риккерт приходил к реакционному отрицанию исторических законов. Законы,—утверждал Риккерт,—как общие понятия, не могут быть приложимы к историческому процессу. Исторический процесс всегда индивидуален. Отрицая историческую закономерность, Риккерт отказывался признать историю как науку. Признавая в истории только эмпирические факты, Риккерт считал возможным производить их отбор и оценку только при помощи критерия *ценности*. Само же обоснование «ценностей» должна дать философия истории как наука о принципах или о ценностях. Реакционные философские взгляды Риккерта получили широкую популярность не только в Западной Европе, но и в России.

М. Н. Покровский сделал попытку критически поставить вопрос о философско-исторических взглядах Риккерта в тот период (1904). Но его критическая статья «Идеализм и «законы истории», помещенная в богдановском журнале «Правда», свидетельствует о том, что Покровский, находясь под влиянием философии Маха и Авенариуса, не преодолел еще собственных идеалистических взглядов на историю. Вот почему Покровский по ряду кардинальных философских вопросов фактически солидаризируется с идеалистом Риккертом.

Как и Риккерт, М. Н. Покровский отвергал марксистскую теорию познания как теорию *отражения объективного мира*. М. Н. Покровский называл марксистов, убежденных в том, что законы природы существуют объективно, т. е. независимо от нашего сознания, «наивными реалистами».

«Наивный реалист» «искал» закона в природе, как ищут золотую руду в земле,—писал по этому вопросу М. Н. Покровский: «Он был твердо убежден, что они, эти законы, существуют объективно, то-есть, независимо от нашего сознания. Нельзя—по крайней мере неосторожно—говорить о закономерности в той области явлений, где ни один закон пока не открыт»[1].

Так же не по-марксистски М. Н. Покровский развивал взгляд

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 21.

будто «объективная действительность» представляет только «хаос первичных ощущений» и что все комбинации этой первичной действительности субъективны. Уже в этой статье М. Н. Покровский становится на путь отрицаний *объективной* истины и, следовательно, объективной науки.

Разобраться в хаосе первичных впечатлений можно только путем систематизации, обобщения и проверки житейских навыков, из чего и складывается наука. Но будет ли это «копией» действительности?—спрашивал Покровский: «Может ли существовать копия хаоса, и к чему она нужна?»

Отрицая объективность действительности и возможность существования объективной науки, М. Н. Покровский оставался в вопросах теории в лагере идеалистов Маха—Авенариуса, Риккерта и Богданова.

Покровский критиковал Риккерта за его понятие «культурно-исторические ценности», потому что они, по мнению Покровского, не упрощают, а усложняют «хаос первичных ощущений». Он выдвигал критерием ценности махистский *критерий целесообразности,* считая, что этот критерий дает возможность «экономизировать энергию сознания» и преодолеть «многообразие хаоса путем его упрощения».

«Преодолеть хаос можно только одним путем: упрощая его,—писал Покровский.—Из миллионов действительных и возможных впечатлений мы берем два-три, которые нам нужны для практических целей ориентировки. Если они выбраны удачно,—дают возможность в краткой формуле охватить то, что составляет для нас сущность явления,—*то, чем оно для нас важно,*—этого достаточно»[1].

Ведя критику Риккерта с позиций Маха, а не Маркса и Энгельса, М. Н. Покровский делал вывод, что «мы имеем право приложить критерий Маха и к истории». Критерий этот—целесообразность. По мнению Покровского, научно то, что быстрее и вернее ведет к поставленной цели.

Из этого идеалистического риккертианско-махистского понимания критерия истины вытекало и антимарксистское требование Покровским *отбора* исторических фактов с точки зрения *целесообразности,* из него же выросло и его пресловутое антинаучное положение, что «история есть политика, опрокинутая в прошлое». Таким образом, этот идеализм, являвшийся базой историко-философских взглядов Покровского, нашел отражение и в его последующих концепциях.

Посвящая статью борьбе против риккертианского отрицания закономерности истории, Покровский сам скатывался к такой же позиции, поскольку он утверждал, что «закон—это даже не план действительности, не ее схема: это—ее мерка, масштаб». Таким образом, марксово понимание закона, отражающего действительность, дающего правиль-

[1] Там же, 23.

ную и глубокую картину действительного мира, в этот период было совершенно чуждо М. Н. Покровскому.

Самоопределяясь в философском отношении как махист и богдановец, М. Н. Покровский и политически был еще связан с буржуазно-либеральными кругами. В 1903—1904 гг. он принимает участие в либерально-буржуазном сборнике, выпущенном руководителями так называемого земского движения. Земцы-конституционалисты, в дополнение к своим адресам, подготовляли сборник «Мелкая земская единица», в котором отстаивали принцип всесословного самоуправления в деревне как мелкой земской единицы. М. Н. Покровский поместил в этом сборнике «освобожденцев» статью «Самоуправление в древней Руси», где давал историческое обоснование этому политическому лозунгу буржуазных земцев-конституционалистов.

В этот период М. Н. Покровский еще целиком стоит на позициях старой буржуазной исторической школы. Но уже к концу 1904 г. под влиянием растущего рабочего движения Покровский сначала выступает с попытками критики буржуазных концепций (рецензия на «Курс» Ключевского, критика Риккерта и т. п.), хотя, как мы видели, явно недостаточными, а затем становится на путь политического разрыва с буржуазно-либеральным движением. Этот процесс и оформляется вступлением М. Н. Покровского в ряды большевиков на высокой волне революционной борьбы пролетариата в 1905 г.

III

Важнейшим этапом в развитии исторического мировоззрения М. Н. Покровского был период революции 1905—1907 гг. и его вступление в ряды большевистской партии.

Общий ход революции 1905—1907 гг. размежевал и привел в действие все классы, показал многообразие форм классовой борьбы, подтвердил историческую роль пролетариата как гегемона революции. Рассматривая борьбу за свержение царизма как этап своей борьбы за социализм, пролетариат с беззаветной решимостью боролся за доведение революции до конца, стремясь к перерастанию революции буржуазно-демократической в революцию социалистическую.

Видя в пролетариате единственного последовательного борца за демократизм, разочаровавшись в своих надеждах на революционность буржуазии, часть мелкобуржуазной интеллигенции присоединилась к пролетариату и его партии. «Рабочее движение,—писал об этом этапе Ленин,—переходит в открытую революционную политическую борьбу и *присоединяет* политически проснувшиеся слои либеральной и радикальной буржуазии и мелкой буржуазии...»[1]

М. Н. Покровский был одним из таких представителей мелкобуржуазной демократии, привлеченной размахом борьбы пролетариата как передового борца за демократизм.

---

[1] Ленинский сборник, V, 451.

«Мои убеждения,—говорил об этом позже М. Н. Покровский, искренние и научные, но *резко демократические*, вовлекли меня в революцию. Я вошел в единственную революционную партию, которая была,—в партию большевиков. Все остальные не были настоящими революционными партиями»[1].

Покровский был одним из тех буржуазных демократов, которые, разочаровавшись в прежних представлениях о революционной роли буржуазии, стали на путь революции и большевизма.

Почти накануне вступления в ряды большевистской партии М. Н. Покровский принял участие в либерально-буржуазном сборнике «Конституционное государство». Организаторами и авторами этого сборника были позднейшие представители либерального народничества и кадетской буржуазии: В. М. Гессен, Авалов, Петрункевич, Водовозов, Кареев, Дживелегов и др.

Задачей сборника было выяснить «основные черты и взаимодействие различных частей *конституционного государства*, причем по условиям настоящего момента нам казалось *излишним останавливаться специально на особенностях республиканского строя*»[2].

К сборнику был приложен проект основного закона Российской империи, составленный группой земцев, ученых и литераторов, основные положения которого повторялись в конце 1904 г. и в первую половину 1905 г. земствами, городскими думами, адвокатами, врачами, инженерами и другими представителями буржуазной конституционно настроенной интеллигенции.

Участие в подобного рода сборнике для М. Н. Покровского было не просто научно-литературным, но определенно *политическим выступлением* совместно с буржуазно-либеральными «освобожденцами». В помещенной в сборнике статье «Земский собор и парламент» М. Н. Покровский ставил своей задачей опровергнуть утверждения части земцев и других представителей либеральной буржуазии, будто созыв земского собора для России лучше создания европейского типа буржуазного парламента. В своей статье М. Н. Покровский доказывал, что земские соборы—такой же безнадежный мертвец, как европейские средневековые государственные чины, и подчеркивал тщетность надежд на то, что «земский собор избавит нас от конституции на европейский лад».

Защищая преимущества парламента, сравнительно с земскими соборами, М. Н. Покровский вступил в полемику и с Ключевским, который считал земские соборы древней Руси «прямым родоначальником бесчисленных бюрократических комиссий новой России».

Обострение разногласий с буржуазией по вопросу о демократи-

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 299.
[2] Сборник «Конституционное государство». Под редакцией Авалова, Водовозова и др., изд. 1905 г.

зации России убеждало Покровского, как и многих сторонников буржуазной демократии, что единственной силой, способной развернуть борьбу за наиболее передовые формы государственного преобразования, была большевистская партия. Увлеченный размахом и последовательностью ее борьбы за демократизм, но не понимая роли этой борьбы на пути пролетариата к социализму, Покровский вступил в ряды большевиков.

В годы революции М. Н. Покровский активно работал в лекторской группе МК большевиков, вступил в непосредственное соприкосновение с революционными массами, активно сотрудничал в большевистских органах печати.

В большевистской газете «Борьба», созданной литературно-лекторской группой МК большевиков после манифеста 17 октября 1905 г. и редактированной М. Н. Покровским, Н. А. Рожковым и И. И. Степановым, помещались написанные с тонким и острым юмором статьи и фельетоны М. Н. Покровского против либеральной буржуазии.

В период этой борьбы М. Н. Покровский в изящной литературной форме написал ряд статей и фельетонов против кадетов и мелкобуржуазного мещанства, испугавшегося революции [1].

В статье «Марксисты, которые...» М. Н. Покровский остроумно высмеивал лидера «легальных марксистов», затем «освобожденцев» П. Б. Струве, которого было бы странно упрекать за «измену, когда всему виною были наши политические потемки и близорукость публики», не разглядевшей, что «марксизм г. Струве не столько пролетарский, сколько буржуазный» [2].

Работая преимущественно как большевистский лектор и журналист, М. Н. Покровский принимал активное участие во всех политических кампаниях, проводимых большевиками и особенно связанных с бойкотом I Гос. Думы и с выборами во II Гос. Думу. Он писал статьи, разъяснявшие лозунги и тактику большевиков и «их друзей справа», помещая их в большевистской газете «Вопросы дня», а после ее закрытия—в новой газете московских большевиков «Истина».

В одной из таких статей—«Кадеты и соглашения»—М. Н. Покровский дал яркую характеристику трех политических избирательных платформ: большевиков, меньшевиков и кадетов, закончив статью ироническим призывом: «Перед нами три лозунга: «Учредительное собрание, или вся власть народу!», «Полновластная дума, или четверть власти народу, три четверти власти—крупной буржуазии!» и третий, простой и понятный лозунг: «Портфели кадетам—вся власть буржуазии, никакой власти народу!» Граждане, выбирайте!».

Зимой 1906/07 г. М. Н. Покровский был избран членом Московского комитета партии. Под руководством партии он разоблачал кадетов при выборах во II Гос. Думу. В 1907 г. М. Н. Покровский был деле-

---

[1] Сборник «Текущий момент», изд. 1906 г.

[2] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, 797.

гирован на Лондонский съезд партии, а по возвращении в Россию перешел на нелегальное положение «профессионального революционера».

Но даже находясь в рядах большевистской партии, М. Н. Покровский не стал еще революционным марксистом-диалектиком: этот вывод находит свое подтверждение и в вышедшей в 1906 г. брошюре Покровского «Экономический материализм». Находясь в рядах большевистской партии, М. Н. Покровский обязан был, конечно, пересмотреть свою старую методологию и полностью отказаться от теоретических положений «легальных марксистов», от теории «экономического материализма». Но сделать это достаточно основательно на деле он оказался не в состоянии.

Уже самое название брошюры «Экономический материализм» не является случайным. Оно показывает, что М. Н. Покровский в этой работе не понял и не дал настоящей марксистской философии. Для него не было разницы между экономическим и диалектическим материализмом. М. Н. Покровский употреблял, как равнозначущие, три термина: экономический, исторический и диалектический материализм. Но чаще всего у него попрежнему оставался термин *«экономический материализм»,* который отождествлялся Покровским с историческим материализмом.

На ряду с интересными и верными отдельными критическими замечаниями Покровского по адресу вульгарных «экономических материалистов» и не менее вульгарных историков-идеалистов, действующих по правилу, «с одной стороны, нужно признаться, а с другой стороны, нужно сознаться», сам он еще *не порвал полностью ни с «экономическим материализмом», ни с философским идеализмом.*

При этом он подчеркивал, что «экономический материализм сам по себе нисколько не противоречит тому, что *непосредственно* миром правят идеи»[1]. М. Н. Покровский делает вывод, что «идейное творчество, *работа сознания*—не что иное, как колоссальный аппарат приспособления в борьбе за жизнь».

Вопрос о роли экономического фактора в истории брошюра ставила механистически: «Отражение экономики эпохи и ее идеологии, условий производства в понятиях людей,—пишет он,—это лишь *статика* марксизма. Его *динамика* выражается в теории классовой борьбы, как движущего начала истории». Эта антимарксистская формулировка вытекала из позитивистского предположения, что изменения в экономике *сопровождаются* изменениями в сознании, но не *определяют* их.

Единственной серьезной поправкой, внесенной Покровским в прежнее понимание «экономического материализма», явилось требование классовой борьбы в качестве важнейшего фактора исторического процесса.

---

[1] М. Н. Покровский. Экономический материализм. Изд. «Молодой рабочий», 1923, стр. 16.

«Марксизм,—писал М. Н. Покровский,—не только объясняет историю экономическими причинами, но и представляет себе эти экономические причины в определенной форме *классовой борьбы*».

Но одно признание классовой борьбы не означало еще марксизма. Марксист лишь тот, кто поднимается до признания диктатуры пролетариата в результате и ходе классовой борьбы. О диктатуре пролетариата в брошюре Покровского не было ни малейшего упоминания, хотя уже в то время большевики, во главе с Лениным и Сталиным, обосновали учение о диктатуре пролетариата и борьбе за социализм. Вульгарный «Экономический материализм», таким образом, попрежнему оставался методологией Покровского.

Конкретно-исторические работы М. Н. Покровского этого периода целиком отражают эту его методологию.

В статье «Земский собор и парламент», несмотря на полемику с Ключевским, сам Покровский остается во многом еще на позициях школы Ключевского. В историческую концепцию о роли государства как решающей силы исторического процесса он, следуя за Ключевским, вводит понятие «общества», рисуя «дуализм власти—царя и земли». Даже не упоминая о классовом происхождении государства и о социальной структуре власти, Покровский солидаризируется с Ключевским, делая такое обобщение: «В этой слабости средневековой власти и лежит разгадка таких учреждений, как наш земский собор или государственные чины старой Франции. И то и другое возникло самопроизвольно, не из политической борьбы,—в этом опять прав проф. Ключевский,—*а из нужды*» [1].

М. Н. Покровский еще настолько во власти старых буржуазных схем и концепций, что в 1905 г., в разгар борьбы с самодержавием, делает в своей статье вывод... о внеклассовом происхождении государства и об отсутствии *классового насилия со стороны феодального государства*.

«Борьба есть там, где есть насилие,—писал он.—Для насилия над обществом средневековая власть была слишком слаба. Она могла только насильничать над отдельными людьми, которых общество почему-либо не поддерживало» [2].

Подводя итог этому этапу развития исторического мировоззрения М. Н. Покровского, неразрывно связанного с его политической эволюцией, нужно отметить один несомненно положительный итог: М. Н. Покровский уже понял недостаточность чисто экономической интерпретации истории и из опыта революционной борьбы классов в 1905 г. сделал вывод о решающей роли *классовой борьбы* в истории.

Революция и партия большевиков, программу и тактику которой в революции 1905—1907 гг. Покровский изучал, должны были заставить

---

[1] Сборник «Конституционное государство», 455.
[2] Там же.

М. Н. Покровского сделать шаг *к марксизму*. Это был серьезный и положительный, но явно недостаточный шаг. Пересмотр старых позиций был только начат, но не закончен. Годы реакции снова повернули М. Н. Покровского вспять.

IV

После поражения пролетариата в 1905—1907 гг. наступил период упадка революции, период столыпинской реакции, период отступления. Победивший царизм вынужден был, однако, ускоренно разрушать остатки добуржуазных отношений. Ликвидируя общину, он делал ставку на кулака. Царизм делал еще один шаг в сторону буржуазной монархии. Тем не менее задачи буржуазно-демократической революции не снимались. Пролетариат попрежнему оставался гегемоном революции.

Реакция внесла в ряды социал-демократии серьезный идейный разброд и раскол, вызванный отходом от революции мелкобуржуазных попутчиков, разочарованных в исходе революции 1905 г. Ленин писал об этом разброде в «Детской болезни «левизны» в коммунизме»:

«Годы реакции (1907—1910). Царизм победил. Все революционные и оппозиционные партии разбиты. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики. Усиление тяги к философскому идеализму; мистицизм, как облачение контрреволюционных настроений. Но в то же время именно великое поражение дает революционным партиям и революционному классу настоящий и полезнейший урок, урок исторической диалектики, урок понимания, уменья и искусства вести политическую борьбу. Друзья познаются в несчастии. Разбитые армии хорошо учатся»[1].

Этого «урока революционной диалектики» не усвоили ликвидаторы справа и «слева»: первые—считая буржуазно-демократическую революцию законченной, вторые—вовсе невозможной. Ни те, ни другие не поняли классового содержания государственного переворота 3 июня 1907 г., не поняли исторического смысла столыпинской «конституции» и столыпинской аграрной политики, означавших новый шаг по пути превращения России в буржуазную монархию, но еще не полное ее превращение. Самодержавие попрежнему оставалось главным врагом пролетариата и всей демократии. Борьба за неурезанные лозунги—за демократическую республику, за 8-часовой рабочий день, за конфискацию помещичьих земель—оставалась *ближайшей* задачей пролетариата и его партии. Сочетание думской и внедумской работы было еще более необходимым для партии, готовившей массы к новой демократической революции.

Между тем часть мелкобуржуазных попутчиков пролетариата, разочарованных в революции 1905 г., переживала, по выражению Покров-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXV, 176.

ского, принадлежавшего к этой части интеллигенции, «антидемократическую реакцию».

«Отзовисты» (и в их числе Покровский) считали, что буржуазная революция позади, а впереди—революция «чисто пролетарская»[1]. Прикрываясь подобными «левыми», по сути троцкистскими, фразами, «отзовисты» были «ликвидаторами наизнанку», так как отказывались бороться за победу буржуазно-демократической революции и за ее перерастание в социалистическую. Они по-троцкистски перепрыгивали через этап незавершенной буржуазно-демократической революции, блокируясь в своей борьбе против большевиков и Ленина с прямыми агентами буржуазии в рабочей среде—троцкистами и ликвидаторами-меньшевиками. Отход Покровского от большевизма после поражения революции привел его на «отзовистско»-троцкистские позиции и на путь прямой борьбы с партией.

В 1924 г. в своем «Ответе тов. Рубинштейну», написавшему статью об историческом мировоззрении М. Н. Покровского, он пытался задним числом оправдать свои прошлые идейные и политические ошибки и «объяснить» их. В этой «автохарактеристике» Покровский объяснял свой отход от революции незначительными мелкими причинами (в частности, условиями эмиграции и знакомством с «демократией Европы», принесшим разочарование в возможности демократии в России). Но эти «самооправдания» свидетельствовали только о том, что даже в 1924 г. Покровский не понял задач пролетариата в буржуазно-демократической революции и большевистской стратегии и тактики.

Период 1905—1917 гг. в своем идейном развитии Покровский характеризовал так:

«Классовая борьба, благодаря 1905 г., из теории стала жизненным фактом,—без нее уже нельзя понять исторического процесса. В то же время экономическая интерпретация истории стала вне спора (см. Введение к 1-й части «Очерка истории русской культуры»). Но что гораздо важнее, под влиянием отчасти того же 1905 г., отчасти пребывания, благодаря эмиграции, в «первой демократии Европы», которую был недосуг рассмотреть в ее домашнем быту, *рушатся окончательно демократические иллюзии*. Ясная, опять таки не только теоретически понятая, а почувствованная, *кургузость* политических идеалов мещанства, приводит даже к *антидемократической реакции*. В параллель модному среди широких кругов партийной интеллигенции лозунгу: «Буржуазная революция кончена!»—вырастает лозунг: «Буржуазная революция невозможна! Мир вышел из периода революций,—*грядущая революция может быть только социалистической!*» Выкидышная русская демократия 1917 года и разгон нами учредилки как будто показали, что я не был совсем неправ»[2].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 192.

[2] М. Н. Покровский. Ответ тов. Рубинштейну. «Под знаменем марксизма», 1924, № 10—11.

Эти рассуждения Покровского, чисто троцкистские в своей основе, показывали прежде всего, как *неправ* был Покровский не только в период столыпинской реакции 1908—1911 гг., выдвигая свой лозунг «Буржуазная революция невозможна,—грядущая революция может быть только социалистической!», но и в 1924 г., когда он якобы на опыте 1917 г. пытался реабилитировать этот свой троцкистский лозунг.

На самом деле Покровский ни в период своих «антидемократических» колебаний, ни в 1924 г. не понял ленинского учения о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую, по-троцкистски перепрыгивая через этап буржуазно-демократической революции.

Таким образом, вывод Ленина о непонимании «исторической диалектики» всеми «отзовистами» и «впередовцами» в полной мере относился и к одному из них—М. Н. Покровскому.

Этот вывод подтверждается анализом политических, философских и исторических взглядов М. Н. Покровского в период 1907—1917 гг.

Не случайно, что именно в этот период М. Н. Покровский испытал на себе такое сильное влияние философско-исторической и политической концепции А. А. Богданова, виднейшего представителя русского махизма.

Влияние махистской философии Богданова на Покровского было довольно глубоким уже до революции 1905 г. После революции это влияние еще более усилилось, потому что оно не ограничивалось одной теоретической областью.

С 1907 по 1911 г. М. Н. Покровский был связан с Богдановым политическим единством взглядов и борьбы. М. Н. Покровский («Домов») был активным бойкотистом и «отзовистом» и затем участником антиленинской фракционной группы «Вперед». Идейным руководителем и организатором этих фракционных групп был Богданов, развернувший философско-теоретическую и политическую борьбу с Лениным.

Богданов на протяжении ряда лет проводил ревизию марксизма по самым основным вопросам. В 1904 г. в сборнике «Очерки реалистического мышления» он подверг ревизии философское учение Маркса. В 1908 г. Богданов в «Очерках по философии марксизма» выступил с открытой ревизией философии Маркса и с обоснованием буржуазно-идеалистической философии эмпириокритицизма или эмпириомонизма. Исходя из махистской идеи *тождества* общественного бытия и общественного сознания, Богданов отрицал существование вещей, находящихся *вне нашего сознания*.

Богданов отрицал *объективность* истины, признавая истинным только то, что социально значимо для данной эпохи. Отрицание объективной истины у Богданова вытекало из его идеалистического понимания «опыта».

У Богданова внешний мир исчезает. Все содержание нашего опыта сводится к совокупности ощущений.

В противоположность диалектике Маркса—Энгельса Богданов выдвигал теорию «равновесия», согласно которой все существующее представляет собой сменяющие друг друга состояния подвижного равновесия как результат столкновения различно направленных сил.

Эта вульгарно-эволюционная, чисто натуралистическая «теория равновесия» была орудием борьбы с ленинской диалектикой, противопоставляя ей механистическую причинность явлений.

«Теория равновесия» не случайно являлась орудием в руках злейших врагов ленинизма: сначала «отзовистов», потом «левых» коммунистов во главе с прямым фашистом Бухариным, который в 1918 г. «левыми» фразами прикрывал свой чудовищный замысел—вместе с обер-фашистом Троцким и «левыми» эсерами убить вождей революции—Ленина, Сталина и Свердлова, разорвать Брестский мир, предать социалистическую революцию в СССР. В годы строительства социализма «теорией равновесия» бухаринские мерзавцы прикрывали свои гнусные планы реставрации капитализма. Эта глубоко враждебная ленинизму богдановская методология являлась основой теоретических и исторических ошибок М. Н. Покровского.

Отрицание М. Н. Покровским *объективности* исторической науки, несомненно, вытекало из принятия им богдановского отрицания объективной истины. Механистичность в понимании исторического развития и антиисторизм Покровского имели своим источником антимарксистскую идеалистическую теорию познания Богданова.

Большое влияние на М. Н. Покровского оказала и общественно-историческая схема Богданова. В основе как философской, так и социологической теории Богданова лежало по существу идеалистическое понимание общества.

В своей известной работе «Из психологии общества» Богданов дал такую типичную для махиста формулу: «В своей борьбе за существование люди не могут объединяться иначе, как при помощи *сознания:* без сознания нет общения. Поэтому социальная жизнь во всех своих проявлениях есть сознательно-психическая... Общественное бытие и общественное сознание, в точном смысле этих слов, тождественны»[1].

Этот *субъективизм махистского толка свободно уживался у Богданова с «экономическим материализмом»*, базировавшимся на механистическом, а не диалектическом понимании роли техники и экономики в истории.

Пытаясь установить, вопреки Марксу, *прямую зависимость* развития общества от *развития техники,* Богданов в экономике, в способе производства видел лишь «пограничную область технического и идеологического процесса».

Разделение общества на классы он ставил в зависимость не от владения средствами производства, а от владения «организационным

---

[1] А. Богданов. Из психологии общества, 51.

опытом». Подчеркивая «организаторские» функции господствующих классов, Богданов считал эксплоататорскую роль этих классов чем-то вторичным и несущественным.

Механистически подходя к анализу исторического процесса, Богданов искал в нем тот «всеобщий закон», ту «отмычку», нахождение которой для русского исторического процесса впоследствии считал своей заслугой и М. Н. Покровский.

Ленин развернул беспощадную борьбу против махизма, облегчавшего проникновение буржуазного влияния на пролетариат. Ленин разоблачал тонких фальсификаторов марксизма, призывая к особой революционной бдительности в области теории, с целью разоблачения этих фальсификаций. Ленин указывал, что все эти тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм характеризовали современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии, и в социологии. Вот почему Ленин выступал с такой страстностью и непримиримостью против махистов вообще и против Богданова в особенности.

В переписке с М. Горьким Ленин неустанно разоблачал махизм. По поводу вышедшей в 1908 г. книги Богданова, Базарова и др. «Очерки философии марксизма» Ленин писал Горькому:

«Я бы не поднял шуму, если бы не убедился безусловно (и в этом убеждаюсь с каждым днем больше по мере ознакомления с первоисточниками мудрости Базарова, Богданова и К-о), что книга их — нелепая, вредная, филистерская, поповская *вся,* от начала до конца, от ветвей до корня, до Маха и Авенариуса»[1].

Во второй половине 1908 г. Ленин написал против русских махистов гениальную философскую работу «Материализм и эмпириокритицизм».

Эта книга сыграла решающую роль в борьбе за революционное мировоззрение и явилась новой ступенью в развитии диалектического материализма как мировоззрения рабочего класса, положив начало ленинского этапа в философии.

Попав в «болото реакционной философии» Богданова, М. Н. Покровский поддерживал его и в политических атаках на большевизм. В марте 1908 г., при обсуждении итогов пятимесячной деятельности социал-демократической фракции III Гос. Думы, в московской организации возникла фракция «отзовистов», требовавшая отозвать из Гос. Думы социал-демократическую фракцию. В связи с вопросом об отношении к думской фракции завязалась дискуссия, в ходе которой возникло «ультиматистское» течение. К нему и примкнул вместе с Богдановым, Луначарским, Лядовым и другими М. Н. Покровский, работавший тогда в Москве.

Осенью 1908 г. при выборах делегатов на декабрьскую общепартийную конференцию возникла острая фракционная борьба, причем

---

[1] Ленинский сборник, I, 105—106.

избранные на конференцию «отзовисты» и «ультиматисты» объединились в особую группу во главе с Богдановым.

Весной 1909 г. после Всероссийской конференции (декабрь 1908 г.), осудившей взгляды «отзовистов» и «ультиматистов», группа «отзовистов», «ультиматистов» и «богостроителей», во главе с Богдановым и Луначарским, организовала пропагандистско-агитаторскую школу для рабочих на о. Капри.

Как подчеркивал В. И. Ленин в своем письме к ученикам Каприйской школы, это было глубоко *фракционное* предприятие, хотя и прикрытое именем «партийной» школы.

«Школа на Капри есть школа, *нарочно спрятанная от партии*»,— писал Ленин в этом письме и в доказательство приводил враждебный марксизму и большевизму состав лекторов-махистов. «Во всякой школе самое важное—идейно-политическое направление лекций,—писал Ленин.—Чем определяется это направление? Всецело и исключительно *составом лекторов*»[1].

К числу лекторов-фракционеров принадлежал тогда и Покровский. Вместе с Богдановым и Луначарским он резко воспротивился против перенесения школы в Париж, на чем категорически настаивал Ленин.

Каприйская школа превратилась в орудие фракционной борьбы «отзовистов» с партией. Из России приехало в школу 15 рабочих, и, кроме того, было привлечено 12 эмигрантов, пожелавших после учебы вернуться на нелегальную работу в Россию. Историю России читал М. Н. Покровский. Он прочел семь лекций по русской истории, которые потом легли в основу его «Очерка истории русской культуры».

Но чтение лекций в школе на о. Капри было только предлогом для политической обработки рабочих в желательном для фракционеров направлении. На совещании расширенной редакции «Пролетария» дезорганизаторская работа группы Богданова была разоблачена. Совещание вынесло резолюцию, что большевики никакой ответственности за эту школу нести не могут. Тогда 28 декабря 1909 г. группа за подписью Богданова и Марата подала в ЦК заявление об образовании группы единомышленников Богданова, получившей название «Вперед». Группа опубликовала платформу с изложением своих взглядов: «Современное положение и задачи партии». В группу вошел и подписал платформу и М. Н. Покровский. После закрытия школы на о. Капри он переехал в Париж, где снова, вместе с другими «впередовцами», выступал против Ленина.

В январе 1910 г. «впередовцы», в блоке с меньшевиками—«голосовцами»—и с троцкистами, уже тогда снискавшими себе название агентов буржуазии в рабочем движении, объединились против Ленина.

В целях борьбы с большевиками и с Лениным «впередовцы» стали выпускать сборники «Вперед». В них активно участвовал и М. Н. Покровский. В июльской книжке за 1910 г. он поместил статью: «Фин-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 118 и 121.

ляндский вопрос» в связи с упразднением царизмом финляндской конституции. В этой же июльской книжке была помещена передовая, написанная лидером фракции Богдановым, в которой проводилась троцкистская оценка положения пролетариата в революции: все классы либо враждебны, либо чужды пролетариату; крестьяне и ремесленники, которым дорога их мелкая собственность, не допустят мол социалистической победы пролетариата. «Одинокий среди чуждых классов, он найдет могучую поддержку в международном братстве пролетариев всех стран»[1].

Эта безнадежная оценка перспектив революции, почти дословно повторяющая контрреволюционную троцкистскую «перманентку», вытекала из всего ликвидаторски-пораженческого существа «впередовцев», вступивших в прямую связь с Иудой-Троцким для борьбы с Лениным.

Разоблачая протаскивание «впередовцами» буржуазной идеологии под вывеской «пролетарской культуры», «пролетарской философии», и т. п., Ленин оценивал первый «впередовский» сборник как «разрыв с марксизмом и подчинение пролетариата буржуазной идеологии и политике»[2]. Вместе с тем Ленин разоблачил те клеветнические приемы и прямые инсинуации, к каким прибегали «впередовцы» в борьбе с большевиками.

Кроме сборника «Вперед», для борьбы с большевиками «впередовцы» решили повторить опыт Каприйской школы, но январский пленум ЦК в 1910 г. не утвердил организации сепаратной школы «впередовцев» и предложил им организовать общепартийную школу. С этой целью ЦК создал школьную комиссию, в которую от «впередовцев» были введены Алексинский и Покровский. Но они дезорганизаторски вышли из школьной комиссии ЦК и в ноябре 1910 г. открыли новую фракционную школу в Италии, в Болонье. Покровский был одним из руководителей этой школы и читал там курс истории России от Петра до XX в. Чтобы противопоставить этой фракционной школе настоящую партийную школу, Ленин сорганизовал недалеко от Парижа, в деревне Лонжюмо, большевистскую школу.

Ленин придавал партийной школе большое значение. Он сам разрабатывал ее программу и подбирал выдержанных марксистов-большевиков в качестве лекторов.

Глубокое принципиальное различие в характере и работе этих двух школ очень правильно подчеркнул тов. Л. М. Каганович в своей речи на собрании, посвященном десятилетию Института красной профессуры.

«Теоретическая подготовка наших кадров всегда была насыщена актуальным политическим содержанием,—говорил тов. Каганович.—Возьмем пример старой большевистской школы, организованной

---

[1] Максимов (Богданов). Пролетариат в борьбе за социализм. «Вперед», 1910, июль.

[2] В. И. Ленин. Соч., XIV, 346.

Лениным в Лонжюмо, и сравним опыт этой школы с другой школой, организованной на о. Капри Богдановым—отзовистом. Две школы—две программы, два разных подхода к подготовке кадров. Если в школе на о. Капри у Богданова особо видное место занимали: история общественных мировоззрений, история искусств, история русской литературы, церковь и государство в России, то в школе Ленина в программе были: аграрный вопрос, теория и практика социализма, рабочее законодательство...

При сравнении этих программ мы ясно видим, что большевики, Ленин умели ставить и ставили основные вопросы революции в неразрывной связи теории и практики»[1].

В группе «Вперед» М. Н. Покровский оставался до весны 1911 г.

Разногласия с Богдановым у него начались по вопросу о пролетарской культуре как средстве борьбы за социализм. Будучи ученым, воспитанным на итогах европейской и русской буржуазной культуры, он не мог (и не должен был) отказаться от использования буржуазного культурного наследства.

10 ноября 1910 г. Покровский писал в письме к Богданову:

«Если в платформе были неосторожные выражения, в роде «пролетарской науки» и «элементы социализма в настоящем», то теперь появляется статья, специально посвященная этому, где повторяются те же неудачные выражения в очень распространенном виде и с убийственной ясностью»[2].

В мае 1911 г. вышел третий сборник «Вперед» с сообщением М. Н. Покровского, что он не принимает больше участия в изданиях «Вперед». Но весной 1911 г. в издательстве «Вперед» еще вышла его работа «Крестьянская реформа».

Таким образом, идейный разрыв М. Н. Покровского и отход его от «впередовцев» окончательно произошел только весной 1911 г.

После разрыва с группой «Вперед» М. Н. Покровский, тем не менее не вернулся в большевистскую партию. Оставаясь формально вне партии, Покровский поддерживал, однако, наибольший контакт с «внефракционным» врагом партии и рабочего класса Троцким, объединившим под флагом «нефракционности» всех врагов ленинизма. Злобный интриган, Иуда и предатель, Троцкий организовал литературную группу, которая стала издавать сначала в Львове, потом в Вене меньшевистско-троцкистскую газету «Правда».

«...Троцкий повел себя, как подлейший карьерист и фракционер *типа* Рязанова и К⁰,—писал с негодованием Ленин по поводу гнуснейшего двурушнического поведения Троцкого в редакции венской «Правды».—Либо равенство в редакции, *подчинение* Ц. К. и неперевоз в Париж никого кроме Троцкого (он хочет «устроить» на наш счет,

---

[1] Л. М. Каганович. За большевистское изучение истории партии. Партиздат, 1932, стр. 4.

[2] «Вперед», 1911, № 3.

негодяй, *в с ю* теплую компанийку *Правды!)*—либо разрыв с этим проходимцем и разоблачение его в Ц. О. Болтает о партии, а ведет себя хуже всех прочих фракционеров»[1].

В литературных мероприятиях этого подлого фракционера участвовал в 1912—1914 гг. Покровский. В 1912 г. он издал, совместно с Троцким, сборник «Триста лет позора нашего», для которого написал статью «Триста лет Романовых и лже-Романовых». В 1914 г. (с февраля по июнь) Покровский принимал довольно регулярное участие в журнале Троцкого «Борьба», в котором печатал свои статьи «Из истории общественных классов в России». Во время войны Покровский сотрудничал с Троцким в газете «Наше слово» и активно работал в издательстве «Парус».

В годы империалистической войны Покровский занимал пораженческую позицию, однако ему было чуждо ленинское понимание характера империалистической войны. Его статьи в оборонческом органе «Голос минувшего», в «Летописи», в «Просвещении» разоблачали захватнические стремления царизма, но правильно объяснить происхождение мировой войны, показать агрессивную роль германского империализма, как одного из главнейших поджигателей империалистической войны не сумел. Покровский не усвоил ленинской теории империализма и ленинского учения о возможности победы социализма в одной стране. Большевистские лозунги «превращение войны империалистической в войну гражданскую» и «поражение своего правительства» в работах Покровского периода войны не нашли поэтому никакого отражения. Более того, когда Ленин послал Покровскому для издания свою гениальную работу «Империализм, как высшая стадия капитализма», Покровский удалил из нее всю резкую ленинскую критику Каутского и русских меньшевиков[2].

Таким образом, в период 1907—1917 гг. М. Н. Покровский оставался на позициях, чуждых и враждебных ленинизму. Но именно в этот период М. Н. Покровский написал свои основные труды по русской истории, в том числе «Русскую историю с древнейших времен». Естественно, что на них не могла не отразиться самым отрицательным образом антиленинская политическая позиция их автора.

V

После победы Великой Октябрьской социалистической революции М. Н. Покровский стал *советским* ученым, одним из организаторов советского просвещения и советской науки, одним из руководителей исторической науки в СССР.

---

[1] Ленинский сборник, XXV, 38.

[2] Письмо Ленина М. Н. Покровскому (Соч., XXIX, 268—269) и статья об этом Покровского «Как рождался Империализм» (сборник «О Ленине», изд. «Правда», 1927).

Объясняя глубокое воздействие на него Великой пролетарской революции, М. Н. Покровский писал в своей упомянутой выше «автохарактеристике». «Тут моя личная история ничем не отличается от судьбы всех *живых* историков, которые все переменили вехи в том или другом направлении (пример: Виппер—в одном направлении, Пресняков, Тарле—в другом, и кто угодно еще). На прежних позициях после 1917 года остались только безнадежные академические засушины»[1].

В Россию М. Н. Покровский вернулся в августе 1917 г. Он принял активное участие в борьбе за власть Советов, вступив в ряды московских большевиков. Он работал в качестве члена редакции «Известия Московского совета рабочих депутатов», а в октябрьские дни—в редакции московского органа большевиков «Социал-демократ». После победы Октябрьской социалистической революции он был избран председателем Московского совета рабочих депутатов, а с весны 1918 г. и до конца жизни был заместителем народного комиссара по просвещению, принимая активное участие в реорганизации всего дела просвещения в Советском государстве, и в особенности в реформе средней и высшей школы. Но в овладении теорией марксизма-ленинизма и выработке ленинской исторической концепции у М. Н. Покровского не было такого решительного перелома, какого требовала от него новая политическая обстановка в стране. М. Н. Покровскому надо было решительно покончить с остатками враждебных ленинизму идейно-политических взглядов. Он слабо работал «пылесосом» и недостаточно «проветривал» все уголки своего мировоззрения.

Формированию марксистско-ленинских исторических взглядов Покровского мешали прежде всего те враждебные большевизму идейно-политические взгляды, которых он придерживался до 1917 г. и груз которых он нес на себе и после Октября.

В прямой связи с его прошлой борьбой против Ленина в период «впередовства», несомненно, находилось и его пребывание в 1918 г. в рядах бухаринско-троцкистской фракции озверелых врагов пролетарской диктатуры, прикрывших свою ненависть к партии и советской власти маской «левых коммунистов». Ленин называл их «взбесившимися мелкими буржуа», пришедшими в панику от трудностей и опасностей борьбы за победу социалистической революции.

Материалы следствия и процесса по делу антисоветского «право-троцкистского блока», объединившего в своих рядах все подпольные антисоветские группы троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, меньшевиков, эсеров, буржуазных националистов, раскрыли всю цепь чудовищных преступлений, которые совершили «левые коммунисты» во главе с Бухариным, Троцким и др.

В 1918 г., непосредственно вслед за Октябрьской революцией, в период заключения Брестского мира, Бухарин и его группа «левых

---

[1] «Под знаменем марксизма», 1924, № 10—11, стр. 211.

коммунистов», совместно с Троцким и «левыми» эсерами, организовали заговор против В. И. Ленина как главы советского правительства. Преступные заговорщики замышляли свергнуть советское правительство, арестовать и убить вождей революции—Ленина, Сталина, Свердлова, сформировать новое правительство из бухаринцев, троцкистов, «левых» эсеров, которое должно было восстановить только что свергнутый буржуазный строй. Эти планы страшных преступлений потерпели полный крах как в 1918 г., так и позже только потому, что вокруг партии Ленина—Сталина стояла многомиллионная стена крепко с партией связанного и сплоченного советского народа, с беззаветной решимостью боровшегося за социализм под гениальным руководством своих вождей Ленина и Сталина.

В борьбе за мир и передышку в 1918 г. Ленин и Сталин исходили из необходимости укрепить советскую власть в России как базу мировой социалистической революции. «Левые коммунисты» занимали пораженческую позицию по отношению к Советской республике. Они объявляли подписание мира «изменой социализму» и провокационно призывали к революционной войне, зная, что Советская Россия воевать не в состоянии. Свои пораженческие планы они прикрывали предательскими рассуждениями, что ради победы мировой революции можно пойти на гибель советской власти. Ленин тогда писал, что «левые» попались в ловушку буржуазии российской, которой *надо* было втянуть нас в войну, *наиболее* для нас невыгодную»[1].

В основе пораженческих взглядов «левых коммунистов» лежала троцкистская контрреволюционная «теория» о невозможности построения социализма в одной стране. Верные последователи этой меньшевистской пораженческой «теории», они использовали все средства борьбы с партией. Именно поэтому они шли на заговоры для восстановления власти буржуазии и реставрации капитализма.

Покровский разделял взгляды «левых коммунистов». В Москве он постоянно выступал против заключения мира. Будучи председателем Совнаркома Московской области, он противопоставлял его «политику» Совнаркому РСФСР, во главе которого стоял В. И. Ленин.

Даже в 1924 г. в докладе, выпущенном брошюрой «Семь лет пролетарской диктатуры», М. Н. Покровский был полон троцкистских отрыжек периода «левых коммунистов». Он объявлял «пацифистскими иллюзиями» борьбу большевиков за мир и даже задним числом, оправдывал борьбу предателей—«левых коммунистов» (и, следовательно, свою собственную) против заключения мира. «Мы думали,—говорил Покровский, понимая под этим «мы» большевиков,—что сможем по-мирному, по-хорошему столковаться с буржуазией вне России, попросту говоря, с империализмом. Мы всерьез принимали тот мир, который мы предлагали империалистическим странам и который они

[1] В. И. Ленин. Соч., XXII, 309.

иногда в довольно для нас неприятной форме, как это было с Германией в феврале 1918 г., «принимали»[1].

«Из войны нам вырваться не удалось, и из империалистической войны мы попали в гражданскую»,—делал вывод Покровский в заключение своих ренегатских рассуждений о якобы «пацифистских иллюзиях» большевиков в период Бреста.

Таким образом, не только в период своего пребывания в троцкистско-бухаринской провокаторской группе «левых коммунистов», но и семь лет спустя, когда история доказала величайшую мудрость и прозорливость политики Ленина и Сталина, в 1918 г., Покровский осмеливался брать на себя историческую реабилитацию «левых коммунистов» в период Бреста.

Позже, в своих лекциях по внешней политике в XX в., Покровский сам убедительно показал, как изменник Троцкий и «левые коммунисты» упустили все (в начале благоприятные) возможности заключить мир и, вопреки категорической директиве Ленина и Сталина, провели троцкистскую капитулянтскую формулу—«войны не ведем, мира не подписываем». Эта троцкистско-бухаринская пораженческо-провокаторская политика в дни Бреста проводилась и участником делегации в Бресте Покровским, боровшимся против якобы «пацифистских иллюзий» большевиков.

М. Н. Покровский после заключения Брестского мира порвал с «левыми коммунистами» и стал на сторону Ленина. Но отрыжки «левого коммунизма» долго еще сказывались в его практической работе и теоретических взглядах, в его оценке различных политических событий и исторических этапов.

Несомненной отрыжкой троцкистских взглядов было его понимание и оценка политики «военного коммунизма» в годы гражданской войны. Необходимость защиты Советской республики от российской и международной контрреволюции заставила партию и советское правительство перейти к политике «военного коммунизма». Она состояла в том, что пролетариат, в целях защиты социалистического государства от иностранной интервенции и русской контрреволюции, в целях экономного и бережливого использования необходимых воюющей стране всех запасов продовольствия, сырья и фабрикатов, сконцентрировал все производство и распределение в руках пролетарского государства. Эта политика, *вынужденная* военной обстановкой, была необходима в условиях гражданской войны и помогла Советскому государству победить врагов, но она не рассматривалась Лениным и большевиками как *нормальная* политика перехода к социализму.

М. Н. Покровский по-троцкистски считал возможным военными методами строить социализм и даже требовал их практически приме-

---

[1] М. Н. Покровский. Семь лет пролетарской диктатуры. М., 1924, стр. 5.

нять в наиболее для этого неподходящей области—в области просвещения.

«В чем сущность новой системы?»—спрашивал Покровский в уже упомянутой брошюре «Семь лет пролетарской диктатуры» и давал объяснение, ничего общего не имеющее с ленинизмом: «В уверенности, что применение красноармейских приемов приказа сверху годится везде—и в народном просвещении и в народном хозяйстве».

Очень характерен чисто троцкистский по замыслу проект Покровского в начале 1920 г. о милитаризации высшей школы. Покровский обратился с письмом к съезду коммунистического студенчества, предложив ему обсудить его тезисы по вопросу милитаризации высшей школы: «Условия момента,—писал в своих «тезисах» М. Н. Покровский,—требуют участия высшей школы в создании основ социалистического хозяйства. Условием разрешения этой задачи является *милитаризация* высшей школы»[1].

Говоря о методах и организации работы такой милитаризированной высшей школы, Покровский писал в своих «тезисах»: «Мы должны стараться действовать с максимальной быстротой и энергией, при минимальном отклонении в сторону от основных задач. Мы должны поэтому отложить до лучших дней все *не абсолютно необходимое*, как то: реформу преподавания общественных и гуманитарных наук и т. п.».

Практически милитаризация школы, по проекту М. Н. Покровского, должна была заключаться в том, что над высшей школой устанавливался контроль военного типа, коллегиальное управление заменялось политическими комиссарами из военных работников—коммунистов фронта, студенты объявлялись военнообязанными, получали красноармейский паек, в распорядок их жизни и работы вводилась военная дисциплина и трудовая повинность.

Из этой затеи, конечно, ничего не вышло, но она очень характерна для политических взглядов Покровского в годы гражданской войны, на которых еще сильно сказывался его «левый коммунизм».

Будучи заместителем народного комиссара просвещения, Покровский широко применял «красноармейские методы приказа сверху» для перестройки всего дела народного просвещения.

В быстрой и решительной ликвидации средней и высшей школы и, особенно, преподавания в них истории и других общественных наук Покровский видел средство, ускоряющее победу «коммунистического сознания». Не случайно в этот период так быстро и легко распространилась богдановская теория «пролетарской культуры», под покровительством бывших последователей Богданова—А. В. Луначарского и М. Н. Покровского, возглавлявших Наркомпрос.

Распространение «богдановщины» было не только в том, что

---

[1] М. Н. Покровский. Задачи высшей школы в настоящий момент. «Народное просвещение», 1920, № 18—20.

Богданов и его «Пролеткульт» получили возможность широко пропагандировать свои антимарксистские, как мы видели, махистские идеи «пролетарской философии» и «пролетарской культуры», а в том, что «пролеткультовская» политика стала почти официальной политикой Наркомпроса. Учебники Богданова по политической экономии были признаны официальными. «Организационная наука» («Тектология») Богданова изучалась в высших учебных заведениях и научных обществах.

Огромное культурное наследство дореволюционного времени не только не оценивалось как итог творческой мощи русского народа, а в большинстве случаев рассматривалось как «продукт буржуазной культуры», подлежащей изгнанию.

Эти извращения были, таким образом, довольно непосредственно увязаны с «революцией сознания», которой Наркомпрос и лично М. Н. Покровский добивались в целях «ускорения темпов коммунизма».

Ленин еще в период борьбы с махизмом указывал, что под «псевдонимом» пролетарской философии, науки, литературы, искусства имелся в виду махизм, разновидность философского идеализма, утонченная защита буржуазной идеологии. Ленин постоянно подчеркивал, что именно *борьбу с марксизмом* прикрывают все фразы о пролетарской культуре.

Таким образом, богдановская философия, оказавшая такое вредное влияние на историческую методологию Покровского до революции, продолжала оказывать на него свое влияние и после победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Не случайно в один из критических моментов развития русской революции, когда под руководством Ленина и Сталина Советское государство добивалось передышки и заключения мира с Германией, Покровский примкнул к подлой фракции так называемых «левых коммунистов», этих взбесившихся мелких буржуа, на деле являвшихся агентурой антанты и злостными врагами Советского государства.

После гражданской войны М. Н. Покровский уже без колебаний становится на путь защиты генеральной линии партии и хочет помочь партии в ее борьбе за победу социализма в нашей стране. В частности, в период 1923—1927 гг. Покровский участвовал в борьбе партии с троцкизмом, выступив против исторической схемы Троцкого.

Заклятый враг советского народа и трудящихся всего мира, Троцкий, в этот период уже нес свою шпионскую службу империалистам, продавшись в 1921 г. германской, а позже и английской разведке. Внутри Советской страны и внутри партии он усилил разлагающую подпольную работу, вербуя сторонников и складывая подпольную троцкистскую организацию. В порядке рекогносцировки этот матерый враг и предатель начал атаки на идейные позиции ленинизма. Партия, во главе с товарищем Сталиным, дала немедленный и решительный отпор этим наскокам троцкизма.

С величайшей прозорливостью товарищ Сталин показал корни

и сущность троцкизма как идеологии, во всем враждебной пролетариату и социализму. Лекции товарища Сталина в апреле 1924 г. «Об основах ленинизма», беспощадно разгромившие все оппортунистические теории, проникшие в рабочее движение, с особенной остротой и конкретностью показали, что троцкизм во всем (в том числе и в истории) чужд и враждебен ленинизму.

Подлая измена революции и родине со стороны гнуснейшего предателя Троцкого еще не была никому известна. Но уже в этот период товарищ Сталин мобилизовал бдительность партии и советского народа в отношении предателя Троцкого, против его попытки подменить ленинизм троцкизмом, т. е. повернуть Советскую страну на буржуазный путь.

В этой ответственнейшей и напряженной идейной борьбе партии с контрреволюционным троцкизмом попытался принять участие и Покровский, посвятивший разбору исторической концепции Троцкого несколько статей. Но существа контрреволюционного троцкизма и буржуазных истоков его мировоззрения Покровский ни тогда, ни после не понял. Он громил Троцкого за непонимание революционной роли крестьянства, за игнорирование организационных принципов большевизма, но *буржуазных* корней троцкистской теории, направленной против построения социализма в нашей стране, Покровский, несмотря на ясные указания Ленина и Сталина, не понял и не показал. Это произошло потому, что Покровский не усвоил марксистско-ленинской теории, что его собственная историческая схема и методология были антимарксистские.

Будучи до революции идейно и политически связан с богдановско-троцкистскими группами, боровшимися с Лениным и большевизмом, Покровский не мог не усвоить полутроцкистской исторической концепции.

Правда, в отличие от презреннейшего фашистского шпиона и убийцы Троцкого и от троцкистского холопа, фашистского заговорщика Бухарина, распространявшего клевету о русском народе, как народе лентяев—Обломовых, которым нужен кнут помещика и капиталиста, в отличие от других предателей и бандитов из бухаринско-троцкистской группы «левых коммунистов», М. Н. Покровский, уйдя от них в 1918 г., остался верен делу социалистической революции. В последние годы своей жизни он стал частично на путь самокритики своих прошлых ошибок и своих исторических взглядов.

В своих последних статьях—«Ленин и Маркс, как историки», «Ленинизм и русская история», «Ленин и история»—Покровский ставил вопрос о необходимости изучать взгляды Маркса и Ленина на историю. Однако объективный политический вред его антимарксистской исторической схемы и антибольшевистской методологии становился все очевиднее. *Именно на ее основе, используя ее антимарксистскую сущность,* могли развертывать свою предательскую борьбу

против социализма и вредительскую работу на историческом фронте многие из учеников так называемой «школы Покровского».

Именно поэтому нельзя оставить «достоянием истории» чуждую ленинизму теоретическую систему исторических взглядов М. Н. Покровского. Именно поэтому необходимо не только вскрыть их классовый характер и политический смысл, но и противопоставить им подлинные взгляды марксизма-ленинизма на историческую науку.

VI

В первые годы советской власти рост марксистских кадров в области истории шел недостаточно быстрыми темпами.

Научно-исследовательские учреждения, университетские кафедры, средняя школа почти целиком обслуживались старыми буржуазными историками, антимарксистами, непримиримыми противниками пролетарской диктатуры. Занятые борьбой с буржуазной контрреволюцией на фронтах гражданской войны, большевики в этот период не могли уделять вопросам истории (как и другим наукам) большое и непосредственное внимание.

Вот почему, пока не закончилась гражданская война и не подросли молодые марксистские кадры, буржуазная историография не только господствовала, но и нередко переходила в наступление на марксизм.

Если проанализировать тематику и содержание исторических исследований, написанных буржуазными историками в СССР после 1917 г., то можно без труда вскрыть определенную *политическую* программу разбитой революцией буржуазии, сводящуюся к открытому *историческому обоснованию необходимости буржуазной реставрации.*

Такие крупные буржуазные историки, как Виппер, Платонов, Кизеветтер и другие, не только открыто защищали свои идеалистические взгляды на историю, но и откровенно выступали против Октябрьской социалистической революции.

После окончания гражданской войны, с переходом к нэпу в 1921—1922 гг., буржуазная историография, вслед за «сменовеховцем» Устряловым стремится обосновать историческую неизбежность экономического перерождения Советского государства. Возрождается и становится популярным струвизм. Популяризируются теории «вотчинного капитализма». Идеализируются традиции буржуазной собственности и крепкие корни кулачества как опоры капитализма. В наиболее открытой форме «обосновывает» в своих исторических работах ставку на кулацкую контрреволюцию кадетский историк, белоэмигрант Милюков («Распад России» и др.).

Задача борьбы с буржуазной методологией и с буржуазной исто-

риографией становится особенно актуальной *политической* задачей. Ее и ставит перед собой в качестве основной задачи своей деятельности на том этапе, М. Н. Покровский.

В 1923 г. он выпустил отдельной книжкой свои лекции, направленные против буржуазной историографии, под названием «Борьба классов и русская историческая литература».

Развертывая критику и «расшифровывая» классовый характер различных исторических школ, начиная с Карамзина, Чичерина, Щапова, Соловьева, Ключевского и кончая Плехановым и Рожковым, М. Н. Покровский имеет в виду выполнение актуальной политической задачи—разоблачение классовой направленности современных ему буржуазных историков. Но политически необходимую на том этапе борьбу с буржуазно-исторической концепцией М. Н. Покровский ведет, сам не будучи во всеоружии марксистско-ленинской методологии.

Ставя своей задачей безусловно полезную и необходимую критику *идеалистической основы* буржуазно-исторических школ, М. Н. Покровский критикует их не с позиций диалектического материализма, а с таких же по сути дела идеалистических позиций, представлявших у М. Н. Покровского несомненный пережиток его махистских увлечений.

Прежде всего М. Н. Покровский не по-марксистски подходит к самому понятию *идеологии.* Отказываясь использовать факты, приводимые буржуазными историками, М. Н. Покровский приводил такую аргументацию: «Это, говорят, факты, такие факты были... А между тем, дорогие товарищи, это вовсе не факты. Это *идеология,* т. е. отражение фактов—я не знаю как сказать—в вогнутом или выпуклом зеркале с чрезвычайно неправильной поверхностью»[1].

Далее М. Н. Покровский дает свое понимание идеологии. «Что такое идеология?—спрашивает Покровский и отвечает: Это есть отражение действительности в умах людей сквозь призму их интересов, главным образом, интересов классовых. Вот что такое идеология. И в этом смысле всякое историческое произведение есть, прежде всего, образчик известной идеологии»[2].

М. Н. Покровский приходит к выводу, что историческая наука не может быть *объективной* наукой именно потому, что она относится к области идеологии.

«Все идеологии,—аргументирует эту свою позицию М. Н. Покровский,—составляются из *кусочков* действительности. Совершенно фантастической идеологии не бывает, и, между тем, всякая идеология есть *кривое зеркало,* которое дает вовсе *не подлинное изображение действительности,* а нечто такое, что даже с изображением в кривом зеркале сравнить нельзя, ибо в кривом зеркале вы все-таки свое

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 10.
[2] Там же.

лицо узнаете по некоторым признакам: есть борода—нет бороды, есть усы—нет усов. Здесь же идеологически настолько может быть замаскирована действительность, что брюнет окажется блондином, бородатый человек окажется бритым, совершенно, как херувим и т. д.» [1].

Такое понимание идеологии совершенно неверно. Оно проистекает из полного непонимания или отрицания ленинской теории отражения.

«Материализм вообще,—указывал Ленин,—признает объективно реальное бытие (материю) независимое от сознания, от ощущения, от опыта и т. д. человечества. Материализм исторический признает общественное бытие независимым от общественного сознания человечества» [2].

Борясь против махистских извращений Богданова, не понимавшего основного водораздела между материализмом и идеализмом в общественно-исторических науках, Ленин особенно резко возражал против искажения или извращения *теории отражения* Маркса: «Общественное сознание,—писал Ленин,—*отражает* общественное бытие—вот в чем состоит учение Маркса» [3].

К оценке идеологии Ленин подходил, исходя из марксовой теории отражения: «С точки зрения современного материализма, т.-е. марксизма,—писал Ленин,—исторически условны *пределы* приближения наших знаний к объективной, абсолютной истине, но *безусловно* существование этой истины, безусловно то, что мы приближаемся к ней... Исторически условна всякая идеология, но безусловно то, что всякой научной идеологии (в отличие, например, от религиозной) соответствует объективная истина, абсолютная природа» [4].

Таким образом, Ленин признавал *объективную истину и научную идеологию, отражающую объективную действительность.*

М. Н. Покровский, наоборот, подходил к пониманию идеологии по-богдановски, считая, что всякая идеология есть отражение действительности в *кривом зеркале*, ставя, таким образом, *научную* идеологию пролетариата и реакционную идеологию буржуазии на одну доску.

Богданов считал, что объективной науки не существует. Научных истин столько, сколько классов. М. Н. Покровский делал такой же вывод в отношении объективности истории. По его мнению, каждый историк делает *произвольный отбор фактов,* субъективно истолковывает их, подходя к ним со своей классовой точки зрения, исключающей объективность.

Объективная история—выдумка буржуазии, утверждал Покровский. «Буржуазная демократия в своей системе одурачивания масс выраба-

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 10.
[2] В. И. Ленин. Соч., XIII, 266—267.
[3] Там же, 264.
[4] Там же, 111.

тала эту формулу «объективной истории», каковая формула, к сожалению, до сих пор еще затуманивает взоры наших товарищей»[1].

Неправильно понимая соотношение объективного и субъективного, Покровский не сумел по-марксистски подойти и к вопросу о классовом характере истории.

Стремясь разоблачить, «расшифровать», как он выражался, классовую тенденцию буржуазных историков, Покровский не только отрицал неспособность буржуазии подняться до высоты объективной науки, но отрицал эту возможность и для пролетариата.

Он не понимал, что пролетариат—единственный класс, страстно заинтересованный в установлении объективной научной истины, ибо классовая борьба пролетариата за социализм *совпадает* с общей тенденцией объективного исторического развития. На основе научно понятой закономерности общественного развития рабочий класс намечает свой путь и способ действия. Раньше наука только объясняла мир. Теперь, по словам Маркса, она должна помочь преобразовать его. Вот почему глубоко реакционным является утверждение, будто объективная истина невозможна, а объективная история не существует. Оно идейно обезоруживает пролетариат. Оно лишает его возможности использовать в классовой борьбе против буржуазии такое мощное идеологическое орудие, как подлинно объективное и подлинно научное знание.

Из отрицания М. Н. Покровским истории как науки вытекало и непонимание им ее закономерностей. «История,—писал Покровский,—вопреки своей обманчивой конкретности, не более, а *менее точная наука,* нежели политическая экономия или даже юриспруденция»[2].

Покровский не понимал глубочайшего единства законов природы и общества, о чем неоднократно свидетельствовали Маркс, Энгельс и Ленин. «*Вечные законы природы* превращаются все более и более в исторические законы»,—писал Энгельс в статье «Диалектика и естествознание»[3]. Если,—говорил он,—применить исторический метод к изучению любого явления природы, оно само «превращается в историю, на каждой ступени которой господствуют другие законы, то-есть другие формы проявления одного и того же универсального движения»[4].

Вот откуда вытекало положение, которое цитировал, но которого не понял Покровский, что Маркс признавал только одну науку—историю. Маркс и Энгельс постоянно подчеркивали *историчность всех явлений в природе и обществе.* В «Немецкой идеологии» мы находим такое замечательное определение истории как науки: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Рассматривая историю с двух сторон, ее можно разделить на историю природы и историю лю-

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 394.
[2] Там же, 119.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XIV, 449.
[4] Там же, 450.

дей. Однако обе эти стороны неразрывно связаны; поскольку существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга. История природы, так называемое естествознание, нас здесь не касается; историей же людей нам придется заняться, так как почти вся идеология сводится либо к превратному пониманию этой истории, либо к полному отвлечению от нее. Сама идеология есть только одна из сторон этой истории» [1].

Из этих положений Маркса и Энгельса Ленин делал глубоко диалектическую оценку истории как науки. Он отмечал, что только историческая теория Маркса—Энгельса позволила раскрыть и понять процесс общественно-исторического развития как естественно-исторический процесс. Исходя из этого, мы обязаны всякий исторический анализ и всякое обобщение выводить из фактов, установленных *«с точностью естественно-исторического наблюдения»*.

«Маркс,—писал Ленин,—положил конец воззрению на общество, как на механический аггрегат индивидов». Он «впервые поставил социологию на научную почву, установив понятие общественно-экономической формации, как совокупности данных производственных отношений, установив, что развитие таких формаций есть естественно-исторический процесс» [2].

Ленин делал эту оценку марксовой исторической теории в 1894 г. А через 20 лет, в 1914 г., в замечательной статье «Карл Маркс» Ленин показал, какой *переворот* в общественно-исторических науках произвело разработанное Марксом материалистическое понимание истории, указавшее «путь к научному изучению истории, как единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса».

Вот что писал Ленин: «Открытие материалистического понимания истории или, вернее, последовательное продолжение, распространение материализма на область общественных явлений устранило два главных недостатка прежних исторических теорий. Во-1-х, они в лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития материального производства; во-2-х, прежние теории не охватывали как раз действий *масс* населения, тогда как исторический материализм впервые дал возможность с естественно-исторической точностью исследовать общественные условия жизни масс и изменения этих условий. Домарксовская «социология» и историография в *лучшем* случае давали накопление сырых фактов, отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон исторического процесса. Марксизм указал путь к

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 8.
[2] В. И. Ленин. Соч., I, 63.

всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая *совокупность* всех противоречивых тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных *классов* общества, устраняя субъективизм и произвол в выборе отдельных «главенствующих» идей или в толковании их, вскрывая *корни* без исключения всех идей и всех различных тенденций в состоянии материальных производительных сил. Люди сами творят свою историю, но чем определяются мотивы людей и именно масс людей, чем вызываются столкновения противоречивых идей и стремлений, какова совокупность всех этих столкновений всей массы человеческих обществ, каковы объективные условия производства материальной жизни, создающие базу всей исторической деятельности людей, каков закон развития этих условий,—на все это обратил внимание Маркс и указал путь к научному изучению истории, как единого, закономерного во всей своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса» [1].

Именно этого, указанного Марксом, «пути к научному изучению истории» М. Н. Покровский не понял. Естественно, что и критику недостатков прежних исторических «теорий», о которых так конкретно и ярко писал Ленин в приведенной цитате, М. Н. Покровский развернуть не сумел. Он не понял, что материалистическое понимание истории, последователем которого он себя объявил, не было простым «шифровальным ключом», который он хотел применить для расшифровки классового характера буржуазно-идеалистических концепций.

Материалистическое понимание истории—сложное, всеобъемлющее миросозерцание. Его великие основатели Маркс и Энгельс—открыли *исторические законы*, укрепившие историю как науку.

Маркс первый раскрыл «природу» различных классов, действовавших в истории, и раскрыл движущие мотивы их действий. Выступая против идеалистических концепций истории, Маркс и Энгельс так резюмировали различие между ними и материалистическим пониманием истории: «Это понимание истории, в отличие от идеалистического, не разыскивает в каждой эпохе какую-нибудь категорию, а остается постоянно *на почве* действительной истории, не объясняет практику из идеи, а объясняет идейные формации из материальной практики и в силу этого приходит к тому результату, что все формы и продукты сознания могут быть уничтожены не духовной критикой, не растворением их в «самосознании»... а лишь практическим ниспровержением реальных общественных отношений, из которых произошел весь этот идеалистический вздор» [2].

Этого классически проницательного марксистского отношения к вопросам идеологии М. Н. Покровский не имел, приступая к расчистке

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 13.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 28.

почвы от старых идеалистических традиций в области истории. Буржуазные исторические школы Покровский критиковал со своих антимарксистских, только несколько подправленных позиций «экономического материализма», сложившихся у него до революции.

Приведем примеры.

Критикуя историческую схему Карамзина и Чичерина, Покровский задается вопросом о *процсхождении* схемы, в которой государство заняло роль бога—творца русской истории.

Ответ дается в самом абстрактном социологическом обобщении, в котором «действующими лицами» выступают борющиеся друг с другом торговый и промышленный капитал [1].

Критикуя мелкобуржуазную теорию Щапова, который, по мнению М. Н. Покровского, «делает огромный шаг вперед по пути научного понимания русского исторического процесса», Покровский сам становится на его вульгарно-материалистическую точку зрения. Щапов, например, объясняет «русский народный характер» климатическими условиями и медленным кровообращением северных людей. «Эта медленность кровообращения, по его мнению,—пишет Покровский,—создает медленность нервных реакций: нервы русского человека туго реагируют на окружающую среду, но раз реакция достигнет своего апогея, она происходит быстро. Поэтому у нас период апатии сменяется порывами энергии: лежит человек, потом вскочит, забегает, а потом опять завалится» [2].

М. Н. Покровский соглашается со Щаповым по поводу «необычайной диалектичности русского народного характера», но объясняет его не климатом, а «необычайной отсталостью русского народного хозяйства», сменившейся чрезвычайно быстрым ростом капитализма в России. После этого Покровский делал совершенно неожиданный вывод, ничего общего не имевший ни с диалектикой, ни с исторической правдой: «Это создавало резкие контрасты, и эти резкие контрасты выковали под конец в народном характере ту *склонность* к резким переходам, к резким скачкам, которая выразилась в области политики, например, тем, что мы *сразу прыгнули от самодержавия к социализму, минуя все промежуточные ступени.* Этот исторический прыжок чрезвычайно характерен. Это объясняется условиями нашего экономического развития, а не той температурой, которая существует в России» [3].

Это рассуждение показывает, как прочно укоренилась в Покровском дореволюционная методология «экономического материализма», а также как прочно в нем держались по существу *троцкистские* политические взгляды на характер Февральской и Октябрьской революций 1917 г. Восьмимесячный период перерастания буржуазно-

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 31—32.

[2] Там же, 48.

[3] Там же.

демократической революции в социалистическую Покровским вычеркнут из русской истории. И это, конечно, не случайно, если мы вспомним политическую эволюцию М. Н. Покровского в предшествующий период (1907—1917 гг.) с его лозунгом: «В России возможна *только* социалистическая революция».

С этой троцкистской установкой Покровского на «только социалистическую революцию» увязывался и его антиленинский, антиисторический вывод, будто Октябрьская социалистическая революция произошла в России вопреки законам экономического развития, будто предпосылок для социализма в России не было.

«При *чисто экономическом* объяснении,—говорил Покровский в докладе на конференции историков-марксистов (1930),—при апелляции исключительно к законам экономики, игнорируя все остальное, нельзя было предсказать того, что действительно случилось,—что мы *прорвемся к социализму* сквозь всякие законы, *наперекор узкоэкономическим законам*» [1].

Экономически неподготовленную к социализму страну привели к победе социализма, по мнению Покровского, только логика классовой борьбы и энтузиазм масс. В статье «Два октября» Покровский заменяет марксистский анализ фаталистическим субъективизмом. Если,—говорит он,—«этому движению *суждено* было достигнуть размеров революции, то это потому, что *выбора не было:* кто-то должен был оказаться наверху, кто-то—внизу» [2].

Такая идеалистическая методология закономерно привела Покровского к меньшевистско-троцкистской схеме Октябрьской социалистической революции, для которой, по его мнению, не было объективных экономических предпосылок.

Здесь мы подходим ко второму пункту антимарксистских, антиленинских, антинаучных взглядов Покровского на историю как науку—к вопросу об истории и политике.

Представление М. Н. Покровского о связи истории с политикой получило у него краткую, но выразительную формулу: «История—это политика, опрокинутая в прошлое». Обострение политической борьбы, стержнем которой была борьба за победу социализма в нашей стране, заставляло Покровского все определеннее и решительнее формулировать задачи исторической науки как науки политической. «История есть самая политическая из всех существующих наук,—говорил Покровский,—история—это есть политика прошлого, без которой нельзя понять политику настоящего. Попытайтесь взять любое из явлений окружающей нас действительности и вы не поймете его без его *«исторических корней»* [3].

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, II, 269.

[2] Сборник «Октябрьская революция». Изд. 1929 г., 93.

[3] «Историк-марксист», 1929, № 14.

Это положение становится своего рода «символом веры» для М. Н. Покровского, определяющим направление и содержание всей его работы как советского историка.

В марте 1925 г., по инициативе Покровского, было создано Общество историков-марксистов, которое он хотел сделать центром мобилизации марксистских сил для борьбы с буржуазной историографией. Общество историков-марксистов, однако, сыграло прямо противоположную роль, послужив организующим центром для многих антипартийных и антисоветских элементов.

Само по себе глубоко верное положение, что история—наука политическая, что нужно глубже знать историю, чтобы лучше понять действительность, у Покровского и его «школы» превратилось в свою противоположность.

Требуя, чтобы история обслуживала *непосредственные задачи текущей политической борьбы*, Покровский приходил к выводу, что историк должен заниматься только актуальной и современной тематикой. Вместо того, чтобы поставить перед советскими историками задачу объяснения всего исторического процесса с точки зрения марксизма-ленинизма, Покровский объявил занятие историей, за исключением новейшего периода, в сущности ненужным и вредным делом.

Историки,—говорил Покровский,—должны не допускать отрыва теории от практики и держаться более актуальной и современной тематики, а не сидеть «где-то в дебрях французской революции или истории древнейшего периода германской социал-демократии».

В тезисах о задачах истории в реконструктивный период, принятых в качестве официальной платформы советом Общества историков-марксистов, Покровский формулировал задачи исторической науки как *партийной науки*.

«Партийность науки обусловливает не только общие взгляды и выводы ученого,—она обусловливает и выбор им тем,—писал Покровский,—просто «продолжать» буржуазную науку не должен и не может ни один марксист. Мы должны брать темы, наиболее тесно связанные с той борьбой, в которой мы являемся участниками,—освещать то, что буржуазия непременно оставляет в тени. Особенным примером нашего внимания должна быть история последних десятилетий» [1].

Во всех этих и подобных рассуждениях неверен *метод и критерий* для оценки роли исторической науки в классовой борьбе пролетариата. Это—антинаучный, антидиалектический, антиисторический метод.

Нельзя правильно *оценивать* события прошлого в отрыве от *конкретных условий той эпохи*, в которой совершалось то или иное историческое событие.

Нет такого исторического вопроса, который не имел бы для нас *теоретического и политического* значения. Поэтому совершенно

[1] «Историк-марксист», 1929, № 11.

неверным и вредным является ограничение тематики для научного изучения советских историков, как это предлагал М. Н. Покровский.

Покровский смешивал научную объективность с буржуазным объективизмом. Вот почему у него партийность истории как науки исключала ее объективность.

Ленин в 1894 г. критиковал Струве за его объективизм, для которого характерно пассивное отношение к исторической действительности. Ленин требовал партийного подхода к исторической действительности.

«...Материалист, с одной стороны, последовательнее объективиста и глубже, полнее проводит свой объективизм. Он не ограничивается указанием на необходимость процесса, а выясняет, какая именно общественно-экономическая формация дает содержание этому процессу, *какой именно класс* определяет эту необходимость. В данном случае, напр. (в изучении развития капитализма в России.—*А. П.*), материалист не удовлетворился бы констатированием «непреодолимых исторических тенденций» (развития капитализма.—*А. П.*), а указал бы на существование известных классов, определяющих содержание данных порядков и исключающих возможность выхода вне выступления самих производителей. С другой стороны, материализм включает в себя, так сказать, партийность, обязывая при всякой оценке события прямо и открыто становиться на точку зрения определенной общественной группы» [1].

Проблему *партийности в истории* марксизм-ленинизм ставит совершенно иначе, чем М. Н. Покровский. Ленин писал, что «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Так или иначе, но *вся* казенная и либеральная наука *защищает* наемное рабство, а марксизм объявил беспощадную войну этому рабству...

Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» [2].

Важнейшей мыслью Маркса являлась та, что материалистическая теория должна не только объяснять мир, но и *изменять его*. Объясняя с естественноисторической точностью объективную закономерность общественного развития, марксистская теория раскрывает направление и задачи революционной практики и помогает ей как решающая историческая сила в борьбе за преобразование старого мира. Вот в чем состоит подлинно научная «*увязка*» теории и практики в области истории, как ее понимали Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Не может быть более высокой научной объективности, чем объективность класса и партии, которые выполняют поставленную перед ними историей грандиозную задачу разрушения капиталистического общества, ставшего путами для развития человечества, и задачу

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 288.

[2] Там же, XVI, 349.

создания коммунизма, нового общественного строя без классов и классовой эксплоатации.

М. Н. Покровский и его «школа» понимали эту «увязку» как механическую, непосредственную связь или как прямую *аналогию* настоящих и прошедших исторических событий.

Против такого понимания исторических событий предостерегал еще Маркс в письме в редакцию «Отечественных записок» в 1877 г.:

«...События, поразительно аналогичные между собой, но происходившие в исторически различной среде, приводят к совершенно различным между собою результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сравнивая их между собою, легко найти ключ к уразумению этих явлений, но никогда нельзя притти к их пониманию, пуская в ход повсюду и всегда одну и ту же отмычку (passe-partout) какой-либо историко-философской теории, теории, самое высшее достоинство которой заключается в ее надисторичности»[1].

Результатом применения М. Н. Покровским и его «школой» такого «ключа» или «универсальной отмычки» (эту роль в его концепции играл торговый капитал) и являлся тот *антиисторизм*, который делал такими вредными все исторические схемы Покровского и его «школы», несмотря на их кажущиеся революционные фразы и декларации.

М. Н. Покровский требовал *партийности* исторической науки, а вместо этого приходил к исторически и политически ошибочным *аналогиям*, к антимарксистским сближениям того, что сближать было нельзя. Например, в глубоко реакционном «социализме» народников 70-х годов Покровский находил черты сходства с пролетарской революцией. Народническая программа Желябова, по Покровскому, предвосхищала программу большевиков 1917 г. Чернышевский объявлялся родоначальником большевистской аграрной программы и меньшевистской тактики, Ткачев—первым русским марксистом, анархист Бакунин, сыгравший такую реакционную роль в революционном движении, сближался с большевиками. В народничестве 70-х годов Покровский находил переплет правого и левого уклона.

Известно, как настойчиво требовали классики марксизма-ленинизма *конкретно исторического* подхода к фактам, событиям, людям. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, раскрывая пути исторического развития и его законы, изучали не «общество вообще», а конкретно историческую эпоху с присущими ей закономерностями, социальными отношениями и т. п.

Ленин говорил, что «безусловным требованием марксистской теории при разборе какого бы то ни было социального вопроса является постановка его в *определенные* исторические рамки, а затем, если речь идет об одной стране (например, о национальной программе для данной страны), учет конкретных особенностей, отли-

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Соцэкгиз, 1931, стр. 311.

чающих эту страну от других в пределах одной и той же исторической эпохи»[1].

Еще в 1894 г. в своей юношеской, но уже гениальной работе «Что такое «друзья народа»?» Ленин разработал марксистское понимание русской истории и дал краткую, но верную и глубокую схему исторического развития России. Ленин требовал при этом конкретно изучать все формы классовой борьбы и эксплоатации, которые особенно запутаны и прикрыты в России.

У Покровского признание классовой борьбы стержнем истории приводило к замене *конкретной* истории голой социологией. Ленин же от марксистской теории требовал, чтобы она направила все свое внимание на конкретное изучение социально-экономических противоречий в России, на изучение их связи и последовательного развития. Ленин ставил перед марксистской историей задачу вскрывать классовые противоречия повсюду,—даже там, где они прикрыты *«политической историей, особенностями правовых порядков, установившимися теоретическими предрассудками»*[2].

Связывая неизменно историю с политикой (но не так, как это делает Покровский), Ленин подчеркивает необходимость не только показать цельную картину нашей действительности с господствующими в ней отношениями эксплоатации, но и *«показать тот выход из этих порядков, на который указывает экономическое развитие»*[3].

Таким образом, в отличие от грубейшего схематизма в истории, вытекающего из «экономического материализма», материалистическое понимание истории давало истории ту широкую *научную основу,* на которой единственно она могла развиваться.

Ленин сформулировал эту основу с исключительной ясностью и глубиной.

«Марксизм,—писал он,—отличается от всех других социалистических теорий замечательным соединением полной научной трезвости в анализе объективного положения вещей и объективного хода эволюций с самым решительным признанием значения революционной энергии, революционного творчества, революционной инициативы масс,—а также, конечно, *отдельных личностей, групп, организаций, партий, умеющих нащупать и реализовать связь с теми или иными классами»*[4].

Требование *научности* и *конкретности* в историческом анализе выдвигает и постоянно сам проводит товарищ Сталин, каждое выступление и каждая работа которого базируются на глубоком использовании опыта мировой истории.

Отстаивая в упорной борьбе с троцкистами и зиновьевцами тео-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XVII, 431—432.
[2] Там же, I, 197.
[3] Там же.
[4] Там же, XII, 32 (курсив мой.—*А. П.*).

рию о возможности победы социализма в одной стране, товарищ Сталин опирается в своей аргументации на весь опыт мировой истории.

С такой же глубиной и конкретностью товарищ Сталин подходит и к анализу исторической роли отдельных личностей.

В беседе с немецким писателем Людвигом товарищ Сталин говорил:

«Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства» [1].

Но при этом товарищ Сталин предостерегал против применения антинаучных исторических аналогий, без учета конкретного различия исторической обстановки:

«Но, конечно,—добавил товарищ Сталин,—какую-нибудь аналогию с большевиками тут нельзя проводить. Отдельные крестьянские восстания даже в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями» [2].

Образцом конкретно-исторического анализа и оценки исторических личностей может служить сталинская характеристика и оценка Петра Великого:

«...Петр Великий сделал много для возвышения класса помещиков и развития нарождавшегося купеческого класса. Петр сделал очень много для создания и укрепления национального государства помещиков и торговцев. Надо сказать также, что возвышение класса помещиков, содействие нарождавшемуся классу торговцев и укрепление национального государства этих классов происходило за счет крепостного крестьянства, с которого драли три шкуры» [3].

Как далека от этой сталинской научной, конкретной и глубокой марксистско-ленинской оценки роли такой выдающейся личности, как Петр I, следующая характеристика Петра I, данная Покровским в его «Русской истории в самом сжатом очерке», т. е. в учебнике, который изучали миллионы детей и взрослых:

«Петр, прозванный льстивыми историками «Великим», запер жену в монастырь, чтобы жениться на Екатерине, которая раньше была горничной одного пастора (лютеранского священника) в Эстонии. Своего сына Алексея он собственноручно пытал, а потом велел тайно казнить в казамете Петропавловской крепости. Как он усмирял мятежи, мы уже

[1] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат, М., 1934, стр. 158—159.
[2] Там же, 159.
[3] Там же, 153.

говорили. Он умер (1725) от последствий сифилиса, заразив предварительно и свою вторую жену»[1].

Таким образом, Покровский не дал марксистско-ленинской оценки личности Петра и не показал его прогрессивной роли, как это делали Ленин и Сталин.

Оперируя общими социологическими характеристиками и схемами, Покровский игнорировал историческую роль отдельных личностей.

«Мы марксисты,—говорил Покровский в своей речи о Ленине, как о революционном вожде,—не можем рассматривать личность, как творца истории. Для нас личность есть тот аппарат, через который история действует. Может быть когда-нибудь эти аппараты будут создаваться искусственно, как мы теперь строим искусственно электрические аккумуляторы»[2].

Эта механистическая концепция ничего общего не имеет с марксистско-ленинским пониманием роли личности в истории, как мы выше показали на конкретных оценках Сталиным личности Разина или Петра.

«Люди делают свою собственную историю,—писал Маркс,—но они ее не делают самопроизвольно,—им приходится действовать не при обстоятельствах, выбранных ими самими, а при обстоятельствах, не зависимых от их выбора, непосредственно их окружающих и унаследованных»[3]. Такую же четкую характеристику роли личности в истории давал многократно и Ленин, указывая, что «история вся слагается именно из действий личностей»[4].

Только в последние годы своей жизни, знакомясь основательнее с марксистско-ленинским пониманием истории, Покровский изменил этот свой взгляд. В статье о Чернышевском он признавался, что «кое-что из старых воззрений пришлось отбросить, ибо и личность в истории *играет бо́льшую роль,* чем сначала казалось».

Методология экономического материализма приводила М. Н. Покровского к антимарксистскому, антиленинскому пониманию взаимоотношений экономики и политики в истории.

«Политика есть концентрированное выражение экономики»[5],—говорил Ленин в дискуссии о профсоюзах и разъяснял, что экономика является постоянной основой для политики, она не может быть оторвана от нее. Ленин подчеркивал огромную роль *государства,* в котором экономика находит свое обобщение и завершение. М. Н. Покровский, разоблачая буржуазных апологетов государства, превращавших помещичье государство в надклассовую силу, преувеличивавших его роль в истории, сам, наоборот, скатывался к полному отрицанию роли государства.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. 1929, стр. 74.
[2] Сборник «Октябрьская революция», 13.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., VIII, 323.
[4] В. И. Ленин. Соч., I, 79.
[5] В. И. Ленин. Соч., XXVI, 126.

В своих лекциях «Борьба классов и русская историческая литература» (1923) М. Н. Покровский упрекал Н. А. Рожкова, что он поставил политический строй «в равноправное положение с социальным». «Политический момент есть второстепенный, а у Рожкова он равноправный»,—делал вывод М. Н. Покровский.

Приводя пример разгона Учредительного собрания, М. Н. Покровский указывал, что «народ даже не почесывался», когда оскорбили, как говорили обыватели, «народную власть».

Отсюда он делал неправильный антиленинский вывод: «Политический лозунг отступил на задний план, а социальная природа выступила на передний план. Важно было, в чьих руках, в руках какого класса власть, а то, *как* она организована,—вопрос второстепенный» [1].

Но стоило *так* поставить вопрос, чтобы понять глубокую порочность антимарксистской и антиленинской теории Покровского о соотношении политики и экономики.

Исторический опыт поражения Парижской коммуны и победы Октябрьской революции показал как раз колоссальную значимость того, *как* организована власть пролетариата, в частности, какую огромную роль сыграла советская форма пролетарского государства.

В своей последней статье «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России» Покровский признал свою ошибку в этом вопросе: «В первых редакциях моей схемы,—писал он,—был недостаточно учтен и факт относительной независимости политической надстройки от экономического базиса. Позабыты были слова Энгельса: «к чему же мы теперь бьемся за диктатуру пролетариата, если политическая власть экономически бессильна» [2]. Однако, антиленинский характер своей исторической концепции он и здесь отрицал.

Во время дискуссий со своими бывшими учениками, строившими на базе ошибочных концепций Покровского явно враждебные марксизму-ленинизму вредительские теории и схемы, Покровский начал настойчиво повторять, что одного обращения к «законам экономики» недостаточно, что мы «прорвались к социализму вопреки узко-экономическим законам».

Таким образом, Покровский из одной крайности шарахнулся в другую, столь же антимарксистскую, разрывая экономику и политику и не понимая соотношения между ними ни в период капитализма, ни при диктатуре пролетариата.

Ошибки М. Н. Покровского в понимании роли политики и экономики вытекали из его признания экономики *самодовлеющей силой*, действующей без всяких промежуточных звеньев. Не случайно методология М. Н. Покровского приводила его к настоящему историческому

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 94.
[2] Там же, 289.

фатализму: «Прошлое внесет свое,—говорил М. Н. Покровский,—будьте спокойны и *без всякого содействия с нашей стороны»* [1].

Итак, разбор исторических взглядов М. Н. Покровского приводит нас к выводу, что они находились в глубоком противоречии с воззрениями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина на историческую науку.

Покровский до конца жизни не освободился от экономического материализма, о котором он сам правильно сказал, что «экономическая интерпретация исторического процесса сама по себе приемлема для любого буржуа», ибо она означала «марксизм минус диалектика, т. е. марксизм минус революция».

Из буржуазного лагеря М. Н. Покровский перешел на сторону пролетарской революции, но овладеть революционным мировоззрением пролетариата и диалектикой ему не удалось до конца жизни.

VII

Антимарксистские философские и исторические взгляды М. Н. Покровского определяли и его общую концепцию русского исторического процесса.

М. Н. Покровский и мы, его «ученики», считали его историческую концепцию не только «законченно марксистской», но и не имевшей предшественников [2].

Сам Покровский держался такого же мнения. В предисловии к первому изданию первого тома «Русской истории с древнейших времен» он писал, что ему «нечего компилировать» у старых (буржуазных) историков, ибо он выступает в качестве «передового разведчика, нащупывающего новые пути».

«Существующие в нашем научном обороте,—писал М. Н. Покровский в этом предисловии,—исторические обобщения почти целиком принадлежат той научной формации, которая сама давно готова стать предметом истории.

Трудность такого положения в том и состоит, что материал, собранный историками-идеалистами, нам приходится обрабатывать *с материалистической точки зрения».*

И сам М. Н. Покровский и мы, его ученики, были настолько убеждены, что в «Русской истории с древнейших времен» мы имеем концепцию, *противоположную* буржуазным историкам, что о *марксистской выдержанности* самой этой концепции мы вопроса и не ставили, по крайней мере до тех пор, пока нам не указали на *эту* сторону вопроса.

---

[1] Там же, II, 261.

[2] См. статьи: А. Панкратова. М. Н. Покровский—большевистский историк; «Борьба классов», 1932, № 4; А. В. Шестаков. Покровский—историк-марксист. «Историк-марксист», 1928, № 9; Н. Рубинштейн. М. Н. Покровский—историк России. «Под знаменем марксизма», 1924, № 10—11.

Критика концепции М. Н. Покровского и его исторических взглядов для его бывших учеников должна быть и *самокритикой.*

Глубоким заблуждением является распространенное мнение, поддерживавшееся и самим Покровским, что у него не было *предшественников* среди буржуазных историков. Наоборот, анализируя его схему русского исторического процесса в целом и по частям, трудно найти такие вопросы, где бы *в основе* не лежали буржуазные концепции [1].

Русская историческая наука долгое время находилась под преобладающим влиянием буржуазных *историков права,* сосредоточивших свое внимание на эволюции государственных учреждений и публично-правовых институтов. Социально-экономический подход к истории с трудом проникал в историческую литературу.

Однако уже в конце 90-х годов, вслед за Струве, Рожков да и сам М. Н. Покровский фактически усвоили методологию легального марксизма. Да и наиболее крупные представители буржуазной историографии уже отказались от ограниченности юристов и включили в сферу научного изучения темы социально-экономического характера. Поэтому постановка социально-экономических проблем как ведущих проблем исторического процесса отнюдь не являлась новостью. Задолго до Покровского вопрос о роли экономического (в особенности географического) фактора в истории поставил Щапов. Природные и экономические факторы, обусловившие историческую неизбежность для России быть единым, централизованным государством, очень подчеркивали Соловьев и Ключевский. В исторической схеме Соловьева и его ученика Ключевского основной характер русского исторического процесса определялся особенностями истории России как страны колонизирующейся. Оставаясь историком-идеалистом, Ключевский сам считал себя «историком-социологом» и также отдал дань «экономизму».

В 90-х годах интерес к социально-экономическим проблемам русской истории повысился в связи с оформлением «экономического материализма» как официальной идеологии легальных марксистов.

Выступление на историческую арену рабочего класса, борьба революционных марксистов с народниками и с «легальными марксистами» выдвинули исторический материализм как *метод* изучения общественных явлений.

Выступление Ленина против народников в 90-х годах открыло новый—*ленинский*—этап развития русской исторической науки. Ко времени появления «Русской истории» Покровского были уже известны работы Ленина, в которых он дал основы русского исторического процесса, но эти работы глубочайшей научной ценности

---

[1] По размерам и задачам статьи в нее не включается подробная критика конкретных вопросов исторической концепции Покровского: она дается в дальнейших статьях сборника по отдельным вопросам.

(«Что такое «друзья народа?», «Что делать?», «Развитие капитализма в России», «Две тактики», «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—07 гг.» и мн. др.) не нашли отражения в трудах Покровского.

Покровский разделял долго сохранявшийся предрассудок, будто «Ленин—не историк, а вождь и политик». Таким образом, ленинская концепция не оказала влияния на схему Покровского, что не могло не отразиться самым отрицательным образом на его основном труде—«Русской истории с древнейших времен».

Покровский вместе с тем был неправ, утверждая, что ему «нечего было компилировать», т. е. что до него не было сделано в области истории ничего существенного. Как раз наоборот. Десятилетие, отделяющее создание «Русской истории с древнейших времен» от первых исторических работ ее автора, отличалось особенно большим оживлением в области исторической науки. В этот период начал выходить отдельными томами печатный «Курс русской истории» Ключевского. За «Курсом» вышли сборники Ключевского («Опыты и исследования», «Очерки и речи», «Отзывы и ответы»). Впервые опубликован и специальный курс Ключевского «История сословий в России», а его «Боярская дума» вышла уже четвертым изданием.

Большое впечатление произвела работа (вскоре умершего) историка Н. П. Павлова-Сильванского «Феодализм в древней Руси» (1907) и его посмертный труд «Феодализм в удельной Руси» (1910).

Ко времени появления «Русской истории с древнейших времен» ранее отрицавшаяся наличность феодальных отношений в России была уже показана и доказана Лениным. Работы Павлова-Сильванского и других историков конкретизировали отдельные вопросы феодального развития в России, но давали неправильную, не марксистскую концепцию феодализма в целом, а рассматривали феодализм лишь исключительно только как систему политических отношений. Покровский по вопросу о феодализме базируется на исследовании Павлова-Сильванского, но расширяет хронологические рамки феодальной системы, включая в нее и Киевскую Русь. Можно привести и другие примеры, где специальные исследования, предшествующие «Русской истории», представляли для М. Н. Покровского не только «материал» (как он пишет в предисловии), но и определили его точку зрения (например Ключевский по вопросу о Киевской Руси как «городовой волости»).

Многие общепринятые в буржуазной науке точки зрения М. Н. Покровский оспорил, в другие внес важные дополнения и поправки, некоторые вопросы вообще разработал впервые (например вопросы внешней политики, общественного и революционного движения XIX в. и т. п.). Плодотворным для дальнейшего изучения русской истории было и то, что в «Русской истории» Покровского резче, чем раньше, ставились вопросы классовой борьбы. Однако освещение классовой борьбы в России и общая концепция «Русской истории» давались Покровским не с марксистско-ленинских позиций.

Коротко содержание изложенной в пятитомнике[1] концепции сводится к следующему. Основная клеточка социально-хозяйственной организации славян—«большая семья» («дворище» или «печище»). Из этого «первобытного» землевладения—«печища» или «дворища»—и развивается феодализм. Период древнего феодализма охватывает время, к которому буржуазные историки относили Киевскую, Удельную и Московскую Русь. Феодализм в его древнейшей форме существовал до начала XVII в.

Окончательное образование Московского государства в XVII в. было и окончательной ликвидацией русского феодализма и его древнейшей формы. Ликвидации старого феодализма способствовало развитие денежного хозяйства. Решающую роль в русской истории играли изменения в хлебных ценах.

Рост хлебных цен к началу XVII в. вызывает интенсификацию сельского хозяйства, появление барщины и закрепощение крестьян. Крупное вотчинное хозяйство экономически уступает среднему. Происходит экспроприация «богатого боярина в пользу мелкопоместного дворянина» (опричнина): «Спор из-за земли—ключ ко всей трагедии опричнины». Борьба торгового капитала, помещиков и бояр заканчивается победой помещика и торгового капитала и обезземеливанием и закрепощением крестьян. В XVII в. происходит усиленное развитие торгового капитализма. Интересы торгового капитала обусловили внешнюю политику и реформы Петра. Но «политическая оболочка дворянского государства» помешала капитализму развиваться.

Период преемников Петра—это агония буржуазной политики и расцвет дворянства. Последние остатки буржуазности окончательно смываются во время Елизаветы. Екатерининское время означает новый подъем денежного хозяйства. Нуждаясь в деньгах, помещики усиливают барщину. Ответом на нее явилась пугачевщина.

Развитие денежного хозяйства обусловливает развитие класса буржуазии и ее первые попытки к захвату политической власти (Сперанский, декабристы).

Аграрный кризис и низкие хлебные цены в первой половине XIX в. задерживают развитие капитализма. И только повышение хлебных цен к началу 60-х годов обусловливает реформу 1861 г. Реформа—компромисс торгового и промышленного капитала. Реформа толкает вперед экономику России, но новый сильный кризис хлебных цен в 80-х годах XIX в. вызывает крепостническую реакцию. С 90-х годов развитие капитализма идет безостановочно. Рабочий класс растет. Приближается рабочая и крестьянская революция 1905 г.

Таков, по Покровскому, общий ход русской истории, как он представлялся ему до 1917 г. в противоположность дворянско-буржуазной концепции русского исторического процесса.

---

[1] «Русская история с древнейших времен» состояла из пяти томов.

В целом концепция М. Н. Покровского действительно имеет мало общего с обычной буржуазной теорией, считавшей, что государство—демиург истории, что оно создало классы и сначала закрепостило, а потом раскрепостило их. Но, вместе с тем, концепция М. Н. Покровского не представляла шага вперед и в деле выработки *марксистско-ленинской* схемы русской истории, ибо она игнорировала все важнейшие выводы марксистской теории.

Покровский совершенно не использовал выводов таких классических трудов Маркса и Энгельса, как «Капитал», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Марка» и др.

М. Н. Покровский совершенно пренебрег учением Маркса и Энгельса о разложении родовых отношений в применении к России, подменив сельскую общину—марку—«печищем», «дворищем». Неправильно ставил Покровский вопрос о рабовладении в Киевской Руси, рассматривая ее как рабовладельческое общество. Совершенно не марксистской являлась данная в пятитомнике схема зарождения и развития феодальных отношений в России. Ко времени выхода первого тома «Русская история с древнейших времен» (1910) была уже вполне разработана марксистско-ленинская концепция феодализма. Несмотря на это, М. Н. Покровский по вопросу о феодализме оказался в полной зависимости от буржуазной концепции (Павлова-Сильванского и др.).

Игнорируя азбуку марксизма, говорящую о том, что в основе каждой формации лежит определенный способ производства, Покровский во всей своей схеме основными считал отношения обмена.

Сочетание у М. Н. Покровского пережитков буржуазно-идеалистической схемы с методологией «экономического материализма» особенно наглядно сказывалось в трактовке им феодализма как политического института, изменения которого он объяснял исключительно *экономическими* переменами в России XV—XVI вв. (изменением хлебного рынка).

В схеме Покровского фактор хлебной торговли занимает решающее место. Из него выросла та роль «торгового капитализма» в XVI—XVII вв., на которой базировалась (при всех вариациях) вся историческая концепция Покровского. Не случайно, что эту антимарксистскую, антиленинскую концепцию торгового капитализма контрреволюционные троцкисты—ученики «школы Покровского»—«развили» в особую общественную формацию, якобы сформировавшуюся в XVI—XVII вв. в соответствии со схемой Покровского о торговом капитализме, получившем в этот период экономическое и политическое преобладание.

Теория М. Н. Покровского о роли «торгового капитализма» в образовании Московского государства, а затем империи Петра, особенно ярко отражает «экономический материализм» Покровского. Весь исторический процесс России и все перемены в формах государственного строя Покровский сводит к переменам в отношении обмена.

Вопиюще противоречат и фактам конкретной истории и теории марксизма-ленинизма взгляды Покровского на роль торгового капи-

тала в XIX в. По схеме Покровского, торговый капитал, начиная с XVII века, является основным двигателем народного хозяйства. Между промышленным и «торговым капитализмом» происходит борьба, кончающаяся блоком торгового и промышленного капиталов в 1861 г. Промышленный и торговый капитал составляют, по Покровскому, две основные борющиеся силы в русской истории XIX в. Таким образом, наиболее драматическое столетие русской истории с тремя активно действовавшими в нем поколениями революционеров было совершенно обесцвечено Покровским и превращено в голую, абстрактную схему, в которой «хлебные цены» выглядят более динамичными, чем живые исторические деятели.

Самый поверхностный анализ происхождения концепции Покровского обнаруживает ее буржуазные истоки. Так, например, теория торгового капитала как классовой основы царского самодержавия была заимствована Покровским у Струве, который впервые выдвинул самый термин «торговый капитализм». В общественной теории Богданова «торговый капитализм» также занимал особо выдающееся место. Богданов, как и его последователь Покровский, извратил роль производства и обмена. На вопрос: «что такое торговый капитализм?» Богданов давал ответ: «это такой строй экономических отношений, при котором торговый капитал господствует над производством, является его руководителем» [1].

В лекциях, читанных Богдановым в Каприйской и Болонской школах, излагалась такая *хронологическая последовательность* общественно-экономических формаций: феодализм, ремесло, торговый капитализм, крепостничество. Богданов свои «основные типы строения общественной организации» взял у Бюхера. В «Очерке истории русской культуры» (1914) Покровский критикует схему Бюхера, но это не помешало ему заимствовать *основы* бюхеровской периодизации, поскольку они исходили и обусловливались близкой ему теорией «экономического материализма».

Игнорирование последовательности в изложении исторических фактов и событий особенно ярко отразилось на произвольности периодизации «Русской истории с древнейших времен», а также на крайней неясности этой периодизации. Более или менее определенно в ней наметились четыре периода: с VIII по X в.—«дворищное» землевладение, с XI по XVI в.—феодализм, с XVII—XVIII в.—торговый капитализм, с XIX по XX в.—промышленный капитализм. Эта периодизация свидетельствует о полном непонимании Покровским марксова учения об общественно-экономических формациях. Учение марксизма об общественно-экономических формациях составляет одно из величайших завоеваний марксистской науки. Оно являлось предметом жестоких нападок со стороны буржуазных историков. Кунов, Эд. Мейер, М. Вебер, Допш, а в России—Богданов, Рожков и др.

[1] А. Богданов. Политическая экономия в вопросах и ответах.

подвергали жестокой критике и вовсе отрицали общественно-экономические формации.

«Русская история с древнейших времен» М. Н. Покровского отразила не только сильнейшее влияние богдановской методологии, но и важнейшие теоретические ошибки и предрассудки оппортунистов II Интернационала. Влияние теорий II Интернационала особенно сказалось на объяснении Покровским вопросов внешней политики. Это влияние Покровский сам позже признал в послесловии к сборнику «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии». Покровский не понимал ленинской теории империализма и ее глубокого отличия от теории Гильфердинга. Он не понимал *экономической* основы империализма, не различал империализма как высшей фазы капитализма. Для него империализм—просто захватническая *политика*. Империализм он видел во все времена и у всех народов. В России была особая форма «империализма» в связи с господством в ней торгового капитала—«ситцевый империализм». В статье «Русский империализм в прошлом и настоящем» Покровский писал, что «России в первой половине XIX в. был знаком *империализм* в самом подлинном его виде»[1].

В лекциях «Внешняя политика России в XX веке» в соответствии со своей схемой торгового капитала Покровский писал, что «вся наша внешняя политика была борьбой за торговые пути». Поэтому он отрицал империалистический характер русско-японской войны 1904 г. и не понимал империалистического характера мировой войны. «Основную линию внешней политики,—писал Покровский в своих лекциях,—давал торговый капитал, который имел своего агента в лице помещика». За торговым капиталом «петушком-петушком бежал промышленный». Борьба за торговые пути была в интересах торгового и промышленного капитала и объясняла их блок в вопросах внешней политики при довольно сильных разногласиях во внутренней политике. В подобных голых абстракциях были поданы Покровским все лекции по истории внешней политики XX в. В оценки, данные им раньше под влиянием довоенного II Интернационала, после революции он внес «поправки», по Богданову, о столкновении противоречивых интересов торгового и промышленного капитала. Наиболее полный и законченный вид его схема торгового капитала получила после Октябрьской революции.

По свидетельству самого М. Н. Покровского, наиболее полное изложение его схема русского исторического процесса нашла в «Русской истории в самом сжатом очерке», несмотря на ее краткость и специально учебные цели.

Последнее, 10-е, издание, вновь просмотренное автором, вышло в 1931 г. (посмертные издания печатались с этого издания без пере-

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии. М., 1924, стр. 383.

мен). Сам Покровский в предисловии к 10-му изданию указывает, что перемены в новом издании не были особенно существенными. Для *коренной* переработки старого текста М. Н. Покровский не видел в 1931 г. оснований.

Отвечая на критику его концепции торгового капитала, Покровский в предисловии 1931 г. пытался аргументировать, что «для Ленина категория «торговый капитал» является ясной и точной». Свою же *оригинальность* М. Н. Покровский видит в том, что «из той непреложной истины, что в России предшественником капиталистического производства был торговый капитал», он попытался «извлечь *политические* выводы», т. е. установить влияние этого торгового капитала на образование Российской империи.

В докладе на Первой всесоюзной конференции историков-марксистов М. Н. Покровский также пытался доказать полное соответствие своей схемы истории России с ленинской концепцией.

В статье «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России», напечатанной в № 2 «Борьбы классов» за 1931 г., под влиянием усилившейся критики Покровский пересмотрел ряд существенных моментов своей концепции. Но решительной ее переоценки М. Н. Покровский делать не хотел, считая ошибочными только свои «риторические преувеличения», а также то, что в пылу «полемического задора» он так выпячивал «злосчастный торговый капитал, что местами,—нечего греха таить,—он у меня закрывал феодальную сущность помещичьего государства»[1].

Дело, однако, далеко не в «риторических преувеличениях». По схеме М. Н. Покровского, торговый капитал—всесильный дирижер русского исторического процесса[2].

По этой схеме, русская история собственно начинается с торгового капитала, который господствует в Киевской Руси.

С XIV в. торговый капитал начинает складываться в северо-восточной Руси и обусловливает образование московского княжества.

В XVI в. торговый капитал становится полновластным хозяином в Московском княжестве и обусловливает создание Московского царства при Иване IV.

В XVII в. торговый капитал одерживает победу в гражданской войне и создает монархию Романовых, просуществовавшую как форма политического господства торгового капитала до 1917 г.

В середине XIX в. на смену торговому капиталу появляется вырастающий из него «наследник»—промышленный капитал, вступает в борьбу с ним и добивается ликвидации крепостного права.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 10-е изд., предисловие, 5.

[2] См. известное предисловие к 8-му изд. «Русской истории в самом сжатом очерке», в котором общая схема русского исторического процесса изображается как смена *царствований* торгового и промышленного капитализма.

Торговый капитал все же продолжает развиваться и во второй половине XIX в. достигает полного расцвета.

В конце XIX в. промышленный капитал попадает в зависимость от торгового капитала и впоследствии вступает с ним в компромисс (столыпинская реформа).

В феврале 1917 г. промышленный капитал становится у власти, но политическое торжество его только на восемь месяцев опережает пролетарскую революцию.

Такова общая схема торгового капитала в «Русской истории в самом сжатом очерке». По сравнению с «Русской историей с древнейших времен» в ней произошли изменения. Раньше Покровский, идя вслед за Богдановым, считал торговым капитализмом определенную общественно-экономическую эпоху, лежащую между феодализмом и капитализмом. Теперь же Покровский расширяет историческую роль торгового капитала. Последний является организатором и руководителем *всего* русского исторического процесса, но в период между феодализмом и капитализмом он господствует полновластно.

В этом и заключался «отход» М. Н. Покровского от богдановской схемы, о котором он в последние годы жизни так много говорил. Однако схема Богданова продолжала определять историческую концепцию Покровского, несмотря на внешний «отход» Покровского от «богдановщины». Целиком за Богдановым шел Покровский в своем понимании роли *обмена*, а не производства, как основы для смены социально-экономических формаций.

Роль торгового капитала как *организатора* трудового процесса вытекала у Покровского также из богдановской социологии, которая термином «классы» обозначала «способ дробления общества на организаторов и исполнителей».

М. Н. Покровский называл торговый капитал *организатором* крепостного хозяйства в России. В рецензии на книгу Струве «Крепостное хозяйство» (1914), характеризуя научную отсталость автора, М. Н. Покровский противопоставляет ему книгу Лященко «Очерки аграрной эволюции в России». Покровский особенно хвалил Лященко за подчеркивание им связи «организации барщинного хозяйства с торговым капитализмом».

Торговый капитал, по мнению Покровского, «из-за кулис дирижировал крепостным хозяйством». Он явился поэтому организатором нужной для его потребностей громадной государственной территории и «собирателем» Руси.

Отсюда выросла у Покровского и его теория абсолютизма или самодержавия как непосредственного выразителя интересов торгового капитала.

Известная формула М. Н. Покровского, что «самодержавие представляет собой торговый капитал в шапке Мономаха», имела также в своей основе формулу Богданова: «Абсолютизм есть политическая организация торгового капитала».

В «Очерках по истории революционного движения» (стр. 10) М. Н. Покровский писал: «В Мономаховой шапке ходил по русской земле именно торговый капитал, для которого помещики и дворяне были только агентами, были его аппаратом».

Покровский не раз пытался изобразить весь спор по вопросу о торговом капитале как вопрос о том, имеется ли торговый капитал в работах классиков марксизма или только у него.

Конечно, Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин неоднократно подчеркивали роль торгового капитала в разложении старого способа производства, но они *никогда* не превращают торговый капитал в *носителя* нового способа производства. Они никогда не связывали также существования торгового капитала *только* с буржуазно-капиталистическим способом производства. Торговый капитал старше буржуазного способа производства. Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин также никогда не утверждали в том смысле, как им приписывал Покровский, будто торговый капитал на определенном этапе истории становится *организатором* государства и *командующим классом* общества, приобретая политическое господство в новом торгово-капиталистическом государстве. Приписывая классикам марксизма свои концепции, Покровский не понимал и извращал учение марксизма-ленинизма о государстве. Русское самодержавие Покровский рассматривал как организацию торговых капиталистов, вопреки Ленину, который рассматривал самодержавие как диктатуру помещиков-крепостников.

Таким образом, Покровский не понимал классовой природы феодально-крепостнического государства. Отсюда—не только глубокий *антиисторизм его концепции самодержавия, но и ее близость к троцкизму*. Критикуя Троцкого за его превращение самодержавия (в результате отсталости экономического развития России) в надклассовую, самодовлеющую организацию, М. Н. Покровский приходил почти к такому же выводу.

«Дело не в отсталости,—писал он в статье против Троцкого,—а в том, что это была новая страна, захваченная развитием торгового капитализма, и что ей приходилось отбивать себе место на солнышке у более старых, прочно укоренившихся конкурентов. Для этого русскому торговому капиталу пришлось сковать страну железной дисциплиной и выработать настоящую диктатуру. Воплощением этой диктатуры торгового капитала и было московское самодержавие»[1].

Но эта «диктатура торгового капитала» в схеме Покровского сама превращалась в *надисторическую категорию*, во всеобщий «ключ», пригодный для объяснения разных исторических эпох, разных классовых отношений.

Критикуя с антимарксистских позиций буржуазные схемы и теории внеклассового государства, М. Н. Покровский, таким образом, сам попадал в плен этих теорий. Одновременно тяготела над ним

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 28.

и старая теория экономического материализма. На разных этапах разные исторические события неизменно объяснялись у него переменами в денежных отношениях и в хлебных ценах.

Антиисторизм в «Сжатом очерке» еще более бросается в глаза, чем в других исторических трудах Покровского. Исходя из формулы, что «история—это политика, опрокинутая в прошлое», Покровский антиисторически подошел к характеристике роли Минина и Пожарского: «Защита родины и защита своей мошны у этих людей, как *у буржуазии всех времен,* сливалась таким образом в одно»[1].

В этом сравнении *«как у буржуазии всех времен»*—вся суть антиисторического подхода к событиям и деятелям в схеме Покровского.

Необходимо остановиться еще на одном существенном влиянии буржуазной историографии на Покровского: на отрыжке великодержавной исторической схемы, сказавшейся в полном пренебрежении в его схеме истории отдельных народов СССР. Историки XIX в.—Карамзин, Погодин, Соловьев, Ключевский, обосновывая развитие Государства российского, совершенно игнорировали историю отдельных народов, входивших в «тюрьму народов».

Судьба отдельных народов России как субъекта исторического процесса не интересовала дворянско-буржуазных историков.

Стремясь «обосновать» колониальное могущество царской России, они в лучшем случае рассматривали отдельные народы *только* как объект колониальной политики царизма. Для буржуазных историков народы, входившие в состав империи,—либо «дикие народы», либо—ассимилировавшиеся с русскими. Иначе ставили вопрос об отношении к народам СССР Ленин и Сталин. Они требовали серьезного и самостоятельного изучения истории отдельных народов СССР, вместе с тем подчеркивая передовую руководящую революционную роль *русского народа, русского пролетариата,* показавшего миру образцы героической классовой и национально-освободительной борьбы.

Покровский и его «школа» полностью игнорировали ленинско-сталинские указания в отношении изучения истории народов СССР и в этом основном вопросе стояли целиком на старых позициях, отражавших буржуазное влияние на нашу историческую науку.

Таким образом, мы установили идейно-политическую и научную зависимость Покровского от буржуазных идеологов и историков. Покровский не мог до конца преодолеть своих антимарксистских взглядов, не мог целиком использовать и глубоко понять марксистско-ленинскую теорию и историческую концепцию в силу глубокой связи этой концепции с антимарксистской, антиленинской методологией Покровского, которую он усвоил за многие годы влияния на него буржуазной идеологии. Для того чтобы действительно радикально пересмотреть, а не только исправить отдельные формулировки и преувеличения, нужно было пойти по пути глубокого овладения марксистско-ленинской тео-

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 55.

рией, решительного разрыва с идеалистическими взглядами, т. е. по пути *радикального пересмотра всего своего исторического мировоззрения, по пути решительного отказа от своих антимарксистских, антиленинских, антинаучных взглядов на историю как науку.*

На этот решительный путь М. Н. Покровский так и не сумел стать до конца своей жизни.

* * *

Подведем итоги.

1. Исторические и общефилософские взгляды М. Н. Покровского *противоречат взглядам Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина* на историю как науку.

2. Будучи антимарксистскими и антиленинскими, они тем самым и *антинаучны.*

3. Антимарксистские, антиленинские, антинаучные взгляды Покровского по сути дела являются и *ликвидаторскими:* они принесли огромный ущерб развитию марксистско-ленинской исторической науки в СССР, явившись почвой и базой для идеологического вредительства на историческом фронте.

4. *Общая схема русского исторического процесса* М. Н. Покровского находится в полном противоречии с ленинской концепцией истории СССР. Она свидетельствует о полном игнорировании М. Н. Покровским высказываний классиков марксизма по вопросам русской истории.

5. Несмотря на декларированный М. Н. Покровским разрыв с предшествующей историографией и заявление, что ему «нечего компилировать», его схема русской истории как в целом, так и в отдельных ее частях, свидетельствует о большой ее близости и даже зависимости от буржуазной историографии.

6. Теоретические корни глубоко ошибочных взглядов М. Н. Покровского и его исторической схемы лежат в условиях и особенностях *формирования* его политических взглядов и исторического мировоззрения.

7. Основные методологические пороки исторической теории М. Н. Покровского могут быть сведены к: 1) «экономическому материализму» и 2) к субъективизму махистского типа.

8. Отсюда вытекали: а) его отрицание объективности исторической науки, б) неправильное понимание взаимоотношений истории и политики и в) отсутствие исторической диалектики и антиисторизм схемы М. Н. Покровского.

9. Ленинизм требует анализа и оценки не только теоретических истоков той или иной идеологии, но и политической линии, вытекающей из данной теоретической системы. Поэтому анализ ошибок М. Н. Покровского надо связать с вопросом, *каковы классовые корни и политическая сущность* схемы М. Н. Покровского.

10. Переводя историческую концепцию на классовый язык политики, надо признать, что:

а) Историческая схема М. Н. Покровского отражала теоретическую

и политическую линию буржуазных и мелкобуржуазных «попутчиков», примкнувших к большевизму *в ходе буржуазно-демократической революции,* привлеченных не пролетарской программой большевистской партии, «а преимущественно ее яркой и энергичной борьбой за демократию и принявших революционно-демократические лозунги пролетарской партии вне их связи со всей борьбой социалистического пролетариата в ее целом» [1].

б) Политические уклоны «влево» от большевизма, его «отзовизм», «впередовство» и особенно «левый» коммунизм, во главе которого стоял гнуснейший предатель родины и социализма—убийца Бухарин, оказали на идейно-историческое развитие Покровского самое тяжелое влияние, ставя Покровского на целые длительные периоды по ту сторону баррикад. Именно поэтому не были случайны для него и враждебные большевизму блоки с троцкизмом.

в) Идейно-политическая позиция М. Н. Покровского определила меньшевистско-троцкистскую основу его исторической схемы торгового капитала.

11. Покровский не сумел до самой своей смерти полностью освободиться от пережитков *богдановских взглядов* и от остатков идейного влияния троцкизма. Его политические уклоны («впередовство», «левый» коммунизм) своей теоретической основой имели отказ от материализма (махизм) и от материалистической диалектики («экономический материализм»).

12. Антимарксистская и антиленинская сущность исторической методологии Покровского и его схемы русского исторического процесса оказалась особенно благоприятной почвой для вредительства троцкистско-бухаринских врагов народа. Полутроцкистские концепции Покровского были использованы врагами социализма для борьбы против ленинизма, для идеологического вредительства в СССР.

Маскируясь под марксизм, враги народа прикрывались схемой М. Н. Покровского для протаскивания своих реставраторских «теорий» и для прикрытия своей вредительской работы на одном из важнейших участков идеологического фронта.

13. Ликвидация и преодоление антиленинской методологии Покровского должны вестись усиленными темпами, чтобы до конца очистить историческую науку от враждебных ленинизму теорий и создать условия для подъема исторической науки.

14. Чтобы ускорить решение этой основной задачи, надо окончательно выбить из этого участка классового врага, ликвидировать скорейшим образом последствия вредительства, не на словах, а на деле осуществляя большевистскую бдительность, развернуть серьезную научную и политическую критику и самокритику на историческом фронте, поставить историческую науку на подлинно большевистские научные рельсы.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 97.

АКАД. Б. ГРЕКОВ

КИЕВСКАЯ РУСЬ И ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУССКОГО ФЕОДАЛИЗМА У М. Н. ПОКРОВСКОГО

Задача настоящей статьи—показать, как М. Н. Покровский изображает тот период истории России, который мы называем периодом существования Киевского государства, или «империи Рюриковичей», т. е. период вызревания и оформления феодальных отношений, показать, как представления М. Н. Покровского об этом предмете отразились на его схеме истории России домосковского и отчасти московского времени.

I. УПРАЗДНЕНИЕ М. Н. ПОКРОВСКИМ «ИМПЕРИИ РЮРИКОВИЧЕЙ»

Киевское государство, или «империя Рюриковичей»,—варварское государство, которое сумело подчинить себе огромные пространства, населенные различными народами, преимущественно восточными славянами. Это варварское государство сменило собой родовой строй с наличием многочисленных племен, находившихся в хроническом состоянии войны друг с другом и тем самым ослаблявших себя и делавшихся легкой добычей более сильных соседей. По сравнению с родовым строем период существования Киевского государства был периодом сплочения сил, грозных для окружавших его складывающихся или уже сложившихся государств.

Этот киевский период в истории нашей страны оставил глубокий след в памяти народа, запечатлелся в созданной самим народом истории, дошедшей до нас в форме былинного эпоса. Все известные богатыри древности стремятся в стольный Киевград, к киевскому князю Владимиру. Среди них народный любимец—крестьянский сын Илья Муромец. Он никогда не забывает того, что он крестьянский сын, за крестьян он готов драться и с самим Владимиром; но если враги грозят русской земле, Илья идет защищать ее вместе с другими богатырями. Илья не щадит врагов и не знает поражений. Он создает славу и Киеву и князю Владимиру.

Киевский период истории России не случайно очень ярко отображен в нашем былинном эпосе.

К. Маркс, указывая на значение киевского периода в истории

Восточной Европы, подчеркивает прежде всего беспрерывное возрастание «империи» с IX по XI столетие, которое вызывало тревогу в соседних государствах. Он проводит аналогию между империей Карла Великого и Киевским государством, считая роль этих двух варварских государств—одного—в истории Западной Европы, другого—в Восточной—в основном одинаковой. Эти империи были предшественницами европейских государств. После их распада начинают образовываться главнейшие современные государства в Западной и Восточной Европе. Маркс уделил большое внимание этому вопросу, у М. Н. Покровского мы обнаруживаем игнорирование столь большого политического факта нашей истории.

В важнейшем труде М. Н. Покровского—«Русская история с древнейших времен»—т. I Киевского государства совсем нет. М. Н. Покровский делает это вполне сознательно. В главе об «Образовании Московского государства» он пишет: «Говорить о едином «русском государстве» в киевскую эпоху можно только по явному недоразумению»[1]. Автор не только отрицает существование единого русского государства: он не признает в этот период наличия государства вообще. Трактуя о киевских смердах и опровергая точку зрения на смердов, как на «государственных крестьян», он прямо заявляет: «Там, где не было государства, трудно найти «государственное имущество» живое и мертвое»[2]. Никакой почвы для «единого» государства—и вообще государства, в современном нам смысле слова—здесь не было»[3]. И это суждение не случайно. В другом своем труде—«Очерк истории русской культуры»—он высказывается по этому предмету еще яснее. Он считает, что «общественные классы появляются... в истории (России.—*Б. Г.*) довольно поздно». Он относит появление классов к «XVI примерно столетию». А была ли какая-нибудь государственная власть и раньше?—спрашивает М. Н. Покровский и отвечает на этот вопрос: «Нет, не было, потому что те, сначала племенные, потом военно-торговые, позже феодально-земледельческие ассоциации, какие мы встречаем в России до образования Московского государства Ивана IV, весьма мало были похожи на то, что мы называем «государством»[4].

Такой ответ объясняется в значительной мере и тем, что автор исходит из немарксистского понимания государства. Он считает, что «отличительным признаком (государства.—*Б. Г.*) являются *единство территории и единство* верховной власти» (курсив Покровского.—*Б. Г.*). Дальше мы встречаем у Покровского совсем неожи-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. 1920, I, 170.

[2] Там же, 95.

[3] Там же, 81.

[4] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры. 3-е изд., ч. 1-я, стр. 245. На том же настаивает Покровский и в «Русской истории в самом сжатом очерке»: «Наказаний вначале не было, потому что городская Русь X—XI вв. еще не знала общественных классов» (4-е изд., стр. 22).

данные открытия. Оказывается, в государственное время «большая семья» или иначе «род нашей летописи» совпадает с понятием государства [1]. Нечего и говорить, как далеки эти взгляды Покровского на государство от определения основоположников и классиков марксизма [2].

Отрицая за Киевской Русью право называться государством, М. Н. Покровский все же немало страниц посвящает именно этому периоду истории России. Киевскую Русь он называет то «некоторым целым» [3], то «военно-торговой ассоциацией» [4], то «своеобразной формой военно-торговой республики» [5]. Наиболее пространное определение Киевской Руси у М. Н. Покровского следующее: «Великое княжение» Олега было временным соединением в руках одного лица власти над многими самостоятельными политическими единицами» [6]. Но несколькими строками ниже он своим разъяснением этой «самостоятельности политических единиц» в сущности аннулирует весь смысл своего утверждения: «...юридически ни Олег, ни Мономах,—пишет он,—никогда не упраздняли этой самостоятельности,—им, по всей вероятности, это и в голову не приходило, как не приходило в голову тогдашнему боярину, объединив в своей вотчине сотни крестьянских дворов, лишить, хотя бы один из них, его хозяйственной самостоятельности» [7]. Это сравнение власти киевского князя с властью боярина-вотчинника над своими крестьянами совершенно уничтожает приведенное выше определение Покровским политического строя федерации, потому что сущность феодальной вотчины и состоит именно в том, что хозяйственно самостоятельные крестьянские дворы благодаря внеэкономическому принуждению объединяются политической властью хозяина. Между хозяйственной и политической самостоятельностью огромная принципиальная разница, у М. Н. Покровского одно понятие подменяется другим.

Однако Покровский все же говорит и о «государственном строе» Киевской Руси, очевидно, позабыв свое категорическое отрицание не только государства, но даже почвы для его образования. «Федеративный» и «республиканский» характер древнерусского государственного строя,—пишет Покровский,—на самых ранних, из известных

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, 3-е изд., ч. 1, 244—245.

[2] Разбираемые книги Покровского написаны до появления в свет работ В. И. Ленина «Государство и революция» и «Лекция о государстве». Однако и в последующих изданиях М. Н. Покровского эти работы не использованы. Но в распоряжении М. Н. Покровского во всяком случае была книга Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».

[3] «Князья только представители некоторого целого, которое вовсе не думало отчуждать в их пользу все свои права» (М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 80).

[4] Там же, 81.

[5] Там же, 102.

[6] Там же, 80.

[7] Там же, 81.

нам, ступенях его развития устанавливается таким путем вполне определенно»[1]. Значит, Киевская Русь есть федерация республик, т. е. государство. Как Покровский пришел к этому выводу? В каком отношении этот вывод находится с отрицанием государства в этот же период? Чтобы проследить путь, которым шел М. Н. Покровский, мы должны будем прежде всего обратиться к его исходным положениям и проследить нить его рассуждений.

Несмотря на то, что М. Н. Покровский полемизирует с теми, кто до него считал торговлю осью, около которой вертелась вся политическая история киевского периода (Шторх, Ключевский), он сам является ярким последователем именно этого направления. Древняя Русь—это Русь «городская»[2]. Войны князей—это «своеобразная форма первоначального накопления торгового капитала»[3]. Сочетание войны, торговли и разбоя объясняет происхождение древне-русских городов, о которых Покровский говорит тоже очень сбивчиво: город у него то «военный стан» князя, то «просто стоянка разбойников, хоронивших здесь награбленное ими добро, которым они готовились торговать в чужих землях»[4], то Киев и Новгород у него—«мировые коммерческие центры»[5]. Если даже для Киева и Новгорода сделать исключение, хотя Покровский говорит о всех городах «великого водного пути» вообще, то остальные города оказываются зачисленными в «стоянки купцов-разбойников», в «типичные паразиты» по отношению к своей стране.

Чтобы проследить появление общественных отношений, существовавших в X—XI вв., М. Н. Покровскому надлежало бы вспомнить определение рода и его дальнейшей эволюции в работах Моргана и Энгельса. Но Покровский считает, что оперировать с родом и родовым строем значит возвращаться к идеалистическим теориям Соловьева и его последователей. Тут Покровский не учитывает того, что Соловьев и его последователи не выдумали рода, а только неправильно его трактовали.

На место рода и сельской общины-марки Покровский вводит «печища» XVI в., открытые А. Я. Ефименко на севере. Он убежден, что «в некоторых местах русской равнины географическая обстановка IX—X вв. сохранилась почти в полной неприкосновенности до очень позднего, сравнительно, времени: таковы были великорусский север, нынешняя Архангельская губерния до XVII в. и западнорусское Полесье до XVI приблизительно века»[6]. «Печище» на севере, «дворище» в Полесье Покровский принимает за остатки первобытного коммунизма и старается при помощи этих, несомненно, пережиточных

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 81.
[2] Там же, 110.
[3] Там же, 67.
[4] Там же, 69.
[5] Там же, 61.
[6] Там же, 13.

явлений объяснить далекое прошлое народов, образовавших «союз федеративных республик». «Печища и огнища» (иначе «дворища»), по мнению Покровского,—это уцелевшие на великорусском севере и в западнорусском Полесье осколки первобытной коммунистической общины, по которым можно судить о далеком прошлом русского народа вообще. «В дворищном землевладении мы имеем перед собою остаток подлинного коммунизма»[1],—пишет М. Н. Покровский. Но «к началу исторической жизни» славяне, по мнению Покровского, уже успели образовать патриархальную большую семью, где кровные элементы значительно разбавились пришлыми членами, принимавшимися по экономическим соображениям.

Эта «хозяйственная организация семьи,—пишет Покровский,—необходимо предполагала военную организацию для охраны продуктов хозяйства»[2]. Во главе этих организаций стоит «отец», глава, «самодержец в широчайшем значении этого слова». «Разрастаясь естественным путем, семья могла при благоприятных обстоятельствах сохранить свое хозяйственное единство... Так образовывалось племя, члены которого были связаны общим родством, а, стало быть, и общей властью»[3]. При этом глава семейства становился уже племенным князем. С другой стороны, «печище», по мнению Покровского, могло эволюционировать либо в вотчину, либо в город. Если «печищу» удавалось сохранить характер «самодовлеющего экономического целого», оно превращалось в вотчину. Если этого «основного экономического условия» не было,—образовывался город. Покровский старается убедить своего читателя в том, что город этого периода представлял собой совокупность «печищ» или «огнищ», которые вели коллективное хозяйство, но занимались не земледелием[4] и промыслами, а торговлей и разбоем. Так как торговля того периода была «разбойничьей» (Raubhandel), то отсюда и характеристика города как стоянки разбойников-купцов, как «паразита» по отношению к окрестной стране.

Эти «разношерстные», новые по отношению к «печищам» элементы, уверяет нас Покровский, не входили в туземные организации «печищ», а составляли особую «искусственную военную организацию», «сотню». Так рядом со «старцами градскими» появляются десятские, сотские и тысяцкие, которые начинают играть главную роль[5].

Покровский свою «городскую Русь» делит на два периода. Стоянкой разбойников-купцов русский город был, по его мнению, не всегда.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 81.
[2] Там же, 17 и 18; ср. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, Изд. т-ва «Общественная польза», I, 54, где С. М. Соловьев говорит о роде и неограниченной власти главы рода.
[3] Там же, 19.
[4] М. Н. Покровский убежден, что город IX—X вв. никогда не был связан с деревней.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 84.

«Разбойничья торговля, на которой зиждилось благополучие русского города», относится к периоду VIII—X вв.[1], после чего город, не переставая быть паразитом, приобретает черты демократической республики. Две «революции» (1068 и 1113 гг.)[2], из коих последняя, по мнению Покровского, «демократическая», «юридически закрепляют успех киевской народной массы, которая не даром с тех пор является полной хозяйкой на политической сцене». В доказательство своего вывода Покровский указывает на годы 1146—1147, которые, по его мнению, дают нам такую полную картину «народоправства», какой мы не найдем и в источниках новгородской истории. (На самом же деле едва ли можно тут найти сколько-нибудь заметные следы «народоправства»; выступления народные были в Новгороде нередки, иногда они имели грозный характер, но народ в управлении страной участвовал весьма и весьма относительно.)

Киевскую Русь и после X в. Покровский трактует как Русь городскую, паразитическую, лишь весьма медленно «перегнивающую» в Русь деревенскую. Покровский считает, что своеобразный городской строй, существовавший в Киевской Руси, сохранился почти целиком до татарского погрома. Только «татарский разгром одним ударом закончил» этот процесс[3], причем «ничего иного, кроме распадения города, здесь не требовалось»[4].

Таким образом, вместо Киевского государства М. Н. Покровский устанавливает в общей схеме истории России особый период господства «городской власти» и «городского права»[5] в противоположность следующему периоду—татарскому и московскому, где, по мнению Покровского, утверждается деревня и «право деревенское»[6]. Этот период «городской волости», у Покровского, заменяет собой период Киевского государства.

Есть ли основания для того, чтобы в какой-либо мере согласиться с положениями Покровского? Мне кажется, что таких оснований нет. Прежде всего все имеющееся в нашем распоряжении материалы опровергают положение Покровского о том, что Киевская Русь была бесклассовым обществом. Так, например, в «Русской Правде», даже в древнейшей ее части, мы находим наличие классов; в «Правде» Ярославичей приблизительно середины XI в. мы находим господ и зависимое от них население—рабов и нерабов; в летописных сообщениях о X—XI вв. также имеется много убедительных материалов о наличии классов и о классовой борьбе. Если же оказывается несостоятельным тезис Покровского, что Киевская Русь была бескласс-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 96—97.
[2] М. Н. Покровский злоупотребляет термином «революция» и в других своих работах по истории древней России.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 105.
[4] Там же, 102.
[5] Там же, 172.
[6] Там же, 96.

совым обществом, отпадает и его утверждение, что Киевская Русь не была государством.

Нет также достаточных аргументов и в защиту представления Покровского о Киевской Руси, как «Руси городской», в том смысле, как она у него обрисована. В наличии городов в IX—XI вв. на территории Киевского государства сомневаться не приходится: 30 названий городов известны нам из разных исторических источников этого периода, но и этими названиями далеко не исчерпывается список существовавших тогда городов. Известно также, что города эти были не только стоянками разбойников-купцов, а ремесленными и торговыми пунктами и выполняли также военные и административные функции, т. е. играли крупную политическую роль.

Возникновение города есть показатель определенной ступени в развитии общества. Покровский, строя свою схему, игнорирует факты. А между тем письменные источники и памятники материальной культуры позволяют нам говорить о возникновении городов в Восточной Европе в результате того же самого экономического и политического процесса, который протекал и в Западной Европе, если не считать тех городов Западной Европы, которые она унаследовала от Римской империи. Археологические данные дают возможность говорить о том, что наши города древнего периода имели связь с окружающими их деревнями и селами, что эти города были не только торговыми пунктами, но и производственными ремесленными центрами.

Ключевский, внушивший Покровскому идею о городской Руси, рассуждает несколько осторожнее своего горячего последователя. Ключевский, собственно говоря, грешен тем, что он внешнюю торговлю делает первопричиной возникновения городов. Но, во-первых, он оперирует только шестью крупными городами, во-вторых, он не видит столь резкого разрыва между городом и деревней. Покровский же не только построил свою схему на самом слабом положении Ключевского, но и довел его до абсурда. Покровского и Ключевского в представлении о городах IX—X вв. объединяет то, что оба они считают происхождение наших городов не результатом внутреннего развития, а следствием внешнего толчка, следствием движения на юг норманнов, «типичных представителей разбойничьей торговли» [1].

Исходя из этих основных положений, Покровский идет по тому же пути еще дальше Ключевского и оказывается в чрезвычайно затруднительном положении, для выхода из которого требуется совершенно исключительное средство. Понадобилось татарское нашествие, которое, по мнению Покровского, разрушением городов-паразитов облагодетельствовало Русь и вернуло ей ее, так сказать, нормальный облик. На самом же деле наличие городов в Киевской Руси

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 54.

не дает нам никаких оснований для признания за городами той роли, какую отвел им Покровский, а также и для отрицания значения деревни. В средние века деревня политически доминирует над городом, потому что, в конечном счете, в городе хозяевами положения являются бояре, могущество которых корнями уходит в деревню. Этот тезис остается в силе и для государства Киевского. Непоколебимым остается и представление Маркса о Киевском государстве как о политическом образовании, аналогичном империи Карла Великого [1].

Неправильное положение Покровского в этом важном вопросе тем удивительнее, что он в другом месте того же своего труда признает наличие бояр, крупных землевладельцев и в X и XI вв., признает и их политическое значение, говорит он и об угнетенных бедняках в Киеве. Разве это не классы? Разве это не база для государства?

Города Киевского государства имеют свою историю, показывающую рост экономической и политической жизни в стране. Покровский проводит неправильную, ненаучную мысль о необходимости уничтожения киевских городов для дальнейшего роста нашей страны, тогда как удар, нанесенный этим городам татарскими ханами, был ударом по экономике нашей страны и политическому ее положению, ударом, надолго задержавшим дальнейшее ее развитие.

Покровский не понял Киевской Руси. Не понял он и дальнейшего хода истории России. Иначе он не мог бы утверждать, что история Московского государства и история «империи Рюриковичей»— это не этапы в развитии одного и того же процесса, а два параллельных процесса.

II. ДЕРЕВНЯ М. Н. ПОКРОВСКОГО В ПЕРИОД ЕГО «ГОРОДСКОЙ РУСИ» И ВОПРОС О ФЕОДАЛИЗМЕ В РОССИИ

Процесс феодализации земледельческого общества прежде всего выражается в создании таких общественных отношений, при которых крупные земельные собственники монополизируют право на землю и присваивают себе право на труд непосредственного производителя, владеющего всеми условиями производства, кроме земли. Класс феодалов прибегает для этого главным образом к внеэкономическому принуждению. Последнее достигается либо при помощи открытого насилия, либо через органы государства, т. е. организованной власти землевладельцев-феодалов.

М. Н. Покровский в своей «городской Руси» уделяет деревне очень незаметное место. Деревенская Русь и победа деревенского права, по Покровскому,—явление более позднего времени. В то же время, когда процветали города, паразитировавшие за счет деревни, деревня в изображении Покровского не играет никакой сколько-нибудь существенной роли.

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII в.

«Крупное землевладение,—пишет Покровский,—в России мы встречаем уже в очень раннюю эпоху. Более полная редакция «Русской Правды» в основном своем содержании никак не моложе XIII в., а отдельные ее статьи и гораздо старше. А в ней мы уже находим крупную боярскую вотчину с ее необходимыми атрибутами: приказчиком, дворовой челядью и крестьянами, обязанными за долг [1] работать на барской земле («закупами»). «Боярин «Русской Правды»,—прежде всего крупный землевладелец» [2]. Стало быть, уже в XII—XIII вв. Покровский видит наличие крупного землевладения. Если его в этом убеждает пространная «Русская Правда», то нельзя не высказать удивления, почему он игнорирует «Правду» Ярославичей середины XI в., откуда пространная «Правда» заимствовала основной материал о крупной вотчине. Это тем более удивительно, что сам Покровский считает бояр даже первой половины X в.—времени договоров Руси с греками—тоже крупными землевладельцами [3].

Если признать наличие крупного земвлевладения в X—XI вв., что, в конечном счете, и делает Покровский, «печищам» и «дворищам» приходит конец, по крайней мере в тех районах, где боярство успело освоить землю, поскольку сам Покровский говорит о дроблении «печища» как «показателя того способа, каким возникала крупная вотчинная собственность древней Руси» [4]. Но городская Русь у него начинает «перегнивать» в деревенскую сколько-нибудь заметным образом только при татарах и при их содействии.

Приходится недоумевать, когда Покровский, сделав свое заключение о сравнительно раннем появлении крупного землевладения в России и именно на основании ясных показателей «Русской Правды», сейчас же словно забывает об этом и совершенно спокойно принимает трактовку «Русской Правды» по Ключевскому.

Ключевский считает, что общественная среда, которая выработала право, послужившее основанием «Русской Правды»,—это «большой торговый город». Село в «Русской Правде» остается в тени, на заднем плане. «Русская Правда» есть по преимуществу уложение о капитале» [5]. Покровский просто его повторяет: «Правда Русская»,—говорит он,—сложилась в чисто городской обстановке, она не занимается сельскими жителями» [6]. Этот тезис, очевидно, и для Покровского и для Ключевского имеет решающее значение: если «Русская

---

[1] Покровский не признает, что некоторая часть крестьян уже в это время работала на своего хозяина не только за долг.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 27—28. Вопреки мнению Покровского, основной костяк пространной «Правды» относится не к XIII, а к XII в.

[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 62.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 37.

[5] В. О. Ключевский. Курс русской истории, изд. 1914 г., ч. 1-я, стр. 304—306.

[6] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 82.

Правда» действительно выросла в городе и для горожан, тогда исходный пункт их дальнейших рассуждений не должен вызывать сомнений. Ну, а что, если это совсем не так, если «Русская Правда» имеет в виду больше всего и прежде всего деревню? Тогда построение Покровского и Ключевского рушится само собой не только в основном своем костяке, но и во всех деталях.

Не трудно доказать, что «Правда» Ярославичей действительно имеет дело преимущественно с деревней. Она изображает крупную вотчину с мертвым и живым, в том числе и человеческим, инвентарем. Можно думать, что это—специальное законодательство о княжеских вотчинах, распространяемое, однако, и на всякую крупную вотчину. Так как «Правда» Ярославичей относится приблизительно к середине XI в. и так как в ней изображается вотчина в уже сформированном виде, то возникает вопрос о том, когда же она успела приобрести такие яркие черты. Само собой разумеется, что для этого необходимо время. Следовательно, и в «Правде» Ярослава, памятнике значительно более раннем, необходимо признать наличие вотчины, хотя бы и не в столь законченном виде.

В пространную «Правду» в основном вошло все законодательство «Правды» Ярославичей о вотчине и получило тут несколько дополнений. Между прочим в пространной «Правде» имеется ценнейшее указание на то, что закон, трактующий о княжеской вотчине, распространяется и на вотчину боярскую. Устав Мономаха еще больше расширяет наше представление о вотчине.

Конечно, в «Правдах» отражен и город, но ни одна из них, ни в коем случае городским кодексом названа быть не может. «Правды» отражают различные этапы в развитии киевского общества, занявшего территорию в бассейнах Волхова—Днепра, причем и деревне и городу там отведено соответствующее место. Есть полное основание утверждать, что боярство, живущее часто около князя в городе, было сильно именно своей связью с деревней. Здесь корни их экономической мощи и политического значения. Поэтому не удивительно, что «Русская Правда» так много внимания уделяет именно деревне. Она не является исключением среди известных нам европейских варварских «Правд». Ни о каком специальном периоде, когда господствовал город со своим особым городским правом, противополагаемым праву деревенскому, здесь речи нет.

При изучении общественных отношений древней Руси прежде всего возникают вопросы об общине, о появлении частной собственности на землю, об образовании крупного землевладения и судьбе в процессе феодализации общества мелкого производителя-крестьянина. У Покровского мы находим весьма сбивчивые замечания по этим вопросам.

Все наши археологические и письменные источники позволяют признать совершенно правильным утверждение Покровского о том, что «в нынешней Московской или Владимирской губерниях существо-

вало земледелие с незапамятных времен»[1]. Почему бы Покровскому не проверить этого своего утверждения и не продолжить изучение земледелия и в других районах Киевского государства? Несомненно, Покровский должен был бы придти к тем же выводам и о Поднепровье. Но он колеблется: с одной стороны, он принимает на веру мнение Ключевского о том, что «славяне исстари были народом промысловым и промыслы их были преимущественно, если не исключительно, лесные»[2]; с другой стороны, он склонен признать и показания письменных источников. «Если мы,—пишет он,—обратимся к древнейшим письменным свидетельствам о восточных славянах, к древнейшим текстам, мы найдем в них полное подтверждение приведенной выше характеристики этих славян как народа земледельческого, но стоящего в то же время на очень невысокой степени культуры»[3]; и тут же, через одну страницу, опять возвращается к Ключевскому: «Характер славян как лесного народа, живущего, между прочим, и даже на первом месте, *бортничеством* (курсив автора.—*Б. Г.*) также выступает у арабского географа очень выпукло»[4]. (Покровский имеет в виду Ибн-Даста, показания которого о земледелии у славян он приводит.) Несмотря, однако, на эти колебания, Покровский отмечает, «что земледелие было у славян занятием далеко не второстепенным». Он пишет: «Для XII века мы имеем уже несомненные свидетельства того, что пахота с помощью лошади была общераспространенным явлением в южной Руси». Если для XII в. сторонник промысловой Руси считает возможным признать земледелие при помощи лошади, а значит, и соответствующего пашенного орудия общераспространенным,—это очень много значит. Несомненно, Покровский вспоминает здесь речь Владимира Мономаха на Долобском съезде, где Мономах так ярко нарисовал идущего за своим конем пахаря-смерда. Но ведь Долобский съезд—это самое начало XII в. Почему же не признать пашущего конем смерда и для XI и для X вв.? Ведь в «Правде» Ярославичей смерд имеет своего коня, и, конечно, конь ему нужен не для чего иного, как именно для пашни.

Несмотря на все это, М. Н. Покровский продолжает игнорировать деревню. Но как ни старается он отодвинуть деревню на второй план, деревня сама заставляет о себе говорить, стремится занять принадлежащее ей по праву место. Говоря о своих городских демократических республиках, Покровский между прочим указывает, что в городах, возглавлявших эти республики, князья были «наемными сторожами», те же князья в деревне были хозяевами-вотчинниками. По мнению Покровского, это и была «политическая антиномия», которую приходилось разрешать Киевской Руси. Покровский считает, что вопрос: какое из двух прав—городское или деревенское—возьмет верх, «в даль-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 6.
[2] Там же, 9.
[3] Там же.
[4] Там же, 11.

нейшем развитии был роковым для всей судьбы русских республик»[1]. Не трудно представить себе всю безнадежность этой «антиномии» в самой схеме Покровского.

Признавая наличие княжеского землевладения в довольно раннее время и детально разрабатывая вопросы организации вотчины, Покровский, казалось бы, должен был правильно понять и развитие феодальных отношений в России. Но заранее усвоенная точка зрения на этот процесс мешает ему видеть то, что отражено в наших источниках. Он твердо верит в особые пути развития русской деревни.

«Здесь (в Западной Европе.—*Б. Г.*),—пишет он,—картина рисуется приблизительно такая. В самом начале оседлого земледелия земля находится в руках тех, кто ее обрабатывает... Исходной формой поземельной собственности была собственность не личная, а общинная. Мало-по-малу, однако же, общинная собственность разлагалась, уступая место индивидуальной; параллельно с этим шла диференциация и среди самого населения общины. Более сильные семьи захватывали себе все больше и больше земли, более слабые теряли и ту, что была в их руках первоначально, попадая в экономическую, а затем и в политическую зависимость от сильных соседей. Так возникла крупная феодальная собственность. Для некоторых стран—Англии, например,—свободная община как первичное явление, феодальное имение, как вторичное, позднейшее, считаются в настоящее время доказанными. О России этого никак нельзя сказать»[2]. Почему? Потому что вопрос о русской общине, по мнению Покровского, еще не решен. М. Н. Покровский тоже его не решает и не может решить, потому что он считает одним из наиболее типических признаков общины—переделы. А так как переделов в древней Руси, как это прекрасно показано у Павлова-Сильванского[3], не было, то и русскую общину Покровский берет под сомнение и делает следующее заключение: «...у нас феодализм (и крупное землевладение как неотъемлемая его принадлежность.—*Б. Г.*) развился непосредственно на почве того коллективного землевладения, которое мы определили как первобытное,—землевладения «печищного» или «дворищного»[4]. Так как, по мнению Покровского, «в печище не было индивидуальной собственности», а это была «коммуна», то Покровский видит своеобразие русского исторического процесса прежде всего в том, что Россия, обойдя сельскую общину, сделала непосредственный скачок от первобытного коммунизма к феодализму. Как это произошло, у Покровского указаний нет.

Источники, и среди них прежде всего «Русская Правда», говорят нам о том, что Россия развивалась совершенно так же, как и другие европейские страны, что и ей была известна сельская община—марка.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 96.
[2] Там же, 34.
[3] Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в удельной Руси. 1910, стр. 105, 120 и сл.
[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 35.

Покровский почему-то не обратился непосредственно к этим источникам. А между тем уже тогда, когда Покровский писал свою книгу, было известно мнение Энгельса о русской сельской общине. «Только около десяти лет тому назад,—пишет он,—было доказано существование таких больших семейных общин и в России; теперь все признают, что они столь же глубоко коренятся в русских народных обычаях, как и *сельская община* (курсив мой.—*Б. Г.*). Они упоминаются в древнейшем русском своде законов, в «Правде» Ярослава, под тем же самым названием (вервь), как в далматских законах; их можно также найти в польских и чешских исторических источниках»[1]. Покровскому, который считал себя марксистом, конечно, следовало бы знать и мнение Маркса о русской общине. Маркс дал точный ответ на этот вопрос. Он писал, что все в русской общине «абсолютно, *до малейших деталей*, тождественно с *первобытной германской* общиной»[2]. Еще яснее он высказывался по этому предмету в письме к Засулич. Не учел Покровский и работы Павлова-Сильванского о русской общине и его критических замечаний на исследование А. Я. Ефименко. Отсюда у Покровского и отрицание общины-марки, ничем не аргументированное, построенное на игнорировании источников и работ своих предшественников.

Не будь этого крупного и произвольного допущения, Покровский, может быть, избежал бы многих других ошибок и прежде всего противопоставления русского исторического процесса западноевропейскому.

Отрицая наличие в древней России общины-марки, Покровский неправильно подходит к дальнейшей истории деревни и к вопросу о крестьянстве в России.

Крупное имение без крестьян—это то же, что фабрика без рабочих,—говорил Покровский. Это, конечно, бесспорная истина. Но как представляет себе Покровский имение древнерусского вотчинника (князя, боярина, монастыря и т. п.)? Как Покровский подходит к вопросу о рабочей силе древнерусской вотчины, т. е. к крестьянству?

«Общее название для массы сельского населения в древне-русских памятниках—«смерды»[3],—замечает Покровский. Но вопрос о смердах ему представляется очень простым: по его мнению, «тексты дают нам довольно отчетливые признаки их юридического положения». «Нужна была обширная литература,—говорит он,—чтобы создать «вопрос» о смердах»[4]. Для Покровского это, стало быть, вопрос в кавычках. Смерд для него—это лишь крестьянин-данник. Дань—«коренной признак» смерда[5]. Но дальнейшие наблюдения Покровского над смердами показывают, что дело совсем не так просто. Покровский,

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1-я, стр. 42.
[2] Там же, XXIV, 126—127.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 93.
[4] Там же.
[5] Там же, 95.

например, обращает внимание на то, что «в дипломатических переговорах «смерд» оказывается чем-то вроде княжеского холопа», что о смердах спрашивают, чьи они, между тем как о свободном горожанине нельзя было задать такого вопроса. Покровский устанавливает «более тесную зависимость смердов от княжеской власти», но успокаивается на том, что эта зависимость и есть нахождение смердов под данью. «Положение смерда как данника и делало его специально княжеским человеком»[1]. Это, конечно,—не решение вопроса, потому что Покровский не показывает самого важного: в каком отношении находился древнерусский крестьянин—смерд к крупным вотчинникам вообще? Покровский даже и не упоминает о том, что не только в дипломатических переговорах, но и в «Русской Правде» середины XI в. среди рабочего инвентаря крупного имения смерд и холоп тоже поставлены рядом. Следовательно, и тут смерды трактуются как «что-то вроде холопа». Только в примечании к перечню «возможных рабовладельцев» в Киевской Руси («князь, боярин, монастырь») в «Очерке истории русской культуры» Покровский, упоминая об известном спорном месте в «Правде» Ярославичей, говорит: «Благодаря ошибке переписчика в одном из списков «Русской Правды» получилась возможность говорить о «смердьем», т. е. крестьянском, холопе. Но увы! На самом деле данное постановление доказывает лишь, что крестьянин и холоп в глазах древнерусского закона имели одну и ту же цену»[2]. Так как Покровский не выделяет особой категории смердов, то можно подумать, что он здесь говорит о всех смердах, но тогда возникает естественный вопрос о том, как быть с приведенным выше определением смерда как данника.

Как же все-таки Покровскому рисуется положение с рабочей силой в крупном имении? Он говорит, что крупное землевладение раннего периода сочетается с мелким хозяйством: «Каждая отдельная деревня (входящая в состав крупной вотчины.—*Б. Г.*), каждый отдельный крестьянский двор... пахали свой отдельный участок земли, а сам вотчинник со своими холопами довольствовался одной «деревней» или немногим больше»[3]. У этого хозяйственного типа есть одно существенное сходство... «с печищем» или «дворищем». И там и тут данная хозяйственная группа стремится удовлетворить все свои потребности своими средствами, не прибегая к помощи извне и не нуждаясь в ней. Но есть и очень существенное различие: там плоды общего труда шли «тем, кто сам же трудился: производитель и потребитель сливались в одном тесном кружке людей. Здесь производитель и потребитель отделены друг от друга: *производят отдельные мелкие хозяйства, потребляет особая группа—вотчинник с его*

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 96.
[2] М. Н. Покровский. Очерки истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 45.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 29.

дворней, чадами и домочадцами» (курсив мой.—*Б. Г.*) [1]. Это уже типичная феодальная вотчина. Покровский ее так и называет, но не делает отсюда соответствующих выводов. Он знает, что мелкие хозяйства, обязанные кормить боярина-феодала,—это крестьянские, смердьи хозяйства, находящиеся под властью вотчинника, что не один князь является вотчинником, и все-таки продолжает уверять нас, что смерд—это княжеский данник, тогда как совершенно очевидно, что называть эти обязанности крестьян по отношению к своим вотчинникам «данью» нельзя. В определении смерда, сделанном Покровским, отразилась его трактовка процесса возникновения и развития феодальных отношений. 47-я глава «Капитала» не оказала на него никакого влияния. Он остался грубым экономическим материалистом, и только в одной из совсем поздних своих статей он встал в этом вопросе на более правильный путь [2].

Конечно, одним признаком обложения данью юридическая природа смерда не может быть определена: вопрос гораздо сложнее, чем думает Покровский. Смерд—это настоящий крестьянин, который может быть и свободным и зависимым, может быть и княжеским, и боярским, и церковным.

У Покровского такая манера излагать свои мысли, что не всегда легко разобрать, к какому периоду он относит свои рассуждения о тех или иных явлениях. В данном случае свои выводы о вотчине Покровский иллюстрирует фактами из новгородских писцовых книг XV в. и из других источников еще более позднего происхождения. Но, поскольку он считает крупную вотчину одним из необходимых элементов феодализма и полагает, что феодализм в России вырос «непосредственно» вслед за первобытным коммунизмом, мне кажется, мы имеем основание отнести вотчинные порядки, нарисованные Покровским, и к раннему периоду феодализма. Тем более что «мужей» времени договоров с греками он считает крупными землевладельцами.

Совершенно несомненно, что часть смердов, именно смерды, вошедшие со своими дворами и деревнями в вотчину, была людьми зависимыми; возможно, эта зависимость имела особый характер. Но не требует никакого доказательства то обстоятельство, что феодальная вотчина немыслима без зависимого крестьянства.

Ошибки Покровского в этом вопросе не ограничиваются его неправильными заключениями по поводу положения смердов. В вотчине—на барской пашне, в барском хозяйстве—работали не только смерды, но и другие категории зависимого населения, вынужденные работать на своего господина. М. Н. Покровский из этой категории вотчинных людей останавливается лишь на закупах.

По мнению Покровского, закупничество есть результат деятель-

---

[1] М. Н. Покровский. Русск. ист. с древнейших времен, I, 31—32.
[2] М. Н. Покровский. Марксизм и особенности исторического развития России. 1925, стр. 84.

ности капитала в деревне[1]. Покровский видит аналогию между известным процессом на севере России с его черносошным крестьянством XVII в. и Киевской Русью в том, что здесь и там он находит независимое от землевладельцев крестьянство. Процесс образования крупной земельной собственности на русском севере XVII в. путем поглощения мелкого землевладения Покровский рассматривает как образчик такого же процесса, отраженного в «Русской Правде» XIII в.[2] и Псковской грамоте XV в. «Русская Правда»,—пишет Покровский,—знает уже особый разряд крестьян, очень смущавший всегда наших историков-юристов. Это так называемые закупы. Они занимали промежуточное положение между свободным крестьянином, «смердом» и холопом и превращались в холопов с большою легкостью».

М. Н. Покровский не удовлетворяется таким расплывчатым определением и пытается представить хозяйственную и правовую природу закупа, но и тут он впадает в противоречия и, в конце концов, наделяет закупа следующими чертами: это крестьянин, имеющий «лично ему принадлежащую лошадь и свое собственное имущество, в том числе и земельный участок» и «какое-то собственное хозяйство». В то же время это крестьянин, вынужденный для уплаты долга работать на барщине и настолько утративший «свою самостоятельность, что на суде стоял почти на одном уровне с холопом». Если мы обратимся к «Русской Правде», единственному (если не считать «Митрополичьего Правосудия») источнику, сравнительно полно рисующему положение закупа в древнерусском обществе, то мы найдем там совершенно иную характеристику закупа.

Дело в том, что у закупа нет имущества: ни коня, ни плуга, ни даже бороны. Это недавний крестьянин, который разорился настолько, что продолжать свое крестьянское существование уже не может и вследствие этого вынужден идти в кабалу. Он получает от хозяина некоторую сумму денег (вероятно, это и есть «купа», как полагают М. Н. Покровский и ряд его предшественников, включая и Карамзина)[3] и начинает работать на своего господина в господском хозяйстве: господским конем пашет господскую землю, ухаживает за господским скотом и пр. Положение его действительно довольно близко к холопу, хотя он и не холоп. Это, по терминологии «Русской

---

[1] «Что капитал работал не только в городе, а и широко вокруг него, об этом мы можем судить по развитию среди сельского населения закупничества» М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 88.

[2] М. Н. Покровский без всяких на то оснований относит «Русскую Правду» к XIII в. На самом деле, хотя отдельные части «Русской Правды» и возникли разновременно, но тем не менее хронологически дальше XII в. ни одна из ее частей не восходит, если, конечно, не считать отдельных вставок.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 43. Очень интересна попытка объяснить один из вариантов термина «купа»—«хова»; см. Н. А. Максимейко. О закупах «Русской Правды».

Правды», «закуп ролейный». Есть закупы не ролейные, т. е. такие, которые работают не на господской пашне, а выполняют другие поручения своего господина и даже живут, быть может, в городских барских усадьбах. Таким образом, становится понятным, что именно гонит недавнего крестьянина в кабалу—крайняя нужда, полная невозможность вести свое собственное хозяйство.

Возникает вопрос: мог ли хозяин, крупный землевладелец, ограничиться трудом холопов и закупов? Если речь идет о собственной, небольшой для того времени, барской запашке, то, быть может, и мог, но ведь мы прекрасно знаем, что крупное землевладение того периода всегда сочеталось с мелким хозяйством, что крупный землевладелец—феодал—всегда стремился расширить свои владения именно с тем, чтобы возможно большее количество мелких крестьянских хозяйств, способных отдавать хозяину часть своего продукта или труда, включить в состав своей вотчины.

Дав правильную картину организации феодальной вотчины, М. Н. Покровский проглядел в феодализме одну очень важную черту—именно специфическое для феодализма положение крестьянина.

Отмечая три основных признака феодализма: господство крупного землевладения, связь с землевладением политической власти и наличность известной иерархии землевладельцев [1],—Покровский опускает наиболее существенный признак феодализма—зависимость крестьянства. «Пропуск» объясняется тем, что М. Н. Покровский в данном случае шел за нашими историками-юристами значительно послушнее чем, например Павлов-Сильванский, для которого, несмотря на то, что он тоже принадлежал к школе историков-юристов, было ясно, что при феодальных отношениях совершенно неизбежна та или иная степень зависимости крестьянина.

Послушно следуя за плеядой крупных историков-юристов, замыкаемых блестящей фигурой В. О. Ключевского, Покровский продолжает говорить о задолженности крестьянина как источнике крепостничества и фактически исключает внеэкономическое принуждение. Идя за Ключевским, Покровский вопрос о возникновении крепостного права относит к XVI—XVII вв. Это «закрепощение,—пишет он,—было заключительным моментом длинной драмы», а «сейчас», т. е. как раз в период возникновения и разрастания феодальных отношений, «мы,—продолжает Покровский,—еще довольно далеки от этого момента» [2]. Другими словами, Покровский оказался несостоятельным защитником феодализма в России.

Неверно поняв весь процесс древнейшей истории нашей страны, начиная с представления о сущности родового строя и крестьянской общины, он неверно представил и весь феодальный период. К тому же он неправильно понимает самую сущность феодальных общественных

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 27.
[2] Там же, 44.

отношений. Некоторые его утверждения поистине удивительны. То он говорит, что Россия от первобытного общества непосредственно перешла к феодализму, характерным признаком которого он сам считает крупное землевладение, уже существовавшее в X в., то вдруг оказывается, что в X—XI вв. у нас еще не было классов.

III. ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ «ГОРОДСКОЙ РУСИ» М. Н. ПОКРОВСКОГО

В «Очерке истории русской культуры» М. Н. Покровский период Киевского государства называет «блестящим моментом» нашей истории, высокая материальная культура которого выдерживает сравнение с современной ей западноевропейской, что, однако, не мешает ему настаивать на отсутствии классов в этот период. Но так как труд Покровского, можно сказать, соткан из противоречий, то не приходится удивляться тому, что он довольно подробно изображает государственный строй того общества, государственное бытие которого сам же отрицает.

Для Покровского не имеет значения тот факт, что на Волхове приблизительно к середине IX в. уже успел образоваться некий политический центр, объединивший северозападных славян (ильменских и кривичей), народы Прибалтики (чудь) и северные народы мерю и весь, что эти народы в то время с переменным счастьем уже вели борьбу со скандинавами, что Рюрик, что возможно вполне, был приглашен на помощь одной из борющихся сторон в сложной обстановке рождающегося государства, подобно тому как и позднее варяжские дружины приглашались на помощь борющимися сторонами в том же Новгороде. Не интересует его и несомненный факт еще более сложной истории южной Руси, известной греческим источникам альтернативно то под термином «скифы», то под термином ῥῶς. Он готов признать под Куябой Ибн-Даста Киев, но не делает из этого никаких выводов. Покровский совершенно игнорирует факт нашествия Руси или скифов на Византийское побережье Русского (Черного) моря и на самый Константинополь, старые связи южной Руси с хозарским царством, наличие Руси на Северном Кавказе. Вместо учета всех этих событий, без которых нельзя понять образования Киевского государства, Покровский довольствуется очень поверхностным разбором легенды о призвании Рюрика и двумя-тремя весьма сомнительными замечаниями о князьях Рюриковичах. Читатель, не имеющий возможности пользоваться источниками, желающий познакомиться с фактами древнерусской жизни по книге Покровского со столь многообещающим заголовком, несомненно, будет введен в заблуждение.

Как ни мало интересуется М. Н. Покровский конкретной политической историей своей «городской Руси», он все же не может пройти мимо самых показательных сторон ее политической организации. Я имею в виду вече и князя—предметы, которым М. Н. Покровский отводит довольно значительное место и о которых им высказано

много оригинальных, но, к сожалению, далеко не всегда верных замечаний.

1. *Покровский о древнерусском князе.* «Сторож в городе, вотчинник в деревне»—эта характеристика положения князя, отчасти навеянная Ключевским [1], кажется недостаточной и самому М. Н. Покровскому. Он старается показать древнерусского князя с различных сторон, но все же «военный сторож» у него доминирует.

По мнению М. Н. Покровского, князья только воевали и «рубили города». «Ни одного факта внутреннего строительства ни для Рюрика, ни для его ближайших преемников,—пишет Покровский,—летописец привести не сумел: то немногое, что мы от него узнаем, сводится к тому, что Рюрик «срубил город над Волховом» и продолжал то же в других местах, везде «срубая города» и ставя в них варяжские гарнизоны. Олега, Игоря, Святослава мы встречаем опять-таки лишь в роли руководителей военных действий..., и лишь по поводу Ольги мы узнаем кое-что о внутренней работе княжеской власти, но эта внутренняя работа сводилась к установлению «даней и оброков»... Чтобы найти князя-реформатора, так или иначе пытавшегося установить в земле порядок, нам нужно подняться до первой половины XII столетия, где в лице Владимира Всеволодовича мы и найдем, по всей вероятности, оригинал портрета, в различных вариантах повторяемого летописью» [2]. Покровский считает, что летописец изображал всех древнерусских князей по образу и подобию единственного известного ему Владимира Всеволодовича Мономаха. Но оказывается, что и этот «реформатор»—прежде всего «храбрый и удачливый генерал». Ну, а раз «генерал», значит, для роли реформатора и он не годится. Да и не нужны эти реформаторы, так как «внутренний порядок население умело поддерживать само: когда в Новгородской земле суд вечевого города сложился в свою окончательную форму, княжеская инициатива из него была вовсе устранена». «И в XIII в. как и в IX князь был нужен, прежде всего другого, для ратного случая» [3].

М. Н. Покровский не допускает мысли, что князь мог быть нужен не только для ратного случая, что он вырос как историческая необходимость, что князь возглавлял государство, т. е. организованное господство одного класса над другим, что он не мог отказаться от «внутренней» деятельности, поскольку существование князя вызвано было борьбой классов и оправдывалось наличием этой борьбы. Наконец, и «ратный случай», о котором Покровский склонен говорить

---

[1] О «военном найме» князей, о «наемных охранителях», «наемниках» Ключевский говорит не раз, между прочим в «Курсе русской истории», 1918, I, 166.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 77—78.

[3] Там же, 78—79.

с явным пренебрежением, требует к себе более внимательного и более научного отношения.

Читатель вправе требовать серьезного освещения истории «империи Рюриковичей», включая сюда и войны. Грубо и варварскими средствами сколоченное государство Рюриковичей было все же явлением более прогрессивным по сравнению с тем состоянием Руси, о котором повествует Маврикий, когда все мелкие племенные славянские начальники (а их было множество) воевали друг с другом беспрерывно, ослабляли друг друга и легко делались добычей более сильных соседей. Не даром византиец Маврикий советовал поддерживать среди славян именно этот строй, выгодный для Византии, не даром он боялся, как бы «общая война не спаяла их под одну власть».

История Новгорода периода республики говорит нам лишь о перемещении государственных функций, а не об их упразднении или их отсутствии. Вече и его аппарат в данном случае до некоторой степени заменили князя, поскольку новгородское боярство нашло эту форму своего господства более соответствующей своим интересам.

Вместо того чтобы изучить происхождение и эволюцию княжеской власти в связи с происходящими изменениями в общественных отношениях, М. Н. Покровский ограничивается только некоторыми вскользь брошенными сомнительного свойства замечаниями. «Настоящие князья,—говорит он,—не потомки местных патриархальных владык, а люди, пришлые из Швеции» (это варяги). Они пришли «с родом своим», что Покровский понимает как «переселение целого небольшого племени», а не как прибытие Рюрика со своими родственниками.

Если «настоящие князья»—варяги, то, стало быть, местные князья ненастоящие. Что же это за князья? В каких они отношениях находятся к «настоящим»? На эти вопросы мы у Покровского ответа не находим [1].

Много внимания М. Н. Покровский уделяет появлению новой династии, «призванию» Рюрика.

Чтобы объяснить это событие, Покровский рекомендует придерживаться летописного предания, но сам толкует этот летописный текст весьма произвольно: новгородские славяне «приняли к себе на известных условиях одного из варяжских конунгов с его шайкой с тем, чтобы он оборонял их от прочих норманских шаек» [2], у славян «был заключен р я д с Рюриком и братьями» [3] (термином «призвание» автор пользуется несколько ниже), а дальше оказывается, что все это и есть не что иное, как «завоевание». Зато Покровский, буквально

---

[1] Впрочем, в другой своей книге М. Н. Покровский трактует историческую роль князя иначе и, нужно сказать, лучше. Он указывает на то, что князь стал «сторожем» только приблизительно в XII в. («Очерк истории русской культуры», 248).

[2] М. Н. П о к р о в с к и й. Русская история с древнейших времен, I, 20.

[3] Там же, 21.

идя за летописцем, относится с полным пренебрежением к местным князьям. Летописцу это было нужно, так как он обслуживал династию Рюриковичей и ставил себе задачу оправдать не только их существование, но и их политику. Что руководило Покровским, когда он местных князей объявил ненастоящими,—неизвестно. Нужно отдать справедливость, что и Рюриковичам он уделяет немного внимания, совершенно не учитывая, что то или иное положение князя является прекрасным показателем эволюции общественного и политического строя Киевского государства. Покровский пользуется этим ценным материалом по-своему, с явными натяжками и, естественно, приходит к неприемлемым выводам.

Несомненно, что летописец, представитель определенного класса, имеет свои политические взгляды, осуществляет определенные политические задачи. Поэтому отношение наше к летописи как к историческому источнику должно быть сугубо осторожным. Но в нашем распоряжении, кроме летописи, имеются договоры с греками, документы, непосредственно созданные конкретными интересами договаривающихся сторон—Византии и Руси.

Обе договаривающиеся стороны фиксируют здесь условия, которыми они собираются руководствоваться в течение определенного времени. Эти договоры имеют для нас большую ценность.

При просмотре византийско-русских договоров прежде всего бросается в глаза то, что договоры эти заключаются от имени князя, выступающего в качестве полномочного представителя своей страны, хотя и с ведома и согласия своих подручных. Договор 907—911 гг. заключен делегатами, посланными «от Олега, великого князя русского, и от всех, иже суть под рукою его светлых бояр...» В договоре 945 г. послы князя Игоря к византийскому двору говорят о себе так: «Мы от рода русского... послании от Игоря, великого князя русского, и от всякого княжья и от всех людей русские земли...» Они прибыли «к великим царем греческим створити любовь с самеми цари со всем боярством и со всеми людьми греческими на вся лета». Власть византийского императора нисколько не умаляется от того, что рядом с упоминанием греческих царей стоят «все боярство» и «все люди греческие».

В договорах неоднократно упоминаются русские светлые князья и бояре, находящиеся «под рукою» великого князя. Напрасно М. Н. Покровский, вслед за Соловьевым, старается уверить читателя, что только Андреем Боголюбским было произнесено «роковое слово *подручник* в противоположность князю». Подручник—это и есть тот, кто находится «под рукою», а «под рукою» князей Олега, Игоря и Святослава находилось много «княжья» и боярства. Эти князья, повидимому, не были ни в каких родственных отношениях с династией Рюриковичей. Скорее всего, это уцелевшие от уничтожения местные князья, местное боярство и те «мужи», которых киевские великие князья сажали в завоеванных ими областях и городах. В договорах именно эти

князья являлись представителями государства. Русский великий князь ведет сношения с византийским императором, великому князю император сообщает о всех недоразумениях, возникавших, в связи с невыполнением условий договора, великий князь посылает русские корабли в Византию, он же снабжает их удостоверениями о том, что они посланы именно от него, а не прибыли сами по себе, запрещает своим послам и гостям делать бесчинства в Греческой стране, он может просить помощи у греческих царей, и сам дает обязательство в случае нужды помогать своей военной силой грекам, он гарантирует неприкосновенность Корсунской страны и дает от своего имени обещание хранить «любовь правую», «дондеже солнце сьяет и весь мир стоит».

Святослав в договоре 971 г. говорит: «Аз Святослав, князь русский, якоже кляхся, и утверждаю на свещенье сем роту свою. Хочю имети мир и свершену любовь».

Конечно, власть великого князя не была еще самодержавной: самодержавие выросло позднее и на другой почве,—но эта власть была достаточно сильна, чтобы, опираясь на знать, гарантировать привилегированным классам их господство над зависимым населением и возможность получения новой добычи и дани, иногда превращавшейся в ренту. Власть первых Рюриковичей—это, конечно, не абсолютизм Людовика XIV, но она, во всяком случае, похожа на власть Карла Великого.

Покровский допускает ошибку, когда функции этих князей старается ограничить только военным делом.

Нет никаких сомнений в том, что князья и их подручники, в первую очередь,— люди военные, «генералы», как их определяет М. Н. Покровский, но ведь, для того чтобы быть генералом, недостаточно бряцать оружием. У каждого средневекового рыцаря, с ног до головы обвешанного оборонительным и наступательным оружием, предполагается земля, на которой сидят зависимые от него люди, обязанные своим трудом снабжать всем необходимым своего хозяина и тем самым делать его боеспособным. Государство гарантирует каждому рыцарю эти возможности, но тот «генерал» или те «генералы», которые стоят во главе государства, должны по необходимости принимать меры к тому, чтобы государство не рассыпалось, чтобы оно не стало жертвой аггрессии соседа. Генерал, не выполнявший этого, рисковал очень многим. Поэтому за шумом битв необходимо различать повседневную политическую работу, без которой немыслимо существование никакого государства. И такую работу князья со своими боярами, несомненно, вели систематически. Летописец говорит о ней мало, потому что она сама собой разумеется. Он останавливает свое внимание на фактах небудничного значения и только вскользь дает понять, что скрывается за крупными событиями, то радостными для его родины, то печальными.

М. Н. Покровский с некоторым пренебрежением и очевидной недооценкой упоминает о фактах построения новых городов первыми Рюриковичами. Лишь для Ольги он делает исключение, но и тут

самым явным образом умаляет смысл ее работы, низводя ее только на установление даней и оброков.

В летописи мы находим много указаний на то, что Рюриковичи строили новые города, овладевали чужими городами.

Рюрик занял чужие города и действительно «раздал мужем своим грады». Летописец поясняет, что основное население в этих городах—не варяги, а в Новгороде—славяне, в Полоцке—кривичи, в Ростове—меря, в Белоозере—весь, в Муроме—мурома. Рюрик посадил там представителей своей власти, и только осуществление этой операции дало право летописцу заявить, что «теми всеми обладаше Рюрик». Так же действует и преемник Рюрика: Олег по занятии Смоленска и Любеча сажает там «муж свой». В одном из вновь занятых городов—Киеве—сел сам Олег и заявил, что это будет его столица. Покорение города означало подчинение всей земли, связанной с городом, так как деревня сама по себе была беззащитна.

Олег не довольствуется завоеванием чужих городов. Он строит новые, без чего он не может осуществлять своей власти. Сам Покровский очень удачно отметил эту связь устроения городов с вопросами дани. В летописи мы находим: «Се же Олег нача городы ставити и устави дани словеном, кривичем и мери...»

О деятельности Ольги в этом отношении летописец сообщает еще больше фактов.

Не только М. Н. Покровский, но и другие историки не обратили внимания на самое важное указание в летописи: «И иде Вольга по Деревстей земли с сыном своим и с дружиною, уставляющи уставы и уроки; суть становища ее и ловища... и устави по Мсте повосты и дани и по Лузе оброки и дани; ловища ее суть по всей земли, знаменья и места и повосты, и сани ее стоять в Плескове и до сего дня, и по Днепру перевесища и по Десне, и есть село ее Ольжич и доселе»[1]. Летописец говорит тут о двух хронологических моментах: о прошлом, современном Ольге, и о настоящем, современном летописцу. Факты настоящего здесь носят характер доказательства несомненности фактов прошлого. Таков творческий прием летописца. Что хочет доказать летописец? Для Деревской земли он говорит об установлении уставов и уроков, для Новгородской—по Мсте погостов и даней и по Луге—оброков и даней. Термины очень ответственные. Повидимому, речь здесь идет, по существу, об одном и том же, но выражения употреблены разные. Едва ли, например, в Мстинском, в Лужском районах Ольга устанавливала нечто разное, а между тем по Мсте оказываются

---

[1] Лаврентьевская летопись под 946 и 947 годами. В 1-й Новгородской летописи под 947 годом то же место читается несколько иначе: после путешествия ее по Деревской земле «Иде Ольга к Новугороду и устави по Мсте погосты и дань (дани) и ловища ее суть по всей земли и знамение и места по всей земли и погосты; а санки ее стоять во Пьскове и до сего дни; по Днепру перевесища и села, и по Десне есть село ее и доселе».

«погосты», тогда как по Луге «оброки». Я думаю, что между погостом и оброком есть разница, но в известном аспекте это, может быть, одно и то же. Это видно из итогов «реформ» Ольги: в Деревской «суть (т. е. и сейчас, при летописце, есть.—*Б. Г.*) становища ее и ловища», в Новгородской—«ловища *ее суть по всей земле* знамения и *места и повосты,* и сани ее стоять в Плескове и до сего дня, и по Днепру перевесища (и села.—*Новгородская летопись)* и по Десне, и есть село *ее* Ольжичи и доселе». Тут летописец даже расширил территорию, где «внутренняя деятельность» киевского князя имела еще при нем явные следы, включив Днепр и Десну. Именно по Десне и стояло это Ольгино село—Ольжичи [1].

Оказывается, вся территория Киевского государства имеет следы путешествия Ольги. Сани Ольги стояли в Пскове. Их берегут в память об Ольге, берегут, конечно, те, кому дорога эта память, т. е. те, в чьих интересах проводилась «реформа». Это служит доказательством того, что Ольга действительно объезжала эту землю; можно предположить, что село Ольжичи названо так в честь Ольги; оказывается, что есть «доселе» и погосты. Но ведь погостов Ольга устроить не могла: она застала их готовыми, так как установление их относится к глубокой старине. Но суть тут не в самых установлениях: погосты, знамения, ловища, места, села и пр., а в том, что все это связывается с именем Ольги. Смысл «реформы» Ольги заключался не только в устройстве городов, но и в проникновении в самую толщу местной деревенской жизни. Отбирая для себя погосты, села, места, т. е. населенные пункты городского типа (украинское «місто»), ловища, обозначая их своим «знамением», Ольга в разных пунктах наименее прочно освоенной территории старается создать хозяйственно-административные пункты, взять их на свое имя и передать в управление людям, обязанным в то же время выполнять и задачи политического укрепления власти киевского князя на местах. Так поступали всегда и позднейшие князья и цари, хотя в другой уже обстановке.

Покровский не замечает, что устроение городов не было нейтральным явлением. Это было связано не только со стратегией, но и с экономикой и политикой. Известно, что Владимир строил города, так сказать, по плану. «Се недобро, еже мало город около Киева,—говорил он,—и нача ставити по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне; и поча нарубати мужи лучьшии от словен, и от кривич, и от чюди, и от вятич, и от сих насели грады; бе бо рать от печенег, и бе воюяся с ними о одоляя им» [2]. Еще интереснее краткая заметка летописца под 991 годом: «Володимер заложи град Белгород и наруби в не от инех городов и *много людий сведе в онь;* бе бо любя град сь».

[1] Н. П. Барсов. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885, 143.

[2] Лаврентьевская летопись под 988 годом.

Тут можно сделать несколько интересных выводов: 1) города необходимы как защита от врага; 2) в города вербуются «лучшие мужи» (несомненно, предполагается, что эти «лучшие мужи» явятся в города со своими дружинами); 3) «лучшие мужи» вербуются не только из славян, но из народов Прибалтики (чудь); 4) о варягах здесь ничего не говорится; 5) одними «лучшими мужами» дело не ограничивается: привлекаются из других городов «люди». Особенно это вероятно для Белгорода, княжеского замка, где гарнизонную службу несла княжеская дружина. Под «людьми» здесь, скорее всего, можно разуметь ремесленников и купцов. Во всяком случае, археологические данные позволяют нам видеть, по крайней мере в большинстве городов, ремесленное производство, обслуживавшее определенный район.

Итак, оказывается, что княжеская власть в Киевском государстве не может быть сведена к формуле Покровского—«наемный сторож в городе, вотчинник в деревне». Если ничего нельзя возразить против второй части этой формулы (вотчинник в деревне), то очень много возражений вызывает ее первая часть: во-первых, она решительно не подходит к периоду существования «империи Рюриковичей», когда киевский князь был несомненным главой не только своей дружины, но и всего варварского государства; во-вторых, если она годится для последующего периода, то далеко не для всех феодальных государств и полугосударств, на которые распалась «империя Рюриковичей». Ни Даниил Романович Галицкий, ни Всеволод III Большое гнездо, ни Александр Невский не подходят под понятие наемных сторожей городов. В Новгороде, где после событий 1136 г. значение князя действительно было очень умалено и функции его сильно сужены, эта формула могла бы быть до некоторой степени принята, и то если бы она вообще могла выразить существо правового положения князя. На самом деле мы этого не видим. Это—не столько определение, сколько простая острота, которыми вообще изобилуют труды Покровского. Неудовлетворительность решения этой проблемы у М. Н. Покровского обнаружится еще ярче, если мы рассмотрим его рассуждения о другой силе—о вече,—с которой в период феодальной раздробленности князьям постоянно приходилось сталкиваться.

2. *Вече у М. Н. Покровского.* После трудов Моргана и Энгельса не остается никаких сомнений в том, что народное собрание ведет свое происхождение от родового строя.

Но и при родовом строе роль народного собрания зависела от той ступени развития, на какой он находился в данный момент. Морган указывает на три таких этапа:

1. Управление племенем, советом вождей, избранных родами. Эта форма господствовала, по общему правилу, у племен, стоящих на низкой ступени варварства.

2. Координирование между советом вождей и высшим военачальником. Этот порядок сложился на средней ступени варварства.

3. На высшей ступени варварства наблюдается управление сове-

том вождей, народным собранием и высшим военачальником. Этот порядок продолжал существовать до «учреждения политического общества», т. е. государства.

«По общему правилу, совет (вождей—*Б. Г.*) был открыт для каждого частного лица, пожелавшего высказаться на нем по поводу общеизвестного дела... Но решение выносилось советом».

Так как совет избирался племенем пожизненно, но члены его могли всегда быть смещены, то, естественно, в совете «народный элемент неизбежно должен был иметь доминирующее влияние»[1].

Появление государства изменяет эту систему.

Начальный момент в истории образования государства Энгельс для германского общества изображает в следующих чертах: 1. «Наступил момент для превращения власти военного вождя в королевскую власть, и это превращение совершилось». 2. «Совет старшин, если он давно не исчез, не мог бы собираться и был вскоре заменен постоянными приближенными короля». 3. «Старое народное собрание продолжало для вида существовать, но тоже становилось все более и более собранием лишь низших военных начальников и вновь нарождающейся знати»[2].

Конечно, в разных частях Европы, у разных народов от этой схемы, естественно, должны быть некоторые отклонения, но в основном эти этапы в развитии государственной власти верны и для других народов. Древнейшие и притом достаточно ясные сведения о политическом строе славян мы имеем у Прокопия (середина VI в.): «славены и анты не управляются одним лицом, но с давних времен живут в демократическом правлении (ἐν δημοκρατίᾳ), и поэтому у них всякие дела решаются общим собранием»[3]. Об этом общем собрании (вече) Прокопий рассказывает по поводу событий, связанных с именем греческого воеводы Хилвудия. Для решения вопроса собрались «почти все анты». Они решили действовать сообща. Тут же они принуждают псевдо-Хилвудия принять на себя роль подлинного Хилвудия, намечают поход на Византию и подунайских славян.

Маврикий (конец VI в.) славян характеризует приблизительно так же: «Они не имеют правления,—пишет он,—и живут во вражде между собою: у них много начальников (ῥῆγες), которые не живут в мире, поэтому полезно привлекать некоторых из них на свою сторону обещаниями, словами (λόγοις) или подарками, в особенности ближайших к нашим границам, и тогда нападать на других славян, чтобы общая война их не спаяла и не объединила под одну власть»[4].

У Иордана (VI в.) мы имеем очень интересное сообщение о наличии у антов князя или короля (rex), который упоминается здесь вместе с 70 старшинами, вождями (primates). Остготский Винитар

[1] Л. Морган. Древнее общество, Л., 1934, стр. 70—71.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1-я, стр. 129.
[3] Procopius. De Bello Gotico, III, 14.
[4] Mauricius Strategicum, XI, 5.

воюет с антами, анты его бьют, но потом ему удается взять их князя (regem eorum) Божа в плен. Этого Божа вместе с сыновьями и 70 старшинами (cum filiis suis et LXX primatibus) он распинает [1].

Анты вне всяких сомнений—славяне, жившие на территории современной Украины. Бож—несомненно военачальник значительных сил, старшины—едва ли не вожди, избранные родами. Трудно как-либо иначе понять эти сообщения.

Перед нами славянское общество высшей ступени варварства.

В X в. наличие Киевского государства тоже не вызывает у нас никаких сомнений. Тут, как мы уже видели, налицо власть киевского князя с подчиненными ему князьями и боярами. Имеется, повидимому, и совет старейшин, в экстренных случаях, быть может, в городах собирается и вече (точных сведений у нас нет), но во всяком случае это уже не то вече, о котором упоминал Прокопий. Ни в X, ни в первой половине XI в. для развития вечевого строя благоприятных условий в Киеве нет. Власть киевского князя слишком сильна, чтобы рядом с нею могло процветать вече. Если не считать исключительных случаев, для X в. известий о вечевых собраниях у нас нет. Исключительные случаи я вижу в описании двух осад городов печенегами (Киева в 968 г. и Белгорода в 997 г.) в отсутствии князей с их дружинами.

Под 968 г. описывается осада печенегами Киева в то время, когда Святослав с войском воевал в Болгарии дунайской. В описании этой осады ни разу не называется вече, но оно легко подразумевается. Осажденные оказались в безвыходном положении. «И вьстужиша людье в граде и реша: «несть ли кого, иже бы могл на ону страну дойти и рещи им: аще не подступите заутра, предатися имамы печенегом». И рече един отрок: «Аз преиду»: и реша: «иди». Перед нами народное совещание, на котором обсуждается тяжелое положение киевлян и способы спасения. Другой подобный случай—осада печенегами Белгорода—рассматривается ниже. При наличии князя в городе вече в X в. не встречается. При князе мы видим всегда совет старейшин города, или, иначе, старцев градских и бояр.

Бояре участвуют в заключении договоров с греками, со старейшинами и боярами Владимир решает вопрос о принятии христианства, о посылке послов в Византию для ознакомления с христианским культом, перед ними же, старцами и боярами, отчитываются эти послы в исполненном поручении, князь со старцами и боярами решает вопрос о преимуществах вир перед местью. Так дело обстояло в Киеве.

Но у соседних древлян в том же X в., повидимому, родо-племенной вечевой строй еще жив. Древлянские князья X в. еще очень похожи на вождей и военачальников периода высшей ступени варварства. «Деревская земля» (под этим термином прежде всего можно разуметь народ-

[1] Иордан, гл. 48.

ное собрание), а не деревские князья, посылает к Ольге своих послов. Совещание вождей и народного собрания здесь весьма вероятно, о том же как будто говорит и множественность равноправных князей у древлян («наши князи добри суть...»).

По мере упадка Киева как политического центра, объединяющего значительные пространства, по мере усиления отдельных частей империи Рюриковичей в этих последних поднимается политическое значение крупных городов, способных играть роль местных центров и отстаивать независимость своей области от притязаний старой матери-городов русских. В этих городах вырастает значение вечевых собраний, с которыми приходилось считаться и пригородам и князьям[1].

М. Н. Покровский знает, что вече имеет свою историю и по этому поводу говорит: ...«было бы очень неосторожно думать, что вече на всем протяжении своей истории всегда было одним и тем же...»[2] «Мы отделяем древнейшее племенное вече... от позднейшего городского»,— пишет он в «Очерке истории русской культуры». Все это очень приемлемо. Но фраза, которая следует за только что процитированной, вызывает у нас некоторое смущение. Покровский отделяет племенное вече от городского потому, что «связывать эти два явления, как последовательные звенья одной цепи развития», он не видит никаких оснований: «Киевское городское вече возникает,—пишет он,—можно сказать, на наших глазах в совершенно определенной социально-экономической обстановке: нет ни малейшего смысла искать ему отдаленных предков»[3]. Покровский прав в том, что киевское вече XII в. не то, что вече родового общества полян. Но едва ли он прав, когда говорит, что нет ни малейшего смысла в поисках хотя бы и отдаленных предков киевского народного собрания XII в. Ведь более позднее городское вече генетически связано с народным собранием более ранней поры. Задача историка прежде всего и заключается в том, чтобы изучать общественные явления в их развитии. Если стать на точку зрения Покровского, то нам придется, пожалуй, отказаться и от признания естественной связи социально-экономической обстановки киевского пе-

---

[1] Известия о вечах X—XII вв. встречаются в наших летописях под следующими годами: в Белгороде 997 (легендарный рассказ об осаде Белгорода печенегами); в Киеве 1015 (не совсем ясный намек), 1068, 1113, 1146. 1147, 1150; во Владимире Волынском 1097; Звенигороде 1147; Полоцке 1159, 1186; Смоленске 1185; Ростове 1157, 1175; Суздале 1157, 1175; Владимире на Клязьме 1157, 1175, 1176; Переяславле 1175; Рязани 1177; Новгороде Великом 970 (рассказ, вызывающий сомнения, о приглашении на стол Владимира), 1016, 1136, 1137.

Замечание А. Е. Преснякова о том, что до XI в. в наших источниках отсутствуют всякие указания на вечевую деятельность, можно признать правильным, если не считать двух свидетельств, вызывающих справедливое недоверие, о чем говорилось выше.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 73—74.

[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 247.

риода с предшествующим периодом в истории того же общества, т. е. поступить так, как историк поступать не должен. Покровский как раз так и поступает. Высказав свои принципиальные соображения и успокоившись на том, что нет смысла углубляться в прошлое для изучения вечевых собраний XII в., он в своих рассуждениях о вечевом строе городов ограничивается лишь фактами XII в. да и то в очень ограниченной дозе.

Представляет он себе дело так: «Древнерусские республики начали аристократией происхождения, а кончили аристократией капитала. Но в промежутке они прошли стадию, которую можно назвать демократической. В Киеве она падает как раз на первую половину XII в. В этот период хозяином русских городов является действительно народ»[1]. Вот тут-то, естественно, и проявляется у Покровского интерес к вечевым собраниям. Покровскому, конечно, известно, что наши источники до XII в. вече упоминают очень редко: для начала XI в. мы имеем вече в Новгороде (1016 г.), для конца века—одно в Киеве (1068 г.), для X в. одно, несомненно легендарное, сочиненное позднее (осада Белгорода печенегами). Упрекать Покровского в том, что он отдает свое внимание вечу XII в., мы не собираемся. Упрек наш относится лишь к принципиальному отказу изучать вече в его историческом развитии, несмотря даже на то, что наши источники дают для этого материал, хотя, надо сознаться, и не очень обильный.

Таковы всем хорошо известные факты о полянах, «сдумавших» дать хозарам от дыма меч, о древлянах, которые посылали своих лучших мужей к Ольге («реша же древляне посла ны Деревска земля»). Несмотря на то, что эти факты совсем разновременные — один неизвестного времени, во всяком случае до IX в., второй X в.,— подразумевать вече и там и здесь возможно, потому что мы имеем дело с племенами, стоявшими на разной стадии культурного развития: поляне шли впереди древлян, и то, что было возможно у древлян в X в., вполне допустимо для полян IX в. Но совсем мало вероятно, чтобы в X в. в Киеве и у древлян был один и тот же политический строй. Поэтому неправы те исследователи, которые и в Киеве X в. склонны видеть те же архаические отношения, что и у древлян того же времени. Такую ошибку делает, между прочим, В. И. Сергеевич. Совершенно верно отметив черты архаического строя у полян до IX в. и у древлян середины X, он пытается те же черты присвоить и Киеву X в. с его уже несомненно государственным устройством. Договоры с греками X в. он считает плодом вечевого решения. По мнению Сергеевича, факт, что для заключения договора в Византию отправляются послы не только от имени князя и его бояр, но и от людей всех русских («людье вси рустии»), говорит о том, что и здесь инициатором договора является вече. Сергеевич прямо так

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 73—74.

и говорит, что «под людьми Игоря», принимающими участие в заключении договора, надо разуметь все наличное население Киева, а не какую-либо тесную группу зависимых от Игоря людей»[1]. Но стоит нам только присмотреться ближе к тексту договора 945 г., и мы получим основание усумниться в правильности заключения В. И. Сергеевича. Вот текст полностью: «И великий князь наш Игорь и боляре его и людье вси рустии послаша к Роману и Костянтину и к Стефану, к великим царем греческим, створити любовь с самеми цари, со всем боярством и со всеми людьми греческими...»

«Людье вси рустии» здесь играют ту же самую роль, что «все люди греческие», но никому ведь не придет в голову предполагать тут константинопольское вече. Не проще ли здесь видеть представительство двух правительств, говорящее за «всех своих людей». Тем более что в договоре 911 г. совершенно ясно выражено, кто именно заключает договор: послы для заключения договора посланы от «Ольга, великого князя русского, и от всех, иже суть под рукою его светлых и великих князь и его великих бояр». «Такоже и вы, греки, да храните таку же любовь ко князем нашим светлым рускым и ко всем, иже суть под рукою светлого князя нашего». Если уже учитывать возможность некоторых перемен в объеме и характере власти киевского князя за протекшие 34 года (911—945), то во всяком случае не в сторону умаления ее, а как раз в обратном направлении: сила княжеской власти росла во всяком случае до начала или даже до середины XI в., и вече, может быть, не умирая совсем, все меньше имело возможности проявлять себя в политической жизни государства.

Договор 945 г. упоминает «всех русских людей» совсем с другими расчетами. Русский князь говорит о всех русских людях, для того чтобы крепче подчеркнуть непосредственно следующую за этими фразами мысль об обязательности правил договоров для всех русских людей. «И иже помыслит от страны Руские разрушити таку любовь» принявший ли христианство или не крещеный (т. е. буквально всякий русский), «да не имуть помощи от бога, ни от Перуна...» Вот для чего понадобилось вспомнить о русских людях «всех». То же относится, надо думать, и к другой стороне, заключающей договор.

То знаменитое место Лаврентьевской летописи под 1176 г., которое обычно приводят в доказательство исконности вечевых собраний, действительно говорит о городских народных собраниях, но отнесение этого института в глубокое прошлое («изначала») без серьезных оговорок невозможно. Этот текст требует комментария. Под 1176 г. в Лаврентьевской летописи помещен удивительный по яркости рассказ о борьбе владимирских ремесленников и мелких купцов с ростовским и суздальским боярством. Победа владимирских «новых», «мезинных»

[1] В. И. Сергеевич. Русские юридические древности, II, 33—34.

людей над старым родовитым боярством Ростова и Суздаля вдохновила летописца, и он стал размышлять по этому поводу: всегда-де и везде было так, что пригороды подчиняются решениям старших городов, а здесь вышло как раз наоборот. Это просто «чудо». «Мы же да подивимся чюду новому и великому и преславному Матере Божья,— пишет летописец,— како заступи град свой от великих бед и гражаны своя укреплять: не вложи бо им Бог страха и не убояшася князя два имуще и власти (волости—*Б. Г.*) сей и боляр их прещенья ни во что же положиша, за 7 недель безо князя будуще в Володимери граде, толико возложше всю свою надежю и упование к святой Богородице и на свою правду. Новгородци бо изначала и смольняне и кыяне и полочане и вся власти яко же на думу на веча сходятся, на что же старейшии сдумають, на том же пригороды станут, а зде город старый Ростов и Суждаль и вси боляре, хотяще свою правду поставити, не хотяху створити правды Божья, но «како нам любо», рекоша, «тако створим: Володимерь есть пригород наш»... «...не разумеша правды Божья исправити Ростовци и Суждальци, давнии, творящеся старейшии; новии же людье мезинии Володимерстии, уразумевше, яшася по правду крепко»... «...не хотяще покоритися Ростовцем, зане молвяхуть: «пожьжем и паки ли посадника в нем (городе Владимире—*Б. Г.*) посадим: то суть наши холопи каменьници» (В Никоновской летописи этот перечень расширен: холопи, каменносечци и древодельци и орачи).

Отсюда с полной очевидностью вытекает, по мнению летописца, что вечевые собрания в Ростове и Суздале были издавна, что в этих собраниях решающая роль принадлежала старой знати, боярству, что знать через вечевые собрания старшего города до сих пор всегда держала в повиновении пригороды. Так, уверяет нас летописец, было «изначала». А сейчас произошло нечто новое, до сих пор небывалое. Это «изначала» относится не только к существованию вечевого строя, а прежде всего к обязанности пригородов подчиняться городам, господству знати над людьми «мезинными». Здесь во всяком случае логическое ударение летописного рассказа. Упоминаемая здесь знать и есть те «светлые бояре», представителем которых в договорах с греками являлся в свое время великий князь Киевский. До известного времени этот «изначальный» порядок держался. Затем в нем появилась трещина.

Распад Киевского государства на так называемые «уделы» объясняется тем, что к известному времени успели образоваться области, достаточного окрепшие, чтобы не только перестать нуждаться в помощи киевского князя, но и осознать возможность отделения от Киева. Такова судьба всех скороспелых варварских монархий. У каждой из крупных частей бывшего Киевского государства появились свои собственные интересы, идущие вразрез с недавним политическим строем. Зачем, в самом деле, вмешиваться Новгороду, Смоленску, Полоцку и др. в запутавшиеся дела Киева, зачем платить ему дань, зачем посылать свои войска в распоряжение киевского князя, когда

и деньги и войско так нужны им самим, новгородским, смоленским, полоцким боярам, для осуществления их собственных задач, с которыми они сейчас могут справляться и самостоятельно, без помощи Киева?

Но ведь дело-то не только в боярах или не всегда в боярах. Мы видим на примере ростовско-владимирских событий 1176 г. новую силу, победившую бояр,—это город с его купеческим и ремесленным населением. С этой силой вынуждены считаться и князья. Окрепшие области стараются обзавестись собственными князьями. Многим князьям это тоже наруку. Долго они были подручниками киевского великого князя. Теперь пришло новое время. Они только не всегда учитывали, что окрепшие области продолжают расти и благодаря своей силе начинают распоряжаться сами своей судьбой, пытаясь превратить и князей в орудие своих планов. Но это удается им далеко не всегда и не везде: в одних местах мы видим полное низведение князей на служебное положение—это там, где сильное боярство со своими собственными дружинами захватывает в руки власть (Новгород в середине XII в.), неудавшаяся попытка сделать то же в Ростове и Суздале (убийство кн. Андрея), в других местах городские низы—ремесленники и купечество—в борьбе с боярством нуждаются в помощи княжеских дружин, здесь княжеская власть крепнет (Галицко-Волынское княжество в первой половине XIII в.), а иногда и забирает в свои руки власть (Владимирское княжение, особенно при Всеволоде III).

Это и есть период расцвета того городского вечевого строя, который нам хорошо известен. Этот период для разных областей длится не одинаково долго: новгородское боярство, хотя и вынужденное считаться с городской массой и вечевым строем города, сумело, однако, занять в стране господствующее положение и в течение нескольких веков (до 1478 г.), за исключением моментов революционного выступления городских низов, не выпускало из своих рук власти, всегда, без всяких исключений, поставляя из своей среды выборных посадников и тысяцких, весьма успешно пользуясь при этом вечевым строем как своим аппаратом. Здесь вече умирает вместе со смертью боярства. То же мы видим и в Пскове. Во Владимире вече прекращает свою жизнь сравнительно рано.

Вечевой строй долго продолжал существовать только в западных и северо-западных областях бывшего киевского государства, сопредельных с Литвой и Польшей, где хорошо и надолго запомнилось время господства можновладства, а потом и шляхты: «республиканские» учреждения, ограничивавшие власть князей и королей, здесь и там имеют одну и ту же почву.

В своем труде «Вече и князь», не теряющем значения и сейчас, В. И. Сергеевич собрал очень большой материал, сделал не мало интересных и глубоких замечаний. Главнейшим недостатком его труда, мне кажется, надо считать недостаточный учет конкретно исторических условий существования веча в разные периоды истории древней России, вплоть до его исчезновения.

Трудно, например, согласиться с ним, когда он, приписывая татарам решающую роль в прекращении вечевых собраний, пишет: «Нашествие татар *впервые* (курсив мой.—*Б. Г.*) познакомило русские княжения с властью, с которой нельзя входить в соглашение, которой надо подчиняться безусловно. Почва для развития вечевой деятельности была сразу уничтожена. Ханы татарские не имеют надобности входить в соглашение с народом. Они достаточно сильны, чтобы приказывать ему»[1]. Тут, во-первых, не верно, что «русские княженья» «впервые познакомились с властью, которой необходимо было подчиняться без «соглашений»; во-вторых, с «народом» не входили в соглашение ни ханы татарские, ни князья киевские X—XI вв. Если бы можно было говорить о «соглашении», во всяком случае очень своеобразном, то оно заключалось не с народом, а с правящими верхами покоряемых племен и народов. Наконец, в-третьих, «почва для вечевой деятельности» ни в какой мере не была уничтожена и при татарах там, где имелась база для ее существования. Я имею в виду Новгород, прекрасно познавший прелести татарской власти, очень хорошо усвоивший на практике необходимость безусловного подчинения Орде и тем не менее и не думавший прекращать практику вечевых собраний. Причины этого прекращения иные и с татарами никак не связаны.

Уже до Покровского вопрос о вече был предметом серьезных размышлений. Покровский мог использовать современную ему литературу и внести в нее свои поправки. Он этого не сделал, а если что-либо и пытался сделать, то нельзя сказать, чтобы удачно. Основная причина, не позволившая ему разрешить вопрос, — это отсутствие в его творчестве подлинного историзма.

М. Н. Покровский не замечает или не хочет замечать всей сложности общественной и политической жизни в различных частях Киевского государства[2], не учитывает и изменений, происходящих во времени. Для него «политические нравы Владимира, несмотря на то, что это был новый город, а, может быть, благодаря именно этому, ничем не отличались от таких же нравов Киева и даже Новгорода...»[3], «...борьба Владимира и Ярополка Святославичей в 977—

---

[1] В. И. Сергеевич. Русские юридические древности, II, 34.

[2] В. И. Сергеевич много потрудился, чтобы показать эту сложность, но, к сожалению, и он представляет себе положение князя неизменным в течение нескольких веков нашей древности. Формула, которая, по мнению Сергеевича, определяет существо междукняжеских отношений, это улаживание своих столкновений войной или договором. «Договорное начало,—пишет он,—в княжеских отношениях проходит через всю нашу историю». Это верно только отчасти. Верно только для периода так называемых уделов. Но ведь этому периоду предшествовал другой, когда эта формула уже не пригодна, когда не договаривались князья друг с другом, а один киевский великий князь требовал признания своей власти и рядом с собой другой подобной власти не терпел («Русские юридические древности», II, 119).

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 99.

980 гг. или Ярослава Владимировича с братьями (Святополком, Мстиславом и Брячиславом Полоцким) в 1016—1026 гг. нисколько не менее ... заслуживает названия «княжеских усобиц», нежели распря Изяслава Мстиславовича с Ольговичами или Юрием Долгоруким в половине XII в.»[1].

Конечно, при таком отношении к делу не удивительно, что у М. Н. Покровского не получилось необходимой четкости в изображении отдельных периодов истории нашей страны. Сделав совершенно правильное замечание относительного того, что не на всем протяжении существования веча оно было одним и тем же, отметив также, правда очень своеобразно и, к сожалению, неверно («древнерусские» «республики» начали аристократией происхождения, а кончили аристократией капитала») существенные перемены на протяжении известного времени в структуре древнерусского общества, он не только не стремится углубить свою мысль и показать ее на конкретных материалах, а, можно сказать, при соприкосновении с фактическим материалом ее забывает. Он, конечно, не стал бы возражать против того, что древнерусским князьям «приходилось вращаться в очень сложной среде, что они находились в известных отношениях к народу, к другим владетельным князьям и, наконец, к своим вольным слугам». Но М. Н. Покровский делает хотя и на свой особый манер, в сущности ту же ошибку, что и В. И. Сергеевич, т. е. не учитывает отдельных периодов в истории России, имеющих свои особенности, требующие специального изучения.

Покровский не отмечает специфики политического строя России в период созидания и расцвета «империи Рюриковичей», потому что он не заметил этого периода, и верный своему изображению древней Руси как городской, он изображает вече как «городское ополчение», иначе, «вооруженный город», «народное ополчение с правами верховного учредительного собрания», «самодержавную армию». Князь, по мнению Покровского, есть «главнокомандующий этой армией» и тоже «самодержавный», пока эта самодержавная армия его «слушалась», и «бессильнее, чем любой сельский староста», когда это послушание прекращалось. И в то же время вече и князь у него «совершенно равноправные силы», хотя почему-то тут же обнаруживается, что «древне-русская демократия» («вече») «в споре с князьями всегда оказывалась более сильной до тех самых пор, пока... городские ополчения не уступили место крестьянско-дворянской армии великого князя Московского».

«Какое бы мы вече ни взяли,—пишет Покровский в заключение,—южно-русское или даже позднейшее, новгородское, мы встретим в общих чертах ту же картину»[2].

На самом деле это совсем не так: нельзя сводить деятельность

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 97.
[2] Там же, 74—76.

вечевых собраний к «спорам с князьями». Эти «споры» далеко не всегда оканчивались победой вечевых собраний, вече — не народное ополчение и тем менее похоже на самодержавную армию и т. д. и т. д. Удивленный читатель по крайней мере может подумать, что эти оригинальные и неожиданные мысли есть результат большой предварительной работы автора над изучением имеющихся в изобилии фактов. На самом же деле оно построено лишь на одном факте, на изображении в летописях (главным образом в Ипатьевской) событий 1146—1147 гг., которые при ближайшем рассмотрении не дают оснований для этих выводов. В этом не трудно убедиться.

Во-первых, события 1146—1147 гг. протекают в особой политической обстановке, не похожей на обстановку, характерную для периода «империи Рюриковичей». XII в.—это время распада «империи», время оформления новых политических образований, время расцвета городских вечевых собраний. Судить по XII в. о том, что было раньше, сославшись при этом на летописный текст, об «изначальности» вечевых сходок, без особых оговорок невозможно.

Но прежде чем рассматривать события 1146—1147 гг., мы попробуем разобрать основной тезис Покровского, явившийся исходным и для понимания им этих событий. Имею в виду его убеждение, будто в XII в. «хозяином русских городов является, действительно, народ». На вопрос, кто именно является подлинной силой на вечевых собраниях, ответить совсем не так просто, как это сделал М. Н. Покровский. Возьмем хотя бы для примера происшествие в г. Звенигороде (около Львова)[1]. Князья Всеволод и Игорь Ольговичи в 1146 г. осадили его. На второй день осады «створиша вече звенигородьчи, хотяче ся передати. И бе у них воевода Володимирь муж Иван Халдеевич, изоима у них мужи 3 (в другом списке «изыма у них муж») и уби я и когождо их перетен напол, поверже я из града; тем и загрози. И начаша ся звенигородьци оттоле бити(сь)[2] без лести»[3]. В Звенигороде, очевидно, главную роль на вече играл не «народ», если достаточно было казнить нескольких «мужей», чтобы изменить решение вечевого собрания. И в более раннюю пору мы увидим приблизительно то же. Если мы возьмем сообщение о вече, помещенное в летописи под 997 г., но записанное несомненно позднее, уже в XI в., то и там не заметим, чтобы хозяином был народ. Имею в виду вече в г. Белгороде, осажденном печенегами в 997 г.

В легендарном рассказе об осаде этого города отмечены некоторые черты городского строя. Тут мы имеем старейшин градских и людей—горожан. Не трудно заметить и здесь руководящую на вече роль старейшин градских. Белгород—это княжеский любимый город-замок. Осада печенегами происходит в отсутствие князя и

---

[1] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен, I, 336, прим. 4-е.

[2] В другом списке: «битись».

[3] Ипатьевская летопись. Полное собрание русских летописей, II, 22.

дружины. Горожанам пришлось выдержать осаду и проявлять свою инициативу. Собирается вече, оно выносит решение о необходимости сдачи города. Один «старец», не бывший на вече, но имевший свой собственный план защиты города, желает приостановить решение веча и обращается с этой целью к «старейшинам градским». Старейшины с радостью отменяют вечевое решение. («Они же ради обещашася послушати»). Надо думать, что если они с такой легкостью отменяют решение веча, то очевидно они, во-первых, очень активно участвовали в принятии первого решения и, во-вторых, имели силу провести отмену решения. Для суждения о вече с этими фактами необходимо считаться. Необходимо также обратить внимание и на другую сторону дела: если бы был здесь в это время князь с дружиной, едва ли бы вообще понадобилось собирать вече. Князь с дружиной действовали бы по собственной инициативе, как это вытекает из многочисленных аналогичных случаев.

В киевских событиях 1146 г. мы легко различаем два совершенно разных по своему составу веча: одно—собрание несомненных сторонников князя Игоря, которого брат его Всеволод Ольгович хотел насильно навязать киевскому народу, другое—враждебное первому. Первое целует крест Игорю и обнаруживает полную готовность его поддерживать. Это вече собирается по зову князя в самой аристократической части города, «на горе», в «Ярославовом дворе». Тут смело можно подозревать сильную боярскую группу, руководившую собранием. Второе собралось по собственной инициативе у Туровой божницы. Это вооруженные люди на конях, готовые к бою. Вызванный на это вечевое собрание князь идет с дружиной, становится в засаду и посылает на вече для переговоров своего брата. Это вече не просто ведет переговоры с князем, а призывает его к ответу, судит его и, в конце концов, приглашает другого князя. Тот факт, что собравшиеся на этом вече были на конях, говорит о том, что тут опять-таки не весь народ киевский, так как мы хорошо знаем, что далеко не у всех киевлян были лошади. Кто были эти собравшиеся, с уверенностью сказать трудно.

Я не собираюсь сейчас решать едва ли не самый сложный в истории древней России вопрос—вопрос о вече, но из всего вышесказанного хочу сделать несколько заключений. Они могут быть сведены к следующим положениям:

1) вече ведет свое происхождение от родового строя;

2) с появлением варварского государства вече теряет благоприятную почву для своего существования. В достаточной степени сильная власть киевского князя не имеет нужды входить в «соглашения» с народом и ограничивается совещанием с дружиной, преимущественно старшей. Вечевые собрания (сведений точных у нас нет) вероятны в тех случаях, когда города, предоставленные собственной инициативе, оказывались в трудном положении;

3) вечевые собрания в городах оживляются с конца XI в., в связи

с ростом отдельных частей Киевского государства и, в частности, возглавляющих эти части городов;

4) вечевые собрания живут долго на северо-западе (Новгород, Псков) как результат определенного соотношения классовых сил, при котором феодальная знать, захватившая в свои руки власть и ограничившая в своих интересах власть князей, не могла уничтожить народное собрание, но была достаточно сильна, чтобы превратить вече в орудие своих интересов.

Очень хорошо понимаю, что эти положения требуют бóльшего аппарата доказательств, чем тот, который, по условиям места, я мог привести в настоящей статье. Допускаю даже, что я в чем-нибудь здесь и неправ. Но, несомненно, я прав в одном: вече имеет свою историю, ее надо изучить, а не отказываться разыскивать для веча XII в. «отдельных предков», как это делает Покровский. В этом его несомненная ошибка.

Произвольное, противоречащее фактическому материалу представление о «некотором целом», которое Покровский не решается даже назвать государством, не дало ему возможности понять и правильно изобразить политический строй Киевской Руси. Даже наиболее яркие стороны политического строя Киевского государства—князь и вече в «городской Руси» Покровского приобрели искаженные черты. С одной стороны, это искажение стоит в прямой зависимости от общей схемы Покровского, с другой—мы должны констатировать факт невыдержанности построения даже и в рамках его же собственной схемы: в то время когда, по схеме города должны были бы обнаруживать признаки упадка (XII в.), поскольку приблизительно с этого времени уже начинается «перегнивание» городской Руси в деревенскую (см. следующую главу), оказывается, что в результате победы городской демократии города в это время обнаруживают наибольшую силу. При таких условиях взаимные отношения князя и веча не могли получить правильного освещения.

IV. «УПАДОК» ГОРОДСКОЙ РУСИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

При любом изображении общественных отношений и политической организации древней Руси, при любой характеристике дофеодальной и феодальной Руси вопрос об изживании одного периода и переходе к следующему всегда остается вопросом первостепенной важности.

Поскольку у Покровского нет Киевского государства, естественно, мы не найдем у него и распада этого государства, т. е. перехода к периоду феодально-раздробленного существования Руси. Покровский так и говорит о своем союзе федеративных республик, что здесь «рассыпаться было нечему», т. е., другими словами, его федерация республик, несмотря на то, что он иногда ее называет «некоторым целым», оказывается в перманентно рассыпанном состоянии.

Но М. Н. Покровский все же замечает, что в XI—XII вв. на самом деле произошло нечто серьезное: если не распад, то упадок. Но что именно, это из книги Покровского не так легко понять. С одной стороны, речь идет как будто об упадке городов, поскольку с упадком городов связывается у Покровского новый этап в развитии русского общества—победа деревенского права над городским (знаменитое «перегнивание» Руси городской в Русь деревенскую). Но, с другой стороны, оказывается, что тот же период был и периодом расцвета городской демократии.

Разобраться в том, что собственно здесь происходило, по книге Покровского действительно очень трудно. Мы так и не знаем точно, что же это за упадок, как его понять и оценить, шаг ли это назад или шаг вперед. Покровский в свой «упадок» вносит существенные ограничения. «...Упадок,—пишет он,—был больше кажущийся, ибо те способы производства и обмена, к каким переходит с одной стороны суздальская, с другой—новгородская Русь XIII в., сравнительно с предыдущим периодом были несомненным экономическим прогрессом»[1]. Стало быть, «упадок» касается не всего Киевского государства, а лишь «киевских волостей». Но и здесь возникает вопрос, как этот «упадок» городов, даже только Киевской области, согласовать с утверждением Покровского о росте демократии, об улучшении юридического и экономического положения низших классов, о превращении городов-паразитов в города—центры демократических республик.

Попробуем пойти за Покровским дальше и проследить дальнейший ход его мысли.

По поводу замечания В. О. Ключевского о «торжествующих» в XII в. над Русью кочевниках М. Н. Покровский задает совершенно естественный вопрос: «Почему же эти кочевники, над которыми торжествовали князья X—XI столетия, сами стали торжествовать в XII веке?»

Он не соглашается с Ключевским, установившим две причины: 1) «юридическое и экономическое принижение низших классов», 2) «княжеские усобицы». Покровский считает, что «положение низших классов в XII в. не ухудшилось, а улучшилось по сравнению с XI в.», а второе, что усобицы были и в X и в XII вв., т. е. тогда, когда Русь торжествовала над кочевниками. Мы ниже вернемся к разбору этих возражений Покровского. Покровский считает, что причинами, обусловившими торжество кочевников, были: 1) «Разбойничья торговля», «внеэкономическое присвоение», иначе «хищническая эксплоатация страны... могла продолжаться только до тех пор, пока эксплоататор мог находить свежие, нетронутые области захвата»; «неограбленных земель» больше не осталось, пришлось довольствоваться более «элементарными формами экономической», а с ней и всякой иной культуры»[2]; «опустошив все вокруг себя своей хищнической

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 98.
[2] Там же, 97—98.

политикой, древнерусский город падал, и никто не мог задержать этого падения»[1]. 2) Потеря значения «великого водного пути из варяг в греки» в связи с крестовыми походами, вследствие чего Киев и «все остальные из этапных пунктов на большой дороге международного обмена превратились в захолустные торговые села на проселке»[2]. 3) «Грандиозный татарский погром», «содействовавший превращению городской Руси в деревенскую»[3] и нанесший последний «удар» стране, уже ослабленной половецкими набегами[4].

Выше мы уже говорили о городской Руси Покровского, и сейчас я не хочу возвращаться к этой части основного его тезиса. Хочу обратить внимание на другую сторону вопроса. Верно ли, что в основе процесса перехода к феодально-раздробленному существованию Руси лежит обнищание страны? Это положение, следствием которого якобы явилось «падение городов», не соответствует действительности. Если мы дадим себе труд присмотреться к фактическому процессу отпадения отдельных частей от власти Киева, то нам сразу бросится в глаза факт, что отпадают от Киева экономически наиболее мощные части (Новгород, Полоцк, Ростово-Суздальская земля, Галицко-Волынская и др.), причем города здесь отнюдь не падают, а растут. Если говорить об экономическом упадке, то это справедливо лишь по отношению города Киева, который должен был обеднеть по двум причинам. Первой причиной было то, что Киев, лишившись политического привилегированного положения, лишился и права собирания даней, которые шли раньше Киеву, а сейчас оказались перехваченными новыми политическими центрами. Вторая причина, хронологически возникшая несколько позднее первой,—это передвижка торговых путей, прошедших мимо Киева.

Если мы согласимся с тем, что история России, несмотря на несомненное наличие индивидуальных черт, в основной линии своего развития ничем принципиально не отличается от других европейских стран, что деревня и город находятся здесь в, так сказать, нормальных отношениях, что «заграничная» торговля, игнорировать которую мы не имеем никаких оснований, не нарушает существа этого развития,—тогда мы должны будем, отнесясь отрицательно к «городской Руси» Покровского, отвергнуть и ее «перегнивание» в Русь деревенскую. Само собой разумеется, что и татарское завоевание, которое, по мнению Покровского, помогло «перегниванию» и сыграло в истории России прогрессивную роль, нам придется расценивать по-иному.

Для нас Киевское государство, или «империя Рюриковичей»,—не миф, а подлинный исторический факт, доказываемый всеми имеющимися в нашем распоряжении материалами, факт, имеющий многочисленные аналогии во всемирной истории и прежде всего в варварской

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 102.
[2] Там же, 110.
[3] Там же, 103.
[4] Там же, 104.

империи Карла Великого. Проблемой являются лишь причины распада варварских скороспелых монархий. Эти монархии, создаваемые при помощи концентрации материальных ресурсов и военных сил в определенном центре и дающие возможность господствующим классам расширять свои владения и укреплять свою власть на местах, падают в тот момент, когда отдельные части грубо сколоченного, «лоскутного» государства перерастают организационные средства своего центра, становящегося из-за этого помехой их дальнейшему развитию. Варварская монархия помогает созреть тем силам, которые затем ее и разрушают.

Рост отдельных частей заключается в их экономическом подъеме, в изменении соотношения классов (развитие крупной частной собственности на землю, расширение кадров эксплоатируемых, изменение форм эксплоатации и рост городов), в появлении своих собственных политических задач, идущих часто вразрез с политическими интересами объединяющего их центра. Так распалась монархия Карла Великого, так распались Польша, Золотая Орда, Дунайская Болгария и другие государства того же типа. Что касается распада Киевского государства, то он лишь совпадает с упадком Киева как значительного центра международной торговли, и это обстоятельство делает процесс раздробления Киевского государства более интенсивным. Совершенно верно, что столкновения в княжеской среде были и в X и в XI вв. В этом отношении Покровский прав, но он решительно неправ, отождествляя факты X и XII—XIII вв. Ошибка очень серьезная, и она вытекает из неправильного представления политической структуры Киевского государства, из отрицания варварской «империи Рюриковичей».

Здесь особенно ярко выразилось отношение М. Н. Покровского к конкретной истории России этого периода. Покровский словно ее забыл, забыл, что историю делают люди, что историк обязан учитывать поведение этих людей, считаться с мотивами их действий, иначе многочисленные факты политической истории этого периода, несомненно, предостерегли бы Покровского от ошибок. Отсюда его абстрактные схемы, не выдерживающие соприкосновения с фактами.

Разве не вытекает из фактов, что IX—X вв. были периодом сложения огромного варварского государства, сумевшего сплотить разрозненные и враждующие между собой племена, стать грозным для внешних врагов и дать возможность дальнейшего развития страны? В X в. положение Киева и его князя было достаточно прочно.

Понятно, почему все столкновения между князьями X и первой половины XI в. (да их и было за два века, в сущности, только два: после смерти Святослава и смерти Владимира) окончились торжеством Киева и только с середины XI в. мы видим иную картину. Тут уместно, перефразируя Покровского, поставить вопрос: почему в X и в значительной части XI в. Киев торжествует над сепаратистскими тенденциями родственников (и не родственников) киевского князя,

а в XII в. эти родственники торжествуют над Киевом? Почему на Любечском съезде вполне официально прозвучал новый принцип в междукняжеских отношениях: «кождо да держит отчину свою», несмотря на энергичные вооруженные попытки Киева защитить старый строй, несмотря на осуждение этого принципа рядом тогдашних политических деятелей, среди которых был сам Владимир Всеволодович Мономах? Об этом ясно говорит и летописец конца XI в., противопоставляя прошлое своему настоящему. Политика древних князей удостаивается признания летописца. Он даже готов их идеализировать за то, что они «расплодили... землю Русскую». Современные летописцу политические факты его далеко не радуют: «За наше несытьство навел Бог на ны поганые, а скоты наши и села наши и имения за теми суть, а мы своих злых дел не останем»[1]. Осуждал новый порядок 80-х годов XII в. и автор «Слова о полку Игореве»: «Тогда при Ользе Гориславичи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука, в княжих крамолах веци человеком скратишась. Тогда по Русской земле редко ратаеве кикахуть, но часто врани граяхуть, трупия... себе деляче, а галичии свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие». «Усобица князем на поганые погыбе, рекоста бо брат брату: «се мое, а то мое же». И начаша князи про малое «се великое» молвити, а сами на себе крамолу ковати. А погании со всех стран прихождаху с победами на землю Русскую»[2].

Он явно не сочувствовал этому положению вещей.

Ни один из современников этих крупных политических событий нашей истории, конечно, не мог бы повторить слов Покровского о том, что «рассыпаться было нечему». Они ясно видели распад государства, но задержать его было невозможно, потому что дело здесь не в «княжеских усобицах», а в выросшей самостоятельности новых центров, которые, как мы видели, часто самостоятельно вели свою политическую линию и принуждали и своих князей признавать эту политику. «Княжеские усобицы»—это лишь внешнее проявление могучего внутреннего процесса, нервом которого были противоречивые интересы отдельных, обособившихся от Киева частей. Наивно думать, что особые интересы и отличия политического строя, скажем, Новгорода, Владимирского, Галицко-Волынского или Рязанского княжеств есть следствие распада Киевского государства, а не его причина. Перед нами продолжающийся, но лишь более интенсивно, старый процесс внутреннего роста отдельных областей Киевского государства, в XII в. получивших возможность вести свою собственную политику без оглядки на Киев. Внутри этих обособленных частей, кроме роста городов, наиболее заметным фактом является наступление вотчинников-феодалов на общинную крестьянскую землю, расширение боярского землевладения, укрепление политического значения бояр, столкновение бояр-

[1] «1-я Новгородская летопись», 1888, стр. 2.
[2] «Слово о полку Игореве», изд. Academia, 1934, стр. 68.

ских интересов с интересами растущего города и возникающая отсюда борьба. Политическая сила феодала покоилась не столько на успехах его «грабительской» торговли, сколько на расширении его власти на землю и увеличении эксплоатируемых кадров крестьянства. Факт политического преобладания деревни в средние века остается непоколебленным несмотря на попытки Покровского его аннулировать. Не надо забывать, что в городах в той или иной степени хозяйничают те же феодалы, сила которых в земле, т. е. в деревне.

Отсюда возникает важнейший вопрос—необходимость изучения форм эксплоатации, т. е. изучения эволюции форм земельной докапиталистической ренты. Покровский на эту сторону дела не обратил ни малейшего внимания, а между тем тут разгадка сложнейшей проблемы. Само собой ясно, что формы земельной докапиталистической ренты не неизменны: их эволюцию можно проследить на конкретном материале. Конечно, сделать это нелегко, так как наши источники не дают возможности решить вопрос окончательно, но тем не менее они могут помочь нам покончить с абстрактными представлениями Покровского.

В «Русской Правде» мы находим и отработочную ренту (эксплоатация челяди—рабов и рядовичей всех типов) и ренту продуктами не только в виде перерождающейся в натуральную ренту дани, но и как следствие захвата внеэкономическим путем земель крестьянской общины и превращения свободных крестьян-общинников в зависимых и крепостных. Результаты этого процесса совершенно четко видны в Вислицком статуте и других более поздних памятниках. Тут, конечно, приходится весьма внимательно изучать и формы зависимости эксплоатируемой массы. Покровский сделал это весьма неудачно, а между тем по тому же вопросу так много и ярко писали и Маркс, и Энгельс, и Ленин.

М. Н. Покровский прошел мимо всех замечаний и предостережений. Нельзя в общей и категорической форме говорить ни о «принижении низших классов» (Ключевский), ни об «улучшении» их положения (Покровский), необходимо каждый раз учитывать отдельные слои эксплоатируемой массы и говорить не «вообще», а о каждой категории населения в отдельности и тогда уже делать вывод. Это замечание относится не только к начальному моменту истории крепостничества, а к истории крепостного права в целом—ко всему периоду существования феодальных отношений, не мыслимых без зависимого крестьянства.

Распад варварской «империи Рюриковичей» был неизбежен, так как она не только не имела средств обеспечить дальнейшее развитие своих отдельных частей, но скорее мешала их росту, выкачивая из них деньги, продукты и людей. Следствием этого распада неизбежно явилось ослабление военной мощи государства в целом. Каждая из частей бывшего Киевского государства располагала уже значительно меньшими военными силами, к тому же расходовала их

на борьбу друг с другом. Вот почему как раз в это время начинают «торжествовать» кочевники.

Несколько слов о кочевниках.

Покровский слишком много значения придает «торжеству» то Киева над ними, то их над Киевом. Дело тут не только в военных столкновениях. Нельзя всех кочевников считать по отношению к русским внешней силой—это несомненное упрощение вопроса и неверное его освещение: необходимо учесть то, что значительная часть этих «кочевников» уже давно осела на территории Киевского государства, в значительной степени растворившись в массе «русского» (славянского) народа, а наиболее сильные из этих «кочевников» сумели организовать как раз в период распада Киевского государства свое собственное государство (Кыпчакское). С ними в первую очередь и столкнулись татарские орды в 1223 г.

Так наступил период «настоящего феодализма», период феодальной раздробленности. Вопреки утверждению Покровского, это был особый период по отношению к периоду предшествующему («империя Рюриковичей») и последующему (объединение земель вокруг Москвы) [1]. В период наибольшего ослабления сил русского народа (этот термин для того времени можно употреблять только в смысле этническом) появляются прекрасно организованные и технически оснащенные войска татарских ханов. Даже перед лицом этой несомненной опасности раздробленные феодальные единицы не сумели сплотиться: противоречивые интересы отдельных частей бывшего Киевского государства, соотношение классовых сил и политической структуры отдельных княжений, являвшиеся причиной непрекращающихся войн и безнадежной запутанности взаимных отношений,—все это делало сплочение разрозненных частей невозможным даже в такой грозный момент, когда сильный враг находился на территории этих враждующих государств и полугосударств.

Кыпчаки, первые получившие смертельный удар, обратились за помощью к «русским», а «русских» как организованной силы и не оказалось: вместо них были киявляне, рязанцы, черниговцы, суздальцы, новгородцы и т. д., очень часто находящиеся друг с другом в непримиримой вражде, исключающей возможность объединения. Торжество татарских ханов здесь находит исчерпывающее свое объяснение.

Панегирик татарским ханам, пропетый М. Н. Покровским, вытекающий из его ложного представления о дофеодальном и феодальном периодах нашей истории, ни на чем не основан и при первом соприкосновении с фактами рушится, как карточный домик.

Вот какую картину рисует М. Н. Покровский: «Татарщина шла не только по линии разложения старой Руси, а по линии сложения Руси новой—удельно-московской (терминология!!—*Б. Г.*)». Татары

---

[1] Покровский отрицает и это. «Рассыпаться было нечему, стало быть, нечего было и собирать» («Русская история с древнейших времен», I, 171).

«организовали правильную систему раскладки (податей.—*Б. Г.*), которая на много веков пережила самих татар... первые упоминания о «сошном письме»... связаны с татарской данью XIII в.: раньше, по всей вероятности, огулом платила вся «вервь»... «Московскому правительству впоследствии ничего не оставалось, как развить далее татарскую систему, что оно и сделало». «Татары... внесли глубокие изменения и в социальные отношения. В классическую пору Киевской Руси «под данью» было только сельское население, городское не платило постоянных прямых налогов... в татарское «число» попали все горожане и сельчане безразлично».

Тут каждая мысль, каждая формулировка вызывают справедливые возражения. Откуда взял Покровский, что татары ввели «сошное письмо»? Если бы он не поленился развернуть Лаврентьевскую летопись, он бы увидел, что летописцу очень хорошо известна система раскладки дани по «дымам», «ралам» и «плугам». Олег, освободив от власти хазар северян и радимичей, стал брать с них дань, «якоже хозарам даяху», т. е. от «дыма». Святослав сделал то же самое с вятичами, узнав от них, что они платят дань хозарам «по щьлягу от рала». Владимир повторил поход на вятичей, победил их и «возложи на нь дань от плуга, якоже и отец его имаше».

Можно привести бесконечное количество примеров, однако и этих фактов достаточно, чтобы показать полную произвольность и необоснованность утверждения Покровского и установить, что московское правительство пользовалось своей, известной уже в киевский период истории системой обложения. Само собой разумеется, что эта система не могла быть застойной: она изменялась и в киевское время и позднее.

Чтобы установить, что города и до нашествия татар облагались данью, обратимся к тому же источнику XI в.

В летописном рассказе о войне Ольги с древлянами говорится: «Древляне затворяшася в граде и боряхуся крепко из града». Ольга посылает к осажденным искоростенцам сказать: «Что хочете доседети? *а вси гради ваша предашася мне, а ялися по дань*, и делают нивы своя и земле своя, а вы хочете измрети гладом, не имучеся по дань». Когда же эти переговоры возымели действие, Ольга говорит искоростенцам: «дайте ми *от двора* по 3 голуби да по 3 воробьи...» Искоростенцы «собраша *от двора* по 3 голуби и по 3 воробьи...» Ольга довольна. Она говорит доставившим эту дань искоростенцам: «...идете в град, а я заутра отступлю от града...». Они «внидоша в град... и обрадовашася люди в граде...» Затем следует пожар в Искоростени. Ольга «старейшины града изнима и прочая люди овых изби, а другие работе предасть мужем своим, а прок их остави платити дань».

Конечно, рассказ о мести Ольги—опоэтизированное предание, попавшее в летопись не позже XI в., но от этого детали рассказа не теряют своего значения. Несомненно, что город так же, как и деревня, платил дань. Чем в этом отношении город того периода отличался от

деревни,—это вопрос будущих исследований, но, во всяком случае, нет никаких оснований делать такие определенные заключения, какие мы видим у М. Н. Покровского: город—гнездо разбойников-купцов, город-паразит, город—центр демократической республики; городское право, противоположное деревенскому, и пр. и пр. На самом деле город, кроме 5—6 крупных городов, как экономическая единица в X—XI вв., во всяком случае еще не столь резко отделился от деревни, как позднее, и потому делаются вполне понятными слова Ольги: «вси гради ваша предашася мне и ялися по дань и делают нивы своя и земле своя». Не спасет Покровского и его замечание в «Очерке по истории русской культуры», где он говорит, что «если на город накладывается дань, это имело такое же значение, как современная контрибуция»[1]. Ольга обложила все древлянские города данью, и ни один источник не сообщает, что это была мера экстренная, единовременное взыскание контрибуции.

Никаких изменений в социальный строй русского общества татары не внесли и не могли внести, так как сами очень скоро переняли способ производства покоренных ими народов южных степей, Крыма, Северного Кавказа и Поволжья. Нам также хорошо известно, что сбор дани татары поручили русским князьям. Очень странными кажутся рассуждения М. Н. Покровского относительно раскладки татарами дани в русских городах. М. Н. Покровский пишет о Новгороде: «Татарские данщики ездили по улицам и считали дома: *каждый дом, кому бы он ни принадлежал, платил одно и то же*». Это происходило якобы от того, что татары не умели учитывать размеры торгового капитала, и «новгородские капиталисты могли на этом спекулировать: «и творяху бояре себе легко, а меньшим зло»[2].

Почему татары не умели учесть торгового капитала, непонятно: мы хорошо знаем, что с купцами и торговым капиталом татары прекрасно были знакомы и во всяком случае «учитывали» их очень хорошо: купцы служили татарам как разведчики, защита торговли была одним из обычных приемов политики татарских ханов.

Покровский утверждает, что татары сами распределяли дани по новгородским улицам и домам. Если принять это положение, то становится непонятным, как же могло случиться, что именно *новгородские бояре делали себе легко, а меньшим зло*[3]. Наконец, кто бы ни «учитывал», а дворы новгородских граждан не платили одинаково

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 185.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 107.

[3] В 1-й Новгородской летописи действительно есть фраза: «и почаша ездити окаяньнии по улицам, пишюче домы христьянские», но эта фраза стоит после замечания «творяху бо бояре себе легко, а меньшим зло». Возможно, что раскладку делали бояре, а татарские писцы ездили с боярами и вели учет дани, по указанию бояр. Иначе непонятно, как бояре смогли переложить тяжесть дани с себя на народную массу.

одно и то же, как утверждает Покровский, а платили по-разному, по несправедливой раскладке новгородского же боярства.

Успех татарского войска объясняется, конечно, тем, что ханы не встретили на Руси организованного отпора, в то время когда сами были многочисленны и организованы. Феодальная раздробленность— вот основная причина поражения разрозненных русских и нерусских дружин. В смысле общественного строя победители стояли ниже побежденных. Кроме гнета «неминуемой дани»[1], легшей новой тяжестью на плечи непосредственного производителя как в городе, так и в деревне, власть татарских ханов русскому народу ничего не дала. А те несомненные успехи русского народа, которые были достигнуты им в течение двухсотлетнего владычества Орды, достигнуты вопреки Орде и послужили средством для освобождения от ее власти. Не следует, конечно, забывать и того процесса внутри татарского государства, который вел эту варварскую империю к распаду и тем ослаблял ее мощь как раз в то самое время, когда Русь объединялась вокруг Москвы в новую политическую силу. Разрушение татарами городов, превращение культурных очагов в пустыню есть обычный итог варварского вторжения, и решительно ничего прогрессивного, как уверяет нас М. Н. Покровский, в этом не было.

Теория Покровского о «городской Руси и перегнивании ее в деревенскую», созданная им взамен истории возникновения, созревания и распада «империи Рюриковичей», обнаруживает свою несостоятельность во всех своих частях—как начальной, так и завершающей. Специальное рассмотрение последней, завершающей части приводит нас к необходимости отвергнуть ее основную мысль целиком и заняться восстановлением подлинной истории Руси, как она представлена нашими источниками.

Не отрицая особо выгодного международного торгового положения некоторых русских городов (Киева и Новгорода прежде всего), мы должны признать, что отношения между городом и деревней в Киевском государстве не дают основания для установления особого периода «городской Руси» Покровского, что процесс вызревания феодализма шел у нас в основном тем же путем, как и в других соседних европейских странах, что варварская империя сыграла в этом отношении свою роль и распалась тогда, когда она оказалась неспособной поспевать за новыми требованиями жизни. Причем этот распад ни в коем случае не связан с упадком городов, а с несомненным мощным подъемом в их развитии.

Что касается деревни, то она, как мы видели, тоже переживала в этот период новый этап своей истории. Рост крупного землевладения (увеличение количества крупных землевладельцев и расширение их земельных владений) при условии сочетания его с мелким хозяйством выразился: 1) в овладении новыми пространствами крестьян-

[1] Акты археографической экспедиции, I, № 35 и др.

ской земли, т. е. в превращении свободных общинников в людей, находящихся в разной степени зависимости—до крепостничества включительно, и 2) в доминирующем значении ренты продуктами.

Но этот этап не был итогом «перегнивания городской Руси в деревенскую», а явился результатом длительного старого процесса, начавшегося в момент образования классов в земледельческом обществе, каковым и было, несомненно, общество славян VIII—IX вв.

Итак, во всех четырех разделах настоящей статьи мы видели расхождение построений Покровского с фактами и ненаучный подход к этим фактам.

В заключение мне хотелось бы указать на то, что своей неверной трактовкой Киевской Руси М. Н. Покровский сыграл наруку тем, кто хотел видеть в России варварскую страну, создавшуюся где-то на глухом северо-востоке, не имеющую права включиться в число европейских государств. Отрицание факта существования Киевского государства лишает нас сильного оружия в борьбе с извращениями прошлого народов нашего Союза.

Возвращение к подлинным фактам прошлого этих народов дает нам совершенно определенную картину одного из важнейших моментов нашей истории.

С. БАХРУШИН

«ФЕОДАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК» В ПОНИМАНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I

В 1910 г., когда М. Н. Покровский выпустил впервые свою «Русскую историю с древнейших времен», вопрос о русском феодализме был далеко еще не освоен буржуазной исторической наукой. Выводы, к которым пришел Н. П. Павлов-Сильванский, настолько резко порывали со столетними традициями русской историографии, что не могли получить сразу широкого признания, и на него самого долгое время продолжали смотреть как на дилетанта. В. О. Ключевский, безраздельно господствовавший в буржуазной исторической науке, отмахивался от вопроса о феодализме ничего не говорящим парадоксом: «Возникли отношения, напоминающие феодальные порядки Западной Европы. Но это явления—не сходные, а только параллельные»[1]. Даже Н. А. Рожков не решался в 1905 г. отождествлять отмеченные Павловым-Сильванским явления с феодализмом[2].

При таких условиях попытка применить выводы Павлова-Сильванского к созданию новой концепции русской истории, которую мы находим в труде Покровского, казалась смелой и новой. М. Н. Покровский, однако, не самостоятельно подошел к разрешению вопроса о феодальном периоде русской истории. Он всецело зависит в этом вопросе от схемы Павлова-Сильванского и лишь использует его выводы в своих целях. Покровский высоко ценил книгу Павлова-Сильванского «Феодализм в древней Руси»; «ее необходимо иметь каждому историку России,—писал он в 1924 г.—особенно историку-марксисту... Он открыл в России те формы феодального права, которые были знакомы Западной Европе и существование которых у нас отрицалось всеми предшествующими историками»[3]. Покровский, конечно, не мог не понимать односторонности исследований Павлова-Сильван-

[1] В. О. Ключевский. Курс русской истории. М., 1904, ч. 1-я, стр. 445.
[2] Н. А. Рожков. Происхождение самодержавия в России. М., 1906, стр. 21.
[3] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов. М.-Л., 1933, II, 105.

ского, посвященных исключительно изучению юридических форм. «Объективная, социально-экономическая подкладка этих форм его мало интересовала»,—говорит он о нем. И тем не менее Покровский был увлечен свежей, казалось, концепцией Павлова-Сильванского и подпал под ее влияние.

Впоследствии, уже незадолго до своей смерти, М. Н. Покровский пробовал защитить допустимость предложенной Павловым-Сильванским трактовки феодализма. Феодализм,—рассуждал он,—«имеет разный смысл в исторической литературе и в марксистской теоретической литературе. Для последней феодализм есть общественно-экономическая формация, характеризующаяся определенными методами производства. Для историка феодализм не только это, а еще и определенная политическая система, известная форма государства». «Почему буржуазные историки берут феодализм с политического конца,—это не требует объяснения. Но почему и марксистам, «русским историкам», пришлось отчасти подчиниться этой постановке,—это объяснить нужно. Дело в том, что господство у нас в старину феодальных методов продукции буржуазные историки не оспаривали... Чтобы проложить дорогу марксистскому пониманию царизма, как феодальной по своему происхождению власти, и приходилось уделять так много места доказательствам того, что у нас был и политический феодализм, а не только феодальные методы хозяйствования». Таким искусственным силлогизмом пытался Покровский оправдать перед собой и перед советской наукой тот несомненный факт, что в вопросе о феодализме он с первых же шагов оказался в плену у буржуазной концепции Павлова-Сильванского, что, говоря его собственными словами, ему «пришлось отчасти подчиниться этой постановке». В эти слова надо, впрочем, внести одну поправку. Поскольку дело идет о «Русской истории», правильнее было бы сказать: «всецело подчиниться».

Самое определение понятия феодализма М. Н. Покровский берет у Павлова-Сильванского. Следуя за Гизо и Фюстель дю-Куланжем, Павлов-Сильванский так определял феодализм: «Главной первой чертой феодализма следует признать раздробление верховной власти или тесное слияние верховной власти с землевладением». Вторым моментом, характерным для феодализма, является «объединение отдельных доменов-сеньерий вассальной иерархией». «Основу феодального порядка составляет крупное землевладение» [1].

Это определение Покровский повторяет почти дословно. Он тоже отмечает «три основных признака» феодализма. «Это, во-первых, господство крупного землевладения, во-вторых, связь с землевладением политической власти... и, наконец, в-третьих, те своеобразные отношения,

---

[1] Н. П. Павлов-Сильванский. Феодализм в древней Руси. СПб, 1907, стр. 59—70, 44.

которые существовали между этими землевладельцами-государями: наличие известной иерархии землевладельцев» и т. д.[1].

Итак, Покровский, подобно Павлову-Сильванскому и его французским образцам, феодализм рассматривает в первую очередь как юридический институт.

Как историк-экономист, Покровский, конечно, не мог не попытаться подвести экономическую базу под изучаемые им юридические факты. Он правильно видел эту базу в господстве натурального хозяйства и слабом развитии рыночных отношений. «Независимое положение вассала по отношению к сюзерену было,—говорит Покровский,—политическим эквивалентом экономической независимости вотчины этого вассала от окружающего мира. Сидя в своей усадьбе, землевладелец лишь изредка... входил в непосредственные отношения с этим миром. В будничной жизни он имел все нужное у себя дома. Происхождение классической гордости средневекового рыцаря,—добавляет он,—было, как видим, весьма прозаическое»[2]. Что экономической базой феодального строя было замкнутое натуральное хозяйство, это доказано классиками марксизма. «В образцовых феодальных хозяйствах раннего средневековья,—пишет Энгельс,—для денег почти вовсе не было места. Феодал получал от своих крепостных все, что ему было нужно или в форме труда, или в виде готового продукта»[3]. Из правильной предпосылки Покровский не делает, однако, правильного вывода. Его интересует в первую очередь политическое положение землевладельца, вытекающее из хозяйственных условий его вотчины; он не осваивает основную мысль Маркса и Энгельса об особенностях производственных отношений, возникающих на почве натурального хозяйства и характерных для феодальной формации. Сущность этих производственных отношений Маркс и Энгельс определяют так: «Непосредственным производящим классом» при феодализме является мелкий крепостной крестьянин, который «владеет... своими собственными... условиями труда, необходимыми для реализации его труда и для производства средств его существования»[4] и «только земля и противостоит ему, как находящееся в чужой собственности условие труда, обособившееся по отношению к нему и олицетворенное в земельном собственнике»[5]. Последнее обстоятельство позволяет «номинальному владельцу земли»—феодалу—эксплоатировать непосредственного производителя, сидящего на его земле. «...Непосредственный производитель часть недели обрабатывает фактически принадлежащую ему землю при помощи орудий труда (плуг, скот и т. д.),

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. 3-е изд., М., 1920, I, 27.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 281, ср. стр. 30—31.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1-я, стр. 441.

[4] К. Маркс. Капитал. 8-е изд., Партиздат, 1932, III, 569.

[5] Там же, 572.

фактически или юридически принадлежащих ему же, а остальные дни недели работает в имении землевладельца, на землевладельца, даром»[1]. Так создается «отработочная рента», которая и «является ...первоначальной формой прибавочной стоимости и совпадает с нею». «Превращение отработочной ренты в ренту продуктами... ничего не изменяет в существе земельной ренты». Наконец, появляется рента денежная, «возникающая из простого метаморфоза ренты в продуктах», которая ничего не имеет общего с «промышленной» рентой, «покоящейся на капиталистическом способе производства и представляющей лишь избыток над средней прибылью»[2]. Поскольку мелкие производители были владельцами орудий труда и фактически владели даже землей, феодал мог заставить их платить ренту лишь средствами внеэкономического принуждения. «При таких условиях,—говорит Маркс,—прибавочный труд для номинального земельного собственника можно выжать из них только внеэкономическим принуждением». Поэтому, «во всех формах, при которых непосредственный рабочий остается «владельцем» средств производства и условий труда, необходимых для производства средств его собственного существования, отношение собственности необходимо будет выступать как непосредственное отношение господства и подчинения». «... Необходимы отношения личной зависимости, личная несвобода в какой бы то ни было степени и прикрепление в качестве придатка последней, принадлежность в настоящем смысле слова»[3]. Таким образом, прикрепление крестьянина к земле феодала является характерной чертой феодального строя[4]. Осуществление вне-экономического принуждения требовало образования в руках землевладельцев военной силы, а это, с своей стороны, обеспечивалось системой вассалитета и ленов. «Иерархическая структура земельной собственности и связанная с ней система вооруженных дружин,—говорится в «Немецкой идеологии»,—давали дворянству власть над крепостными»[5].

Итак, Маркс и Энгельс дают цельное представление о феодализме как об определенной форме производственных отношений. Покровскому это представление осталось чуждым. Вопрос о взаимоотношениях между владельцем земли и непосредственным производителем он подменивал вопросом о сочетании крупной земельной собственности с мелким хозяйством, т. е. ограничивался изучением чисто экономических фактов[6]. Возникновению крупного землевладения он и уделял очень много места в своей «Русской истории», пользуясь, однако, преимущественно фактами из сравнительно позднего времени[7].

---

[1] К. Маркс. Капитал. 8-е изд. Партиздат, 1932, III, 569.
[2] Там же, 572, 574.
[3] Там же, 569—570.
[4] См. замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспекта учебника «Истории СССР».
[5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 14.
[6] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 29.
[7] Там же, 39—46.

Покровский рисует очень яркую картину захвата земли феодалами, обезземеливания крестьян и приходит к заключению, что «первый из основных признаков феодализма (заимствованный им у Павлова-Сильванского.—*С. Б.*)—господство крупной собственности—может быть доказан для древней Руси, домосковского периода включительно, столь же удовлетворительно, как и для Западной Европы XI—XIII веков»[1]. Все это верно, но основной вопрос, вытекающий из факта сосредоточения земли в руках феодалов, вопрос о феодальной ренте, Покровский оставляет в стороне или, вернее, он трактует его совершенно не в марксистском понимании. Для него отработочная рента—«барщина»—является не основной формой феодальной ренты, как учит Маркс, а вторичной ее формой. Древнейшей формой, по его мнению, являлся оброк, а барщина появилась лишь как результат «возникновения рынка», «одновременно с деньгами или лишь немного ранее их», иначе говоря, поскольку феодализм как формация основывается на натуральном хозяйстве, отработочная рента характеризует собою падение феодализма и переход к другой формации. Так Покровский это и понимал, видя в барщине явление, типичное для так называемого «торгового капитализма».

Итак, ясное и точное определение феодального способа производства, данное в трудах Маркса и Энгельса, не оказало никакого влияния на Покровского при написании им «Русской истории». Это тем более удивительно, что в русской литературе марксистское понимание феодализма в применении к истории России уже давно нашло себе яркое выражение в трудах В. И. Ленина.

В своем исследовании «Развитие капитализма в России», вышедшем в 1899 г., Ленин блестяще охарактеризовал «барщинное хозяйство» в России и показал, что «способы получения прибавочного продукта» при этой форме хозяйства соответствуют «феодальной эксплуатации», как ее определяет Энгельс[2]. Преобладание барщинного хозяйства в русских помещичьих имениях, по указанию Ленина, предполагает «господство натурального хозяйства». «Крепостное поместие,—говорит он,—должно было представлять из себя самодовлеющее, замкнутое целое, находящееся в очень слабой связи с остальным миром». «...Для такого хозяйства необходимо, чтобы непосредственный производитель был наделен средствами производства вообще и землею в частности; мало того—чтобы он был прикреплен к земле...». Отсюда вытекала «личная зависимость крестьянина от помещика», потому что, «если бы помещик не имел прямой власти над личностью крестьянина, то он не мог бы заставить работать на себя человека, наделенного землей и ведущего свое хозяйство. Необходимо, следовательно, «вне-экономическое принуждение»[3].

Таким образом, еще за 11 лет до «Русской истории» Покровского

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 46.
[2] В. И. Ленин. Соч., III, 140, примечание.
[3] Там же, III, 140.

В. И. Ленин доказал наличие в России феодализма, понимаемого как определенный способ производства. Покровский игнорировал выводы Ленина. Продолжая оставаться на позициях буржуазной историографии, он не вникал в вопросы, связанные с феодальным способом производства, и считал, как мы видим, более существенным уделять много места доказательству того, что у нас был и политический феодализм, и готов был отказаться от изучения «феодальных методов хозяйствования», т. е. соскальзывал на чисто идеалистические позиции в этом вопросе. Такое игнорирование М. Н. Покровским марксистско-ленинских установок было, конечно, не случайностью. Не надо забывать, что его концепция русского феодализма складывалась в тот период его жизни, когда он, как политический деятель, теснейшим образом связывался с группой «впередовцев», склеенной, по выражению Ленина, «из разнородных антимарксистских элементов»[1]. «*Уклонения* от марксизма»[2] были характерны для «впередовцев», являвшихся, как говорит Ленин, проводниками «*буржуазного влияния на пролетариат*»[3]. В такой политической среде естественно и неизбежно было уклонение от марксизма в сторону буржуазной историографии.

II

Исходя из идеалистического, по существу, понимания феодализма как института политического и мало обращая внимания на производственные отношения, характерные для феодального строя, Покровский, естественно, был склонен ограничивать период господства феодальных отношений той эпохой, когда отмечаемые им политические явления наблюдались в полной силе, с XII до начала XVI в., иначе говоря, он отождествлял феодальный период с периодом феодальной раздробленности и видел конец феодализма с того момента, как исчезают признаки политической независимости отдельных землевладельцев.

Признаком падения феодального порядка является поэтому для Покровского именно утрата землевладельцами их политических прав и превращение вольного слуги-вассала в служилого человека, обязанного военной службой[4]. Как сторонник экономизма в истории, Покровский искал корней этого факта в изменениях, происшедших в экономической жизни страны на переломе между XV и XVI вв. «Ограничивалось ли это выветривание старорусского феодализма юридическими отношениями?»—спрашивал он. И тут же отвечал: «Уже с первого взгляда такое изменение юридической надстройки при старом экономическом базисе являлось бы непонятным. Независимое положение вассала по отношению к сюзерену было политическим эквивалентом экономической независимости вотчины этого вассала от окружаю-

[1] В. И. Ленин. Соч., XVII, 476.
[2] Там же, XVI, 423.
[3] Там же, XVII, 478.
[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 281.

щего мира»[1]. Итак, падение феодализма, понимаемого как политический институт, обусловлено переменой в области экономики. «Эта перемена,—говорит Покровский,—состояла в разрушении феодальной вотчины, как самодовлеющего экономического целого, и появлении землевладельца, прежде гордого в своем экономическом уединении, на рынке, в качестве покупателя и в качестве продавца»[2].

Такая «перемена», по мнению Покровского, произошла в конце XV—начале XVI в. под непосредственным влиянием «торгово-капиталистических» (по его терминологии) буржуазных отношений. На этой концепции, несомненно, сказалось влияние «легального марксизма» в лице П. Струве. В безнадежном стремлении сбросить с себя путы буржуазной историографии Покровский обращался не к классикам марксизма—не к Марксу и Энгельсу, не к Ленину, а именно к Струве. Струве работал над эпохой более поздней, чем та, о которой идет у нас речь. Но у него Покровский нашел принципиальное противопоставление крепостнических отношений предшествующему ему аграрному строю. Установление крепостного права, по Струве, означало полную «перестройку аграрных отношений»; «превращение их из вольно-договорных в принудительно-крепостные означало собою,—говорит он,—коренное юридическое и хозяйственное изменение оброка и барщины»[3]. Струве же высказал широко развитую Покровским мысль о тесной связи крепостного хозяйства с рынком. «Производство хлеба... составляло его движущую и определяющую силу»,—пишет Струве[4].

Эти общие положения Струве Покровский и попытался приложить к пониманию той «перемены», которую он наблюдал в истории северо-восточной Руси XV—XVI вв.

Натуральное хозяйство, типичное для феодализма, в XVI в. сменяется, по утверждению Покровского, бурным развитием буржуазных отношений. В сельском хозяйстве переворот, происшедший в экономике страны, выражается в его «товаризации», в «превращении хлеба в товар», что с своей стороны привело к превращению в товар «и земли, которая давала хлеб»[5]. При таких условиях, теоретически говоря, должно было произойти резкое изменение и в производственных отношениях, и Покровский спешит противопоставить «новое крепостное право» «прежнему феодальному праву», хотя и не показывает, чем по существу отличалось первое от второго. Мало этого. Он старается убедить себя в том, что в XVI в. имеются признаки коренного перехода к буржуазным формам вольнонаемного труда: «характерным симптомом» представляются ему «попытки вести хозяйство вольнонаемными рабочими»[6]. Он не усомнился под эту категорию подвести

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 281.
[2] Там же, 283.
[3] П. Струве. Крепостное хозяйство. М., 1913, стр. 17.
[4] Там же, 159.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 294.
[6] Там же.

феодально-зависимых монастырских «детенышей» и отождествить феодальный наем, известный уже «Русской Правде», с наймом буржуазным.

«Хозяйственные перемены...,—говоря словами Покровского,—должны были выдвинуть новые общественные классы или, по крайней мере, новые социальные группы».

С тех пор как «многое пришлось покупать на деньги», крупная феодальная» вотчина, жившая натуральным хозяйством, должна была пасть [1]. Ее место заняло теперь «среднее землевладение», согласно схеме Покровского, «успешно сживавшееся с условиями нового менового хозяйства» [2]. В то время как крупный вотчинник, не приспособленный к товарно-рыночным отношениям разорялся, «мелкий вассалитет» (т. е. мелкопоместное дворянство) почему-то оказался «в гораздо более выгодном положении», потому что, будто бы, «гораздо лучше удавалось хозяйство мелкому помещику, вышедшему часто из крестьян и из холопов». Эту по существу совершенно парадоксальную мысль, будто мелкое феодальное землевладение легче приспособляется к рынку, чем крупное, Покровский стремится доказать рядом совершенно искусственных соображений. Владельцы больших «латифундий» будто бы редко обладали способностью и охотой по-новому организовать свое хозяйство. «Человек придворной и военной карьеры», боярин «едва ли когда заглядывал в свои дальние вотчины»,—повторял Покровский слова Ключевского. Высокое положение налагало обязательства, которые не удовлетворяло натуральное хозяйство, и на боярина тяжело падала «экономическая тяжесть официального престижа». Все это нужно Покровскому, чтобы экономически обосновать политический успех «мелкого дворянства», которое... создавало новое хозяйство [3]. Помещичье хозяйство было, если верить Покровскому, более прогрессивным, чем хозяйство «феодальное», т. е. боярское; поэтому «в начавшейся борьбе крупного и среднего землевладения экономически все выгоды были на стороне последнего». Опричнина Ивана Грозного «шла по линии естественного экономического развития, а не против его» [4]. А победа опричника, с своей стороны, означала конец феодализма: «дорога воинства (дворянства) шла через труп старого московского феодализма, и это делало «воинство» прогрессивным, независимо от того, какие мотивы им непосредственно руководили» [5].

Видя в XVI в. признаки коренного изменения всей системы хозяйства, Покровский и в торжестве одного из слоев господствующего класса видел смену одного класса другим, происшедшую в результате перехода к новым хозяйственным формам. «Экономический переворот,—говорит он,—крушение феодального вотчинного землевладения, нашел

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 295.
[2] Там же, 299.
[3] Там же, 295—296.
[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 42.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 329.

себе политическое выражение в смене у власти одного общественного класса другим»[1].

Таким образом, последовательно проводимая Покровским концепция «экономического материализма», использованная для обоснования идеалистической схемы Павлова-Сильванского, приводит его к абсурду: «феодальным господам» противопоставляется как особый класс «взбунтовавшийся против них землевладелец второй руки», иначе говоря, одному слою класса феодалов, крупным землевладельцам, противопоставляется другой слой того же класса, землевладелец мелкий.

К такому абсурду Покровский не мог не притти, поскольку он исходил из представления о феодализме как о явлении в первую очередь политическом и упускал из виду основные производственные отношения, которые по существу не изменились в XVI в. Господствующим классом оставались владельцы земли, безразлично какое бы название они не носили, будь то бояре, «феодалы», по терминологии Покровского, или мелкопоместные дворяне. И «феодалы» и дворяне одинаково внеэкономическим путем эксплоатировали мелкого производителя-крестьянина. Вся разница заключалась лишь в размерах, а не в характере хозяйства; от того, что дворянин имел меньше земель и меньше крестьян, чем боярин, он не переставал быть феодалом. Не изменяет дела и юридическое различие, существовавшее между вотчиной и поместьем, которому буржуазная историография придавала такое большое значение. И самый кризис XVI в., поскольку он был вызван ростом товаро-денежных отношений, одинаково поразил и боярскую вотчину и дворянское поместье. И если крупные феодальные хозяйства, с их более сложными потребностями, раньше ощутили его гибельную близость (хозяйства удельных князей еще в XV в.), то уже в средине XVI в., еще в средине 60-х годов князь Курбский констатирует оскудение «воинского чина» и купечества и разорение крестьянства[2].

И то, что Покровский называет борьбой нового прогрессивного дворянского класса со старым классом «феодалов», была лишь внутриклассовая борьба господствующих группировок за власть, за землю, за рабочие руки, обострившаяся в условиях тяжелого и затяжного кризиса.

Устранив из круга своего зрения основной момент—способ производства, остававшийся неизменным, Покровский и должен был изобрести для периода, начинающегося с XVI в., особую «торгово-капиталистическую» формацию и признать феодалов-дворян на ряду с посадом представителями «торгового капитала». Надо, однако, сделать оговорку, что в позднейшей «Русской истории в самом сжатом очерке» М. Н. Покровский делает некоторую попытку рассматривать феодализм именно как способ производства, и в связи с этим дво-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 340.
[2] Соч. кн. А. И. Курбского. Русск. истор. библ., XXXI, 398.

рянство, боярство и монастыри выступают теперь у него как «разряды единого феодального класса»[1]. Но эта поправка, как она ни существенна, не отражается на общей его концепции, которая остается прежней. Попрежнему и здесь «русский феодализм» отождествляется с эпохой феодальной раздробленности, а XVI век рассматривается как эпоха разложения московского феодализма и зарождения «торгового капитализма». Таким образом, Покровский, безнадежно запутавшись в попытках согласовать идеалистическое понимание феодализма с требованиями вульгарного «экономического материализма», создал антимарксистскую и антиленинскую концепцию, которая затем получила свое развитие в троцкистских писаниях Дубровского, Томсинского и других.

III

Не одна концепция Павлова-Сильванского тяготела над Покровским. Ученик В. О. Ключевского, он всю свою жизнь не мог вполне преодолеть влияние исторических построений своего учителя и, принимая новую концепцию русской истории, данную Павловым-Сильванским, он увидел себя вынужденным примирить ее с другой буржуазной концепцией, с концепцией В. О. Ключевского, которой она во многом противоречила. Это сказалось в трактовке Покровским начального периода русского феодализма.

Не видно, чтобы Покровскому были знакомы суждения Владимира Ильича Ленина о закабалении землевладельцами смердов в Киевской Руси еще во времена «Русской Правды», в XI в. Тем не менее он правильно угадывал зарождение феодального порядка уже в Киевской Руси. Он находит в «Русской Правде» упоминание о «крупной боярской вотчине с ее необходимыми атрибутами: прикащиком, дворовой челядью и крестьянами, обязанными за долг работать на барской земле (закупами)». «Боярин «Русской Правды»,—говорит он,—прежде всего крупный землевладелец»[2]. Это—мысль, впоследствии развитая в исследованиях Б. Д. Грекова. Покровский высказывает и другую мысль, развитую Б. Д. Грековым,—о «тесной зависимости (по крайней мере некоторых категорий смердов.—*С. Б.*) от княжеской власти»[3]. Наконец, с язвительной убедительностью он доказывает наличие «уделов», т. е. феодальной раздробленности в Киевской Руси, в «до-удельный» период, как он пишет не без иронии[4]. В общем итоге получается целостная и убедительная картина феодальных порядков в Киевском государстве. Но тут концепция Покровского неожиданно сталкивается с другой противоположной концепцией, с которой он свыкся еще со студенческой скамьи, с концепцией В. О. Ключевского

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 42.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 28.
[3] Там же, 93 и сл.
[4] Там же, 170—172.

о городском характере Киевской Руси в XI—XII вв. Покровский в этом вопросе не имеет силы освободиться от воздействия научного наследия талантливого буржуазного профессора. Он определенно становится на его сторону в той полемике, которая возникла по этому вопросу между ним и Н. А. Рожковым [1]. Правда, Покровский вносит некоторые поправки в схему Ключевского; он красноречиво показывает разбойничий характер торговли древнерусского города, но это не меняет существа дела. Наоборот, в грабеже он даже видит «своеобразную форму первоначального накопления торгового капитала» [2]. Между тем торговля, хотя и разбойничья, резко противоречит представлению Покровского о натуральном характере феодального хозяйства. Последнюю мысль, правильную по существу, Покровский с прямолинейностью, свойственной сторонникy «экономического материализма», оперирующему схемами, доводит до крайности. «Главнейшим экономическим признаком того строя,—говорил он,—который мы изучаем выше как «феодальный», являлось отсутствие обмена. Боярская вотчина удельной Руси была экономически самодовлеющим целым... Если бы весь мир вокруг нее провалился, она продолжала бы существовать как ни в чем ни бывало» [3].

Таким образом, по Покровскому, в Киевской Руси рядом развиваются две параллельные силы: торговый город с его особым вечевым укладом и феодальная деревня, отличительной чертой которой было «отсутствие обмена». Этот дуализм древнерусской истории и создал «политическую антиномию», которую «приходилось разрешать Киевской Руси»: «Наемный сторож в городе, князь был хозяином-вотчинником в деревне... Вопрос, какое из двух прав—городское или деревенское, возьмет верх в дальнейшем развитии, был роковым для всей судьбы древнерусских республик». В Приднепровье «шел медленный процесс перегнивания старой хищнической городской культуры в деревенскую» [4].

Это противопоставление города Киевской Руси, представляющего какую-то особую формацию, которую автор и не пробует определить точнее (это не буржуазный, а какой-то военно-торговый город, еще в XI в. не знавший общественных классов) [5], феодальной деревне является результатом недоразумения. Не подлежит сомнению, что город Киевской Руси XI—XII вв. уже выделился из деревни, был противоположностью ей, поскольку «представляет собою факт концентрации населения, орудий производства, капитала, потребностей и способов их удовлетворения, между тем как в деревне мы наблюдаем диаметрально противоположный факт изолированности и разобщен-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 58.
[2] Там же, 67.
[3] Там же, 57.
[4] Там же, 96—102.
[5] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 22: «Городская Русь X—XI веков еще не знала общественных классов».

пости»[1]. Но еще резкого антагонизма между городом и деревней не было и не могло быть, потому что в указанную эпоху феодальный город только складывался. «Антагонизм против городов», как совершенно точно установлено Марксом и Энгельсом, появляется «вместе с полным развитием феодализма»[2]. Антагонизм этот во многих отношениях облегчил ликвидацию феодальной раздробленности и создание централизованного феодального государства. Наоборот, у Покровского расцвет городской культуры предшествует образованию феодальной формации, и самое установление феодализма оказывается возможным лишь после того как город пал. Ошибка Покровского и заключается в том, что он рассматривает город как нечто самодовлеющее, вне связи с господствовавшим в Киевской Руси способом производства. Это объясняется тем, что Покровский в своем понимании взаимных отношений города и деревни исходил не из положений классической марксистской литературы, а из выводов буржуазных историков, в первую очередь Ключевского с его городовой теорией. Для него крупный торговый город Киевской Руси не был городом феодальным; он предшествовал возникновению феодальных отношений в деревне и с торжеством феодализма должен был потерять свое значение[3]. Эта концепция основана, с одной стороны, на преувеличенном представлении торгового значения городов, а с другой—на полном отрицании рыночных отношений при феодализме. Первая мысль подчеркнута у Ключевского. Последняя навеяна, очевидно, Бюхером, с его отвлеченной концепцией ойкоса. Наличие городского ремесла и зарождение городского рынка в эту раннюю эпоху еще не позволяют рассматривать город вне связи с развитием феодальных отношений в деревне. Город Киевского государства был плотью от плоти феодального общества, в первую очередь центром феодального угнетения окрестного населения. Окруженный княжескими «дворами»—укрепленными усадьбами вроде Ракома и Городища под Новгородом, Вышгорода и Берестова под Киевом—и многочисленными феодальными монастырями, город в Приднепровье являлся цитаделью крупных землевладельцев-князей и их вассалов, управлявших из-за его деревянных стен своими вотчинами посредством несвободных тиунов и сельских и ратайных старост. Даже Новгород, несмотря на свое исключительно крупное торговое значение, не утрачивал черт большого феодального города, в котором власть оставалась в руках землевладельческого боярства. Городское вече, с которым у ряда буржуазных писателей связывалось представление о своеобразной городской демократии, и в Новгороде, и в Киеве, и в других городах было

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 40—41.
[2] Там же, 14; ср. стр. 15.
[3] В «Немецкой идеологии» (Соч., IV, 44), наоборот, говорится определенно, что «условия жизни отдельных горожан» «были созданы ими, поскольку они были обусловлены своей противоположностью к феодализму, который *они застали уже существующим*» (курсив мой.—*С. Б.*).

послушным орудием в руках местной феодальной знати, за редкими исключениями, когда в минуты стихийных восстаний городских низов власть временно выскальзывала из этих цепких рук. В последнем случае движение быстро выходило за пределы города и захватывало окрестное феодально-зависимое население деревни, как это произошло, например, в Киеве в 1113 г., когда движение, первоначально чисто городское, направленное против ростовщического капитала и против княжеской администрации в городе (тысяцкого и сотских), грозило перейти в восстание против крупных феодалов-землевладельцев—бояр, монастырей и княжеской семьи.

О резкой «антиномии» города и феодальной деревни, таким образом, еще не может быть и речи. В Киевской Руси XII в. город был таким же феодальным поселением, как и деревня. Между тем Покровский окончательное становление феодализма в XIII в. ставит в зависимость от падения городского строя, которое, по его мнению, явилось результатом чисто внешних обстоятельств. «Естественная кончина древнерусского торгового города,—говорит он,—была ускорена рядом причин, содействовавших превращению городской Руси в деревенскую»[1]. «Главных причин упадка древнерусских городов было,—по его словам,—две»[2]. «Первой была огромная перемена в направлении и характере торговли того времени». С XI в. торговая Европа... начинает прокладывать свои пути на восток, отбивая монополию восточной торговли у магометан и византийских греков. Теперь дорога из Черного моря в Рим шла не по Днепру, а через Венецию, а великий водный путь «из варяг в греки» кончался на юге коммерческим тупиком. Варягам теперь легче было связаться с греческими странами другой рекой—Рейном. «Великий водный путь» из варяг в греки, по которому вытянулась цепь древнерусских городов, заглох, а с ним вместе стали глохнуть и эти города»[3].

Это стремление механически связать сложный вопрос упадка Киевской Руси с «сдвигом» мировых торговых путей очень характерно для сторонника исторического экономизма. Пущенной им в оборот мысли посчастливилось в последующей историографии, и «сдвиг» торговых путей на долгое время сделался той панацеей, посредством которой необычайно легко и просто разрешался труднейший вопрос нашей истории. Не приходится отрицать, что разгром Константинополя крестоносцами в 1204 г. нанес сильный и непоправимый удар киевской торговле. Но другие города, лежавшие по Днепру, с начала XIII в. уже ориентировались на иные «латинские» рынки, на Ригу и на «Готский берег», как это видно из договора, заключенного Смоленском с купечеством Риги, Готланда, Любека,

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 103.
[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 24.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, 110; Русская история в самом сжатом очерке, 24—25.

Бремена и других прибалтийских немецких городов[1]. Не говорю уже о городах на Западной Двине, как Полоцк, которые несомненно выиграли от торговой конъюнктуры на Балтийском море. Наконец, даже значительно позднее, в XV в., путь в итальянские колонии Крыма через Киев был еще очень употребителен[2]. Говорить поэтому о решающем значении изменения на мировом рынке в XIII в. не приходится, независимо от того, насколько вообще приемлемо представление о Киевской Руси как об исключительно городской стране.

Другим моментом, решившим падение городской Руси и окончательное торжество Руси деревенской, т. е. феодальной, по мнению Покровского, было другое, тоже внешнее событие—татарское нашествие. «Последний удар» нанесли татары. «Татарский разгром одним ударом закончил тот процесс, который обозначился задолго до татар и возник в силу чисто местных экономических условий: процесс разложения городской Руси XI—XII вв.». «Все русские города попали один за другим в руки татар, кроме Новгорода. Татары не только разорили их и увели население в плен, но, упрочивая свою власть, они с корнем вырвали всюду (опять-таки кроме Новгорода) городскую свободу». Татарская «катастрофа» «закрепила то падение городского права и торжество деревенского, которым на много столетий определилась политическая физиономия будущей северной монархии»[3]. Таким образом, Батый явился тем «deus ex machina», который разрешил «антиномию» города и деревни, которой не мог разрешить историк.

В конечном итоге, кроме Новгорода, «все остальные из этапных пунктов на большой дороге международного обмена превратились в захолустные торговые села на проселке и почти в то же время были разрушены татарами»[4].

Эти две причины—изменение направления «международных путей» и татарское нашествие, обусловившее окончательное падение городской Руси, обусловили и торжество феодального порядка. «Городская Русь,—говорит Покровский в «Русской истории в самом сжатом очерке»,—истощенная собственными грабежами, подбитая передвижкой мировых торговых путей с Черного моря и Днепра на Средиземное море и Рейн, была окончательно добита татарами и после татарского разгрома оправиться не могла. Россия стала той деревенской страной, какой мы привыкли ее видеть. И сложившиеся в этой деревенской Руси порядки были непохожи ни в дурную, ни в хорошую сторону на то, что представляла собою городская Русь X и XII столетий. Князь и его боярин, работорговцы вначале, те-

[1] М. Владимирский-Буданов. Хрестоматия по истории русского права. СПб.—Киев, 1899, I, 113—127.

[2] См. об этом в Крымских делах в сб. Русск. исторического об-ва, I, 41; В. Е. Сыроечковский. Пути и условия сношений Москвы с Крымом на рубеже XVI в. Известия Акад. Наук СССР, 1932, № 3, стр. 217—227.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 104—105, 172; Русская история в самом сжатом очерке, 25.

[4] М. Н. Покровский. Русск. ист. с древнейших времен, I, 110, 105.

перь превращаются в землевладельцев. Вместо того чтобы поставлять товар на невольничьи рынки, они сажают теперь захваченных ими пленников на землю, делают из них своих «смердов». Все это, конечно, произошло не сразу... Задолго до татар, в XII в. боярин из ростовщика и торговца превращается в сельского хозяина... Это, однако, первое время не мешало князьям и боярам разбойничать и при случае торговать награбленным, а ростовщичество даже отлично уживалось с сельским хозяйством, доставляя рабочие руки в лице закупов. *Такое падение городов прочно усадило боярина в его усадьбе и окончательно сделало его «бариком», помещиком»* (курсив мой.—*С. Б.*) [1]. Приведенная цитата говорит сама за себя. Торжество феодализма обусловливается двумя чисто внешними причинами: «передвижкой мировых торговых путей» и татарами. Не будь этих случайных, в конце концов, явлений, и не было бы у нас феодализма.

Правда, Покровский несколько раз оговаривается, что падение городской Руси было подготовлено местными экономическими причинами. Но эти экономические причины он сводит все к тому же «разбойничьему» характеру торговли, основанной на грабеже, которой он придает такое преувеличенное значение в истории Приднепровья.

Итак, вместо того чтобы выводить развитие феодальных отношений из развития производительных сил, Покровский установление новой формации связывает с явлениями, воздействовавшими на русское общество извне.

Не все впрочем ново и оригинально в изложенной концепции. Мысль о непосредственном влиянии татарского ига на падение вечевого строя принадлежит Сергеевичу [2]. Следуя за ним, Покровский не учел того естественного развития феодальных отношений, при котором вече феодального города постепенно утрачивало свое военное значение, уступая по мере расширения землевладельческой мощи князей и бояр первое место на войне военным вассалам князей и их феодальной дворне.

IV

Исходя из своей явно искусственной концепции об условиях, способствовавших установлению феодализма, Покровский и в дальнейшем подчиняет двум указанным внешним моментам—татарскому завоеванию и направлению торговых путей—последующий ход феодальной концентрации. Он, правда, подходил к правильному разрешению вопроса, когда характеризовал «Московское государство XV века, как огромную ассоциацию феодальных владельцев, в силу особенно благоприятных условий поглотившую все остальные ассоциации». «Та группировка феодальных ячеек, которой суждено было стать на место городовых волостей XI—XII вв. и которая получила название великого княжества, позднее государства Московского, на-

[1] М. Н. Покровский. Русск. ист. в самом сжатом очерке, 25—26.
[2] В. И. Сергеевич. Русск. юрид. древности. СПб., 1900, II, 34—35.

растала медленно и постепенно»,—говорит он в «Русской истории в самом сжатом очерке». Этому наблюдению он придает общее значение: «путем собирания отдельных феодалов вокруг одного и возникли крупные западноевропейские государства»[1]. Здоровая мысль, видевшая в образовании «феодальной монархии» результат естественной концентрации феодальных сил вокруг наиболее благоприятно расположенного в политическом и экономическом отношении княжества, однако, была совершенно заслонена у Покровского его двумя основными идеями о торговых путях и о татарах.

«Объединение Руси вокруг Москвы,—пишет Покровский,—было на добрую половину татарским делом»[2]. Московский князь отнюдь не был самым сильным князем в северо-восточной Руси, он уступал в могуществе не только тверским, но и нижегородским и рязанским князьям. Возвышение Московского княжества явилось поэтому опять-таки результатом внешнего воздействия, результатом ханской политики: хан оказывал покровительство «именно московскому князю, наиболее слабому и в глазах хана наиболее безобидному». Московский великий князь в полном смысле слова—креатура татарского хана; он, по словам Покровского, является «чем-то вроде главного прикащика хана»[3]. Таким образом, абсолютическая феодальная монархия была создана татарами, и даже московское самодержавие является делом их рук. «Поддерживая князей и их бояр в борьбе с «меньшими» людьми, Орда создает в конце концов московское самодержавие, которое упраздняет за ненадобностью и самую Орду»[4].

Как и в других своих построениях по феодальной эпохе, Покровский мало оригинален и в суждениях о решающей роли татар в деле образования русского государства. Это очень старая мысль, которую впервые формулировал Карамзин, а за ним повторял ряд историков; наиболее, может быть, обстоятельно ее развивал Костомаров. Наоборот, Соловьев, а за ним Ключевский совершенно отрицали всякую роль татар. Для Ключевского «татарское иго» как бы совсем не существовало, так мало он уделяет внимания связанным с ним проблемам. Это была крайняя точка зрения, но лежавшая в основе ее мысль была более правильна, чем теория Карамзина. Основные внутренние процессы в жизни страны не были коренным образом нарушены татарским завоеванием и продолжали развиваться под владычеством золотоордынских ханов в том же направлении, как и прежде. Не подлежит сомнению, что московские князья искусно использовали татарских ханов в своих политических целях, но было бы наивно на этом основании думать, что возникновение сильного централизованного феодального государства явилось результатом интриг

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 172, 173; Русская история в самом сжатом очерке, 31.
[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 25.
[3] Там же, 32.
[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 108.

отдельных ловких князей и тех взяток, которые они во-время раздавали «князьям ордынским» и ханшам. Покровительствуя тем или иным угодным князьям, золотоордынские ханы отнюдь не затрагивали основ того государственного строя, который они нашли на северо-восточной Руси, и скорее плыли по течению, чем руководили ходом событий. Мы действительно видим, что Батый, едва завершив завоевание Восточной Европы, торопится восстановить существовавший в ней порядок, нарушенный было его нашествием, и утвердить своей инвеституро́й ту иерархию, которая установилась до него между русскими князьями. Его преемники были заинтересованы в поддержании прерогатив великих князей владимирских, чтобы через их посредство властвовать над более мелкими князьями, принимая, однако, меры к недопущению слишком большого их усиления. При этом они в своей политике руководились не личными симпатиями и антипатиями, даже не количеством получаемых подарков, а реальным соотношением сил в северо-восточной Руси. Пока была сильна Тверь, Узбек, несмотря на семейные и иные связи с московским княжеским домом, ярлык на великое княжение предоставлял великим князьям тверским. Через три-четыре года после расправы с Михаилом Ярославичем он утвердил великим князем его сына князя Дмитрия Михайловича и даже после казни последнего в 1325 г. все-таки отдал великое княжение его брату Александру Михайловичу. Это, правда, не мешало Узбеку поддерживать своих московских свойственников в их войнах с Тверью, но только открытое восстание Твери против ханской власти дало Ивану Даниловичу Калите великокняжеский титул. И позднее вопрос решался не ханской волей, а реальными условиями момента.

По Покровскому, самый слабый из русских князей, князь московский, именно потому, что был слаб, сделался объектом покровительства со стороны хана, который превратил его в своего «прикащика» и усилил его за счет соседних князей. В действительности было обратное. Московский великий князь по мере своего усиления втягивал Орду в орбиту своей политики и использовал ее в своих целях. Маркс ярко характеризует взаимоотношения между московскими князьями и Золотой ордой даже в период ее наибольшего могущества. «Иван Калита,—говорил он,—обращает хана в орудие, при помощи которого он отделывается от наиболее опасных соперников и устраняет всякое на своем пути препятствие. Он не завоевывает уделы, но незаметно обращает в свою исключительную пользу права завоевателей татар». И в дальнейшем, «ханы,—по его словам,—как заколдованные продолжали оставаться орудиями усиления и собирания Москвы»[1]. Таким образом, не ханы создали на месте феодальной раздробленности единое феодальное государство с центром в Москве. Объединительные процессы шли внутри феодального общества, вне зависимости от политических соображе-

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века.

ний ханов. Ханы не смогли помешать развитию этих процессов и не они, конечно, их вызвали к жизни. Объединение северо-восточной Руси вокруг Москвы зависело не столько от воли ханов, сколько от местного населения, сплотившегося вокруг наиболее сильного из многих князей. У Дмитрия Константиновича суздальского в руках был ханский ярлык, но он должен был уступить великое княжение малолетнему московскому князю Дмитрию (Донскому), потому что его авантюра не встречала поддержки даже среди его ближайших сородичей, а в 1365 г. он даже отказался от ярлыка, присланного ему в третий раз из Орды, за невозможностью реализовать предоставленное ему звание. Точно так же и тверской князь Михаил Александрович в 1371 г. не мог использовать данный ему ярлык в виду того, что владимирцы просто не приняли его, обвинив в том, что он взял великое княжение обманом. В 1389 г. Н. Новгород достался без боя московскому великому князю не потому, что он «умздил» советников хана, а потому, что на его сторону перешло местное нижегородское боярство и т. д.

Постоянную поддержку встречали московские великие князья со стороны наиболее могущественной группы феодалов—духовенства. Со времени митрополита Петра феодальная церковь усиленно содействовала объединению «всея Руси» под главенством владимирских и московских великих князей, пуская в ход и свой религиозный авторитет, и испытанное оружие отлучения, и материальные силы, сосредоточенные в ее руках. Как и светские феодалы, церковные магнаты были заинтересованы в сильной власти, которая обеспечивала бы их вотчины от разорения феодальными войнами, от татарских набегов и от насилий их непосредственных сюзеренов. Последнюю мысль откровенно высказал значительно позже Иосиф Волоцкий, когда он оправдывал уход крупных монастырей из-под власти удельных князей под покровительство великого князя тем, что всегда «от обид меньших к большим прибегают»; и сам он коммендировал великому князю свой монастырь, «да не запустеет и до конца не погибнет от многих неправд». Сильное феодальное государство обеспечивало не только безопасность владений более мелких феодалов. Оно обеспечивало им и более эффективное господство над населением их вотчин, открывая более широкие возможности его эксплоатации. Но уничтожение феодальной раздробленности было в интересах не только самих феодалов. Для северо-восточной Руси XIV—XV вв. вполне применимы слова Энгельса об усилении королевской власти в Западной Европе: «...и в городах и в деревне повсюду увеличилось в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже и в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно

продолжало существовать в течение всего средневековья. Будучи сами по себе еще слишком слабыми, чтобы осуществить свое желание на деле, элементы эти находили сильную поддержку в главе всего феодального порядка—в короле»[1]. И северо-восточной Руси прекращение феодальной раздробленности несло известное облегчение для широких масс населения, и оно почувствовало преимущества нового порядка уже при Иване Калите, когда, по выражению летописца, «наступила тишина великая по всей Русской земле и перестали татары воевать ее»[2]. Когда при Иване III братья великого князя, воспользовавшись приближением Ахмата, попытались было с оружием в руках восстановить свои старые права, то перспектива возобновления феодальных войн в тот момент, «когда внешние враги были в стране», вызвала в населении такую панику и «страх великий», что города были приведены в осадное положение, а сельские жители разбежались по лесам, «и по лесом бегаючи мнози мерли и от студени»[3].

То обстоятельство, что в борьбе за объединение феодально раздробленной страны великий князь— «глава феодального порядка»— опирался не только на узкий круг феодалов, но и на широкие народные массы, и сделало Москву центром национальной борьбы с татарами за независимость. Этим объясняется, что уже в 1380 г. на Куликовом поле Москва выступила во главе почти всей северо-восточной Руси. Объединение народных сил вокруг Москвы и обеспечило победу над татарами.

Исключительное значение татар в деле создания централизованного феодального государства в северо-восточной Руси Покровский старался объяснить высокой, по его мнению, культурой выходцев из степей Монголии к моменту завоевания. «Татары,—говорит он,—даже в XIII—XIV вв. вовсе не были «степными хищниками», а были довольно высоко организованным полуоседлым народом, а в области материальной культуры стоявшим выше своих русских противников, благодаря главным образом влиянию Китая, отчасти и арабов»[4]. Он неоднократно подчеркивает высокую культуру татар, в частности «техническое превосходство» жителей юрты «не только над оседлым человеком Восточной Европы XIII века, но и над современным населением тех мест»[5].

Таким образом, татары, в изображении Покровского, выступают в отношении покоренных ими русских княжеств как своего рода культуртрегеры. Такая преувеличенная оценка культурной роли татар

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1-я, стр. 443.
[2] С. М. Соловьев. История России с древнейших времен. Изд. «Общественная польза», I, 929.
[3] Полное собрание русских летописей, XII, 197.
[4] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 280.
[5] Там же, 185—187.

объясняется в первую очередь теми поразительными открытиями, которые сделала советская археология на месте старинных татарских городов, а также естественной реацией против пренебрежительного отношения предшествующей «дореволюционной историографии» к «степным хищникам». Но при этом Покровский не учитывал, что иранская культура (в отношении Золотой орды можно говорить главным образом о культурном влиянии Ирана и Хорезма) затронула лишь верхушку татарских правящих классов, что городские центры с их великолепными дворцами, украшенными художественными изразцами, по существу служили временными стойбищами для татарских феодалов, обстраивавшимися руками пленных иностранных мастеров, что масса татарского населения вела кочевой образ жизни и даже ханы перекочевывали со всей ордой из одного пункта своих владений в другой. Поскольку татары при эксплоатации завоеванных ими русских земель применяли приемы обложения, заимствованные из завоеванных ими стран, они косвенно явились проводниками на Руси финансовой системы, выработавшейся в феодальных государствах Средней Азии. Этой организацией воспользовались и московские великие князья, когда под их властью стало складываться большое государство. Многое было принято русскими феодалами из материальной культуры завоевателей, из их одежды, оружия, даже языка. Но все эти заимствования не компенсировали пагубных последствий той эксплоатации, которой подверглось население северо-восточной Руси, и систематического разорения страны почти ежегодными набегами степняков. «Татарское иго,—как говорит Маркс,—...не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой. Монгольские татары установили режим систематического террора, причем разорение и массовые убийства стали его постоянным институтом» [1].

Татарские ханы отнюдь не способствовали созданию сильного национального русского государства. Наоборот, когда могущество великого княжества Тверского стало казаться им опасным, они под рукой оказывали поддержку московским князьям, а когда в конце XIV в. последние слишком на их взгляд усилились, они выдвигали против них то рязанских, то суздальских, то нижегородских, то тех же тверских князей. Их роль в событиях, происходивших в северо-восточной Руси, была, в сущности, пассивной. Во времена своего могущества, при Узбеке, Золотая орда еще в какой-то мере пыталась тормозить дело объединения северо-восточной Руси, используя борьбу между Тверью и Москвою. Начало упадка Золотой орды является вместе с тем периодом усиления и оформления русского государства. «...В России покорение удельных князей,—говорит Энгельс,—шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно было закреплено Иваном III» [2]. Итак, только ослабление Золотой орды было условием,

[1] К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 1-я, стр. 450.

благоприятствовавшим объединению северо-восточной Руси вокруг Москвы. Не под покровом Золотой Орды, а в борьбе с ней выросло и окрепло русское государство.

V

В соответствии с своим общим представлением о двух основных причинах, приведших к падению городской Руси и к установлению феодального порядка, Покровский и в вопросе об образовании Московского великого княжества выдвигает не одно только содействие Золотой орды. «В ряду безликих факторов, определивших «собирание» Руси около Москвы», он отводит экономике «одно из первых мест» [1]. Экономику он, однако, понимает узко: он имеет в виду выгодное положение Москвы—на пути из Западной России в Поволжье. Еще существеннее другой момент: Москва стала важнейшим «узловым пунктом» благодаря тому, что со старой дорогой восточной торговли пересекся *«новый* (курсив мой.—*С. Б.*) путь торговли западной из Новгорода в южную и восточную Русь». Наконец, «северный торг, направлявшийся прежде до XIII столетия на Киев по Днепру, теперь изменил это направление и шел через Москву по Дону в генуэзские колонии Черноморья». Таким образом, и тут «сдвиг» торговых путей играет решающую роль. Благодаря этому «сдвигу» столица Калиты уже в XIV в. становится, по словам Покровского, крупным «буржуазным центром [2], тем самым подготовляясь к предназначенной ей автором роли будущей столицы «торгового капитализма». Такое преувеличенное представление о торговом значении Москвы, ведущее начало от Соловьева и получившее дальнейшее развитие в лекциях Ключевского, было воспринято Покровским безоговорочно. Но даже в узких рамках «возвышения Москвы» момент торговли был гораздо более второстепенным, чем думали Соловьев и Ключевский. Соперница Москвы—Тверь—в отношении торговли находилась в значительно более выгодных условиях: в ее руках был ключ к пути из Новгорода на Волгу. Более того, путь из Новгорода на Москву, которому Покровский вслед за Ключевским придавал такое крупное значение, всецело зависел от тверских князей, поскольку устье Тверцы находилось в пределах их княжества, под глазами их столицы и под контролем крепостных сооружений их вассала, Отроча монастыря. С другой стороны, положение на Волге способствовало связям с далекими странами Востока, и в Твери мы видим «ордынских» и даже хопыльских купцов из Средней Азии, а в XV в. в Тверь приезжает посольство из Шемахи. Не случайно именно тверской купец Афанасий Никитин делает попытку завязать непосредственные сношения с Ираном и производит торговую рекогносцировку в далекую Индию. Не говорю уже о соседстве с Литвою, открывавшем возможность товарообмена и с этой страной.

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 174—175.

[2] Там же, 176.

Итак, если придавать решающее значение торговому фактору, то все преимущества были на стороне Твери. Прав поэтому В. Е. Сыроечковский, когда он говорит, что «Тверь в начале затмевала своей торговлей и богатством захолустную Москву»[1]. Нельзя преувеличивать и значение торгового пути по Дону в Азовское море. Из описания путешествия Пимена в Константинополь видно, что этот путь был в конце XIV в. еще очень мало освоен русскими. Путь по Дону начинался вне пределов Московского княжества, близ Данкова, и был освоен Москвой лишь значительно позже, к началу XVI в., когда Рязань попала в вассальную зависимость от московских князей. Другой выход на Дон, по Красной Мече, стал достоянием Москвы тоже сравнительно поздно, когда политическое преобладание Москвы уже вполне определилось[2].

Вопрос о политическом преобладании северо-восточной Руси решался не торговыми путями. Очень важное значение имело положение обоих конкурировавших княжеств в отношении внешних врагов. Оба они были защищены от татар с юга и с востока Рязанью, Н. Новгородом, Владимиром, а Тверь, кроме того, Москвою. Это обстоятельство способствовало наплыву в Тверское и Московское княжества населения из местностей, подвергавшихся большей опасности разорения со стороны татар. В 1292 г. татары, вторгшиеся в тверские пределы, должны были отступить, «бе бо множество людей сбеглося во Твери изо иных княжеств перед ратью». В «Житии» Сергия радонежского как на одну из причин переселения его родителей из Ростова в Москву указывается и на татарскую «рать». Экономическая мощь тверских и московских князей и основывалась на многолюдстве их владений. Первоначально Тверь и в отношении внешних врагов находилась в более выгодном положении, так как от татар, помимо более отдаленных княжеств, ее защищало с юго-востока само Московское княжество. Но с усилением Литовского великого княжества она приобрела опасного и агрессивно настроенного соседа. К тому же за спиной у Твери был Новгород Великий, который из опасения возрастающего могущества тверских князей поддерживал против них Москву. Более центральное положение Московского княжества не только обеспечивало скопившемуся на его территории населению сравнительную безопасность со всех сторон, но и создавало благоприятные условия для политической концентрации вокруг Москвы феодальных полугосударств северо-восточной Руси. Этих условий Покровский не замечает, потому что политическая сторона процесса его мало интересует.

---

[1] В. Е. Сыроечковский. Гости-сурожане. М.—Л., 1935, стр. 19. О торговом значении Твери в начале XVI в.; там же, 42—45; В. С. Борзаковский. История Тверского княжества, 1876, 60—66.

[2] В. Е. Сыроечковский. Пути и условия сношений Москвы с Крымом на рубеже XVI века. «Известия Академии Наук СССР», 1932, № 3, 228—232.

Одна из крупных ошибок предшествующей буржуазной историографии заключалась, как мы видим, именно в том, что вопрос об образовании великорусского государства она подменяла вопросом о «возвышении Москвы». От этой ошибки не сумел избавиться Покровский: вопрос об образовании централизованного феодального государства с центром в Москве он подменяет все тем же вопросом о причинах возвышения Москвы. Мы видим, что он несколько раз пытался подойти к разрешению важнейшей проблемы образования «феодальной монархии» и незаметно соскальзывал на более простой вопрос о возвышении Москвы. А между тем вопрос об условиях образования единого государства на месте феодальной раздробленности был уже давно поставлен и разрешен В. И. Лениным в его работе «Что такое «друзья народа»?». Тут отчетливо было показано, как складывались «национальные связи» и происходило слияние «отдельных земель, частью даже княжеств» в единое государство под влиянием усиливающегося обмена «между областями, постепенно растущим товарным обращением, концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок» [1]. Концепция Ленина вполне совпадает с той, которую дает Энгельс в лишь недавно опубликованной статье, в которой процесс образования национальных государств он ставит в связь с развитием буржуазных отношений [2].

Эта концепция получила дальнейшее развитие и уточнение в трудах И. В. Сталина. На примере феодальной Грузии товарищ Сталин показал, что феодальная раздробленность была обусловлена «экономической раздробленностью». [3] В Западной Европе «период ликвидации феодализма и складывания людей в нации по времени в общем и целом совпал с периодом появления централизованных государств», но «на востоке Европы, наоборот, процесс образования национальностей и ликвидации феодальной раздробленности не совпал по времени с процессом образования централизованных государств». В Венгрии, Австрии, России «капиталистического развития еще не было, оно, может быть, только зарождалось», но здесь процесс ускоривался тем, что «интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия» [4]. Централизованное феодальное государство сложилось в северо-восточной Руси в условиях борьбы с татарским игом, потребовавшей концентрации сил, но эта концентрация оказалась возможной лишь тогда, когда «экономическая раздробленность» была хотя бы отчасти ликвидирована.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 74.

[2] Статья эта «О разложении феодализма и развитии буржуазии» напечатана в сочинениях К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XVI, ч. 1-я.

[3] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. 1936, стр. 6.

[4] Там же, 73; ср. стр. 65.

К. БАЗИЛЕВИЧ

«ТОРГОВЫЙ КАПИТАЛИЗМ» И ГЕНЕЗИС МОСКОВСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ В РАБОТАХ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I

Вопрос о роли торгового капитала в историческом процессе занимает основное место в историко-философских взглядах М. Н. Покровского. В его схеме русской истории торговый капитал появляется на разных этапах в качестве главного фактора, определявшего социально-экономическую организацию общества и формы политического устройства.

Особое значение торговый капитал, по словам Покровского, имел в истории создания и расширения русского государства: «Собирание Руси с самого начала Московского княжества и до Александра I двигалось совершенно определенным историческим фактором, этим фактором был торговый капитал». Эпоха полного господства торгового капитала, которую Покровский назвал временем «торгового капитализма», положила, по его мнению, совершенно определенный отпечаток на весь общественный строй и политическую структуру государства. Результатом этого влияния было образование системы «бюрократического абсолютизма», самыми характерными элементами которой являлись: самодержавие, бюрократический аппарат власти и крепостное право. В исторической схеме Покровского «бюрократический абсолютизм» появляется в XVII в. и достигает полного развития в следующем столетии.

Историческая схема Покровского сложилась в 1910—1912 гг., одновременно с работой над крупнейшим произведением «Русская история с древнейших времен». В последующее время, в связи с появлением других исторических работ, Покровский вносил некоторые изменения в свою схему, но они не имели принципиального значения. Разработанная им схема возникновения и развития русского государства сохранилась до последних работ Покровского, сохранилась в основном даже после того, как Покровский в 1931 г. признал ошибочность своей концепции «торгового капитализма». Это дает нам возможность рассматривать проблему «торгового капитализма и генезиса самодержавия» в целом, не выделяя отдельных этапов в развитии

исторических взглядов Покровского по этому вопросу, а отмечая появлявшиеся в разное время некоторые изменения и поправки.

Хронологические границы настоящего очерка выходят за тот период, которому Покровский присвоил название «торгового капитализма». Было бы трудно разбирать историю Московского государства XVIII в. в трактовке Покровского, не рассмотрев предварительно его взглядов на образование Московского государства из системы феодальных княжеств. Необходимость такого хронологического охвата данной темы определяется и другими соображениями. Концепция Покровского, сложившаяся в результате борьбы с буржуазной концепцией русского исторического процесса, обнаруживает в отдельных своих частях значительное, неустраненное Покровским, влияние буржуазной исторической мысли, в частности работ В. Ключевского. Между тем в буржуазной историографии вопрос об образовании Московского государства неизменно превращался в вопрос о причинах «возвышения Москвы».

Разногласия в мнениях отдельных буржуазных историков происходили лишь в вопросах о тех конкретных условиях и факторах, которые способствовали усилению московских князей и возвышению Московского княжества среди других «великих» и «удельных» княжеств. Если Карамзин искал эти усилия в деятельности и политике золотоордынских ханов, то уже Станкевич в 30-х годах XIX в. высказал мнение об особом значении географических условий для истории Московского княжества. Позже это положение было развито в работах Соловьева, Ключевского, Забелина, Любавского. Москва, во-первых, находилась в узле скрещивавшихся торговых дорог, во-вторых,—была выгодно расположена в отношении колонизационного процесса и расселения русской народности в бассейнах Волги и Оки. Первое условие создавало в руках московского князя перевес денежных средств; второе—способствовало быстрому заселению московских земель, делало эти земли самыми многолюдными. Другие княжества не обладали такими выгодными экономическими и географическими условиями. Поэтому Московское княжество поглотило остальные «великие» и «удельные» княжества и превратилось в великорусское государство.

Покровский по существу мало что изменил в этой схеме, прочно державшейся в русской историографии на протяжении около столетия. Когда Покровский писал первый том «Истории России с древнейших времен», объяснение причин возвышения Москвы личными качествами московских князей давно не имело защитников. Еще Ключевский произнес суровый приговор над московскими потомками Ивана Калиты, в личностях которых он видел однообразное повторение одного и того же фамильного типа, не выделявшегося из ряда других ни по своим достоинствам, ни по своим недостаткам. Покровский, полностью принимая эту характеристику, видит условия возвышения Москвы в действии того же «безличного фактора», который был установлен задолго до него—торгового преимущества Москвы, обусловленного

выгодностью ее положения[1]. Покровский вносит только одну поправку в схему Ключевского, указывая, что Московское государство было «созданием феодального общества»[2]. Однако это верное положение осталось у Покровского не только не развитым, но и противоречило его собственной схеме, в которой Московское княжество оказалось созданием не феодального общества, а «торгового капитализма».

Буржуазные историки не могли разрешить проблемы образования Московского государства, так как искали не общих закономерно действующих причин, а частных условий, благоприятствовавших «возвышению Москвы» и поглощению ею остальных русских княжеств. Между тем общие факторы, вызвавшие на определенном этапе развития феодального общества объединение мелких феодальных государств в одно политическое целое, давно были установлены классиками марксизма. «Объединение более значительных областей в феодальные королевства было потребностью как земельного дворянства, так и городов»[3]. Энгельс, в работе «О разложении феодализма и развитии буржуазии» дал конкретное изложение этого процесса на западноевропейском историческом материале. Развитие средневекового ремесла совершило переворот в феодальном обществе. Города, ставшие центром ремесленного производства и торговли, нуждались во взаимном общении друг с другом и с остальным миром. «...Горожане стали классом, который воплотил в себе дальнейшее развитие производства и обмена (Verkehr), просвещение, социальные и политические учреждения». Не только в городах, но «и в деревне повсюду увеличилось в населении количество таких элементов, которые прежде всего желали, чтобы был положен конец бесконечным бессмысленным войнам, чтобы прекращены были раздоры феодалов, приводившие к тому, что внутри страны шла непрерывная война даже и в том случае, когда внешний враг был в стране, чтобы прекратилось это состояние непрерывного и совершенно бесцельного опустошения, которое неизменно продолжало существовать в течение всего средневековья». Раздробление страны, которая все больше и больше объединялась в экономическом отношении, стало препятствием для развития производительных сил. «Что во всей этой всеобщей путанице королевская власть (das Königtum) была прогрессивным элементом,—это совершенно очевидно. Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации в противоположность раздроблению на бунтующие вассальные государства. Все революционные элементы, которые образовывались под поверхностью феодализма, тяготели к королевской власти, точно так же как королевская власть тяготела к ним»[4].

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Гос. соц.-экон. изд-во, 1933, I, 122—123.
[2] Там же, 125.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IV, 15.
[4] Там же, XVI, ч. 1-я, стр. 440—445.

Указания Маркса и Энгельса по вопросу образования в эпоху позднего средневековья национального государства в виде феодального королевства приводят к следующим выводам. Объединение мелких феодальных государств в одно политическое целое было вызвано развитием производительных сил внутри феодального общества. Основными социальными силами в этом процессе выступают торгово-ремесленное население городов и землевладельческое дворянство, которое находило в королевской власти опору для борьбы с крупными сеньерами. Объединенное феодальное государство могло сложиться только в «монархической форме», так как усиление королевской власти происходило одновременно с ослаблением власти ее вассалов, являвшихся раньше в своих владениях почти независимыми государями. Образование национального государства поднимало феодальное общество на более высокую ступень общественно-экономического и политического развития.

На ряду с общими условиями объединения феодальных княжеств в одно феодальное государство, в каждой стране действовали свои особые исторические условия. Товарищ Сталин указал на роль интересов обороны на востоке Европы от нашествия монголов, турок и других народов, требовавших «незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия»[1].

Изучение процесса образования Московского государства позволяет увидеть закономерность тех частных условий, которые привели к концентрации русских феодальных княжеств вокруг не какого-либо другого, а именно московского центра. Изучение конкретной истории сложения Московского государства требует рассмотрения роли естественно-географического положения Москвы, ее положения в отношении распределения населения, а также политики московских княжеств и пр. Только всестороннее исследование конкретного исторического процесса позволяет, с одной стороны, правильно объяснить его общую и частную обусловленность, а, с другой стороны,—избежать абстрактности и схематизации.

Покровский в своих работах об образовании Московского государства дает не конкретную историю этого процесса, а схему, расходящуюся с основными требованиями марксистской исторической науки.

Борьба между отдельными мелкими феодальными княжествами всегда в истории приводила к усилению одних из них и к ослаблению других. Однако от этих временных и неустойчивых колебаний следует отличать объединение мелких частей вокруг одного центра и превращение этого объединения в национальное государство. Если образование русского национального государства относится ко второй половине XV в. и к началу XVI в., то корни этого исторического процесса следует искать в более раннем времени. Московские князья, опираясь на господствующий класс феодальных землевладельцев

[1] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Партиздат, 1935, стр. 73.

своего княжества, т. е. на своих бояр и церковь, стремились увеличить территорию княжества, захватить новые земли и новые источники доходов. В политике феодального грабежа и насилий сначала не было заметно новых элементов по сравнению с действиями любого феодального владельца этого же времени. Однако уже во второй четверти XIV в. московский князь становится главой того феодального союза русских княжеств, который носил название «великого княжества Владимирского». Во второй половине XIV в. начинается перестройка системы отношений внутри великого княжества Владимирского, связанная с усилением власти великого князя и превращением его из главы феодального союза в главу слагающегося феодального государства. Поэтому в истории Московского княжества XIV—начала XV в. происходила борьба двух начал—отживающей системы феодального дробления и возникающей системы феодальной концентрации, в которой в конце концов победило второе, более прогрессивное, начало.

Покровский не видал каких-либо принципиально новых явлений в действиях московских князей до Василия III включительно. Вся их работа, от Ивана Калиты до Василия III, по его мнению, сводилась только к исправному получению дохода. Покровский при этом подчеркивает «консерватизм московского завоевания», в результате которого в присоединенных землях не создавался новый общественный и политический порядок. Для доказательства этого положения Покровский ссылается на примеры завоевания Новгорода, Твери и Пскова, т. е. на политику московской власти при уничтожении последних «уделов». Он указывает на то, что Иван III после похода 1471 г. оставил на месте всю новгородскую администрацию и в последнем договоре с Новгородом сохранил все стереотипные ограничения княжеской власти. Главный интерес московского победителя выразился и в этом случае исключительно в области налоговой политики. Даже окончательный разгром Новгородского государства Покровский рассматривает с точки зрения финансовых результатов. По его мнению, перевод в «Низовскую землю» 7 тыс. житьих людей, которых Покровский относит без достаточных оснований к «зажиточной новгородской буржуазии», был вызван отчасти интересами «московских конкурентов» (т. е. московской буржуазии), отчасти желанием «подсечь под корень всякое сопротивление московской эксплоатации». Консервативный характер московского завоевания, по мнению Покровского, особенно ярко выразился в подчинении Пскова, которое преследовало исключительно финансово-экономическую цель[1].

Таким образом, если стать на точку зрения Покровского, пришлось бы признать, что рост территории Московского княжества в XIV—XV вв. был по существу лишь распространением на другие земли московской финансовой организации. Положение местного вла-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 140—144.

дельца настолько мало изменилось, что последний мог и не заметить, что перестал быть независимым «государем». По словам Покровского, медиатизированному князю «трудно было бы и растолковать, что он перестал быть государем—да он и продолжал им быть, поскольку был государем всякий землевладелец» [1]. Покровский не замечал никаких изменений в системе «управления» московского великого князя, которое, как «управление» его удельного предка, было только особой формой хозяйственной деятельности.

Между тем создание русского национального государства при Иване III—Василии III сопровождалось крупнейшими изменениями в политическом устройстве как основных земель Московского княжества, так и новых присоединений. К этому времени относится появление основ централизованного порядка, на котором держалось Московское государство в последующие два столетия. Московский великий князь в конце XV и в начале XVI в. обладал, помимо материальных преимуществ, огромными преимуществами, полученными в результате развития более совершенной административно-политической организации и устройства военных сил. Важнейшим отражением этих перемен был Судебник Ивана III 1497 г., проникнутый идеей общего государственного порядка и вводивший ряд таких понятий и норм, которые не были бы возможны в феодально раздробленной стране. К концу XV и к началу XVI в. следует отнести зарождение московской приказной системы. В это же время складывается поместная система, на основе которой выросла организация дворянского войска. В составе московской армии появляются «пищальщики», ближайшие предшественники стрелецких войск. Указание Покровского относительно сохранения политического устройства Новгорода после 1471 г. является совершенно неубедительным, так как крупные изменения на Новгородской земле произошли после 1478 г.

Покровский, ошибочно рассматривая процесс развития Московского княжества только с точки зрения расширения сферы хозяйственной деятельности московского князя, неизбежно должен был притти и к другому ошибочному взгляду, согласно которому «в практике великого княжества московского не было ничего, к чему могла бы привязаться идея единой российской монархии» [2]. Идея единодержавия, по мнению Покровского, явилась выражением не той действительной политической власти, которая к XV в. была сосредоточена в руках московского великого князя, а была подсказана ему со стороны—церковью. Покровский не только признавал экономическую прогрессивность церкви, но считал, что она и в политической области шла впереди светского феодального общества. Созревание идеи светского единодержавия Покровский относит к тому моменту, когда падение Константинополя и разрушение Византийской империи османскими

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 145—146.

[2] Там же, 146.

турками открыли перед московскими церковниками необычайно далекие и широкие перспективы. По их мнению, говорит Покровский, после падения центра вселенского православия его роль должна была перейти к Москве. Митрополит Иона, преемник участника Флорентийского собора Исидора, перешедшего в униатство, впервые применил к Василию II титул «боговенчанного царя всея Руси», «которого прежде удостаивались только византийские императоры и татарские ханы»[1]. Так появилась теория о «Москве—третьем Риме», имевшая очень важное политико-литературное продолжение. «Вышивая далее по этой канве,—говорит Покровский,—фантазия русских книжников создала целый роман, в котором не без художественности откристаллизовалась идея преемства московского центра от византийского императора». Он вскоре и был написан престарелым киевским митрополитом Спиридоном, установившим еще более дальнюю генеалогическую связь между могущественным римским императором Августом—«владыкой мира»—и родоначальником рюриковой династии. Новая теория прежде всего, по мнению Покровского, привела к внешнему расширению власти, так как помогла московскому великому князю «обосновывать свои притязания в той области, где старая удельная традиция не давала ему твердой почвы»—в отношениях к удельным князьям, а также в политических сношениях с иноземными государями[2].

В изложенной схеме Покровского нельзя не заметить следов влияния вотчинной теории происхождения Московского государства, развитой в работах Соловьева и Ключевского. Согласно этой теории, Московское государство сложилось в результате распространения вотчинных прав московского князя на всю территорию русской земли. Новые понятия власти, по словам Ключевского, не развились из ее исторически сложившегося содержания, а были привнесены в состав власти из церковной литературы. Ключевскому принадлежит также мысль, что первое практическое приложение новая теория власти получила во внешней политике московского великого князя.

Объединение русских земель вокруг Москвы привело к объединению русской (великорусской) народности. Это объединение происходило в борьбе за национальную независимость, в борьбе с «татарским игом», которое, по словам Маркса, «не только давило, оно оскорбляло и иссушало самую душу народа, ставшего его жертвой». Возникшее к XV в. Московское государство стало национальным русским государством. Между тем Покровский рассматривал татарское завоевание как прогрессивную историческую силу.

[1] М. Н. Покровский неправ и в отношении времени появления учения церкви о неограниченной княжеской власти. Княжеский титул «всея Руси» впервые появляется в грамоте патриарха Нифонта (1312—1315 гг.) к вел. кн. Михаилу Ярославовичу при митрополите Максиме, который весьма энергично поддерживал великокняжескую политику тверского князя. В послании к тому же князю инока Акиндина князь называется царем: «Царь еси, господине княже, в своей земли» (Русск. ист. библ., VI, 16).

[2] М. Н. Покровский. Русск. история с древн. времен, I, 149—150.

II

Согласно концепции Покровского, в XV—XVI вв. еще не существовало основного условия для образования объединенного русского государства, не было «торгового капитализма», который, по его мнению, только один мог покончить с феодальной раздробленностью и создать самодержавную царскую власть (бюрократический абсолютизм). Создание этого строя он отодвигает на XVII—XVIII вв., на тот период времени, когда завершается развитие «торгового капитализма». При Иване IV старая феодальная организация подверглась разрушению, но на ее развалинах выросло не абсолютистское государство, а промежуточная политическая форма в виде системы «патриархального абсолютизма». В основе этих изменений, по мнению Покровского, лежали крупные перемены в области экономики страны, выразившиеся в разрушении натурального феодального хозяйства и в развитии денежного хозяйства.

Главу, посвященную времени Грозного, Покровский начинает разделом, название которого выражало не только основную мысль автора, но и всю концепцию XVI в.: «Аграрный переворот первой половины XVI века». Сущность этой концепции сводится к следующему: к началу 30-х годов, в то время когда трехлетний Иван, после смерти отца, номинально стал московским великим князем, его «московская вотчина» (т. е. русское государство, сложившееся к XVI в.) еще сохраняло свой прежний феодальный тип. Сам великий князь в это время был лишь сюзереном бесчисленного количества крупных и мелких землевладельцев, «державших» от него землю,—кто в качестве удельного князя, перешедшего на московскую службу, кто в качестве мелкого вассала.

Крупные перемены, происшедшие во второй четверти столетия, заключались в крушении старого вотчинного землевладения, которое не смогло приспособиться к развитию денежного хозяйства. Самым заметным признаком последнего было стремление землевладельцев получать доход с крестьян в денежной форме. К этому одинаково стремились и большие и малые вотчинники. Но новая, более гибкая, форма дохода, говорит Покровский, «была бы бессмыслицей при том хозяйственном строе, в рамках которого сложилась феодальная вотчина». Переход феодального вотчинника к денежному хозяйству был внешним выражением более крупной перемены, состоявшей «*в разрушении феодальной вотчины как самодовлеющего экономического целого и появлении землевладельца,* прежде гордого в своем экономическом уединении, *на рынке* как в качестве покупателя, так и в качестве продавца»[1]. Новые экономические условия, оказавшиеся гибельными для крупной вотчины старого типа, определили преобладание среднего землевладения, которое оказалось более гибким.

По мнению Покровского, два условия вели к быстрой ликвидации

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 166.

старых московских латифундий: отсутствие способностей и охоты у крупного землевладельца по-новому организовать свое хозяйство и большое количество «тунеядной челяди и дружины», составлявшей «двор» медиатизированного удельного князя или большого боярина. Мелкий вассалитет оказался в более выгодном положении, так как, во-первых, небольшое владение было легче организовать, и, во-вторых, мелкий вассал не только не нес расходов, связанных со службой, но и сам получил денежное жалование за несение службы. В результате хозяйственные перемены «должны были выдвинуть новые общественные классы или, по крайней мере, новые социальные группы». Ими были: среднее землевладение, успешно сжившееся с условиями нового менового хозяйства, и буржуазия.

Одной из главных ошибок Покровского в этой концепции является характерное для него преувеличение развития товарно-денежных отношений в первой половине XVI в. По существу Покровский говорит не о простом развитии денежных отношений, а о появлении денежного хозяйства. Последнее должно было вызвать выделение буржуазии как общественного класса. При этом Покровский замечает, что не только буржуазия выделялась из массы сельского населения, но и в среду последнего проникали буржуазные отношения. Из этих положений логически должен был вытекать тезис о развитии капиталистического хозяйства в XVI в. Хотя сам Покровский об этом открыто не говорит, но такой вывод совершенно неизбежен для его социально-экономической концепции XVI в.

В исследованиях, посвященных сельскому хозяйству XV—XVI вв., не раз отмечалось увеличение денежного оброка за счет натурального на частновладельческих и дворцовых землях. Писцовые книги конца XV и первой половины XVI в. дают многочисленные примеры замены денежными платежами мелких поборов, состоявших из разнообразных продуктов крестьянского хозяйства. В этих переменах, конечно, нельзя не видеть развития денежной ренты. Однако ни число крестьянских участков (вытей или обеж), переведенных на денежный оброк, ни абсолютная величина денежных платежей сами по себе еще не характеризуют степени распространения денежной ренты в феодальном хозяйстве этого времени. Даже Н. Рожков, склонный придавать большое значение развитию денежного хозяйства XVI в., пришел к выводам, далеко не подтверждающим его первоначальные наблюдения: «Изучение денежного оброка в течение XVI в. приводит к тому же общему выводу, к какому привело исследование натурального оброка: никаких перемен в реальной арендной плате незаметно, исключая, разумеется, местных временных и вообще случайных колебаний, всегда неизбежных и не характерных для общего положения дел»[1]. К тому же абсолютное увеличение денежного оброка с земельного участка одинаковой величины наблюдается преимущественно в конце столетия, а не в его

[1] Н. Рожков. Сельское хозяйство Московской Руси XVI в., 258.

начале, как это было бы необходимо для подтверждения концепции М. Покровского. В основных сельскохозяйственных районах в течение всего XVI в. «посопный хлеб» продолжал оставаться важнейшей частью поборов с крестьян. Наконец, следует отметить, что, за самым небольшим исключением, все сведения о крестьянских платежах и о росте денежного оброка относятся к черным, дворцовым и монастырским землям, на которых переход к денежной ренте должен был происходить быстрее и полнее, чем на частновладельческих землях. При разбросанности больших монастырских и дворцовых владений сбор мелких крестьянских продуктов представлял большие затруднения и был мало выгодным с чисто хозяйственной стороны. Поэтому ошибочно было бы распространить наблюдения, полученные в результате изучения хозяйственных порядков на дворцовых и черных землях, на все частновладельческое феодальное хозяйство XVI в. Распространение в начале этого столетия «издельного серебра» и «серебряников-издельников» также свидетельствует о самостоятельном значении в хозяйстве феодала разнообразного крестьянского изделия. Таким образом, хотя появление в частном феодальном хозяйстве денежной ренты наряду с развитием государственных денежных налогов и является важным показателем развития в стране элементов товарного и денежного обращения, но последнее не достигает такого размера, чтобы разрушить натуральный характер феодального хозяйства и превратить его целиком в денежное. Денежное хозяйство могло бы стать господствующей формой только в том случае, если бы основная масса производящихся в отдельном хозяйстве продуктов предназначалась для рыночной реализации. Источники по экономической истории XVI в. не дают никаких оснований для выводов подобного рода. Ошибки Покровского заключаются в смешении понятий товарного обращения с сопутствующими элементами денежных отношений, с денежным хозяйством. Товарное обращение и денежные отношения появляются еще в феодальном хозяйстве; денежное хозяйство может быть только капиталистическим [1].

[1] На такой же ошибочной точке зрения стоит Н. Рожков, особенно в некоторых позднейших работах. Так, в очерке «Народное хозяйство Московской Руси во второй половине XVI века» Н. Рожков после сообщения разрозненных данных о распространении в XVI в. мелких торжков приходит к следующему неожиданному выводу: «Приведенные сейчас многочисленные наблюдения, констатирующие сильный рост внутреннего торгового оживления в Московском государстве второй половины XVI века, являются лишь первым доказательством важной перемены в хозяйстве Московской Руси—торжества денежного или товарного хозяйства, торгового капитализма («Дела и дни», кн. 1, стр. 58). В приведенном отрывке можно видеть несомненные следы влияния концепции М. Покровского. Значительно осторожнее Н. Рожков характеризует рост денежных отношений в экономике XVI в. в другой своей работе («Сельское хозяйство в Московской Руси в XVI в. и его влияние на социально-политический строй того времени»), где «общим основным экономическим условием времени» он правильно считает «натуральное хозяйство и начавшееся зарождение хозяйства менового» («Из Русской истории», I, 176).

По мнению М. Н. Покровского, развитие денежного хозяйства в XVI в. привело к победе среднего землевладения над крупным, так как в начавшейся борьбе между ними все выгоды были на стороне первого. Среднее и мелкое поместное хозяйство оказалось более прогрессивным, чем крупное вотчинное землевладение. К сожалению, М. Н. Покровский нигде не указал, в чем заключались, по его мнению, прогрессивные явления в организации сельского хозяйства в XVI в. В действительности мы не найдем существенных различий в области сельскохозяйственной техники, применявшейся в крупных и мелких владениях этого времени. Еще в XV в. трехполье было общим явлением, хотя и без правильного севооборота и без более или менее точного уравнения полей. Введение принудительного севооборота и выравнивание полей легче было произвести в крупных владениях, чем в мелких, так как эти мероприятия были связаны с укрупнением селений и сведением вместе разбросанных крестьянских участков. В конце XV и в первой половине XVI в. укрупнение селений путем соединения нескольких мелких деревень стало общей тенденцией, сознательно проводимой землевладельцами как церковными, так и светскими[1]. Нет никаких оснований говорить о хозяйственном упадке как об общем явлении для крупных владений первой половины XVI в. Из более поздних материалов, относящихся уже к XVII в., мы знаем,что ни многочисленная дворня, ни частые отлучки землевладельцев на царскую службу сами по себе не были достаточными причинами для ухудшения или разрушения соответствующего хозяйства. Ссылка М. Н. Покровского на такие субъективные обстоятельства, как отсутствие склонности и способности у крупных землевладельцев к хозяйственной деятельности (это при возрастающих потребностях в средствах) является доказательством в пользу того, что автор не нашел более объективных оснований для подтверждения своей концепции. Если бы крупное вотчинное хозяйство действительно оказалось разрушенным в результате «аграрного переворота» первой половины XVI в., то не было бы необходимости создавать особый аппарат опричнины для борьбы с боярской знатью в 60-х годах этого же столетия. Не отрицая влияния развивающегося товарного обращения и возникающих элементов денежного хозяйства на феодальное сельское хозяйство, мы должны вместе с тем признать, что это влияние коснулось всего феодального хозяйства, как крупного вотчинного, так и среднего и мелкого поместного, и везде вызвало перестройку его в сторону приспособления к рыночным отношениям. Экономическое развитие страны было одной из главных предпосылок формирования поместного дворянства, частично получавшего жалованье из царской казны. Но господствующее положение помещики-дворяне заняли только в результате ожесточенной политической борьбы с боярством. С другой стороны, и боярство обнаружило не только большое упорство в защите

[1] Очень интересный материал по этому вопросу приведен С. Веселовским в работе «Село и деревня в сев.-вост. Руси XIV—XVI вв.». Огиз, 1936.

своих интересов, но и известную гибкость в приемах и средствах. В истории этих столкновений во второй половине XVI в. выделяются два периода: период «избранной рады» и период опричнины. М. Н. Покровский, обычно уделявший в своей схеме мало места конкретной политической истории, не мог на этот раз не остановиться на этих двух важнейших моментах в развитии Московского государства XVI в.

По мнению М. Н. Покровского, в 30—40 годах XVI в. сложился союз боярства с посадскими, союз настолько прочный, что его могла парализовать на время только опричнина, а разрушить—«только катастрофа Смутного времени». В качестве условий такого союза М. Н. Покровский выдвигает следующие причины: развитие внешней политики в интересах и московской буржуазии и московских феодалов (отношения к Новгороду, захват Казани и Астрахани) и удовлетворение ряда требований со стороны мелких помещиков (введение губных учреждений, отмена кормлений, раздача земель из завоеванной территории Казанского ханства) и посадских людей (земская реформа и передача посадским сбора косвенных налогов) [1].

М. Н. Покровский не замечает той хронологической ошибки, которую он при этом совершает, так как большинство отмеченных им мероприятий падает не на 30—40-е годы, а на вторую половину 50-х годов, когда, если даже стать на точку зрения Покровского, союз дал не одну, а много трещин. По мнению Покровского, от союза боярства с посадскими «единственно прочно выигравшим оказалось боярство» [2]. К сожалению, сам М. Н. Покровский не указывает, в чем заключался выигрыш и каким образом выигравшее боярство непосредственно вслед за этой победой проиграло борьбу с дворянством. Весь последующий конфликт, приведший к разрыву союза и к гибели «избранной рады», Покровский рассматривает исключительно в плоскости развития Ливонской войны. По его мнению, после удачного похода московских войск в Ливонию в 1558 г. и захвата Нарвы продолжение войны для «буржуазии» не имело более смысла. Тогда посадские откололись от «военной партии», но остались в блоке с боярством, которое также не хотело войны. Вскоре последовали военные неудачи: поражение Курбского под Невелем и новое поражение московских войск под Оршей. «Воинники», т. е. дворяне, все неудачи приписали боярской измене. Бояре и сами испугались слухов об их измене и начали «отъезжать». Побег кн. Андрея Курбского сыграл решающую роль в «моральной подготовке» опричнины. Дворяне, неудовлетворенные в своих ожиданиях крупных земельных захватов в Ливонии, обратились к захвату боярских земель, наступила «опричнина» [3]. Несколько неожиданно после изложенных рассуждений Покровский приходит к выводу, что переворот 1564 г. (установление опричнины) «был произведен коалицией посадских и мелкого вассалитета». Посадское население в его

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древн. времен, I, 191—200.
[2] Там же, I, 197.
[3] Там же, I, 201—203.

схеме до последнего момента находилось на стороне боярства, а не «воинников». Не трудно показать, как мало эта схема соответствует конкретным историческим фактам и как неверно она их объясняет. В изложенной схеме Покровского боярство при Иване IV неизменно оказывалось в положении страдающей и обороняющейся стороны. Такое представление о роли боярства в 40—50-х годах XVI в. вытекало из ранее сделанного допущения, что уже в начале XVI в. экономический переворот («аграрная революция») привел к крушению боярства как руководящего класса. Дворянству после этого оставалось только добить обессиленного противника. В действительности боярство до самой опричнины продолжало бороться за власть. «Избранная рада» с ее политикой уступок появилась в результате неудачных попыток захвата власти в малолетство Ивана IV и той своекорыстной грабительской политики, которая привела к народному восстанию в Москве в 1547 г. Боярство стало на путь компромисса, потому что для него не оставалось другого выхода из создавшегося положения. Ценою уступок «избранная рада» стремилась сохранить для боярства основу ее социального могущества и политического значения—крупные земельные владения и весь политический режим, сложившийся в старых княжеских и боярских вотчинах, где московский боярин—потомок ярославских или нижегородских князей—имел своих вассалов, свое феодальное войско и чувствовал себя почти независимым «государем». Недаром Иван Грозный в число главных обвинений против «избранной рады» поставил земельную политику Сильвестра: «...и тако помалу сотвердися сия злоба, и вас почал причитати к вотчинам ко градом и к селом, еже деда нашего великого государя уложением, которые вотчины у вас взимали и которым вотчинам еже несть потреба от вас даятися, и те вотчины ветру подобно роздал неподобно, и то деда нашего уложения разрушил»[1].

Трагизм положения «избранной рады» заключался в том, что ее политика, диктовавшаяся желанием найти путь к соглашению с дворянством, обратилась против нее самой. Реформы, касающиеся внутреннего управления, неизбежно должны были усилить как царскую власть, так и служилое дворянство, без участия которого невозможно было перестроить систему управления в централизованном феодальном государстве. Важнейшими мероприятиями в этой области были: реформа местного управления, усилившая положение провинциального дворянства (детей боярских) и зажиточных посадских слоев, переустройство дворянской армии (уложение о службе с земли 1556 г.), сформирование постоянного стрелецкого войска, устройство финансового управления и развитие приказной системы. Весь этот новый порядок, укреплявший государственное единство, не мог существовать рядом со старым порядком, защищавшим в интересах немногочисленного боярства особый режим на значительной части территории. С другой

[1] Сочинения князя Курбского, СПб., 1914, I, стр. 63.

стороны, развитие поместной системы вызвало большую мобилизацию земель. В первую очередь пошли в поместную раздачу земли крупных вотчин на присоединенной территории Новгорода, Твери, Пскова, Ярославля, позже Казанского ханства. Однако этот земельный фонд не был достаточным. Таким образом, компромиссная политика «избранной рады» не могла привести к успеху и никаких особых выгод, как ошибочно думает Покровский, боярству не принесла. Разрыв наметился значительно раньше Ливонской войны, и последняя только его ускорила. Боярство, повидимому, уже к 1553 г. хорошо понимало грозившую ему опасность, и этим объясняется отношение членов «избранной рады» к вопросу о престолонаследии во время болезни Ивана IV. В следующем году произошла измена князей Ростовских, один из которых, Никита, пытался бежать в Литву. Вслед за ними были сосланы родственные им фамилии князей Лобановых и Приимковых [1].

Князь Семен Ростовский, по словам Ивана IV, «своим изменным обычаем литовским послом пану Станиславу, да Воину с товарыщи нашу душу изнесе, нас ускоряя и нашу царицу и наших детей».

Иван IV в письме к кн. А. М. Курбскому упрекал его в том, что «поп Сильвестр, и с вами злыми своими советники, и того собаку (т. е. кн. Семена Ростовского.—*К. Б.*) почал в велицем бережении держати и помогати ему всеми благими, и не токмо ему, и всему ево роду» [2]. Таким образом, «измены» бояр начались еще до Ливонской войны и продолжались во время войны еще до начала военных неудач. В 1559—1560 гг. пострадали в казнях и опалах князья Репнины, Овчинины, Кашины, Воротынские и др. [3].

М. Н. Покровский без всяких на то оснований издевается над слабыми боевыми качествами русской армии по сравнению с войсками ливонских рыцарей и польских шляхтичей. В действительности же, блестящие военные операции 1558—1560 гг. показали превосходство русских военных сил. Неудачи в конце 1563 г. и в начале 1564 г. происходили в обстановке растущей измены боярства в тылу и на фронте. Измена кн. А. М. Курбского была заранее подготовлена, и проигрыш им битвы под Невелем не мог быть случайным; это был сознательный акт предательства. Тревожная политическая обстановка 1563—1564 гг. объясняет нам причину принятия Иваном IV тех чрезвычайных мер, которые послужили началом к окончательному сокрушению не только консервативной оппозиции боярства, но и тех социально-экономических основ, на которых держалась эта оппозиция. Победа самодержавной власти, опиравшейся на прогрессивные слои феодального общества XVI в. и прежде всего на служилое дворянство, была исторически подготовлена всем предыдущим развитием Московского государства.

---

[1] Полное собрание русских летописей, XIII (первая половина), 237—238.

[2] Переписка князя А. М. Курбского с царем Иоанном Грозным, П., 1914, стр. 65.

[3] Князь А. М. Курбский. История о великом князе Московском. СПб., 1913, 117—122.

Изучение общих факторов исторического процесса не должно закрывать от нас отдельную историческую личность как жизненную фигуру. Верный своему принципу изучать только «безличные» факторы истории, Покровский и в XVI в. видел лишь столкновение социально-экономических сил. Три царя этого времени, последовательно занимавшие московский престол,—Иван Грозный, Федор Иванович и Борис Годунов, были, по его словам, тремя разными психологическими типами. Иван Грозный представлял собой тип «истеричного самодура, помнящего только о своем «я» и не желающего ничего знать помимо этого драгоценного «я», никаких политических принципов и никаких общественных обязанностей»; в Федоре Ивановиче воплотился тип «безвольной игрушки в чужих руках»; наконец, Борис Годунов был типом «единственного государственного человека Московской Руси», который всю свою жизнь подчинил определенной политической задаче и погиб потому, что не мог ее выполнить. Но, по мнению Покровского, «пребывание на верхушке государственного здания этих трех совершенно различных персонажей ничем не отразилось на том, что внутри этого здания делалось»[1]. Сопоставление Ивана Грозного с его слабоумным сыном Федором еще больше подчеркивает мысль Покровского, что личные качества исторического деятеля не имеют никакого значения и влияния на ход исторических событий.

Хотя Покровский одной из глав истории XVI в. дал название «Грозный», в самом изложении он вспомнил о нем лишь для того, чтобы сказать, что сам «Грозный» никакого значения в истории своего царствования не имел. Между тем в лице Ивана IV действовал один из самых талантливых и образованных представителей своего класса и теории самодержавной власти, которая не осталась литературным понятием, а подчинила определенным идеям практическую деятельность московского царя. Если сам Иван IV не мог быть оригинальным творцом самодержавия, то он стал его конкретным и очень ярким выражением. При изучении социальной и политической борьбы, разыгравшейся вокруг царского престола, едва ли поэтому можно оставить вне поля зрения личность самого Ивана IV.

Изучение истории столкновений Ивана IV с боярством должно было бы убедить Покровского в том, что московское самодержавие было неизбежным фактом политической истории этого времени. Власть московского царя производила большое впечатление на современных иностранцев как своим размером, так и при сравнении с положением королевской власти на западе Европы. Об этом одинаково сообщают и кенигсбергский командор в отношении Ивана III, и посол императора Герберштейн в отношении Василия III, и вестфальский немец, царский опричник, Генрих Штаден в отношении Ивана IV. «...Нынешний великий князь,—пишет Штаден об Иване IV,—достиг того, что по всей русской земле, по всей его державе—одна

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 162.

вера, один вес, одна мера. Только он один и правит. Все, что ни прикажет он,—все исполняется, и все, что запретит,—действительно остается под запретом. Никто ему не перечит: ни духовные, ни мирские»[1]. Покровский не замечает того очевидного факта, что создание большого государства на территории, где еще недавно существовали десятки мелких государств, было бы невозможным без усиления центральной политической власти, которой в это время могла быть только самодержавная власть.

Долголетняя борьба между самодержавием, выражавшим классовые интересы дворянства, и боярством, пытавшимся задержать развитие централизованного государства, закончилась опричниной, которая на всей территории страны насаждала однообразный порядок и еще более укрепляла самодержавную власть. По мнению Покровского, хотя «государственный переворот» (т. е. опричнина) диктовался объективно-экономическими условиями, но он «должен был стать актом династической и личной самообороны царя против покушений свергнуть его и его семью с московского трона»[2].

По мнению Покровского, до 1564 г. царь «был лишь символом, величиной идеальной, от которой практически помещикам было ни тепло, ни холодно»[3]. Казалось бы, что после опричнины царь должен был стать величиной реальной. Покровский готов признать усиление царской власти, но с оговоркой, уничтожающей это признание: «Опричнина,—говорит он,—была попыткой за полтораста лет до Петра основать личное самодержавие Петровской монархии. Попытка была слишком преждевременна, и крушение ее было неизбежно: но кто на нее дерзнул, стояли, нельзя в этом сомневаться, выше своих современников»[4]. В других местах своих работ Покровский объясняет, почему попытка создать самодержавие в XVI в. была преждевременной. Оказывается, что к этому времени еще не созрел вполне «торговый капитализм», диктатура которого и означала царское самодержавие. Необходимые социально-экономические условия для развития абсолютизма, по его мнению, проявились только в XVII в. Однако исторические факты, относящиеся к московскому самодержавию XVI в., были настолько убедительны, что Покровский должен был сделать некоторую уступку, признав существование в XVI в. если не подлинного, то «патриархального абсолютизма».

«Патриархальный абсолютизм» Покровского является одной из самых отвлеченных категорий, не связанной с определенной ступенью общественно-экономического развития. Представителями «патриархального абсолютизма», по его мнению, были: египетский фараон Тутмос III, Саргон ассирийский, византийский император Юстиниан, суздальский князь Андрей Боголюбский и, наконец, московский царь XVI в. Харак-

---

[1] Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного, 113.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 203.
[3] Там же, 203.
[4] Там же, 204.

терными признаками «патриархального абсолютизма» Покровский считает обожествление личности царя и участие царя в религиозных культах. Но из представления о божественном происхождении царской власти логически вытекал ее абсолютный характер. Рассматривая «патриархальный абсолютизм» со стороны одной формы, Покровский соединял вместе различных представителей теократической власти на протяжении нескольких тысячелетий, что, конечно, ни к каким историческим выводам не приводит. Значительно важнее и интереснее его рассуждения об объеме и пределах власти «патриархального абсолютизма». В этом вопросе Покровский возвращается на почву русского исторического процесса. По его мнению, хотя неизбежным последствием «патриархального абсолютизма», с точки зрения формальной логики, должна была явиться необыкновенно сильная государственная власть и на практике московское царство XVI в. должно было стать идеалом абсолютной монархии, но в действительности этого не случилось. Развитие царской власти в сторону абсолютизма встретило противодействие со стороны «феодальных вольностей», в основе которых лежало понятие иммунитета. По мнению Покровского, также ошибочному, иммунитет сначала возник в области церковного права и потом уже был перенесен на отношения светских владельцев. К иммунитету Покровский весьма произвольно относит местничество, окончательно сложившееся к середине XVI в., «когда, с консолидацией старого московского государства (так приходится называть Русь Грозного в отличие от России первых Романовых) консолидировались и все старинные московские обычаи»[1]. Вследствие местничества московский царь не имел такой власти над порядком, какой он имел над лицами[2]; местничество хотя являлось политической гарантией семьи, но действие этой гарантии распространялось далеко за пределы отдельной семьи. Благодаря местническим обычаям боярство сомкнулось в нечто определенное[3]. Царь оказался ограниченным в выборе своих

[1] М. Н. Покровский. Оч. истории русск. культуры, ч. 2, 122—125.

[2] В этом вопросе Покровский почти буквально повторяет слова Ключевского, который писал: «Московский государь имел обширную власть над лицами, но не над порядком, не потому что у него не было материальных средств владеть и порядком, а потому, что в кругу его политических занятий не было самой идеи о возможности и надобности распоряжаться порядком, как лицами» («Боярская Дума», 4-е изд., 250).

[3] В другом месте, как уже отмечалось выше, Покровский рассматривает боярство, как отдельный общественный класс («Русская история с древнейших времен», I, 213). Поэтому слова Покровского—«если мы можем говорить о «боярстве», как о чем-то определенном, то, именно, благодаря местническим обычаям»—можно понимать в том смысле, что местничество сомкнуло боярство в класс. Эта точка зрения вполне соответствует взгляду Ключевского на положение московского боярства в XVI в., согласно которому вследствие местничества «московское боярство из пестрых, сбродных элементов стало складываться в цельный правительственный класс» («Курс русской истории», 3-е изд., ч. 2-я, стр. 199). Вряд ли необходимо доказывать, насколько такое представление о сложении общественного класса противоречит марксизму.

ближайших сотрудников. Он вскоре оказался ограниченным и в законодательстве, так как, согласно толкованию Покровского, ст. 98 Судебника 1550 г., «царь не мог законодательствовать, пополнять судебники без «всех бояр приговору»[1].

Вывод Покровского о характере царской власти XVI в. и об ограничении ее феодальными учреждениями следует признать ошибочным в методологическом отношении и противоречащим конкретным историческим фактам. Во всей мировой истории трудно было бы найти такие примеры развития абсолютизма, где бы абсолютная власть не была связана определенным политическим порядком. Поставить себя над всем общественным порядком или подчинить его личному капризу не мог ни один деспот восточного средневековья, с какой бы легкостью он ни рубил головы своим приближенным. Покровский нигде не показал, как создавалось московское самодержавие в историческом процессе вместе с развитием централизованного феодального государства, как диктатура господствующего класса. Между тем без царского самодержавия был бы невозможен и весь политический порядок XVI в. Политический режим в Московском государстве этого времени не только был новым, но и принципиально иным, чем в русских «великих» и «удельных» княжествах предшествующего периода времени. Институт местничества, который Покровский считает характерным учреждением эпохи «феодальных вольностей», появился в результате усиления самодержавной власти и был, как верно отметил еще Ключевский, средством самообороны боярства. Насколько действительной была эта самооборона, показывает история взаимоотношений между боярами и московскими великими князьями, а потом царями, в которой хотя и наблюдались кратковременные успехи боярства, но общий результат был не в его пользу.

Еще в начале XVI в. Боярская дума не могла помешать великому князю решать важнейшие дела «сам третей у постели». Было бы ошибочным рассматривать законодательные функции Боярской думы как ограничение законодательных прав царской власти. Появление ст. 98 Судебника 1550 г. не помешало Ивану IV действовать в ближайшие годы после принятия этого Судебника независимо от боярского приговора в важнейших вопросах внутренней политики. Подобные примеры мы находим в Дополнительных указах к Судебнику за 1550—1582 гг. Так, в 1558 г. в памяти к боярину кн. Д. Немово сообщается царский приговор о закладных вотчинах без упо-

---

[1] «А которые будут дела новые, а в сем судебнике не написаны, и как те дела с государеву докладу и со всех бояр приговору вершатся, и те дела в сем судебнике приписывать (Судебник 1550 г., ст. 98). В вопросе о значении этой статьи судебника Покровский следует Ключевскому, который также считал, что в XVI в. «боярский приговор был признан необходимым моментом законодательства, через который должен был проходить каждый новый закон, прибавлявшийся к Судебнику» («Боярская Дума», 317).

минания Боярской думы. Между тем этот вопрос близко затрагивал интересы бояр-вотчинников. В 1558 г. боярин кн. И. А. Булгаков приказал дьякам Юрью Баженину и Василью Мелентьеву «записати в тетрать памяти ради, что царь и великий князь приказал им боярам своим словом». Далее следовало изложение нового порядка обысков. Через несколько месяцев царь «приказал казначеем о суде», относительно исков по служилым кабалам у детей боярских. По этому указу дети боярские, давшие на себя служилые кабалы в совершеннолетнем возрасте, подлежали обычному суду в том случае, если они не находились на государевой службе и не были записаны в десятни. В 1560 г., также без приговора Боярской думы, вышел очень важный царский указ о несостоятельных заимщиках, которые, в отмену прежнего порядка, выдавались истцам «головою до искупа»[1]. Все эти случаи законодательной инициативы царя показывают, что они не являлись отдельными исключениями, а были таким же нормальным порядком, как и приговоры царя с Боярской думой.

Покровский видел основной результат социально-экономического развития Московского государства в XVI в. в том, что «экономический переворот, крушение старого вотчинного землевладения, нашел себе политическое выражение в смене у власти одного общественного класса другим». По его мнению, в 60-х годах закончилась «интенсивная эволюция классовых отношений», занявшая вторую треть XVI в.[2]. Необходимо прежде всего отметить отсутствие у Покровского правильного понимания классового деления общества. Находясь под влиянием Богданова, Покровский рассматривал класс не в системе производственных отношений, а в отношении его роли как «организатора общества». Это совершенно ошибочное представление, в корне противоречащее марксистскому учению об общественных классах, привело Покровского к крупнейшим методологическим и историческим ошибкам и к таким противоречиям в его собственной схеме, из которых он не мог найти выхода. Так, самое появление общественных классов он относит к XVI в., хотя и говорит о классовой борьбе в предыдущее время. Вполне понятно, что «интенсивная эволюция классовых «отношений» в XVI в. не могла бы иметь места, если бы не было сложившегося раньше классового общества. С другой стороны, Покровский ошибочно относил бояр как представителей крупного вотчинного землевладения и дворян—средних помещиков—к разным общественным классам. В действительности бояре и дворяне принадлежали к одному общественному классу, к классу феодальных землевладельцев, хотя и составляли разные общественные группы внутри этого класса. Из неправильного понимания классовой структуры общества вытекала и ошибочная концепция развития государства. Решающее влияние на формы государственного устройства в схеме По-

[1] Акты исторические, I, № 154.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, I, 213.

кровского оказывал не господствующий класс, а степень развития обмена, т. е. торговый капитал. Поэтому Покровский рассматривал историю политического устройства Московского государства отдельно от его социальной истории, оторвал историю самодержавия от истории московского дворянства. Покровский правильно отметил торжество дворянства в борьбе с боярством, не не указал на то, что эти успехи дворянства могли быть достигнуты только в результате сложения сильной самодержавной власти [1]. Вся его теория «патриархального абсолютизма», неверная в методологическом отношении, противоречит и конкретному историческому материалу.

III

В концепции Покровского основная роль в создании Московского самодержавного крепостнического государства принадлежала не господствующему классу феодальных землевладельцев, а «торговому капитализму». Поэтому до того момента, пока «торговый капитализм» не выступил на историческую сцену в качестве действительного творца исторического процесса, «старое Московское государство» XVI в. не могло развиться в государство «бюрократического абсолютизма».

Начало развития «торгового капитализма» как социально-экономической системы Покровский относит к середине XVI в. По его мнению, уже Иван Пересветов был «русским теоретиком» «бюрократического абсолютизма». «Если бы у нас не было в распоряжении других памятников московского торгового капитализма XVI в.,—пишет Покровский,—одного Пересветова было бы достаточно, чтобы побудить такие памятники искать» [2]. Наметившиеся в XVI в. тенденции развития «торгового капитализма» привели к его укреплению в середине XVII в. Окончательного торжества торговый капитализм добивается в начале XVIII в., когда при Петре I произошло завоевание феодализма торговым капитализмом. В это время торговый капитал стал командовать и внешней и внутренней политикой России [3].

Теория «торгового капитализма» Покровского сложилась под сильным влиянием работ Струве, которому принадлежит и самый термин «торгового капитализма». Под этим термином Струве понимал господство торгового капитала над производством. Повидимому, не

---

[1] Некоторую поправку М. Н. Покровский сделал в «Русской истории в самом сжатом очерке», где он признает, что господство дворянства и купечества во время опричнины выразилось «в диктатуре, в огромном усилении царской власти» (6-е изд., 45).

[2] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 2-я, стр. 151. В другом месте этой работы Покровский связывает появление зачатков системы торгового капитализма в середине XVI в. с первой вспышкой русского протестантизма в виде «ереси» Феодосия Косого (там же, 93).

[3] Там же, 93.

осталась без влияния на Покровского и вышедшая в 1908 г. книга П. Лященко «Очерки аграрной эволюции России». Хотя сам П. Лященко не употребляет термина «торговый капитализм», но отводит торговому капиталу решающую роль в истории. По его мнению, «торговля и торговый капитал являлись часто вершителем хода жизни и в Московском государстве»[1].

М. Н. Покровский ни в одной из своих работ не сообщил точного содержания понятия «торгового капитализма». С одной стороны, «торговый капитализм» представлял определенную ступень в развитии торговли. Покровский не раз касался разницы между «ремесленной торговлей», рассчитывавшей на покрытие жизненных издержек, и крупной «капиталистической торговлей», ставящей своей задачей накопление денежных средств. Торговый капитал в этом смысле мог появляться в различные исторические моменты. Так, по мнению Покровского, «крупные зачатки торгового капитализма» имелись уже в Киевской Руси»[2]. Его влияние отразилось в статьях «Русской Правды», касающихся вопросов о прибыли в торговле[3]. С другой стороны, «торговый капитализм» в исторической схеме Покровского представляет собою определенную историческую эпоху, когда торговый капитал не только господствовал над производством, но и создал политическую форму этого господства в виде «бюрократического абсолютизма».

Теория «торгового капитализма» и роли торгового капитала в исторической концепции Покровского находится в полном противоречии с учением Маркса и Энгельса об общественно-экономических формациях. Основой общественного устройства каждого человеческого общества является господствующий в данном обществе способ производства: «в общественном производстве своей жизни,—пишет Маркс в своем труде «К критике политической экономии»,—люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения,—производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил»[4]. «Материалистическое понимание истории,—пишет Ф. Энгельс в «Анти-Дюринге»,—зиждется на том положении, что производство, а вслед за производством и обмен продуктов, служат основанием всякого общественного строя; что в каждом историческом обществе распределение продуктов, а с ним и расчленение общества на классы

---

[1] П. Лященко. Очерки аграрной политики России. СПб., 1908, I, 129.
[2] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 2-я, стр. 146.
[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 65. Впрочем Покровский в этом вопросе входит в противоречие с самим собою. Так, придя к выводу о «крупных зачатках торгового капитализма» в Киевской Руси, он уже через несколько страниц сообщает, что торговля, даже заграничная, очень долго носила ремесленный характер, причем в подтверждение приводит размер этой торговли в киевско-новгородскую эпоху XI—XIV вв. (стр. 71).
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, ч. 1-я, стр. 6.

или сословия зависят от того, как и что производится этим обществом и каким способом обмениваются произведенные продукты»[1]. В основе каждой формы общественного устройства лежит соответствующий данному историческому обществу способ производства. Рабовладельческое хозяйство определяет собою структуру рабовладельческого общества; феодальный способ производства—феодального общества и капиталистический—буржуазного. Эти способы производства можно обозначить как «прогрессивные эпохи экономической общественной формации»[2].

Покровский долго и с большим упорством отстаивал свою антимарксистскую и антиленинскую концепцию «торгового капитализма» и защищал ее всеми средствами против критического пересмотра.

Только в 1931 г. М. Н. Покровский признал свою ошибку как в вопросе о понимании «торгового капитализма» как «общественно-экономической формации», так и в отношении смешения понятий «торгового капитализма» и товарного производства. В статье «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России» Покровский писал о своей концепции исторического процесса: «...совершенно ясно, что в ряде отдельных формулировок, иногда очень важных, старые изложения этой концепции звучали весьма не по-ленински, а иногда были попросту теоретически малограмотные. Так, например, безграмотным является выражение «торговый капитализм»: капитализм есть система производства, а торговый капитал ничего не производил»[3]. Признавая свою ошибку в отношении термина «торгового капитализма» и предлагая его заменить терминами «товарное производство» и «торговый капитал», Покровский не внес никаких других изменений в свою историческую схему, в частности—в схему образования Московского государства и его истории в XVI—XVIII вв.

По мнению Покровского, торговый капитализм в Московском государстве XVII в. слагался на очень примитивной экономической основе. Быстрое развитие денежного хозяйства, наблюдавшееся в первой половине XVI в., было прервано кризисом в конце XVI в. и «Смутным временем». Московское государство в XVII в. носило реакционный и даже реставрационный характер. «Последний термин,—говорит Покровский,—лучше подходит, ибо суть дела заключалась именно в реставрации, в возобновлении старого, в оживлении и укреплении таких экономических черт, которые веком раньше казались отжившими или, по крайней мере, слабеющими»[4]. На эту реставрацию социально-экономических порядков, господствовавших до Грозного, по мнению Покровского, указывают два явления XVII в.: развитие натураль-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XIV, 270.
[2] Там же, XII, ч. 1-я, стр. 7.
[3] М. Н. Покровский. О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России. Сборник «Историческая наука и борьба классов», I.
[4] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, II, 77.

ного оброка в крепостном хозяйстве взамен денежных платежей и развитие вотчинного землевладения взамен поместного. По словам Покровского, «господствующим», т. е. экономически господствующим, в России XVII в. было мелкое землевладение (?) крестьянского типа, пережившее «кризис, который погубил помещика-предпринимателя»[1]. В «общей картине экономической реставрации XVII в. находит свое место рост крестьянского двора», который Покровский сближает не только с «большим двором» удельной поры, но и с «печищем» и «дворищем» древнейшей эпохи. Большой крестьянский двор в XVII в. понадобился потому, «что был наиболее устойчивой экономической организацией натурального хозяйства, к которому Московская Русь была теперь ближе, нежели за сто лет перед тем»[2]. Если Покровский в значительной степени преувеличивал для XVI в. степень развития товарно-денежных отношений, которые он рассматривал как развитие денежного хозяйства, то в характеристике экономики Московского государства XVII в. он совершает ошибку в обратном направлении. Эта ошибка является весьма характерной для приемов его научной работы, при которых отдельным наблюдениям придавалось обобщающее и распространенное значение. В данном случае Покровский основывается на примерах взимания оброка в вотчинах боярина Н. И. Романова, боярина Лопухина, князей Долгоруковых и в некоторых дворцовых владениях. Источником этих сведений для Покровского была работа Ю. В. Готье «Замосковный край в XVII в.». С целью выяснить значение скотоводства у крестьян Ю. В. Готье привел примеры взимания землевладельцами с крестьян натурального оброка в виде продуктов скотоводства (коровье масло, бараны, свиньи). Вполне понятно, что Ю. В. Готье привел в своем примере не все повинности крестьян, а только те, которые указывали на данную связь[3]. Между тем Покровский заимствовал эти примеры в качестве доказательства перехода к оброчным натуральным повинностям (к натуральной ренте). Если бы Покровский обратился к первоисточникам или привлек более полный и цельный материал, он убедился бы в том, что и в XVI и в XVII вв. в помещичьем хозяйстве существовали все три вида докапиталистической ренты (отработочная, натуральная и денежная). Эволюция этого хозяйства заключалась в увеличении удельного веса тех видов ренты, которые указывали на растущую связь с рынком, т. е. на дальнейшее проникновение в феодально-крепостное хозяйство элементов товарно-денежных отношений. Теория Покровского о реставрации натуральных отношений в XVII в. является полнейшей фикцией, находящейся в полном противоречии с конкретным историческим материалом. Частновладельческие и дворцовые хозяйства XVII в. как феодальные хозяйства оставались в своей основе натуральными и потребительскими, однако

[1] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, II, 80.
[2] Там же.
[3] Ю. В. Готье. Замосковный край в XVII веке. М., 1906, стр. 455.

это обстоятельство не исключало их приспособления к рыночным отношениям.

Таким же несостоятельным оказывается указание Покровского на замену вотчинного землевладения поместным как на второй признак реставрации до-опричных порядков.

Общий вывод о преимущественном развитии вотчинного землевладения в XVII в. следует признать правильным. Тотчас после избрания новой династии произошла первая крупная раздача вотчин в заслугу за участие в освобождении столицы и за избрание нового царя. Такие же единовременные раздачи производились еще несколько раз при Михаиле Федоровиче и неоднократно повторялись при Алексее Михайловиче. Как установил Ю. В. Готье, уже в конце 30-х годов XVII в. совершенно ясно обозначилось преобладание вотчинного землевладения над поместным[1]. Однако эти выводы не позволяют притти к тем заключениям, к которым пришел М. Н. Покровский, так как сама вотчина с середины XVI в. претерпела большие изменения в своей внутренней организации. Вотчина XVII в. в этом отношении очень мало походила на вотчину времени до опричнины. В до-опричной вотчине землевладелец являлся сюзереном своих вассалов и слуг, составлявших его собственное феодальное войско — основу его политической власти. Для населения своей вотчины он в полном смысле закрывал собою верховную власть. В его отцовских и дедовских владениях были сильные консервативные традиции, оставшиеся от того времени, когда землевладелец был мелким феодальным государем. Едва ли необходимо доказывать, что опричнина уничтожила этот вотчинный режим. Крупное землевладение XVII в. создалось уже на совсем иной социальной базе и в другой политической обстановке. Поэтому вотчинное землевладение XVII в. не стало источником особых политических притязаний.

Итак, по мнению Покровского, «торговый капитализм» XVII в. вырастал на очень примитивной экономической основе. По сравнению с предыдущей эпохой Грозного это был возврат назад, к более раннему периоду московской истории. В стране после короткого расцвета денежного хозяйства восстанавливались натурально-хозяйственные отношения, боярская запашка сократилась, денежный оброк уступил место натуральному. Основным производителем стал крепостной крестьянин и мелкий ремесленник. Однако, несмотря на «регрессивную эволюцию», XVII век стал веком «торгового капитализма». Чтобы понять, как разрешал Покровский этот вопрос, необходимо обратиться к рассмотрению истории торгового капитала XVII в. в его схеме.

Изучение организации московской торговли привело Покровского к выводу, что не только внутренняя торговля, но отчасти и внешняя, носили еще ремесленный характер, почти такой же, какой

[1] Ю. В. Готье. Замосковный край в XVII веке, 381—389.

они имели в Киевской Руси. Основой торговли было мелкое ремесленное производство. В то время как внутри страны русский ремесленник и русский купец продолжали стоять на средневековой точке зрения, «торговый капитализм» завладел русским ремеслом в области заграничной торговли [1]. Развитие западноевропейских торговых связей и появление в Московском государстве нидерландских и английских купцов Покровский рассматривает как первую попытку «европейского торгового капитализма» «завоевать Россию»; отсюда вытекало его положение, что «торговый капитализм шел к нам с Запада».

Особое значение Покровский придавал развитию хлебной торговли. Прибывшее в 1630 г. в Москву нидерландское посольство упорно, но тщетно пыталось получить монополию на вывоз хлеба из России. Также безрезультатно кончились переговоры о предоставлении голландцам свободных земель для устройства хлебных плантаций. Покровский видел причину этих неудач в том, что в то время, когда велись переговоры в Москве, «навстречу западноевропейскому торговому капитализму поднялся русский». Но русский «торговый капитализм», как всякий новичок, оказался слишком жадным и вследствие своей жадности прогадал в хлебной торговле. После отказа от голландских предложений 1630—1631 гг. хлебная торговля вообще не наладилась до второй половины XVII в., и вывоз хлеба из России остался случайным и спорадическим явлением. Как мы увидим дальше, Покровский ошибался в объяснении причин слабого развития хлебного вывоза.

Таким образом, в концепции Покровского русский «торговый капитализм» развивался исключительно на внешней торговле, тогда как внутренняя торговля оставалась мелкой по размеру и «ремесленной» по организации. По мнению Покровского, вся внешняя торговля была сосредоточена в руках царя посредством монополий на торговлю товарами, составлявшими наиболее крупную часть экспорта. «Первые цари дома Романова,—говорит Покровский,—монополизировали в своих руках в сущности все наиболее ценные предметы сбыта» [2]. «Перечень царских монополий дает нам любопытную картину концентрации русского вывоза, создавшей почву, на которой вырастал туземный торговый капитализм...» К числу этих монополий Покровский относит: меховую, шелковую, хлебную, торговлю ревенем и икрой [3].

Вся характеристика царских монополий в области внешней торговли является ошибочной и основана либо на недоразумениях, либо на некритическом отношении к использованным материалам. Основным источником сведений для Покровского о состоянии московской торговли были записки иностранцев XVII в. В работах Адама Олеа-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 173—175.
[2] Там же, 182.
[3] Там же, 182—184.

рия, Коллинса, де-Родеса, Кальбургера мы действительно находим очень ценные сведения о состоянии московской торговли. Однако далеко не все эти сведения были достаточно точными; в ряде случаев вследствие плохого знакомства с русской жизнью и кратковременного пребывания в России иностранцы допускали грубые ошибки.

По мнению Покровского, наиболее популярной из всех царских монополий была меховая монополия. В действительности меховой монополии, за исключением некоторых лет, не было. Мехами с иностранцами мог торговать каждый, и частная меховая торговля в XVII в. значительно превосходила меховую торговлю царской казны.

Что касается торговли хлебом, то, как правильно отмечает Покровский, она не была постоянной. Однако и в этом случае Покровский дает совершенно неправильное объяснение причины слабого развития казенного экспорта хлеба. Дело, конечно, заключается не в том, что торговые агенты царя—царские «купчины»—не сумели выгодно договориться с инстранными экспортерами; ведь умели же они договариваться с ними о других предметах вывоза. Вопрос заключался в том, что московское правительство само очень неохотно соглашалось на вывоз хлеба за границу, несмотря на высокие хлебные цены, стоявшие на европейском рынке. Объясняется это тем, что в XVII в. внутренняя потребность в хлебе быстро возрастала благодаря росту неземледельческого населения и значительному увеличению армии. В некоторые годы размер рыночного спроса на хлеб обгонял размер предложений. Даже относительно небольшие и местные неурожаи тяжело отражались на снабжении хлебом населения в неземледельческих районах. Относительно много хлеба поглощала Сибирь, которая почти исключительно питалась привозным хлебом. Недостатком хлеба объясняется и известная «кабацкая реформа» 1652 г., имевшая целью сократить переработку хлеба в вино.

Монополии в торговле шелком, ревенем, икрой и некоторыми другими товарами не были настолько значительными, чтобы концентрировать торговый капитал в царской казне. Между тем Покровский пишет: «Царь—первый купец в своем государстве»,—говорит долго проживший в России Коллинс»[1]. Как указывает сам Покровский, источником его сведений о торговле московского царя был англичанин доктор Самуил Коллинс, приглашенный в 1659 г. к Алексею Михайловичу и живший в России до 1666 г. Коллинс наблюдал московскую жизнь в особых условиях: в конце 13-летней войны с Польшей за Украину, когда в стране, в результате чрезвычайного напряжения материальных средств, наступила хозяйственная разруха, усиленная расстройством денежной системы в связи с выпуском медных денег. В 1662 г. для возвращения к серебряному обращению была установлена временная казенная монополия на торговлю шестью товарами—соболями, пенькой, юфтью, поташом, смольчугом и салом,

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 182.

составившими в обычном московском экспорте около 65—70% его стоимости. Эти товары реквизировались у частных лиц с оплатой их медными деньгами и продавались на серебряную иностранную валюту за границу. Монополия на «указные» товары касалась только товаров, поступавших в продажу в течение 170 г. (1661/62 г.), и не распространялась на товары, поступавшие на рынок после 1 сентября 1662 г. Монополии 1662 г., действительно сконцентрировавшие в распоряжении царской казны огромное количество товаров, поставлявшихся на иностранный рынок, имели кратковременный характер [1]. С. Коллинс, бывший в это время в Москве, ошибочно принял эти временные мероприятия за постоянную царскую монополию на торговлю всеми важнейшими товарами вывоза, впоследствие чего московский царь обратился у него в «главного торговца во всей России» [2]. М. Н. Покровский еще более усилил ошибку Коллинса, заменив в приведенной фразе слово «главный» на «первый» («Царь—первый купец в своем государстве,—говорит долго проживший в России Коллинс»). Таким образом, Покровский вследствие некритического отношения к источникам был введен в заблуждение свидетельством Коллинса, которое он положил в основу своей характеристики царской торговли.

По мнению Покровского, концентрация в одних руках (царских) сотен тысяч рублей (по ценам XVII в.) «впервые повела к образованию в ремесленной России, знавшей до тех пор лишь мелкий торг, как и мелкое только производство,—торгового капитала» [3]. Но сам царь, конечно, не мог вести крупные торговые операции. Фактически торговым капиталом царя,—говорит Покровский,—распоряжались гости, которые от царского имени вели торговлю с Востоком и с Западом. Характеристику деятельности московских гостей Покровский заимствовал из сочинения Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. По словам Кильбургера, гости, которых он называл «царской коммерции советниками и факторами», хотя и неограниченно правили торговлей во всем государстве, но в действительности являлись агентами царской торговли [4]. Характеристика, данная Кильбургером деятельности московских гостей, основана на недостаточном знакомстве с русской торговлей. Привилегированные купеческие организации образовались во второй половине XVI в. в составе трех торговых корпораций: гостей и торговых людей гостиной и суконной сотен. Торговые люди зачислялись в эти организации по особым жалованным грамотам, в которых перечислялись их привилегии в области торговли и налогов. Взамен

[1] История монополии 1661—1662 гг. рассмотрена в моей работе «Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве в 1662 г.».

[2] С. Коллинс. Нынешнее состояние России. М., 1846.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 187.

[4] Б. Курц. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915, стр. 164.

посадского тягла они несли по очереди разнообразные обязанности, связанные с торговой деятельностью: собирали таможенные пошлины и чрезвычайные налоги, служили в Сибирском приказе у «соболиной казны», ездили в качестве царских «купчин» с казенным товаром на ярмарки и за границу и т. д. В то же время они занимались собственными торговыми делами. В число гостей зачислялись наиболее крупные представители купеческого капитала. Число гостей в XVII в. не превышало 15—20 чел., в гостиной и в суконной сотне насчитывалось по 100 человек и больше. В всяком случае эти привилегированные сотни далеко не включали в свой состав весь высший слой торговых людей. Можно отметить значительное число крупных фамилий, которые в тот или иной момент не входили в состав гостей и торговых сотен, что не мешало им вести крупную торговлю.

Среди обязанностей, падавших на привилегированное московское купечество, собственно торговые операции с царскими товарами занимали незначительное место. Наиболее тяжелой службой было собирание таможенных налогов, причем гости назначались таможенными головами в самые крупные торговые центры, как Москва, Архангельск; торговые люди гостиной сотни—в другие большие торговые города (Н.-Новгород, Устюг, Вологда, Ярославль и др.). В качестве помощников (целовальников) при этих сборах привлекались местные торговые люди.

Преувеличивая размер царской торговли, Покровский вместе с тем преуменьшает частную торговлю и дает ей совершенно неправильную характеристику как торговли преимущественно мелкого «ремесленного типа». В данном случае источником ошибок Покровского были главным образом Адам Олеарий—Кильбургер и де-Родес. Рассказывая о большом распространении торговли и о множестве лавок в Москве, Кильбургер замечает: «Мы не будем отрицать, что эти лавки малы и ничтожны по своим оборотам: мы хотим только доказать, что русские любят торговлю, и не делаем никаких сравнений, иначе пришлось бы согласиться, что из одной астердамской лавки можно сделать десять и даже больше московских»[1]. Кильбургер, повидимому, не знал, что большие торговые предприятия русских купцов XVII в. имели десятки лавок в разных городах.

Организация русской крупной торговли в XVII в. соответствовала состоянию внутреннего рынка этого времени. В торговле еще не было разграничения между оптовой и розничной. Специализация по роду товара только намечалась и то главным образом в области внешней торговли. Большинство крупных торговых предприятий было связано с сибирскими операциями и с поставками на внешний рынок. Внутренний рынок был очень неустойчив. Разница в ценах на один и тот же товар в разных пунктах побуждала широко разветвлять тор-

[1] Там же, 88.

говые операции, охватывая ими большие районы. В крупных торговых предприятиях одновременно работали десятки приказчиков, от сыновей и племянников хозяина до наемных приказчиков, кабальных людей и холопов. Такие предприятия, если рассматривать их в пределах одного города или даже части города, могли казаться совсем незначительными. Только взяв их в целом, можно было составить правильное впечатление о настоящем размере и множестве торговых связей [1]. Конечно, ни Кильбургер, ни де-Родес такого исследования произвести не могли.

Только недоразумением можно объяснить утверждение Покровского, что русский купец XVII в. не гнался за прибылью, потому что он не имел понятия о прибыли на капитал. Наоборот, в торговых операциях мы наблюдаем постоянное стремление использовать выгодную рыночную конъюнктуру. Купеческий капитал не откладывался в виде неподвижных сокровищ, а постоянно возвращался в сферу обращения или отдавался в рост. Концентрация купеческого капитала и значительный рост торговых предприятий XVII в. указывают на определенную цель в этих операциях, преследовавших накопление денежных средств. В некоторых случаях (когда позволяет состояние источников) мы можем проследить историю отдельных купеческих предприятий, достигших большого размера. Накопления крупных средств в области торговли к концу XVII в. было одним из условий, содействовавших развитию мануфактурного производства в петровское время.

Анализ ошибочной схемы Покровского в области развития русской торговли XVI—XVII вв. вскрывает его приемы научной работы. Вместо изучения исторического материала, относящегося к данной теме, Покровский ограничился использованием нескольких отрывков в записках нескольких иностранцев-современников (далеко не всех), не подвергая этот источник критической проверке. Большой русский документальный материал по истории торговли не был использован Покровским. Он повторил все ошибки, заимствованные им у авторов-иностранцев. Более того, из отрывочных замечаний этих авторов он попытался создать полную картину состояния русской торговли и ее концентрации в руках московского царя—«первого купца» в своей стране. Вследствие этого отдельные фактические ошибки превращаются в крупные ошибки методологического значения. «Эпоха торгового капитализма» в схеме Покровского оказалась в XVII в. без торгового класса. Действительным представителем «торгового капитализма» этого времени, если логически следовать выводам Покровского, должен был стать московский царь, который превращался в какую-то самодовлеющую экономическую и политическую силу.

---

[1] Организация крупного торгового предприятия XVII в. рассмотрена в моей работе «Крупное торговое предприятие в Московском государстве в первой половине XVII века». Изд. Академии Наук СССР, 1933.

Ошибочная характеристика, данная М. Н. Покровским торговле московского царя XVII в. и ее роли в экономике страны, заставляет несколько подробнее остановиться на выяснении действительного состояния этой торговли. Хозяйство московского царя в XVII в. оставалось типичным феодально-крепостным хозяйством, даже в период наибольшего развития хозяйственной деятельности во вторую половину царствования Алексея Михайловича. Потребности царского дворца с его многочисленным населением удовлетворялись посредством эксплоатации территории, приписанной к приказу Большого дворца. На разбросанных в разных местах дворцовых владениях находились пашни, сенные покосы, рыбные ловли, бортные леса и прочие статьи хозяйственной эксплоатации. Кроме того, Большой дворец собирал разные денежные пошлины и оброчные платежи с крестьян и с посадского населения, жившего в приписанных к нему городах. В ведении приказа Большого дворца находилось несколько мелких хозяйственных приказов или «дворов», часть которых возникла еще в XVI в.: сытенный, кормовой, хлебный, житенный.

В 1663 г. было образовано новое хозяйственное ведомство в составе Приказа тайных дел. Оно охватило различные отрасли хозяйства. Основную и наиболее важную в экономическом отношении его часть составляло сельское хозяйство, организованное в систему государевой десятинной пашни. Помимо распространения зерновых и технических культур были заведены значительное скотоводческое хозяйство, огородничество, садоводство, пчеловодство и рыбное хозяйство.

Организация царского хозяйства была по существу организацией большой крепостной вотчины, своими хозяйственными приемами очень близко напоминавшей вотчины крупнейших частных землевладельцев, монастырские и боярские, от которых царское хозяйство отличалось преимущественно размером.

Само царское хозяйство не могло систематически поставлять продукты на рынок. Источники царской торговли следует искать в натуральных поступлениях с населения и в самостоятельных операциях по скупке и продаже товаров. Как отмечалось выше, царские монополии, неправильно понятые Покровским, также не могли быть источником крупной торговли. Наибольшее значение для последней имела государева «мягкая рухлядь», собиравшаяся, за небольшим исключением, в качестве натурального обложения (ясака) с коренного населения Поволжья и Сибири. Значительное увеличение поступления дорогой «соболиной казны» произошло около середины столетия, после захвата северо-восточной Сибири. Нетронутые пушные богатства Якутии были в несколько десятилетий расхищены царской казной и частными предпринимателями. В 60—80-х годах ежегодный приход от «мягкой рухляди» в Сибирском приказе составлял около 100 тыс. руб. по московской оценке, т. е. от $^1/_5$ до $^1/_4$ всего государственного дохода. Огромный пушной фонд не мог полностью пойти на потребление в натуральном

виде, и часть его посредством торговли обращалась в деньги. Впрочем до середины XVII в. пушная казна сохраняла преимущественно потребительское назначение. Она расходовалась на удовлетворение потребностей царского семейства и царского двора, посылалась в виде «поминок» крымскому хану и его приближенным, входила в обычные подарки, сопровождавшие дипломатические отношения, очень много расходовалась на пожалования разным людям по разнообразным поводам: часть выменивалась на иностранные товары, забранные для потребностей дворца, и т. д. Только после покрытия всех этих расходов остаток «мягкой рухляди» продавался на рынок. Во второй половине столетия доля рыночной реализации пушнины заметно возросла. Партии пушного товара ежегодно отправлялись на Архангельскую ярмарку и на Свинскую ярмарку около Брянска. Значительная часть мехов продавалась из Сибирского приказа русским и иностранным торговым людям. В некоторые годы крупные партии товара отправлялись с «купчинами» за границу, чаще всего в Литву и Иран. Однако пушная царская торговля наталкивалась на множество затруднений, и обычно часть товара, посланного с «купчинами», возвращалась обратно. Правительство в таких случаях прибегало к принудительному распределению товара между торговыми людьми, с которых затем взыскивались деньги.

Царская торговля мехами была самой крупной торговой операцией, производившейся от имени царя. Однако и она никогда не монополизировала всю пушную торговлю. На Архангельской ярмарке основными поставщиками мехов были торговые люди, участвовавшие в сибирских предприятиях.

Из других торговых операций царской казны следует отметить иранскую (персидскую) торговлю шелком, которая одно время действительно составляла царскую монополию.

Изучение материала, относящегося к истории царской торговли XVII в., приводит к выводу, что ее удельный вес в общем внутреннем и внешнем товарообороте далеко не был таким значительным, как думал Покровский. Вся характеристика торговли в Московском государстве XVII в., данная Покровским, противоречит историческому материалу.

Важнейшей ошибкой Покровского, являющейся не только фактической, но и теоретической ошибкой, является неправильное представление о характере развития русской торговли на основе складывавшихся в стране рыночных отношений.

Ленин придавал большое значение образованию в стране внутреннего рынка, который он назвал «единым всероссийским рынком». В работе «Что такое «друзья народа»?» Ленин пишет: «Только новый период русской истории (примерно с 17 века) характеризуется действительно фактическим слиянием всех таких областей, земель и княжеств в одно целое». Это слияние «вызывалось усиливающимся обменом между областями, постепенно растущим товарным обращением,

концентрированием небольших местных рынков в один всероссийский рынок»[1]. Источники по истории внутренней торговли Московского государства полностью подтверждают эти выводы Ленина. В XVII столетии территория Московского государства была охвачена сложной системой торговых дорог, связавших между собой даже относительно мелкие посады и торжки. На почве общественного разделения труда усиливалось географическое разделение труда, сопровождавшееся оседанием отдельных промыслов в определенных районах в соответствии с естественными и историческими условиями и с положением этих районов в системе рыночных связей. Вместе с этим разрушалась прежняя экономическая самостоятельность отдельных земель, когда-то пользовавшихся и политической независимостью. Мелкое ремесло, раньше замкнутое в пределах своего посада и небольшой прилегающей к нему территории, в XVII в. стало производить на широкий, а иногда и на очень далекий рынок. Тверские ковшики продавались в Томске, вятскими крашенинами торговали в Тобольске, лучшее костромское мыло было распространено во многих русских и сибирских городах и т. д. Возраставшая потребность в пеньке на Архангельской ярмарке вызвала развитие культуры конопли и производства пеньки в ряде юго-западных уездов (Рославльский, Брянский, Болховский и др.). Скупочные операции крупного купечества охватывали сразу десятки городов, отстоявших друг от друга на сотни верст.

В схеме Покровского, где вся московская торговля оказалась сосредоточенной в руках московского царя, совершенно нет места развитию внутреннего русского рынка в XVII в. Между тем, как указывает Ленин, развитие внутреннего русского рынка имело большое значение для создания национальных связей, для действительного объединения земель, входивших в состав Московского государства, и для окончательного утверждения на всей его территории единого политического порядка. Только при этих условиях можно правильно разрешить вопрос о влиянии торговли на политическую жизнь феодального Московского государства и о результатах этого влияния в деятельности московского правительства. Но Покровский следовал по другому направлению. Вместо конкретного изучения исторического материала и использования методологических указаний Ленина он построил схему создания «торговым капитализмом» бюрократической монархии.

IV

Разрушение крупного привилегированного землевладения княжат и бояр в XVI в. с превращением землевладельцев-государей в землевладельцев-подданных московского царя было, по мнению Покровского, признаком ликвидации феодальных отношений. По его словам,

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 74.

в XVII в. «после Смуты феодальный строй вообще держался на правах переживания. Реально его политическое существование закончилось в XVI ст.—когда попытки закрепить феодальные обычаи искусственно показывали уже, что собственными силами они держались плохо»[1].

С уничтожением феодальных вольностей на смену «патриархального абсолютизма» пришла «бюрократическая монархия», созданная «торговым капитализмом». Последний, по мнению Покровского, был везде ее основой—и в средневековом Неаполе и в России при Петре I и его предшественниках[2]. «Торговый капитализм принес с собою бюрократическую монархию, которая была уже фактом при царе Алексее, за пятьдесят лет до того времени, когда в дни Петра В. стала вырабатываться ее теория»[3]. В другой своей работе Покровский дает известную характеристику государства первых Романовых как торгового капитала в мономаховой шапке[4].

Развитие «бюрократической монархии» представляется Покровскому в следующем виде: абсолютизм несовместим с существованием «феодальных вольностей»; конец их должен был наступить с развитием денежного хозяйства. «Читатель догадывается, когда должен был наступить конец средневековым «государственным чинам»: это должно было случиться в ту минуту, когда сюзерен перестал зависеть от натуральных повинностей своих вассалов,—когда он получил в руки силу, позволяющую ему *покупать* услуги, вместо того, чтобы их *выпрашивать*. Вот отчего окончательное торжество денежного хозяйства было всегда критическим моментом для «прав и вольностей» феодального дворянства. Реальная власть переходит тогда в те же руки, в чьих были деньги,—в руки торговой буржуазии, а ей средневековые чины с их преобладанием поземельного дворянства вовсе не были нужны и интересны. Только там, где землевладение сделалось буржуазным или где буржуазия не имела никакого значения, средневековые учреждения сохранились, принимая новую форму: первый случай имел место в Англии, второй в Польше. В России и во Франции дело шло иным, можно бы сказать, более нормальным путем: и там и тут рост торгового капитала и его влияние на дела совпадали с ростом абсолютной монархии и упадком тех форм «политической свободы», которые были тесно связаны с натуральным хозяйством»[5].

Рассматривая реформы Грозного с точки зрения осуществления

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 189. Следует отметить, что в ранее написанной «Русской истории с древнейших времен» Покровский по вопросу о характере Московского государства XVII в. говорил более осторожно, что оно «было результатом ликвидации феодальных отношений в их более древней форме» (I, 144).

[2] Там же, II, 146.

[3] Там же, II, 118.

[4] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения XIX и XX вв.

[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 106.

пересветовских идей, Покровский подчеркивал, что сами эти идеи появились в результате развития денежного хозяйства и торгового капитализма. Иван Пересветов в его характеристике являлся первым теоретиком бюрократической монархии. Характерными признаками бюрократической монархии Покровский считал три условия: крепостное право, чиновничество и постоянную армию. Крепостное право было необходимо торговому капиталу, чтобы заставить крестьян отдавать хлеб и другое сырье; чиновничество и постоянная армия составили тот принудительный аппарат самодержавия, который позволил ему расправиться с феодальными вольностями. Эту схему в окончательном виде Покровский изложил в «Русской истории в самом сжатом очерке» следующим образом: Торговый капитал не организовал производства, а владел всеми средствами сбыта и обмена. Он был скупщиком готовых товаров, представлявших собою продукцию мелких производителей—крестьян и ремесленников. Чтобы заставить мелких производителей отдавать свою продукцию на рынок, т. е. превращать ее в товар, торговому капиталу нужна была сильная центральная власть. Он создал ее с чиновничеством, организованным по образцу купеческой конторы, с безграничными полицейскими полномочиями, со свирепым чиновничьим судом. В то же время торговый капитал поддерживал в деревне крепостное право, так как при помощи помещиков заставлял крестьян отдавать хлеб и другое сырье, «выбивая его из крестьян розгами помещичьих конюшен». Эти отношения сложились в Московском государстве XVII в., хотя и находились еще в «хаотическом (неорганизованном) состоянии»[1]. Окончательное торжество они получили в XVIII в., который Покровский характеризует как время «крепостного хозяйства».

Покровский, повидимому, не замечал основных противоречий его собственной схемы. В изложении экономической истории XVII в. Покровский постоянно подчеркивал экономическую деградацию, возврат к натурально-хозяйственным отношениям и слабость частного торгового капитала, которому он противополагал могущественную и монополистическую царскую торговлю. Между тем, согласно схеме, частный торговый капитал именно в это время создал политические формы своего господства и ликвидировал феодальные отношения.

Положение Покровского о ликвидации феодальных отношений в XVII в. вытекает из его неправильного антимарксистского определения феодализма. В указанных Покровским трех признаках феодализма (господство крупного землевладения, связь землевладения с политической властью и иерархия землевладения) отсутствует основной признак: феодальный способ производства. Поэтому Покровский всегда считал феодальные отношения несовместимыми с централизованной государственной системой. В одном из самых последних выступлений

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, I, 74.

Покровский признал если не ошибочность, то неполноту своего определения феодализма. Он оправдывал его необходимостью подчеркивать политическую сторону феодализма, которую в применении к русскому историческому процессу отрицали буржуазные историки. Однако даже в этом выступлении Покровский в характеристике феодального способа производства ограничился замечанием, что оно в своей основе всегда было натуральным [1].

Трудно ответить на вопрос, как в своей схеме Московского государства «торгового капитализма» XVII в. Покровский представлял себе организацию производства, так как он ни в одной своей работе не остановился на общей экономической характеристике XVII в. Кроме того, во взглядах Покровского на эту эпоху обнаруживаются такие противоречия, которые трудно объяснить даже с точки зрения его собственной теории.

Крупнейшей методологической ошибкой Покровского является противопоставление «феодального» и «крепостного» хозяйства как двух различных общественно-экономических систем. Покровский не был самостоятельным в этой концепции. Его предшественниками были Петр Струве и Лященко. Статьи Струве о крепостном хозяйстве, появившиеся в повременных изданиях в конце 90-х и в начале 900-х годов, были в 1913 г. переизданы отдельной книгой, вышедшей под названием «Крепостное хозяйство». В рецензии на эту книгу Покровский в 1914 г. писал: «Ее автору (т. е. П. Струве.—*К. Б.*) принадлежит неоспоримая и крупная заслуга в истории русского народного хозяйства: он первый поставил вопрос о крепостном хозяйстве как известной историко-экономической категории» [2].

По мнению Покровского, развитие крепостнических отношений в XVII в. не было продолжением социально-экономического процесса предыдущего столетия, а явилось возвратом к более раннему прошлому: «наглухо прикрепленные к имениям крестьяне XVII в.,—говорит Покровский,—вероятно, уже напомнили читателю «старожильцев» прежних боярских вотчин, из поколения в поколение сидевших на одной и той же деревне, пока их не разворошила опричнина» [3]. В экономике Московской Руси XVII в. крепостной крестьянин занял то место, которое, по мнению Покровского, в первой половине XVI в. было приготовлено вольнонаемному рабочему: «Вольнонаемный рабочий, снившийся дворянскому публицисту первой половины века и местами действительно заводившийся в более передовых имениях, исчезает на целых два столетия» [4]. Если крепостнические отношения мог создать только торговый капитализм, как это постоянно подчеркивал Покровский, то какие социально-экономические или политические при-

---

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 291.
[2] Там же, II, стр. 86.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 77—78.
[4] Там же, I, 215.

чины создали их во время, предшествующее опричнине, когда «торговый капитализм» Покровского еще только зарождался? Покровский нигде не пытался разрешить это противоречие, столь характерное для его схематических построений.

В истории развития крепостнических отношений Покровский совершает ряд крупных фактических ошибок. Начальным моментом этого, по его мнению, «второго» крестьянского закрепощения он считал известный указ 1597 г. об установлении пятилетней давности для сыска беглых. Между тем сыск беглых крестьян мог производиться только после того, как крестьяне не только фактически, но и юридически потеряли свободу передвижения. В процессе закрепощения, или, как говорит Покровский, «иммобилизации» крестьян он придает преувеличенное значение роли крестьянской задолженности и хозяйских ссуд. В этом вопросе Покровский находился под сильным влиянием известной теории развития крепостного права Ключевского.

Впрочем Покровский ни в одной из своих работ не остановился более подробно на изучении процесса развития крепостнических отношений. Он ограничился лишь общим указанием на направление и характер этого процесса и отметил его основные этапы. Быстрый рост крепостничества, приводивший к исчезновению категории самостоятельных крестьян, произошел, по его словам, уже после «Смуты»: «Крепостное право быстро растет у нас на развалинах, созданных Смутой, точно так же как в Германии росло оно на развалинах, созданных Тридцатилетней войной»[1]. Причина этому явлению, по мнению Покровского, заключается в колоссальном разорении крестьянства в результате «Смуты»: «...ссуда, раньше бывшая очень распространенным средством привязать крестьянина к имению, теперь приобретает исключительное значение»[2]. Покровский правильно отмечает большое развитие бобыльства как результат экономического разорения крестьян. Однако он делает ошибку, предполагая, что развитие крестьянского прикрепления через ссуду шло по линии прикрепления бобылей обратно к земле. В действительности история бобылей была более сложной. Значительная часть бобылей навсегда оторвалась от сельского хозяйства и пополнила своим составом различные категории неземледельческого населения (торговцев, ремесленников, стрельцов, а также обнищавшее плебейское население городов). Часть бобылей, действительно, осела на частновладельческих и дворцовых землях. Но последнее обстоятельство отнюдь не дает права заключать, что количественное расширение крепостного населения шло именно по этому пути. Площадь, охваченная частновладельческим феодально-крепостным хозяйством, росла в XVII в. в центральных уездах за счет дворцовых и черных волостей, а на окраинах—за счет захвата вновь присоединенной территории. Борьба за рабочие руки в крепостном хозяйстве продолжа-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 73.
[2] Там же, 74.

лась, несмотря на прекращение выхода, и происходила на основе перераспределения крестьян между отдельными категориями землевладельцев. Новопорядчики XVII в., садившиеся в частновладельческом хозяйстве, происходили из разнообразных слоев сельского населения, в том числе из числа крестьян, не обложенных самостоятельным тяглом («от отцов, сыновей и от дядей, племянников»).

По мнению Покровского, торговый капитал поддерживал в деревне крепостное право потому, что при помощи помещиков заставлял крестьян отдавать на рынок хлеб и другое сырье. Это положение также не оправдывается фактическим материалом, относящимся к торговым связям крепостной деревни XVII в. В частности, следует отметить, что продукция крестьянского хозяйства в это время далеко еще не играла такой роли во внутреннем товарообороте, какую она стала играть позже. Таким образом, концепция Покровского о возникновении крепостного права оказывается совершенно несостоятельной и противоречит историческому материалу.

Такой же несостоятельной в методологическом и фактическом отношении оказывается его концепция политической системы «бюрократического абсолютизма». И в этом вопросе мы встречаем необъяснимые противоречия в самой схеме. Описание развития политической системы Московского государства привело Покровского к выводам, которые оказались в полном противоречии с основными его представлениями о сущности бюрократической монархии, созданной «торговым капитализмом». Как отмечалось выше, Покровский рассматривал экономику первых трех четвертей XVII в. с точки зрения «регрессивной эволюции». «Возрождению старых экономических форм должно было отвечать воскресение старого политического режима» [1]. Итак, политический режим XVII в. оказался восстановлением режима, существовавшего до опричнины Ивана Грозного! Поэтому, точно забывая об установленной им же ликвидации феодализма в конце XVI в. и торжестве бюрократической монархии в XVII в., Покровский замечает, что «феодальные порядки XVII в. не приходится рассматривать как простое переживание» [2].

Главу, посвященную характеристике московского государственного строя XVII в., Покровский назвал «Политической реставрацией», т. е. реставрацией московских порядков, существовавших до режима опричнины. В соответствии с этим названием значительную часть этой главы Покровский посвятил доказательству, что московский политический порядок XVII в. не вносил ничего нового в государство первых Романовых, а сложился до них. Рассматривая воеводское управление в городах, Покровский предлагает читателю узнать «знакомую картину «кормленщицкого» управления» [3], причем отдельные явления этого упра-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 85.
[2] Там же, 97.
[3] Там же.

вления относит даже не ко времени Ивана IV, а ко времени Ивана III. В целом система воеводского управления представляется ему как пример политической реставрации. Те же черты почти нетронутого старого московского порядка Покровский находит в организации центральной власти. Боярская дума не только сохранилась как учреждение, но, по словам Покровского, была восстановлена в своем старом социальном составе. Покровский обращает внимание на тот факт, что еще в 1668 г. старое боярство составляло почти половину всего состава Думы [1]. Система московских приказов существовала, по его словам, в том виде, в каком она сложилась в предшествующее время; в приказном управлении попрежнему путались принципы—территориальный и отраслевой, общегосударственный и частнохозяйственный, постоянно действующего учреждения и временного «государева» поручения. Вновь возникавшие в XVII в. приказы не избежали этой путаницы понятий. Однако даже в таком виде приказный строй XVII в. никак не мог стать политической реставрацией до-опричных порядков, так как окончательно сложился уже во вторую половину XVI в.

Наконец, и оживление земских соборов в первой половине XVII в., по словам Покровского, было «чрезвычайно тесно связано с тою же экономической и политической реставрацией, которою отличена эта эпоха» [2]. Покровский и в этом случае не замечает хронологической ошибки, так как земские соборы XVII в. нельзя связать с политической системой конца XV или начала XVI в., когда земские соборы еще не действовали. В XVI в. достоверно известно только о двух земских соборах: 1566 и 1598 гг.

Покровский считал, что режим первых Романовых был «новым политическим содержанием в старой форме—и, именно потому, форма охранялась особенно тщательно» [3]. После рассмотрения данной Покровским характеристики государственного порядка XVII в., возникает вопрос, в чем могло проявиться новое «политическое содержание» бюрократической монархии в старых феодальных формах? К сожалению, и этот вопрос Покровский оставляет без ответа. Нельзя же видеть элементы нового политического содержания в факте выдвижения некоторого количества приказных дельцов из состава торгового населения («торговой буржуазии») в высшую московскую администрацию. Покровский сам указывает, что подобные случаи имели место и в XVI столетии.

Из трех признаков, установленных Покровским для бюрократической монархии,—крепостное право, чиновничество, постоянная армия—два (чиновничество и постоянная армия) относятся к политической системе этой монархии. Однако нигде Покровский не показал сложения чиновничества в XVII в. в принципиально отличной форме от

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 102.
[2] Там же, 106.
[3] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, II, 135.

администрации предыдущего времени. В большей степени мы можем говорить о новых явлениях в области устройства вооруженных сил. Начало постоянной армии в виде формирования стрелецких войск должно быть отнесено еще к первой половине XVI в. В XVII в. армия получила большое развитие. В силу этого изменилось соотношение между дворянской (нерегулярной) и стрелецкой частью московской армии. Еще большее значение в переустройстве военных сил имело формирование полков «иноземного строя» (солдатских, драгунских и рейтарских), начало которых было положено во время смоленской кампании 1632—1634 гг.

Попытка Покровского показать «политическую реставрацию» в XVII в. Московского государства оказалась совершенно несостоятельной. В действительности Покровский невольно показал связь государственной системы XVII в. с предыдущей эпохой, в которую входило и время Ивана IV. Поэтому в московской государственной системе XVII в. следует видеть не возврат назад, к отжившей московской старине, а дальнейшее развитие тех политических начал, которые появились с образованием централизованного феодального государства. Перерыва в этом развитии мы не наблюдаем, как не наблюдаем в области экономики возврата к натуральному хозяйству. С другой стороны, оказалась несостоятельной и попытка представить Московское государство XVII в. как систему бюрократической монархии (или в другой формулировке Покровского—«торговой бюрократической монархии»), созданную торговым капиталом.

В действительности Московское государство XVII в. оставалось феодальным по своей социально-экономической основе и самодержавным по системе организации политической власти. Самодержавная феодально-крепостническая централизованная монархия выражала прежде всего интересы дворянства, образующего ее социальный базис. Самодержавная монархия была необходима и купечеству, так как устанавливала на всей большой территории государства единый политический порядок. Царская власть хотя и не была создана торговым капиталом, но усиленно поддерживала его интересы и его стремления к овладению внутренним рынком и к распространению внешних торговых связей.

А. САВИЧ

ПОЛЬСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ НАЧАЛА XVII в. В ОЦЕНКЕ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Когда отправленные царем В. И. Шуйским 13 июня 1606 г. в Польшу московские послы Г. К. Волконский и дьяк Андрей Иванов настаивали на соблюдении польским правительством обычных приемов международной вежливости и добрососедских отношений, польские паны, требуя возвращения задержанных в Москве поляков, угрожали: «только государь ваш отпустит Сендомирского воеводу с товарищами и всех польских и литовских людей, которые ныне на Москве, ино и Дмитряшки и Петрушки не будет; а только государь ваш вскоре не отпустит всех людей, ино и Дмитрей будет и Петр прямой будет, и наши за своих с ними заодно станут»[1].

Развернувшиеся вслед за этим события показали, что процитированная фраза не была пустою угрозой не отвечавших за свои слова панов. Польская шляхта действительно создала военную базу для второго самозванца точно так же, как несколько лет перед этим та же польская шляхта обеспечила успех Лжедмитрия I. Недаром сигизмундов посол к Лжедмитрию в 1606 г., пан Олесницкий, упрекая самозванца в неблагодарности к польскому королю, напомнил, что король некогда «с усердным желанием» помогал ему, самозванцу, «отыскать корону прародительскую». Эти слова были сказаны официально, открыто, лицом облеченным большими полномочиями. Как увидим из дальнейшего, это официальное лицо называло вещи своими именами[2]. Московские послы в Польшу в 1606 г., названные уже нами Г. К. Волконский и дьяк А. Иванов, в доказательство активного участия Польши в деле Лжедмитрия I прямо и ссылались на эти слова польского дипломата, выдавшего с головой Сигизмунда и его правительство.

Правда, польские паны возражали против этих обвинений, заявляя: «сами люди Московского государства меж себя разруху чинят, а на нас пеняете»[3], но они были бессильны опровергнуть хотя бы один

---

[1] Сборник Русского исторического общества, т. 137, стр. 345—346.
[2] Дневник Марины Мнишек. Сказания современников о Димитрии Самозванце IV, 36—37.
[3] Сб. Русск. истор. общ., т. 137, стр. 330.

факт из множества приводимых московскими послами в подтверждение справедливости своих обвинений.

Русские люди начала XVII в., современники описываемых нами событий, прекрасно понимали сущность развертывавшихся явлений и метко и точно квалифицировали их.

Однако, несмотря на убедительные и неопровержимые свидетельства наших памятников начала XVII в. о выдающейся роли в событиях так называемого «смутного времени» польского правительства и шляхты, в русской исторической литературе наблюдается недооценка этой роли.

Виднейшим специалистом по истории так называемой «московской смуты» в буржуазной историографии является несомненно С. Ф. Платонов. Последний считает почти единодушно принятым мнением то, что «в деле появления самозванца активную роль сыграло московское боярство, враждебное Борису». Сам Шуйский впоследствии заявлял, что бояре признали самозванца только для того, чтобы избавиться от Бориса. Самозванца Платонов считает «плодом русской интриги». Иезуиты, которые должны были стоять в центре интриги, если бы она была польскою, за Лжедмитрия ухватились только тогда, когда он уже был готов. В католичество Лжедмитрий был обращен не иезуитами, а францисканцами. Польское общество, по словам Платонова, с недоверием относилось к царскому происхождению самозванца, презрительно отзывалось о нем, а к делу его выражало сомнение.

Таким образом, Платонов утверждает, что в лице самозванца московское боярство еще раз пробовало свои силы, чтобы напасть на Бориса. Для этого оно распускало слух об убийстве Дмитрия Борисом, а затем и воскресило этого Дмитрия[1]. В другом месте Платонов говорит о силах, выдвинувших Лжедмитрия еще более определенно. Население «Польской и Северской Украины Московского государства, а не польско-литовское войско доставило победу самозванцу»[2]. Но победой самозванца воспользовалась не эта среда украинскчх людей, а вновь образовавшаяся реакционная партия боярк-князей. Последним выражением торжества реакционной партии было воцарение князя Василия Шуйского, вождя олигархов[3]. Таким образом, ход развертывавшихся событий, по мысли Платонова, представляется в таком виде. В недрах боярской оппозиции зрела мысль о самозванце и предприняты были первые шаги к ее конкретному осуществлению[4]. Приборный служилый люд да отчасти мелкопоместные дети боярские украинскcй полосы составляли ту среду, в которой самозванец получил первое признание на московской почве[5]. Высказывания Платонова о событиях так называемого «смутного времени» представляют собою последнее слово буржуазной историографии, посвященной этому вопросу.

---

[1] С. Ф. Платонов. Лекции по русской истории, 5-е изд., 217—218.
[2] С. Ф. Платонов. Очерки истории смуты. 3-е изд., 1910, стр. 281.
[3] Там же.
[4] Там же, 235.
[5] Там же, 247.

Событиями так называемого «смутного времени» занимались и польские авторы, например Гиршберг, Брюкнер, Даровский, Собесский и некоторые другие. По вполне понятным причинам они более заинтересованы зарубежной стороной «московской смуты» и очень часто, независимо от своей доброй воли, приводимым в своих исследованиях материалом подчеркивают активную роль в событиях «смутного времени» польско-литовской шляхты, польского правительства и католического духовенства. Для иллюстрации укажем на весьма солидное исследование А. Гиршберга «Димитрий самозванец» (Львов, 1898 г.). Основная мысль автора заключается в том, что главари антигодуновской партии, решив во что бы то ни стало избавиться от Годунова, наметили для этого создание самозванщины. Так как в Москве отыскать подходящее для этого лицо было трудно, то пришлось обратиться за помощью к литовским магнатам, также заинтересованным в этом. Лидером антигодуновской партии Гиршберг считает Богдана Бельского, а наиболее видными членами ее—Василия Щелкалова, Романовых, Гаврила Пушкина, Наума Плещеева и дьяка Афанасия Власьева. Среди литовских сторонников самозванца выделяются: Адам, Константин и Михаил Вишневецкие, Михаил Ратомский, Юрий Мнишек, Матвей Война и, особенно, литовский канцлер Лев Сапега, этот «важнейший участник всего предприятия». Автор вполне правильно отмечает значение Сапеги в московских событиях и аргументирует свои соображения. Приводит Гиршберг и весьма яркий материал, иллюстрирующий участие в московских событиях 1604—1606 гг. польско-литовского правительства, шляхты и иезуитов. Самого Лжедмитрия Гиршберг считает незаконным сыном короля Стефана Батория. После всего этого как-то совершенно неожиданно звучит утверждение автора, что Польша в появлении самозванца неповинна, ибо она все время относилась к «царевичу» и его друзьям недоверчиво и отрицательно.

Вопросам русско-польских отношений весьма много уделяет внимания А. Брюкнер в своей работе «Московская трагедия»[1]. В противоположность Гиршбергу названный автор считает Лжедмитрия I москвичем, а не польским выходцем и тем более не сыном Стефана Батория. Лжедмитрий (Григорий Отрепьев), по мнению Брюкнера, сам задался целью назваться царевичем Дмитрием и отнюдь не был орудием какой-либо боярской партии в Москве. Тем более он не был ставленником польско-литовского правительства и иезуитов. В Польше Лжедмитрий встретил лишь единичных сторонников (Вишневецкие, Сапега и др.). Вина иезуитов и Польши состояла только в том, что они не отказали Лжедмитрию в помощи и обманулись в своих расчетах. Роль иезуитов и Рима в деле Лжедмитрия I Брюкнер ограничивает лишь простым желанием их использовать сложившиеся условия для осуществления своих заветных планов. Шляхетская Литва

---

[1] A. Brückner. Tragedya moskiewska. Przegląd Polski, t. 137, zeszyt IV; III; t. 138, zeszyt IV.

также не оказала поддержки Лжедмитрию за исключением канцлера Льва Сапеги, но и его роль Брюкнер считает незначительною. Литовский канцлер лишь подтвердил пущенные у Вишневецкого рассказы о спасении Дмитрия. Все же другие догадки о связи Льва Сапеги с первым самозванцем Брюкнер считает необоснованными. Второстепенную роль играли и Вишневецкие, которые не создали самозванца, а только гостеприимно приняли его к себе.

Отмеченные тенденции польских авторов дореволюционного времени рассматривать русские события начала XVII в. как «домашние московские дела» находят продолжателей и в наши дни. Автор одной из статей, посвященных королю Стефану Баторию в сборнике, изданном Польской и Венгерской академиями наук (Academie polonaise des sciences et des lettres и Academie des sciences hongroise. Cracovie, 1935), И. Семенский продвижение Батория на русский Восток оценивает как «культурную миссию», ставившую своею целью распространение на этом Востоке европейской цивилизации. Как отчетливо напоминает это утверждение слова католических покровителей Лжедмитрия о русском народе, сидевшем в невежестве и сени смертной и нуждавшемся в озарении его истинами католической религии! Другой автор (Натансон Леский), рассказывая о стремлении польско-литовского правительства «возвратить» от «Москвы» к Литве Смоленск и северские земли в общий состав «русских» земель Польско-Литовского государства, выделяет соседнюю «Московию» за пределы «русских» земель. В данном случае мы имеем дело с традиционным, но и тенденциозным обоснованием отказа со стороны Польши признать московского великого князя государем «всея Руси».

I

Покровский находится под влиянием Платонова. Недаром у Платонова Покровский находит «некоторый налет уже почти марксизма, выражающийся в интересе к социальным отношениям, в некотором, хотя не весьма глубоком, понимании классовой борьбы» и т. п.[1]. У Платонова Покровский не только находил очень ценный материал, но и усвоил в основном его концепцию событий начала XVII в. Свои суждения об этих событиях Покровский высказывает во втором томе «Русской истории с древнейших времен», в «Русской истории в самом сжатом очерке» и в ряде статей в Энциклопедическом словаре бр. Гранат[2]. На вопрос, кто выдвинул претендента, теперь, говорит

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Приложение: Как и кем писана русская история до марксистов. Цитирую по изданию «Московского рабочего», М., 1931, стр. 271.

[2] Например «Смутное время» (XXXIX, 644—658); «Борис Годунов» (VI, 305—307); «Болотников» (VI, 242—243); «Лжедимитрий I» (XXVII, 98—100); «Лжедимитрий II» (XXVII, 100—101); «Мнишки» (XXIX, 186—188); «Минин» (XXIX, 6—7); «Пожарский» (XXXII, 443—444); «Михаил Федорович» (XXIX, 105—111).

Покровский, можно дать ответ довольно отчетливый и более полный, чем давали раньше. Истоки всего этого дела Покровский видит в боярском заговоре против Годунова. Продолжатель опричной политики Борис Годунов шел тем же путем опал и конфискаций, что и Иван Грозный. Естественно, что мечтою бояр было избавиться от такого царя. Не подлежит сомнению, по мысли Покровского, что имелась какая-то прикосновенность к заговору бояр против Годунова и Лжедмитрия.

Покровский вслед за Платоновым утверждает, что попытки исследователей отыскать следы в московском прошлом Лжедмитрия почти всегда и неизменно приводят ко двору бояр Романовых, особенно враждебных к Годуновым. Покровский указывает на то, что обвинение и ссылку бояр Романовых теперь уже никто не считает результатом простой клеветы. Никакого не может быть сомнения, говорит Покровский, что в основе всего этого романовского процесса лежал серьезный заговор, который многие историки готовы связать с появлением царевича Дмитрия [1]. Несомненно, что Борису Годунову удалось справиться с заговором и что Дмитрий попал за границу в виде его обломка. Лжедмитрий, оказавшись в Польше, встретил поддержку со стороны польского правительства, шляхты и иезуитов. Но почти одновременно Лжедмитрий получает помощь и с другой стороны: его отыскали за границей донские казаки. «Донцы,—говорит Покровский,—стали ядром инсуррекционного ополчения, обеспечившего успех царевичу» [2].

В статье «Лжедмитрий I» Покровский возражает против квалификации Лжедмитрия, как самозванца. Его выступление, говорит Покровский, было результатом сложного, тщательно обдуманного заговора, и Лжедмитрий заранее (быть может, и с детства) был подготовлен к тому, чтобы играть в этом заговоре определенную роль. С этою ролью он сжился и впоследствии чувствовал, поступал и держал себя, как настоящий сын Грозного. На исходную точку заговора указывает (документально подтверждаемое) известие о том, что ранее пострижения в монахи Лжедмитрий жил в семье Романовых, а в монастырь вступил 14 лет. Иначе говоря, в семье Романовых он воспитывался, а в монастырь попал тогда, когда проживание у Романовых стало небезопасным. По официальной московской версии бегство Лжедмитрия в Польшу последовало в 1602 г., но в действительности это могло быть ранее. Покровский находит поэтому возможным согласиться с теми известиями, которые относят появление Лжедмитрия в Польше уже к 1601 г. Рассказ Лжедмитрия о своем чудесном спасении Покровский считает московского происхождения. Оттуда же (из Москвы), по

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 26—27.

[2] «Смутное время». Энциклопед. сл. бр. Гранат, 7-е изд., XXXIX, 644—658.

его словам, «инспирировались» и многочисленные «свидетели», вереницей потянувшиеся, как только Лжедмитрий открылся.

Но что особенно важно отметить, так это то, что, по словам Покровского, «если заговор деятельно двигали из Москвы, то совершенно к нему непричастными оказываются польские паны, которых иногда считали чуть ли не главными его виновниками». Покровский утверждает, что «почти вся польско-литовская знать, с обоими канцлерами во главе, относилась к Лжедмитрию крайне скептически и отнюдь не советовали королю его поддерживать». Исключением являлся кружок Мнишек, лично заинтересованный в успехе московского царевича, ставшего (с января 1604 г.) женихом Марины Мнишек. Но и Мнишек, говорит Покровский, не играли решающей роли в успехе Лжедмитрия.

Решающее значение, по мысли Покровского, имело римско-католическое духовенство, всесильное при дворе Сигизмунда III. Расчеты на унию московской церкви с Римом побуждали это духовенство принять Лжедмитрия под свою опеку и представить его королю. Но помощь короля не пошла дальше денежной поддержки. Военная экспедиция, организованная Юрием Мнишек, вылилась в ничтожную форму. Ему удалось собрать для московского претендента всего лишь 2 тысячи человек войска.

Таким образом, своими успехами Лжедмитрий обязан исключительно восстанию в его пользу и против Годунова русского населения южных областей Московского государства.

Взяв под сомнение поддержку Лжедмитрия со стороны польско-литовской шляхты в первые моменты появления его в Польше, Покровский далее отмечает, что эта шляхта взяла под свою защиту Лжедмитрия только тогда, когда он стал реальной силой, когда за ним была уже масса.

Покровский так рисует этот первоначальный период зарубежной истории Лжедмитрия. Первыми прозелитами Лжедмитрия оказывались «мужики, посадские киевляне», т. е. посадская киевская беднота и прибывшие из Московского государства эмигранты: изгнанники, бежавшие от Годунова и его порядков, родственники и слуги казненных Годуновым бояр и др.

Таким образом, Киев скоро стал центром, куда стекалась вся нелегальная Русь. Около Лжедмитрия оказываются агенты из Запорожья, к нему приходит депутация от донских казаков. Словом, Лжедмитрий становится во главе некоторой партии. И только уже после этого им начинают интересоваться польское правительство и шляхта. Но помощь, полученную Лжедмитрием от польского правительства и шляхты, Покровский не считает существенною. Только порубежные служилые и казачество «спасли все дело». В подтверждение этого Покровский ссылается на сдачу без боя в течение первых же недель похода целого ряда украинских крепостей: Чернигова, Путивля, Рыльска, Севска, Курска, Белгорода, Царева-Бори-

сова. Особенно же решающим событием была блестящая защита Кром донским атаманом Корелой. После этого находившееся здесь московское войско решило, что гораздо выгоднее быть на службе у Лжедмитрия, чем у Бориса Годунова. Покровский подчеркивает, что если где Лжедмитрий и встречал сопротивление, то только там, где против него выступали регулярные войска, стрелецкие полки да иноземные наемники [1].

Отсюда видно, что Покровский в деле первого Лжедмитрия на первом плане видит русских людей, которые помогли бежавшему в Польшу «обломку» романовского заговора достигнуть московского престола. Разные силы, говорит он, выступали в этом деле, но «самой главной силой было, конечно, казачество и та масса угнетенных и разоренных людей, которые с нетерпением ожидали прихода казаков в Москву.

Если бы не было этой силы, ничего не вышло бы. Польским помещикам не пришло бы в голову помогать Дмитрию. Они просто не обратили бы на него никакого внимания. Если они стали его поддерживать, то только потому, что он сам достаточно прочно стоял на ногах и представлял собою значительную силу, которую и помещики могли использовать... [2]

Покровский резко нападает на тех историков так называемой «смуты», которые считали Лжедмитрия орудием польских интервентов. Он прямо заявляет, что «буржуазные историки», которым хотелось скрыть, что называемое ими «смутным» время было восстанием народной массы против ее угнетателей, хотелось дать искусственное объяснение для позднейших историков, стали рассказывать, будто новый царь Лжедмитрий, или Названный Дмитрий, как его называли, выдвигался именно польскими помещиками и католической церковью. Этим они хотели унизить его, уменьшить его значение, как будто это был какой-то иностранец, которого иностранцы привели в Москву» [3].

Основное положение Покровского таково: Лжедмитрий—орудие боярских интриг против Годунова—после разгрома Романовых попадает в Польшу, где в Киеве подхватывается низами, а затем казаками. Когда он стал реальною силой, страшной для правительства Годунова, тогда им заинтересовались польское правительство и шляхта. Но существенной помощи от них Лжедмитрий не получил. Своим успехом он обязан исключительно казачеству и московским служилым людям порубежных окраин и массам угнетенных и разоренных русских людей, которые ждали прихода казаков к Москве.

Покровский прав в том отношении, что Лжедмитрия следует считать русским и, возможно, связанным с особенно враждебным Году-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 29.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 67.

[3] Там же, 66—67.

нову романовским кружком, разгромленным Годуновым осенью 1600 г., т. е. приблизительно тогда, когда за рубежом, в Польше, у Вишневецких оказался беглый юноша. Но, по Покровскому, выходит, что самозванец в Польше вращался главным образом среди порубежных социальных низов, запорожских казаков и т. д. К Адаму Вишневецкому Лжедмитрий попал уже после того, когда он сделался вождем значительной по количеству народной массы. Без этого «польским помещикам не пришло бы в голову помогать Дмитрию. Они бы не заметили его».

Наши источники, как русские, так и польские, рисуют нам дело по-иному. Современник и очевидец описываемых событий, весьма осведомленный в русских делах француз Маржерет передает, что весть о московском царевиче Дмитрии, якобы чудесно спасшемся от убийства в Угличе, разнеслась по Московскому государству впервые в 1600 г.[1]. Это вполне правдоподобно. Впервые Лжедмитрий объявился царевичем у князя Адама Вишневецкого. В этом сходятся все источники и русские и польские. Сам Юрий Мнишек на допросе у московских бояр после ликвидации самозванца 17 мая 1606 г. говорил, что Лжедмитрий как царевич «открылся» именно у князей Вишневецких, а до того времени, будучи в Киеве у киевского воеводы, «не хотел сказаться»[2]. Но Петрей при этом добавляет, что самозванец довольно долго служил при дворе князя Адама Вишневецкого. Проживая в услужении у порубежного пана, Лжедмитрий учился владеть конем и мечем, скакать, бить и рубить, принимал участие в военных играх и ждал случая объясниться со своим господином[3]. Если принять во внимание, что самозванец объявился Дмитрием у Вишневецкого в 1603 г. (по Маскевичу в 1602 г.), то появление его при дворе этого магната следует относить по крайней мере к 1600 г. Адам Вишневецкий доставил новоявленного московского царевича в Вишневец к своему брату Константину Вишневецкому, женатому на младшей дочери сендомирского воеводы пана Юрия Мнишек—Урсуле Мнишек. Константин Вишневецкий немедленно направил своего высокопоставленного гостя к своему тестю пану Юрию Мнишек[4].

Совершенно неосновательным является утверждение Покровского, что польско-литовская знать с обоими канцлерами во главе относилась к Лжедмитрию скептически, за исключением кружка Мнишек. Покровский забывает о том, что литовский канцлер Лев Сапега был лицом официальным и, по вполне понятным причинам, не мог действовать напролом, как действовал Юрий Мнишек. Но что в деле первого са-

---

[1] Сказания современников о Димитрии Самозванце, III, 77—78.
[2] Там же, II, прим., 177 и сл.
[3] Там же, I, прим., 239.
[4] Там же, II, прим., 177 и сл. См. об этом интересную работу Waclaw Sobieski. Pierwszy protector Samozwanca. Szkice historyczne. Warszawa, 1904, p. 49—103, то же в журнале «Tygodnik illustrowany», 1903, p. 27—30.

мозванца литовский канцлер Лев Сапега держал себя далеко не безразлично, в этом нет никаких оснований сомневаться. Нам хорошо известно, что в Польско-Литовском государстве еще со времен Грозного скопилось много эмигрантов. Весь этот беглый элемент, озлобленный против московского правительства, находил особенно благосклонное отношение к себе со стороны литовского канцлера Льва Сапеги. По указанию «Извета» старца Варлаама, Лжедмитрия признали подлинным царевичем между прочим и «Хрыпуновых пять братов»[1]. Из другого источника мы узнаем, что Иван, Кирилл, Данила, Прокоп и Иван (Михайлович, младший) Хрипуновы-Дубенские, спасаясь от «окрутенства» Бориса Годунова, бежали в Литву «за причиною и желаньем некоторых милостей панов-радных, а особливо ясновельможного Льва Сапеги, канцлера Великого князества литовского». В старостве и во владениях Сапеги Хрипуновы получили 7 сел с 123 волоками земли[2]. В своем письме к кардиналу Бернарду Мацейовскому от 12 февраля 1604 г. канцлер Лев Сапега, сообщая о названных братьях Хрипуновых, о которых он намерен ходатайствовать перед королем, заявляет, что «Господь бог может устроить так, что услуги их пригодятся королю вследствие тех обстоятельств, которые теперь посылает бог и которые жаль было бы недооценить»[3].

Таким образом, в особом свете выступают перед нами братья-эмигранты Хрипуновы. Они оказали какую-то существенную услугу Польско-Литовскому государству, за что Лев Сапега считает необходимым их наградить. Происходят какие-то события, которые, по мысли литовского канцлера, не следует недооценивать (lekceważyć). Действительно, уже 27 марта 1604 г. специальная королевская грамота предоставляет Хрипуновым на льготных началах ряд сел[4]. Можно, следовательно, заключить, что услуга, оказанная братьями Хрипуновыми, была весьма существенною и высоко ценилась не только польско-литовским правительством, но и самим самозванцем[5].

Подлинность Лжедмитрия свидетельствовал еще человек Истомы Михнева, некто Петрушка, или иначе Юрий Петровский. Вместе со своим господином Истомою Михневым он был с посольством М. Гл. Салтыкова в 1601 г. в Вильне, затем он по каким-то причинам «заворовал» и сбежал тогда же в Вильне в услужение к канцлеру Льву Сапеге[6]. Едва ли можно считать случайностью, что среди лиц, при-

---

[1] Памятники древней русской письменности, относящиеся к смутному времени. Русская историческая библиотека, изд. Археографической комиссиею, XIII, 23—24.

[2] Акты Западной России, IV, № 160.

[3] Archiwum Domu Sapiehów. Lwów, 1892, I, 403.

[4] Акты Западной России, IV, № 160.

[5] Сб. Русск. истор. общества, т. 137, стр. 218, 220.

[6] См. Извет старца Варлаама. Памятники древней русской письменности. Цит. соч., стр. 24; ср. Сборник Русск. истор. общ., т. 137, стр. 264.

знавших в таинственном юноше подлинного царевича Дмитрия, несколько человек были клиентами такого активного участника польской интервенции, каким был литовский канцлер. Хрипуновы, как мы знаем, были в курсе политических планов своего высокого патрона [1]. Папский нунций Рангони в своем письме от 17 января 1604 г. сообщил в Рим, что для засвидетельствования подлинности Дмитрия в дом князя Константина Вишневецкого «при посредничестве литовского канцлера» был отправлен «инфлянчик», служивший Дмитрию в Угличе. Несколько позднее—13 марта 1604 г.—этот же нунций сообщал, что литовский канцлер предлагал доставить Дмитрию «деньги и людей для его дела» [2]. Уже значительно позднее, когда надежды Польши на самозванца рухнули, когда нужно было всеми способами реабилитировать некоторые имена, восторженный почитатель литовского канцлера, иезуит Ян Рывоцкий, восхваляет Льва Сапегу за то, что он, якобы, всегда отрицательно относился к Лжедмитрию, препятствовал выполнению его замыслов и советовал королю и шляхте не помогать ему [3]. Показания бывшего угличского слуги Дмитрия признает справедливым и другое официальное лицо Польско-Литовского государства—коронный подканцлер Петр Тылицкий [4]. Великий писарь литовский Матвей Война находил возможным, по словам нунция Рангони, заверять о сходстве Лжедмитрия с умершим великим князем Московским [5].

Вопреки утверждению Покровского, мы решительно заявляем, что польское правительство и шляхта не только зорко и внимательно следили за ходом развивавшейся самозванщины, но оказывались и главными виновниками ее. Подтвердим это фактическим материалом. Князья Вишневецкие, расширяя свои угодья к востоку, к концу XVI в. расположились на обоих берегах Днепра и вплотную подошли к самым границам Московского государства. Очень плохо разбираясь в понятиях «свое» и «чужое» и решительно не признавая никаких рубежей, Вишневецкие энергично заселяли оба берега реки Сулы по направлению к Снятину и Прилукам, захватив в конце концов «эту искони вечную отчину» московских государей [6]. Последнее обстоятельство вызвало энергичный отпор со стороны пограничной московской администрации. При помощи военной силы Снятин и Прилуки были отняты у Вишневецких, затаивших с этих пор чувство сильной злобы

---

[1] Сб. Русск. истор. общ., т. 137, стр. 361; Акты исторические, II, № 300.

[2] «Русская старина», 1899, январь, 199; «Listy Stanislawa Żołkiewskiego». Kraków, 1863, p. 128.

[3] П. Пирлинг. Россия и папский престол. «Русская старина», 1901, декабрь, 614.

[4] «Русская старина», 1899, февраль, 445.

[5] Там же, 449.

[6] Подробнее об этом см. в обстоятельной работе Ф. Д. Николайчика. Начало и рост полтавских владений князей Вишневецких по данным литовской метрики. М., 1901.

к могущественному московскому соседу [1]. Не добрая воля, а правительственные распоряжения заставляли Вишневецких держаться в пределах международного приличия. Как московское, так и польско-литовское правительства старались специальными грамотами прекращать порубежные недоразумения и мирными средствами улаживать пограничные конфликты [2]. Зная о захватнических тенденциях Вишневецких и настроения их по отношению к Московскому государству, не приходится удивляться тому, что именно Брагин и Вишневец стали истоками самозванческой авантюры.

Не мог отнестись безразлично к карьере самозванца и литовский канцлер Сапега. В самом начале XVII в. он был одним из крупнейших землевладельцев в Литовском княжестве. Земли его были разбросаны в разных местах Жмуди, Литвы и Белоруссии. Одни из этих земель являлись вотчинными землями самого канцлера, другие—наследством его жены, третьи составлялись из королевских пожалований, а четвертые были приобретены у разных лиц. Ловкий и искусный политик, долгое время находившийся на службе при королевском дворе, занимавший различные государственные должности включительно до звания литовского канцлера, Лев Сапега достиг высокого положения в государстве. Но популярный как канцлер Лев Сапега был ловким дельцом. Он не пропускал ни одного случая, чтобы не обратиться к королю или даже к королеве с просьбой о том или другом пожаловании. Неудивительно, что Сапега вел значительную хлебную торговлю с заграницей [3]. За границу сплавлял он лес во всевозможных видах. Направлялись за границу (Кролевец, Гданск и Рига) из владений Льва Сапеги и продукты, переработанные из древесного материала: поташ, смола и деготь. В Кролевце, Гданске и Риге находились специальные приказчики Льва Сапеги, которые вели там крупные торговые операции своего патрона. В конце XVI и начале XVII в. в вотчинах Сапеги можно было наблюдать особенный расцвет хозяйственного предпринимательства литовского канцлера [4]. Но в это время Лев Сапега остро чувствовал потребность в новых землях, новых лесах, новых реках и т. д. Захват верховья Днепра, богатых лесных смоленских масси-

---

[1] П. Пирлинг. Названный Димитрий и Адам Вишневецкий. «Русская старина», 1904, январь, 123—128; Валишевский. Смутное время, перевод с франц. под редакцией Е. Н. Щепкиной, СПб., 1911, стр. 95.

[2] См., например, окружную королевскую грамоту 17 апреля 1600 г. Акты Западной России, IV, № 151.

[3] Scriptores Rerum Polonicarum, VIII. Archiwum Domu Radziwiłłów. Письмо Льва Сапеги к Хр. Радзивиллу из Вильны 26 августа 1601 г.; ср. письмо его же к Станиславу Костке, прусскому подскарбию 16 апреля 1601 г. Kaz. Tyszkowski. Poselstwo Lwa Sapiehy w Moskwie 1600, we Lwowie, p. 81—82.

[4] St. Inglot. Sprawy gospodarcze Lwa Sapiehy 1588—1607. Studja z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prof. Dr. Fr. Bujakowi, Lwów 1931, p. 165—226.

вов, выход через Касплю к Западной Двине—это главный пункт мечтаний литовского канцлера. Особенно удачно для канцлера Льва Сапеги разрешался вопрос о Смоленске и Смоленском уезде, а также о северских городах и уездах в связи с предприятием Лжедмитрия. Упустить такой момент литовский канцлер безусловно не мог. Но то, что мы знаем о канцлере Льве Сапеге, можно с успехом отнести и к другим представителям белорусской и украинской шляхты: А. И. Гонсевскому, Яну Петру Сапеге, Ружинскому и многим другим.

Итак, объявившийся царевичем во владениях Вишневецких и получивший сильную поддержку со стороны литовского канцлера Сапеги самозванец оказывается в замке пана Юрия Мнишек. Пан Юрий Мнишек, сендомирский воевода, львовский староста и управляющий королевскими землями в Самборе, был весьма видным феодалом среди польской и украинской шляхты. Нуждаясь в деньгах, он не пренебрегал для приобретения денег никакими средствами. Так, например, вместе со своим братом Николаем Юрий Мнишек поставлял королю Сигизмунду-Августу любовниц. За эти услуги он пользовался особенной близостью к королю и щедрыми наградами. После смерти короля (7 июля 1572 г.) возбуждено было дело о похищении Мнишками королевской казны. Мнишки не пытались, да и не могли оправдаться от возведенных на них обвинений. Только при Сигизмунде III Мнишкам снова удалось восстановить утерянное доверие, получить Сендомирское воеводство и управление королевскими землями (имениями) в Самборе. Но приобретенное богатство быстро было прожито, и ко времени встречи с Лжедмитрием пан Юрий Мнишек переживал тяжелый денежный кризис. Таким образом, весьма своевременно оказался у пана Юрия Мнишек «московский царевич». У пана Юрия Мнишек была одна незамужняя дочь—старшая Марина. Стать тестем московского царя казалось сендомирскому воеводе делом весьма выгодным. Честолюбивая Марина замечтала о престоле царей московских. Но знакомство с влиятельным паном было выгодно и для Лжедмитрия, так как создавало ему популярность среди польской шляхты. У пана Юрия Мнишек были очень близкие связи с высшими представителями римско-католического духовенства. Одна из сестер Юрия была замужем за краковским воеводою Николаем Фирлеем, кардинал Мацейовский был двоюродным братом пана Юрия. Родственниками Мнишков были такие фамилии, как Тарновские, Олесницкие, Стадницкие, Гербурты и Каменецкие. Вхож был пан Юрий Мнишек и в королевский дворец. Отсюда понятно, что как Лжедмитрий, так и пан Юрий Мнишек были взаимно заинтересованы друг в друге.

В январе 1604 г. Лжедмитрий стал женихом Марины, 13 марта на торжественном вечере пан Юрий Мнишек представил Лжедмитрия как московского царевича и жениха своей дочери высшему кругу польской шляхты и высшему польскому католическому духовенству. Несколько позднее, 15 марта 1604 г., при посредстве папского нунция Рангони самозванец был принят королем. Аудиенция окончилась торже-

ственным признанием со стороны короля самозванца московским царевичем. Будучи актом политической бестактности и даже враждебности к московскому соседу со стороны главы Польско-Литовского государства, эта аудиенция сильно укрепила позиции Лжедмитрия в Польше и дала юридическое обоснование польской шляхте итти в отряды Лжедмитрия для борьбы с московским царем Борисом Годуновым.

Кроме «возвращения» Смоленской и Северской земель, кроме перспектив на благоприятное разрешение балтийского вопроса, у Сигизмунда были и личные мотивы поддерживать самозванца. Лишившись наследственного шведского престола, отнятого дядей Карлом, Сигизмунд не теряет надежды возвратить себе этот потерянный престол. Само собою понятно, что для Сигизмунда очень заманчивою была перспектива иметь на московском престоле своего ставленника, особенно после того как тот обещал королю помогать в отвоевании шведского королевства из-под власти «мятежника» (suo rebelle) Карла [1]. Династические интересы Сигизмунда в его московской политике играли чрезвычайно важную роль.

Одним лишь признанием самозванца за подлинного Дмитрия король Сигизмунд не ограничивался. Из письма Бориса Годунова к императору Рудольфу (ноябрь 1604 г.), а также из письма его к королю Сигизмунду (сентябрь 1604 г.) мы узнаем, что Сигизмунд убеждал крымского хана направить войско на территорию Московского государства в помощь Лжедмитрию [2].

Но как ни казалась Сигизмунду заманчивою мысль иметь на московском престоле свою креатуру или, по крайней мере, использовать имеющегося в Польше претендента в качестве сильного орудия против московского правительства, однако, для этого прежде всего нужно было заручиться согласием шляхты. Посему в феврале 1604 г. Сигизмунд обратился к сенаторам с просьбою откровенно высказать свой взгляд на пользу или вред (commodo et incommodo) той поддержки, которую Польско-Литовское государство могло бы оказать находящемуся в его пределах искателю московского престола. Любопытны соображения по этому поводу самого Сигизмунда, которые мы воспроизводим по письму Сигизмунда к брестскому воеводе Христофору Зеновичу (из Кракова 18 февраля). Король желает узнать мнение воеводы по данному вопросу. На основании сообщения Адама Вишневецкого, король передает рассказ о чудесном спасении Дмитрия в Угличе. Король приказал доставить загадочного Дмитрия к нему, но он до сих пор не явился на этот зов. Между тем из-за границы доходят слухи о том, что в Московском государстве большая тревога. Заслуживающие доверия лица передают, что в Москве уже ходят слухи о таинственном Дмитрии, и народ стал волноваться. Видавшие

[1] Повествование... Береццо Барецци. Чтения в Общ. ист. и древ. III, № 5, стр. 7.

[2] Сборник материалов по русской истории начала XVII в., 62—68; ср. Сб. Русск. истор. общ., т. 137, стр. 474—475.

Дмитрия в детстве узнают в московском претенденте подлинного Дмитрия, осторожно и как бы вскользь добавляет король. Некоторые из панов-радных указывают королю, что именно теперь представляется удобный случай (occasia wielka) к благу, славе и расширению государства, поскольку возведенный силами Польши на московский престол Дмитрий будет благодарен Польше за эту услугу. Политические результаты от этого для Польши будут неисчислимы. Удачно разрешены будут шведский и ливонский вопросы, увеличится мощь (potężność) Польши и против всякого другого врага. Но, с другой стороны, идет вопрос о нарушении мирных отношений с Московским государством, о лишних тягостях, которые могут лечь на государство. Одним словом в этом деле много за и против. Потому король просит воеводу сообщить свои соображения по затронутому вопросу, тщательно все взвесив [1].

24 марта 1604 г. Сигизмунд обращается с аналогичным и очень откровенным письмом к престарелому канцлеру коронному Замойскому. Помощь, оказанная Польшею Дмитрию, может быть весьма выгодною для поляков. Как польский ставленник, Дмитрий, став московским государем, будет чувствовать себя обязанным Польше. Тогда и Турция станет опасаться беспокоить польские границы. Соединенными усилиями можно будет усмирить Крым, который пользуется постоянными раздорами русских с поляками, чтобы тех и других покорить себе. Тогда возможно будет и Ливонию удержать и Швецию сделать уступчивою. Союз Московского государства и Польши посодействует развитию торговли Польши с Востоком не только на территории Московского государства, но и с Грузией и Персией через московскую территорию. Наконец, помощь Дмитрию может отвлечь из Польши и Литвы ряд всякого рода удальцов, промышляющих бесчинствами и беспорядками. Не надеясь на поддержку такого сложного дела со стороны сейма в виду возможных разногласий и борьбы в нем отдельных личностей, король предлагает разрешить этот вопрос без сейма, при посредстве гнезненского архиепископа (Тарновского) [2].

На королевский запрос вскоре же от разных лиц были получены ответы. Мы располагаем несколькими такими письмами, из которых узнаем, что думала польская знать по московскому вопросу. Канцлер Замойский в своем ответном письме (4 апреля 1604 г.) высказывался против участия Польши в сомнительном предприятии московского царевича. Без воли сейма не следовало бы вмешивать Польско-Литовское государство в это рискованное дело [3]. Два лица прямо и реши-

---

[1] Рукоп. отд. Гос. публ. библ., рукоп. 63, т. II, л. 22; на польском языке издано в «Listy Stanisława Żołkiewskiego», 127—129; русский перевод в «Русской старине», 1878, стр. 135—136.

[2] Naruszewicz. Historya Jana Karola Chodkiewicza. Warszawa. 1805 I, 236—237; Костомаров. Смутное время, I, 109—110.

[3] Там же.

тельно рекомендуют королю использовать так удачно складывающиеся для Польско-Литовского государства обстоятельства. Епископ перемышльский советует (в письме 4 марта 1604 г.) использовать «князька» возможно выгоднее для Польши. Но необходимо проделать это дело потише, чтобы все приготовления сошли под предлогом ливонских нужд. Не следует, однако, официально признавать Дмитрия, чтобы торопливостью не испортить дела. Необходимо разузнать о симпатиях московского народа к таинственному юноше. Хорошо было бы, чтобы он вошел в сношения с собравшимися возле него московскими людьми. Существующие официально мирные отношения между Польшей и Москвою не должны смущать польское правительство. Ведь и Борис Годунов находил возможным держать у себя бежавшего из Польши Эрика и посылать послов к врагу польского короля Карлу. Наконец, сейм может нарушить и перемирие во внимание к обидам, испытанным от Годунова бежавшим царевичем [1]. Советует оказать помощь Дмитрию и неизвестный по имени корреспондент из Галича. Он указывает, что в данном случае полезной для Польши будет Северская земля, а расходы на войну будут разрешены на сейме [2].

Три письма решительно осуждают вмешательство Польши в дело московского беглеца по следующим соображениям: 1) собранная вольница может вместо Москвы произвести опустошения в самой Польше [3]; 2) сама личность царевича «может внушать сомнение относительно ее подлинности». Поэтому один из корреспондентов (Николай Скуновский) из Братяна рекомендует королю из чувства осторожности вовсе не допускать к себе Дмитрия [4]. Другие корреспонденты прямо признают данное дело чрезвычайно рискованным, поскольку недостаточно выяснена сама личность царевича, а вмешательство Польши в его дело неминуемо вызовет войну с Москвой [5]. Против активной помощи Дмитрию решительно возражает воевода Михаил Дзялынский—в виду неподготовленности Польши к войне [6]. Таким образом, хотя от активного вмешательства Польско-Литовского государства в дело московского царевича для польских политиков рисовались радужные перспективы, но некоторая неуверенность в успехе этого предприятия, боязнь войны с Годуновым, опасения и всяких других осложнений несколько сдерживали их планы [7].

Любопытно выяснить, какое впечатление могло создаться у Сигизмунда от всех этих писем. Расходилось ли поведение Сигизмунда в отношении Лжедмитрия с настроениями верхушки польско-литовского общества? Отнюдь нет. Политика осторожности сквозит во всем

---

[1] «Русская старина», 1908, май—декабрь, 447—450.
[2] Там же, 716—717.
[3] Там же, 718—719.
[4] Там же, 712—714.
[5] Там же, 713—715.
[6] Там же, 715—716.
[7] Там же, 444—446.

поведении Сигизмунда. Признавая за самозванцем право на московский престол,—иначе ведь нельзя оценивать королевскую аудиенцию Лжедмитрию,—король не мог дать ему официально ни войска, ни денег, так как это неминуемо должно было бы вызвать войну между обоими государствами. Сигизмунд действует негласно, неофициально, но последовательно. Такое впечатление получилось не только у русских людей, но также у иностранцев. Плессен в своем письме 3 сентября 1605 г. сообщал своему правительству следующее: «Король польский втайне помогал Дмитрию, отчасти, чтобы угодить папе, отчасти ради своей выгоды и ближайшим образом для того, чтобы получить возможность когда-либо возвратить себе свое королевство шведское, в которое можно сделать вторжение со стороны Московского государства и притом весьма легко, не переходя рек, в особенности зимою [1]. Сигизмунд не отправил с Лжедмитрием своего войска по вполне понятным причинам, но разрешил ему набирать под свои знамена волонтеров. Это разрешение было широко использовано как самим Лжедмитрием, так и его зарубежными покровителями. Сколько было у Лжедмитрия польского войска—с точностью указать трудно, так как наши источники приводят не одинаковые цифровые данные. Автор «Дневника Марины» польский отряд Лжедмитрия исчисляет в несколько тысяч человек [2]. Маскевич считает количество войска, приведшего Лжедмитрия к Москве, «весьма малочисленным», он насчитал одну роту всадников в 700 человек и 5 хоругвей. Точно определить количество людей в хоругви не удается, так как это количество колеблется от 100 до 500 человек. Вместе с шляхетскими и военными людьми в отряде Лжедмитрия, по словам Маскевича, находились и запорожские казаки. Сначала у Лжедмитрия было 2 тысячи казаков, а затем пришло еще 10 тыс. запорожцев [3]. Паэрле в отряде Лжедмитрия насчитывает 1 тысячу всадников и 500 пехотинцев [4]. Кобержицкий отряд Лжедмитрия определял в 700 всадников и столько же пехотинцев [5]. Хроника Мартина Бера утверждает, что Дмитрий, чествуемый, как царевич, получил от польских вельмож значительное вспоможение и, соединясь с казаками, имел до 8 тыс. войска [6]. По другим данным, войска при Лжедмитрии было до 20 тыс. «konno, zbrojno i strojno». При нем выступал сендомирский воевода, князь Вишневецкий, князь Ружинский, князь Чарторыйский, пан Струсь, пан Ратомский и много добровольцев, увеличивающихся в числе ежедневно [7]. По другим известиям, у Лжедмитрия было 580 гусар, 120 казаков и 500 пехотинцев [8].

---

[1] Материалы по смутному времени: «Старина и новизна», XIV, 21.
[2] Сказания современников, IV, 4.
[3] Там же, V, 3.
[4] Там же, II, 5.
[5] Kobierzycki. Historia Vladislai, 1655, p. 60.
[6] Сказания современников, I, 45.
[7] Archiwum Domu Radziwiłłów. Op. cit., 232—233.
[8] Mars moskiewski krwawy. Krakow, 1605.

Как бы то ни было, но Польша дала Лжедмитрию ядро его армии. Только при наличии этого ядра Лжедмитрий отважился перейти русскую границу. Таким образом, отрицать военную помощь Польши Лжедмитрию нет никаких оснований. Самозванец получил от короля и денежную помощь. Правда, эти деньги переданы ему от пана Юрия Мнишек, который, будучи старостой королевской земли в Самборе, должен был передать королю 4 тысячи польских злотых— арендную плату за королевские земли. По поручению (za odkazaniem) короля, эти деньги были вручены Лжедмитрию на его «личные нужды»[1].

Любопытным является отношение к «московскому царику» польского сейма 20 января 1605 г. Но сейму пришлось обсуждать вопрос уже post factum. Сеймовые депутаты узнали о том, что «царевич» перешел московскую границу, что ему уже сдался Чернигов и что осажден Новгород Северский. Ожидаемое прибытие московского посла заставило депутатов более трезво и более осторожно отнестись к событиям. Познанский каштеллян Ян Остророг даже советовал обсуждение дела московского царика вообще отложить на будущее время. Вопрос о реальной и открытой помощи Лжедмитрию, видимо, не ставился на повестку сеймовых заседаний. Но среди некоторых групп польской шляхты этот вопрос поднимался. Король еще 23 марта 1604 г. в письме к коронному канцлеру Замойскому высказывал предложение, что делом «царевича» должны будут руководить или он, Замойский, или же коронный гетман Станислав Жолкевский. Престарелый канцлер решительно возражал против вмешательства Польши в московские дела. Он говорил, что Московское государство и теперь может внушать Польше опасения, правда, не в такой степени, как это было до Стефана Батория. Поэтому Замойский советовал не давать московскому правительству никакого повода подозревать Польшу в намерении нарушить мирный договор. Между тем, говорил Замойский, соседние государства знают, что *Дмитрий ведет в Москву наш народ*. Наконец, канцлер указывал и на сомнительность самой личности «Дмитрия» и добавлял, что если бы поляки пожелали посадить на московский престол вместо Бориса более достойного (чем Годунов) кандидата, то существует для этого древний род князей Шуйских[2].

Краковский епископ, кардинал Мацейовский, родственник пана Юрия Мнишек и один из покровителей самозванца во время проживания его при дворе Мнишек, по делу Лжедмитрия на сейме 1605 г. мог ограничиться только общими и неопределенными фразами: «нужно надеяться на дальнейший успех Дмитрия и ждать вскоре новостей

---

[1] Собственноручная расписка Лжедмитрия в получении от Юрия Мнишка 4 тыс. польских злотых хранится в архиве Московского государственного исторического музея, д. 402.

[2] Русск. истор. библ., I, 1—39; ср. Józef Stujski. Dzieje Polski, III, 168.

о нем». Выжидательной политики советовал держаться по вопросу о «царевиче» и гетман Жолкевский. Настроение сейма теперь определялось событиями за рубежом. Очень досадно, что дневник сейма 1605 г. чересчур кратко говорит о выступлении на сейме литовского канцлера Льва Сапеги, который, по словам автора этого сеймового дневника, о московских делах «говорил много» [1]. Только пятая часть всех членов сейма (восемь из сорока) высказалась по делу Лжедмитрия в отрицательном смысле. Однако высказывавшиеся выражали только опасение возможных осложнений русско-польских отношений, но никто из членов сейма не выступал с осуждением политики Сигизмунда, поддерживавшего самозванца. К сожалению, мы не знаем мнения остальных 32 членов сейма, но, конечно, мы не ошибемся, если станем утверждать, что они не расходились во взглядах с правящими кругами Польско-Литовского государства. Несколько позднее, на сейме 1611 г., выставленный как главный виновник вовлечения Польши в дела самозванца пан Юрий Мнишек в свое оправдание говорил: «Я не тайно делал это дело. Знали это вы, король, и разрешили. Знал и сенат. Только покойный гетман выступал против. Мы с паном князем Краковским (Янушем Острожским) ездили к нему. Хотя ему это дело не было по душе, но и он во всяком случае его допустил, не запрещал и даже благословил» [2]. Следует принять во внимание, что на сейме 1611 г. могли быть и участники сейма 1605 г., поэтому трудно допустить, чтобы Юрий Мнишек говорил совершенно невероятные вещи.

В конечном итоге сейм решил, чтобы король «всеми силами» и «со всем усердием» принимал меры к утишению волнений, произведенных появлением московского царевича. Нарушившие государственные договоры должны рассматриваться как государственные изменники и должны понести соответствующее наказание. Но эти пункты в числе других не были приняты королем, поэтому сейм не пришел к определенным результатам. Не имела успеха и отправка на сейм 1605 г. московского посла Постника Огарева. На его обвинения князя Вишневецкого в содействии самозванцу польско-литовские дипломаты голословно заявили, что вторжение самозванца на русскую территорию произошло без ведома Речи Посполитой, а так как теперь Лжедмитрий находится уже на московской территории, то польские паны не могут отвечать и за его дальнейшее продвижение [3].

Таким образом, правительство Годунова имело все основания обвинять Сигизмунда и польскую шляхту в том, что они поддержали самозванца, несмотря на очевидность его самозванчества и неодно-

---

[1] П. Н. Жукович. Сеймовая борьба западнорусского дворянства с унией (до 1609 г.), СПб., 1901, стр. 444—445.
[2] A. Hirschberg. Polska a Moskwa. We Lwówie, 1901, p. 59—60.
[3] Русск. истор. библ., I, 35, 38—37.

кратные протесты московского правительства через своих дипломатических представителей [1].

II

Допустив ошибки в оценке сил, выдвинувших первого самозванца, и игнорировав решающую роль польского правительства и шляхты в этом деле, Покровский, естественно, неверно трактует и политику Лжедмитрия, проводимую им в то время, когда, 20 июня 1605 г., при помощи своих зарубежных покровителей, он стал московским царем. Если Лжедмитрий, по словам Покровского, был поддержан казацкими низами и южными военнослужилыми людьми, то, вполне последовательно рассуждая, Покровский приходит к выводу, что «и первый и второй Дмитрии были одинаково и казацкими и дворянскими царями» [2]. Уточняя свою мысль, Покровский, утверждает, что Лжедмитрий поддерживал опричные порядки. В результате этого боярство оказалось в приниженном состоянии, а помещики, приведшие Лжедмитрия к Москве, широко использовали свою победу. Раздача земель и денежного жалования приняла характер какой-то оргии. Бучинский утверждает, что за первые 6 месяцев своего царствования Лжедмитрий роздал до 7,5 миллионов тогдашних рублей. Из этих денег часть пошла в карманы казаков и польских жолнеров, но значительно большая часть разошлась в виде жалованья русским служилым людям. Оклады увеличивались вдвое, роздано было все, что можно было раздать. Покровский обращает внимание на то, что дворянская политика Лжедмитрия сразу же вооружила против него боярство. Иллюстрацией этого может служить заговор против нового царя Василия Шуйского, очень быстро ликвидированный. Указ Лжедмитрия от 7 января 1606 г. об отмене наследственного холопства Покровский также трактует в пользу служилой мелкоты. Кто шел в холопы, спрашивает Покровский и отвечает: служилая мелкота, среди которой современник описываемых событий, троицкий келарь Авраамий Палицын называет «избранных меченосцев» и крепцих со оружии во бранех, владевших при этом «селами» и «виноградами» [3]. Таким образом, приговор Боярской думы (7 января 1606 г.), по словам Покровского, не выходил за пределы дворянской политики Лжедмитрия. «Но подстоличное дворянство менее всего было взыскано царскими милостями»,—говорит Покровский [4], поэтому Лжедмитрий был не просто царем дворянским, но «царем определенной дворянской группы, детей боярских украинных и заокских городов, царем «военных людей»» [5].

---

[1] См., например, письмо Бориса Годунова к императору Рудольфу II в ноябре 1604 г. Сборник материалов по русской истории начала XVII в., 62—68.

[2] Русская история с древнейших времен, II, 28.

[3] Сказание Авраамия Палицына. Русск. истор. библ., XIII, 482—483.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 34.

[5] Там же, 34.

Однако у Покровского в оценке классовой позиции Лжедмитрия нет устойчивой терминологии. В своем четырехтомнике Покровский называет Лжедмитрия дворянским царем. В «Русской истории в самом сжатом очерке» о классовых позициях Лжедмитрия Покровский говорит уже несколько по-иному. Это был «царь, который шел против интересов богатых помещиков и капиталистов». Ненависть этих последних к Лжедмитрию была настолько великою, что они не удовольствовались простым убийством, а сожгли тело *противудворянского царя* и выстрелили костьми его из пушки[1]. Иногда Покровский говорит, что восстание против Лжедмитрия было делом рук *боярской партии*, а в других случаях, как мы видим, он утверждает, что самозванец шел против интересов богатых помещиков и капиталистов, которые и поспешили устранить неугодного им противудворянского царя. Указ самозванца о розыске беглых крестьян от 6 февраля 1606 г. Покровский также толкует в пользу южного помещика, который задерживал у себя беглеца с севера. Но содержание этого указа Покровский передает не совсем точно. Он говорит, что всем крестьянам, ушедшим от помещика в годы голода, разрешено было под иго своих помещиков не возвращаться, а оставаться в тех местах, где они устроились. «Само собою понятно, что помещикам, в особенности крупным, не могло это нравиться»[2].

Но указ 1606 г. различает несколько категорий беглых. Бежавшие за год до голодных лет (1601 г.) подлежали возвращению на обычных основаниях. Подлежали возвращению и бежавшие в годы голода, если они могли прокормиться, находясь у своего помещика. Только крестьянин, прогнанный помещиком в годы голода, прогнанный, чтобы не кормить его, не подлежал возвращению: «не умел он крестьянина своего кормити в те голодные лета, а ныне его не пытай»[3]. Таким образом, только с одной стороны указ 6 февраля 1606 г. мог «не нравиться» крупным помещикам, ибо разрешено было крестьянам не возвращаться под иго помещика только в одном случае. Если стать на точку зрения Покровского, то указ 6 февраля 1606 г. придется толковать не только в пользу южных помещиков, но и в пользу крестьян, что, как мы видим, никак не вытекает из самого текста рассматриваемого боярского приговора.

Но можно ли в действиях самозванца проследить ярко выраженное направление его политики? Этого сказать нельзя. Конечно, с боярскою знатью он не мог войти в тесный контакт, ибо для этой знати Лжедмитрий нужен был лишь как орудие против Годунова. Троицкий келарь Авраамий Палицын, свидетельствуя о том, что Лжедмитрий всегда ездил с большим количеством войска, добавляет, что «вельможи же и боляре далече бяху от него». У Палицына имеется

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 69.
[2] Там же, 68.
[3] Памятники по истории крестьян, изд. Н. Клочкова, № 36.

еще одна интересная подробность: самозванец «немец же и литву хранители и страж постави себе и всем крепостем царского дома». Таким образом, особенным доверием у Лжедмитрия не пользовались и дворяне. Но каких-либо репрессий по отношению к боярам вообще или к отдельным представителям боярским Лжедмитрий не предпринял. Высланы были только Годуновы, Сабуровы и Вельяминовы. Но они попали в ссылку еще до прибытия Лжедмитрия в Москву. Получил амнистию и князь Василий Иванович Шуйский, за разглашение слухов о самозванстве нового царя присужденный боярской думой к смертной казни. На суде над Шуйским «бояре больше всего на оных Шуйских вси вопияху»[1]. Так как за такую же вину дворянину Петру Тургеневу отрубили голову, то не трудно видеть, что, амнистируя В. И. Шуйского, Лжедмитрий стремился найти себе сторонников и среди бояр. Чтобы понять всю трудность положения Лжедмитрия на московском престоле, нужно иметь в виду то, что обязан был самозванец этим престолом королю Сигизмунду и польско-литовской шляхте. Польские послы, приходившие в Москву, имели все основания утверждать, что отысканием прародительской короны самозванец обязан польскому королю и шляхте. Само собою понятно, что такая услуга даром не делается, и король и шляхта считали себя в праве рассчитывать на соответствующую компенсацию, в первую очередь в виде территориальных уступок. Эти территориальные уступки должны были состоять в том, что Смоленск и северские земли, а также Новгород и Псков Лжедмитрий обязан был отдать Польше. Затем московский царь обязан был помочь Сигизмунду «возвратить» шведское королевство. Эта помощь должна была выразиться в том, что польское войско могло беспрепятственно пройти через московскую территорию, а затем московское правительство обязано было обеспечить это польское войско съестными припасами.

Но мог ли Лжедмитрий сразу выполнить свои обязательства по отношению к Польше? Конечно, нет, ибо в таком случае он немедленно был бы свергнут. Вот почему Лжедмитрий, даже по словам враждебного к нему русского автора, старался показать, что «он не хощет Московское государство убавляти, но прибавляти»[2]. Вполне понятно поэтому, что Лжедмитрий желал отсрочить выполнение своих обязательств. Обе стороны: и Лжедмитрий и польское правительство со шляхтой одинаково нервничали, взаимно говорили обидные слова, упрекали, угрожали и тем не менее, считая себя связанными прошлым, не теряли надежды договориться в будущем. Как раньше, так и теперь, большие надежды возлагали на брак Лжедмитрия с Мариной и Польша и Рим. Недаром после бракосочетания Марины, приветствуя ее, король Сигизмунд выразил уверенность, что она, как московская царица, поведет к соседской любви и дружбе для блага польского

---

[1] Новый летописец (по списку князя Оболенского). М., 1853, стр. 69.
[2] Там же, 73.

королевства, и теперь, при кровном союзе между двумя государствами, еще более сохранятся между ними согласие и доброе соседство. Марина должна оказывать влияние на своего супруга, чтобы он своим дружелюбием, добрососедством и готовностью оказывать услуги вознаграждал за все то, что с любовью сделано ему королем и отцом Марины. Своему потомству Марина обязана внушать любовь к польским обычаям и вести его к дружбе с польским народом [1].

Едва ли слова короля можно понимать только как обычный прием международной вежливости: брак московского царя, ставленника польского короля и шляхты, с полькой из очень влиятельной семьи в истории русско-польских отношений того времени должен был оцениваться как событие чрезвычайной важности. Рим с опасением смотрел на трения, происходившие между московским царем и Сигизмундом. Папский нунций в Польше Рангони стремится поддерживать связь с Лжедмитрием, побуждает его писать в Рим новоизбранному папе Павлу V. Но, говоря о своем желании организовать из европейских государств антитурецкую лигу для блага христианства, самозванец ни звуком не обмолвился о намерении ввести католичество в Московском государстве. Не говорил о намерении Лжедмитрия ввести в Московском государстве католицизм и наказ его иезуиту, отправившемуся к папе с письмом от Лжедмитрия. Папа, очевидно, понял настроение своего корреспондента, и со стороны Рима последовала атака на Юрия Мнишек, дабы тот воздействовал в соответствующем направлении на своего зятя. Письмо кардинала Валенти к папскому нунцию в Польшу, письмо папы к Сигизмунду и (отдельно) к пану Юрию Мнишек, наконец, письмо папы к самому Лжедмитрию и Марине чрезвычайно откровенно говорят о том, что ожидал Рим от брака Марины и Лжедмитрия. Для большего успеха папа поручает кардиналу Боргезе предоставить Лжедмитрию императорский титул и королю Сигизмунду советует согласиться на присвоение этого титула новым московским царям.

Развивавшиеся события не оправдали надежд Рима, как не оправдали они надежд польской шляхты и Сигизмунда. Ставленник польско-литовского правительства и панов, ставший политическим орудием в руках определенной группы и лиц против Годунова, Лжедмитрий очень скоро оказался не надежным для первых, не нужным для вторых. Почин ликвидации самозванца берет на себя группа родовитой московской знати, возглавляемая князем Василием Шуйским. Но знать эта сама по себе была разрознена и бессильна. Свержение Лжедмитрия можно было осуществить только тогда, когда, по словам современника, «отверзлись чувственные очи всему народу, и когда вси единодушно (разве единых стрельцов) умыслиша его (самозванца) убити» [2].

Как бы ни старался самозванец отвести от себя подозрения в

[1] Собрание государственных грамот и договоров, II, № 79; Дневник Стадницкого. «Русский архив», 1906, кн. V, стр. 141.

[2] Новый летописец. Цит. соч., 75.

желании заплатить королю и шляхте русскими землями за оказанную ему некогда помощь [1], однако дальнейшее пребывание Лжедмитрия на московском престоле не могло не внушать серьезных опасений Московскому государству, особенно в связи с браком Лжедмитрия и Марины. Прибывшая 2 мая 1606 г. в Москву Марина привезла с собою большую свиту, в количестве 1961 вооруженных с ног до головы всадников. С Мариною приехала и ее многочисленная родня, представители католического духовенства и польского купечества. Прибывшие имели при себе такое большое количество оружия, что недоумевающие московские люди невольно задавали им вопрос: «разве на свадьбу приезжают в полном вооружении?» Наблюдавший эти события иностранец (Мартин Бер) отмечает, что прибытие вооруженных поляков дало новую пищу и новые основания для тревоги. Поляки держали себя вызывающе, в пьяном виде они рубили саблями встречавшихся на улице москвичей, вытаскивали из карет боярынь, оскорбляли набожное чувство москвичей и т. д. Для размещения огромного количества приезжих польских панов были взяты дома не только у простых людей, но и у вельмож, духовенства и пр. Московский торговый посад был напуган прибытием в Москву польского купечества. Сам Лжедмитрий держал себя очень неосторожно. Он нарушил старинный русский обычай, женившись в канун праздничного дня (8 мая); без принятия православия Марина была венчана царскою короной.

Уже 12 мая разнеслась по городу зловещая молва о том, что государству от поляков грозят страшные беды. Таким образом, уже в начале мая 1606 г. имелись налицо все данные, для того чтобы выступление против Лжедмитрия и поляков началось немедленно. Организованный против Лжедмитрия заговор был основательно продуман. Лидеры его прекрасно понимали, что испортившиеся отношения между Лжедмитрием и Сигизмундом также будут содействовать успеху заговора. В. И. Шуйский и его единомышленники видели, что срок восстания откладывать нельзя, иначе отношения эти могут наладиться, и поляки укрепят свои позиции в Москве. Заговор же вообще мог осуществиться тогда, когда он мог сопровождаться массовым восстанием русского народа. Это массовое восстание русского народа против поляков и главного виновника вторжения поляков на территорию Московского государства и последовало в ночь с 16 на 17 мая.

Восстание против Лжедмитрия Покровский характеризует как боярско-купеческий заговор, считает делом рук боярской партии, делом бояр, которые московских посадских людей натравили на дворы, занятые польскими торговцами и польскими помещиками, приехавшими с Дмитрием. Таким образом, простому народу все дело выста-

---

[1] Даже нерасположенные к Лжедмитрию литературные памятники периода «смуты» заявляют, что он «ни одной пяди московской земли не отдал Литве». Никоновская летопись, VIII, 73, ср. Летопись о мятежах, 99.

вили как восстание против иностранцев, против поляков, которые хотели будто бы поработить Россию. На самом деле бояре воспользовались заговором, чтобы убить царя, который шел против интересов богатых помещиков и капиталистов[1]. Таким образом, восстание 16—17 мая 1606 г. Покровский оценивает как боярско-купеческий заговор, в который народные массы вовлечены были обманом. Поэтому для ликвидации самозванца в Кремль ворвался только небольшой отряд в 200 человек, а посадская толпа была направлена на поляков, чтобы последние не явились на помощь Лжедмитрию[2].

Во главе вошедшего в Кремль отряда стояло первое московское боярство: впереди был В. И. Шуйский, позднее на улицах встречаем Ф. И. Мстиславского, Голицыных и Ив. Никитича Романова. Суть дела, следовательно, заключалась в том, что боярские верхи стремились свести с престола царя, политика которого не соответствовала интересам «богатых помещиков и капиталистов». Бестактность польских сторонников Лжедмитрия послужила лишь «окончательным толчком» для дела восстания. Покровский прямо говорит, что «польские сторонники Лжедмитрия на всем протяжении его недолгой истории гораздо больше доставляли ему хлопот, чем приносили пользы»[3]. Стало быть, большое народное дело борьбы за самостоятельное существование родины, восстание против вторжения поляков у Покровского подменены борьбой одной группы феодалов против другой. При этом и в данном случае Покровский допускает путаницу терминологии. Если Лжедмитрий был «дворянским царем», о чем Покровский раз упоминает[4], то восстание 16—17 мая 1606 г. не могло направляться против него. Если это был боярско-купеческий заговор, он не мог защищать интересы помещиков, хотя бы и богатых. Бояре всегда оставались боярами.

Неверно Покровский трактует и классовые позиции правительства Шуйского. «Шуйский,—говорит он,—был посадским царем, как названный Дмитрий был царем дворянским. В этом была новизна его положения... Представитель буржуазии еще ни разу не сидел на московском престоле; этот класс впервые держал в руках верховную власть»[5]. В статье «Смутное время», помещенной в Энциклопедическом словаре бр. Гранат (XXXIX, 644—658), Покровский идет еще дальше и говорит, что «Василий Иванович Шуйский сделался царем не боярским, а посадским». В другом месте Покровский высказывается еще решительнее: «Шуйский был царем боярско-купеческим и даже больше купеческим, чем боярским»[6]. Впрочем несколько ниже Покровский уверяет своих читателей, что «Шуйский—царь помещиков и

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 69.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 36.
[3] Там же.
[4] Там же, 37.
[5] Там же.
[6] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 69—70.

купцов»[1]. Такая путаница идет на протяжении всего рассказа Покровского о царе Шуйском. Купцы и бояре выдвинули царя из своей среды, сообщает Покровский. Подходящим человеком был вождь заговора, В. И. Шуйский. У него были громадные связи среди московского купечества. Ему принадлежала большая промышленная вотчина. Недаром В. И. Шуйского звали царем «шубником». Московское купечество с восторгом приветствовало избрание Шуйского[2]. Между тем в другом своем очерке событий «смуты» Покровский утверждает, что «самовоцарение» Василия Ивановича в первую минуту совершенно ошеломило боярские круги[3].

Можно говорить о том, что боярство в начале XVII в. представляло собою разрозненную массу, можно утверждать, что Василий Иванович Шуйский «излюблен был царем малыми некими от царьских палат», но совершенно очевидным остается и тот факт, что Шуйский оставался «никим же от вельмож не пререковен ни от прочего народа умален»[4].

Классовая позиция нового правительства в высшей степени ярко подчеркнута в крестоцеловальной записи Шуйского, в которой он обещается «всякого человека, не осудя истинным судом с бояры своими, смерти не предати и вотчин и дворов и животов у братьи их и у жен и у детей не отымати, будет которые с ними в мысли не были»... Следующая фраза, касающаяся того, что новый царь обещается «у гостей и у торговых и черных людей, хотя который по суду и по сыску дойдет и до смертные вины, и после их у жен и у детей дворов и лавок и животов не от'имати, будет с ними они в той вине невинны»[5]. Но это скорее некоторого рода компенсация посадскому миру за поддержку «выкрикнутого» царя, чем «буржуазная» программа нового правительства. Что правительство Шуйского стремилось опереться на посад, это вполне понятно: Шуйский нуждался в деньгах, как нуждался и во всякой другой поддержке. Но еще преждевременным было бы назвать это стремление Шуйского опереться на посад браком по расчету между торговым капиталом и боярской вотчиной, где обе стороны ненавидели и презирали друг друга, но разорвать союза не решались, пока не вынудил их к этому внешний толчок[6].

Охарактеризовав правительство Шуйского не как боярское, а как посадское[7], Покровский строчкой ниже говорит, что бояре тем не менее взяли с Шуйского запись, ограничивавшую его власть и мешавшую ему вести политику Грозного и Годунова. Но, добавляет Покровский, гарантиями записи воспользовалось не только боярство, но и богатое купечество, которое с царствования Шуйского

[1] Там же, 72.
[2] Там же, 69 и сл.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, 37.
[4] Сказание Авраамия Палицына. Русск. истор. библ., XIII, 500.
[5] Памятники по истории смутного времени, изд. Н. Клочкова, № 6.
[6] М. Н. Покровский. Русская история с древн. времен, II, 39—40.
[7] «Смутное время». Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.

начинает играть видную политическую роль[1]. Допустив неясность в понимании классовой основы правительства Шуйского, Покровский не может дать отчетливого определения и сущности вспыхнувшего в том же 1606 г. восстания Болотникова. Вопреки характеристике болотниковского восстания у товарища Сталина как массового крестьянского восстания[2], Покровский сильно снижает роль крестьян и холопов в этом движении. Он совершенно забывает о том, что немногие дворяне были только попутчиками восставших до первого поворота. Наоборот, Покровский утверждает, что «главную боевую силу инсургентов составляли рязанцы дворяне и дети боярские во главе с Ляпуновыми и Сумбуловыми[3]. В специальной статье «Болотников» Покровский называет Болотникова предводителем крестьянского движения в смутное время[4]. Крестьянским восстанием называет Покровский выступление Болотникова и в других своих работах. Иногда же движение, связанное с именем Болотникова, Покровский называет ополчением южных помещиков и казаков, совершенно игнорируя крестьянский и холопский характер этого движения[5]. Несмотря на то, что программа движения Болотникова нам известна только в том виде, в каком она излагается в грамотах патриарха Гермогена—источнике, враждебном движению, Покровский указывает, что недостаточно было бы утверждать, что лидеры движения ставили своей целью не только политический, но и общественный переворот. Какой же был бы общественный переворот, спрашивает Покровский, если бы вотчины и поместья сторонников Шуйского перешли в руки холопов, приставших к движению? Переменились бы только владельцы вотчин, а внутренний строй этих последних остался бы, конечно, неприкосновенным[6]. Причина поражения восстания Болотникова, по мнению Покровского, заключалась в том, что от движения отошли помещики—главная сила движения, а одни крестьяне и казаки оказались не в силах справиться с царским ополчением[7]. Но действительная причина поражения восстания Болотникова коренилась в общих условиях и свойствах крестьянских войн, в их стихийности и неорганизованности, в том, что не было еще рабочего класса, могущего возглавлять крестьянское движение[8].

III

Потерпев поражение с первым самозванцем, польская шляхта в 1607 г. пытается использовать в своих целях второго самозванца.

---

[1] Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.

[2] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат, М., 1934.

[3] «Смутное время». Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.

[4] Энц. сл. бр. Гранат, VI, 242—243.

[5] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 71; Русская история с древнейших времен, II, стр. 43.

[6] Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.

[7] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 71.

[8] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Э. Людвигом.

Летом 1607 г. в Стародубе объявился некто, называвший себя Дмитрием, спасшимся якобы от убийц в Кремле в ночь с 16 на 17 мая. Достаточно осведомленный современник описываемых событий (Мартин Бер) утверждает, что второй самозванец с самого начала был орудием в руках поляков. В городе Соколе (sic!) они отыскали подходящего молодца именем Иван, родом из России. Дав этому плуту роль Дмитрия с нужными наставлениями, поляки отправили его в Путивль с паном Меховецким, хорошо знавшим первого самозванца. Отсюда самозванец направился в Попову Гору, а затем в Стародуб, где и был признан Дмитрием собравшимися возле него авантюристами [1]. Фактически всеми делами стал заправлять пан Меховецкий, который заставлял этого второго самозванца «плясать по своей дудке» [2]... В конце августа пришел к самозванцу из Литвы мозырский хорунжий пан Будзило. Через непродолжительное время, осенью того же 1607 г., к самозванцу прибыли и другие польские паны: Валавский с тысячью человек, Тышкевич с таким же тысячным отрядом поляков, князь Адам Вишневецкий с 2 тысячами кавалерии, Лисовский, Харлинский и др. Когда весть о появлении Лжедмитрия разнеслась в Польше, там под знамя Дмитрия стал собирать войско князь Роман Ружинский, крупный, но промотавшийся украинский магнат. С 4 тысячами войска, в надежде поправить свои материальные дела, этот порубежный авантюрист прибыл к самозванцу, когда тот находился уже в Орле. Сюда же прибыли 3 тысячи запорожцев. Ружинский, несмотря на свои молодые годы, скоро оттеснил Меховецкого и взял в свои руки командование всеми военными силами самозванца [3].

Весною (в июне) 1608 г. самозванец расположился между двумя реками: Москвою и Сходнею в селении Тушино. Хотя по мирному договору с Польшей поляки должны были оставить Тушино, ни один поляк и не думал уходить из тушинского лагеря. Наоборот, сюда стекались новые и новые польские отряды. Пришел пан Бобровский с гусарскою хоругвью, 6 июля 1608 г. пришли Млоцкий с двумя хоругвями (гусарской и казачьей), Александр Зборовский, а затем Виламовский с 1000 ратников. К осени 1608 г. явился к самозванцу Усвятский староста Ян Сапега, так же как и его родственник, литовский канцлер Лев Сапега, мечтавший о территориальных захватах. Общая численность войска Сапеги равнялась 1370 конным солдатам и 350 пехотинцам [4]. Особенно усилился поток польских авантюристов к самозванцу после ликвидации рокоша Зебжидовского.

---

[1] Сказания современников о Димитрии Самозванце, I, 124—125.

[2] Записки Маскевича. Сказания современников о Димитрии Самозванце, V, стр. 14.

[3] Сказания современников, I, 134.

[4] А. Гиршберг. Марина Мнишек, 89; Маскевич войско Яна Петра Сапеги исчисляет в несколько тысяч всадников. Сказания современников, V, 20.

Недовольная Сигизмундом партия уже в августе 1608 г., несмотря на примирение Зебжидовского с королем, снова начинает борьбу. Эта партия пыталась воспользоваться московскими силами. Очевидно, не без основания в 1613 г. канцлер Лев Сапега писал, что вокруг Лжедмитрия II собралось так много войска, что в его распоряжении оказалось 16 тысяч всадников, которые хотели, возведя самозванца на престол, месяца через два, а самое большое через три, короновать его в Кракове [1]. Таким образом, польско-литовские тушинцы составляли по крайней мере три группы. Это прежде всего военные авантюристы (вроде Ружинского, Вишневецкого и др.), жаждавшие добычи, наград и почестей. Позднее прибыли сюда оппозиционные королю бывшие рокошане (Млоцкий, Здоровский и Виламовский). Наконец, здесь были и верноподданные Сигизмунда (например Ян Сапега), проводившие свою фамильную политику, совпадавшую и с политикой и с интересами Речи Посполитой [2].

Осенью 1608 г. в тушинском лагере оказалась и Марина с отцом, большой свитой и польским послом в Москву Олесницким. После некоторого воздействия на нее она признала в тушинском самозванце своего мужа. За это самозванец обещал ее отцу Северское княжество с 14 городами и 300 тыс. руб. денег, а пан Олесницкий получил жалованную грамоту на г. Белую. Польско-литовское войско образовало на территории Московского государства 7 лагерей. Общее число польских солдат доходило до 40 тыс., не считая запорожских казаков, число которых, по подсчету Маскевича, было в два раза больше регулярного польского войска [3].

Автор Летописи московской, очевидец описываемых событий, Мартин Бер сам слыхал, как Ян Петр Сапега однажды, восхваляя поляков, утверждал, что они храбростью своею превосходят древних римлян. Он говорил: за три года перед сим вооруженною рукою мы посадили на русский престол бродягу под именем сына царя Ивана Грозного; теперь в другой раз даем русским нового царя и уже завоевали для него половину государства; он также будет называться Дмитрием. Пусть их лопнут с досады: оружием и силою сделаем, что хотим!.. [4].

Пришел в движение и Рим, узнав о воскрешении Дмитрия. Римская курия была очень заинтересована слухами о спасении Лжедмитрия I. Кардинал Боргезе в письме к папскому нунцию в Польше (Симонетта) сначала выражал сомнение в действительности этих слухов. Но несколько позднее в другом письме тому же нунцию Боргезе

---

[1] «Русская старина», 1907, май, 260.

[2] A. Hirszberg. Dla czego polacy popierali drugiego Dymitra Samozwańca. Статьи по славяноведению, под редакцией В. И. Ламанского, СПб., 1904, стр. 30—40.

[3] Записки Маскевича. Сказания современников о Димитрии Самозванце, V, 28 и 29.

[4] Сказания современников, I, 104—105.

высказывает надежду примирить спасшегося московского царя с польским королем. События 1607 г. волнуют Рим, отовсюду собиравший сведения и о царевиче «Петре» и о Лжедмитрии II. В августе 1608 г. Боргезе уже «жаждет удостовериться в его жизни и подвигах. Венчание Марины с Лжедмитрием II 5 сентября 1608 г., совершенное секретно иезуитом, духовником Марины, не могло ускользнуть от взоров папского нунция и кардинала Боргезе.

Что с именем тушинского самозванца у ордена и Рима снова стали связываться потерянные было надежды, в этом можно удостовериться из ознакомления с любопытным «наказом» для Лжедмитрия II. Чтобы тушинский царик заслужил поддержку для себя и своего дела со стороны своих высоких покровителей, он не должен добиваться себе императорского титула, как это было раньше. Всего, в том числе и этого титула, он может добиться, приняв унию с римской церковью. Наказ подробнейшим образом перечисляет те мероприятия, которые должны быть осуществлены тушинским Лжедмитрием. Они сводятся к следующему: 1) государственные должности должны замещаться не по знатности происхождения, а по заслугам; 2) советниками своими московский царь избирает лиц зрелых и доблестных, отстранив родовитых бояр; 3) телохранителями хотя бы наполовину должны быть иностранцы, а из русских только приверженцы унии; 4) приближенные к царю русские люди из надежных лиц, склонных к унии, всегда будут проводниками добрых правительственных мероприятий, но вообще наказ рекомендует предоставлять полякам более приближенные должности, а московитянам—более почетные, чтобы оградить жизнь и безопасность государя; 5) производить тайный и тщательный розыск о скрытых заговорщиках и узнавать настроение приближенных ко двору лиц; 6) иметь верных и надежных секретарей; 7) для правительственного делопроизводства употреблять русский язык, но при себе московский царь должен держать лиц, знающих латинский язык; истинных католиков, которые удерживали бы царя от сближения с еретиками; 8) в специальной записи должно быть оговорено, что царица Марина должна находиться под покровительством Польского королевства на случай защиты при каких-либо переменах обстоятельств; 9) столица Московского государства должна быть перенесена ближе к западной границе, это будет безопаснее для государя и царицы, удобнее для культурных сношений с Западом; 10) новому ревностному защитнику церкви папа с течением времени передаст императорское звание от австрийского дома, ибо в Германии развивается протестантизм; 11) даже если будет жив сын старшего брата (царевич Петр), то все же престол получит младший брат (Дмитрий), если последний будет защищать унию, ибо церковь имеет власть удалять неверных царей с владычества над верными[1].

[1] Цитирую этот ценнейший документ по тексту, приведенному у С. М. Соловьева. История России с древнейших времен, кн. 2-я, т. VIII, стр. 842—846.

Из приведенных данных можно безошибочно заключить, что представлял собою тушинский лагерь и чем являлся второй Лжедмитрий. Здесь, как в фокусе, сплетались разнообразные нити интриг и надежд. Было осторожнее только официальное польское правительство, уже однажды просчитавшееся в своих планах и действиях.

В конце 1608 г. в тушинском лагере образована была специальная комиссия в составе десяти лиц (decem vires) из польско-литовских военных людей, облеченная чрезвычайными полномочиями. Тушинский самозванец обязан был беспрекословно исполнять все постановления этой комиссии. Таким образом, в Тушине установлена была военная польско-литовская диктатура [1]. Поэтому прав был русский современник описываемых явлений, когда говорил, что в Тушине «царем играху, яко детищем» [2].

Как-то странно звучит после этого утверждение Покровского, что тогда как в Москве находился царь помещиков и купцов, в Тушине сидел царь казацко-крестьянский [3]. Впрочем в другом месте Покровский называет Лжедмитрия II царем одинаково и казацким и дворянским [4]. В своей статье «Смутное время» Покровский, правильно отметив, что польская армия второго самозванца была впятеро сильнее, чем первого, вдруг неожиданно заявляет, что столица Лжедмитрия II продолжала «быть центром холопского бунта, принимавшего все более яркие формы [5]». Таким образом, Тушинский самозванец, по словам Покровского, является одновременно и царем дворянским, и казацким, и крестьянским, и даже холопским, точнее—организатором холопского бунта. Но, основываясь на данных наших весьма осведомленных и вполне достоверных памятников, второго самозванца нужно считать орудием в руках вторгшихся на русскую территорию польских панов. Само собою понятно, что когда это орудие оказалось уже мало пригодным, польское правительство и шляхта избрали другой, более действенный метод борьбы с Московским государством, путь открытой интервенции.

Покровский вполне справедливо отмечает, что «Сигизмунд мог терпеть в Москве Шуйского, но не шведов». К сожалению, это положение у Покровского не раскрыто, не объяснено и в его очерках и статьях, посвященных событиям и лицам так называемого «смутного времени», совершенно не дана динамика интервенции, проводившейся правительством Сигизмунда на протяжении ряда лет вполне последовательно и планомерно. Победа тушинского лагеря была бы победой главных вдохновителей и организаторов его—польской шляхты и, в конечном итоге, всей Речи Посполитой. Во всяком случае Московскому государству пришлось бы лишиться Смоленской и Северской земель, Нов-

[1] А. Гиршберг. Марина Мнишек, 113.
[2] Сказание Авраамия Палицына. Русск. истор. библ., XIII, 506.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 72.
[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 28.
[5] Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.

города и Пскова. Захват этой территории сильно укрепил бы положение Польши, в частности на берегах Балтийского моря. Освоение Новгорода и Пскова создало бы преимущество для Польши в борьбе за Балтику со шведами. Вот почему шведское правительство не могло относиться спокойно к успехам тушинского лагеря и дважды—в феврале 1607 г. и несколько позднее, летом того же года, предлагает помощь и союз против Польши. Шуйский понимал, что за эту услугу придется давать соответствующую компенсацию шведскому правительству, и поэтому он оба раза отказался принять предлагаемую помощь. Но в 1608 г. Шуйский уже по своей инициативе обращается к правительству Карла IX за помощью. Начались переговоры, и в конце февраля 1609 г. правительство Шуйского заключило мирный договор со шведами на следующих условиях: король присылает московскому правительству войско из 2 тыс. человек конницы и 3 тыс. пехоты. Сверх того шведский король обещал выслать еще неопределенное количество войска в знак дружбы с московским царем. Шуйский отказывался от всяких притязаний на Ливонию, уступал шведам город Корелу с уездом и должен был заключить вечный союз со шведским правительством против Польши. Наконец, обе стороны обязались не заключать сепаратного мира с королем Сигизмундом [1].

Само собою понятно, что союз Шуйского с Карлом IX сильно встревожил и польских тушинцев и правящие круги в Польше. Союз с Московским государством и территориальные приобретения Швеции усиливали позиции Карла IX. Вся тушинская авантюра могла рушиться без существенной поддержки со стороны польского правительства. За этой поддержкой еще в середине декабря 1608 г. и направился в Польшу сам сендомирский воевода [2]. Но миссия пана Юрия Мнишек оказалась безрезультатной, так как в это время в Польше назревала идея открытого похода на Москву самого Сигизмунда. Хотя первоначальная идея этого готовившегося похода культивировалась в ограниченном круге лиц, но слухи о нем доходили и до польских тушинцев и сильно нервировали их. Независимо от дипломатической поездки в Варшаву Юрия Мнишек, тушинское «рыцарство» шлет туда своих представителей с просьбой к Сигизмунду не чинить тушинскому польскому рыцарству «никакого препятствия». Самозванец также шлет послов от себя лично, обещая королю «вечную и прочную дружбу и любовь как Сигизмунду, так и всей Речи Посполитой» [3]. На это посольство в Тушине возлагали большие надежды, и сама Марина в письме к отцу от 26 января 1609 г. просила пана Юрия оказать послам «всякое содействие и помощь» [4]. Но в Польше (Сигизмунд в частности) знали цену подобного рода обещаниям. Тушинского посла (Федора

[1] Акты исторические, II, №№ 158 и 159.
[2] А. Гиршберг. Марина Мнишек, 117.
[3] Там же.
[4] Собрание государственных грамот и договоров, II, № 173.

Нехорошего-Лопухина) даже не выслушали, и он вернулся ни с чем [1]. Безрезультатным было и посольство от самозванца в Варшаву пана Валентина Валевского, который должен был поддержать пред королем дело тушинского правительства [2]. Не дало желательных результатов и стремление тушинского правительства получить помощь со стороны римского двора. Обращение Марины к папскому нунцию в Польше с просьбой оказать ее мужу «великие услуги и душевное расположение», которые некогда были проявлены нунцием Рангони, не нашли желательного отклика в сердце представителя папского престола [3]. Хотя Марина дает вполне ясный намек на возможную пользу для католической церкви от успеха ее дела, но в Риме ясно видели, что политический день тушинского самозванца уже склонялся к закату. Выступление в поход Сигизмунда должно было теперь занять больше внимание Рима, чем запоздавшие взывания о помощи самозванца.

IV

Когда именно и при каких обстоятельствах явилась мысль о московском походе Сигизмунда—сказать трудно. Имеются сведения, что московские бояре еще в 1606 г. при первом самозванце через посла Безобразова ставили пред Сигизмундом вопрос о воцарении в Москве королевича Владислава [4]. Папский нунций Симонетта слышал от самого короля Сигизмунда, что московский посол в Польшу Г. К. Волконский от имени московских бояр секретно предлагал корону королевичу Владиславу. Через несколько времени аналогичное предложение от московских бояр было повторено в Кракове через другое лицо [5]. Непосредственный участник польской интервенции гетман Станислав Жолкевский в своих записках рассказывает, что Сигизмунда вовлекали в московские дела сами бояре [6]. Подобного рода переговоры московских бояр с близкими к польским правительственным сферам лицами вполне вероятны, так как они могли происходить с целью отвлечь внимание польского правительства от самозванцев.

Идея московского похода в целях «возвращения» Польше Смоленска и северских земель начинает культивироваться среди польской шляхты в 1607 г. В инструкции королевским послам на поветовые сеймики было предписано узнать мнение шляхты насчет возможной войны с Московским государством, когда московский народ не станет выполнять своего договора с польским королевством [7]. Пра-

[1] А. Гиршберг. Марина Мнишек, 118.
[2] Собрание государственных грамот и договоров, II, № 179.
[3] Там же, № 170.
[4] Археографический сборник документов, относящихся к истории Северо-западного края, I, № 79.
[5] П. Пирлинг. Россия и папский престол. «Русская старина», 1901, октябрь, 344.
[6] Жолкевский. Записки о московской войне, 15—16.
[7] Łubieński. Op. cit., 134—136; Niemcewiez. Dzieje panowania Zygmunta, III, t. II, 135—142.

вительственная агитация возымела свое действие, и в том же 1607 г. пинская шляхта на поветовом сеймике внесла в инструкцию своим послам постановление, чтобы послы измыслили способы утихомирить внутреннюю смуту в Польском королевстве, чтобы затем иметь возможность отомстить Московскому государству за оскорбление короля и всей Речи Посполитой, за «пролитие крови, ограбление и пленение» поляков в Москве в мае 1606 г.[1]. Гиршберг приводит любопытное письмо, посланное королю 8 августа 1607 г. из Москвы находившимся там в положении пленника паном Николаем Олесницким. Пан Олесницкий настойчиво рекомендует королю итти войною на Московское государство, этого «врожденного врага короля и всей Речи Посполитой». Цель похода—расширение территории Польши. Время для этого весьма подходящее: усобица в Московском государстве дает основания надеяться на успех похода. Чтобы воздействовать на короля, Олесницкий передает слух, будто бы царь Василий Шуйский в отместку за Лжедмитрия подготовляет для свержения короля Сигизмунда в качестве самозванца фиктивного сына короля Стефана Батория. Олесницкий сообщает королю, что сами русские люди («московиты») якобы желают скорейшего похода на Московское государство, чтобы оказаться им под властью польского короля: «им нравится наша свобода, потому что своя неволя им уже очень надоела», как объясняет Олесницкий причины этих полонофильских настроений встречавшихся с ним москвичей. Дальше Олесницкий сообщает, что в Москве уже циркулируют слухи о том, что король будто бы осадил Смоленск и что последний, как и другие пограничные города, уже сдался королю. При этом москвичи уже торопятся итти к королю под Смоленск, чтобы принести ему присягу на верность. Суть дела в заключительной части письма Олесницкого: «соблаговолите ваше королевское величество войти в соглашение с Речью Посполитой относительно того случая, который посылает бог, чтобы овладеть этим государством»[2].

Письмо Олесницкого следует считать своеобразным приемом агитации за поход на Московское государство. Оно с непререкаемою убедительностью доказывает заинтересованность в этом походе польской шляхты. Видную роль в интервенции играл литовский канцлер Лев Сапега, хотя несколько раньше пред этим, по крайней мере официально, он высказывался за мирные отношения с Московским государством[3]. Правда, и теперь он старается быть «в стороне», но общественное мнение недаром считало канцлера Льва Сапегу главным вдохновителем и организатором похода Сигизмунда на Московское государство[4].

---

[1] А. Гиршберг. Марина Мнишек, 142—143.
[2] Там же, 143—144.
[3] Сб. Русск. ист. общ., М., 1912, т. 137, стр. 361.
[4] Kognowicki. Życia Sapiehów, I, 278—279; ср. Archiwum Domu Radziwiłłów, 251.

Гетман Станислав Жолкевский, не только военный деятель, но и обстоятельный мемуарист, рассказывает некоторые подробности этой интервенции. Король приступил к практическому осуществлению предполагаемого похода на Московское государство лишь по соглашении с сенаторами. Король и сенаторы решили не ожидать сеймового обсуждения этого вопроса, чтобы не допускать лишней проволочки времени[1]. Идею московского похода поддерживал и гнезненский архиепископ, которому казалось неуместным пропустить столь благоприятный случай «к умножению славы Польско-Литовского государства и к расширению государственных границ»[2]. Но раздавались возражения против самостоятельного решения вопроса о московском походе без сейма. Краковский епископ Бернард Мацеевский (родственник Мнишек) убедил короля передать этот вопрос на обсуждение сейма. Стали собираться сеймики, которые, разумеется, не без соответствующей агитации, как говорит гетман Жолкевский, одобрили московский поход[3]. Однако есть основания думать, что идея московского похода вовсе не была так популярна, как думает Жолкевский. В феврале и марте 1609 г. московские «лазутчики» доносили в Смоленск, что «литовские паны» против королевского похода[4]. Причины этого явления понятны. Помимо того, что шляхта еще не оправилась от недавнего «инфлянтского» похода, дело тормозили многочисленные родственники Мнишек и других польских тушинцев, предприятие которых, естественно, должно было рушиться с официальным выступлением короля в поход. В действиях короля усматривались династические тенденции: возвращение наследственного шведского престола.

Есть основание думать, что и сам король по временам сомневался в своевременности замышляемого московского похода. Может быть поэтому, отчасти же чтобы усыпить бдительность Шуйского, в феврале 1609 г. Сигизмунд возобновляет дипломатические сношения с царем В. И. Шуйским, отправив к нему своего посланника Станислава Радневского[5]. Но эти дипломатические переговоры не были серьезными, так как уже в марте того же года снова начинается обсуждение вопросов, связанных с московским походом.

Даже среди сенаторов не все единодушно поддерживали план Сигизмунда. Гетман Жолкевский, считавший московский поход Сигизмунда весьма популярным среди польско-литовских сенаторов, заявляет, что исключение представляли 3—4 сенатора. Что касается отношения к московскому походу со стороны посольской палаты, то Жолкевский, только что сообщивший о единодушном одобрении московского похода на сеймиках, неожиданно заявляет, что в польской

---

[1] Жолкевский. Записки о московской войне, 16—18.
[2] Акты междуцарствия, № 14.
[3] Жолкевский. Записки о московской войне, 18.
[4] Акты исторические, II, №№ 148 и 174.
[5] Там же, № 169.

палате по поводу этого похода не было никакого предложения, поход не обсуждался, разрешено было только давать жалованье принятым на военную службу [1]. Сейм 1609 г. оказал полную поддержку и одобрение московским планам Сигизмунда. Но в сеймовой конституции 1609 г. налог, одобренный сеймом для ведения войны, официально поступает на продолжение (na poparcie) инфлянтской войны и на «предотвращение опасности», грозящей Польско-Литовскому государству. [2]

Налог этот был недостаточным, а нарекания на короля, который якобы идет в поход по личным побуждениям, становились сильнее и сильнее. Пришлось Сигизмунду для реабилитации себя издавать универсал 21 мая 1609 г. и позднее специальные декларации, где он заявляет, что целью предпринимаемого похода является благо отечества и в частности расширение границ Польско-Литовского государства.

Московский поход был решенным делом. Разногласия вызвал вопрос, как итти к Москве. Жолкевский советовал королю двигаться через Северскую землю, где деревянные укрепления более доступны для осады, тогда как Смоленск был сильно укрепленным городом. Но движение короля на Москву через Смоленск встречало поддержку с другой стороны: сюда звали короля такие порубежные польские магнаты, как велижский староста Александр Гонсевский, в это время сильно агитировавший в Смоленской земле в пользу короля [3]. До короля доходили и другие слухи о готовности Смоленской земли признать короля своим главой, если только он покажется на смоленской территории [4].

Хотя сейм 1609 г. и обещал отпустить средства на ведение войны, но эти средства были весьма ограничены, на что и указывал королю гетман Жолкевский. Но Сигизмунд не придавал этому большого значения. Он был убежден, что время для его похода самое благоприятное, что стоит ему только появиться на русской территории, как не только Смоленск, но и Москва окажутся у его ног. Теперь, когда польско-литовское правительство раскрыло свои карты, решительнее и откровеннее действует и литовский канцлер Лев Сапега. Он явился к королю и привел с собою несколько рот. Быстро продвигаясь к Смоленску, Лев Сапега торопил и гетмана Жолкевского спешить туда же, чтобы не упустить случая овладеть Смоленском [5].

На основании имеющихся в нашем распоряжении данных можно утверждать, что численность направленных к Смоленску польско-литовских войск не превышала 14 тыс. человек [6]. 19 (29) сентября

---

[1] Жолкевский. Записки о московской войне, 18—19.
[2] Volumina legum, II, 1664, 1690.
[3] Акты исторические, II, № 199.
[4] Жолкевский. Записки о московской войне, 19—20.
[5] Там же, 28; А. Гиршберг. Марина Мнишек, 149.
[6] Русск. истор. библ., I, 427—431. Маскевич насчитывает в составе московской экспедиции 12 тыс. человек, не считая пехоты, литовских татар

канцлер Сапега и перемышльский каштелян пан Стадницкий подступили к Смоленску, а через 2 дня подошел сюда и Сигизмунд [1]. Смоленск был осажден армией, количественно превышавшей крепостной гарнизон [2].

Московский поход оказался значительно сложнее, чем представлялось это королю и его вдохновителям. Если и были в Смоленске сигизмундовы «доброхоты», то во всяком случае они ничем себя не проявили. Только среди уездных крестьян польская пропаганда имела некоторый успех, так как волостные крестьяне в осаду не пошли и даточных людей не дали. В своей челобитной Шуйскому смоленские жители объясняли это тем, что «король их прельщает вольностью» [3]. Мы несколько подробно задержались на рассказе о первых моментах открытой польской интервенции, чтобы показать, что она открыто стремится осуществить то, что раньше проводилось отдельными лицами в порядке частной инициативы. Само собою понятно, что с прибытием короля на территорию Московского государства нахождение польско-литовской шляхты на службе тушинского самозванца стало уже невозможным. Покровский считает, что московско-польская война являлась прямым результатом оборонительного и наступательного союза между Карлом IX и царем Василием, так как Польша была в войне со Швецией [4], но мы знаем, что неофициально московско-польская война уже происходила, следовательно, поход Сигизмунда представлял только дальнейший и новый этап в интервенции, вызванный осложнившимися обстоятельствами русско-шведско-польских отношений.

Поход Сигизмунда и осада им Смоленска, несомненно, должны были катастрофически отразиться на положении тушинского лагеря. В начале ноября от польско-литовских тушинцев было отправлено под Смоленск к королю и гетману Жолкевскому посольство, возглавляемое Ружинским и Зборовским. Послы должны были в спешном порядке выполнить свою задачу и к 2 декабря вернуться обратно. 24 ноября послы уже выступали перед королем с речью соответственно полученной им инструкции. Подчеркивая свою верность Речи Посполитой и королю, послы указывали, что выезд их на службу «царю Дмитрию» не должен истолковываться как действие, направленное во вред государству и королю. Указав на понесенные труды и свои

и запорожских казаков (Записки, 16). Согласно официальным спискам, предложенным на сейме 1611 г., на жалованье у короля состояло 4 6-10 гусар, 1300 легкой конницы и 4500 пехоты. Кроме того, в придворных эскадронах Льва и Павла Сапег, Христофора Дорогостайского, Януша Острожского и других польских панов, вступивших в пределы Московского государства, насчитывалось 530 гусар, 650 человек легкой конницы и 550 пехоты (Гиршберг. Марина Мнишек, 151).

[1] Жолкевский. Записки о московской войне, 29; Записки Маскевича, 16.

[2] Русск. истор. библ., I, 441, 449.

[3] Акты исторические, II, № 267.

[4] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 52.

заслуги в деле Лжедмитрия, «рыцарство» беспокоится, как бы оно не лишилось компенсации за понесенные лишения. Поэтому польские тушинцы и просят, чтобы король не игнорировал интересов польско-литовской шляхты, находящейся в Тушине [1]. В таком же духе говорили тушинские послы и пред гетманом Жолкевским, которого они просили ходатайствовать пред королем о соблюдении интересов тушинского «рыцарства» [2]. 26 ноября послы получили ответ (respons) на свои речи от короля и от гетмана Жолкевского. По словам короля, не оно, тушинское польское «рыцарство», терпит нарушение своих прав от короля, а Польско-Литовское государство может понести ущерб от собравшейся в Тушине польско-литовской шляхты. Шуйский, мстя за вмешательство в московские дела польской шляхты, направил на Украину татар (pogaństwo), а казаков шляхта увела с собой. Вследствие этого были сожжены целые волости. Кроме того, Шуйский, уступив Карлу ряд земель, направил его на Ливонию. Король советует польским тушинцам более трезво взглянуть на дело, ибо враг еще силен, выгоды, на которые они рассчитывают, сомнительны, а ущерб для государства очевиден. Король рассчитывает, что «рыцарство» осознает свой поступок и станет действовать в интересах своего государства [3]. Эти же мысли повторяет и «ответ» тушинским послам гетмана Жолкевского [4].

Тушинские послы, направлявшиеся к Смоленску, у Дорогобужа встретились с королевскими послами в Москву и Тушино. В составе посольства мы видим перемышльского кастеляна Стадницкого, литовского писаря Яна-Скумина Тышкевича, Христофора Зборожского, Людвига Вайера и Станислава Доморацкого [5]. Послы везли «лист» к патриарху и духовенству, в котором Сигизмунд целью своего похода в Московское государство считает прекращение в нем смут и кровопролития. При этом Сигизмунд, в случае желания московских людей быть «под королевскою рукой», не только гарантирует сохранение православной веры, церквей и монастырей, но и обещает расширить существующие права духовных лиц. В «листе» Сигизмунда к московским боярам и детям боярским содержатся такие же обещания не только сохранять их при «старожитных звычаях», но и сверх того «всякою честью, вольностью и многим жалованьем надарыти». Упреками наполнено обращение Сигизмунда к царю Василию Ивановичу Шуйскому. В этом обращении отсутствует титул «царь всея Руси», пропущен титул «смоленский». Особенно винит Шуйского Сигизмунд в том, что он явился виновником истребления и ареста поляков, прибывших на свадьбу Лжедмитрия в Москву. Больше всего беспокоит Сигизмунда то, что Шуйский стал сноситься с врагом Сигизмунда, Карлом швед-

[1] Сб. русск. истор. общ., т. 142, стр. 38—42.
[2] Там же, 41—42.
[3] Там же, 42—45.
[4] Там же, 45—47.
[5] Там же, 48 и сл.

ским, и начал оказывать ему помощь в борьбе с Сигизмундом. Одновременно с «листом» московским боярам Сигизмунд шлет грамоту в Тушино к польско-литовским тушинцам о прекращении военных действий [1]. Совершенно игнорирует Сигизмунд самого самозванца.

Сохранилось достаточно подробное описание приезда в Тушино королевских послов. Они прибыли сюда 4(14) декабря (н. ст.) и были встречены Зборовским, Ружинским и др. Послы отказались от каких бы то ни было переговоров с самозванцем, а повели разговор только с польскими панами. Последним послы предложили отказаться от самозванца и выдать его королю, а самим вернуться на королевскую службу [2]. Следует, однако, отметить, что не все польские тушинцы согласились на королевское предложение. С самозванцем никто из его польской свиты не считался, но он был необходим, как благовидный предлог для борьбы с правительством Шуйского. Поэтому 27 декабря королевским послам от имени польской армии в Тушине было предложено взять к Польско-Литовскому государству Смоленск и Северскую землю, но зато оказать содействие самозванцу в возведении его на московский престол. На это предложение королевские послы ответили отказом, прикрываясь благовидным мотивом: посадить на московский престол человека, не имеющего на это права, является делом, недостойным короля. Отказались также королевские послы компенсировать тушинское рыцарство за московский поход денежным жалованием в размере, назначенном самим рыцарством. Размер этого жалования и способ уплаты его должны быть специально пересмотрены и определены применительно к обычным ставкам военных людей.

В сообщении королевских послов под Смоленском о ходе переговоров в Тушине имеется одна чрезвычайно любопытная и важная подробность. Послы сообщали, что «есть множество русских, которые желают, чтобы мы пришли к соглашению, и готовы идти туда, куда пойдет польское войско, потому что они разбиваются на разные партии, и самой Москве стало ненавистным правление Шуйского». При этом сообщалось, что множество бояр, а народ чуть ли не весь, хотели иметь царем Голицына, пока не узнали о выступлении короля. Армия считает царем своего главнокомандующего Михаила Скопина-Шуйского. Против короля идет агитация в Москве. Говорят, что-де он желает нарушить православную веру и уничтожить церковь, посему будет весьма опасным делом становиться на сторону короля. Этот слух поддерживает и царь В. И. Шуйский. В противовес этому королевские послы пустили своих агентов, которые должны были успокоить народ, бояр и духовенство касательно их веры и обычаев. В лагере ведут эту работу сами послы, разъясняя русским тушинцам, что король их не обманет. Вместе с этим королевские послы в крайне непривлекательном виде обрисовывают личность тушинского самозванца, говорят

[1] Сб. русск. истор. общ., т. 142, стр. 50—52.
[2] Мартин Бер, 157—158.

о его непопулярности, отмечают, что поляки «держатся имени Дмитрия, а не человека».

При создавшихся условиях самозванцу оставалось только бежать из тушинского лагеря, что он и сделал в ночь на 28 декабря [1].

Бегство самозванца в Калугу ускорило развязку запутанных событий. У некоторой части тушинского лагеря окончились колебания, другие стали действовать более решительно. Тушинские польские низы подняли открытые возмущения против шляхетской верхушки, обвиняя последнюю в том, что она послужила причиной бегства самозванца. При этом досталось и королевским послам [2].

После бегства самозванца все чаще и решительнее стали раздаваться среди русских тушинцев голоса в пользу короля. Польский источник достаточно отчетливо обрисовывает эту «доброхотствующую» королю группу, называя по именам наиболее видных ее представителей. Это—нареченный патриарх Филарет с духовенством, Заруцкий со всеми сподвижниками и Салтыков с думными боярами и дворянами. С этими русскими тушинцами и вступили в официальные переговоры королевские послы. В результате этих переговоров решено было обратиться к королю под Смоленск с просьбою прислать в московские цари королевича Владислава [3].

Русский источник инициативу обращения русских тушинцев к королю приписывает не Филарету, а московским боярам, находившимся в Тушине: Салтыкову и его товарищам, которые, опасаясь успешного продвижения к Москве князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, стали совещаться с Ружинским, чтобы отвести самозванца под Смоленск и пригласить в цари королевича Владислава [4]. Существенного разногласия между сообщением русского и польского источников мы не усматриваем. Составитель «Нового летописца» умолчал о Филарете по вполне понятным причинам. В числе делегатов, посланных к королю под Смоленск с просьбою о Владиславе, «Новый летописец» называет следующих лиц: Михаила Глебовича Салтыкова, Ивана Михайловича Салтыкова, кн. Юрия Хворостинина, кн. Василия Мосальского, Льва Плещеева, Михалку Молчанова, дьяка Ивана Грамотина, Ивана Чичерина, Федора Апраксина, Василия Юрьева «и иных многих дворян и детей боярских». Все эти лица, разошедшиеся по тем или иным мотивам с Шуйским, сделали свою политическую карьеру в Тушине. Возвращение к Шуйскому для них было невозможно, держаться попрежнему самозванца—казалось бессмысленным. С уходом же королевских войск из Тушина положение этих русских тушинцев оказывалось безвыходным.

Вопрос о кандидатуре на московский престол королевича Влади-

---

[1] Русск. истор. библ., I, 507—516; ср. Сб. русск. истор. общ., т. 142, стр. 54.

[2] Русск. истор. библ., I, 523—524.

[3] Там же.

[4] Новый летописец, 111.

слава у Покровского решается невразумительно и неверно. Покровский очень большое значение придает переговорам о кандидатуре на московский престол королевича Владислава, которые велись в Кракове при первом Лжедмитрии. Во-первых, это были только частные разговоры, по всей видимости только небольшой боярской группы. Утверждение, что в это время «для бояр желательным царем был именно Владислав»[1], решительно ничем не обосновано. Тем более странным представляется заявление, что эти переговоры «переворотом 17 мая были оборваны без всяких результатов». Было бы в высшей степени наивным со стороны тех же бояр заменять ставленника польской шляхты сыном польского короля. Если русскому государству грозила опасность со стороны Польши при самозванце, то эта опасность была бы вдвойне и втройне сильнее, когда московским царем стал бы Владислав. Еще менее можно основываться на словах пана Олесницкого, тем более что он говорит о московских, а не тушинских настроениях. Трудно даже представить, чтобы в 1608 г. среди какой-нибудь значительной боярской группы в Москве мог ставиться серьезно вопрос о польском королевиче. Неверным является и утверждение Покровского, что кандидатура на московский престол Владислава возникает в тушинском лагере в начале 1609 г.[2]. Как мы видели, о Владиславе в тушинском лагере не могла подниматься речь раньше, чем позднею осенью 1609 г.

Также неосновательным и исторически неверным является утверждение Покровского, что одновременно возник двойной заговор: в Москве против Шуйского, в Тушине против Лжедмитрия, «который был явно холопским царем и из которого никоим образом нельзя было сделать царя дворянского и купеческого. Оба заговора скоро слились в один. Столковались на том, что москвичи и северное Поволжье низложат Шуйского, а Тушино низложит Дмитрия, и все вместе посадят на престол польского царевича Владислава, вместе с которым придут в Россию польские войска и прекратят демократическую революцию»[3].

Не говорим уже о том, что Покровский неверно трактует классовую природу тушинского правительства. Этой ошибки Покровского мы касались уже выше. Неверным является утверждение Покровского о том, что хронологически совпадает заговор против Шуйского в Москве и заговор против Лжедмитрия в Тушине. Мы знаем, что русские тушинцы оставили самозванца в декабре 1609 г., Шуйский же лишился престола в июле 1610 г. Низложению Шуйского предшествовала неудачная для него Клушинская битва. Только после этого события, не имевший «сокровища многа» и к тому же оставшийся без войска царь Василий Шуйский уподобился «орлу бесперу и не-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 51.
[2] Там же.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 73.

имущу клева и когтей». Когда в Москве низлагали Шуйского, Тушина уже не существовало.

Совершенно неверно трактует Покровский и причины, побудившие русских тушинцев обращаться к Сигизмунду с просьбой о Владиславе. Лжедмитрий II стал организатором «холопского бунта». Таким образом, по мысли Покровского, тушинское боярство и дворянство неминуемо должны были отшатнуться от Лжедмитрия. Но Лжедмитрий держался «почти исключительно польскими наемниками да казачеством». Привлечь на свою сторону казачество для дворянства не составляло трудности. Таким образом, «служилые верхи тушинской массы должны были скоро понять, что главную опасность представляют поляки». Но эти же служилые верхи должны были сознавать, что «поляки представляли и главную боевую силу Тушина».

Вполне понятно, что пред Филаретом и другими знатными тушинцами должен был встать вопрос: как обезвредить поляков, не лишившись их бесценной в военном отношении помощи? Вполне естественно, говорит Покровский, что «русские тушинцы в таком положении апеллировали от хозяйничавшего в России «рыцарства» к его собственному, польскому правительству. Но было ясно, что король в московскую смуту не вмешается; что его нужно чем-нибудь заинтересовать, сделать дело русских помещиков его делом». В такой обстановке, по мысли Покровского, и созрела в тушинском лагере идея приглашения в московские цари королевича Владислава [1].

Такое утверждение Покровского решительно противоречит действительному ходу исторических событий и не может быть подтверждено данными как русских, так и польских источников. Обращение к Сигизмунду вызвано было отходом из Тушина польских войск, составлявших главную военную силу в лагере второго самозванца. Тушинское боярство и дворянство и впредь желали опираться на силу этих же войск. Приходилось только менять видимого и официального главу: вместо ставленника польских панов Лжедмитрия получить королевича Владислава уже непосредственно от самого короля. По мысли тушинского боярства и дворянства, от этой замены не должно было произойти какой-либо существенной перемены к худшему. Скорее, наоборот, это боярство и дворянство должны были бы выиграть, так как победу над Шуйским обеспечили бы теперь правительственные польско-литовские войска, расчищавшие дорогу к московскому престолу польскому королевичу.

Одним из ярких мотивов польской интервенции начала XVII в. является договор русских тушинцев с королем Сигизмундом под Смоленском 4 (14) февраля 1610 г. Послы от русских тушинцев прибыли под Смоленск 18 (28) января [2]. Почти одновременно прибыли сюда послы от польских тушинцев, требовавшие вознаграждения

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 51.
[2] Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 58.

за московский поход, и отдельно от Марины, вверявшей все свои права «вниманию, рассуждению и совести короля»[1]. Разумеется, более всего внимание королевского лагеря привлекало прибытие русских послов. М. Гл. Салтыков заверял короля в расположении русского народа к королю; русские люди, по его словам, желают королю не только доброго здоровья, но и окончания «счастливо начатого предприятия». Ив. М. Салтыков от имени нареченного московского патриарха (Филарета) и всего духовенства благодарил короля за то, что он поспешил на помощь Московскому государству в деле водворения в нем тишины и мира. Продолжавший речь Салтыкова В. М. Мосальский также отметил значение похода Сигизмунда для умиротворения Московского государства. Выступивший затем М. Гл. Салтыков от имени всех чинов Московского государства просит у короля в московские цари сына его королевича Владислава, а дьяк Иван Тарасович Грамотин предвидит политические результаты этого дела. «Неприятельское сердце» и «из давних лет положенный меч» между двумя государствами—Московским и Польско-Литовским—обратятся в «милость и любовь». В заключение дьяк Грамотин сообщил, что патриарх Филарет и освященный собор отправили к королю для избрания царя и обсуждения земских дел вместе с боярами-послами и других бояр, окольничих, дворян, думных дьяков и приказных людей, и дворян из городов[2]. Наши источники не рассказывают нам, как происходили дипломатические переговоры тушинских послов с королем Сигизмундом под Смоленском. Поэтому мы знаем только окончательные результаты этих переговоров, как они выявились в известном договоре 4 (14) февраля 1610 г.

Остановимся на этом чрезвычайно любопытном памятнике политической мысли некоторой части русских военнослужащих людей начала XVII в. Владислав венчается на царство московским патриархом. Православная вера остается в Московском государстве неприкосновенною, а для поляков-католиков разрешается иметь только один костел и то за городом. Московское православное духовенство, король и его сын должны «ховать в милости», как это делается в Польско-Литовском государстве по отношению к католическому духовенству. Церковное имущество остается неприкосновенным. Бояр, окольничих и всяких думных и приказных людей король должен содержать в «учтивости и ласце своей господарьской, яко кто годен». За ними остаются прежние пожалования земельные и денежные, но, кроме того, Владислав должен «водлуг заслуг каждого и новые пожалования прибавляти». Служилые люди получают жалование попрежнему. Что же касается «прибавок», сделанных не от «власных господарей» и не по достоинству награжденного (в другой редакции: «а которым дворяном и детем боярским годовое жалование прибавлено при Шуй-

[1] Русск. истор. библ., I, 527.
[2] Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 58—64.

ском и при воре не по достоинству»), а также и относительно «убавок» без вины,—то вопрос о том и другом будет зависеть от приговора («намовы» думных бояр). Суды должны отправляться по старым обычаям и по Судебнику. Изменение может быть внесено лишь тогда, когда оно будет «вольно бояром и всей земле». Между обоими государствами заключается тесный оборонительный союз. Провинившиеся в политических делах подвергаются суду «господаря» «з бояры и з думными людьми». Наказанию не подвергаются семьи обвиняемых. Занимающих высокое положение («великих станов») Владислав не должен понижать без вины, наоборот, он обязан был по заслугам повышать. Вотчины и поместья не подлежат изъятию, а выморочные переходят к ближайшим родственникам. Для образования («для науки») каждый гражданин Московского государства имеет право отправляться в любое христианское государство. Польские и литовские послы не могут получать в Москве и прочих городах воеводств и других должностей. Без совета с думными людьми королевич Владислав не должен давать поместья и уряды чужеземцам. Налоги в казну с населения идут по-старому. Купцы польско-литовские имеют право свободно торговать на московской территории и обратно: московские купцы могут торговать в Польско-Литовском государстве. Купцам гарантируется свободный проезд через территорию союзного государства. Не должно давать выхода крестьянам из пределов Московского государства в Польшу и Литву и обратно. Бросается в глаза следующее очень интересное добавление к цитируемой фразе из договора 4 (14) февраля: королевич не должен «давать выхода» «меж себя» крестьянам и в самом Московском государстве. Холопы боярские остаются в прежнем положении, т. е. они должны «бояром албо паном своим по першому служить и волности им господарь его милость давать не будет». Вопрос о казаках был отложен до более позднего времени и должен был подлежать специальному обсуждению Владислава «з бояры и думными людьми»[1]. Договор 4(14) февраля заключал в себе только общие принципы, на основе которых возможен был союз между Московским и Польско-Литовским государствами. Значения окончательного договора за ним не признавали ни Сигизмунд, ни сами послы. Исследователи отмечают национально-консервативное направление этого договора. Он стремится охранить сложившийся в Московском государстве феодально-крепостнический строй от возможности каких бы то ни было воздействий со стороны царя, иноземца по происхождению.

Ограничение власти Владислава Боярскою думою и «советом всея Руси» не вытекало из какой-либо политической теории, а требовалось условиями переживаемого момента. Авторы этого договора да-

---

[1] Сборник Муханова «Autentyczne świadectwa». М., 1836, № 104; Акты Западной России, IV, № 180; Жолкевский. Записки о московской войне, приложение № 20; Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 64—73.

леки от княжат, так как ни разу в своем договоре они ни словом не обмолвились о московских княжеских родах, о чем позднее будут говорить авторы другого русско-польского договора—17 (27) августа. Составители февральского договора, достигшие власти и чинов выслугою «вору», ставили эту выслугу рядом с отечеством, говоря, что Владислав обязан «великих станов» не понижать, а «меньший стан» возвышать по заслугам [1].

Внимательно присматриваясь к тексту договора 4 (14) февраля, можно обнаружить текстуальное сходство этого договора с Литовским статутом 1588 г. Если это так, то изучаемый нами договор представляет чрезвычайно любопытное явление. Московское служилое дворянство в начале XVII в. прошло некоторую политическую школу и могло ознакомиться с организацией польско-литовского шляхетства еще в одиннадцатимесячное царствование Лжедмитрия I. По отдельным мероприятиям последнего (учреждение Рады, введение званий «верховного маршала», «подскарбия» и др.) можно догадываться, что идеалом для Лжедмитрия было соседнее Польско-Литовское государство, с которым он ознакомился непосредственно. Двухлетнее пребывание в тушинском лагере в окружении польско-литовской шляхты могло еще более познакомить и заинтересовать тушинских поместных людей с политической структурой Польско-Литовского государства. Отсюда понятно, что политические и гражданские права литовской шляхты, отраженные в статьях Литовского статута, должны были привлекать внимание и русских тушинцев и, естественно, могли оказать соответствующее влияние на статьи договора 4 (14) февраля. Это тем более было естественно, что на московский престол призывался польский королевич.

Покровский совершенно не прав, когда утверждает, что договор 4 (14) февраля—дело рук боярства. Покровский утверждает, что «боярское правление, которого историки напрасно искали при царе Василии, должно было начаться именно теперь: ничто не дает такого убедительного доказательства растерянности помещичьей массы перед восстанием деревенских низов, как политическая часть договора 1610 г. Правнуки Пересветова соглашались теперь всю власть отдать „ленивым богатинам, лишь бы удержать свое социальное положение“» [2] Среднее землевладение оказалось в договоре 4 (14) февраля на втором плане, говорит Покровский немного ниже [3].

Покровский довольно свободно распоряжается историческими фактами. Он утверждает, что на основании соглашения московских и тушинских заговорщиков с польским королем Шуйский был низложен и пострижен в монахи. В действительности дело обстояло иначе. Источники свидетельствуют, что московское соглашение с польским королем последовало через месяц после низложения Шуйского.

[1] С. Ф. Платонов. Очерки смуты, 325.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 54.
[3] Там же, 55.

Договор 4 (14) февраля был крупным поражением правительства Шуйского. Заключая этот договор, польско-литовское правительство официально признало русских тушинцев (разумеется, без фиктивного, хотя и официального главы их) правомочным московским правительством. Правительство Сигизмунда «забыло», что всего лишь два года назад оно de jure и de facto признавало правительство Шуйского. Видимо, самооправданием для Сигизмунда было то, что тушинский лагерь имел налицо все атрибуты московского правительства. Здесь был и патриарх с освященным собором, существовала Боярская дума и приказы—точный слепок московских правительственных учреждений. Население значительной части территории Московского государства отложилось «от державы московския» и держалось тушинского правительства.

Но если февральский договор был дипломатическим ударом для правительства, то последовавшая 24 июня (4 июля) 1610 г. битва под Клушином может считаться катастрофой, так как она закончилась решительным поражением армии Шуйского. Жолкевский не стал ожидать, пока ослабеет впечатление, произведенное клушинским разгромом. Поэтому, разбив войско князя Д. И. Шуйского, Жолкевский направился к Москве. В тот же день (24 июня) он осадил в городке у Царева Займища Валуева и Елецкого, посланных с восьмитысячным отборным войском царем В. И. Шуйским против Зборовского, стоявшего в деревне близ Царева Займища. После разгрома армии Шуйского под Клушином Валуеву и Елецкому не представлялось уже возможным сопротивляться, и воеводы капитулировали[1]. 25 июня того же года Валуев и Елецкий заключили с Жолкевским договор, в основном воспроизводящий февральский договор, а в некоторых случаях детализирующий его основные положения. Жолкевскому, как гетману, приходилось иметь дело с военными московскими людьми. В его задачу прежде всего входило привлечь их на сторону польского королевича. Гетман не касается подробно вероисповедного вопроса, считая, что этот вопрос будет предметом специального обсуждения высшего духовенства. Зато военно-служилый класс был весьма заинтересован положением областей, захваченных самозванцем и оккупированных Сигизмундом. Было договорено, что самозванщина должна быть ликвидирована в корне, а поместья и вотчины, находившиеся в захваченных самозванцем землях, должны перейти к прежним владельцам. Что касается смущавшей русских людей оккупации Смоленска и других русских мест Сигизмундом, то такая оккупация была признана временною—пока королевич не сядет на московский престол[2]. После присяги Валуева

---

[1] Русск. истор. библ., I, 195—198; ср. Записки Маскевича, 46—47.

[2] Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 89—90. Текст договора Жолкевского с Валуевым и кн. Елецким на польском языке перепечатан в сборнике Цветаева «К истории Смутного времени». М., 1916, I, 3—5; ср. цит. сборник Муханова, № 105; Жолкевский. Записки о московской войне, приложение № 24.

присягнули Владиславу города Можайск и Боровск, Иосифов монастырь, Погорелое городище и Ржев. В результате этого в отрядах гетмана Жолкевского оказалось 10 тысяч человек русского войска [1].

Продвигаясь к Москве, Жолкевский вступил в сношения с московскими «доброхотами» королевича (главным образом из смольнян и брянцев). В качестве агитационного материала были переправлены в Москву упоминавшиеся нами выше грамоты Сигизмунда, текст договора 4 (14) февраля, договор Жолкевского и Валуева. В Москве среди московского дворянства велась большая политическая работа. Оба договора подверглись критической переработке. Московское дворянство требовало вставки еще двух «статей»—1) о необходимости крещения Владислава в православную веру и 2) о том, что польско-литовские люди не должны «насильственно» вторгаться в города Московского государства. Московские корреспонденты Жолкевского (смольняне и брянчане) просили гетмана внести эти дополнения в крестоцеловальную запись и прислать им ее уже в новой редакции [2]. Ответ Жолкевского носил уклончивый характер: о крещении Владислава патриарх должен будет посовещаться с королем, а относительно других желательных дополнений специальные послы также должны будут договориться с королем [3].

Польская агитация в Москве делала свое дело. В письме к Сигизмунду в первых числах июня Жолкевский сообщал, что, по полученным им из Москвы сведениям, настроение в Москве явно благоприятное для короля. Только прибытие Артемия Измайлова с крымским войском упрочило положение Шуйского. В переписке с Жолкевским состоял и старейший боярин Ф. И. Мстиславский [4].

17 июля сведен был с престола царь В. И. Шуйский. Бурно окончился многомятежный день того, кто, как правитель «многие беды прия и позор и лай», а как человек характеризовался своими противниками как «глупый, нечестивый, пьяница и блудник и всячествованием неистовен и царствования недостоин» [5]. После свержения Шуйского в Москве отчетливо выявились три партии: 1) боярская с Гермогеном во главе, выдвигавшая на престол кандидатуру Голицына, 2) партия Мстиславского, выдвигавшая в цари Владислава, и 3) партия, возглавлявшаяся Захарием Ляпуновым; она ориентировалась на калужского самозванца. К кандидатуре Владислава склонялось и большинство военнослужащих людей.

Наступление калужского самозванца на Москву побуждало польских «доброхотов» к более решительным действиям. Собственными средствами защитить от бывших тушинцев столицу, где были враждебные польской ориентации элементы, готовые пойти на компромисс с тепе-

---

[1] С. М. Соловьев. Цит. соч., стр. 919.
[2] Жолкевский. Записки о московской войне, приложение № 29.
[3] Там же, № 30.
[4] Сборник Муханова, № 108.
[5] «Иное сказание». Русск. истор. библ., XIII, 120.

решним калужским правительством, было невозможно. Необходимо было обратиться за помощью к гетману Жолкевскому. Но последний прямо заявил, что «он тогда только пойдет на помощь Москве, когда мы закончим между собою доброе дело»[1].

К кандидатуре Владислава примкнули и другие княжеские и боярские роды, в том числе даже Голицыны. Но при этом само собою разумелось, что необходимо было пересмотреть и соответствующим образом изменить отдельные статьи февральского договора 4 (14) февраля 1610 г., поскольку сложнее стал состав русской договаривающейся стороны. Действительно, как только достаточно была подготовлена почва для сближения Москвы с польскими властями, немедленно приступили к составлению нового договора. А еще несколько позднее, 17 (27) августа, под Москвою происходила торжественная присяга московского населения королевичу Владиславу. Гетман же, с своей стороны, присягал в соблюдении договора[2].

Если февральский договор, составленный под влиянием правовых норм Литовского статута, носил шляхетский характер, то договор 17 (27) августа совершенно опускает пункт о повышении «меньшего стану» «водлуг заслуг». Зато он вносит новый пункт, ближе всего касающийся авторов этого договора: «и московских княжецких и боярских родов приезжим иноземцы в отечестве и в чести не теснити и не понижати».

Таким образом, если сопоставить августовский договор с февральским, то первый оказывается более аристократическим и более консервативным, чем второй. Опущена статья, разрешающая отъезжать для образования за границу, что в связи с неоднократным подчеркиванием неприкосновенности православной веры дает возможность видеть в этом договоре тенденцию «обеспечить основы московского церковного, государственного и общественного порядка от всяких потрясений не только со стороны польско-литовского правительства, но и московских новаторов»[3]. Но национально-консервативный, поскольку нужно было оградить Московское государство от вторжения иноземного и иноверного элементов, договор 17 (27) августа не может быть назван консервативным в сравнении с политической идеологией прежних времен: в нем неоднократно идет речь о думе бояр и всей земли. Добавим к этому, что августовский договор не был лишь механической переработкой предыдущего, февральского, договора. В правительственных канцеляриях шла оживленная работа, происходила энергичная переписка (list na list) с Жолкевским, так что, по словам послед-

---

[1] Письмо Жолкевского Сигизмунду 27 июля 1610 г. в цит. сборнике Цветаева, № 6, стр. 9—11.

[2] С. М. Соловьев, т. VIII, гл. VII, стр. 930 и 932; Сб. Русск. ист. общ., т. 142, стр. 110—111.

[3] С. Ф. Платонов. Очерки смуты, 353. Текст договора 17 (27) августа приведен в Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 95—99.

него, казалось końca w rzeczach nie będzie[1]. Договор 17 (27) августа не представлял собою такого политического соглашения, которое могло бы удовлетворить полностью московские правящие круги. Целый ряд боярских условий не попал в него, и, как мы увидим ниже, даже в таком виде этот договор вызвал сильные политические осложнения. Чтобы не чинить препятствий общему ходу соглашения между королем и московскими боярами, решено было перенести эти дополнительные условия на будущее время, когда московские послы будут непосредственно договариваться с королем. Так как эти дополнительные условия выработаны в Москве при изменившихся политических обстоятельствах и при значительно пополненном составе боярства, то они представляют особый интерес. Бояре боятся малейшего вмешательства в жизнь Московского государства со стороны Польши. Поэтому авторы дополнительных статей договора в крещении Владислава в православную веру видят своего рода «conditio, sine qua non» воцарения Владислава. Крещение это должно было произойти в Смоленске, до приезда Владислава в Москву. Вот как осторожны и осмотрительны авторы «дополнительных статей»! Но они к тому же и предусмотрительны, добавляя статью о неприкосновенности православной веры следующим пунктом: если кто из духовных или светских служилых людей или купец отступит от греческой православной веры, то такие лица должны подлежать смертной казни, а поместья их, вотчины, дворы и имущество поступают в казну. Сильно смущать московскую знать могла и возможность иноземного засилья при дворе московского царя из иноземцев. Само собою понятно, что Владислав мог привезти с собою из Польши группу приближенных лиц, которые отодвинут на второй план московскую родовитую и служилую знать. Поэтому в дополнительных статьях вносится еще одно условие: Владислав, отправляясь на Московское государство, во избежание «zniszczenia y spustoszenia» московского боярства может взять с собою минимальное число польско-литовских людей. С этою же целью оговорено было, чтобы и женился Владислав в Московском государстве и на православной особе. Не предполагая возможности совершенно устранить пребывание в Московском государстве польско-литовских людей, бояре настаивают по крайней мере на том, чтобы Владислав не раздавал этим лицам поместий ни в Смоленске, ни в других пограничных городах. Наконец, бояре считают необходимым специально говорить о Смоленске. На основании договорной записи Жолкевского под Царевым Займищем (договор с Валуевым) патриарх, бояре и служилые люди Московского государства просят Сигизмунда, чтобы он, с воцарением Владислава в Москве, снял осаду города и отступил от Смоленска[2].

Жолкевский понимал, что эти «дополнительные условия» произ-

---

[1] Письмо Жолкевского Сигизмунду 26 июля (5 авг.) 1610 г. в цит. сборнике Цветаева, № 6.

[2] Цит. сборник Цветаева, № 9.

ведут на короля тяжелое впечатление. Поэтому он в своих письмах неизменно убеждает короля в расположении к нему московского народа от знати до низов. Даже «дополнительные условия», по мнению Жолкевского, не представляют каких-либо трудностей. В доказательство Жолкевский ссылался на слова князя В. В. Голицына, что если бы даже король и не согласился на крещение Владислава, то «волен бог и государь», а бояре должны подчиниться этому. Таким образом, московские люди не так уж упрямы и несговорчивы, как это может показаться королю с первого взгляда [1]. Но если Жолкевский считал возможным держаться по отношению к Московскому государству терпимой политики, то не таким оказывался сам Сигизмунд. Несколько писем Сигизмунда к Жолкевскому очень определенно рисуют политику польско-литовского короля в отношении к Московскому государству, его скрытые планы, недоверие и враждебность к русскому народу. В письме к Жолкевскому 11 (21) августа Сигизмунд рекомендует гетману зорко следить за поведением русского народа («mając pilne oko na fortele narodu tego»). В качестве иллюстрации вероломства русского народа Сигизмунд указывает, что в договор Валуева русские внесли то, о чем говорили русские послы под Смоленском [2].

Особенно рельефно выражен взгляд Сигизмунда на московский вопрос в его «Puncta consideratyi», данных королем гетману Жолкевскому 12 (22) августа. Похвалив личное расположение Мстиславского к королевичу Владиславу, Жолкевский должен был указать Мстиславскому на противоречия в предъявляемых московскими боярами королю кондициях. Как король может очистить занятые самозванцем города и в то же время вывести свои войска с территории Московского государства? Кто же будет уничтожать самозванца, если на территории Московского государства не будет польско-литовского войска? Когда король обещал дать сына на московское царство, он предполагал последнее видеть успокоенным. Между тем оно в данный момент далеко не покойно. Необходимо приложить, следовательно, все усилия к тому, чтобы это государство успокоить, и это успокоение должно начать с Москвы. Для этого в первую очередь необходимо выслать из Москвы подозрительный и беспокойный элемент. Кто же он, этот беспокойный элемент? Во-первых, те, кто сам желает захватить власть в свои руки, во-вторых, сюда относятся сторонники «вора» и всякий другой разнообразный в смысле политической ориентации элемент (tę mieszaninę). В частности, Сигизмунд предлагает Мстиславскому отправить к нему троих Шуйских, чтобы они своим присутствием не смущали московский народ. Кроме того, русские люди должны помнить, что король сам должен успокоить Московское государство как от самозванца, так и от тех упрямцев, которые не подчиняются столице (разумеются осажденные смольняне). Духовенство должно понимать,

[1] Там же, №№ 10 и 11.
[2] Там же, № 12.

что король, проводящий принципы веротерпимости у себя дома, не станет чинить какие-либо религиозные препятствия московскому православию. Вместе с тем король предлагает Мстиславскому подумать о том, где бы добыть денег для уплаты войску, потребному для успокоения государства. Король не станет нарушать прежние московские обычаи, отменять чины и права, но в пограничных городах и областях до окончательного успокоения Московского государства он вынужден держать потребное количество людей для обуздания своевольных людей...

В дополнительной инструкции тому же Жолкевскому король по вопросу о немедленном прибытии в Москву королевича Владислава пишет следующее. Поскольку во всех своих декларациях на сеймиках король сообщал, что целью московского похода является благо общественное, а не личные его выгоды, то, отпустив на московское царство сына без согласия сейма, король дал бы повод к новому возмущению. Таким образом, он, успокоив чужое государство, привел бы в смущение свое. Вторая причина, которая удерживает Сигизмунда от немедленной отправки Владислава в Москву, это молодость последнего и неопытность. Между тем русский народ требует опытного правителя. По отношению к русскому народу Сигизмунд не скупится на самые нелестные эпитеты. Доверие к нему рискованно (fides lubrica), обычаи у него грубы, сердце жестоко (uporne), свирепость у него является правом (srogość za prawo), неволя стала уже врожденною привычкой. А где грубые нравы, там жизнь распутная и полна огорчений. При таких условиях может быть исковеркана не только юная натура, но и более зрелая. В таком случае, если бы Владислав немедленно отправился в Москву, то и сын и отец оказались бы одинаково в опасности: один в «сомнительном» государстве, а другой—в смущенном (zamieszanym) королевстве[1]. Свободное обращение русского народа с королем, диктовка своих условий и т. д. глубоко возмущают Сигизмунда. Действительное положение вещей не дает русскому народу права на такое поведение[2]. Что касается домогательства московских бояр, чтобы Сигизмунд отошел от Смоленска, то по этому поводу у короля были свои соображения. В одном из своих писем к Жолкевскому Сигизмунд решительно заявляет, что занятие им Смоленской области является «возвращением» Польше раньше ею утраченного («odyskania tego koronie, co sie dawno od tego narodu odję͡o») [3].

Мы не знаем, когда именно у короля созрел план самому принять власть в Московском государстве, но уже через два дня после заключения Жолкевским договора приехавший из королевского лагеря под Смоленском Федор Андронов передал гетману королевский приказ принимать присягу на имя самого короля, а не королевича Владислава.

[1] Цит. сборник Цветаева, №№ 13 и 14.
[2] Там же, № 15.
[3] Там же, № 16.

Две очередные задачи ставит теперь перед собой вдохновитель польской интервенции. Во-первых, для более успешных действий в подавленном государстве необходимо было ввести в Москву польские войска; во-вторых, надлежало сконструировать новый правительственный аппарат из лиц определенной политической ориентации. Позднее, уже при царе Михаиле, оккупацию польскими войсками Москвы московское правительство будет приписывать исключительно инициативе М. Салтыкова и Ф. Андронова: «злодей Михайло Салтыков да Федька Андронов с товарищи умысля со своим советники будто для береженья от воровских людей, обманом польских и литовских и немецких людей с гетманом Станиславом Жолкевским и с полковники и с ротмистры ввели в Москву». Эта фраза становится трафаретом во всех посольских наказах, когда требовалось побранить польско-литовское правительство за «конечное разорение» Московского государства. Но составитель Никоновского летописного свода не находит нужным цитировать выражения московской дипломатической переписки и более согласно с действительностью заявляет: «враг же прельсти от сигклит четырех человек, начаша мыслити, како бы пустить Литву в город»[1]. Автор не называет их по имени; особые соображения не позволяли упоминать среди этих «землесъедцев» имена некоторых лиц, сохранявших свое положение и значение при первом Романове. Среди них были лица, родственные новой династии (например, Иван Никитич Романов)[2]. Из переписки Сигизмунда с гетманом Жолкевским мы видим, что идея оккупации Москвы принадлежит Сигизмунду[3], а в Москве ее проводником мог быть кн. Ф. И. Мстиславский, возведенный Сигизмундом в высший придворный чин—в звание конюшего[4]. Ф. Андронов мог только содействовать оккупации, побуждая польское командование к вводу польских войск в русскую столицу[5].

По рассказу участника московской оккупации Маскевича, польские войска 29 сентября (9 октября) или, по другим известиям, в ночь с 20 на 21 сентября, тихо вступили в русскую столицу. Маскевич передает, что поводом к вступлению польского войска в Москву послужило волнение черни, которая, не взирая на присягу, вступила с боярами в распрю, «требуя перемены государя»[6].

Москва была теперь фактически оккупирована войсками Сигизмунда. Таково было подлинное положение вещей в Московском государстве осенью 1610 г. Покровский правильно отмечает, что «в совете польского короля еще с февраля было решено смотреть на кандидатуру королевича как на пройденную ступень: раз она была пройдена,

---

[1] Никоновская летопись, VIII, стр. 144.
[2] Акты Западной России, № 209, стр. 477.
[3] Цит. сборник Цветаева, № 16.
[4] Акты Западной России, IV, № 183, СД XII, стр. 364.
[5] Акты исторические, II, № 299.
[6] Записки Маскевича, стр. 52.

следовало, не мешкая, стремиться к окончательной и уже серьезной, не для показа, цели всей кампании—соединению Московского государства с Речью Посполитой [1].

Но если у короля были такие серьезные намерения в отношении к Московскому государству, то представляется странным, почему у Покровского нет ни малейшего намека на то, что, естественно, должна была вспыхнуть борьба между русскими и поляками на почве национального и политического самосознания. У Покровского совершенно выпал этот интереснейший момент истории польской интервенции начала XVII в. Покровский дает очень неудачное объяснение дальнейшим взаимоотношениям русского народа с польским правительством. Он говорит, что «кандидатура Владислава была принята правящими кругами русского общества под одним условием и с одною надеждой,—что польские войска восстановят «порядок» в Московском государстве, подавят социальный бунт низов и дадут возможность помещику исправно получать царское жалованье и хозяйничать в своем имении, а купцу мирно торговать». Отсюда Покровский делает и вывод, что «прочность польского царя на московском престоле всецело зависела от того, будет ли это условие выполнено. Однако,—говорит Покровский,—очень скоро обнаружилось, что правительство Сигизмунда не только не умеет удовлетворить этой основной потребности имущих классов московского общества, но что оно и его агенты в Москве являются новым ферментом разложения» [2].

Изучая договоры, связанные с приглашением Владислава в московские цари, дополнительные статьи к ним, переписку Сигизмунда с гетманом Жолкевским, можно воочию видеть, в чем именно заключались причины приглашения в цари Владислава. Как русские тушинцы, так и московские люди во Владиславе в первую очередь видели выход из создавшегося тупика. Тушинское боярство и дворянство именно приглашением Владислава думало добиться для себя прав и победы над правительством Шуйского. Во-вторых, избрание в цари Владислава должно было гарантировать неприкосновенность территории Московского государства, побудив Сигизмунда снять осаду Смоленска. Конечно, ликвидация самозванца при помощи войск Сигизмунда также предполагалась договором русских тушинцев с польским королем, но это была не первая и главная причина приглашения в цари Владислава. То же мы должны сказать и относительно валуевского договора и августовского договора гетмана Жолкевского под Москвою. Русские люди, заключавшие тот и другой договоры, больше боялись ущерба для своих прав со стороны царя-католика, больше беспокоились за судьбу Смоленска и пограничных городов, чем о судьбе самозванца. Король должен снять осаду Смоленска, должен уйти с русской территории, прислав в Москву сына Владислава, крестившегося в пра-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 60.
[2] Там же, 61.

вославную веру. Владислав—это не цель для одного и другого договора, это меньшее зло, которое пришлось выбирать при создавшихся условиях. А со стороны Сигизмунда заявление о намерении его ликвидировать самозванщину было только пустым разговором, красивою фразой, которою король прикрывал свои намерения. Вот почему, когда литовский канцлер Лев Сапега заявил великим послам под Смоленском о непреклонном решении короля Сигизмунда ликвидировать в Московском государстве самозванщину, один из великих послов, князь В. В. Голицын, прямо заявил, что те развалины, которые вместо некогда цветущих городов стоят теперь на территории Московского государства,—результат не самозванщины, а нашествия польско-литовских войск. Отсюда и вывод, по мысли Голицына, может быть только один: для умиротворения Московского государства необходимо одно—чтобы от самозванца отстали польские войска. Тогда, оставшись без посторонней помощи, самозванец немедленно будет ликвидирован. Чего, казалось бы, проще: стоит только королю распорядиться, чтобы из Калуги от самозванца отошли последние остатки польских войск. Но в том-то и дело, что существование самозванца было на-руку Сигизмунду.

Покровский сильно преувеличивает роль калужского «царика», как некогда он преувеличивал роль царика тушинского. Допустив грубую ошибку в оценке тушинского лагеря как предварительной стадии польской интервенции, Покровский по-своему последовательно, но совершенно неверно оценил и дальнейшие события, последовавшие вслед за началом открытой интервенции уже во главе с самим королем Сигизмундом.

Покровский неверно трактует и значение так называемого «великого посольства». То, что оно оказалось безрезультатным («бездельно бысть»), это вполне понятно. Слишком расходились цели этого посольства от целей, планов и намерений самого короля. Посольство не могло и не желало стать орудием в руках короля и распорядиться о сдаче Смоленска королю. Русские современники описываемых событий, о которых Покровский пренебрежительно говорит, что они «страшно раздули задним числом значение великого посольства», были во всяком случае гораздо ближе к истине, чем их критик. Великие послы под Смоленском выдержали сильную борьбу с польским правительством. Совершенно напрасно Покровский в оценке «бездельности» великого посольства желает обосноваться на показаниях троицкого келаря Авраамия Палицына. Последний был в числе тех лиц из состава великого посольства, которые получили от короля под Смоленском щедрые пожалования и уехали из-под Смоленска, бросив на произвол судьбы своих более решительных и более честных товарищей [1].

---

[1] Акты Западной России, IV, 378; Сб. Русск. истор. общ., т. 142, стр. 210; Голиков. Дополнения к Деяниям Петра В., II, 134—135; Собрание государственных грамот и договоров, II, № 218, стр. 485.

Игнорирует Покровский и такую яркую страницу истории борьбы русского народа с польскими захватчиками, как героическая защита Смоленска. Долго и мужественно выдерживал осаду Смоленск, осажденный королем Сигизмундом в сентябре 1609 г. Под Смоленском стояло 5 тыс. пехоты, 12 тыс. конницы, 10 тыс. запорожских казаков. В осаде сидело до 80 тыс. населения. В виду недостатка соли началась цынга. Люди умирали в огромном количестве: в последние дни осады в городе оставалось только 8 тысяч. Но твердое решение «биться до смерти» побуждало смольнян мужественно выдерживать осаду. Королю удалось захватить Смоленск только 3 (13) июня 1611 г. и то благодаря измене одного смольнянина (Андрея Дедешина), указавшего королю наиболее слабо защищенную часть крепостной стены. Уцелевшее население все же решило не сдаваться врагам. Собравшись в соборную церковь, большое количество смольнян зажгли хранившийся в подвале порох и погибли под развалинами взлетевшего на воздух храма.

V

Само собою понятно, что, не оценив как следует польскую интервенцию и сведши на-нет героическую борьбу, которую вел русский народ с польскими захватчиками за свою национальную и политическую независимость, Покровский совершенно превратно толкует такие крупные события в истории этой борьбы, как выступление первого и второго земских ополчений. Отметив, что «польское правительство стало банкротом» и оказалось неспособным ликвидировать самозванщину и движение низов («меньших»), связанных с самозванцем, Покровский дальше старается доказать, что от польского правительства теперь отшатнулся не только торговый капитал, но и служилое дворянство, незадолго перед тем обращавшиеся к полякам для подавления крестьянской войны. Торговый капитал потому отшатнулся от польского правительства, что развивавшаяся классовая борьба особенно стесняла торговые операции, дворянство—потому, что сигизмундовы комиссары бесцеремонно вмешивались в поместные земли, отнимали и раздавали их по своему усмотрению. «Реальной опорою восстания,—говорит Покровский,—стал торговый капитал, которому необходимо было сильное правительство, способное дисциплинировать «меньших», и притом правительство национальное. Но городские рати были бессильны справиться с поляками. Нужна была более солидная военная сила. На первый случай такой силой казалось казачество, враждебное «лучшим людям», враждебное Владиславу. Задачу поставить казачество на службу «лучших» взял на себя Ляпунов. Но попытка последнего кончилась крахом: Ляпунов был убит, первое ополчение распалось. Вслед за ним выступает в 1612 г. второе ополчение.

Когда конфискация и раздача земель у поместных людей достигли характера какой-то вакханалии, этого было вполне достаточно для

того чтобы оттолкнуть массу помещиков в противоположный лагерь. Теперь уже к услугам торгового капитала оказалась армия. Вождя торговый капитал нашел у себя дома в лице нижегородского земского старосты Кузьмы Минина, а военного предводителя в лице князя Пожарского»[1]. Таким образом, «в лице Минина и Пожарского одержали победу помещичье землевладение и торговый капитал»[2].

Покровский забывает о самом главном. Уже летом 1611 г., когда под Москвой стояло первое земское ополчение, Московское государство находилось в исключительно тяжелом положении. Осада Смоленска близилась к роковому концу, и 3 (13) июня 1611 г. Смоленск был взят, 16 июля шведы захватили Великий Новгород. Москва, оккупированная польскими войсками, 17—19 марта была ими выжжена. Скоро распалось и ополчение. Сигизмунд торжествовал победу. 29 октября 1611 г. в качестве военных трофеев доставлены были в королевский замок два брата—бывший царь В. И. Шуйский и разбитый под Клушином Д. И. Шуйский. Польское правительство считало, что Московское государство уже у его ног. Вот в эту грозную минуту, когда, казалось, уже не было выхода из создавшихся тяжелых обстоятельств, на защиту родины и поднялось второе земское ополчение под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и кн. Пожарского. Это уже поднялся русский народ на защиту своей родины и в ближайшую очередь на освобождение Москвы от засевших там оккупантов. Русский народ теперь ясно видел, где главный враг Московского государства. Под стенами Москвы можно было наблюдать и такую любопытную картину. Новое ополчение застало здесь казацкий отряд—часть ополчения прежнего. Это были две враждебные друг другу силы, но имевшие одну цель: вытеснить врага родины из столицы.

Рать народная, великая и сильная, подобной которой еще не было на Руси, успешно совершила свое большое дело. 22 октября 1612 г. ополченцы приступом взяли Китай-город, стеснив польских захватчиков в Кремле, а несколько позднее (27 октября) был очищен от засевших там поляков и Кремль. Родина была спасена. Вожди ополчения навсегда увековечили на страницах истории свои имена. Мужественный и честный воевода Дмитрий Пожарский в лице скромного нижегородского «говядаря» Кузьмы Минина имел не только отличного администратора-хозяйственника, но и соратника в военном деле. Когда ополчение стояло под Москвою и к столице, на выручку к осажденным полякам, двигался гетман Ходкевич (23 августа), положение для Пожарского стало угрожающим. Нельзя было рассчитывать на постоянство казаков, давших согласие воевать только потому, что троицкий келарь Авраамий Палицын пообещал им выдать вознаграждение из монастырской казны. В эту трудную минуту, по словам «Нового летописца», «бог... немощного и к ратному делу неискусного охрабри ниже-

[1] «Смутное время». Энц. сл. бр. Гранат, XXXIX, 644—658.
[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 79.

городца Кузму Минина сына, Сухорука...» Не мог оставаться спокойным главный инициатор второго ополчения, «от него ж первое таковое собрание очищения ради начася». Минин явился к князю Пожарскому с просьбой дать ему ратных людей, чтобы и он мог сразиться с врагом. Пожарский предоставил в распоряжение Минина ротмистра Хмелевского и три сотни дворян. С этим своим отрядом Минин ударил на две гетманские роты, стоявшие у Крымского двора, и обратил их в беспорядочное бегство. Это обстоятельство подняло настроение и у других русских отрядов, в потайных местах охранявших дорогу к столице. Теперь все они бросились к гетманскому табору. Ходкевич, оставив на месте табор, вынужден был отступить[1]. Отмечая выдающиеся заслуги Д. М. Пожарского и Кузьмы Минина, мы должны помнить, что многие такие же герои, такие же верные сыны своей родины не оставили нам своих имен. Вот о чем рассказывает в своих «Записках» поляк Самуил Маскевич, один из активнейших участников польской интервенции. В феврале 1612 г. Маскевич со своими товарищами и с отрядом в 300 человек двигался с военными и съестными припасами в Москву к сидевшим там полякам. Недалеко от Можайска на польский отряд напали русские партизаны—по терминологии Маскевича—«шиши». Они «без труда» одержали победу над польским отрядом, так как на сторону русских партизан перешли и русские, находившиеся в польском обозе. Они забаррикадировали путь повозками и сделали невозможным для поляков передвижение по узким дорогам среди безмерно глубоких снежных сугробов. Польский отряд разбился на двое. Одна часть его повернула назад, а другая, кое-как пробившись через отряд «шишей», с трудом достигла Можайска. Здесь в дер. Вишенце (Вишенке) поляки захватили старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в Волоколамск, где стояло русское войско. Этот старик вел поляков в одной миле от Волоколамска, а ночью незаметно повернул к городу. Поляки были уже в одной версте от Волоколамска и, несомненно, попались бы в руки русского войска, если бы случайно не встретился им поляк пан Руцкий, возвращавшийся из Москвы. Он предупредил товарищей об опасности. Поляки повернули назад. Отважному проводнику отрубили голову[2].

Этот и другие аналогичные известные нам случаи ясно и убедительно свидетельствуют о том, что в 1612 г. на защиту родины встал весь русский народ и что второе земское ополчение было делом не нижегородцев только, а движением всей Русской земли. Это и было залогом успеха дела Пожарского и Минина. Очищение Москвы от польских интервентов грозило крушением всей польской политики в отношении к Московскому государству, было симптомом провала всех захватнических планов как польской шляхты, так и самого короля Сигизмунда.

[1] Новый летописец, 156—157.
[2] Записки Маскевича, 117—118.

VI

Неверно истолковав начальный момент польской интервенции, Покровский игнорирует завершительную стадию этой интервенции. Оно и понятно. Если бы Покровский стал внимательно изучать события 1612—1618 гг., завершившиеся Деулинским перемирием, то совершенно по-иному ему пришлось бы строить весь свой раздел, который он озаглавил «Смута», или «Смутное время». Отметим в нескольких словах события, следовавшие за освобождением русской столицы от польских захватчиков. В то время когда в освобожденной Москве и Московском государстве окончательно провалилась кандидатура в московские цари королевича Владислава, в Польше собирался (19 февраля 1613 г.) очередной сейм. Сейм 1613 г. по московскому вопросу не был настроен так агрессивно, как, например, сейм 1611 г. Больным вопросом для польского правительства и шляхты был вопрос о средствах для расплаты с возвратившимся из московского похода войском, которое, не получая денег, уже успело захватить ряд королевских и духовных имений и причиняло своими грабежами убытки окрестному населению [1]. Поэтому королевская пропозиция сейму прежде всего обращает внимание на необходимость добыть средства для расплаты с войском. В этой же пропозиции король не выражает уверенности в том, что сейм отпустит деньги на дальнейшее ведение войны, но надеется, что будут изысканы средства для удержания завоеванного. Сильно запутаны были дела на южной границе государства, откуда грозила опасность со стороны турок и татар. О средствах для возвращения себе шведского престола король не отваживается говорить в виду финансовых затруднений в государстве. Московская политика не внушает каких-либо радужных перспектив, так как «надежда на московское царство уже пала» [2]. Московская политика Сигизмунда, так неудачно завершившаяся в октябре 1612 г., вызвала резкую критику со стороны большинства посольской избы. Указывалось на то, что отпущенные средства шли на бестолковые походы, кровь польского войска проливается из-за ненужных побед. Не следовало необдуманным обещанием отвлекать польских военных людей от самозванца, а если же это и произошло, то нужно было итти сразу к Москве, а не стоять два года под Смоленском. Почему бы не дать на московское царство просимого Владислава, а если это почему-либо было невозможно, то почему тогда же не заключить было выгодного для Польши мира? Московско-польская политика, по замечанию ораторов, шла от одной ошибки к другой. Указывалось и на то, что в то время когда Польша гонится за чужим, на нее нападают басурмане. В заключение некоторые ораторы предлагали конфисковать имения у виновников московской войны, а особенно у тех, кто советовал королю отвлечь от самозванца польско-литовские полки.

[1] Акты междуцарствия, № 21; Niemcewiez. Dzieje panowania. Zygmunta, III, 91—93.

[2] П. Н. Жукович. Сейм. борьба... Христ. чт. 1902, дек., стр. 830—832.

Несколько иначе взглянул на московскую политику сенат. Плоцкий епископ Шишковский резко критикует возражения шляхетских депутатов против московской политики Сигизмунда. Если бы прошлый сейм, говорил епископ, установил на ведение московской войны тройной налог, то польская армия устояла бы в Москве и сохранила бы последнюю для Польши. Упреки, брошенные Шишковским шляхте, вызвали целую бурю в посольской избе. Были попытки сорвать сейм, и только усилия некоторых сенаторов предотвратили политический скандал. Сеймовая конституция для выплаты жалованья войску, вернувшемуся из Москвы, назначает тройной налог [1]. Этого налога безусловно было недостаточно для удовлетворения всех нужд государства, так как требовались средства на удержание за Польшею оккупированных областей. Недовольством шляхты московской войной объясняется появление специальной конституции, запрещающей без ясно выраженного согласия сейма (bez pozwolenia zgodnego, jawnego a wyraźnego na Seymie») начинать какую-либо войну. Только в самом крайнем случае, если бы государству грозила какая-либо опасность, король мог и помимо сейма принять меры к устранению этой опасности, но при непременном условии предварительного согласования своих действий хотя бы с несколькими сенаторами [2].

Хотя сейм не вынес прямого постановления о прекращении московской войны, но это само собой вытекало из того, что средства отпущены были на уплату уже выслуженного жалованья, а не на будущие военные расходы. Что же касается дальнейшего ведения московской войны, то сейм постановил прекратить ее не военными действиями, а путем дипломатических переговоров. Все это стало известным в Москве и дало возможность новому московскому правительству действовать уверенно и твердо. Отправленная в марте 1613 г. в Польшу от московских бояр грамота ясно давала понять польским захватчикам, что русский народ уже не намерен держать себя по отношению к Польше попрежнему. Грамота указывает на то, что 1) Сигизмунд своим поведением освободил русский народ от присяги, данной некогда Владиславу; 2) поляки разграбили, разорили и сожгли Москву и захватили Смоленск; 3) в прошлом политика польского правительства к Московскому государству была далеко не дружелюбною [3].

Со злобой и враждой встретили польское правительство и шляхта эту грамоту московских бояр, но из сложившегося тупика у Польши не было другого выхода кроме дипломатических переговоров. Поэтому, протестуя против тона московской грамоты, польские паны все же должны были принять предложение мирных переговоров. 27 декабря 1613 г. для детального выяснения вопроса о предстоящих мирных переговорах был отправлен в Польшу Желябужский. Сведения, добы-

[1] Volumina legum, III, 219—240, Uniwersał poborowy...
[2] Там же, 163—164.
[3] Собр. государственных грамот и документов, III, № 7; Сб. Русск. ист. общ., т. 142, стр. 350—370.

тые Желябужским неофициальным образом, еще более вселяли бодрость и уверенность в новое московское правительство. Желябужский узнал, что подавляющее большинство панов-радных и шляхты настроено в пользу немедленного мира с Московским государством. Один только канцлер Лев Сапега подбивает короля к войне. Изнурение войною и денежные затруднения в Польше настолько сильны, что польские дипломаты не станут настаивать не только на кандидатуре в московские цари Владислава, но и аннексии Смоленской и Северской земель[1]. После долгих предварительных переговоров, отсрочек, споров о месте съезда, наконец, под Смоленском 17 (27) ноября 1615 г. состоялся первый посольский съезд. Московские послы выдвинули три пункта как необходимые условия мира: 1) признание Польшею московским царем Михаила Романова, 2) отпуск пленных послов и русских пленников вообще и 3) возвращение Смоленска и возмещение убытков, причиненных Московскому государству со стороны польских людей. В Москве знали об отношении к войне польского сейма, поэтому не проявляли особенной уступчивости. Сторонники же московского похода среди польской шляхты сознательно стремились провалить переговоры, чтобы поставить будущий сейм перед неизбежностью новых военных действий.

В январе 1616 г. польские переговоры под Смоленском оборвались[2]. Причины этого коренились в непримиримости позиций обеих договаривающихся сторон. Можно думать, что такой исход посольских переговоров был предрешен в некоторых польских кругах. 28 ноября 1616 г. литовский подчаший Януш Радзивилл сообщил своему брату Христофору Радзивиллу, входившему в состав посольства под Смоленском, что при дворе только и думают о том, чтобы прервать мирные переговоры и начать войну с Москвой. Януш Радзивилл сообщает своему брату и о том, что в состав посольства вошли некоторые лица со специальною целью прервать посольские переговоры. Несколько позднее, 4 декабря 1615 г., Януш Радзивилл сообщал своему брату, что при дворе открыто говорили о том, что в результате посольских переговоров под Смоленском последует новая война и новые налоги. Януш Радзивилл сознается, что он давно предвидел этот исход, хотя сам, «виновник всех злых советов в государстве, будучи комиссаром, остался дома, чтобы не потерять окончательно кредита у братии, а отправил для переговоров под Смоленск свою креатуру, столь же доблестную, как и он сам»[3].

Суждения Януша Радзивилла по поводу закулисной московской политики Сигизмунда не были единичными. Инструкция новогрудского сеймика своим послам на сейм прямо говорит, что переговоры с Москвой давно бы привели к желанному миру, если бы этому не препят-

---

[1] Сб. Русск. ист. общ., т. 142, стр. 572—574.

[2] Подробнее об этом см. в нашей специальной работе «Польская интервенция в эпоху великой московской смуты». Пермь, 1927, стр. 19—20.

[3] См. П. Н. Жукович. Сеймовая борьба, II, 31—33.

ствовали некоторые неизвестные соображения (respecty). Посему послы должны были усердно просить короля отложить в сторону эти соображения и препятствия, не затягивая надолго с ущербом для государства этого дела[1].

Срыв переговоров под Смоленском, к чему незримо приложил руку «виновник всех злых советов в государстве» (не трудно угадать в нем литовского канцлера), должен был показать польской шляхте, что «с грубым и коварным московским народом путем договоров нельзя установить мирных отношений». Еще до срыва переговоров в инструкции на поветовые сеймики, датированной 18 ноября 1614 г., вооруженная борьба с «надменным врагом» считалась единственным средством защиты интересов Польско-Литовского государства.

Отсюда понятно, что переговоры под Смоленском (1615—1616 гг.), неудачно закончившиеся в интересах определенной группы, были, как и следовало ожидать, использованы ею в борьбе с противной партией. В королевской пропозиции при открытии нового сейма 1616 г. чувствуется некоторая уверенность, сознание правоты своих суждений о непригодности договоров как средства выйти из создавшегося положения. С упрямым и грубым народом, по мысли короля, можно иметь дело только при помощи вооруженной силы. Трактует королевская пропозиция и относительно непрочности нового московского правительства и о боярах—сторонниках кандидатуры Владислава, которые вынуждены молчать, не встречая поддержки ни у себя дома, ни со стороны Речи Посполитой[2]. По некоторым данным, сеймовая пропозиция произвела на собравшихся такое сильное впечатление, что война с Московским государством была решена единодушно.

Мы имеем, однако, основания сомневаться в таком единодушном взрыве «патриотизма» у панской шляхты. Сейм как на московский поход, так и на оборону границ от турок и татар, назначил лишь одинарный налог (pobor jeden), и только желающие могли вносить два-три налога[3]. В следующие за сеймом месяцы королю, королевичу и канцлеру Льву Сапеге многократно приходилось взывать к патриотизму польской шляхты[4].

Только 5 апреля 1617 г. Сигизмунд отправил своего сына на московский престол. Проводы носили намеренно театральный показной характер. Проливались слезы по поводу предстоящей разлуки, говорились высокопарные речи, давались торжественные обещания. Владислав, уже как настоящий московский царь, накануне своего выступления в поход заключил с отцом договор, по которому довольно бес-

---

[1] П. Н. Жукович. Сеймовая борьба, II, 10, прим. 16.
[2] Там же, 28—30.
[3] Niemcewicz. Dzieje panowania..., III, 102—103.
[4] См. письма Сигизмунда к канцлеру Сапеге 31 декабря 1616 г. и 7 января 1617 г. Лет. зап. Археогр. ком., вып. 17, стр. 474, №№ 22 и 23; Kognowicki. Życia Sapiehów, I, 293—294.

церемонно распорядился значительною частью территории Московского государства. Так, например, он уступал Речи Посполитой Смоленск, Брянск, Стародуб, Чернигов, Почеп, Новгород-Северский, Путивль, Курск, Невель, Себеж. Польша, Литва и Москва объединялись неразрывным союзом. Владислав в качестве царя московского отказывался в пользу Польско-Литовского государства от своих прав на Ливонию и Эстонию[1].

Войско королевича быстро продвигалось к Москве. Захвачены были Дорогобуж и Вязьма; осажден был Можайск. Другая часть польского войска оперировала в районе Калуги. В сентябре 1617 г. польские отряды стояли уже под Звенигородом, а казацкий авангард подошел даже к Донскому монастырю. Не «цвет современного польского рыцарства», окружавший Владислава, создал такой успех отряду королевича, а то что в русской рати «быть волнение великое». Войско отказывалось повиноваться, а казаки начали «воровать». Распалась и рать Пожарского, а сам он «впаде в болезнь лютую и был конечно болен». Это была не дипломатическая болезнь, а серьезный недуг, которым страдал Пожарский[2]. В ночь на 1 октября столица выдержала первый приступ польского войска.

Несмотря на свои широкие захватнические планы, сейм 1616 г., одобривший московский поход Владислава, нашел необходимым назначить и послов для ведения мирных переговоров с московским правительством. Военные успехи Владислава не были столь серьезными, как это может показаться с первого взгляда. При запутанном финансовом положении и при осложнении внешней политики Речи Посполитой было бы весьма трудно удержать за собою завоевания. Сейм, собравшийся 13 февраля 1618 г., должен был разрешить ряд весьма сложных вопросов. Он должен был изыскать средства для армии гетмана Жолкевского, действовавшей на южных окраинах государства. Необходимо было урегулировать турецкий вопрос, так как султан был раздражен и прежними, и новыми казацкими наездами. Не совсем благополучны были дела в Инфлянтах, куда незадолго перед этим пришлось отправить часть войска, предназначенного королевичу для московского похода[3]. Не получившее еще жалованье и поэтому сконфедерированное войско попрежнему внушало опасения. Наконец, вновь требовал поддержки и московский поход Владислава. По этому последнему вопросу сейм 1618 г. вновь напомнил о необходимости привести в исполнение без всяких проволочек постановление предыдущего сейма—окончить московскую войну путем мирных переговоров, или, если это не удастся,

---

[1] Niemcewicz. Op. cit. 111, 112; Szujski. Dzieje Polski, III, 207; Piasecius. Chronica gestorum..., III, 300—301; подробнее у Kobierzycki. Historia Vladislai, Lib. VIII, 536—627.

[2] Новый летописец, 145; Забелин. Минин и Пожарский, 141—142.

[3] Сборник Муханова «Autentyczne świadectwa», 137, 138, 144; см. письмо Сигизмунда к канцлеру Сапеге 22 сентября 1617 г.; Kognowicki. Op. cit. I, 298—300.

другими всеми способами оградить Речь Посполитую от неприятеля. При этом сейм переизбрал состав польско-литовских комиссаров, которые должны были сопровождать королевича в походе и в случае надобности вести мирные переговоры с московским правительством [1]. Однако, как ни старался канцлер Лев Сапега, обязанный специальною просьбою Владислава и обещавший его «sprawy na przyszłym Seymie dźwigać i gorące w nich staranie uczynić» [2], добиться от сейма благоприятного отношения к московскому вопросу, однако, дело сложилось не так удачно, как того ожидал Сигизмунд. Шляхетский элемент сейма 1618 г. попрежнему не выражает особенного желания поддерживать московские планы Владислава. Это особенно ясно сказалось в том, что сейм не проявил достаточного внимания к предназначавшемуся для московского похода военному налогу, определив его в обычном ординарном размере (zwykłe y pobór) [3].

Ассигнованной сеймом для московского похода суммы было недостаточно, да и поступала она с большими задержками. Но особенно тяжело для сторонников московской войны было то, что сейм назначил годичный срок для ее окончания путем ли договоров или военных действий [4]. Теперь они должны были проявить максимум энергии, чтобы в такой короткий срок добиться своей цели. Канцлер Лев Сапега представил в распоряжение королевича отряд вооруженных на его счет солдат в 400 человек, а затем из собственных же средств передал королевичу и некоторую денежную сумму, надо полагать значительную, так как только часть ее погашалась арендною платою, (за 1619 г.) с целого брестского староства [5]. Специальные посольства Сапега отправлял к казакам, и особенно к Сагайдачному, с убеждением помочь Владиславу в борьбе за московский престол [6]. Сигизмунд уже осенью подготовляет шляхетское мнение в пользу отмены на будущем сейме срока для ликвидации московской войны [7].

Но обстоятельства в самой Польше складывались таким образом, что к зиме 1618 г. проволочка мирных переговоров для польско-литовского правительства была невозможной. На южных границах вставал грозный призрак турецкой войны. До крайности осложнился вопрос с Инфлянтами и обострились отношения с королем Густавом

---

[1] Volumina legum, III, 323; «O Moskwie»; цит. сборник Муханова, 116; Scriptores Rerum Polonicarum, XIV, 229.

[2] Письмо Владислава к канцлеру Сапеге (Kognowicki. Op. cit., I, 304).

[3] Volumina legum, III, 329—348, «Universał poborowy»...

[4] Kobierzycki. Op. cit., 535.

[5] См. письмо Сигизмунда к канцлеру Сапеге 26 июня 1618 г. и 9 июня 1619 г. в Лет. зап. Археогр. ком., вып. 17, стр. 474—475, №№ 25 и 27; ср. Kognowicki. Op. cit., I, 95.

[6] D. Naruszewicz. Historya Jana Karola Chodkiewicza. Warszawa, 1805, II, 140; ср. письмо Владислава канцлеру Сапеге 1 января 1618 г. (Kognowicki. Op. cit., I, 303).

[7] Kognowicki. Op. cit., I, 307—309, § 10—312.

Адольфом, принявшие характер открытой войны. Внутри же страны бушевали отряды сконфедерированных жолнеров, опустошавших не только королевские, но и шляхетские именья[1]. В тяжелых условиях оказывалась армия Владислава под Москвой. Она замерзала, скитаясь по выжженным деревням. В самой армии происходило брожение на почве неполучения жалованья. Армия Владислава грозила бросить знамена и уйти домой. Но и московское правительство желало скорейшей ликвидации изнурительной войны и 11 марта 1618 г. избрало специальных послов для ведения мирных переговоров.

Долго не мог состояться съезд дипломатов с той и другой стороны. Наконец, 17 октября послы съехались на р. Пресне. В начале переговоров польские дипломаты заявили притязание даже на Новгород и Псков, «говоря много» об этом, отстаивали. Затем польские дипломаты потребовали Смоленск, Дорогобуж, Белый, Рославль, северские города: Брянск, Новгород-Северский, Стародуб, Трубчевск, Почеп, Чернигов, Монастырев и города Себеж, Луки Великие и Невель. Город за городом выторговывали у русских послов польские комиссары, прибегая в ряде отдельных случаев к системе запугивания. Так, например, польские послы угрожали, что в Польше есть наготове и новый самозванец, сын Марины, так как в Москве вместо подлинного сына Марины повесили другого мальчика; или же распускали слухи о том, что у королевича будто бы объявились деньги для уплаты войску жалованья, следовательно, нет надобности теперь спешить с заключением мира. Несмотря на эти угрозы, польские послы понимали, что предлагаемые русскими послами условия мира—это лучшее, чего они могут ожидать. 1 декабря происходил последний съезд московских и польских дипломатов в дер. Деулино, на котором перемирная запись была скреплена крестоцелованием. Условия перемирного договора в основном сводились к следующему:

1) Перемирие заключается на 14½ лет—от 25 декабря 1618 г. до 25 июня 1633 г.

2) Московское государство уступает Речи Посполитой свои города: Смоленск, Белый, Дорогобуж, Рославль, Чернигов, Стародуб, Попову Гору, Новгород-Северский, Трубчевск, Невель, Себеж и Красный с уездами и волостями.

3) Польские войска очищают Вязьму, Козельск, Мещовск, Мосальск.

4) Вопрос о спорных порубежных линиях должен быть разрешен на специальном съезде порубежных судей.

5) Между обоими государствами устанавливаются свободные торговые сношения.

6) Возвращаются великие послы (митрополит Филарет, Голицын и дьяк Томило Луговской) и другие пленники.

---

[1] Там же, 313—316; ср. Лет. зап. Археогр. ком., вып. 17, стр. 475, № 26.

7) Королевич Владислав в перемирные годы обязуется не добиваться московского престола.

8) После подписания перемирного договора королевич и гетман Ходкевич должны будут немедленно очистить московскую территорию [1].

Варшавский сейм 1619 г. (22 января—5 марта), таким образом, имел дело уже с готовыми результатами московского похода Владислава. С докладом о ходе московской войны выступил на сейме канцлер Лев Сапега. Он сообщил не только о ходе московской войны, но и о результатах и условиях мирных переговоров. Этот доклад опять был встречен по-разному: «с удовольствием и почтительною признательностью» большинства сейма [2] и резкою критикой небольшой королевской группы (в лице коренного подканцлера еп. Андрея Липского), которая называла труд комиссаров «мало полезным» [3]. Критика еп. Липским результатов Деулинского перемирия не вызвала, однако, резкой оппозиции со стороны сеймового большинства. Чувство некоторой деликатности заставляло депутатов молча отнестись к этим упрекам. Польско-Литовское государство достигло колоссальных земельных приобретений. В этом же деле кандидатура в московские цари Владислава сыграла видную роль. Между тем династические интересы Сигизмунда провалились вследствие недостаточной шляхетской поддержки [4]. Мы видели, как король противился заключению мира. Перемирный договор, учитывая интересы Владислава, не говорит об окончательном отречении Владислава от московского престола, но фактически Владислав не мог добиваться его в перемирные годы. Едва ли поэтому следует заподозривать справедливость показания одного лица, близко стоявшего к Владиславу во время его московского похода (Оссолинского), что Деулинское перемирие состоялось к большому неудовольствию Владислава (gemente et fremente principe) [5]. Владиславу приходилось утешать себя только титулом московского царя и надеждою со временем осуществить свои «права» на московский престол [6]. 1 (11) июня 1619 г. на речке Поляновке (близ Поляновского монастыря) московские и польско-литовские дипломаты еще раз постарались выяснить некоторые спорные вопросы и произвели размен пленных [7].

Деулинское перемирие не было залогом прочного мира, наоборот, оно заключало в себе причины неминуемой будущей войны. Поль-

---

[1] А. Савич. Польско-литовская интервенция, 30.
[2] Kobierzycki. Op. cit., 615—617; ор. 198.
[3] Kobierzycki. Op. cit., 617.
[4] См. об этом письмо Сигизмунда к комиссарам 12 января 1619 г. цит. сборник Муханова, 180—182.
[5] П. Н. Жукович. Сеймовая борьба, 2, стр. 97.
[6] А. Савич. Польско-литовская интервенция, 31.
[7] Собрание государственных грамот и договоров, III, № 8; А. Савич. Польско-литовская интервенция, 31.

ша захватила огромные части русской территории. Для Московского государства Деулинское перемирие оказывалось необходимою передышкою после тяжелых лет «смутного времени», но только передышкой.

Русский народ использовал эту «передышку», чтобы собрать свои силы и окончательно выбросить с родной земли польско-литовских интервентов.

М. НЕЧКИНА

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ РАЗИНА И ПУГАЧЕВА В КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Крестьянскому движению феодально-крепостного времени М. Н. Покровский уделил значительно бо́льшее внимание, чем большинство дворянско-буржуазных авторов общих курсов по истории России. В этом особом внимании к крестьянскому движению сам Покровский усматривал одно из важнейших отличий его общего курса от курсов, ранее изданных.

Но, как это ни странно, крупнейшему крестьянскому движению—восстанию Разина—чрезвычайно «не повезло» в работах М. Н. Покровского. Оно просто пропущено в «Русской истории с древнейших времен» при изложении событий XVII века. М. Н. Покровский делает о нем лишь несколько беглых замечаний, приступая к изложению восстания Пугачева,—в порядке проведения некоторых исторических параллелей и только. Чем объясняется такой странный пропуск?

Покровский дает ответ на этот вопрос в своей статье «Чернышевский как историк», напечатанной в дни столетнего юбилея Н. Г. Чернышевского [1]. Анализируя дневник молодого Чернышевского, Покровский останавливается на вопросе об отношении Чернышевского к самодержавию и к возможности развертывания классовой борьбы при самодержавном строе. Покровский указывает, что молодой Чернышевский не учел значения классовой борьбы в истории русского самодержавного государства: «...вчитайтесь в ход мысли Чернышевского,—пишет он,—пока существует самодержавие, нет классовой борьбы; она начнется только тогда, когда самодержавие будет свергнуто. А Смутное время, а разинщина, а пугачевщина, а бесчисленные бунты крестьян и убийства помещиков во времена уже самого Чернышевского? Это не классовая борьба? Чернышевский забыл обо всем этом не *нечаянно,* но подчиняясь бессознательно традиции русской официальной историографии, которая *нарочно* все эти факты классовой борьбы затушевывала, т. е. замаскировывала тот факт, что это была классовая борьба» [2]. Итак, при критическом разборе

[1] «Историк-марксист», 1928, VIII.

[2] «Н. Г. Чернышевский как историк». Статья перепечатана во втором выпуске сборника статей М. Н. Покровского «Историческая наука и борьба классов», Гос. соц.-эк. изд-во, М.—Л., 1933.

положений «Дневника» Чернышевского, Покровский дает квалификацию «пропуска» восстания Разина в исторических работах,—это характерная черта русской официальной, иначе говоря, дворянско-буржуазной историографии. Эта квалификация в основном верна.

Нетрудно найти и тот прототип исторического общего курса, который послужил в этом отношении «образцом» для Покровского: это «Курс русской истории» В. О. Ключевского, учителя Покровского. Тематика этого курса почти неизменно диктует последовательность тематики в «Русской истории с древнейших времен» М. Н. Покровского. Пробелы этой тематики также нередко отражаются на структуре общей схемы Покровского.

XVII веку Ключевский, как известно, уделил особое внимание. Он был по преимуществу специалистом именно этой эпохи. Но восстание Разина не нашло места в его курсе. XVII век, которому преимущественно посвящен т. III «Курса русской истории» В. О. Ключевского, открывается подробным разбором событий «Смутного времени». Далее дается описание внешнего положения Московского государства после «смуты». Дав анализ казачества и довольно бегло обрисовав начальные события царствования Алексея Михайловича, Ключевский основное внимание сосредоточивает на внутреннем строе Московского государства XVII в.—местном управлении, владельческих крестьянах, налоговом обложении. Остановившись далее на реформе Никона, на сочинениях Котошихина и Крижанича, В. О. Ключевский чрезвычайно подробно разбирает вопрос о западном влиянии на Россию XVII в., затем о положении церкви и старообрядстве и заканчивает т. III «Курса русской истории» известными характеристиками царя Алексея Михайловича, А. Л. Ордына-Нащокина и кн. В. В. Голицына. Том IV «Курса русской истории» В. О. Ключевского начинается, как известно, уже с Петра I. Как видно, в только что изложенной схеме нет места восстанию Разина.

Лишь в LII лекции курса, посвященной проявлениям народного недовольства и отражениям его в произведениях представителей политической мысли и культуры XVII в., Ключевский дает единственную в его работах скупую характеристику восстания Разина, не включая его даже в тематику LII лекции, предпосланную тексту [1]. В коротеньком подотделе лекции, говорящем о «проявлениях недовольства», В. О. Ключевский уделил Разину всего-навсего пять строк: «...достаточно перечислить мятежи Алексеева времени, чтобы видеть эту силу народного недовольства...» (следует перечисление); «наконец в 1670—71 гг. огромный мятеж Разина на поволжском юго-востоке, зародившийся среди донского казачества, но получивший чисто социальный характер, когда с ним слилось им же возбужденное движение простонародья против высших классов» [2].

---

[1] В. Ключевский. Курс русской истории. М., 1912, III, 305.
[2] Там же, 344.

Ключевский обычно считал любое проявление классовой борьбы «беспорядком», нарушением правильного хода исторического процесса. По Ключевскому, ход исторического процесса представляет собою постепенное развитие правового государства в его типичном буржуазном понимании. «Социальный» в терминологии Ключевского означает прежде всего «мятежный», нарушающий государственный порядок, «бунтарский». Согласно своей схеме, Ключевский подобным явлениям уделял мало внимания,—понятен отсюда пропуск в его «Курсе» восстания Разина.

Важно отметить, что даже в только что приведенных пяти строках о восстании Разина Ключевский указывает на то, что казацкий мятеж именно сам же возбудил движение простонародья против высших классов. Ключевский, таким образом, усматривает в мятеже Разина две существенно различные составные части—казацкое движение и «движение простонародья». Необходимо подчеркнуть, что и самая эта характеристика сохранится, как мы увидим дальше, в работах Покровского.

Нельзя не подчеркнуть также своеобразия даты «огромного мятежа Разина», приводимой Ключевским в только что цитированной общей характеристике восстания. Последнее началось, как известно, в 1667 г. (первый поход Разина). Ключевский не считает возможным принимать во внимание этот первый поход и дает лишь дату разгара всего движения, которая обычно считается уже вторым периодом восстания Разина.

Больше Ключевский нигде не останавливается на «огромном мятеже Разина», если не считать случайного упоминания о Разине при рассказе о «первенце русского флота», построенном Алексеем Михайловичем в 1669 г.,—корабле «Орел»: «Этот первенец русского флота, как известно, в 1670 г. был сожжен Разиным»[1]. Это все.

Пропуск восстания Разина в «Истории России с древнейших времен» М. Н. Покровского—несомненный результат влияния буржуазной исторической схемы, воспринятой им у Ключевского. Именно так, как уже говорилось выше, он был характеризован и самим Покровским. Можно привести еще аналогичные высказывания последнего на ту же тему. Характеризуя в своем историографическом курсе такого крупнейшего представителя дворянско-буржуазной историографии, как Б. Н. Чичерин, Покровский адресует ему тот же по существу упрек о «пропаже» Разина, который можно адресовать и ему самому. Он усматривает в этом признак классового существа концепции Чичерина: «Чичерин слишком крупный мыслитель, чтобы его можно было подозревать в грошовых передержках, но как он смазал Смутное время, куда он спрятал Разина, куда он спрятал Пугачева? Да разве одного Пугачева было не достаточно, чтобы оценить, как крестьяне реагировали на закрепощение? А у нас был не один Пугачев, был еще Разин, а раньше Смутное время с Болотниковым. Это значит выки-

---

[1] В. Ключевский. Курс русской истории. М., 1912, III, 344.

нуть из русской истории чуть ли не половину. Она выбрасывается потому, что она мешает схеме»[1].

Оба эти высказывания Покровского о пропуске восстания Разина в дворянско-буржуазных исторических схемах относятся к позднейшему времени: первое к 1928 г., второе к 1923 г. Но в 1911 г., когда был выпущен в свет соответствующий том «Русской истории с древнейших времен», Покровский, повидимому, думал иначе и в тематике своей последовал за В. О. Ключевским.

Но, несмотря на позднейшее признание значения восстания Разина и необходимости его изучения, М. Н. Покровский все же никогда за это изучение не принимался. Даже издание Центрархивом документов о восстании Разина не явилось для него предлогом к изучению этого восстания,—он не взялся даже написать предисловие к выпущенному тому документов, хотя обычно неоднократно делал это для других тем.

Как уже было сказано, к восстанию Разина Покровский обратился только для некоторых исторических параллелей с восстанием Пугачева. При изложении событий пугачевского восстания Покровский несколько раз упоминает и о восстании Разина. Этот текст дает нам возможность познакомиться с тем представлением о восстании Разина, которое все же было у Покровского во время написания «Русской истории с древнейших времен».

Покровский не считает восстание Разина крестьянским. Эта единственно правильная марксистская характеристика ему чужда. На первом плане у Покровского стоит казацкий элемент движения. Этот элемент отнюдь не отождествляется Покровским с крестьянством,—крестьянство стоит лишь на втором месте. Восстание Разина для Покровского—«казацко-крестьянское восстание».

Эта характеристика не принадлежит Покровскому,—она заимствована им у мелкобуржуазного историка Костомарова. Сам Покровский указывает и на другую историографическую связь—с С. М. Соловьевым. Эту же социальную характеристику дает Покровский и восстанию Пугачева, но он считает восстание Разина гораздо более «казацким»: «Два казацко-крестьянских восстания, отделенных друг от друга ровно столетним промежутком, и тогда, как теперь, были связаны в умах публики прочной «ассоциацией по сходству». Новейшая историография, однако же, довольно давно заметила, что ассоциация идет скорее в другую сторону, и уже Соловьев указывал на почти фотографическое сходство начала разинского восстания с началами казацких «рухов» в Приднепровье. Как и у запорожцев, так и у донцов дело начиналось с того, что казакам отрезывали дорогу к морю, лишая их тем промысла столь же исконного на Дону, как и на Днепре»[2].

---

[1] М. Н. Покровский. Борьба классов и русская историческая литература. Сборник «Историческая наука и борьба классов», I, 40.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Л., 1924, III, 117.

Восстание Разина рассматривается Покровским как непосредственный результат развития «торгового капитализма». Основная причина и вместе с тем существо восстания—столкновение двух типов торгового капитала: торгового капитала Московского государства, с одной стороны, и казаков, как представителей «разбойничьей торговли»—с другой. Понятно и то, что оба типа торгового капитала столкнулись именно на Волге—основной в то время, по Покровскому, артерии развития торгово-капиталистических отношений. «.... на только что проторенной большой дороге из Западной Европы в Персию казачество должно было встретиться с крупнейшей экономической силой эпохи—торговым капиталом, к которому уже начало поступать на службу Московское государство. Исконный промысел вдруг стал необычайно выгодным, но и страшно опасным: удачливый атаман на новой дороге мог награбить так много, как никогда раньше, но зато и встретить на своем пути силу, какой раньше донцам никогда не приходилось видеть против себя. Что Астрахань защищали от Стеньки немцы, это было таким же выразительным символом, как и то, что окончательный удар казацким отрядам нанесли европейски обученные войска кн. Барятинского. Тут столкнулись между собой два этапа коммерческого развития: «разбойничья торговля» первобытного типа с колониальным предприятием XVII века» [1].

Отсюда характернейшая, по Покровскому, черта восстания Разина—его «периферийность»: предпосылок для поддержки Разина крестьянством центральных районов государства якобы не было; лозунги восстания Разина якобы не были лозунгами всего задавленного крепостным гнетом крестьянства Московского государства. Покровский даже находит «обоснование» этой ложной концепции в экономике эпохи: «Для восстания крепостных в коренных московских областях как раз 1668—69 годы были наименее подходящим моментом, ибо крестьянское хозяйство именно в эту эпоху шло на подъем, а не на убыль» [2].

В этом месте Покровский ссылается на т. II своей «Русской истории с древнейших времен», где имеются главы, посвященные экономике XVII в. Очевидно, он подразумевает при этом главу VIII, т. II под названием «Дворянская Россия», первый раздел которой озаглавлен: «Ликвидация аграрного кризиса». Здесь имеются места, посвященные следующим темам: «Признаки улучшения со второго десятилетия XVII века; уменьшение перелога, внутренняя колонизация. Рост крестьянской запашки; исчезновение бобыльных дворов; рост населения в центральных уездах».

Хотя вопросы экономики XVII в. не входят непосредственно в тему настоящей статьи, необходимо все же остановиться на них, чтобы опровергнуть ложную концепцию восстания Разина, выдвину-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Л., 1924, III, 117.

[2] Там же.

тую Покровским. В корне неправильное представление об экономике XVII в. вызывает у Покровского не менее ложное утверждение о якобы «периферийном» значении восстания Разина и о несовпадении лозунгов восставшего крестьянства окраин с лозунгами крестьян в центральных районах государства. Этот момент тем важнее опровергнуть, что аналогичная концепция восстания Пугачева была развернута одним из учеников Покровского, оказавшимся врагом народа, полагавшим, что на второй же день после проникновения восставших в центральные области Московского государства возникла бы классовая борьба между «колониальным крестьянством» Поволжья и враждебным ему «метропольным» крестьянством центральных областей.

Концепция эта, в корне ложная, совершенно извращает существо крестьянских войн XVII и XVIII вв., представляющих собою прежде всего «отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета»[1].

В полном противоречии с исторической действительностью Покровский полагает, что в XVII в., насыщенном крестьянским протестом против роста крепостного угнетения, крестьянское хозяйство центральных областей якобы переживало некий «подъем». Покровский, развивая это ложное положение, рисует крестьянское хозяйство не как хозяйство *эксплоатируемого помещиком* закрепощенного непосредственного производителя, а как некую самостоятельную хозяйственную силу, складывающуюся вне крепостного гнета: «...*экономически* господствующим по всей России XVII века было *мелкое землевладение* крестьянского типа, пережившее кризис, который погубил помещика-предпринимателя. Брошенная последним крестьянская запашка не оставалась лежать впусте—она находила себе съемщиков в лице крестьянина»[2]. Так, подкрашивая крепостнические отношения под капитализм, рисует Покровский хозяйственное развитие XVII в. Далее он утверждает, что «крестьянский надел рос с неуклонной правильностью все время, пока боярская пашня в лучшем случае стояла на одном месте»[3]. Непонятно, за счет чего же рос крестьянский надел, если боярская пашня не изменялась?

Вторым доводом Покровского является сокращение числа бобыльских дворов. Интересно, что он черпает фактический материал для этих построений из работы проф. Ю. В. Готье «Замосковный край в XVII веке». Между тем автор этой работы приходит на основании того же материала к правильным выводам, противоположным утверждениям Покровского: учитывая, что количество запашки на душу

---

[1] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат, М., 1934, стр. 158—159.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, II, 90—91 (курсив Покровского).

[3] Там же.

мужского пола не увеличилось, а даже снизилось за это время, проф. Готье приходит к правильному выводу о «новом понижении крестьянского хозяйства» для этого времени [1]. Это положение полностью подтверждается и рядом монографий и новых документальных публикаций последнего времени, посвященных хозяйству боярина Морозова, Безобразова, царя Алексея Михайловича [2].

XVII век характеризуется неуклонным повышением крестьянских повинностей. Боярская запашка растет, растет и гнет вотчинника и помещика над крестьянами. Крестьянство нередко нищает от усиления крепостнических поборов.

Именно тенденция к увеличению царской пашни характерна для хозяйства царя Алексея: «Завесть пашню большую»—было основным требованием его хозяйства [3]. В селах Лыскове и Мурашкине восстановлена была царем Алексеем «десятинная пашня». В Скопине и Романове она была введена вместо прежней драгунской службы: как только имение Скопина поступает в ведомство Тайного приказа, там сейчас же решают завести в Скопине обширное пашенное хозяйство—об этом говорит первая государева грамота в имение. В Терюшевской волости у мордвы отобрано было царем Алексеем под десятинную пашню 748 дес., а в Арзамасском уезде—583 дес. [4]. Для XVII в. чрезвычайно характерно разрушение нормировки поборов «обычаем», «пошлиной». Директива царя Алексея приказчику гласила: «И будет на что можно оброк прибавить, и ты б о том чинил по своему рассмотрению».

Вообще для XVII в. характерен резкий рост вотчинного землевладения, большие раздачи земель в вотчину [5].

Таким образом, экономические предпосылки восстания Разина освещены Покровским неверно. Понятно, что эта установка связана и с ошибочной оценкой характера самого восстания, с отрицанием его крестьянского существа. Понятно и то, что такие общие предпосылки, как рост крепостного угнетения по всей стране, у Покровского просто выпали: так, он совершенно не упоминает даже об Уложении царя Алексея Михайловича 1649 г., полностью отменившем право крестьянского выхода и завершившем оформление общего процесса крестьянского закрепощения.

Ложные предпосылки «помогают» Покровскому обосновать «периферийность» восстания Разина, иначе говоря его узко «периферийное» значение. Вместе с тем при обрисовке этой «периферийности» Покровский еще дальше отодвигает участие в восстании крестьянства. Он указывает, что в Поволжье отряды восстания «пополнялись в первую

---

[1] Ю. В. Готье. Замосковный край в XVII в. М., 1906, стр. 513.

[2] Хозяйство крупного феодала-крепостника XVII в. Л., 1933, изд-во АН, I и II.

[3] А. И. Заозерский. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. 1917, стр. 52.

[4] Там же, 110.

[5] Ю. В. Готье. Очерки истории землевладения в России, 1915, стр. 64.

голову из населения, непосредственно эксплоатировавшегося торговым капиталом (бурлаков, грузчиков, нижних слоев посадского населения и т. п.)». Приведем и особенно важное с точки зрения Покровского доказательство «незначительной» исторической роли разинского восстания: «даже на процессе торгового капитализма оно сколько-нибудь заметно не отразилось»[1]. Усматривает Покровский доказательства «периферийного» значения восстания Разина и в том, что восстание «не связалось» «с московскими движениями того времени, весьма нередкими (из-за медных рублей например)»[2]. Довольно трудно было восстанию Разина, происходившему в 1667—1671 гг., связаться с так называемым «медным бунтом», закончившимся в 1662 г.

Восстание Разина, крестьянское по своему характеру, не имело узко «периферийного» значения. Оно потрясло все Московское государство. Крестьянство подмосковных мест, задавленное крепостной неволей, в восстании Разина видело осуществление тех же лозунгов борьбы против помещиков, бояр и воевод, которые неизменно возникали при любом московском народном движении или движении других городов (например в восстаниях 1648, 1650 гг. и др.). О том же единстве основных лозунгов свидетельствует и широчайшее распространение прокламаций Разина,—они доходили даже до Соловков. Это же доказывает и широчайший район распространения песен о Степане Разине.

В первый и последний раз за все время своей научной деятельности специально остановился Покровский на восстании Разина в «Русской истории в самом сжатом очерке», изданном в 1920 г. Он посвятил ему менее полутора страниц. События, предшествовавшие революции, могли не раз напомнить Покровскому о резкой разнице между его отношением к этой героической странице истории русского народа и отношением партии. «Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и др. Мы видели в выступлениях этих людей отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета. Для нас всегда представляло интерес изучение истории первых попыток подобных восстаний крестьянства»,—сказал товарищ Сталин в своей беседе с писателем Эмилем Людвигом[3].

В 1919 г., день пролетарского праздника 1 мая, в Москве на Красной площади был открыт памятник Степану Разину. Речь на открытии этого памятника говорил Ленин: «Сегодня мы празднуем, товарищи, 1 мая с пролетариями всего мира, жаждущими свержения капитала. Это Лобное место напоминает нам, сколько столетий мучились и тяжко страдали трудящиеся массы под игом притеснителей, ибо никогда власть капитала не могла держаться иначе, как насилием и надругатель-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 118.

[2] Там же, 118.

[3] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б), Партиздат, М., 1934, стр. 158—159.

ством, которые даже и в прошедшие времена вызывали возмущения. Этот памятник представляет одного из представителей мятежного крестьянства. На этом месте сложил он голову в борьбе за свободу». Речь Ленина дошла до нас не в автографе, а в корреспондентской записи «Вечерних Известий Московского Совета Рабочих и Красноармейских депутатов» [1]. Если даже запись и не совсем точна, она все же хорошо сохраняет основной смысл ленинской речи—указание на значение восстания Разина, на необходимость увековечения его памяти, наконец, на характеристику Разина как представителя крестьянского восстания, а не какого-нибудь иного.

В «Русской истории в самом сжатом очерке» в 1920 г. Покровский останавливается впервые на восстании Разина. Характеристика восстания Разина и тут остается у Покровского неизменной: «Самое большое восстание, с которым пришлось иметь дело первым Романовым, было восстание казацко-крестьянское, вышедшее с Дона, восстание Степана Разина» [2]. И в остальных существенных сторонах характеристика остается прежней: вновь подчеркивает Покровский, что восстание вызвано к жизни не усилением крепостного гнета, а «непосредственно связано с развитием торгового капитала». Вновь подчеркнута наибольшая заинтересованность в восстании лиц, особо подвергавшихся эксплоатации торгового капитала, и даже особо оговорено малое количество крестьян в тех местах: «Его театром было Поволжье, как раз те места, по которым пролегал самый главный торговый путь Московской Руси—Волга, связывающая Московский край с Персией, откуда, получались самые ценные восточные товары, с большой выгодой перепродаваемые потом царскими гостями в Западную Европу, английским и голландским купцам в Москве и Архангельске. Вдоль этого торгового пути скопилось множество *безземельного люда:* грузчики, бурлаки, всевозможные мелкие торговые служащие, а затем просто мелкий торговый и ремесленный люд. Помещичье землевладение на приволжском черноземе быстро распространилось, и так как здешние помещики имели много земли, но обыкновенно мало крестьян, переведенных сюда помещиками из центральных областей Московского государства, то здесь была, конечно, самая жестокая барщина» [3]. Характерно, что при описании казачества Покровский ничего не говорит о казацкой голытьбе и о полном совпадении ее основных интересов с интересами всей крепостной крестьянской массы. У Покровского в «Сжатом очерке» фигурирует лишь характеристика казацкой старшины, на первых порах поддерживающей движение. Об участии в восстании Разина угнетенных царизмом национальностей у Покровского нет *ни слова.* Между тем это участие значительно и должно быть отмечено. В восстании, кроме русских, участвовали башкиры, татары, калмыки, чуваши, мари, мордва.

---

[1] 3 мая 1919 г., № 230; ср. В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XXIV, 271.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Партиздат, 1932, стр. 78.

[3] Курсив мой.—*М. Н.*

Сказываются на этих полутора страничках и особенности отношения Покровского к фактам. Весь текст посвящен общим вопросам—нет ни характеристики самого Разина, ни хотя бы краткого перечня основных событий восстания. Фактической стороне дела Покровский посвятил только *пять строк*. Они настолько любопытны, что их нельзя не привести: «... восставшие овладели Царицыном и двинулись вверх по Волге по направлению к Москве (?). Но под Симбирском их встретили новые по-заграничному обученные московские войска и разбили наголову. Разин был схвачен в плен и казнен в Москве. Так кончилась эта новая казацко-крестьянская революция ...» Это буквально все, что относится в изложении Покровского к самому ходу событий. Получить хотя бы общее фактическое представление о них из этого текста просто нельзя. Здесь нет ни слова ни о первом походе Разина, ни о первом посещении разинскими отрядами Астрахани, ни о возврате на Дон и подготовке нового похода—следующего этапа восстания. Редко какой пример может служить более яркой иллюстрацией к известным словам Ленина в его письме к Покровскому об отсутствии в его учебнике фактов и «верхоглядстве», которое может от этого произойти.

Есть еще одна особенность в характеристике, данной Покровским восстанию Разина, и она является еще более важной, чем все только что перечисленные. Покровский совершенно не освещает вопроса о причинах поражения восстания. Вопрос о *невозможности* победы массового движения, лишенного пролетарского руководства, для Поровского как бы не существует. Покровский игнорирует положения Ленина и Сталина по этому вопросу. «Отдельные крестьянские восстания,—заявил товарищ Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом,—даже в том случае, если они не являются такими разбойными и неорганизованными, как у Стеньки Разина, ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями, и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями. Только комбинированное восстание во главе с рабочим классом может привести к цели»[1].

С этой важнейшей ошибкой Покровского—игнорированием *основной* причины поражения крестьянского восстания—мы еще встретимся при разборе восстания Пугачева и сможем разобрать ее на более подробном тексте Покровского. Поэтому сейчас, учитывая бедность и крайнюю сжатость текста Покровского о Разине, не будем подробнее говорить об этом. Заметим лишь, что в этом сжатом изложении у Покровского получается так, что восстание Разина было побеждено исключительно в силу технического военного перевеса московского правительства и только.

В позднейших работах Покровского есть еще несколько беглых

[1] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б), Партиздат, М., 1934, стр. 159.

упоминаний о «разинщине» и ее общие характеристики. Несмотря на некоторую туманность этих характеристик и полное отсутствие подтверждающего их фактического материала, все же необходимо отметить, что они идут по линии признания все большего и большего значения восстания Разина. В 1923 г. в своих лекциях по историографии Покровский, разбирая теорию закрепощения сословий и взгляд на этот вопрос Плеханова, бросает беглое замечание о социальном существе казачества и о восстании Разина. В замечании этом, хотя очень неполно и с оговорками, но все же признается *крестьянское* существо казацких масс: «Казачество—это тот элемент русского крестьянства и мелкого городского населения, который эмигрировал за рубеж, но периодически пытался вернуться в то общество, которое вытеснило его из себя (не все общество вытеснило, а помещик вытеснил.—*М. Н.*), и преобразовать это общество по-своему,—особенно характерно это у Разина, но это встречается и у Пугачева,—подчинить общество своему казацкому влиянию»[1].

Несколько более подробно остановился Покровский на восстании Разина в 1926 г. в своем предисловии к первому тому документов о Пугачеве, изданному Центрархивом[2]. Косвенным образом здесь восстание Разина—впервые в работах Покровского—характеризуется как *крестьянское*: «Последнее крестьянское восстание (т. е. восстание Пугачева.—*М. Н.*) не выработало своей идеологии даже в том зачаточном виде, в каком она была у Разина. Разинцы почти сознательно стремились заменить складывавшееся бюрократическое самодержавие казацким кругом,—и характерно, что Разин, хотя и не отказывался от спекуляции царским именем, но сам до конца выступал со своей собственной казацкой физиономией, как казацкий атаман... Более мелкая, чем ее предшественницы—смута, хмельничина и разинщина—политически, тем интереснее пугачевщина социально»[3]. В приведенной цитате, на ряду с бо́льшим признанием общего значения восстания Разина, чем в более ранних работах, Покровский впадает в преувеличение значения «идеологии» этого восстания. Он изображает разинцев почти сознательными борцами *против самодержавия*. Свойственный крестьянам «наивный монархизм» (выражение Ленина) Покровский почти отрицает. Прежнее преуменьшение значения восстания Разина сменяется у Покровского преувеличением его идеологического значения. Поскольку Покровский в этих беглых высказываниях не развивает своей аргументации, приходится ограничиться этим общим возражением. Мы еще встретимся с этой же ошибкой Покровского при разборе вопроса о восстании Пугачева. Там развернута аргументация, приведен некоторый фактический материал, поэтому удобнее именно там подробнее разобрать этот вопрос.

Что же касается последнего замечания в приведенной цитате—

[1] М. Н. Покровский. Историческая наука и борьба классов, I, 90.
[2] «Пугачевщина» (Центрархив). М.—Л., 1926. Предисловие, I, 4.
[3] Там же.

замечания, что восстание Разина *политически* крупнее восстания Пугачева, но менее интересно *социально,* то мысль эта приведена в такой общей форме, что невозможно ее подробно разобрать. Ограничимся замечанием, что восстания Разина и Пугачева имеют крупнейшее политическое значение в истории страны; социальный же состав восстания Разина, имевший много общего с составом восстания Пугачева, едва ли какой-нибудь историк признает сейчас менее интересным. Социальные лозунги обоих восстаний также чрезвычайно близки.

В заключение—несколько слов о терминологии. Всюду у Покровского, как и принято было в дворянско-буржуазной исторической литературе, восстания Разина и Пугачева именуются «разинщиной» и «пугачевщиной». После известных замечаний товарищей Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспекта учебника по «Истории СССР», историки перестали употреблять эти термины. В этих замечаниях говорится: «Конспект изобилует всякого рода затасканными, трафаретными определениями вроде «полицейский террор Николая I», «Разинщина» и «Пугачевщина...» Замечание это совершенно правильно: оба термина—и «разинщина» и «пугачевщина»—бесспорно *дворянского* происхождения; в самой их структуре отражено презрительное и полное ненависти отношение дворянина к массовому крестьянскому движению[1]. Учтя указания товарищей Сталина, Кирова и Жданова, историки заменили эти презрительные дворянские термины более правильными—«восстание Разина», «восстание Пугачева» или «крестьянская война под руководством Пугачева» (последнее выражение применено в учебнике под редакцией проф. А. В. Шестакова).

* * *

Крестьянское движение между восстаниями Разина и Пугачева почти не нашло своего отражения у Покровского. «После Разина ровно 100 лет не было в России большого крестьянского движения. Можно было подумать, что народ в отчаянии опустил руки»[2]. Это положение как бы сбрасывает со счетов такое огромное по размаху и значительное по содержанию движение, как булавинское (1707—1708 гг.). Но мы не найдем в работах Покровского сколько-нибудь подробного освещения и таких вопросов, как Астраханское восстание 1705—1706 гг., как огромное башкирское восстание Алдара и Кусюма (1705—1711 гг.), в которых башкиры действовали вместе с другими национальностями (казахами, татарами и пр.). Казань как крупный стратегический пункт манила к себе восставших, подтягивавших к ней войска со всего огромного пространства. Восстание Кара Сокала (не говоря уже о крупнейшем башкирском восстании XVII в., так

---

[1] Вообще аналогичное образование слова от фамилии через окончание «щина» всегда по существу выражает отрицательное отношение к явлению.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 128.

называемом «Сеитовском восстании»), а также восстание Батырши в «Русской истории с древнейших времен» М. Н. Покровского не нашли отражения. Мы напрасно стали бы искать у Покровского и русского крестьянского движения в центральных областях Российской империи в XVIII веке—крестьянских неповиновений помещику и прямых восстаний, движения русских крестьян времени бироновщины или елизаветинского царствования.

С середины XVIII в. (после 1762 г.) усиливаются явления крестьянского самозванства—одного из первых предвестников пугачевского движения, появляются многочисленные «Петры III», организующие около себя группы восставшего крестьянства. У Покровского из этих самозванцев упомянут лишь солдат Кремлев[1]. Крестьянское движение XVIII в. на Украине—ответ на усиление закрепощения, исходящего от Российской империи,—никогда не привлекало внимания Покровского. Отметим, что и значительное движение рабочих людей крепостных мануфактур центральной России—движение, относящееся к 50-м годам XVIII в., также осталось вне внимания Покровского. Между тем волнения на Московском суконном дворе 1752 г. освещены даже в «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьева. Значение этих волнений подтверждено обширным документальным изданием «Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII в.»[2].

Лишь некоторые отдельные эпизоды крестьянских волнений незадолго до восстания Пугачева освещены Покровским: например, волнения яицкого казачества 1772 г., почти непосредственно примыкающие к восстанию Пугачева, волнения уральского крестьянства и рабочих людей 50-х и 60-х годов XVIII в. Эти волнения необходимы Покровскому в связи с его трактовкой восстания Пугачева как *уральской* революции; специально за историей крестьянского массового движения на территории всей страны он не следит, не ставит перед собой такой задачи[3].

Поэтому можно перейти сейчас непосредственно к разбору того, как освещает М. Н. Покровский крупнейшую крестьянскую войну XVIII в.—восстание Пугачева.

* *
*

Не в пример восстанию Разина Покровский уделил восстанию Пугачева значительное внимание. Уже это одно является большим плюсом. В прежних общих исторических курсах обходили вопрос о Пугачеве или отводили ему самое незначительное место. О ложном *освещении* восстания в общих работах буржуазно-дворянских историков не приходится и говорить: «Пугачевщина» представлялась не как

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 129.
[2] М.—Л., 1937, изд-во Академии Наук СССР.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 123.

проявление классовой борьбы крестьян с помещиками, а как дикий и бессмысленный грабеж несчастных дворян нахлынувшей на них оголтелой «чернью».

Особенно показателен в смысле «умолчания» о восстании Пугачева «Курс русской истории» Ключевского. В так называемом т. V курса, представляющем собой не тот пятый том, который готовился Ключевским к изданию перед смертью, а запись студенческих лекций, о восстании Пугачева просто нет ни слова. Даже Разину больше «повезло» у Ключевского. Возможно, конечно, что цензурные условия помешали Ключевскому осветить этот вопрос, но хоть упомянуть то о нем он мог,—упомянул же он о восстании Разина и дал характеристику его. Следовательно, и в этом случае мы встречаемся у Ключевского с типичной чертой буржуазного историка—замалчиванием массового движения.

Покровский отвел восстанию Пугачева целый отдел крупной гл. XI своей «Русской истории с древнейших времен». Отдел носит название «Домашний враг». В дальнейшей своей работе М. Н. Покровский не раз останавливался на восстании Пугачева: он уделил ему больше внимания, чем Разину, и в «Русской истории в самом сжатом очерке» (1920). В дни, посвященные памяти Пугачева в 1925 г., Покровский опубликовал в «Правде» статью «К полторастолетию смерти Е. И. Пугачева» [1]. В том же 1925 г. он опубликовал в «Вестнике Коммунистической Академии» статью «Новые данные о Пугачевщине» [2]. Он опубликовал в 1926 г. обширное предисловие к первому тому документального сборника Центрархива «Пугачевщина». В следующем, 1927 г., Покровский поместил в «Историке-марксисте» (т. III) довольно обширную рецензию—полемический ответ на книжку Чужака о Пугачеве. Рецензия эта резко полемическая, под названием «Неправда об историках-марксистах», но помимо полемики она содержит общие формулировки о характере восстания Пугачева и о самом Пугачеве.

Крупнейшими вопросами при разборе темы о восстании Пугачева являются следующие: общая характеристика восстания, его классовая направленность, движущие силы восстания, оценка роли отдельных классовых групп; «программа», лозунги и тактика восстания, ход восстания, личности руководителей, причины поражения восстания. Остановимся последовательно на всех этих вопросах, освещая слагающуюся и видоизменяющуюся концепцию Покровского, эволюцию его взлядов по каждому из этих вопросов в отдельности.

В 1911 г. в «Русской истории с древнейших времен» Покровский характеризует восстание Пугачева опять-таки как *казацкое* восстание. Но, в отличие от восстания Разина, восстание Пугачева с точки зрения Покровского является продуктом общерусских условий и имеет не «периферийное», а общероссийское значение. Это положение Покровского верно. До него в общих курсах истории России никто с такой яс-

---

[1] «Правда», 1925, № 25 (2952) 27 янв. (Предисл. к I т. изд. Центрархива.)
[2] 1925, XII.

ностью не говорил об этом: «Пугачевщина положила резкую грань между двумя периодами развития дворянской России. Последующие три четверти столетия русской истории проходят под знаком «пугачевщины», и только переход к новым условиям производства с 60-х годов снимает этот «знак»; снимает настолько основательно, что возобновление явления оказывается невозможным даже при самых на первый взгляд благоприятных условиях. Пугачевщина нанесла удар, глубоко проникший в самую сердцевину крепостного хозяйства: это потому, что она сама была *продуктом общерусских экономических условий,* которые на восточной окраине проявлялись наиболее интенсивно, но отнюдь не были ее местной особенностью» [1]. Особенно важно последнее, совершенно правильное положение. Покровский с самого начала избежал здесь ошибки, совершенной в анализе восстания Разина,— восстание Пугачева действительно имело «общерусское значение».

Но далее, останавливаясь на общей характеристике восстания, Покровский вновь резко различает крестьянство с одной стороны и казачество—с другой, характеризуя все восстание в целом не как единое, а как соединение двух разнохарактерных «взрывов»—крестьянского и казачьего. «В сущности,—пишет Покровский,—пугачевщина явилась соединением двух взрывов, вызванных каждый самостоятельными причинами: то были конечные эпизоды борьбы за свободу уральского крестьянства, с одной стороны, уральского казачества—с другой. Разобравшись в антецедентах бунта в том и в другом случае, мы будем иметь уже достаточно полную его «этиологию»—достаточно полное представление о его причинах. Уральское движение было самостоятельным, остальное лишь сообщенным: но сообщиться оно могло только потому, что основной экономический фон всюду был одинаков, разница была лишь в степени интенсивности гнета и отчасти, в связи с этим, в степени организованности движения» [2].

При анализе *основных* причин, вызвавших движение, Покровский отмечает на первом месте *интенсификацию барщины*—явление общегосударственного масштаба, значения которого, конечно, никак не приходится отрицать. «Восстание крестьян в 1773—74 годах было первым ответом на *интенсификацию барщины»,*—пишет Покровский [3]. Одной интенсификацией барщины Покровский не ограничивается, он ищет далее причины и во всех видах крепостного угнетения, которое поднимало на борьбу с крепостническим режимом всех, кто хоть сколько-нибудь терпел от него. «Горючего материала для восстания было сколько угодно, и его создала *уже не одна интенсифицированная барщина»,*—пишет Покровский. «Поднималось все, что было задавлено и обижено господствующим режимом.» Далее Покровский приводит примеры участия в восстании экономических крестьян, едва

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 118 (курсив мой.—*М. Н.*).
[2] Там же, 118—119.
[3] Там же, 118.

ли особенно чувствовавших интенсификацию барщины накануне восстания Пугачева (разряд этот был только что создан Петром III из бывших церковных крестьян после секуляризации церковных вотчин в 1764 г.). Отмечает Покровский и участие мелкого мещанства поволжских городов, попов, особенно сельского духовенства и др. Ошибкой Покровского и в этом случае является недооценка участия национальностей в восстании Пугачева,—в «Русской истории с древнейших времен» он говорит лишь о башкирах и то очень бегло.

Хотя оба восстания уже были одинаково неправильно определены Покровским не как *крестьянские,* а как *казацко-крестьянские* восстания, все же он в 1911 г. в «Русской истории с древнейших времен» гораздо больше подчеркивает *крестьянский* элемент в восстании Пугачева. Увлеченный силой и доказательностью фактов Покровский в этой работе нередко выдвигает вперед такие факты и подчеркивает такие стороны движения, которые говорят именно о *крестьянском* его характере. Но на общей квалификации восстания Пугачева, даваемой Покровским, это, к сожалению, коренным образом не отражается. Цитируя чрезвычайно яркие донесения гр. Панина к Екатерине от августа 1774 г., Покровский замечает: «Довольно было двум его (Пугачева) посланным, без всякой вооруженной силы, явиться в какую-нибудь местность, чтобы целые волости поднялись как один человек». Далее он приводит чрезвычайно красочные факты из перипетий Панина, не находившего лошадей у окрестных крестьян еще за несколько сот верст до места восстания—в окрестностях города Рязани. Приведен также рассказ из мемуаров Рунича о том, как переодетый член секретной комиссии (сам Рунич) наблюдал повсюду в деревнях, через которые он проезжал, такое напряженное ожидание «чернью» прихода «Петра III» и такую готовность служить ему, что не решился препятствовать проявлениям этого ожидания, опасаясь за собственную шкуру. Помещичьи имения Поволжья, густо населенные крепостным крестьянством, представляли собою, по мнению Покровского (и это правильно), питательную среду для пугачевского движения. В фактическом изложении истории восстания—а надо отметить, что это фактическое изложение в отделе, посвященном восстанию Пугачева, неизмеримо богаче фактами, чем текст о восстании Разина,—Покровский уже подхватил *основной* антагонизм *крестьянской* войны—столкновение лицом к лицу крепостного человека с его эксплоататором—помещиком, барином. «Там, где мятеж пылал ярким пламенем, все население превращалось в охотника, а помещики в травимую дичь»[1]. Особо интересно в этом отношении описание Покровским взятия Казани и вообще роли Казани в восстании: «в Казань со всех сторон стекались поволжские помещики, ища там спасения от восставшего «глупого мужичья», и вдруг именно сюда является с военными силами восставших сам Пугачев»[2].

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 139.
[2] Там же, 140.

Уже в «Русской истории с древнейших времен» Покровский обращает внимание на «буржуазный» элемент «пугачевщины»,—этим элементом является, по его мнению, зажиточное казачество. Правда, в 6-м издании «Русской истории с древнейших времен» к слову «буржуазные» добавлено латинское «quasi», но что именно под этой прибавкой разумеет Покровский—непонятно. Самое содержание латинского термина ставится под вопрос благодаря предшествующему тексту: казачество расслоено, согласно Покровскому, вторгнувшимся на берега Яика денежным капиталом, причем же тут «quasi»? Покровский пишет: «Монополизация казною рыбного промысла привела на практике к быстрому вторжению на Урал денежного капитала и в связи с этим к быстрому расслоению общины, которая и раньше, как всякая опять-таки казацкая община, содержала в себе элементы более зажиточные, quasi буржуазные, рядом с бедняками»[1]. В этом же тексте имеется ссылка на характеристику запорожской общины в т. II «Русской истории с древнейших времен». Но и там мы не найдем прямого ответа на вопрос о значении латинской приставки,—кроме соображений Покровского о крепостнической помещичьей природе зажиточного запорожского казачества там ничего не содержится.

Через девять лет—в «Русской истории в самом сжатом очерке» взгляды Покровского на общий характер восстания Пугачева значительно изменились. Прежде всего восстание Пугачева попадает в отдел, озаглавленный «Революционная буржуазия». Заметим, что в *этот же* отдел попадают и декабристы: он начинается восстанием Пугачева и заканчивается восстанием декабристов. Это чрезвычайно характерно. Покровский рассматривает крестьянское восстание против феодального гнета как явление, связанное именно с *буржуазной* революцией. Крестьянское движение—база, на которой покоится буржуазная революционность: «Уяснив себе основные черты буржуазной революционности, перейдем теперь к тому фундаменту, на котором должна была стоять русская буржуазная революция, как и всякая другая: к народному крестьянскому движению»[2]. Мы видим, что в основном восстание Пугачева здесь уже трактуется, как ранняя буржуазная революция в России. Такая трактовка является значительным преувеличением. Элемент *политической* идеологии, сознательности политической борьбы, присущий буржуазной революционности, борющейся за свержение феодально-крепостного строя и очищающей путь капиталистическому строю, должен быть в наличии у явления, открывающего собой этот новый всемирно-исторический этап борьбы. В стихийном неорганизованном крестьянском восстании, в движении, представляющем собою, по словам товарища Сталина, «стихийное восстание крестьянства против феодального гнета», этого элемента найти нельзя.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 126.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 128.

Политического лозунга *борьбы с самодержавием*, существеннейшего лозунга буржуазной революционности, стихийное крестьянское восстание не выдвигало и не могло выдвинуть. Поэтому в ленинской периодизации революционного движения в России *первый* этап открывается именно восстанием декабристов, а вовсе не Пугачевым, как у Покровского. «...Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала—дворяне и помещики, декабристы и Герцен»,—говорит Ленин в своей работе «Памяти Герцена» [1]. Ленин неоднократно подробно излагает и мотивирует свою периодизацию истории революционного движения в России, неизменно начиная ее именно с декабристов. Особенно подробно развита эта мысль в работе Ленина «Из прошлого рабочей печати в России» [2]. Эта периодизация еще раз подтвердила антиленинский характер схемы Покровского.

Хотя восстание Пугачева в «Русской истории в самом сжатом очерке» и правильно отнесено к общему разряду «народных крестьянских движений», уяснение самого исторического *смысла* этого движения у Покровского, как видим, неправильное. К этому можно прибавить впервые проявившуюся в «Русской истории в самом сжатом очерке» крайнюю модернизацию причин, вызвавших восстание Пугачева: одной из причин восстания якобы была *крестьянская земельная теснота* [3]. Мотив этот введен Покровским в феодально-крепостное время явно из капиталистической эпохи: дело было не в «земельной тесноте» крестьянства в собственном смысле этого слова, а более всего в отягощении крепостных повинностей в пользу помещика, во все более интенсивном *наступлении* помещика на крестьянский клин, в увеличении барской запашки за счет крестьянской земли— явлении столь характерном для экономического процесса XVIII в. Следовательно, дело не в «земельной тесноте», а в классовой борьбе, в феодально-крепостном угнетении.

Заметим, что интенсификация барщины как одна из важных причин восстания Пугачева, конечно, не забыта Покровским и в «Русской истории в самом сжатом очерке». Но на этот раз она гораздо более резко и ярко, чем раньше, освещается Покровским как результат развития торгового капитала.

Ленинская теория постепенного создания общероссийского рынка, складывающегося в XVII в. [4], подменяется Покровским развитием торгового капитала вообще, а для восстания Пугачева—именно излюбленной им *хлебной* торговлей и даже еще уже—*хлебным вывозом*: «...нужно вспомнить, что это время, вторая половина XVIII века, было временем первого расцвета русской *хлебной торговли*»,— пишет Покровский после замечания о том, что не одна земельная

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 468.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVII, 341.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 129.
[4] В. И. Ленин, Соч., I, 74.

теснота служила причиной восстания Пугачева: «Русская пшеница уже просилась за море, Екатерина II уже вела войны с Турцией, чтобы открыть ей дорогу, а Поволжье и Приуралье—и теперь наиболее производящие, наиболее хлебные районы. Здесь аппетит помещика к прибавочному продукту был особенно острым» [1].

Это положение исторически неверно. Русская пшеница еще играла далеко не первую роль в русском хлебном экспорте, а хлебу вообще—не только пшенице—еще ряд лет не было суждено занимать первые места в русском экспорте. «Житницей Европы» и поставщицей хлеба Россия стала лишь на самом рубеже XIX в. Кроме того, и Кучук-Кайнарджийский мир, в противоположность утверждениям Покровского, вовсе не открыл путей для помещичьей пшеницы. Но это, разумеется, еще не все. Основное—в отсутствии у Покровского ленинского понимания развития в России рынка и всех сопутствующих этому явлению социальных сдвигов. Развитие рыночных отношений в широком смысле слова, а вовсе не только хлебный экспорт—причина интенсификации барщины.

В 1926 г. в предисловии к документам восстания, изданным Центрархивом, Покровский вновь возвращается к определению характера восстания Пугачева и здесь впервые с полной ясностью и по существу правильно квалифицирует его как *крестьянское* восстание: «Полтораста лет назад, 10 (21) января 1775 г., трагически закончилось последнее большое крестьянское восстание крепостной России,—начинает Покровский свое предисловие.—Бибикову... не нужно было большой проницательности, чтобы определить восстание, как направленное не столько против императрицы Екатерины, сколько против крепостного строя вообще и угрожающее не только администрации, сколько прежде всего и больше всего помещикам»,—развивает далее Покровский ту же мысль об основном характере восстания Пугачева [2]. «Пугачевщина,—еще раз подчеркивает Покровский,—была *крестьянским* восстанием: вообще говоря, *восстанием крепостных людей*» [3].

Сложный социальный состав восстания, который раньше заставлял Покровского говорить о соединении в нем по крайней мере *двух* разнородных социальных взрывов, теперь уже иначе воспринимается им. Покровский говорит об *объединении* в общем протесте против крепостнического угнетения разных социальных групп восставших: на первой же странице предисловия он подчеркивает популярность Пугачева среди «*широчайших народных слоев* от душившихся и истреблявшихся царскими чиновниками башкир, калмыков и киргизов до уральских, московских и тульских «мастеровых», от крестьян Поволжских губерний до дворовых московских помещиков...» [4] И тут,

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 129.
[2] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, I, 3 и 7.
[3] Там же, 4.
[4] Там же, 3 (курсив мой.—*М. Н.*).

как в цитированной уже статье «Новые данные о пугачевщине», относящейся к 1925 г., Покровский обращает сугубое внимание на участие в восстании Пугачева отдельных национальностей,—это является большим его плюсом.

Но этого мало. Важно подчеркнуть, что именно в этой работе Покровский признает ошибочной свою старую характеристику «пугачевщины» как прежде всего *казацкой* революции, казацкого восстания. Делает это Покровский, кстати говоря, в очень живой форме. Назвав Пугачева «предводителем крестьянской рати», Покровский с удивлением задает себе самому вопрос как бы от лица читателя: «Предводитель крестьянской рати»: но разве Пугачев не был прежде всего другого казацким атаманом? Переходя теперь к содержанию казацких бумаг, мы должны сказать, что именно в этом пункте они вносят существенную поправку в обычную характеристику... в ней не без вины и пишущий эти строки. Идя по старой литературе, мы склонны были изображать пугачевщину *первого* периода как местное казацкое движение... эта картина безусловно неверна».

Расширить значение своей ошибки до признания неверной всей характеристики восстания Пугачева в целом Покровский никогда не хотел. В статье «Неправда об историках-марксистах» он признавал ошибкой данную им в «Русской истории с древнейших времен» *личную* характеристику Пугачева, но не оценку всего движения в целом. Более того, несмотря на крупнейшее принципиальное значение замены характеристики *казацкого восстания* характеристикой *крестьянского* восстания, Покровский упрямо закрывал глаза на принципиальный характер этой поправки и считал освещение восстания Пугачева в «Русской истории с древнейших времен» правильным до самого конца. В 1927 г. Покровский писал: «А в 1925 году... на стр. 220 «Вестника Коммунистической Академии», т. XII мною формально аннулировано то именно место этого общего курса, где я говорю о личности Пугачева. О личности Пугачева, а не о пугачевщине. Характеристику пугачевщины в «Русской истории с древнейших времен» я считаю в общем и целом и теперь приемлемой—хотя опять-таки не во всех частностях. Наука русской истории двигается вперед, и я с нею»[1]. И в других местах той же работы Покровский неоднократно упоминает о своей прежней концепции, как о целиком марксистской[2].

Но правильная *общая* характеристика восстания Пугачева, правильное определение самого характера восстания, к которому пришел Покровский в конце своей жизни, не избавили его от очень серьезных ошибок в понимании восстания.

Одной из таких ошибок явилась переоценка Покровским роли

---

[1] М. Н. Покровский. Неправда об историках-марксистах. «Историк-марксист», 1927, III, 220—221.

[2] Там же, 219 и др.

крепостных рабочих в восстании Пугачева, подрисовка их Покровским под *пролетариат*—класс капиталистической эпохи.

Покровский первый среди всех исследователей восстания Пугачева обратил специальное внимание на участие в нем рабочих. Этот факт сам по себе, конечно, является его заслугой. Но беда в том, что оценку этому явлению он дал в корне неправильную, приведшую его к серьезнейшим антиленинским извращениям исторических фактов.

Это имеет место уже на страницах «Русской истории с древнейших времен». Покровский правильно обращает внимание на стремление уральских заводчиков лишить крестьян земли. Цитата из донесения оренбургского губернатора Волкова (относится к 1765 г.) приведена им вполне уместно: «Я многих (заводчиков) знаю,—пишет Волков,—*кои за правило почитают, дабы их заводские крестьяне совсем домоустройства не имели, а единственно от заводской работы питались*»[1]. Можно привести и другие источники, говорящие о той же тенденции заводчиков. Любопытно, что в первой четверти XIX в. это стремление дало свои результаты: «Люди Каноникольского завода хлебопашество имеют в малом виде»,—докладывает чиновник по начальству в 20-х годах XIX в.

Но Покровский *тенденцию* развития, подавленную еще основной, тяготеющей над всем, глыбой крепостных отношений, преувеличенно характеризует как уже завершенный процесс. Эта ошибка позволяет ему прямо говорить о *пролетаризации* уральского крестьянства накануне восстания Пугачева. «Заводчик (середины XVIII в.—*М. Н.*) эксплоатировал пролетаризованного им крестьянина *совершенно так же, как фабрикант второй половины XIX века своих «свободных» рабочих*[2]*...*»—пишет Покровский, добавляя далее, что уральские фабриканты заставляли рабочего покупать по повышенной цене товары в заводских лавках. Здесь—корни преувеличенной, модернизованной оценки роли рабочих в движении Пугачева, даваемой Покровским. Покровский считает правильным выдвигать рабочих-«рудокопов» Урала *на первое* место среди участников пугачевского восстания. «Без них не было бы той пугачевщины, какую мы знаем, было бы лишь слабое повторение одного из казацких бунтов вроде булавинского при Петре»[3]. Это сказано достаточно ясно.

Ясность эта еще более увеличивается в последующих работах Покровского. Ошибка модернизации ширится и возрастает. В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский упоминание о рабочих в восстании выделяет курсивом и вообще отводит рабочим *первое* место среди участников восстания: «А на первом месте «всеобщее волнение» охватило уральские заводы с их крепостным, рабочим

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 120 (курсив автора).

[2] Там же (курсив мой.—*М. Н.*).

[3] Там же, 118.

и крестьянским населением»,—пишет Покровский[1]. Обсуждая вопрос о возможности поддержки восстания Москвою, Покровский видит залог успеха именно в поддержке московских *фабричных:* «Если бы Пугачев сразу пошел на Москву, он, может быть, имел бы полный успех: в Москве и в Туле мастеровые тоже волновались»[2].

Но все эти формулировки буквально ничто перед формулировками работ 1925—1927 гг. «Смычка» рабочих и крестьян, отысканная Покровским в восстании Пугачева, напоминает ему не что иное, как... смычку рабочих и крестьян в Великой Октябрьской социалистической революции. Бо́льшую модернизацию трудно себе представить. Она не имеет ничего общего с исторической действительностью. Пролетариата еще *не было* во время Пугачева. Класс пролетариата создается лишь в процессе развития капитализма. Эта ошибка Покровского носит сугубо политический характер. «...Совместная борьба уральских горнорабочих... и крестьян,—пишет Покровский в предисловии к т. I «Пугачевщины» (Центрархив),—*напоминает нам о той политической смычке пролетариата и крестьянства, которая в тех же местах в 1919 году помогла нам отбить и разбить Колчака.* Нам не приходится стыдиться отдаленных родственников XVIII века,—они даже организационно стояли недалеко от тогдашнего «российского государства»... Стряхнув барина, этот крестьянин сразу приобретал способность и говорить и действовать по-человечески—полтораста лет тому назад *как и теперь*»[3].

В рецензии на книжку Чужака это глубоко ошибочное отождествление перерастает у Покровского в общую характеристику всего восстания Пугачева. Чрезвычайно любопытно, что в полемическом задоре Покровский пытается в 1927 г. задним числом распространить эту позднейшую неверную характеристику на все свои более ранние работы о Пугачеве. «Марксисты, после того, как они пересмотрели свои взгляды на *личность* Пугачева при свете новых документов, ранее никому, кроме специалистов, не известных (а «специалисты» умели держать язык за зубами), не изменили своей *основной* точки зрения на пугачевщину, как массовое движение и даже на классовое содержание этого движения. Что движение было *не казачье, а рабоче-крестьянское,* что это было движение не чисто стихийное, а в известной мере организованное, это было сказано еще в 1911 году, в первой марксистской характеристике Пугачева»[4]. В этом же духе модернизировал Покровский восстание Пугачева в своей статье в «Правде», написанной к полуторастолетию со дня казни Пугачева.

Пролетариат не существует в феодально-крепостную эпоху,—он

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 130.
[2] Там же.
[3] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, 1, 13 (курсив мой.—*М. Н.*).
[4] М. Н. Покровский. Неправда об историках-марксистах. «Историк-марксист», 1927, № 3, стр. 219. Курсив везде Покровского; в последней фразе он имеет в виду свою «Русскую историю с древнейших времен».

возникает и развивается в процессе развития капитализма. Процесс возникновения класса капиталистического общества—пролетариата—относится, как известно, к стадии машинной индустрии. О наличии класса пролетариата во время восстания Пугачева, конечно, не может быть и речи. На Урале существовали «рабочие люди», чаще всего из приписных казенных крестьян, прикрепленных к заводам. По идеологии своей эта масса была близка к крестьянству. В ряде случаев эту близость с крестьянами подчеркивает и сам Покровский. Например, участие рабочих в восстании Пугачева он считал ответом на *ту же барщину,* которая на заводах Урала принимала особо тяжелые формы. Но это не помешало Покровскому все же дать приведенную выше неправильную общую характеристику восстания Пугачева как *рабоче-крестьянского* движения, да еще утверждать, что он, собственно говоря, всегда так думал, начиная с первой своей работы о восстании Пугачева. Вообще модернизация явлений, грубое перенесение черт более поздних исторических явлений на более ранние—одна из частых ошибок Покровского.

Документы говорят с величайшей яркостью именно о *крестьянских* мотивах, заставивших крепостных крестьян, работавших на заводах, принять столь активное участие в восстании. «Компанейщики завели премножество заводов и так крестьян работою утрудили, что в ссылках того не бывало да и нет...»

Самый термин «крестьянин», приложенный к крепостному рабочему человеку, не вызывает никаких оговорок или возражений в документах, исходивших из лагеря восстания. Хлопуша называется «над заводскими крестьянами полковник». В замечательном указе Пугачева «всему миру Авзяно-Петровского завода» об изготовлении мортир (от 17 октября 1773 г.), как в зеркале, отразились все особенности участия уральских горнорабочих в восстании: они получают от Пугачева поручения по своей специальности—изготовляют артиллерийские орудия для восставших. Эта техническая функция, функция производственного характера, конечно, индивидуализирует участие именно крепостных рабочих людей в восстании Пугачева—функция, не похожая на крестьянскую. Но что обещает за это рабочим самозванный государь «Петр Федорович»? Совершенно то же и в тех же формулировках, что уже десятки раз обещал в своих манифестах крестьянам: «Как деды и отцы ваши служили предкам моим, так и вы послужите мне, великому государю, верно и неизменно до капли крови и исполните мое повеление. Исправьте вы мне, великому государю, 2 мартила и 3 бомбами и с скорым поспешением ко мне представьте; а за то будите жалованы крестом и бородою, рекою и землею, травами и морями и денежным жалованьем, и хлебом и провиянтом и свинцом, и порохом, и всякою вольностию»[1]. В последнем обещании вся суть:

[1] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие I, 33—34.

«всякая вольность» или «вечная вольность»—противопоставленная «вечной крепости»—означала освобождение от крепостного гнета. Обещание земли, трав, рек (т. е. свободного права рыбной ловли), старообрядческие лозунги (пожалование «крестом и бородою», которую так берегли старообрядцы как важный признак «образа и подобия божия», по которому-де создан человек),—все это те же обещания, которые адресует Пугачев и ко всей массе восставшего крестьянства.

31 июля 1774 г., в самый разгар крестьянской войны, после взятия Казани, Пугачев обратился с одним из самых своих ярких манифестов непосредственно к *помещичьим крестьянам* и обещал им то же: «Жалуем сим именным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне и награждением древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками...[1]». Лозунги движения были *общими* и для крепостных рабочих людей, особенно тяжело чувствовавших гнет крепостной неволи, и для крестьян, задавленных помещичьей эксплоатацией. И лозунги эти были *крестьянскими,* как была крестьянской и самая война.

В довершение надо сказать, что Покровский хотя и охарактеризовал социальное существо пугачевского восстания именно как *крестьянское*, все же усиленно искал какого-либо руководителя крестьян в лице особого класса или особой социальной группы. *Основным* ложным путем, по которому он пошел, был, как уже нами указано, путь поисков *пролетариата,* отчего даже и самое восстание неожиданно получило название *рабоче-крестьянского*. Но были ложные пути и в других направлениях. В рецензии под заглавием «Неправда об историках-марксистах» Покровский так же внезапно выдвигает социальную группу *дворовых* людей в руководители восстания, причем доказывает, что именно эту якобы глубоко правильную мысль он проводил еще в работе 1911 г., т. е. в «Русской истории с древнейших времен». «...Я определенно намечаю в качестве руководителя движением не одно лицо,—пишет Покровский в этой рецензии,—а определенный *слой* и в выявлении этого слоя я вижу между прочим одну из главных своих заслуг. У нас слишком мало занимались вопросом о роли дворовых крепостной России,—а заинтересованные современники не даром в дворовых видели главную «опасность»[2].

Мы уже охарактеризовали все основные движущие силы восстания Пугачева в представлении Покровского и дали критический разбор его положений: уже были охарактеризованы крестьяне, крепостные рабочие люди, отдельные национальности, такие участки движения, как мелкое мещанство, подчас даже купцы, духовенство, особенно сельские попы.

---

[1] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие I, 40—41.
[2] «Историк-марксист», 1927, III, 222.

Для полноты характеристики надо добавить несколько положений Покровского об участии в восстании национальностей. Вообще именно Покровскому принадлежит большая заслуга по выделению и внимательной характеристике роли отдельных народностей в восстании Пугачева. У прежних авторов общих исторических курсов некоторые материалы по этому вопросу приводятся (С. М. Соловьев и др.), но впервые *выделена* и разобрана роль народностей в этом вопросе именно Покровским. Более того, в его работе «Новые данные о пугачевщине»[1] приводится новый архивный ранее неисследованный фактический материал об угнетении национальностей в «тюрьме народов»— царской России. Материал этот настолько ярок, что по праву уже давно вошел в преподавание (даже среднешкольное) и в популяризацию вопроса о восстании Пугачева. Таким образом, Покровский в данном случае, в противоположность обычному положению, даже обогатил вопрос с фактической стороны.

Но нуждается в критических замечаниях его трактовка самого участия национальностей в движении. Не усвоив марксистской предпосылки *неизбежности краха* крестьянского движения, лишенного пролетарского руководства, неизбежности его поражения самодержавием, Покровский, вообще недооценивающий *стихийность* крестьянского движения и его *политическую* темноту, отсутствие политической сознательности, недооценил и внутренние противоречия, с которыми бессильно было сладить стихийное крестьянское движение. Противоречия, внесённые сюда националами—участниками восстания, стоят здесь не на последнем месте.

В поздней работе о восстании Пугачева—в предисловии к сборнику документов Центрахива «Пугачевщина»—Покровский подходит к вопросу о столкновениях башкир, сжигающих крепостные уральские заводы, с восставшими заводскими крестьянами, и подходит главным образом с точки зрения того *впечатления,* какое эти столкновения производили на восставшее крестьянство. С другой стороны, несколько преувеличена роль Пугачева как умиротворителя этих столкновений[2]. «Мужицкий царь очень заботился о том, чтобы его армия не производила на крестьянство того же впечатления, как армия дворянской царицы Екатерины. Насколько это ему удалось? Заранее можно сказать, что плохо. Пугачевские войска по дисциплине стояли никак не выше наших партизан 1918—19 годов, а кроме того к делу примешивалась национальная вражда: в наших документах есть ряд указаний на жестокие грабежи башкир среди русского населения уральских заводов.

---

[1] «Вестник Коммунистической академии», XII.

[2] Замечу, что эта ошибка Покровского, в крайне преувеличенном виде, сказалась даже в последнем фильме «Пугачев». Пугачев в эпизоде столкновения русского, заводского крестьянства и жгущих заводы башкир подрисован прямо под большевистского агитатора, в «беседе» с башкирами доводящего до их сознания основные марксистские положения о классовой борьбе.

В минуту огромного национального подъема нельзя было заставить башкир щадить русского колонизатора, не щадившего башкира в предыдущий период. И все добросовестнейшие усилия башкирских полковников делу помогали мало. Но поскольку у Пугачева руки доставали, он умел сохранить от разгрома не только мужицкое, а и барское добро...» [1]. Опять-таки надо отметить крайнюю модернизацию: нельзя сравнивать степень сознательности гнавших интервентов партизан, участников гражданской войны Великой Октябрьской социалистической революции, с пугачевцами. Почему надо предположить большую сознательность именно пугачевцев, а не партизан? Перенесение масштабов явлений и самых типов событий из современности в далекое прошлое—вообще характерно для ошибок Покровского.

Между тем именно в этом столкновении башкир, жгущих заводы, с русским крестьянством видно яркое проявление противоречий именно *крестьянского* восстания: местные интересы, тяготеющие над крестьянским восстанием, привычка считать решающе важными дела именно своего угла, сказываются тут со всей силой. Крестьянские руководители восстания, разумеется, никак не могли преодолеть этого характернейшего противоречия, раздиравшего восстание и в числе других противоречий приведшего его к гибели.

Остановимся теперь на такой крупной ошибке Покровского, как преувеличение сознательности и организованности крестьянского движения. Уже ранее цитировался тот текст Покровского, который гласил, что крестьянское восстание Пугачева не являлось чисто стихийным [2]. Эта важная ошибка связана и с другой важнейшей—уверенностью Покровского в *возможности* победы не руководимого пролетариатом крестьянского восстания.

Эта группа ошибок оказалась очень живучей в так называемой «школе Покровского». Это отмечено в известном постановлении жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР. «При освещении крестьянских восстаний до начала XX столетия,—говорится в постановлении,—преувеличивается их организованность и сознательность. Авторы учебников недостаточно, видимо, отдают себе отчет в том, что крестьяне вне руководства рабочего класса были способны лишь на стихийные и неорганизованные движения. Авторы, видимо, недостаточно поняли десятки раз повторявшуюся Лениным мысль о том, что организованный характер крестьянскому революционному движению придали только рабочий класс и большевистская партия, когда они окрепли и выросли в многолетней борьбе против помещиков и капиталистов» [3].

---

[1] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, I, 10.
[2] «Историк-марксист», 1927, III, 219.
[3] Сборник «К изучению истории». Партиздат, 1937, стр. 38.

Преувеличен по значению уже самый термин Покровского—«программа» Пугачева, неоднократно повторяемый в его работах. Говорится о «программе» Пугачева и в «Русской истории с древнейших времен» и в «Русской истории в самом сжатом очерке»; в последней даже в оглавлении, в перечислении подотделов главы, прямо значится выражение «программа Пугачева». Такое словоупотребление, конечно, неточно и очень преувеличено. Программа—это определенный, сознательно выработанный (чаще всего *партийной организацией*) политический документ об основных положениях и целях данной организации. Говорить поэтому о программе стихийного крестьянского движения, конечно, не приходится. Правильнее употреблять общее выражение *о целях* движения или хотя бы о его «лозунгах», но никак не о «программе».

Покровскому принадлежит также ряд противоречивых формулировок в таком важном вопросе, как отношение «программы» восстания Пугачева к самодержавию. С одной стороны, у него есть формулировки, преуменьшающие значение этого вопроса, с другой—явно преувеличивающие его.

Не освещенное светом политического сознания крестьянское восстание было бессильно *осознать* себя как направленное против самодержавия. Лишь XIX век, новая, открытая Великой буржуазной французской революцией, эпоха победы капитализма над отжившим феодально-абсолютистским режимом принесла русскому революционному движению этот политический лозунг. Ленин подчеркнул, что *первыми* носителями *этой* политической сознательности, значение которой надо очень высоко оценить, явились в русском революционном движении декабристы. «В 1825 году Россия *впервые* видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами»,—пишет Ленин [1]. Это слово «впервые» у Ленина отнюдь не случайно: объективно восстание Пугачева было, конечно, направлено *против* царизма, но оно было лишено субъективного политического сознания этой направленности и в «программе» своей, конечно, было бессильно что-либо этому противопоставить. Товарищ Сталин в беседе с Эмилем Людвигом подчеркнул эту важнейшую особенность темноты стихийного крестьянского движения: и Разин и Пугачев, как отметил товарищ Сталин, были «царистами». «...Говоря о Разине и Пугачеве,—указал товарищ Сталин,—никогда не надо забывать, что они были царистами: они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг» [2].

Разин и Пугачев не сумели подняться до осознания необходимости борьбы с *царизмом* и даже пользовались для увеличения своего пре-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 348. Доклад о революции 1905 года (курсив мой.—*М. Н.*).

[2] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б), Партиздат, М., 1934, стр. 159.

стижа царским именем: Пугачев пользовался им в прямой форме, присвоив себе имя императора Петра III; Разин же пользовался им косвенно, разглашая легенду о том, будто бы царевич, сын Алексея Михайловича (к тому времени уже умерший), находится в войсках Разина (особая барка, обитая красным бархатом, даже якобы везла этого «царевича» всюду за разинскими войсками). Вторая легенда, созданная Разиным, имеет тот же характер: якобы «собинный друг» царя Алексея Михайловича, в тот момент бывший в царской опале, патриарх Никон, тоже находился в рядах восставших («его» барка была обита черным бархатом). Это свойство крестьянского стихийного движения—покрывать *свои* стремления и чаяния псевдонимом «царизма» Ленин метко назвал «наивным монархизмом». Покровский же, не приняв во внимание ленинского термина, назвал это явление крайне неудачным термином «мистический царизм».

Анализ этого явления, данный Покровским, неправилен. Прежде всего он недостаточно анализирует *объективную* направленность восстания против царизма, против самодержавно-крепостнического строя.

Согласно Покровскому, восстание Пугачева якобы хотело «свести всю революцию к истреблению дворян при сохранении во всем прочем старого порядка» [1].

По мнению Покровского, при *буквальном* понимании воззваний Пугачева все требование восставших сводилось якобы к желанию стать казенными крестьянами [2]. Этому резко противоречит факт участия самих этих казенных крестьян в восстании Пугачева. Это участие, кстати говоря, было учтено, как мы помним, и самим Покровским,—соответствующий текст цитировался выше. Но на выводы Покровского это не повлияло.

В «Русской истории в самом сжатом очерке» Покровский очень своеобразным способом смазывает стихийность крестьянского восстания. Говоря о невозможности понять сущность самодержавия, он сравнивает крестьян с буржуазными профессорами и учеными и приходит к чрезвычайно «утешительному» для крестьян выводу, что профессора ведь «тоже» не понимали сущности самодержавия. «Манифест (Пугачева) не только не предполагал политического переворота, но, напротив, сохранял самодержавную власть во всей неприкосновенности. Люди, которые только что казнили своего маленького государя—помещика, должны были остаться послушными рабами большого помещика—царя. Автор пугачевского манифеста (едва ли это был сам Пугачев), видимо, совершенно не понимал, зачем и почему существует самодержавие, не понимал, что невозможно сохранить коронованную верхушку крепостнического государства, разрушив весь его фунда-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 143.
[2] Там же.

мент. Но этого нельзя ставить ему в вину, когда мы знаем, что 100 лет спустя образованные люди, профессора, думали, что можно освободить народ, а царскую власть в России оставить»[1].

Дело здесь, разумеется, не в большей или меньшей образованности крестьянина и профессора, а в их классовом существе. Антагонист помещичьего строя—крестьянин *не мог* в силу условий своей забитости и темноты подняться до этого политического сознания. «И крепостничество и капитализм гнетет рабочего и стремится удержать его в темноте,—сказано у Ленина.—Но крепостничество *может* удержать и *веками* держит миллионы крестьян в забитости (напр., в России с IX по XIX век; в Китае еще больше столетий). А капитализм *не может* удержать рабочих в неподвижности, сонности, забитости, темноте»[2]. Эта характерная черта крепостничества сказывается, разумеется, и в ходе крестьянского восстания—в этом Покровский не смог как следует разобраться.

В позднейших работах, например, в том же предисловии к первому тому документального издания Центрархива «Пугачевщина», Покровский идет по линии крайнего преувеличения крестьянской сознательности. «Пугачевцы отлично понимали классовую природу стоявшей против них государственной машины—и иногда даже «перегибали палку», изображая «российскую империю» просто как царство дворян, игнорируя Екатерину (о которой вообще пугачевские манифесты почти и не упоминают)»[3]. И, с другой стороны, в этой же работе Покровский усматривает весь политический смысл восстания в «замене злой царицы Екатерины II добрым царем Петром Федоровичем»[4]. В этой формуле не хватает ленинского анализа крестьянского «наивного монархизма». «Псевдоним» крестьянского восстания, истинное его содержание не раскрыто. Как уже указывалось, Покровский не охарактеризовал объективной направленности крестьянского движения против царизма. Конечно, восставшие крестьяне вовсе *не хотели* сохранить самодержавно-крепостнический строй, но по своей темноте они просто не имели возможности подняться до формулировок политического характера, относящихся к самодержавному строю.

Здесь уместно разобрать еще один вопрос, характерный для концепции Покровского,—изображение казни Пугачева. Секретное распоряжение Екатерины о том, чтобы Пугачев был обезглавлен до четвертования, а лишь потом уже труп его был четвертован, было неизвестно Покровскому. Поэтому он создал позже широко распространенную его «школой» и особенно автором этой статьи[5] легенду о «мужике-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 131.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVII, 514.
[3] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, I, 4.
[4] Там же, 8—9.
[5] В моей работе «Как жили и боролись крестьяне в крепостное время» и в более ранней работе «Крестьянские революции—разинщина и пугачевщина».

палаче», якобы оказавшем последнюю «милость» мужицкому царю и сразу отрубившем ему голову. «Но казнивший Пугачева палач, по рассказам современников, «ошибся», отрубив голову сразу: обряд «четвертования» пришлось исполнять уже над трупом. Так мужик в красной рубашке оказал мужицкому царю последнюю услугу, какую мог оказать»[1]. Документы, опровергающие это положение, сравнительно недавно найдены. Они были впервые использованы А. Н. Чулошниковым в его статье «Казнь Пугачева и его сообщников»[2]. Правильное же замечание Пушкина в «Истории Пугачева»—«Палач имел тайное повеление сократить мучения преступников»—было не документировано и поэтому казалось маловероятным.

Между тем легенда о «последней милости» мужика-палача не имеет под собой никаких оснований. Почву из-под нас выбивает письмо кн. А. А. Вяземского к Екатерине II из Москвы, относящееся к началу января 1775 г., не позднее 6-го числа, т. е. до дня казни: «как и в сентенции сказано глухо, чтобы четвертовать, следовательно и намерен я секретно сказать Архарову[3], чтобы он прежде приказал отсечь голову, а потом уже остальное, сказав после, ежели бы кто его о сем стал спрашивать, что как в сентенции о том ничего не сказано, примеров же такому наказанию еще не было, следовательно ежели и есть ошибка, оная извинительна быть может»[4].

Конечно, причиной подобного «смягчения» казни является отнюдь не «человеколюбие» императрицы Екатерины II, жесточайшей крепостницы и притеснительницы крестьянства. Но едва ли правы и те исследователи, которые считают причиной этого «смягчения» боязнь Екатерины II усилить сочувствие к Пугачеву жестокой казнью[5]. Москва и так была полна дворовых, сочувствовавших Пугачеву. Тогда и казнь над Пугачевым Екатерина II могла бы совершить не в Москве, а где-нибудь в другом месте. Думаю, правдоподобнее всего предположение, что именно боязнь европейского общественного мнения, в частности, мнения европейских корреспондентов Екатерины II, сыграла здесь решающую роль: «Северная Семирамида», как известно, переписывалась с Вольтером между прочим именно о Пугачеве. Казнить смертной казнью своего лютого врага Пугачева и в то же время ухитриться прослыть «милостивой»— эта двойная игра входила в расчеты Екатерины.

Конечно, не только неизвестность цитированного документа, но и ложная тенденция *преувеличения крестьянской сознательности* была причиной моей ошибки и ошибки Покровского, широко распро-

---

[1] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, I, 3.
[2] «Исторический сборник» «Русское прошлое». П.—М., 1923, № 3.
[3] Московскому губернатору.
[4] Подлинник в УЦГАЛ. Секретная экспедиция сената, д. 16571 (черновик письма). Цитирую по сборнику «Восстание Емельяна Пугачева». Огиз, Соцэкгиз, 1935, стр. 200.
[5] См. там же, вводная статья.

странивших легенду о «последней милости» палача-мужика «мужицкому царю».

По этой же линии идет ошибка Покровского и его «школы», состоящая в преувеличении моментов организованности крестьянского восстания. Покровский отмечает, что артиллерия Пугачева была сильнее артиллерии правительственных войск, и подчеркивает, что Пугачев ввел правильную рекрутчину; войска Пугачева называет «настоящей армией». Правда, в предисловии к документальной публикации Центрархива «Пугачевщина» Покровский стоит на иной точке зрения—теперь уже армия Пугачева «немного хуже» екатерининской[1]. Конечно, у Пугачева были отдельные слабые элементы организованности—об этом говорят многочисленные факты: и самое наличие «военной коллегии», и наличие вооруженных и боеспособных отрядов, и наличие артиллерии и даже литья пушек. Замазывать эти факты отнюдь нельзя. Но ни Покровский, ни его «школа» не давали этим фактам правильных оценок. Эту же ошибку совершила и я в своей популярной работе «Крестьянские революции—разинщина и пугачевщина». Этим фактам необходимо противопоставить анализ крестьянской темноты, отсутствие политического сознания, стихийность всего движения в целом. Крестьянство считало самым главным дела своей деревни. Барин, повешенный на дереве, сожженный помещичий дом казались им окончательным искоренением крепостнического гнета. Понимание же самой *системы* крепостных отношений, понимание того, что вместо одного повешенного барина при сохранении крепостного *строя* может появиться их несколько—это было недоступно стихии крестьянского восстания.

Решающее значение в сопротивлении восстания Пугачева правительственным военным силам имели, конечно, не хорошая *организация* пугачевской армии и не превосходная артиллерия, а массовость и сильнейший *натиск* восставшей крестьянской стихии. Покровский же делает упор именно на мужицкую *организованность:* «но нес ли с собой Пугачев действительно анархию? Всего менее»,—пишет Покровский[2] и самым подробным образом описывает организацию Пугачевым технической базы армии, снабжения и т. д. Поскольку этому не противопоставлено решительно ничего, картина получается в корне неверная. Ни о каком *руководстве* стихией крестьянского восстания,—*на местах,*—а в местах этих и была основная сила восстания,—не может быть, и речи. Крестьянство стихийно поднималось на борьбу,—часто при первом слухе о Пугачеве, расправлялось со своим барином и, «устроив», как ему казалось, дела своей местности, здесь же и «успокаивалось».

Ни в одной из работ Покровского о восстании Пугачева нет даже попытки проанализировать причины поражения крестьянского восстания. Вопрос об отсутствии пролетарского руководства, о *неиз-*

[1] Сб. «Восстание Емельяна Пугачева», вводная статья. Огиз, Соцэкгиз, 1935, стр. 9.

[2] «Пугачевщина» (Центрархив), предисловие, I, 8.

бежности краха крестьянского восстания перед Покровским не стоит. Более того, уже в «Русской истории с древнейших времен» он с достаточной ясностью говорит о *возможности* победы Пугачева и усматривает причину поражения лишь в одном—том, что сам Пугачев не имел представления о своих благоприятных перспективах. Это, конечно, в корне противоречит основным положениям марксизма-ленинизма по этому вопросу. «Перед противником Екатерины (т. е. Пугачевым.—*М. Н.*) была ситуация, благодарнее которой трудно себе представить» [1], оценивает Покровский общеполитическую обстановку восстания. «Как это ни странно,—пишет он далее в той же работе,—беглый донской казак действительно мог бы явиться соперником «Северной Семирамиды», но при одном условии: чтобы он сам имел хотя бы приблизительное представление о своем политическом положении и возможных для него политических перспективах» [2]. В своих устных выступлениях (заключительных словах) на докладах в руководимых им семинарах ИКП Покровский говорил о возможности победы крестьянского восстания с еще большей определенностью. Определение восстания Пугачева как «рабоче-крестьянского движения» облегчало ему построение «доказательств» этого ошибочного положения.

Покровским впервые в литературе широко поставлен вопрос о влиянии восстания Пугачева на последующую политику правительства. Это является его заслугой. Но в конкретных положениях, раскрывающих это влияние, Покровский допустил ряд преувеличений. Так, например, губернскую реформу Екатерины II (1775), готовившуюся годами и введенную сейчас же после восстания Пугачева, Покровский ставит в исключительную и непосредственную зависимость от последнего. *Только* под знаком восстания Пугачева якобы идет вся позднейшая централизация государственного управления. Это положение прежде всего сбрасывает со счетов всю экономику страны, дальнейшее развитие рынка, вопрос о хозяйственном завоевании Россией вновь захваченных областей—в первую очередь Причерноморья. Крайне важно и то, что при этой концепции в дальнейшем развитии внутренней политики правительства после Пугачева—полностью отметается вся международная ситуация. Через несколько лет после восстания Пугачева Екатерина и ее дворянство как громом были поражены вестью о французской революции. Вопрос о царской России как жандарме Европы, об активной помощи европейской реакции со стороны екатерининской, а затем и павловской Российской империи начисто выпал в дальнейшем изложении в концепции Покровского. А без него также нельзя понять дальнейшей централизации крепостного режима.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 141.
[2] Там же, 142—143.

В. ПИЧЕТА

М. Н. ПОКРОВСКИЙ О ВОЙНЕ 1812 ГОДА

I

Наша советская историческая наука до сих пор не дала марксистско-ленинского всестороннего исследования о войне 1812 г., на изучении которой специализировалась дворянская историография. Михайловский-Данилевский был первым официальным историком «Отечественной войны». «По высочайшему повелению» он приступил к ее изучению и писал о ней с целью прославления «дворянского сословия», усилиями которого Россия будто бы и была освобождена от «вторжения» Наполеона. Николай I предлагал Михайловскому-Данилевскому, чтобы «в книге было уничтожено все, что могло подать повод к пересудам иностранцев, было бы слишком невыгодно для памяти некоторых генералов или слишком хвалебно для других». Так в результате совместных трудов генерала и императора получилось «Описание Отечественной войны», вызвавшее полное одобрение со стороны Николая I.

«В творении вашем,—писал Николай I,—я, к душевному удовольствию моему, нашел столь верное и прямое изложение незабвенных событий того времени, сколь и живое, пламенное, в непреложных чувствах русского сердца почерпнутое описание бессмертных подвигов императора Александра, непоколебимой его твердости в деле спасения отечества и высоких царственных его добродетелей, осенявших Россию в эту годину бедствия и славы. В чертах не менее верных переданы вами знаменитые подвиги войска и доблесть народа, беспредельная его преданность престолу, живая любовь к отечеству»[1]. «Описание Отечественной войны» должно было служить к прославлению Александра I. Русский император в изображении Михайловского-Данилевского является основной фигурой во всей войне. Ему даже приписываются несвойственные черты, в роде твердости характера и железной воли... Русский же народ выступает в качестве театрального статиста, двигающегося на исторической сцене по указанию опытной режиссерской руки Александра I. Во время войны крестьяне, по словам Михайловского-Данилевского, обнаружили «самую возвышенную преданность,

[1] «Русская старина», 1900, VI, 583.

самое слепое повиновение и трогательные примеры привязанности к помещикам»[1]. Война окончилась победой над Наполеоном, армия которого была полностью уничтожена. Сам промысел божий помог в этом Александру I. Так первый дворянский историк Отечественной войны объяснял причину победы русского народа над Наполеоном и полного уничтожения его армии.

Но труд Михайловского-Данилевского скоро явно устарел, и взгляды этого автора даже с точки зрения господствующего дворянского сословия показались чрезвычано примитивными. И вот, в середине прошлого столетия М. И. Богданович, другой дворянский историк, тоже «по высочайшему повелению», теперь уже Александра II, составил «Историю Отечественной войны». В этом труде Богдановича можно отметить даже зародыш как бы некоторой «исторической критики», стремление отнестись критически к описываемым событиям. Но основная точка зрения Михайловского-Данилевского—о руководящем характере роли Александра I в войне—остается неизменной и в «Истории Отечественной войны» Богдановича[2]. «Если бы Наполеон,—пишет Богданович,—оценил вполне и силу воли императора Александра I, и превосходные свойства народа, неизменного в вере к богу, преданности к царям своим и любви к родине, то не нарушил бы мира с Россией. Но всевышний промысел судил, чтобы наше отечество приняло несметные жертвы в защиту собственной независимости и озарилось после тяжкого испытания новою славой, содействуя освобождению угнетенных народов»[3]. И этот дворянский историограф не упоминает о народе и о его участии в войне. Народ проявлял только «преданность» к своему царю, на стороне которого находился сам бог, что и обеспечило, собственно, победу Александра над Наполеоном. Так М. И. Богданович, стремясь более критически отнестись к «Описанию Отечественной войны», чем Михайловский-Данилевский, в сущности стоит на той же идеалистической точке зрения. Оба дворянские историографа приписывают победу «царю и промыслу божию» и замалчивают героическую борьбу народа за независимость своей родины против интервента. Активное участие народа в войне объясняется ими просто—«преданностью народа своим царям и помещикам». Роль М. И. Кутузова как руководителя армии и организатора победы над Наполеоном сводится на-нет, Кутузова затемняет «сияющая в своем величии» личность Александра I.

Точка зрения дворянских историографов была отвергнута буржуазной историографией в лице А. Н. Попова, автора ряда исследований об «Отечественной войне». Попов—исследователь, стоявший на уровне современной ему буржуазной исторической науки. Он отвергает само-

---

[1] А. Михайловский-Данилевский. Описание Отечественной войны, IV, 372.

[2] М. И. Богданович. История Отечественной войны. СПб., 1859, IV, 329.

[3] Там же, III, 407—408.

державно-религиозную концепцию обоих дворянских историков. Буржуазный исследователь использовал новый, критически проверенный, материал. Попов не придает никакого значения роли Александра в «Отечественной войне», наоборот, он отметил деятельное участие в войне «русского общества», но он ничего не говорит о «народной войне» и героической борьбе русского народа за свою независимость.

А. Н. Попов, в противоположность обоим представителям официальной дворянской историографии, выдвигает на первый план М. И. Кутузова, «которому одному Россия обязана своим спасением»[1]. Кутузову приходилось командовать армией в самых тяжелых условиях, он был опутан сетью интриг, мешавших ему действовать. «Цель главной квартиры,—по словам Попова,—заключалась в том, чтобы показать, что князь Кутузов неспособен предводительствовать русскими войсками: старость, слабость и дряхлость князя Кутузова—вот благовидный и правдоподобный предлог, за который хватались все его недоброжелатели, худо прикрывая иные свои виды»[2]. Бенигсен и Барклай-де-Толли хотели занять его место. Английский шпион в главной квартире русской армии Вильсон обвинял Кутузова в симпатиях к Франции и требовал от него решительных действий во имя защиты интересов Англии. Кутузову удалось благодаря своей выдержке и спокойствию преодолеть все эти интриги и довести войну до желанного конца. Кутузов не торопился, щадя силы порученной ему армии, Кутузов видел неизбежную гибель армии Наполеона и старался избегать излишних затрат собственных сил. А. Н. Попов, выдвигая на первый план Кутузова и в общем правильно оценивая его оперативную тактику, совершенно не заметил народной войны и в этом отношении был близок к точке зрения Михайловского-Данилевского и Богдановича[3]. Так и дворянская, и буржуазная историография замалчивали участие народа в войне 1812 г. против интервентов.

Дворянско-буржуазная историография не сумела правильно оценить войну 1812 г. Но что оказалось недоступным пониманию дворянских и буржуазных исследователей, то гениально просто, отчетливо ясно было отмечено Л. Н. Толстым. Война 1812 г. для Толстого—народная война. В этой войне единственный герой—народ, вставший на защиту своей родины: «Дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Эту важнейшую характерную черту войны 1812 г. не заметили и не могли заметить дворянские и буржуазные историки. В описании войны 1812 г. наглядно проявилась классовая ограниченность дворян-

---

[1] «Русская старина», 1877, I, 277.
[2] «Русская старина», 1877, IV, 192.
[3] Там же 193.

ской и буржуазной историографии, подчеркнутая Лениным. Дворянские и буржуазные историки, по словам Ленина, «во-1-х... в лучшем случае рассматривали лишь идейные мотивы исторической деятельности людей, не исследуя того, чем вызываются эти мотивы, не улавливая объективной закономерности в развитии системы общественных отношений, не усматривая корней этих отношений в степени развития материального производства; во-2-х, прежние теории не охватывали как раз действий *масс* населения... Домарксовская «социология» и историография в *лучшем* случае давали накопление сырых фактов, отрывочно набранных, и изображение отдельных сторон исторического процесса»[1].

II

Статьи М. Н. Покровского о 1812 г. в свое время представляли интерес как попытка отнестись критически к выводам дворянско-буржуазной историографии об «Отечественной войне» и показать войну 1812 г. в новом аспекте. Они были написаны Покровским либо перед столетним юбилеем, либо непосредственно после юбилея и представляли интерес своей критикой традиционных взглядов. В свое время они оказали известное влияние как на постановку вопроса о войне 1812 г., так и на трактовку связанных с ней отдельных моментов.

Но и тогда при тщательном изучении статей М. Н. Покровского можно было обнаружить недостаточное знакомство их автора с источниками о 1812 г., а также совершенно неправильное освещение им основных моментов достопамятного 1812 г. и тенденциозные характеристики выдающихся участников борьбы против вторгнувшейся в Россию «великой армии» Наполеона.

В борьбе с русской дворянско-буржуазной историографией Покровский иногда доходит до отрицания ряда документально установленных фактов, замалчивает все то, что прямо или косвенно обнаруживало активное участие широких масс трудящегося народа в борьбе с иностранными завоевателями за национальное освобождение своей страны. Вместе с тем М. Н. Покровский не сумел преодолеть ограниченности ни французских буржуазных историков, в особенности Вандаля, ни русской дворянско-буржуазной историографии. Покровский с необыкновенной доверчивостью относится к французским мемуарам о 1812 г. и крайне односторонне пользуется мемуарами русских участников войны «Двенадцатого года», игнорируя сообщаемые последними факты, идущие в разрез с созданной им концепцией.

Покровский допустил ошибку уже в объяснении причин войны 1812 г., объявив виновником войны исключительно русское дворянство. Наполеон и его захватническая политика, по Покровскому, тут

---

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XVIII, 13.

не причем. Разрешая так вопрос «о виновниках» войны 1812 г. и обеляя в глазах русского читателя захватническую политику Наполеона, Покровский здесь, в сущности, повторял мнение наполеоновского посла и шпиона в России—Коленкура. «Записка Коленкура,—писал Покровский,—со всей ясностью, какой только можно пожелать, намечает тот общественный класс, который должен был быть отброшен в оппозицию Тильзитским миром» [1].

Мнение Покровского о дворянстве как главном зачинщике войны 1812 г. не совсем отчетливо. Виновником объявляется то «вся знать», вывозившая в Англию сельскохозяйственное сырье, то все дворянство в целом.

В вопросе о причинах войны 1812 г. М. Н. Покровский стремится оправдать Наполеона, бывшего в действительности инициатором грабительской войны против России. Покровский не сумел разобраться в действительном характере войн Наполеона вообще и войны 1812 г. в частности.

Характер войн Наполеона был противоположен войнам времени подъема французской буржуазной революции. Последние были войнами оборонительными, когда революционная буржуазная Франция отстаивала свои завоевания от натиска самодержавной феодально-крепостнической Европы, стремившейся восстановить во Франции дореволюционные порядки и отношения. Это была эпоха, когда, по словам Ленина, «весь народ и в особенности массы, т.-е. *угнетенные* классы, были охвачены безграничным революционным энтузиазмом: войну *все* считали справедливой, оборонительной, и она *была на деле* таковой» [2].

Но войны Наполеона были грабительскими и захватническими. «Империалистские войны Наполеона,—писал Ленин,—продолжались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкновенно сложную сеть сплетающихся империалистских отношений с национально-освободительными движениями» [3]. Наполеоновское правительство было по своей классовой сущности контр-революционным. Оно задержало развитие французской буржуазной революции и сохранило только те ее результаты, которые были выгодны буржуазии. В интересах крупной буржуазии Наполеон повел грабительскую, захватническую политику, стремясь поработить покоренные страны и подчинить их интересам развившегося французского промышленного капитализма.

Прорыв дворянским правительством России континентальной блокады означал крушение всей экономической политики Наполеона, так как без России, главного поставщика сельскохозяйственного сырья на английский рынок и потребителя английских промышленных изделий, осуществление континентальной блокады фактически было не-

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. М., 1924, III, 224.
[2] В. И. Ленин. Соч., XXI, 190.
[3] Там же, XXII, 287.

мыслимо. Вполне понятно, что Наполеон и стоявшая за его спиной крупная промышленная буржуазия были до бешенства раздражены экономической политикой русского царизма.

Наполеон мог добиться подчинения России всем его требованиям и принудить Александра I выполнять все условия континентальной блокады, только превратив дворянскую империю в своего вассала; надо было ограбить и разорить Россию в интересах обогащения французской промышленной буржуазии. Вот чего добивался Наполеон, вот из-за чего начал он войну. Примеры Австрии, Пруссии и других германских государств наглядно свидетельствовали о том, что ожидает Россию в случае победы Наполеона. Всего этого не учел М. Н. Покровский при анализе причин войны.

В своем стремлении обелить Наполеона М. Н. Покровский не по-марксистски разрешает вопрос о виновниках войны 1812 г., без всякого анализа конкретно исторических данных. «Отказ России от блокады,—пишет М. Н. Покровский,—прямой или хотя бы косвенный, должен был заставить Наполеона воевать, хотел ли он этого или нет: вот почему спор о том, кто был виновником войны 1812 г. является совершенно праздным. Виноваты были те самые объективные условия, которые в 1809 г. предупредили войну»[1].

М. Н. Покровский, конечно, хорошо знает, что «контр-революционная диктатура» Наполеона была полностью направлена в сторону подавления революционного движения мелкобуржуазных масс населения, что завоевательная политика Наполеона содействовала обогащению нарождавшейся французской промышленной буржуазии и что вся контр-революционная диктатура Наполеона держалась лишь на завоеваниях и грабеже покоренных народов. Ленин подчеркивал, что «*после* победы реакции внутри страны, контр-революционная диктатура Наполеона превратила войны со стороны Франции из оборонительных в завоевательные»[2].

Нельзя поэтому не удивляться тому, что М. Н. Покровский не обращает внимания на грабительский и завоевательный характер похода 1812 г. Покровский, конечно, знал, что Наполеон ни к одной войне не готовился так долго, как к походу в Россию, когда все было продумано до самых последних мелочей, так что, казалось, победа Наполеону была обеспечена полностью. Поэтому читатель «Русской истории» может только удивляться заявлениям Покровского, что Наполеон не начинал войны с Россией и не собирался посягать на национальную независимость русского народа. Виновниками неслыханного разорения страны, несущими ответственность за войну, М. Н. Покровский считает прежде всего «представителей крупного землевладения», которые были «моральными виновниками всех бедствий». Ошибочность всех этих рассуждений Покровского о причинах войны 1812 г. и о ее

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России. М., 1924, стр. 33.

[2] В. И. Ленин. Соч., XXI, 190.

виновниках—ясна. Покровский лишь более ясно повторил мысль Коленкура и Вандаля о том, что войны не было бы, если бы русская политика была более уступчивой, другими словами, если бы Россия согласилась отказаться от своей национальной независимости и стать колонией для сбыта товаров французской промышленной буржуазии. Если дворянско-буржуазная историография выдвигала в качестве основной причины войны захватнические планы Наполеона в связи с его ненасытным честолюбием, то Покровский пришел к ничем неоправдываемому выводу об отсутствии у Наполеона каких бы то ни было захватнических планов и что, в сущности, в войне была заинтересована «дворянская знать», поскольку экономическая политика Наполеона чрезвычайно задевала ее материальные интересы.

III

Русская дворянско-буржуазная историография, за отсутствием точных данных, значительно преувеличила количественный состав армии Наполеона. Вместе с тем она несколько преуменьшила численность русской армии и степень ее боевой готовности.

В настоящее время с полной достоверностью можно утверждать, что численность многонациональной «великой армии», перешедшей 23 июня 1812 г. Неман, не превышала 400 тыс. человек при 1 350 орудиях[1]. Покровский также придерживается этой цифры, основываясь на определении самого Наполеона[2]. Что касается численности русской армии, противостоявшей «великой армии», то можно считать точно установленным, что она не превышала 200 тыс. при 898 орудиях и притом, согласно принятому оперативному плану, была разделена на три армии. Таким образом, по численности русская армия была вдвое меньше армии Наполеона. Эти выводы были приняты и М. Н. Покровским, который отверг общераспространенную дворянскую версию о том, что численность «великой армии» достигала 600 тыс. человек.

М. Н. Покровский не ставил себе задачи дать историю всего «Двенадцатого года» и шаг за шагом нарисовать картину развертывания действий. Фактическая сторона истории 1812 г. и, в частности, ход военных действий рассматривались М. Н. Покровским очень бегло, но в совершенно неправильном аспекте. Покровский всегда стремился представить ту или иную военную операцию в невыгодном для русской армии освещении, затушевывая в то же время деятельность талантливых русских полководцев и изображая их как мало одаренных в военном отношении людей. Ярким контрастом, по Покровскому, в сравнении с ними был Наполеон с его военным гением. Русские военачальники так боялись Наполеона, что избегали вступать с ним в бой даже тогда, когда перевес был на стороне русских.

---

[1] В. Бутенко. Военные силы Наполеона. Юбилейное издание «Отечественная война и русское общество». М., 1912, III, 45.

[2] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 39.

Совершенно неправильно освещает М. Н. Покровский роль М. И. Кутузова. Для Покровского М. И. Кутузов—это не великий полководец, ученик и соратник Суворова, основоположника нового военного искусства. Сам Суворов, как известно, очень высоко ценил Кутузова. После замечательного штурма Измаила, сильнейшей турецкой крепости, Суворов говорил про Кутузова: «Он шел у меня на левом крыле, но был моею правой рукой». Во время штурма этой крепости Кутузов потерял левый глаз. Александр I ненавидел Кутузова, относившегося враждебно к введению в русской армии прусской системы, потерпевшей полнейший крах под Аустерлицем. В оценке же Покровского Кутузов «был слишком стар для каких то ни было решительных действий—и, повидимому, помимо этого, слишком хорошо помнил Аустерлиц»[1]. Покровский, впрочем, забывает упомянуть о том, что под Аустерлицем Кутузов был только номинальным главнокомандующим; фактически командовал бездарный в военном отношении Александр I, одним из первых покинувший поле битвы и предоставивший Кутузову спасать остатки разбитой русской армии.

Кутузов, по словам Покровского, все время находится под давлением «дворянских патриотов» и «ради удовлетворения общественного мнения, он должен был казаться гораздо более дерзким, чем следовало»[2]. «С назначением Кутузова—и до конца кампании в сущности—армия лишилась всякого центрального руководства»[3]. Невозможно в более отрицательном виде, чем это делает Покровский, изобразить фигуру главнокомандующего, якобы оставившего армию без общего руководства. На Бородинском поле, по Покровскому, войска были расположены «бестолково», вследствие чего русские потери были вдвое больше французских, что идет в разрез с действительно верной объективной оценкой Бородинского боя. Покровский очень неумело разбирался в военных операциях, постоянно исходя из основного своего тезиса: русские полководцы ни на что не были способны. Для Покровского в деятельности Кутузова не существует «блестящий маневр 80 тыс. русских перед лицом превосходящего по силе противника, руководимого прославленным Наполеоном», маневр, благодаря которому русская армия была переброшена от Москвы к Тарутину и который ставит Кутузова в ряд величайших полководцев мира. Покровский считает, что этот маневр не был результатом талантливости главнокомандующего и удался лишь «благодаря тому маразму, в который впала «Большая армия»[4]. Находясь под очарованием Наполеона и его маршалов, Покровский весь ход военных действий, руководимых Кутузовым, представил в неправильном освещении, благодаря чему особенно подчеркивались «величие» Наполеона и «бездарность» Кутузова. Самое большое после Бородина сражение—битва под Красным (5 ноября), где Напо-

[1] Там же, 54.
[2] Там же, 55.
[3] Там же.
[4] Там же, 57.

леон потерял 26 тыс. пленных и 228 орудий, рассматривается Покровским не как действительное генеральное сражение, лишившее Наполеона возможности сопротивляться и обрекавшее «великую армию» на дальнейшее отступление, а как битва, которую Кутузов впоследствии изобразил генеральным сражением, «как бы раскаиваясь, что не решился дать сражение Наполеону»[1]. Выходит, что Кутузов никого не бил, что 5 ноября не было сражения под Красным и Наполеон не потерпел поражения. Все это извращение исторической правды нужно только для того, чтобы доказать «непобедимость» Наполеона и «бездарность» Кутузова.

М. Н. Покровский, несомненно, читал и мемуары Наполеона и воспоминания французских участников боя под Красным, но полностью их игнорировал, так как в них сообщается обратное тому, что он писал сам[2]. Покровский нарисовал отталкивающий портрет князя Багратиона, главнокомандующего второй армией, которого он изображает сплетником и интриганом. Вся же вина Багратиона в действительности заключается лишь в том, что он, не понимая тактики отступления Барклая, требовал наступления. Багратион ничуть не был «ура-патриотом» и не собирался закидывать «великую армию» шапками, как характеризует его Покровский[3].

Багратион был большой патриот и любил свою родину. Горячность характера мешала Багратиону спокойно анализировать ход военных операций[4]. Багратион осознал свои ошибки и свою неправоту в отношении Барклая только тогда, когда обе армии соединились под Смоленском. Покровский умолчал о распорядительности, мужестве и смерти Багратиона на Бородинском поле, хотя его геройское поведение было верно оценено Наполеоном и его генералами. В Бородинской битве Багратиону принадлежала выдающаяся роль.

Покровский никак не отметил той действительно тяжкой обстановки, в которой приходилось Кутузову командовать армией. Бенигсен, неудачный главнокомандующий во время Прусской кампании 1807 г., интриговал против Кутузова, стремясь опорочить его и занять его место. Московский градоначальник Ростопчин писал на Кутузова клеветнические доносы Аракчееву, правой руке Александра I,—и тот и другой одинаково ненавидели старого полководца.

М. Н. Покровский умолчал также о том, что война выдвинула целую плеяду незнатных по происхождению, но даровитых военных людей, которые заняли видное место в истории только благодаря своим талантам и дарованиям,—это Раевский, Неверовский, Ермолов, Платов,

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 60.

[2] Сборник «Французы в России», 1812 г. по воспоминаниям современников-иностранцев. М., 1912, III, 61—69.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 250—252.

[4] Для характеристики тактики Багратиона важно его письмо к Александру I от 8 июня 1812 г. Сборник «Россия и Наполеон». М., 1913, стр. 37—38.

Милорадович и множество других соратников престарелого Кутузова. Покровский знает «великих и малых» маршалов Наполеона, но не хочет знать русских людей, в ходе войны показавших себя геройскими защитниками своей родины. Участники потерпевшего неудачу великого похода были щедрее в своих отзывах о противниках, чем историк Покровский, тщательно затушевывавший все, что опровергало его неверную концепцию. Нет возможности останавливаться на всех высказываниях Покровского о ходе войны 1812 г. Для этого в опровержение часто бездоказательных положений Покровского нужно было бы написать целую книгу. Мы остановимся лишь на некоторых важнейших моментах, мимо которых пройти невозможно.

IV

Собираясь в поход на Россию, Наполеон был уверен в победе. Он надеялся уничтожить русскую армию в пограничном сражении и продиктовать условия мира. Жестокая действительность разбила «победные мечты» вождя «великой армии» и заставляла его многократно просить Александра о мире и тем самым признать свое поражение. Правда, планы Наполеона могли бы осуществиться, если бы командованием русской армии не был отвергнут выработанный немецким эмигрантом генералом Пфулем план обороны Дрисского укрепленного лагеря. Если бы оперативный план Пфуля был осуществлен на практике, разгром русской армии был бы неизбежен. М. Н. Покровский же считает, что в крушении плана Пфуля виноват не сам план, не отвечавший требованиям новой стратегии и тактики, а «русские генералы», которые неправильно его осуществляли[1]. «Принятое,—по утверждению Покровского,—распределение сил, в корне обессмыслившее оперативный план Пфуля, опять-таки едва ли можно объяснить естественной ограниченностью человеческого предвидения. Скорее тут можно видеть один из образчиков перевеса придворных соображений над военными»[2]. Такая оценка плана Пфуля говорит не в пользу Покровского и его способности разбираться в вопросах военно-оперативного искусства. В составлении оперативного плана войны принимали участие немецкие генералы. Кутузов как противник «фридрихомании» не был к этому привлечен. Оперативный план потерпел неудачу, а Покровский более чем через сто лет пытается оправдать то, что не заслуживало оправдания, возлагая при этом ответственность за неудачу плана на русских генералов.

Замалчивая все то, что идет в разрез с его концепцией, Покровский, естественно, умолчал о неудаче большой операции, которую Наполеон предпринял под Вильно. А между тем это был проигрыш того пограничного сражения, в котором Наполеон собирался разбить

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 48.
[2] Там же, 49.

противника. Русская армия стала отступать, и Наполеон должен был итти вслед за отступающей армией. Инициатива была в руках русских.

М. Н. Покровский все время подчеркивает, что у русского командования не было никакого оперативного плана. Не было этого плана, по его словам, и тогда, когда обе армии соединились около Смоленска, когда маршал Даву, этот «великий администратор французской армии... здесь оказался не на высоте положения и под Могилевом дал Багратиону опередить себя на один переход»[1]. В таких деликатных тонах Покровский изображает крупную по своим последствиям тактическую неудачу Даву. Случись бы такая неприятная история с русским генералом, Покровский нашел бы другие слова и заговорил бы иным тоном. Покровский также умалчивает о том, что соединение русских армий под Смоленском было для них большим стратегическим успехом и одновременно тактическим поражением Наполеона.

Еще в Витебске Наполеон говорил о необходимости остаться на зимовку в оккупированной Белоруссии и весной, получив подкрепления, возобновить кампанию[2]. Это было открытое признание Наполеоном тяжести своего положения. Но так как Наполеон понимал, что сохранить в целости «великую армию» можно было, только двигаясь вперед и придавая этому продвижению характер побед, то план зимовки был им оставлен. «Поляки,—писал Энгельс,—в этом деле судьи компетентные, советовали ему остановиться на Двине и Днепре, реорганизовать Польшу и там ждать наступления русских. Такой полководец, как Наполеон, должен был понять, что этот план правилен. Но при той головокружительной высоте и том непрочном основании, на которых он стоял, Наполеон уже *не мог* выдерживать медленных походов. Ему необходимы были быстрые успехи, блистательные победы, завоеванные с бою мирные трактаты; он пренебрег советом поляков, пошел на Москву и этим самым привел русских в Париж»[3].

V

М. Н. Покровский сделал все возможное, чтобы представить Бородинское сражение в неверном освещении. Кутузов, писал Покровский, «достиг только того, что не был разбит на-голову—при всех не весьма добросовестных усилиях его рапорта изобразить дело, как полупобеду, его нельзя было назвать даже нерешительным. К вечеру все наши позиции были в руках французов; неприятель имел двадцатитысячный, совершенно нетронутый резерв,—тогда как из русской армии вторая не существовала вовсе, а первая была почти совершенно расстроена, потеряв до 40%, если не более»[4]. Такова

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 51.
[2] Записки маркиза Пасторе о 1812 г. «Полоцко-Витебская старина», Витебск, 1916, III, 189.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2-я, стр. 20.
[4] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 55.

оценка Покровским великого боя под Москвой. При этом необходимо напомнить, что, по Покровскому, русская армия была численно равна французской при перевесе в артиллерии (640 орудий против 577 у французов), «притом почти четверть наших орудий были батарейные»[1]. У Покровского нет описания ни всего хода Бородинского сражения в целом, ни отдельных его героических моментов; он ограничивается лишь тем, что старается показать неспособность русского командования и всячески подчеркнуть талантливость командования французов.

Попытка Наполеона разбить русскую армию в начале вторжения в Россию окончилась неудачей. Та же неудача постигла Наполеона и в битве под Москвой, где русский народ геройски защищал свою родную землю от интервентов-захватчиков. Участник Бородинского боя Клаузевиц считал, что численный перевес был на стороне французов[2]. Атакующей стороной был Наполеон, Кутузов оборонялся, частично переходя в наступление. Атаки Наполеона были отбиты. Большое количество убитых свидетельствовало о том героическом упорстве, которое проявила русская армия.

После Бородина положение Наполеона оказалось очень тяжелым. Он впервые не только не разгромил противника, но и сам был приведен в расстройство громадными потерями. Наполеон даже отступил за реку Колочу. Бородинское сражение было победой русской армии, а не поражением, и Кутузов имел полное основание послать в Петербург столь неприятный Покровскому рапорт.

Нам известен теперь подлинный рапорт Кутузова, в котором он дал правильную объективную оценку результатов Бородинского боя. Кутузов был настолько скромен, что в своем рапорте не употребил слова «победа». Теперь известно, что подлинный рапорт Кутузова был подделан и изменен Аракчеевым[3].

Бородинское сражение разрушило веру в непобедимость Наполеона. Последний должен был теперь двигаться на Москву в надежде хоть на какой-нибудь успех. Наполеоновская империя зашаталась в своем основании. Таковы были знаменательные итоги Бородинского боя, за которым последовал «последний формальный успех: взятие Москвы»[4].

Утверждение М. Н. Покровского о поражении Кутузова в сражении при Бородине основано на изучении французских мемуаров. Конечно, их авторы говорят о победе французов и о неполном разгроме русской армии. Участники боя отметили, что Наполеон под Бородиным был не тем, каким его привыкли видеть при Ваграме, Эслинге, Эйлау и Фридланде, Маренго и Аустерлице. Барон Лежень

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 55.
[2] Клаузевиц. 1812 год. М., 1937, стр. 85.
[3] Н. Поликарпов. Очерки Отечественной войны. «Новая жизнь», 1911, стр. 139—144.
[4] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 55.

более объективно отнесся к оценке Бородинского боя, чем М. Н. Покровский. «В этот день,—писал он,—эти храбрецы проявили все свои силы, сражаясь за или против Наполеона; кровь 80 000 русских и французов—только ради укрепления или ослабления его власти, а он с наружным спокойствием следил за кровавыми перипетиями этой русской трагедии. Мы были недовольны, суждения наши были суровы» [1].

Сам Наполеон следующим образом отзывался о Бородинском бое: «из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из пятидесяти сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано (французами) наиболее доблести и одержан наименьший успех» [2].

VI

Положение наполеоновской армии было критическим. Ей предстояла зимовка в Москве, но пожар Москвы оставил «великую армию» без продовольствия, а знаменитое фланговое движение Кутузова заставило Наполеона повернуть на разоренную старую смоленскую дорогу. Началось отступление и ликвидация «великой армии».

Что же было причиной разгрома Наполеона, отступавшего с достаточно значительными и с еще не вполне разложившимися силами. Покровский отрицает «народную войну» как важнейший фактор победы над Наполеоном, отрицает национально-освободительный характер войны «Двенадцатого года», отрицает патриотический подъем, которым был охвачен русский народ, отрицает, вопреки очевидности, способность армии и ее вождей бороться с Наполеоном. Покровский не хотел видеть того, что война 1812 г. пробудила патриотическое сознание крестьянства, что без этого не могло бы произойти поражение Наполеона, как писал в своих записках декабрист И. Д. Якушкин. Народ проявил сильную волю к победе и действительно одержал победу. «Вся история освободительных войн,—говорил Ленин в 1918 г.,—показывает нам, что если эти войны захватывали широкие массы, то освобождение наступало быстро» [3]. Но Покровскому такой неизбежный исход освободительной войны был непонятен, да и как он мог его понять, если он отрицает национально-патриотический подъем, которым был охвачен русский народ.

Покровский забывает, что для русского народа война с Наполеоном была войной за освобождение родины от господства интервентов, борьбой, которая для народа была «законной и священной». Народ рассматривал эту войну с своей точки зрения—борьбы за освобождение от интервентов, и другой точки зрения у народа быть не могло.

---

[1] Сборник «Французы в России», I, 159.

[2] Н. П. Михневич. Бородино. «Отечественная война и русское общество», IV, 28.

[3] В. И. Ленин. Соч., XXII, 328.

Что же выдвигает Покровский в качестве фактора, повлекшего разгром «великой армии»?

Покровский объясняет разгром Наполеона тем, что «французская армия пала жертвой не народного восстания, а недостатков собственной организации,—и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные русские войска: все это факты слишком элементарные и слишком хорошо известные, чтобы о них стоило здесь распространяться»[1].

В другой работе Покровский, противореча самому себе, признает, что «среди хаоса и развалин не было никакой возможности поддержать дисциплину в переутомленных походом войсках. Даже старая гвардия поддалась общей дезорганизации... О «союзниках» и говорить не приходилось: вспомогательные войска превратились в Москве в простую банду мародеров»[2]. Так читатель и не поймет, была ли французская армия деорганизована или нет. Вместе с тем Покровский выдвигает для объяснения разгрома Наполеона и другой мотив, который раньше выдвигался в дворянской историографии, не допускавшей, чтобы крепостные мужики спасли страну от иностранного завоевания,—это морозы: «Наполеоновская армия замерзла в русских снегах»[3]. Впрочем в другой работе Покровский отмечает, что «разложение французских войск сказалось весьма быстро, в первые же дни по занятии ими Москвы», и этим «главным образом приходится объяснять благополучное маневрирование в конец расстроенной русской армии по южным дорогам Московской губернии, между рязанской дорогой (по которой первоначально пошел Кутузов) и калужской»[4]. Отсутствие продовольствия у французов повлекло за собой массовое дезертирство. После Малоярославца Наполеон начал быстро отступать... «Война упростилась до последней степени: французы бежали, как только хватало сил... разложение армии шло в ужасающей прогрессии».

Конечно, такая «случайность», как разложение армии, уничтожившее весь план грабительского похода Наполеона, облегчила русскому народу победу над вторгнувшимися интервентами, но отнюдь не она была первопричиной исхода кампании. Наполеон не рассчитывал, пишет Покровский, что «саморазложение французских войск пойдет так быстро, что он дойдет до Москвы лишь с обломками своей Большой армии» и не найдет в самой Москве ничего кроме развалин, это были неожиданности, к которым он не был готов и о которые разбился весь его план. Но в июне 1812 г. план этот казался вполне осуществимым. Французские солдаты знали, что они идут в Москву, и

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 58; его же Русская история с древнейших времен, III, 259.

[2] Там же, 56.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 78.

[4] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 57.

надеждой притти туда жила вся армия»[1]. Однако не эта случайность была первопричиной победы русского народа, который в то же время своей героической борьбой много сделал и для того, чтобы процесс разложения армии Наполеона происходил как можно быстрее. Этого не учел Покровский, который придал второстепенному моменту в истории борьбы народа против иностранного порабощения значение первостепенной важности, забыв, что, по его собственному утверждению, армия Наполеона сохранила еще боевую мощь тогда, когда она оставила сожженную Москву и начала «великое отступление».

В данном случае М. Н. Покровский не мог пойти против фактов и должен был признать, что «французы бежали, как только хватало сил» и «разложение армии шло в ужасающей прогрессии»[2]. Наполеон оказался в критическом положении, так как «кольцо», которое он надеялся разорвать, должно было стягиваться все туже и туже и только потому, что русские генералы, и в первую очередь Кутузов, наделали, по мнению Покровского, много ошибок, Наполеону удалось «разорвать его в последнюю минуту»[3]. «Составленный Александром (еще в августе) сложный план пленения всей французской армии не был исполнен даже приблизительно; в наши руки не попал не только Наполеон, но ни один из его маршалов, ни один батальон его гвардии»[4]. Наполеон в момент переправы через Березину «имел еще 40 тысяч вполне исправных солдат, не считая толпы отсталых и безоружных». Сохранившиеся кадры «послужили ядром новой армии, которая дала Наполеону возможность провести кампанию 1813—1814 гг.»[5]. Покровский преувеличил исправные боевые силы Наполеона. Уже после поражения под Красным, от которого «великая армия» не могла оправиться, силы ее не «превосходили 25 тысяч штыков, 2000 сабель и 30—40 орудий». Тридцатитысячная толпа, шедшая рядом, бросавшая ряды и оружие, конечно, не имела никакого реального значения[6].

М. Н. Покровский прав в своих замечаниях о неудаче березинской операции в результате допущенной Чичаговым ошибки, но он забыл упомянуть, что армия Наполеона погибла при переправе через Березину, и только «остатки противника пробились в Вильно». М. Н. Покровский умалчивает также об оставлении Наполеоном остатков своей армии, а между тем бегство главнокомандующего, беспримерное в истории, внесло в оставшуюся армию окончательную дезорганизацию.

Отмечая неспособность русских генералов и неудачу березинской операции, М. Н. Покровский не счел нужным даже упомянуть о моральном настроении французской армии во время березинской операции,

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 60.
[2] Там же.
[3] Там же.
[4] Там же, 60—61.
[5] Там же.
[6] Н. П. Михневич. Березинская операция. «Отечественная война и русское общество», IV, 241.

а также о понесенных ею громадных материальных потерях, в результате которых «великая армия» перестала существовать. Покровский стремится показать, будто остатки наполеоновской армии успешно преодолевали все трудности и сохранили боевую готовность. По его вычислениям, «не считая австрийцев, пруссаков и саксонцев, действовавших отдельно, через русскую границу перешло обратно 42 тысячи наполеоновских войск». Впрочем в примечании М. Н. Покровский несколько ослабил итог своих исследований, упомянув, что строевых в Вильно прибыло «4 300 штыков и сабель»[1].

Так перестала существовать «великая армия», которая в начале войны давала Наполеону полную уверенность в неизбежности поражения России. Всесторонне обдуманные и взвешенные военные планы Наполеона потерпели полнейший крах. Наполеон недооценил сопротивляемости русской регулярной армии, не предусмотрел, что его грабительскому походу будет дан отпор, что русская армия «с мужеством» будет отстаивать каждую пядь родной земли, что народ весь встанет на защиту родины против интервентов и окажет «живой военной силе неоценимую помощь». Народ не желал оставаться под тяжелым игом чужестранного завоевателя.

Панская Польша и Литва вначале встретили «победителя» Наполеона криками радости и восторга и сделались его вассалами, в надежде на будущее свое «политическое восстановление». Пресмыкаясь перед ним и выслушивая презрительные и требовательные окрики Наполеона и его маршалов, паны были готовы заставить весь «литовский и белорусский народ» исполнять волю Наполеона в интересах предстоящей победы над Россией и своего политического освобождения. Народ разбил планы своих феодалов-крепостников и не пошел на службу к Наполеону. Как только последний показал свое настоящее «панское» лицо, народ восстал против интервентов и стал вести активную и пассивную борьбу против Наполеона и его армии. Русская армия отступала, связывала инициативу Наполеона, а литовско-белорусское крестьянство партизанскими действиями и пассивным сопротивлением вносило известную дезорганизацию в армию Наполеона, облегчив соединение около Смоленска обеих отступавших русских армий.

Наполеон подвигался вперед, не преследуя «неприятеля», а подчиняясь тактическим планам последнего. Наполеон впервые потерял инициативу действий, он выигрывал пространство, но живая военная сила ускользала от него. Смоленск не оправдал ожиданий Наполеона. Под стенами старого смоленского кремля, о крепкие стены которого не раз разбивались атаки польско-литовских панов, Наполеон оказался не в силах уничтожить основные кадры русской армии, хотя предпринятое Барклаем-де-Толли наступление окончилось неудачей. Сражение под Смоленском не внесло никаких изменений в стратегическую обста-

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 61.

новку «великой армии». Живая сила русской армии была сохранена. Армия отступала по направлению к Москве, постоянно ведя арьергардные бои, наносившие серьезный материальный ущерб армии Наполеона и отрицательно действовавшие на ее моральное состояние. И «великая битва под Москвой» 7 сентября не дала Наполеону ни стратегического, ни тактического успеха.

Громадные потери армии Наполеона в Бородинском бою обескровили ее и подорвали веру в близость победы. Не имея возможности отступать, армия Наполеона двигалась вперед, вслед за отступающей русской армией. Армия Наполеона уже думала не о победе, а об отдыхе, передышке. Но и эти ожидания Наполеона и его маршалов не оправдались. Москва сгорела: не было ни квартир, ни продовольствия. Армия голодала и была вынуждена уйти из Москвы, начав свое «великое отступление». Сильно потрепанная, но еще не дезорганизованная армия французов оказала мощное сопротивление в битве под Красным (17 ноября), но была разбита русской героической армией, шаг за шагом давившей на неприятеля и заставлявшей его отступать в надежде как-нибудь уйти из России, куда завел ее в захватнических целях Наполеон. Переправа через Березину повлекла за собой гибель «великой армии». Как организованное целое, как боевая единица, она перестала существовать.

Победа досталась русской армии не легко. Потери русских были также очень значительны. По мнению Покровского, «армия Кутузова, выступившая из Тарутина в количестве 95 000 человек, имела на границе 27 000, армия Чичагова—не более 10 000» [1]. В отношении армии Кутузова приводимые Покровским данные верны (27 464). Что касается дунайской армии Чичагова, прибывшей к Березине, то из 32 тысяч ее первоначального состава подошло к Вильне 17 454 человека с 156 орудиями. Уменьшился и корпус Витгенштейна: вместо 40—42 тыс. в нем было налицо 34 483 человека и 177 орудий [2]. Надо добавить, что и потери орудиями были весьма значительны. В армии Кутузова осталось 200 орудий вместо 622.

Итак, поход Наполеона на Москву закончился катастрофически. Это был единственный в истории случай полной гибели вторгшейся в чужую страну неприятельской полумиллионной армии.

VII

Дворянская историография впервые выставила мороз как главную причину победы русских над Наполеоном. Дворянская историография вообще не упоминала о героизме, проявленном русским народом, отмечая лишь «геройство» дворянства, которое будто бы принесло

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 61.
[2] В. П. Алексеев. Бегство Наполеона. «Отечественная война и русское общество», IV, 266.

наибольшие жертвы для победы над Наполеоном. Утверждая, что армия Наполеона «замерзла в снегах», Покровский тем самым повторял эту версию дворянской историографии. Она полностью отвечала концепции Покровского, его неверной оценке как борьбы русского народа в 1812 г., так и деятельности Наполеона.

Версия о морозах, будто бы бывших причиной гибели «великой армии», была пущена в оборот самим Наполеоном и французскими мемуаристами, а Покровский слепо следует ей. «Непобедимый» Наполеон никак не хотел признать себя побежденным. Отсюда поиски им «объективных» причин для объяснения неудачи своего похода на Москву. На вопрос, предложенный Наполеону одним собеседником, чему приписать неудачи кампании 1812 г., Наполеон отвечал: «Холоду, раннему холоду и Московскому пожару. Я ошибся на несколько дней, я высчитал погоду за пятьдесят лет и никогда сильные морозы не начинались раньше 20-го декабря—на двадцать дней позднее, чем они начались в этот раз. Во время моего пребывания в Москве было три градуса холода, и французы переносили его с удовольствием; но во время пути температура спустилась до 18 градусов, и почти все лошади погибли. Несколько тысяч лошадей потерял я в одну ночь. Мы принуждены были покинуть почти всю артиллерию, в которой тогда насчитывалось 500 орудий. Ни боевые запасы, ни провиант нельзя было дальше везти... Солдаты падали духом, терялись и приходили в замешательство... Не будь московского пожара, мне бы все удалось. Я провел бы там зиму»[1]. М. Н. Покровский, как и многие из европейских буржуазных историков, свысока смотря на русских и удивляясь поражению до сих пор «непобедимого» Наполеона, никак не хотел отдать должное русскому народу и оценить его героизм и патриотизм.

В беседе с генералом Молле Наполеон пытался обвинить в поражении своих маршалов, привыкших поступать только по его указке и терявшихся, когда нужно было действовать самостоятельно. Кто же виноват в том, что такова была традиция в армии Наполеона? Уж если сам Наполеон бранит своих маршалов, то и Покровский считает возможным признать не все благополучным в действиях наполеоновских генералов. «Тут вторично в кампании 1812 г. обнаружилось, что наполеоновские маршалы за глазами своего императора способны действовать не лучше русских генералов»,—заметил М. Н. Покровский, касаясь неудачи Мюрата и Даву помешать соединению под Смоленском двух армий: Багратиона и Барклая-де-Толли[2].

Ни один из историков не будет, конечно, отрицать губительного влияния холода на «великую армию». Но ведь морозы наступили тогда, когда армия уже была разгромлена, а обильного снегопада в 1812 г. вообще не было. Не следует забывать, что морозы вывели

---

[1] Сборник «Французы в Москве», III, 383.
[2] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 52.

из строя не меньшее количество и русских солдат. Версия о морозах и снегах как основной причине поражения Наполеона должна быть решительно отброшена. Морозы добивали то, что уже было разбито. В момент наступления морозов «великая армия» как единое целое уже не существовала.

Покровский, разумеется, не мог пройти мимо фактов, свидетельствовавших об участии народа в войне, но он дал этим фактам такое «научное» объяснение, которое отрицает всякий патриотизм у населения, всякую сознательную борьбу народа против непрошенных захватчиков. По Покровскому, народ боролся не с интервентами, а с мародерами, одетыми в мундиры. По словам Покровского, «на защиту от разбойников, одетых во французские, вюртембергские, вестфальские и иные мундиры, поднималось крестьянство, вооруженное чем попало: и так как оно имело дело с неприятелем до последней степени дезорганизованным, то победа, и часто довольно легкая, оставалась на стороне крестьянства. На множестве отдельных примеров можно проследить, как именно этим путем защиты своего очага от мародеров пробуждался в массах тот патриотизм, о котором так много и бесплодно говорили наверху»[1]. Это положение М. Н. Покровского было подхвачено одним из его «учеников», врагом народа Пионтковским. Повторяя вслед за известным реакционером и мракобесом Руничем сказку о том, что в 1812 г. крестьянство восстало «за своих кур и гусей», Пионтковский полностью соглашается с подобной оценкой крестьянского народного движения, глубокомысленно добавляя, что «в этом и заключались корни того крестьянского патристизма, который старательно восхвалялся буржуазными и помещичьими историками».

В суждениях Покровского нет уважения к патриотическому подъему трудящегося народа, а в словах врага народа видно только одно презрение к нему.

М. Н. Покровский признает, что «на почве массового вооружения развивалась и крепла та партизанская война, с которой французы четыре года безуспешно боролись на Пиренейском полуострове. Русские партизаны были малочисленнее гверильясов и менее их предприимчивы... но одной основной цели они достигали: фуражировки и реквизиции, единственное средство прокормиться в стране, где французы не имели запасных магазинов, а русские были уничтожены, стали невозможны»[2]. Такое изображение народной войны является только карикатурой на нее. Покровский не мог совсем вычеркнуть народную войну—это было бы слишком антиисторично, но он считает, что партизанская война русских крестьян в 1812 г. не может быть сравниваема с действиями испанских гверильясов. В Испании, по мнению Покровского, шла действительно борьба за независимость,

---

[1] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны в царской России, 56—57.
[2] Там же, 57.

в России же партизанская война сводилась к борьбе с мародерами[1]. Контраст довольно яркий, в стиле Покровского. Русский народ, по Покровскому, не переживал патриотического подъема и не боролся за независимость с иностранными пришельцами и грабителями.

М. Н. Покровский не понял или не хотел понять классовой сущности грабительского похода Наполеона на Москву. Солдаты «великой армии» в оценке Покровского только случайно оказались мародерами, так как Наполеон не устроил запасных магазинов, а русские уничтожили собственные. Раз армия Наполеона, по выражению Покровского, «замерзла в русских снегах», то естественно русский народ не сыграл никакой роли в победе над Наполеоном. Партизаны же, по его мнению, воевали лишь с мародерами-солдатами и хватали и уничтожали отставших, голодных и полузамерзших солдат.

Покровскому, вероятно, были известны высказывания Маркса об испанской народной войне. «Испанцы,—писал Маркс,—были счастливее русских, им не надо было сперва умереть, чтоб потом воскреснуть из мертвых»[2]. Для Маркса народная война в Испании и народная война в России—явления тождественного характера. Но Покровский прошел мимо этих точных и ясных высказываний Маркса, хотя они требовали всестороннего научного подхода к оценке народной войны 1812 г.

Борьба народа с «великой армией» началась сейчас же, как только наполеоновская армия вступила на территорию Литвы и Белоруссии. Крестьяне заняли в отношении Наполеона крайне враждебную позицию. Правительство восстановленного под суверенитетом Наполеона великого княжества Литовского пыталось призвать крестьян в армию но эта попытка произвести рекрутский набор потерпела неудачу. В армию шли шляхтичи, а крестьяне убегали в лес[3].

Наполеоновские генералы вели себя в Литве и Белоруссии, как в завоеванном крае. «Освободители» реквизировали все, что могли, грабили сельское население, уничтожали посевы и сено, нанося крестьянству громадный материальный ущерб. Наполеон при переходе через Неман опубликовал воззвание к армии, в котором сообщал о вступлении ее в неприятельский край. Это дало солдатам наполеоновской армии основание безнаказанно грабить всех и вся, а крестьянство отвечало на насилия активной и пассивной борьбой. По всей территории Литвы устраивались продовольственные магазины и пропускные пункты для армии, которые должны были наполняться помещичьими и крестьянскими запасами. «Великая армия» двигалась вперед, оставляя в тылу враждебное к себе крестьянство, которое вело борьбу и с мародерами и с отдельными отрядами «великой армии».

Ведя активную и пассивную борьбу против отрядов и мародеров

---

[1] Там же.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, 742.
[3] Сборник Русского исторического общества, XXXVIII, 150—153.

наполеоновской армии, крестьяне одновременно восставали против своих помещиков, отказываясь на них работать и выполнять повинности. Французскому военному командованию приходилось посылать отряды для приведения волновавшихся крестьян в повиновение помещикам [1].

Борьба литовских и белорусских крестьян против помещиков и отрядов наполеоновской армии, на которую стали обращать внимание только в наше время, имела громадное военно-политическое значение.

Армия Наполеона действительно оказалась в «неприятельской стране», в которой приходилось действовать осторожно и силой добывать фураж и продукты питания. Тыл волновался, и Наполеону приходилось оставлять в городах гарнизоны для поддержания спокойствия и посылать карательные экспедиции для приведения волновавшихся крестьян в повиновение. Это не было предусмотрено Наполеоном.

Партизанские отряды литовско-белорусского крестьянства не прекращали своих действий против наполеоновской армии вплоть до того момента, когда остатки последней покинули Литву. Такое же отношение встречал Наполеон со стороны крестьянства и в восточной Белоруссии.

Надо отказаться от созданной самим Наполеоном легенды о его намерении освободить крепостных крестьян и тем самым привлечь последних на свою сторону. Эта легенда поддерживалась отдельными французскими мемуаристами, как Сегюр и др. Только опасение, чтобы «русское дворянство не погибло, как колонисты в Сан-Доминго во время восстания негров», якобы заставило Наполеона отказаться от мысли об освобождении крестьян.

Буржуазные русские историки верили этим рассказам о планах Наполеона, тогда как в действительности все эти разговоры не могли иметь какого то бы ни было практического значения. Наполеон, организуя французское управление в оккупированных областях, везде и всегда искал опоры в местном дворянстве в надежде добиться поставленной цели с его помощью. Действительно польско-литовско-белорусское дворянство было угодливыми лакеями Наполеона, ожидавшими укрепления политического положения великого княжества Литовского в случае наполеоновской победы, которая, как им казалось, была обеспечена. Наполеоновская социальная политика вообще была контр-революционной, и, конечно, Наполеон не мог встать на путь освобождения крестьян и уничтожения феодальной эксплоатации в царской России.

Барон Дедем-де-Гельдер совершенно правильно отметил невозможность таких противокрепостнических действий со стороны Наполеона, для которого «было слишком важно упрочить монархию во Франции и трудно проповедывать революцию в России» [2]. Созданная аполо-

[1] Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией для разбора древних актов. Вильно, 1912, XXXVIII, №№ 464, 498, 590, 595, 700 и др.

[2] «Русская старина», 1890, VII, стр. 126.

гетами Наполеона легенда может вызвать доверие только со стороны исследователей, привыкших не критически верить каждому слову Наполеона.

По мере движения «великой армии» вперед отношения ее с крестьянами все более и более обострялись. По словам Дедема-де-Гельдера, «в окрестностях Витебска население проявило революционные чувства. Помещики со всех сторон стали обращаться к витебскому губернатору, генералу Шарпантье, с просьбой прислать охрану для их защиты от крестьян, которые грабили помещичьи дома и дурно обходились с самими помещиками»[1]. Сегюр, будучи дальновидным наблюдателем, говорит, что «приходилось уже вести не войну с королями, но войну с классом, войну с партиями, войну национальную, религиозную, все войны разом». Та же картина была и в Могилевской губернии.

Маршал Даву при приеме могилевского дворянства успокоил его обещанием, что крестьяне останутся попрежнему «в повиновении помещикам своим»[2]. Крестьяне, восставая против помещиков, поддерживающих Наполеона, тем самым создавали у него в тылу весьма тревожное положение, с которым приходилось очень и очень считаться. В Витебске, Могилеве и других городах были оставлены значительные военные части, которые покинули город только при общем отступлении «великой армии».

Попытка получить военные пополнения путем рекрутского набора потерпела неудачу в обеих белорусских губерниях, Витебской и Могилевской.

Создавшаяся в Витебске атмосфера заставила Наполеона оставить город и начать наступление к Смоленску[3]. По словам главного врача Росса, в тылу было очень неблагополучно. Прибывший полковой аудитор Крафт «подробно рассказывал о том, что делается в тылу армии. Он рассказывал о великой нужде и о все возраставшем бедственном положении людей, о пожарах, грабежах, разбое, о развалинах, опустошенных дорогах, полях и лесах, об огромном количестве трупов солдат, погибших от жары, голода и жажды, об отощавшем скоте и болезнях, царивших во всех лагерях, и рассказы его были потрясающие»[4]. Росс отмечает, что чем дальше армия двигалась вперед, тем положение становилось отчаяннее: «все против нас; все готовы либо защищаться, либо бежать; везде меня встречали неприязненно, с упреками, бранью. Никто ничего не хотел давать, мне приходилось брать самому, насильственно и с риском, меня отпускали с угрозами и проклятиями. Мужики вооружены палками, многие на

---

[1] Сборник «Французы в России», I, 80—81.
[2] Сборник Русского исторического общества, XXXIV, 139.
[3] «Витебская старина», I, 590—591, Витебск, 1883; Ц. Ложье. Дневник офицера великой армии, 77.
[4] Сборник «Французы в России», I, 90.

конях, бабы готовы к бегству и ругали нас так же, как и мужики. Верховые разъезжают от места до места, сообщают о том, что делается; есть у них доска для подачи сигналов»[1].

Враждебное отношение крестьян к наполеоновской армии было угрожающим признаком. Это прекрасно понимали наиболее дальновидные участники похода Наполеона на Москву. Не изменилось положение и по дороге от Смоленска к Москве. По словам Комба, «русская армия не отступала, как до взятия Смоленска, а защищала каждую пядь земли, причиняя нам большой урон артиллерийским огнем всякий раз, когда ее артиллерия находила удобную позицию для того, чтобы поставить батареи»[2].

Наступавшая армия уже голодала и производила дикие грабежи и насилия. Город Руза был подвергнут страшному разгрому (9 сентября). Под предлогом поисков пищи, сообщает Лабом, «грабили и тащили все вплоть до платья с женщин и детей». Крестьяне, потерпев неудачу в борьбе с регулярными войсками, «скрылись с женами и детьми в лесах, подальше от нашего пути»[3]. Французы стали понимать, что имеют дело с народной войной. Они ошиблись только в одном—организацию народной войны они приписывали Александру I.

Не лучше было положение около Москвы. Французы при вступлении в деревни убеждались в том, что «и дома и усадьбы были разрушены и опустошены, мебель переломана, провизия расхищена, все это представляло из себя полную картину разрушения, которая ясно доказывала нам, на какие крайности способен народ, достаточно великий, чтобы предпочесть полное разорение потере независимости»[4].

Таково было положение «великой армии» на пути от Вильно до Москвы. Крестьянские восстания, сожжение деревень и усадеб, опустошение полей, уничтожение невывезенного провианта, борьба около Полоцка, Смоленска, Бородино достаточно потрепали армию Наполеона. Отдельные вдумчивые и наблюдательные участники похода Наполеона уже тогда отчетливо сознавали, чем окончится эта авантюра. Народная война началась сейчас же после вступления «великой армии» на территорию Литвы и Белоруссии. Все эти факты не были учтены Покровским.

Армия Наполеона страдала от голода. Она уже питалась кониной, да и то не всегда. Повальные болезни выводили из строя большое количество солдат. Мародерство, которое встречало поддержку со стороны командного состава, поскольку армию нечем было кормить, не достигало цели. Армия устала от длинных и быстрых переходов. Она таяла, ее моральное настроение падало. Надежда на победу становилась сомнительной. Вооруженное крестьянство нанесло «великой армии» громадный, непоправимый ущерб. Наполеон это понимал

[1] Сборник «Французы в России», I, 30.
[2] Там же, 113.
[3] Там же, 159.
[4] Там же, 170.

и стремился взять Москву в надежде найти в ней большие запасы. Но и в этом он ошибся.

Буржуазные историки войны 1812 г. обычно не учитывали роли крестьянских противонаполеоновских движений в Литве и Белоруссии. Так же поступил и Покровский. В действительности народная война началась не только после разорения Смоленской губернии, а с самого начала вторжения «великой армии» в империю. После Смоленска народная война принимает еще более широкий характер. К борьбе против Наполеона присоединяется великорусское крестьянство, образовавшее единый фронт с литовско-белорусским, хотя и не оформленный каким-либо соглашением и не имевший какого бы то ни было единого руководства.

Недооценка Покровским важнейшего значения русской народной войны свидетельствует лишь о недостаточно углубленном изучении столь важного вопроса. Покровский, высказываясь категорически об антимародерском характере народной войны, не приводит, однако, никакого фактического материала, и читатель в праве предъявить Покровскому требование о доказательстве его положения.

Два момента надо отметить в борьбе крестьянства против наполеоновской армии. Сначала великорусские крестьяне, как и литовско-белорусские, при приближении неприятеля убегали в леса и более отдаленные уезды, унося с собой все, что было возможно. Потом они начинают вести активную борьбу с неприятелем. Этот переход к активной борьбе произошел стихийно, без какого бы то ни было воздействия со стороны. Разорение страны после взятия Смоленска послужило толчком к борьбе крестьян с врагом. Патриотическое чувство особенно пробудилось в крестьянстве, когда оно увидело, как неприятель топтал и разорял родную землю, посягая на жизнь и имущество населения. Крестьянин воевал не из-за того, «чтобы истребить хищных зверей, пришедших пожрать его птиц и кур, опустошить его поля и житницы», как писал в своих записках мракобес Рунич[1]. Крестьянство защищало и свою собственность, и свою личность, и свою страну от появившегося в ней неприятеля, в случае успеха которого крестьяне очутились бы в двойной эксплоатации: помещичьей и иностранной. Занятая крестьянством позиция нисколько не противоречит тому, что крестьяне в отдельных случаях хорошо относились к французам. Отдельный солдат был не опасен и заслуживал жалости. Другое дело целые военные отряды, как саранча, все уничтожавшие на своем пути. Встав на путь активной борьбы, жертвуя своей жизнью, крестьянство оказало громадную помощь армии в ее борьбе за окончательный разгром вторгнувшегося неприятеля.

Эта народная война—факт большого политического значения. И дворянская и буржуазная историография хотели видеть в ней не большое патриотическое дело, а войну «из-за кур и гусей»,

[1] «Русская старина», 1901, III, 612.

и Покровский в сущности солидаризировался с клеветниками на русский народ[1]. Дворянская историография исходила из мысли, что вся честь победы над Наполеоном принадлежит только дворянству, забывая о солдатах и ополченцах и не допуская сознательности в действиях крестьянства. Буржуазные историки стремились умалить значение народной войны, не допуская мысли о том, что закрепощенное крестьянство вообще могло иметь патриотические чувства. Покровский не сумел объективно-научно разобраться в таком явлении, как народная война, и фактически оценивал последнюю с точки зрения дворянской и буржуазной историографии, преодолеть которую он не сумел. Отсюда и вытекали все его ошибки в оценке войны 1812 г.

Война всколыхнула крестьянство, как только оно убедилось в том, что́ готовит ему завоеватель в случае победы. Крестьяне начали активную национально-освободительную борьбу с отрядами наполеоновской армии. Эта борьба не была замечена и отмечена Покровским. Враг был жесток по отношению к крестьянам, и последние платили ему той же мерой. Это было неизбежно в борьбе за независимость своей страны. Отступление неприятеля усилило народный подъем, и крестьянство наносило последние удары остаткам «великой армии», действительно превратившейся в недисциплинированных мародеров, от которых не было никому житья.

Покровский отнесся отрицательно и к народным ополчениям, не придавая им никакого военно-политического значения. Ополчение, по словам Покровского, «в действительности... было повторением бутафорской «милиции» 1806 г.»[2]. Такой вывод логически вытекал из всей концепции войны 1812 г. у Покровского. Покровский не понял, что ополченцы были частью вооруженного народа. Упомянутый выше Клаузевиц считал, что «ополченские дружины, которые хотя и были вооружены большей частью только пиками, но все же составляли значительные отряды, против которых французам приходилось создавать фронт и быть постоянно настороже»[3]. Это—мнение современника и притом крупного военного специалиста, хорошо осведомленного о составе и действиях русской армии. Остается пожалеть, что Покровский не учел этих высказываний Клаузевица, они заставили бы его быть осторожнее в своих суждениях и выводах.

Превратив народную войну в карикатуру, Покровский естественно умолчал о партизанах, словно их совсем не было. Для подтверждения своих антиисторических взглядов Покровскому не нужны были ни народное войско, ни военные ополчения, ни партизаны, поскольку он считал, что в силу чистой случайности армия Наполеона «замерзла в русских снегах».

---

[1] В. Алексеев. Народная война. «Отечественная война и русское общество», V, 227.

[2] М. Н. Покровский. Дипломатия и войны царской России, 45.

[3] Клаузевиц. 1812 год, стр. 177.

Такова в основном созданная Покровским концепция «Двенадцатого года», в корне глубоко ошибочная, неверная и поэтому вредная. Покровский правильно характеризовал отдельные стороны отношения Александра I и дворянской знати к войне, но он глубоко не прав в оценке отношения к войне самого народа. Для Покровского—народ не основной активный участник происходившей освободительной борьбы, а статист, двигающийся на исторической сцене в том или другом направлении по указанию правительственного режиссера. Покровский не сумел преодолеть наследие буржуазной историографии, как русской, так и иностранной, и очутился у нее в плену. Он так же, как и буржуазные историки, ослеплен талантами «непобедимого» Наполеона. Он так же, как и они, отрицает доблесть и патриотизм русского народа, проявленные в борьбе за освобождение своей страны от иностранных захватчиков. Он так же, как и буржуазная историография, снижает военные таланты русских военачальников, противопоставляя им таланты Наполеона и его маршалов. В мастерских движениях армии Кутузова Покровский не видит ничего талантливого. Покровский считает, что успехи русской армии не зависели от нее самой, а возникли вследствие тех случайных обстоятельств, в которых оказалась французская армия, быстро разлагавшаяся после ухода из Москвы. Его больше волнует и интересует судьба «великой армии», чем победоносный характер героической борьбы русского народа и изгнание неприятеля из России. Покровский, кричащий об ошибках и неспособностях Кутузова, умалчивает об ошибках Наполеона и не сообщает даже о бегстве Наполеона от своей армии, ввергнутой им в бездну отчаянья и ужаса. Покровский не понял ни характера наполеоновской завоевательной политики, ни того, что основной причиной поражения Наполеона в войне 1812 г. была общенациональная борьба за независимость русского народа, борьба, в которой главной силой было русское крестьянство.

Покровский не отметил, что поражение Наполеона в России было началом заката его могущества и освобождения народов от власти самоуверенного захватчика. Для Покровского, как и для Наполеона, поход последнего на Москву сопровождался только одними победами и кончился неудачно в силу только одних «случайностей». Ведь и Наполеон объяснял свои неудачи «случайностями». «Если бы не этот роковой пожар (Москвы),—говорил Наполеон в изгнании в беседе с О'Меаром,—у меня было бы все необходимое для армии, прекрасные зимние квартиры, разнообразные припасы в изобилии; на следующий год решилось бы остальное. Александр заключил бы мир, или я был бы в Петербурге»[1]. Впрочем, это были запоздалые иллюзии Наполеона—результат уединенных размышлений, попытка оправдать свое поражение.

Русский народ не «случайно» прогнал Наполеона с родной земли.

---

[1] Сборник «Французы в России», III, 384.

Победа русского народа была победой воодушевления, патриотизма, нежелания оказаться в кабале иностранного завоевателя.

М. Н. Покровский, отрицая национально-освободительный характер борьбы против Наполеона, не сумел оценить мужество и героизм, проявленные русским народом в борьбе против «великой армии». Он не обратил внимания на подъем патриотического одушевления, охватившего народные массы. Он не оценил тех громадных материальных и физических жертв, которые принес русский народ для освобождения своей страны от ига завоевателей. Он не отобразил героизма солдатских масс. Он не понял сущности проявленного крестьянами патриотизма.

Троцкистско-бухаринские контр-революционеры и враги народа всячески продолжали извращать историю Отечественной войны. Они отрицали национально освободительный характер борьбы против Наполеона и изображали народную войну в неверном освещении, протягивая тем самым руку мракобесам и дворянам-крепостникам начала XIX в., боявшимся, как бы борьба русского народа против Наполеона не превратилась в борьбу против дворян, против крепостнического гнета и эксплоатации. Троцкистско-бухаринские изменники и шпионы, как и дворяне-крепостники, презирали русский народ и игнорировали проявленные им в борьбе против Наполеона творческие способности и дарования. Предатели социалистической родины ненавидели русский народ за его любовь к родной стране, за его доблесть и патриотизм.

«Русский народ в 1812 году отстоял независимость своего отечества. Великий завоеватель столкнулся с великим народом и был разбит». Борьба против наполеоновского нашествия в 1812 г. является блестящей страницей в истории русского народа. Эта героическая борьба русского народа за свою независимость против иностранных интервентов правильно оценивается и освещается лишь на основе марксистско-ленинской методологии. Народы Советского Союза хорошо помнят свое героическое прошлое, свою борьбу с интервентами и угнетателями. В случае нападения фашистских варваров на СССР трудящиеся нашей страны встанут как один человек для защиты своего социалистического отечества, своей свободы и независимости.

М. НЕЧКИНА

ВОССТАНИЕ ДЕКАБРИСТОВ В КОНЦЕПЦИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Концепция восстания декабристов, выдвинутая М. Н. Покровским, резко расходится с ленинско-сталинской концепцией.

Лениным установлена цельная и полная глубочайшего содержания концепция декабризма. Им указано место декабристов в истории революционного движения, определено историческое значение и дан классовый анализ движения декабристов. Изучение этой концепции—обязательная предпосылка не только работы каждого исследователя декабристов, но и всех изучающих историю революционного движения.

Как и Ленин, товарищ Сталин оценивает восстание декабристов как факт *революционного* движения. В беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом в ответ на замечание последнего о том, что Романовы продержались 300 лет, несмотря на политику устрашения, товарищ Сталин сказал: «Да, но сколько было восстаний и возмущений на протяжении этих 300 лет: восстание Стеньки Разина, восстание Емельяна Пугачева, восстание декабристов, революция 1905 г., революция в феврале 1917 г., Октябрьская революция»[1]. Эту оценку декабристов как деятелей революционного движения приходится особенно подчеркивать в связи с резким умалением, а то и с прямым отрицанием революционности декабристов в концепции Покровского.

Ленин многократно останавливался на декабристах в своих произведениях, давая им развернутые характеристики. Первое высказывание Ленина о декабристах датируется 1901 г., последнее 1917 г.[2]

Впервые Ленин упоминает о декабристах в работе «Гонители земства и аннибалы либерализма». Указывая на «жандармский» опыт российского правительства, приобретенный в борьбе с революционным движением как внутри страны, так и на международной арене, Ленин пишет:

«...Несомненно, что коллективный опыт и коллективный разум

---

[1] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат, М., 1934, стр. 157.

[2] В следующем далее тексте мною использована моя работа «Ленин о декабристах», напечатанная в № 5—6 журнала «Фронт науки и техники» за 1935 г.

правящих заставлял их неуклонно преследовать эту тактику. Недаром же большинство вельмож и сановников прошло длинный курс николаевской службы и полицейской выучки, прошло, можно сказать, огонь и воду и медные трубы. Они помнили, как монархи то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых и «спускали» на верноподданных Аракчеевых; они помнили 14-ое декабря 1825 г. и проделывали ту функцию европейской жандармерии, которую (функцию) исполнило русское правительство в 1848—49 годах. Исторический опыт самодержавия не только заставлял правительство следовать тактике запугивания и развращения, но и многих независимых либералов побуждал рекомендовать правительству эту тактику»[1].

Восстание декабристов отмечено здесь у Ленина как явление ряда событий *революционного* движения. Характерно, что именно столичное восстание 14 декабря выделено Лениным как наиболее значительное явление.

В 1902 г. в работе «Аграрная программа русской социал-демократии» Ленин останавливается на *республиканизме* декабристов. «Нам нужно шире распространить идею, что только в республике может произойти решительная битва между пролетариатом и буржуазией, нам нужно *создать* и упрочить республиканскую традицию среди всех русских революционеров и среди возможно более широких масс русских рабочих...»

При слове «создать» Ленин делает пояснительную сноску, в которой указывает на республиканские идеи декабристов:

«Мы говорим: «создать», ибо старые русские революционеры никогда не обращали серьезного внимания на вопрос о республике, никогда не считали его «практическим» вопросом,—народники, бунтари и пр. потому, что с пренебрежением анархистов относились к политике, народовольцы потому, что хотели прыгнуть прямо от самодержавия к социалистической революции. На нашу долю (если не говорить о давно забытых республиканских идеях декабристов), на долю социал-демократов, выпало распространить требование республики в массе и создать республиканскую традицию среди русских революционеров»[2].

Республиканские лозунги поддерживались Южным обществом декабристов с Пестелем во главе и левым крылом Северного общества во главе с Рылеевым. Правое крыло Северного общества стояло за лозунг конституционной монархии. Оценка декабристскому лозунгу республики у Ленина дается с двух сторон: он высоко оценивает лозунг республики в революционном движении, но в то же время указывает на то, что именно декабристский лозунг оказался *давно забытым*, не удержался в революционном движении, в силу чего республиканскую традицию надо создавать *заново*.

В январе 1905 г. Ленин упоминает декабристов в конспектах,

---

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., IV, 127.
[2] В. И. Ленин. Соч., V, 98.

тезисах и плане статьи «Рабочая и буржуазная демократия». Насколько можно судить по черновикам[1], декабристы интересовали здесь Ленина в разрезе генезиса русского либерализма. Ленин отмечал направленность движения декабристов *против царизма* и отмечал в то же время классовую ограниченность движения.

В 1906 г. в работе «Политический кризис и провал оппортунистической тактики» Ленин ставит вопрос об отношении декабристов к массовому революционному движению и квалифицирует революционность декабристов как дворянскую революционность. Ленин со всей остротой ставит в указанной работе проблему «двух тактик» социал-демократии и разоблачает тактику оппортунистического ЦК. В письме последнего содержится указание на возможность установления в России военной диктатуры армии, принявшей участие в революции. Эта мысль, которую Ленин называет «чудовищной», сформулирована в указанном письме следующим образом:

«Если бы, действительно, нельзя было в данный момент выдвинуть в качестве носителя власти ничего другого, кроме Советов Рабочих Депутатов, то можно заранее сказать, что победа над правительством в *борьбе за власть* (а эта победа непременно предполагает участие армии в этой борьбе) привела бы ни к чему иному, как к *военной диктатуре* армии, перешедшей «на сторону народа».

Возражая против этой «чудовищной тирады», Ленин резко противопоставляет лозунг *вооруженного восстания* лозунгу *военной диктатуры*. И далее, в порядке того же противопоставления лозунга вооруженного восстания лозунгу военной диктатуры, Ленин пишет:

«Неужели Ц. К. настолько утратил элементарный революционный инстинкт, что для него неясна разница между дворянской революционностью декабристов,—разночинно-интеллигентской революционностью офицеров народовольцев,—и глубоко демократической, пролетарской и крестьянской, революционностью солдат и матросов в России двадцатого века? Неужели ему никогда не бросалась в глаза коренная разница между революционностью офицеров в эпоху Народной Воли при полном почти равнодушии солдатской массы и теперешней реакционностью офицерства при могучем движении именно серой военной массы? Думать, что переход современного русского солдата или матроса на сторону Советов Раб. Деп. в борьбе с правительством может быть переходом к военной диктатуре,—видеть средство против этого в привлечении офицерства умеренным лозунгом «за Думу»,—для этого надо либо потерять всякое чутье действительности, либо уйти вправо дальше г-на Струве и ком.!»[2].

Этот ленинский текст чрезвычайно важен. Ленин характеризует здесь разницу между «дворянской революционностью» и глубоко демо-

---

[1] Ленинский сборник, V, 64—71.
[2] В. И. Ленин. Соч., X, 38—39.

кратической пролетарской и крестьянской революционностью. В тактике *военной диктатуры*, выдвинутой декабристами, Ленин видит характерный признак их классовой ограниченности. Тактика массового вооруженного восстания противопоставлена Лениным тактике «военной диктатуры».

В 1912 г. в статье «Памяти Герцена» Ленин дал три чрезвычайно подробных и детальных текста, касающихся декабристов.

Все три текста сосредоточены на одной мысли—на определении места декабристов в общем процессе российского революционного движения. Но сверх того каждое из этих высказываний, особенно богатейший текст в конце статьи, дает возможность сделать ряд особых выводов.

В начале статьи, определяя то поколение революционеров, к которому принадлежал Герцен, Ленин тесно связывает его и декабристов, относя их к одному периоду истории революционного движения. Определяя в этой связи значение декабристов, Ленин пользуется формулировкой самого Герцена, применяя и в дальнейшем герценовский термин «разбудили» для определения связи декабристов и революционного поколения Герцена.

Вот этот текст Ленина с включенными в него цитатами Герцена:

«Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века. Дворяне дали России Биронов и Аракчеевых, бесчисленное количество «пьяных офицеров, забияк, картежных игроков, героев ярмарок, псарей, драчунов, секунов, серальников», да прекраснодушных Маниловых. «И между ними—писал Герцен—развились люди 14 декабря, фаланга героев, выкормленных, как Ромул и Рем, молоком дикого зверя... Это какие-то богатыри, кованые из чистой стали с головы до ног, воины-сподвижники, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия».

К числу таких детей принадлежал Герцен»[1].

Второе высказывание о декабристах в той же статье Ленина касается столь важного в идеологии декабризма вопроса, как лозунг освобождения крестьян. В этом упоминании вновь подчеркивается огромнейшее *агитационное* значение самого лозунга крестьянского освобождения у декабристов. Ленин не диференцирует в этом кратком упоминании отношения различных групп декабристов к этому вопросу,—он берет его в общем основном содержании.

«Герцен создал вольную русскую прессу за границей—в этом его великая заслуга. «Полярная звезда» подняла традицию декабристов. «Колокол» (1857—1867) встал горой за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено»[2].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 464.
[2] Там же, 466.

В этом высказывании Ленин отчетливо выделяет момент освобождения крестьян в идеологии декабристов и подчеркивает его значение как революционного лозунга, революционной традиции.

Знаменитый ленинский текст о трех поколениях революционеров, обошедший всю литературу о декабристах, находится в конце статьи «Памяти Герцена».

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала—дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури»—звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это—движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году. Следующий начинает расти на наших глазах» [1].

В этом замечательном ленинском тексте прежде всего с величайшей ясностью определено место декабристов в общем ходе революционного движения. Декабристы—*первое* поколение революционеров. Они связаны общими нитями со всеми последующими периодами революционного движения. «Дело их не пропало»—агитацию за него развернул разбуженный декабристами Герцен, эту агитацию «подхватили, расширили, укрепили, закалили» революционеры-разночинцы. Но первый этап революционного движения имеет яркое, подчеркнутое определение его классовой ограниченности: эти революционеры—«дворяне, помещики». В непосредственной связи с этой классовой ограниченностью революционности декабристов стоит другой отчетливейший ленинский вывод: «страшно далеки они от народа». Это и есть самое основное в классовой дворянской ограниченности декабристов.

В 1913 г. Ленин останавливается на декабристах в небольшой статье: «Роль сословий и классов в освободительном движении», вызванной статьей Як. Бермана «Влияние социально-правового и экономических факторов на государственную преступность». Отметив неполноту данных Як. Бермана, Ленин дает цифровую таблицу государственных преступлений по эпохам и делает следующие выводы:

«...Ясно видно, как быстро демократизировалось освободительное движение в XIX веке и как резко менялся классовый состав его. Эпоха крепостная (1827—1846 г.г.)—полное преобладание дворянства. Это—эпоха от декабристов до Герцена. Крепостная Россия забита и неподвижна. Протестует ничтожное меньшинство дворян, бессильных

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 468—469.

без поддержки народа. Но лучшие люди из дворян помогли *разбудить* народ.

Эпоха разночинца или буржуазно-либеральная (1884—1890)—дворяне уже составляют меньшую часть среди участников освободительного движения. Но, если прибавить к ним духовенство и купечество, то получаем 49%, т.-е. *почти половину*. Движение еще на половину остается движением привилегированных классов: дворян и верхов буржуазии. Отсюда—бессилие движения, несмотря на героизм одиночек.

Третья (1901—1903) и четвертая (1905—1908) эпохи—эпохи крестьянской и пролетарской демократии. Роль дворянства совсем малая. Мещане и крестьяне дают $^{8}/_{10}$ перед революцией и $^{9}/_{10}$ во время революции. Проснулись массы. Отсюда два итога: 1) возможность добиваться кое-чего серьезного и 2) ненависть либералов к движению (появление контр-революционного либерализма)»[1].

Этот текст по своей тематике совпадает с только что разобранным текстом из статьи «Памяти Герцена» и дает основание сделать те же выводы. Указано на *бессилие* дворянского революционного движения без поддержки народа. Замечательно, что нет возражений против даты Як. Бермана—1827 г., т. е. первый год, следующий за годом *казни* декабристов.

В мае 1914 г. Ленин вновь возвращается к вопросу о декабристах, опять поднимая весь тот круг связанных с ними проблем, который проанализирован им в статье «Памяти Герцена». Это сделано в работе «Из прошлого рабочей печати в России», опубликованной в «Рабочем» 5 мая (22 апреля).

С огромной ясностью и остротой поставлена в этом тексте проблема *массового* движения и подлинного глубокого, последовательного пролетарского демократизма, свойственного массовому движению на том этапе, когда единственный до конца революционный класс—пролетариат—становится его гегемоном. Эта мысль развита тут Лениным еще более подробно, чем в статье «Памяти Герцена»: проанализирован даже для первого, дворянского, периода вопрос о том, почему пролетариат не мог в ту пору оказаться во главе революционного движения.

В виду того, что речь опять-таки идет о трех периодах революционного движения, что дает возможность понять декабристов в огромной—почти столетней—революционной перспективе, приведем не только текст, характеризующий первый период, но и всю цитату о трех периодах в целом.

«Освободительное движение в России прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический,

[1] В. И. Ленин. Соч., т. XVI, 575—576.

приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время.

Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен. В ту пору, при крепостном праве, о выделении рабочего класса из общей массы крепостного, бесправного, «низшего», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее.

Как декабристы разбудили Герцена, так Герцен и его «Колокол» помогли пробуждению разночинцев, образованных представителей либеральной и демократической буржуазии, принадлежавших не к дворянству, а к чиновничеству, мещанству, купечеству, крестьянству. Предшественниками полного вытеснения дворян разночинцами в нашем освободительном движении был еще при крепостном праве В. Г. Белинский. Его знаменитое «Письмо к Гоголю», подводившее итог литературной деятельности Белинского, было одним из лучших произведений бесцензурной демократической печати, сохранивших громадное, живое значение и по сию пору.

Падение крепостного права вызвало появление разночинца, как главного, массового деятеля и освободительного движения вообще и демократической, бесцензурной печати в частности. Господствующим направлением, соответствующим точке зрения разночинца, стало народничество. Оно никогда не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархизма слева. Но Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм.

Эпоха 60-х и 70-х годов знает целый ряд начавших уже итти в «массы» бесцензурных произведений печати боевого демократического и утопически-социалистического содержания. А среди деятелей той эпохи виднейшее место занимают рабочие Петр Алексеев, Степан Халтурин и др. Но в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа: «Освобождение Труда», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией (петербургские стачки 1895—96 годов)»[1].

По всему приведенному выше тексту проходит отчетливое разделение пролетарского демократизма и других видов демократизма.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XVII, 341—342.

Опять-таки с величайшей ясностью поставлена для всех трех периодов проблема *массового* движения; даже для такого отдаленного периода, как дворянский период, поставлен вопрос о пролетариате и дано разъяснение о причинах его отсутствия. Характернейший момент—*начало* дворянского периода—Ленин датирует 1825 г., хотя, конечно, хорошо знает, что скрытая деятельность тайных обществ декабристов протекала в течение ряда лет до этого года. Год самого *восстания* декабристов выделен Лениным: это еще раз подчеркивает политическую важность *открытого выступления декабристов против царизма*. Вспомним приведенное в начале статьи первое по времени высказывание Ленина о декабристах, где указана самая дата восстания—14 декабря 1825 г. Заметим, что в только что приведенном тексте вновь встречается формулировка «декабристы разбудили Герцена», уже встретившаяся нам в статье «Памяти Герцена» и взятая Лениным непосредственно из герценовского текста.

В конце того же 1914 года Ленин вновь возвращается к вопросу о декабристах. Его статья «О национальной гордости великороссов» напечатана в «Социал-демократе» 12 декабря 1914 г.

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы *ее* трудящиеся массы (т.-е. $^{9}/_{10}$ *ее* населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что *эта* среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика»[1].

Здесь вновь подчеркивается революционность декабристов, вновь становятся они на определенное место во всем процессе истории русского революционного движения. Акцент же этой цитаты—на мысли о революционном протесте, об *отпоре* «насилиям, гнету, издевательствам», которым подвергают Россию царские палачи, дворяне и капиталисты. Именно за свой протест против этого заслуживают декабристы названия революционеров.

Насколько нам известно, последнее высказывание Ленина о декабристах относится к 1917 г. Ленин вспомнил декабристов в самый канун Февральской революции. В день памяти 1905 г. 9 (22) января 1917 г. Ленин прочел в Цюрихе, в народном доме, доклад о революции 1905 года на собрании, организованном рабочей молодежью. В этом докладе он дважды останавливается на декабристах.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 81.

«В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами. С того момента и до 1881 года, когда Александр II был убит террористами, во главе движения стояли интеллигенты из среднего сословия. Они проявили величайшее самопожертвование и своим героическим террористическим методом борьбы вызвали удивление всего мира. Несомненно, эти жертвы пали не напрасно, несомненно, они способствовали—прямо или косвенно—последующему революционному воспитанию русского народа. Но своей непосредственной цели, пробуждения народной революции, они не достигли и не могли достигнуть.

Это удалось только революционной борьбе пролетариата»[1].

Вновь видим мы тут настойчиво проводимую Лениным периодизацию революционного движения и уже знакомое нам по предыдущим цитатам определение места декабристов в этом движении. Декабристы—*первые* революционеры, участники революционного движения *против царизма.* Вновь заострено внимание на протесте декабристов *против царизма* и вновь дана в качестве основной даты—дата самого восстания—1825 год.

Второе высказывание Ленина, содержащееся в этой же статье, возвращает нас к тем ленинским мыслям о декабристах, которые были выражены в статье «Политический кризис и провал оппортунистической тактики». Это—крупнейший вопрос декабризма—вопрос *тактики,* вопрос о *военном* восстании.

«Интересно сравнить военные восстания в России 1905 года с военным восстанием декабристов в 1825 году. Тогда руководство политическим движением принадлежало почти исключительно офицерам, в особенности офицерам-дворянам; они были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн. Масса солдат, состоявшая тогда еще из крепостных крестьян, держалась пассивно.

История 1905 года дает нам совершенно обратную картину. Офицеры, за небольшими исключениями, были тогда настроены или буржуазно-либерально, реформистски или же прямо контрреволюционно. Рабочие и крестьяне в военной форме были душой восстаний; движение стало народным. Впервые в истории России оно захватило большинство эксплуатируемых»[2].

Здесь дано крайне важное для нас прямое определение восстания декабристов как *военного восстания.* Со всей отчетливостью поставлена проблема связи этого военного восстания с массовым движением. Вновь подчеркнут классовый момент: декабристы—офицеры—дворяне. В связи с дворянской ограниченностью этих революционеров и становится понятным отмеченное выше отсутствие

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 348.

[2] Там же, 351.

их связи с массами. Вновь фигурирует и самая дата восстания—1825 год, год открытого выступления декабристов против царизма. И вновь подчеркнута разница между демократизмом массового движения 1905 г., возглавленного гегемоном—пролетариатом, и классово ограниченным *военным* заговором дворян-революционеров, не связанных с массовым движением.

Таким образом, Ленин действительно дал сложную, продуманную и отличающуюся глубокой цельностью концепцию движения декабристов. Он назвал их *дворянскими революционерами*. Этим он подчеркнул одновременно и классовую ограниченность движения и его революционное существо. Концепция Ленина глубоко диалектична. Эта концепция сложилась у Ленина с 1902 г. К тому моменту, когда Покровский выступил со своей первой работой о декабристах,—1907 г.,—он уже смог бы продумать первые высказывания Ленина о декабристах, относящиеся к 1901, 1905 и 1906 гг. А к 1920—1926 гг.—времени, когда Покровский дает целую группу своих последних работ о декабристах, он уже давным давно мог бы усвоить ленинскую концепцию. Он не сделал этого. Его концепция восстания декабристов в корне расходится с ленинской.

М. Н. Покровский многократно останавливался на теме «декабристы» и посвятил ей целый ряд специальных статей и особых глав в своих общих исторических курсах. На всем протяжении своей научной работы он не выпускает из орбиты внимания этой чрезвычайно интересовавшей его темы.

Всего М. Н. Покровский посвятил декабристам тринадцать литературных работ (включая в это число главы о декабристах в его общих работах) [1]. Работы эти писались на протяжении длительного периода—с 1907 по 1926 г., они содержат постепенно видоизменяющуюся, развивающуюся и постепенно дополняемую схему, эволюционирующую от чрезвычайно примитивной к более сложной форме. Первая работа М. Н. Покровского о декабристах вышла из печати в 1907 г.,—это написанная совместно с Кириком Левиным статья «Декабристы» в т. I «Истории России в XIX веке», в издании бр. Гранат. В 1911 г. выходит в свет т. III «Русской истории с древнейших времен» М. Н. Покровского, где данной теме посвящена особая, XVI, глава под заглавием «Декабристы». После длительного восьмилетнего перерыва М. Н. Покровский вновь возвращается к теме «Декабристы»; в 1920 г. выходит в свет «Русская история в самом сжатом очерке», где в главе «Революционная буржуазия» несколько последних страниц посвящено декабристам. Вслед за этим в 1922/23 учебном году (точнее—именно в 1922 г.) М. Н. Покровским прочитаны в Коммунистическом университете им. Свердлова две лекции о декабристах в цикле лекций по общественному движению в России, позже опублико-

[1] Кроме того, М. Н. Покровский посвятил декабристам еще ряд статей биографического типа в Энциклопедическом словаре бр. Гранат.

ванные им отдельно в сборнике его статей «Декабристы» под заглавием «Из истории общественного движения в России начала XIX века». В следующем, 1923, году М. Н. Покровский публикует в «Записках Коммунистического университета им. Свердлова» (М., 1923, кн. 1) статью «Декабристы» («Легенда и действительность»), связанную с тем же лекционным курсом, читанным им в университете им. Свердлова. В 1923/24 учебном году М. Н. Покровский читал лекции на курсах секретарей уездных комитетов РКП(б) и в 1924 г. опубликовал их отдельной книгой под заглавием «Очерки русского революционного движения XIX—XX вв.» (изд-во «Красная новь», 1924), где декабристам посвящен конец первой и вся вторая лекция. Следующий, 1925, год был юбилейным годом декабристов—отмечалось столетие их восстания. В связи с этим М. Н. Покровский опубликовал целый ряд небольших статей о декабристах в юбилейной прессе, а именно: предисловие к брошюре Г. В. Плеханова «14-е декабря 1825 года», предисловие к брошюре А. И. Герцена «Русский заговор 1825 года», юбилейную статью в «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», в «Правде», статью «Два вооруженных восстания» в журнале «Под знаменем марксизма» (№ 12), а также предисловие к юбилейному номеру «Красного архива» (т. XIII), посвященному декабристам. Последний раз остановился М. Н. Покровский на вопросе о декабристах в 1927 г. в предисловии к т. IV издания Центрархива «Восстание декабристов», где были опубликованы следственные дела П. И. Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола.

Целесообразно рассмотреть эти работы в последовательности их возникновения. М. Н. Покровский резко противополагал своей первой концепции концепцию, которой он придерживался в последующих работах. Ничем нельзя было доставить ему большего неудовольствия, чем ссылкой на его первую работу о декабристах, написанную совместно с Кириком Левиным. Он никогда не перепечатывал ее и считал свою позднейшую концепцию ни в чем не имеющей сходства с первой работой.

Кроме того, в последующих работах о декабристах Покровский вносил значительные видоизменения в свою концепцию, за которыми необходимо проследить. Это также заставляет нас принять последовательный исторический порядок в рассмотрении работ Покровского о декабристах, а не трактовать их статически, общо.

Первая работа Покровского о декабристах написана им совместно с Кириком Левиным. Отвечая за весь текст работы как соавтор К. Левина, Покровский особо несет ответственность за третий отдел статьи, носящий название «Идеология декабристов» и написанный им единолично.

Концепция, развернутая в этой работе, характеризуется прежде всего полным отрицанием *революционности* декабристов. Само по себе это отрицание далеко не ново. И в этой ранней работе, как и в более поздних, М. Н. Покровский ставит себе целью борьбу с буржуазной

историографией—с «легендой 14 декабря», иначе с «революционной легендой», по собственному его выражению [1]. Взяв под прицел «революционную легенду о декабристах», Покровский попадает в своеобразный плен к подробно разработанной А. Н. Пыпиным «либеральной легенде». Эта последняя, как известно, начисто отрицала революционность декабристов, считая их мирными деятелями общественного движения в России, выступившими в легальной форме со своими требованиями и отнюдь не заслужившими посыпавшихся на них правительственных кар. Либеральный историк А. Н. Пыпин строил на этом, как известно, положительную оценку декабристов. Оставаясь в плену у этой неправильной буржуазной концепции, Покровский совместно с Кириком Левиным лишь, так сказать, выворачивает наизнанку ее оценочную часть: декабристы не революционеры, поэтому они заклеймены как корыстные дворяне, выступившие во имя собственных выгод с лишенными революционности лозунгами. Связан этот вывод и с ошибочным представлением о социальной природе самодержавия, с отрицанием его крепостнического существа. На рубеже XVIII и в начале XIX в. самодержавие, по утверждению Покровского, ущемило кое в чем дворянство, в силу этого дворянство восстало против самодержавия. «Обиженный самодержавием дворянин: вот что чаще всего видим мы за негодующими и страстными излияниями наиболее революционного из декабристов» (Каховского) [2],—пишет М. Н. Покровский. Эта же мысль с большой отчетливостью выражена в одной из обобщающих формулировок: «никакие фразы, взятые из буржуазных конституций, не могут замаскировать того факта, что движение декабристов было, в сущности, дворянским движением» [3]. Роли народа, по Покровскому, декабристы начисто не понимали. Если искать предшественников для этого дворянского движения, то их легко найти в лице деятелей дворцовых переворотов XVIII века. Покровский находит, что «внутренняя связь между попыткою 14 декабря и дворянскими революциями XVIII века была не чужда сознанию и самих декабристов» [4], а проект переворота Бестужева—«совершенно в духе XVIII века» [5]. Историю «политического либерализма русского дворянства» Покровский начинает с... «кондиций» верховников, предложенных Анне Ивановне в 1730 г. Эти «кондиции» он не обинуясь называет «конституционной попыткой», отсюда проводит единую линию развития через «историю Петра III», дворянские настроения екатерининского времени, убийство Павла I и кончает эту линию декабристами [6]. Разница между этим последним

---

[1] К. Левин и М. Покровский. Декабристы. «История России в XIX веке. Изд. бр. Гранат, I, 110.
[2] Там же, 104.
[3] Там же, 108—109.
[4] Там же, 105.
[5] Там же.
[6] Там же, 109.

звеном и предыдущим—лишь в том, что первые дворянские выступления были стихийны, робки, половинчаты, не освещены светом политического сознания,—декабристы же довели до логического конца дворянские попытки обуздать деспотизм. Позже, в дни столетнего юбилея декабристов, проф. Б. И. Сыромятников выступил с работой «Последний дворцовый переворот» (К столетию восстания декабристов) [1]. В замысле автора, как видим, не было ничего оригинального. М. Н. Покровский и К. Левин проводили эту идею в своей работе еще за 19 лет до выхода работы проф. Б. И. Сыромятникова. Декабристы, по мнению Покровского, и не шли дальше того представления о роли народа в перевороте, которую сыграл он, например, в дворцовом перевороте 1762 г. под руководством Орловых [2].

Очень важным элементом этой ложной концепции является отрицание значения вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости в идеологии декабристов. Этот вопрос, по мнению Покровского, занимает у декабристов третьестепенное место. «В планы декабристов входило, между прочим, и освобождение крестьян. Как мы увидим, оно не занимало в этих планах первого и даже вообще выдающегося места» [3]. Защитник дворянских прав Каховский, по мнению Покровского, если «и шел на смерть 14 декабря за чьи-нибудь права, то едва ли это были человеческие права крестьянства» [4]. Более того, согласно Покровскому, трагедией декабристов именно и было их желание «сохранить социальные *устои* порядка, разбив его политическую форму» [5].

Буржуазность декабристской идеологии М. Н. Покровским начисто отрицается. Повидимому, иронизируя над этим положением, Покровский решается приложить эту категорию к декабристам только как синоним понятия... «не пролетарский»: «Если «буржуазный» значит «не пролетарский»—едва ли можно спорить, что декабристы являются типичными представителями буржуазного миросозерцания» [6].

Эти утверждения останутся характерными для концепции Покровского и в ее дальнейшем развитии. Они в корне неверны. Прежде всего порочна самая методология, их взрастившая. Покровский не связывает декабристов с новым всемирноисторическим этапом в истории человечества, открытым буржуазной французской революцией конца XVIII в. Лозунги борьбы с феодально-абсолютистским строем, в существе своем единые для революционного движения целого ряда стран и характерные также для декабристов, Покровским не отмечаются. Характернейший для декабристов протест против крепостного права снижается Покровским, трактуется пренебрежительно, отодвигается на последний план.

---

[1] Журнал «Право и жизнь». М., 1926, № 4, стр. 3—15.
[2] «История России в XIX в.», 1, 112.
[3] Там же, 99.
[4] Там же, 103.
[5] Там же, 115 (курсив мой.—*М. Н.*).
[6] Там же, 102.

Борьба с самодержавием, взятая вне связи с социальными лозунгами, превращается в борьбу группки дворян за власть, сохраняющую неприкосновенным весь аристократический строй. Между тем декабристы не только объективно всем содержанием своей идеологии были связаны с новым всемирноисторическим этапом,—они и субъективно сознавали себя борцами за него. Замечательно свидетельство об этом Пестеля:

«Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, равно как предшествовавших и последовавших времен, показали столько престолов низверженных, столько других постановленных, столько царств уничтоженных, столько новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько возвратившихся или призванных и столько опять изгнанных, столько революций совершенных, столько переворотов произведенных, что все сии происшествия ознакомили умы с революциями, с возможностями и удобностями оные производить. К тому же имеет каждый век свою отличительную черту. Нынешний ознаменовывается революционными мыслями. От одного конца Европы до другого видно везде одно и то же, от Португалии до России, не исключая ни единого государства, даже Англии и Турции, сих двух противоположностей. То же самое зрелище представляет и Америка. Дух преобразования заставляет, так сказать, везде умы клокотать (fait bouillir les esprits). Вот причины, полагаю я, которые породили революционные мысли и правила и укоренили оные в умах»[1]. То же самое сознание единства существа революционных действий в различных странах находим мы в еще неопубликованных показаниях декабриста Бобрищева-Пушкина 1-го: «Если произошел известный переворот, например во Франции, то я причитал это всегда тому, что многие различные силы, по допущению Провидения от времени скопившись, произвели этот волкан. В России полагал, что если может произойти что-нибудь также, то разве этаким (же) образом...»[2]

Говоря отвлеченно, декабристам было бы чрезвычайно просто произвести дворцовый переворот. Декабристы в значительной своей части служили в гвардии, не раз держали караулы в Зимнем дворце и танцовали на придворных балах. Это была не какая-нибудь провинциальная организация молодежи, и в глаза не видевшая Зимнего дворца. Но сколько раз ни поднимался перед декабристами вопрос о применении тактики дворцового переворота, они каждый раз решительно его отвергали. Их путь был иным путем—широкого военного восстания, открытого выступления с оружием в руках. Замечательно свидетельство декабриста Поджио о том, что декабристы с омерзением отвергли тактику дворцового переворота; чрезвычайно важно, что в том же тексте Поджио свидетельствует, что в прошлом России он не может найти примера, близкого к декабристам по типу деятельности. Он

---

[1] «Восстание декабристов» (Центрархив), IV, 105.
[2] ГАФКЭ. Особ. отдел., ф. 1123, следств. дело 422, л. 22 и 28 об.

пишет об убийстве Павла I: «Пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему и отвратительно без малейшей гражданской цели его таскает, душит, бьет... и убивает! Убийцы были награждены, за ними был легкий и жалкий успех! Нет, не они нам пример; то были действительно убийцы, убийцы прославленные, мы же... доскажу впоследствии; но я искал для себя образцов и не обрел их»[1]. Герцен тонко подметил эту черту декабристов: «Серальный переворот был для них противен»,—писал он[2].

Но мало того, что Покровский повертывает декабристов лицом в прошлое,—он идет дальше по пути очернения декабристов. Он даже не стесняется выступить с клеветническим сравнением некоторых особенностей конституции Никиты Муравьева с черносотенным правительством третьеиюньского переворота. Разбирая конституционный проект Н. Муравьева, Покровский иронизирует: «Читатель не без удивления узнает, что столь излюбленная нашим теперешним правительством система *курий*—отдельных выборов для каждого отдельного разряда избирателей—представляет собой счастливое изобретение первых русских революционеров»[3]. Декабристы, оказывается, не только дворяне, смотрящие в прошлое, увенчивающие собой линию дворянского развития XVIII в.,—они еще «предшественники» черносотенных особенностей «третьеиюньского» режима монархии Николая II.

В этом же плане М. Н. Покровский и Левин всячески «обыгрывают» поведение декабристов на следствии—их «раскаяние».

Конечно, декабристы в большинстве своем не оказались стойкими во время допросов царских следователей. Из этого правила есть и исключения—стойко и достойно держали себя, например, Якушкин, Лунин, Борисов 1-й, Андреевич 2-й, длительное время не удавалось сломить Пестеля. Но поведение в тюремной камере никак не может изменить объективного исторического значения восстания декабристов—первого восстания, освещенного политическим сознанием, происшедшего открыто, на площади столицы, с оружием в руках, во имя ликвидации феодально-абсолютистского строя.

Отказавшись понять объективное значение восстания декабристов в исторической обстановке их времени, Покровский и Левин уделяют поведению декабристов на следствии непропорционально много внимания и «страсти». Декабристы упрекаются в отсутствии «самой простой человечности и порядочности»[4]. Дворянским революционерам, рисковавшим своей головой за существование тайной организации и стоявшим под картечью Николая I на Сенатской площади,

---

[1] А. В. Поджио. Записки. Сборник «Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов». М., 1931, стр. 62.

[2] А. И. Герцен. Письмо Александру II по поводу книги бар. Корфа. Собр. соч. под ред. Лемке, IX, 32.

[3] «История России в XIX в.», I, стр. 102.

[4] Там же, 134.

предъявляется обвинение в «животном страхе смерти», а вся драма Рылеева в Алексеевском равелине объясняется чрезвычайно просто: его купили за 2000 рублей («Николай купил Рылеева за 2000 рублей, которые он передал его семье на содержание») [1].

Единственное исключение К. Левин и М. Н. Покровский сделали для Пестеля. Уже в этой—первой—работе М. Н. Покровский считает Пестеля якобинцем [2]. На этой точке зрения Покровский остается до конца и в своих позднейших работах. Но важно, что в разбираемой статье при этом резко подчеркнута обособленность Пестеля среди декабристов, его *несходство* с товарищами: «его приходится поставить совершенно особняком в ряду его товарищей» [3].

Почему же могло возникнуть это оппозиционное дворянское движение декабристов в царствование Александра I? Отрицая и «буржуазность» и «революционность» декабристов, Покровский, конечно, и не помышляет связать попытку декабристов со всемирноисторической эпохой, открывшейся великой буржуазной революцией XVIII в. Покровский и тут, находясь под влиянием либерально-буржуазной историографии, связывает возникновение декабризма лишь с хронологически узким кругом деятельности правительственной реакции после 1817 г. (именно этот год берет Покровский за начало «аракчеевщины») [4]. Теория о переплете чисто «литературных» влияний европейской либеральной публицистики на декабристов подменяет изучение глубоких *социальных* основ движения и окружавшей его исторической обстановки. Замечательно, что в разбираемой статье вообще начисто отсутствует вопрос о западноевропейских военных революциях 20-х годов [5].

Наиболее важным в идеологии декабристов Покровский считает в этой работе лозунги вооруженного восстания и учредительного собрания [6]. Он находит политическую сторону программы декабристов даже *яркой* (Покровский охотно подчеркивает *решительность* этой программы) при мизерности ее *социальной* стороны: «Умеренные социальные реформы и полное, притом насильственное низвержение старого политического строя—вот как вкратце приходится определить программу декабристов» [7]. Но эта характеристика программы приобретает принципиально другое значение, будучи связана с социальной оценкой того строя, за который декабристы якобы боролись: вся эта «полнота» и насильственность низвержения строя была не чем иным как... «борьбой» за старый аристократический строй: «*аристо-*

---

[1] «История России в XIX в.», I, стр. 131.
[2] Там же, 114, 116.
[3] Там же, 113—114.
[4] Там же, 68.
[5] См. например там же, 76, 77, 79.
[6] Там же, 100.
[7] Там же, 112.

кратический строй общества,—подчеркивает Покровский,—*они оставляли неприкосновенным*»[1]. Немедленно за этим «борьба» должна стать в кавычки, насильственность и «полнота» борьбы повисают в воздухе.

Необходимо отметить сравнительно незначительный объем первоисточников, привлеченных авторами разбираемой статьи. Ими привлечены лишь наиболее ходовые мемуары. Следственное дело декабристов в архивах ими, повидимому, не было затронуто, они пользуются цитатами следственного дела из вторых рук—из работ В. И. Семевского, Н. П. Павлова-Сильванского, Довнар-Запольского. В статье имеется ряд грубых фактических ошибок: утверждается совершенно фантастическая вещь—что Общество соединенных славян основано по мысли Бестужева-Рюмина, в то время как оно возникло совершенно самостоятельно и даже до момента вступления Бестужева-Рюмина в тайное общество. Пестель ошибочно включен в *первоначальное* ядро Союза спасения, совершенно ложно утверждение о том, что «только что возникшее Южное общество немедленно же распалось»; если это утверждение присоединить к другому, что у Северного общества начисто не было никакой деятельности, то делаются совершенно непонятными даже самые факты восстания 14 декабря и Черниговского полка. Оба общества распались и ничего не делали—почему же декабристы все-таки восстали. Известная беседа Пестеля с Поджио о цареубийстве отнесена ко времени существования Союза благоденствия, в то время как она происходила в 1824 г. Роль С. Трубецкого во время его пребывания в Киеве в 1824 г. как представителя северян и роль Оболенского в Петербурге как агента Пестеля остались совершенно неизвестными авторам работы. Число этих фактических ошибок и пробелов можно было бы значительно увеличить[2].

Необходимо отметить, что излюбленные Покровским хлебные цены и вообще экономические явления эпохи в этой первой его работе о декабристах еще не играют никакой роли. Характерно, что даже тема об экономике эпохи помещена в т. I «Истории России XIX в.» в изданин бр. Гранат *после* статьи «Декабристы» (статья «Экономическое развитие России в первой половине XIX века» принадлежит Н. Рожкову). М. Н. Покровский, тесно связанный с редакцией Гранат, вероятно, участвовал в выработке плана тома и в тот момент, видимо, не считал обязательным предпосылать главу об экономике изучению декабристов.

В только что разобранной первоначальной концепции движения декабристов, данной Покровским, при значительной зависимости от «либеральной легенды», царит «левая фраза». Уже в этот период

---

[1] Там же, 107.

[2] Перечисленные фактические ошибки находятся в разбираемой работе на стр. 74, 78, 79, 80, 81, 82, 105.

Покровский крайне пренебрежительно относится к революционному прошлому России, чернит все, что является «не-пролетарским», повертывает движение декабристов лицом назад, в историческое прошлое, а не вперед—к дальнейшему развитию революции, трактует его как корыстно-дворянское. Эти ошибочные политические тенденции Покровского подводят нас к той полосе его политических ошибок, которая связана сначала с его участием в группе «Вперед», а затем с совместной работой с злейшим врагом большевистской партии Троцким в журнале «Борьба».

* * *

В 1907 г. Покровский был делегирован московской партийной организацией на Лондонский съезд. После съезда Покровский перешел на нелегальное положение и эмигрировал за границу. В 1909 г. Покровский преподает в Каприйской школе. После закрытия ее он переезжает в Париж, где входит в парижский кружок «впередовцев». В 20-х числах декабря 1909 г. группа «Вперед» издала свою платформу, разоблаченную Лениным. Но еще ранее этой даты Ленин отмечал политические ошибки Покровского, связанные с поддержкой «ультиматизма».

В 1909 г. Максимов и Николаев выпустили особый листок под названием «Отчет товарищам большевикам устраненных членов расширенной редакции «Пролетария». Авторы листка были «условно и частично» поддержаны Маратом (Шанцером) и Домовым (Покровским). Ленин указал на то, что «основой расхождения с отколовшейся от большевиков новой фракцией (или вернее: с отколовшимся Максимовым и его приятелями) является, во-первых, отзовизм и ультиматизм; во-вторых, богостроительство»[1]. Авторы листка считали линию «Пролетария» меньшевистской и отстаивали свой «ультиматизм»[2].

Группа «Вперед» организовалась в декабре 1909 г. по инициативе А. А. Богданова и Г. А. Алексинского. Она представляла собой фракцию «отзовистов-ультиматистов», «богостроителей» и эмпириомонистов. Перед закрытием школы в Капри, в 20-х числах декабря 1909 г., «впередовцы» подписали свою политическую платформу, написанную А. Богдановым. 28 декабря платформа была направлена в ЦК РСДРП, ее сопровождало извещение об организации группы,

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 141.

[2] Необходимо отметить, что, несмотря на совершенно точную формулировку Ленина, Покровский еще в 1924 г. пытался отрицать свою причастность к «ультиматистам». С. Лившиц в статье «Каприйская партийная школа» в журнале «Пролетарская революция», 1924, № 6 (29) причислил Покровского к «отзовистам-ультиматистам». В ответ на это Покровский прислал письмо в редакцию «Пролетарской революции» с решительным возражением С. Лившицу [письмо Покровского опубликовано в «Пролетарской революции», 1924, № 7 (30), стр. 286].

подписанное в числе других участников и М. Н. Покровским как «лектором Каприйской школы».

В своих «Заметках публициста»[1] Ленин дал исчерпывающую разоблачительную критику широковещательной платформы «впередовцев». «В чем же источник этой бесконечной и безысходной путаницы в «платформе»?—спрашивал Ленин и отвечал: «Да именно в том, что платформа дипломатично отгораживается от отзовизма, нисколько не выходя из круга идей отзовизма, не поправляя его основной ошибки и даже не замечая ее»[2]. Ленин констатировал в платформе группы отступление «в сторону идей, ничего общего не имеющих ни с марксистским анализом переживаемого момента, ни с основными посылками тактики революционных социал-демократов вообще»[3]. Ленин указал еще на одну «оригинальную» черту платформы «Вперед», которая состояла в провозглашении особой новой задачи—«создавать» и «распространять в массах новую, пролетарскую» культуру: «развивать пролетарскую науку...» Ленин разоблачил «наивную дипломатию» этих фраз: «...Мы знаем теперь только одну пролетарскую науку—марксизм,—писал Ленин.—Авторы платформы почему-то систематически избегают этого единственно точного термина...»[4] Под «пролетарской» же философией авторы понимали не что иное как махизм. «*На деле* именно *борьбу с марксизмом* прикрывают все фразы о «пролетарской культуре»[5],—заключает Ленин.

Целый ряд крупнейших принципиальных ошибок Покровского, ошибок, от которых он *никогда* не отказывался, восходит именно к его общению с «отзовистами» и махистами, к его пребыванию в группе «Вперед». Отрицание объективности человеческого знания, выдвинутое Богдановым, применено Покровским целиком к исторической науке. Он решительно отрицал объективность последней. История всегда была и до конца осталась для Покровского «политикой, опрокинутой в прошлое», а не объективным научным знанием.

В январе 1910 г. «впередовцы» Шанцер и Богданов выступили против большевиков-ленинцев единым фронтом с меньшевиками-«голосовцами» на пленуме ЦК РСДРП в Париже. К марту 1910 г. относится такой антипартийный факт деятельности Покровского, как выход его вместе с Алексинским из школьной комиссии ЦК. С июля 1910 г. стал выходить сборник «Вперед», в котором участвовал Покровский.

С 21 ноября 1910 г. начались занятия «партийной школы» в Болонье, лектором которой был Покровский.

Свой пятитомный труд «Русская история с древнейших времен», опубликованный в 1910—1914 гг., Покровский начал писать за гра-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 287 и сл.
[2] Там же, 296.
[3] Там же, 297.
[4] Там же.
[5] Там же, 298.

ницей во время его теснейшей связи с группой «Вперед». Возникновение концепции русского исторического процесса, изложенной в пятитомнике, стоит в связи с преподаванием Покровского в Каприйской и Болонской школах: он читал там как раз курс русской истории. В частности, третий том пятитомника, где помещена глава о декабристах, вышел из печати в 1911 г. Нет сомнений, что Покровский не мог не связывать публикацию своей исторической работы с теми общими положениями платформы группы «Вперед», которые относились к созданию пресловутой «пролетарской культуры» и «пролетарской науки».

В мае 1911 г. вышел № 3 журнала «Вперед», в котором было опубликовано сообщение о том, что Покровский с этого номера не принимает никакого участия в изданиях группы «Вперед».

Но разрыв Покровского с группой «Вперед» не означал его перехода на ленинские позиции. Вплоть до 1914 г. Покровский то и дело связывается с антиленинскими группами. Необходимо указать на связь Покровского с изданием Троцкого. В 1912 г. в соавторстве с Троцким Покровский выступает со статьей «Триста лет Романовых и лжеромановых» в сборнике «Юбилей позора нашего (1613—1913)».

В 1914 г. (с февраля по июль) в Петербурге выходит «нефракционный рабочий журнал» Троцкого «Борьба», в котором Покровский принимает регулярнейшее участие: из восьми номеров «Борьбы» лишь в двух (№ 3 и № 6) нет работы Покровского. Он из номера в номер печатает в «Борьбе» свою работу «Из истории общественных классов в России» (очерки). В том же 1914 г. Покровский опубликовал статью о внешней политике России в газете «Голос»[1]. «Борьба» Троцкого ставила себе целью защиту идей «августовского блока» и неоднократно разоблачалась Лениным. Ленин обратил внимание и на «блок» остатков «впередовцев» с Троцким и разоблачил его. «Этот союз, как и самое группу «Вперед» и все «впередовство»,—писал Ленин,—мы не можем *не* назвать «авантюризмом» в том смысле, что ничего кроме беспринципности, поощрения антимарксистских идей (без прямой защиты их) и дезорганизации рабочего движения от «впередовства» и от его «блока» с Троцким и ликвидаторами произойти не может»[2]. Ленин указывал на то, что партия «принципиально и бесповоротно» враждебна к «впередовству», но не закрывает своих дверей перед отходящими от этой группы. Заботился Ленин и персонально о М. Н. Покровском. 20 мая 1914 г. Ленин пишет письмо к А. А. Трояновскому: «Хорошо бы было, если бы Вы прислали для ознакомления письма Покровского. Очень интересно Ваше предложение переписки с ним, дабы убрать его из неприличной «Борьбы»[3].

---

[1] М. П. К выступлению Турции. Изд. «Голос», Париж, 1914, № 47, 6 ноября и № 48, 7 ноября (статья подписана инициалами).

[2] В. И. Ленин. Соч., XVII, 478.

[3] Там же, XXIX, 109.

* * *

Понятно, что научная работа, написанная в только что характеризованной обстановке, не могла не содержать в себе большого количества теоретических ошибок. Их мы и находим в «Русской истории с древнейших времен». В частности это относится к главе, посвященной декабристам.

Глава, посвященная декабристам (гл. XVI по общей нумерации глав), находится в т. III «Русской истории с древнейших времен», вышедшем из печати в первом издании в 1911 г. Написана эта глава, как и весь пятитомник, за границей; об использовании новых архивных материалов в ней, конечно, нет и речи. Объем привлеченных к этой главе материалов остается тем же, что и в разобранной статье, написанной совместно с Кириком Левиным.

В основном, концепция декабристов в пятитомнике остается той же, что и в первой разобранной работе. Покровский был неправ, резко противопоставляя эту свою работу и последующие работы первой, написанной совместно с Левиным. Легко доказать это положение рядом фактов. В «Русской истории с древнейших времен» попрежнему совершенно нет понимания связи восстания декабристов с новой всемирноисторической эпохой, открытой французской буржуазной революцией конца XVIII в., нет и понимания *революционного* смысла восстания декабристов. Как и в первой работе, и здесь у Покровского полностью отсутствует ленинское понимание декабристов как *дворянских революционеров*. Поэтому и в этой работе характернейшей чертой является всяческое снижение значения декабристов, трактовка их деятельности только как корыстно-дворянской, обращение декабристов лицом назад, в историческое прошлое—к дворцовым переворотам XVIII в. «Александровские радикальные офицеры были *прежде всего* помещики»[1], аристократизм требований декабристов для Покровского на первом плане[2]. Не учитывая специфических черт первого этапа развития *дворянской революционности,* Покровский теперь привносит в оценку декабристов критерий... демократической революции. В отсутствии признаков последней Покровский видит сильнейший довод за необходимость всяческого снижения декабристов. «С точки зрения Зимнего дворца 14 декабря было чуть ли не демократической революцией, а оно менее всего желало ею быть и в этом была его ахиллесова пята»,—утверждает Покровский[3]. И в этой работе Покровский ставит себе целью борьбу с «легендой о декабристах», прикрывая «левой фразой» и желанием борьбы с дворянско-буржуазной историографией отрицание революционного значения декабристов. Ему

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 235. Я пользуюсь изданием 1924 г.—текст его совпадает с первым изданием.
[2] Там же, 224, 225.
[3] Там же, 264.

представляется, что обрисовкой декабристов как «корыстных дворян», подчеркиванием их «корысти», он как раз и разоблачит внеклассовую точку зрения буржуазной историографии.

К этому надо добавить указание на ошибочность оценки Покровским ранних декабристских организаций. Покровский характеризует, например, Тугенд-бунд, устав которого послужил прототипом Союза благоденствия, как устав *черносотенный*[1]. Необходимо учесть, что Тугенд-бунд в Пруссии оформлял национальную борьбу против Наполеона. Эту борьбу, которая повсеместно развернулась в странах, угнетенных наполеоновым игом, Ленин оценивает очень высоко: «...когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие *в свою очередь* национально-освободительные войны *против* империализма Наполеона»[2]. Борьба Пруссии против Наполеона—одна из страниц этой национальной борьбы. Ясно, что квалификация Тугенд-бунда, а вместе с тем и Союза благоденствия как «черносотенной» организации едва ли нуждается в опровержении. Восстание декабристов попрежнему не связывается Покровским органически с эпохой. «Военный заговор» декабристов он связывает с их «профессионализмом»[3]. Характерно, что снижение значения восстания Семеновского полка 1820 г. идет у Покровского по этой же линии: «Причины солдатского недовольства были профессиональные,—писал Покровский,—в полку было много ремесленников, башмачников, султанщиков и т. д., их заработки шли в ротную кассу на улучшение солдатского быта... Шварц стал употреблять эти деньги на улучшение обмундировки... На такой чисто экономической почве возник конфликт, обострившийся благодаря грубости Шварца в личных отношениях: жестким по тогдашним аракчеевским нравам его назвать, собственно, было нельзя»[4]. Так пишет Покровский о жесточайшем полковнике-крепостнике, на-смерть забивавшем десятки солдат (по преданию была даже могила засеченных на-смерть солдат—«шварцева могила»), заставлявшем солдат одной шеренги плевать другой шеренге в лицо, доводившем издевательства над солдатом до неслыханной степени. Вся суть протеста солдат-семеновцев против крепостнического режима полностью смазана Покровским.

Опять Покровский генетически связывает восстание декабристов с дворцовыми переворотами. Он договаривается даже до того, что писатели французской революции становятся у него лишь потому понятными декабристам, что у дворян за плечами была-де практика дворцовых переворотов. Идеи декабристов с величайшей легкостью

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 246.
[2] В. И. Ленин. Соч., XIX, 181.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 229, 230.
[4] Там же, 248.

выводятся им из этой практики. «Начиная с Екатерины II и кончая Александром Павловичем, русский престол фактически был избирательным,—фантазирует Покровский...—идеи Детю-де-Траси и других республиканских публицистов Западной Европы падали на хорошо подготовленную почву... Практика дворцовых переворотов сделала то, что люди становились республиканцами, сами того не замечая»[1]. Покровский признает, что для «дворцового переворота» заговор был все же «недостаточно аристократическим»[2], но в свете только что приведенных утверждений его слова о том, что в лице декабристского заговора в России «начиналась революция», оказывается повисшим в воздухе.

Мотив освобождения крестьян у декабристов также всячески снижается в пятитомнике. Покровский не без иронии видит в декабристах предшественников «истинно русской формы ликвидации крепостного права, которая была осуществлена реформой 19 февраля»[3]. Отрицая прогрессивное значение реформы 1861 г., Покровский вкладывает в это сопоставление реформы с декабристами также отрицательный смысл. Он подчеркивает, что «даже Аракчеев» был радикальнее декабристов в вопросе наделения крестьян землей. Исторический смысл требования ликвидации крепостного права, выдвинутый декабристами, крайне снижается у Покровского утверждением, что, собственно говоря, на декабристской точке зрения стояли и «передовые министры Николая I»[4], иначе говоря, решительно никакого революционного значения этот лозунг якобы не имел. Иронизируя над декабристом Никитой Муравьевым и его конституционным проектом, Покровский не останавливается даже перед замечанием, что именно Никите Муравьеву «принадлежит честь... изобретения *дарственного* (иначе—*нищенского*) надела».

Конституционный проект Никиты Муравьева более, чем какой-нибудь другой документ декабристов, носит на себе следы их дворянской классовой ограниченности. Он освобождает крестьян без земли или почти без земли (по последнему варианту—2 дес. на двор), он вводит очень высокий имущественный избирательный ценз, сохраняет императора как главу исполнительной власти. Но в его конституции имеется целый ряд столь передовых и смелых для его времени положений, которые, бесспорно, включают его конституцию в круг очерченной Лениным «дворянской революционности». Конституция Никиты Муравьева освобождает крестьян от крепостной зависимости («крепостное состояние и рабство отменяются»), лишает императора законодательной власти («Опыт всех народов и всех времен доказал, что власть самодержавная равно гибельна для правителей и для обществ») и объявляет его только «верховным чиновником российского правительства»; придворные оплачиваются из личного жалованья царя и *лишаются избиратель-*

[1] Там же, 243, 244.
[2] Там же, 267.
[3] Там же, 234, 235.
[4] Там же, 236.

ных прав. Большая решительность видна в этом пункте конституции— в лишении избирательных прав всех этих церемониймейстеров, гофшенков, камер-юнкеров, которые объявлялись личной прислугой императора; придворную клику надо было устранить от влияния на государственные дела. Никита Муравьев вводил в государственное устройство федеративный принцип, стремясь учесть все местные особенности отдельных частей империи. Особый пункт конституции аннулировал табель о рангах, другой немедленно уничтожал военные поселения. Все это проектировалось для отсталой крепостнической страны, задавленной самодержавным сапогом и произволом аракчеевщины, для страны, во главе контрреволюционного Священного союза осуществлявшей политику жесточайшей реакции. Все перечисленные особенности конституции должны быть квалифицированы как доводы за дворянскую революционность. Чрезвычайно интересно отметить, что Никита Муравьев предполагал необходимость вооруженной силы, военного восстания для введения своей столь осмеянной Покровским конституции: 27 апреля 1826 г. он показывал на следствии:

«Я полагал:

1. Распространить между всеми состояниями людей множество экземпляров моей Конституции, лишь только она будет мною окончена.

2. Произвести возмущение в войске и обнародовать оную.

3. По мере успехов военных во всех занятых губерниях и областях приступить к собиранию избирателей, выбору тысяцких, судей местных правлений, учреждению областных палат, а в случае великих успехов— Народного Веча.

4. Если бы императорская фамилия не приняла Конституции, то как крайнее средство я предполагал изгнание оной и предложение республиканского правления»[1].

Мы видим, что путь введения конституции был далеко не «мирным» путем. Переход от монархии абсолютной к монархии конституционной, как известно, некоторые авторы пытались трактовать как проявление «мирного» прогресса,—Ленин назвал подобную трактовку кадетской. В 1908 г. в работе «Об оценке текущего момента» Ленин писал: «Нельзя не вспомнить... замечательно глубокого указания Энгельса... на значение *перехода* от монархии абсолютной к монархии конституционной. В то время как либералы вообще и русские к.-д. в особенности видят в таком переходе проявление пресловутого «мирного» прогресса и гарантию такового, Энгельс указал на историческую роль конституционной монархии, как формы государства, облегчающей *решительную* борьбу феодалов и буржуазии»[2]. Итак, недооценку значения борьбы за конституционную монархию в абсолютистском, еще не пережившем революции государстве Ленин считал *кадетской* точкой зрения. В

---

[1] «Восстание декабристов», I, 325.
[2] В. И. Ленин. Соч., XII, 379.

резко отрицательном отношении Покровского к конституционному проекту Никиты Муравьева, в решительном оттирании Муравьева и «северян» от революции сказывается именно эта же кадетская точка зрения. Борьба за монархическую конституцию оценивается как «мирный» путь, лишенный чего бы то ни было революционного.

Ленин высоко ценил лозунг *республики* в революционном движении. Еще в 1902 г. в работе «Аграрная программа русской социал-демократии» Ленин писал: «Нам нужно шире распространить идею, что только в республике может произойти решительная битва между пролетариатом и буржуазией, нам нужно *создать* и упрочить республиканскую традицию среди всех русских революционеров и среди возможно более широких масс русских рабочих»[1]. Мы уже приводили ранее указание Ленина на республиканские идеи декабристов, о которых он упоминает в примечании к этому месту. В противовес Ленину, Покровский пренебрежительно относится к республиканскому лозунгу декабристов. Как мы уже видели, он даже этот лозунг ухитряется повернуть лицом в прошлое, связать с практикой тех же дворцовых переворотов: «республиканские взгляды (декабристов) были подготовлены прошлым дворянской России»[2],—пишет он, и это не оговорка: даже выборность властей в декабристских конституциях Покровский ставит в связь с «Жалованной грамотой дворянству», с выборностью... дворянских учреждений. «Наконец, на последовательное проведение избирательного принципа во всей схеме государственного устройства должен был наталкивать такой будничный факт, как дворянские выборы»,—пишет он, оценивая конституционные проекты декабристов[3].

И «Конституция» Никиты Муравьева и «Русская Правда» Пестеля—обе объявляли (в разных формах) освобождение крестьян от крепостной зависимости и обе исходили из предположения о необходимости вооруженной борьбы за свои лозунги (по типу военных революций Запада). Покровский же совершенно неосновательно ставит конституцию Никиты Муравьева на одну доску с проектом Сперанского. Правда, оба документа Покровский считает проектами *буржуазными*, но при этом полностью сбрасывается со счетов та разница, что в проекте Сперанского отсутствовало освобождение крестьян от крепостной зависимости, имевшееся у Никиты Муравьева. «Русская Правда» Пестеля умаляется в пятитомнике другим образом—она объявляется не практическим проектом, как конституция Муравьева, а «чисто литературным» произведением[4].

Покровский всячески иронизирует над такой замечательной чертой декабристов, как их патриотизм. Он называет последний «резким

---

[1] В. И. Ленин. Соч., V, 98.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 245—246; ср. 244.
[3] Там же, 245.
[4] Там же, 239.

национализмом» и сопровождает эту характеристику попутным «опровержением» характеристики войны 1812 г. как войны народной. Борьба страны против вторгнувшихся в нее интервентов, крестьянство, защищавшее страну и в рядах регулярной армии и в партизанской борьбе.— все вызывает насмешливое отношение Покровского: он, в полном противоречии с источниками, утверждает, что рассказы участников войны якобы «совершенно разрушают романтическую картину народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины» [1].

Таким образом, в пятитомнике перед нами по существу та же концепция, даже с теми же характерными акцентами, что и в «Истории России XIX века», в статье, написанной совместно с Кириком Левиным.

* * *

Последующие работы Покровского, в которых рассмотрен вопрос о декабристах, относятся уже к послереволюционному периоду: почти ежегодно с 1920 г. по 1926 г. Покровский в своих вновь выходящих работах останавливался на декабристах, особенно много внимания посвятив им в юбилейный 1925 год. Здесь Покровский уже несколько иначе расставляет акценты в своей концепции и придает трактовке некоторых вопросов несколько иную форму. Изменился и объем привлеченного документального материала. Появляется даже в работах Покровского—правда единственная—цитата текста Ленина о декабристах—из статьи «Памяти Герцена». Но цитата эта наспех привлечена лишь для того, чтобы приукрасить «фасад» концепции, в корне противоположной Ленину. Указания Ленина о декабристах Покровский продолжает игнорировать. Он продолжает протаскивать под флагом марксизма свою неленинскую концепцию.

Перестановка акцентов в концепции состоит у Покровского в следующем. Он всячески раздувает якобы никак не связанное с дворянской революционностью значение якобинца, «монтаньяра в полковничьем мундире»—Пестеля. По Покровскому, Пестель становится тем революционным («мелкобуржуазным») «праведником», который своим существованием может спасти обреченный «город» грешников, спасти хотя бы память о нереволюционном и в существе своем аристократическом заговоре декабристов. Кроме «монтаньяра в полковничьем мундире»—Пестеля—Покровский находит в восстании декабристов «подлинно революционное» выступление Черниговского полка. Сверх этого он делает основной акцент на роли масс солдат, находившихся на Сенатской площади. Частичная гибель этих представителей народа и дает, по мнению Покровского, право на память об этом восстании. Заговор *в целом* не рассматривается: движение декабристов лишается *единой* оценки, общей характеристики, связи с определенным историческим этапом. Покровский резко расслаивает его на революционное и

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 227.

нереволюционное течения—на диаметрально противоположные друг другу Северное дворянское и Южное мелкобуржуазное общества декабристов.

При этом революционное крыло разрисовывается Покровским то под революционное народничество, то даже под большевизм, а второе попросту сбрасывается со счетов революции.

Выдвинутое Лениным понятие «дворянской революционности» попрежнему остается чуждо Покровскому, как остается ему чужд и подлинный *историзм,* характеризующий ленинскую концепцию. Критерии оценки то прямо пролетарской, то буржуазно-демократической революционности механически переносятся Покровским в эпоху *дворянской революционности.* Приложив эти критерии к декабристам, Покровский далее производит простую операцию: отбрасывает прочь от революционного движения все, что не подходит под эти из других эпох взятые критерии и насильно притягивает к ним те явления, которые представляются ему в данном движении наиболее радикальными.

«Русская история в самом сжатом очерке» представляет как бы промежуточное звено между этими двумя формами одной и той же концепции. Работа эта появилась в 1920 г. Во 2-й части «Очерка», в главе «Революционная буржуазия» Покровский посвящает восстанию декабристов шесть страниц. Он прикрывает старую трактовку новым приемом—резким акцентом *буржуазности* декабристов. Это—ново в концепции Покровского. О северных декабристах он с осторожностью говорит, что они «не отличались особой революционностью», но все восстание декабристов в целом довольно неожиданно квалифицирует как «первое и последнее революционное выступление буржуазии»[1]. В связи с этим последним утверждением он прибегает к своему излюбленному приему, который повторится затем во всех его дальнейших работах,—решительному преувеличению связи Рылеева с американской компанией, подчеркиванию купеческих связей Батенькова и близости декабристов с книгоиздателем Селивановским. Этих трех фактов, разумеется, явно недостаточно для доказательства политического союза декабристов с якобы «революционной» буржуазией. Скользнув по конституции Никиты Муравьева и все-таки сказав, что даже Александр II в 1861 г. был к крестьянам щедрее, нежели декабристы[2], Покровский спешит заняться теми вопросами движения, которые он—в корне неправильно—резко противопоставил этой «нереволюционной» стороне декабризма.

На первый план Покровским выдвигается теперь ложно истолкованный аграрный проект Пестеля: «Пестель на словах соглашался на вознаграждение помещикам за отмену крепостного права, но зато всю землю в своем проекте, названном «Русской Правдой», он отдавал народу»[3]—пишет Покровский. Между тем Пестель всей земли крестья-

[1] М. Н. Покровский. Русск. история в самом сжатом очерке, стр. 142.
[2] Там же, 138.
[3] Там же, 139.

нам в своем проекте не отдавал. Он делил землю на две части и одну из них предполагал передать в общинный раздел, а другую сохранял частично за государством, частично за частными собственниками земли. Но ни о проекте «разделения земель», ни о частичной конфискации помещичьих земель Покровский в «Сжатом очерке» просто не говорит ни слова. Он выдвигает здесь ложное утверждение *о передаче Пестелем народу всей земли.* Пестель подкрашивается под гораздо более радикального революционера, чем он был в действительности, его связь с кругом идей «дворянской революционности» смазывается Покровским совершенно. В восстании 14 декабря акцент делается на действиях собравшейся на площади «черни», ее действия квалифицируются Покровским, как начало «*народной революции*»[1], «всенародного восстания». Вместе с тем подчеркнута боязнь народного восстания у декабристов. Любопытно, что для подтверждения последней Покровский приводит можно сказать мифическую цитату из записок Штейнгеля: упоминания о бабушках, тетушках и сестрах, которые падут первыми жертвами дворовых, готовых взяться за нож, у Штейнгеля нет. Вероятно, Покровский цитировал на память или к выписке приписал собственное соображение, а позже принял его за цитату Штейнгеля и переписал в «Сжатом очерке».

Основные положения позднейших работ Покровского периода 1922—1926 гг. не расходятся между собой, и поэтому есть все основания характеризовать их в целом.

Его концепция приобретает дальнейшее развитие в комплексе работ этого времени. Именно только теперь Покровский дополняет свою теорию вопросом хлебных цен, которые грубо и непосредственно связывает с восстанием декабристов. Повышение хлебных цен оказывается основной причиной возникновения движения декабристов. Дворянское существо декабризма и «корысть» декабристов приобретали таким образом непосредственное «экономическое» обоснование и связывались с пресловутым «торговым капиталом». Заметим, что в 20-х годах XIX в. хлебные цены как раз не повысились, а пали в связи с аграрным кризисом.

Важно отметить, что в «Очерках по истории русского революционного движения» Покровский ссылается на свою трактовку декабристов не только в «Русской истории в самом сжатом очерке», но и в т. III «Русской истории с древнейших времен»[2]. Этим он сам связывает единой линией развития свою концепцию декабристов. Теперь уже заговор декабристов подчеркнуто признается Покровским *серьезным* заговором[3], и декабристы характеризуются как представители *передовой помещичьей* идеологии и в то же время *промышленного капита-*

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 142.
[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 19—20.
[3] Сборник «Декабристы», 40.

ла[1]. В свете этих положений любопытно столкновение Покровского с Ольминским. Ольминский хорошо усвоил концепцию Покровского, изложенную в статье, написанной в соавторстве с Кириком Левиным (а также в соответствующей главе пятитомника) и сделал из нее лишь логические выводы. Зачем отмечать столетний юбилей декабристов, спрашивает он, если декабристы—помещики, обманом завлекшие солдат на площадь 14 декабря и предавшие их[2]. Ответ Ольминского на этот вопрос—отрицательный: празднование юбилея декабристов—бессмыслица. Но Покровский возражает Ольминскому: поскольку на площади пролилась солдатская кровь и кровь «черни», поскольку было восстание Черниговского полка, поскольку существовал Пестель—«монтаньяр в полковничьем мундире»,—Покровский полагает, что движение декабристов можно считать революцией и в силу этого можно и праздновать юбилей декабристов. «Имена этих людей никому пока неизвестны,—пишет Покровский о «мастеровых» на Сенатской площади и о крестьянах, погибших под Трилесами,—наша обязанность сделать их более знаменитыми, чем их чиновные вожди. Ибо только гибель этих людей дает нам право сказать: в России в 1825 г. начиналась революция»[3]. Вот существо нового «поворота», который дан Покровским в его старой концепции. Ударение делается на погибших во время восстания представителях «низов» и солдатской массы.

В корне отлична от этого концепция Ленина: «В 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами»,—писал Ленин в «Докладе о революции 1905 года»[4]. Ленин ставил акцент на самом факте открытого выступления на площади столицы 14 декабря, на первом политически сознательном протесте против самодержавия, а не на сопутствующих явлениях. Несмотря на всю классовую ограниченность дворянской революционности, Ленин не лишал декабристов права на название революционеров и придавал огромное политическое значение самому факту выступления 14 декабря. Это было действительно первое в истории России политически осознанное, открытое, перед лицом народа выступление не против царя, но *против царизма,* с оружием в руках, на площади столицы. В противоположность этому Покровский считает только сопутствующие выступления неорганизованных масс достойными названия революции: именно в силу этого выступления «движение, само по себе не революционное, превратилось затем в *настоящую революцию,* правда в революцию-выкидыш, но которая во всяком случае дошла до картечи»,—писал Покровский[5].

---

[1] Там же, 12.
[2] Там же, 28.
[3] Там же, 75.
[4] В. И. Ленин. Соч., XIX, 348.
[5] Сборник «Декабристы», 20.

В отличие от предыдущей расстановки акцентов, Покровский на этот раз считает земельный вопрос *центральным* в программе декабристов. Теперь уже для них «крестьянский и земельный вопрос стоял в центре всей картины»[1]. Но этот «новый» поворот соединяется опять-таки со старой манерой поисков в планах декабристов непосредственной «корыстной» заинтересованности, за констатацию которой Покровский только что упрекал Ольминского. В «Очерках по истории революционного движения» у Покровского впервые появляется известная формулировка о хлебных ценах: «Но какие были объективные корни всей этой истории?»—спрашивает он о декабристах и отвечает:—«Тут нам приходится с этих высот,—высот, как видите, весьма относительных,—спуститься довольно глубоко, к факту чрезвычайно тривиальному. Этим тривиальным фактом, который лежит в основе первой сознательной революции против самодержавия, какая была в России, первой попытки низвергнуть самодержавие,—этим тривиальным фактом был русский хлебный вывоз»[2]. Этим грубейшим в духе «экономического материализма» объяснением Покровский подменял анализ всей мировой революционной ситуации и противоречия российского феодально-абсолютистского режима с новыми развивающимися промышленно-капиталистическими отношениями.

Еще более резко в новой трактовке Покровского подчеркнуто исключительно отрицательное отношение к якобы полностью «нереволюционному» Северному обществу. По мнению Покровского, Ольминский совершенно прав по отношению к Северному обществу—праздновать его ублюдочное выступление нечего[3]. Северное общество—просто «типичная буржуазно-помещичья группировка»[4]. Вожди северного заговора, «конечно, не были революционерами», подчеркивает Покровский. «Совершенно ясно, что руководители движения не были революционерами»,—еще раз твердит он на той же странице[5]. Самое большее, что может признать Покровский,—это то, что северные декабристы были подобны... «левым земцам». Покровский договаривается до того, что северным декабристам, собственно говоря, и не надо было выступать: то, чего они добивались,—конституционное ограничение самодержавия,—Александр I и так де обещал[6]. Покровский при этом допускает еще и прямую фальсификацию фактов—утверждение, что декабристы на севере просто «не имели в виду» восстания[7]. Надо тем более подчеркнуть это обстоятельство, что в это

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 10, 11, 21.
[2] Там же, 20—21; сборник «Декабристы», 13, 18.
[3] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 43.
[4] Там же, 37.
[5] Там же, 41.
[6] Сборник «Декабристы», 56.
[7] М. Н. Покровский. Очерки по истории русского революционного движения XIX—XX вв., 39.

время у Покровского как раз уже были в руках следственные дела декабристов, готовившиеся тогда к печати (для издания Центрархива «Восстание декабристов»). Покровский, как это застенографировано в его лекциях и напечатано в «Очерках»[1], даже принес на лекцию часть этого тома, как раз дело Трубецкого, из которого он должен был бы почерпнуть сведения о плане вооруженного выступления, разработанном «диктатором». Но Покровский в угоду своей концепции пошел на прямую фальсификацию[2]. Ленин же как раз отводил центральное место политическому значению выступления именно в столице—14 декабря.

Охарактеризовав столь ложно значение Северного общества и восстания 14 декабря, Покровскому вслед за этим не остается ничего делать, как резко оторвать от Северного общества Южное, *противопоставить* ему последнее в классовом отношении. Единого заговора, по Покровскому, собственно не было: был не один, а два заговора: дворянам севера противостояли мелкие буржуа южные[3]. Северные союзники, собственно, оказались, по мнению Покровского, «северными врагами» Пестеля[4].

Всячески подчеркивается якобинизм Пестеля. В противоположность концепции Ленина о дворянской революционности декабристов, в круг которой входит и Пестель, несмотря на все свои индивидуальные отличия, Покровский противопоставляет мелкобуржуазного «якобинца» и «монтаньяра» Пестеля нереволюционным северянам[5]. Пестель насильно вырывается Покровским из очерченного Лениным первого этапа революционного движения и переносится в следующий этап революционного движения—Чернышевский и Добролюбов объявляются Покровским прямыми наследниками Пестеля[6]. Больше того: Пестель, конституционный проект которого Покровский ранее упрекал в «непрактичности» и «литературности», вдруг объявляется ни больше ни меньше, как «отдаленным предшественником величайшего практика-революционера наших дней», т. е. Ленина[7]. После этих фальсификаций следует ряд прямых натяжек исторических фактов для «обоснования» изложенных положений: о Пестеле, лишь частично конфискующем помещичью землю и оставляющем в части, предназначенной для «изобилия», остатки помещичьего латифундиарного землевладения, объявляется, что он начисто упразднил крепостной строй[8]. Восстание Черни-

---

[1] Там же, 41.
[2] Сборник «Декабристы», 27, 42, 56; «Очерки», 43.
[3] Сборник «Декабристы», 31, 49, 90.
[4] Там же, 31.
[5] Там же, 19, 20, 70, 85.
[6] Там же, 60.
[7] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 39.
[8] Сборник «Декабристы», 64.

говского полка объявляется «подлинным вооруженным восстанием»[1], хотя по типу своему оно полностью совпадает с восстанием 14 декабря. И там и тут была принята выжидательная тактика, основанная на предположении, что правительственные войска не будут стрелять в «своих» и что все новые и новые части будут присоединяться к войскам. Тактика Пестеля также объявляется «чисто революционной», в то время как Пестель—яркий сторонник военного восстания, военной революции. В отличие от других работ, Покровский здесь проявляет знакомство с документом Пестеля «Дележ земель», но проект конфискации земли у Пестеля излагается, повидимому, на память и с грубыми фактическими ошибками[2]. Пестель, конфискующий лишь на половину имения, превосходящие 10 тыс. дес., и сохраняющий помещичье землевладение, не превышающее 5 тыс. дес., объявляется Покровским «врагом всякой крупной собственности»[3]. Мотивируется это тем, что Пестель—враг всякой «аристократии богатств»: между тем Пестель под «аристократией богатств» понимает исключительно имущественный ценз на выборах.

К этому надо прибавить ошибки в характеристике Общества соединенных славян. Покровский сравнивает их с «левыми эсерами», а южан—с «правыми эсерами», что вообще не выдерживает никакой критики. П. Борисова (как и вообще членов Общества соединенных славян) Покровский считает атеистом, в то время, как он был деистом. Особо удивительно, что в соединенных славянах Покровский видит... предшественников славянофилов[4].

Ошибки Покровского были восприняты и в ряде случаев еще увеличены сторонниками его школы. В моих работах о декабристах я стояла на ошибочных позициях М. Н. Покровского, проводила «экономико-материалистический» подход к генезису декабризма непосредственно от экономики эпохи, недооценила значение всемирно-исторического этапа, начало которому положила Великая французская буржуазная революция, и некоторое время оставалась на ложной точке зрения относительно «якобинизма» Пестеля[5]. Лишь в 1935 г. начав исследовательскую работу (на основе неопубликованных материалов), связанную с историей Южного общества декабристов, я начала отходить от указанных ошибок. Изучение высказываний Ленина о декабристах и постановления партии и правительства об учебнике истории дали мне возможность понять всю ложность концепции Покровского[6].

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 29 и 82.
[2] Там же, 33; сборник «Декабристы», 23.
[3] Там же, 21.
[4] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 28, 29, 37.
[5] См. мою статью «Декабристы» в БСЭ, 21 и др. работы.
[6] См. мою статью «Ленин о декабристах» в журнале «Фронт науки и техники», 1935, № 5—6.

* *
*

Итак, концепция декабризма, выдвинутая Покровским, в корне противоположна ленинской концепции.

Подведем итоги:

1. Ленин считает декабристов представителями *революционного движения*. Покровский отрицает революционность декабристов в целом. Позднее он оценивает как революционные лишь некоторые *элементы* движения декабристов.

2. Ленин сосредоточивает внимание на изучении *объективного значения* борьбы декабристов во всем комплексе окружавших их условий. Чувство исторической перспективы—характерная черта ленинской концепции. Центр тяжести исторического значения декабристов, по Ленину, лежит в их борьбе против крепостничества и самодержавия. Покровский же, задавшись целью разоблачения «корысти» и «аристократизма» декабристов, постоянно путает объективную и субъективную стороны движения и всячески принижает значение борьбы декабристов с крепостничеством и самодержавием.

3. Декабристы в концепции Ленина—явление прогрессивное, смотрящее вперед. Декабристы в концепции Покровского обращены назад, смотрят в эпоху дворцовых переворотов XVIII в. Позже Покровский смягчает это свое утверждение, но если и трактует отдельные элементы декабризма как прогрессивные, то только лишь при условии подкрашивания их то под разночинский, то под пролетарский демократизм. В основном же ядре декабристов Покровский видит лишь «предшественников» 1861 года, иронизирует над ними, например, как над деятелями, имевшими «честь» предвосхитить идею дарственного «кошачьего» надела и пр.

4. Ленин берет декабристов в движении, во всем комплексе явлений окружающей их исторической обстановки, трактует их с позиций диалектического материализма. Покровский же подходит к ним с позиций «экономического материализма», грубо и непосредственно связывая их генезис с повышением хлебных цен (которые, кстати, в 20-х годах XIX в. не повысились, а понизились).

5. Ленин считает декабристов «дворянскими революционерами», давая в этом определении одновременно и признак классовой ограниченности движения и квалификацию его как революционного. Покровский нигде не пользуется этим определением. Он привносит в оценку движения декабристов критерии, заимствованные им из позднейших эпох революционного движения—или демократического разночинского, или даже революционного пролетарского. Он резко разрывает декабристов на дворянско-либеральное и мелкобуржуазное крыло, насильственно подтягивая Пестеля как представителя последнего то к Чернышевскому, то даже к большевикам. Одновременно Покровский совершенно отбрасывает от революционного движения северное крыло декабристов.

6. Ленин выделяет *период* дворянской революционности, считая

его характерными представителями декабристов и Герцена. Покровский этого периода совершенно не выделяет и считает «устарелым» ставить декабристов в начале первого периода.

7. Ленин высоко оценивает республиканскую традицию в революционном движении и отмечает, что декабристы первые выдвинули лозунг республики, но одновременно подчеркивает, что в дальнейшем эта идея была забыта и революционной социал-демократии пришлось эту традицию создавать вновь. Покровский в этом вопросе не имеет твердой точки зрения. Он то пренебрежительно трактует республиканизм декабристов как традицию, идущую от дворцовых переворотов XVIII в., то превозносит республиканизм Пестеля, фальсифицируя его под «монтаньяра» и влагая в этот республиканизм содержание, несвойственное эпохе декабристов.

8. Ленин признает огромное политическое значение восстания 14 декабря. Покровский же не находит даже возможным считать эту дату за «юбилейную», перенося центр тяжести на восстание Черниговского полка. В полном противоречии с действительностью он изображает последнее как «подлинно революционное», пользуясь то абстрактным критерием «революционности вообще», то привнося в эпоху декабристов критерий последующих эпох исторического развития и пытаясь трактовать южное восстание как «народное».

9. Ленин видит в тактике «военного восстания» характерную черту декабристов и вместе с тем признак их классовой ограниченности. Покровский же не признает тактику декабристов единой и впадает в безысходное противоречие: то он считает тактику «военного восстания» «подлинно революционной», то отрицает наличие этой тактики у южных декабристов, стремясь неправильно изобразить последних как сторонников не военного, а массового народного восстания.

10. Ленин считает, что мы должны гордиться декабристами. Он связывает эту гордость с национальным сознанием, с революционным патриотизмом, с чувством родины. Концепция Покровского начисто лишена чувства родины. Он относится к движению декабристов в целом с пренебрежением, трактует его как «корыстное» и «аристократическое», тем самым очерняя важный этап в революционном прошлом нашей родины.

Н. ДРУЖИНИН

РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В ИЗОБРАЖЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I. СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ

Проблема разложения феодально-крепостнической системы, существовавшей в России до 1861 г., имеет огромное значение для понимания хода нашего исторического процесса. От того или иного решения этой проблемы зависит выяснение конкретной социально-политической обстановки, в которой протекало развитие промышленного капитализма и развертывалась классовая борьба, завершившаяся Великой Октябрьской социалистической революцией. Тяжелое наследство феодальных пережитков, которые сохранялись до Октября 1917 г., и революционная роль крестьянства как могучего союзника пролетариата не могут быть поняты без правильного решения вопроса, в силу каких причин и при каких условиях в дореволюционной России «на смену крепостническому государству пришло государство капиталистическое»[1].

М. Н. Покровский придавал этой проблеме большое научно-политическое значение и настойчиво возвращался к ней в различные моменты своей жизни: период с конца XVIII в. до 1861 г. был предметом его сосредоточенного внимания не только в общих курсах и очерках, но и в ряде статей, рассеянных по энциклопедиям и журналам. Мало-помалу из-под пера М. Н. Покровского вышла определенная концепция по данному вопросу, которая оказала отрицательное влияние на развитие советской исторической науки. Основные линии этой концепции были намечены под непосредственным впечатлением революции 1905 г. и нашли выражение в разрозненных эскизных очерках, которые появились на страницах «Истории России в XIX веке», издания бр. Гранат. Позднее, в годы реакции, эти первоначальные контуры заполнились последовательным и связным изложением, которое составило соответствующие главы «Русской истории с древнейших времен»:

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XXIV, 373.

эта книга значительно дополнила, а частью исправила ранние высказывания М. Н. Покровского о разложении феодально-крепостнического строя. В период войны и революции, работая над «Очерком истории русской культуры», М. Н. Покровский постарался дать более широкое обобщение накопленному материалу: именно здесь начинает оформляться его пресловутая теория о «торговом капитале» как всемогущем двигателе русского исторического процесса. В советский период эта руководящая точка зрения получает систематическое и заостренное выражение в «Русской истории в самом сжатом очерке» (1920), в «Очерках по истории русского революционного движения» (1924) и в многочисленных статьях на разнообразные темы; содержание прежней концепции о разложении феодально-крепостнической системы по существу не изменяется, но приобретает более обобщенную и резкую формулировку. Только в самом конце своей научной деятельности Покровский несколькими статьями внес частичные поправки в свои старые выводы в связи с тем, что стал анализировать влияние крестьянского движения на разрешение феодально-крепостнической системы.

Однако систематического пересмотра ранее выработанной концепции М. Н. Покровский не производил,—она осталась в том виде, как была изложена на страницах пятитомника и в последующих основных работах. Именно такою она была воспринята десятками тысяч советских читателей, легла в основу школьного преподавания и повлияла на исследовательскую мысль молодого научного поколения.

Главное содержание концепции Покровского можно передать следующим образом. На рубеже XVIII и XIX вв. основным двигателем хозяйственной жизни в России являлся торговый капитал. Извлекая руками землевладельческого дворянства прибавочный продукт из закрепощенной крестьянской массы, торговый капитал бросал его на рынок и этим разлагал патриархальные устои натурального хозяйства. Особенно крупное значение с начала XIX в. приобретает торговля хлебом, прежде всего экспорт на заграничные рынки, в первую очередь в промышленную Англию. «На хлебном вывозе, главным образом, окончательно вырос и развился русский торговый капитализм»[1]. Хлебный вывоз стимулировал помещичье предпринимательство и был важнейшей базой для возникновения и развития «аграрного капитализма»: подгоняемые рыночным спросом, помещики организуют собственное земледельческое производство, расширяют свою запашку, все больше увеличивают барщину, заводят крепостные мануфактуры для обработки сельскохозяйственных продуктов; помещичье хозяйство начинает приобретать плантационный характер. Но чем больше развивается производство на рынок, тем яснее становится слабая производитель-

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. 1920, стр. 108.

ность барщинного, крепостного труда, а, следовательно, его невыгодность для помещика и стоящего за его спиной торгового капитала. Подъем хлебных цен в начале XIX в., стимулируя помещичье предпринимательство, заставляет торговый капитал поставить на очередь проблему ликвидации крепостных отношений; но высокие хлебные цены не удерживаются: начиная с 20-х и до конца 40-х годов, сельское хозяйство в Западной Европе и в России переживает затяжной кризис, условия сбыта резко ухудшаются, и проблема уничтожения крепостного права временно снимается с очереди. Только с конца 40-х годов наблюдается новый сельскохозяйственный подъем—снова поднимаются хлебные цены, снова расширяется хлебный экспорт, и экономическая необходимость повелительно диктует помещику и торговцу перейти к новым формам эксплоатации—к применению вольнонаемного труда.

Одновременно, с начала XIX в., в России начинает развиваться промышленный капитализм. Особенно крупную роль—начального толчка—сыграла «континентальная блокада» 1807—1812 гг., устранившая с внутреннего рынка английских конкурентов и вызвавшая к жизни собственную промышленность, основанную на вольнонаемном труде; немалую роль сыграла и буржуазная политика Николая I, который разнообразными мерами поощрял развитие отечественных мануфактур. Принудительный труд в промышленности, как непроизводительный и невыгодный, был заменен вольнонаемным по инициативе самих фабрикантов. Выросший и окрепший промышленный капитал нуждался в свободной рабочей силе и требовал уничтожения крепостного права. Между промышленным капиталом и капиталом торговым существовал глубокий антагонизм, который породил взаимную борьбу не только в хозяйственной, но и в социально-политической области. Торговый капитал действовал методами внеэкономического принуждения: опираясь на крепостное право, он нуждался в сильной централизованной власти. Промышленный капитал оперировал методами экономического принуждения и выдвигал требование—перехода к свободному договору и буржуазному «народному представительству». Крах барщинного хозяйства в деревне—в условиях усилившегося хлебного экспорта конца 40-х и 50-х годов—заставил торговый капитал пойти на компромисс с капиталом промышленным; результатом этого компромисса и была крестьянская реформа 1861 г.

Исходя из этой социально-экономической схемы, М. Н. Покровский определенным образом истолковывает конкретные события первой половины XIX в. Главные действующие силы на его исторической сцене—«политически организованный торговый капитализм» в лице самодержавия [1], землевладельческое дворянство, которое расслаивается на «крупную знать» и «средних помещиков», и, наконец, промышленная буржуазия. Но так как дворянство, с точки зрения М. Н. Покровского,

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. М., 1927, стр. 10.

только агентура и аппарат торгового капитала (за исключением небольшой, буржуазно настроенной прослойки), то фактически мы имеем две основные борющиеся между собой силы: с одной стороны—капитал торговый, с другой стороны—капитал промышленный. Говоря о взаимной борьбе этих сил, Покровский подчеркивает: «она у меня является... стержнем русской истории»[1]. При Павле I самодержавие, охраняя интересы торгового капитала и помещиков, ведет политику «концентрации крепостного режима», начатую еще при Екатерине II Потемкиным и Зубовым. Попытка Павла задеть интересы господствующих классов приводит к его личной гибели. Александру I приходится уже лавировать между «крупной знатью», народившейся буржуазией и консервативной массой среднего дворянства. Окончательно перейдя на позиции крупной знати (которая выступает у Покровского как носительница феодальных традиций и, следовательно, реакционная сила), Александр возбуждает против себя буржуазную оппозицию среднего дворянства. В обстановке усилившегося хлебного вывоза создается опора для декабристской программы ликвидации крепостничества. Николай I подавляет декабристов с помощью крупной знати, но, оставаясь на страже крепостнической системы в условиях аграрного кризиса, он вынужден считаться с силой промышленного капитала и вести политику блока между дворянством и буржуазией. В противовес «политически организованному торговому капитализму» выступают провозвестники промышленного капитализма и буржуазной идеологии—Радищев, Сперанский, декабристы, петрашевцы. Захваченное новыми буржуазными отношениями, среднее дворянство к концу 50-х годов переходит на прогрессивные позиции. Крупная знать, потерпевшая военное поражение и испуганная ростом крестьянских волнений, вынуждена капитулировать. Происходит законодательная отмена крепостного права.

Эту картину «классовой борьбы» Покровский дополняет подробной характеристикой международных отношений. И здесь, в вопросах внешней политики, оказываются на первом плане интересы торгового капитала. И здесь в определенный момент—при Николае I—начинает оказывать сильное давление промышленная буржуазия. Хлебный вывоз остается двигателем внешне-политических комбинаций на протяжении всей первой половины XIX в. Но в царствование Николая I эта основная задача осложняется и перебивается новым моментом—борьбой за внешние рынки в интересах развивающейся крупной промышленности. Если в первую четверть XIX в. Россия, экспортировавшая хлеб на английский рынок, была в орбите английской политики (не считая вынужденного перерыва после Тильзита), то во второй четверти этого века начинается упорная—хозяйственная, затем дипломатическая и наконец военная—борьба с Великобританией. «Восточный

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв. М., 1927, стр. 9.

вопрос»—соперничество вокруг Константинополя и проливов—делается «становым хребтом всей внешней политики»[1], и после некоторых блестящих, но непрочных успехов отсталая крепостническая страна оказывается разгромленной западноевропейскими государствами, более развитыми в хозяйственном и техническом отношении. Те же экономические мотивы лежат в основе дипломатической борьбы между Россией и ее ближайшими союзниками—Пруссией и Австрией. Сравнительно с этими мотивами все остальные побуждения правительства,—не исключая борьбы с европейской революцией,—играли подчиненную и второстепенную роль. Так же «материалистически» и «трезво» подходит Покровский и к военной эпопее 1812 г., срывая с нее ореол «романтической картины»[2], и к севастопольской обороне 1854/55 г., не видя в ней ничего, кроме борьбы за ближневосточные рынки.

Такова вкратце концепция М. Н. Покровского по вопросу о разложении феодально-крепостнической системы в нашей стране. Как видим, Покровского интересуют три стороны данной проблемы: как последователь «экономического материализма» он прежде всего ищет экономических корней совершавшегося процесса. Но революционный марксизм, говорил Покровский, требует от историка не только материалистического освещения событий, но и внесения момента классовой борьбы[3]. Поэтому, опираясь на свои экономические выводы, Покровский старается увидеть в конкретном содержании исторических явлений противоречие классовых интересов. Наконец, как историк, привыкший связывать события русской истории с международной обстановкой, Покровский выходит за рамки внутренних отношений и стремится дать материалистический, классовый анализ сменяющихся внешне-политических комбинаций. Последуем его плану и посмотрим, соответствует ли построение Покровского учению классиков марксизма о смене феодальной формации капиталистической, верна ли она с фактической стороны и дает ли она правильное и полное освещение сложных исторических процессов первой половины XIX в.?

При этом не забудем одного, чрезвычайно существенного, момента: Покровский сознательно придал проблеме суженную постановку,—он разрешает ее в аспекте *русской* истории, оставаясь под властью буржуазной великодержавной традиции. Он не задает себе вопроса, как отражались ведущие исторические процессы в недрах господствовавшей нации на завоеванных и подчиненных народностях, и обратно,—как повлияло положение различных народностей на темпы и направление русских исторических процессов. В этом отношении к концепции Покровского вполне приложимы критические замечания товарищей Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспекта учебника по истории СССР: концепция Покровского не дает

---

[1] Сборник «Внешняя политика». 1918, стр. 87.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, 1933, III, 198.

[3] М. Н. Покровский. Экономический материализм. 1906, стр. 21—22.

представления об истории народов СССР в соответствующий период, в этой концепции «не подчеркнута аннексионистско-колонизаторская роль русского царизма, вкупе с русской буржуазией и помещиками», не показаны «условия и истоки национально-освободительного движения покоренных царизмом народов»[1]. Нам приходится считаться с этими суженными рамками и давать анализ концепции Покровского, не выходя за ее пределы.

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

Исходя из учения Маркса о докапиталистической земельной ренте, Ленин в своем труде «Развитие капитализма в России» дал классическое определение барщинного, феодально-крепостнического хозяйства. При господстве этой системы прибавочный труд извлекался землевладельцем из непосредственного производителя, который одним и тем же инвентарем обрабатывал и собственный «надел», обеспечивавший ему средства существования, и барскую землю, дававшую избыток над необходимым продуктом. Такая система эксплоатации предполагала наличие четырех основных условий: 1) господства натурального хозяйства, 2) наделения непосредственного производителя средствами производства вообще и землею в частности,—больше того, прикрепления его к земле, 3) личной зависимости крестьянина от помещика («внеэкономического принуждения») и 4) крайне низкого, рутинного состояния техники[2]. Очевидно, проследить процесс разложения феодально-крепостнической системы—значит выяснить, как уничтожаются самые условия ее существования, другими словами, показать вторжение в страну денежного хозяйства, начинающееся открепление крестьянина от земли и лишение его средств производства, смягчение и ликвидацию внеэкономического принуждения, наконец, внедрение сельскохозяйственной техники. Классики марксизма указали, по каким основным линиям совершается этот длительный закономерный процесс. Его необходимые предпосылки—рост товарного обращения и образование купеческого капитала—явления, которые в свою очередь предполагают значительные успехи в развитии производительности труда и прогрессирующее отделение промышленности от земледелия. При разложении феодальной системы глубокие хозяйственные сдвиги одновременно происходят и в области промышленности, и в сельском хозяйстве. Мелкий изолированный ремесленник, который существует при феодальном способе производства, превращается в купца и капиталиста или утрачивает свою самостоятельность и подчиняется в своей производственной деятель-

---

[1] Единственное исключение представляет собою движение Шамиля, освещенное в статье «Завоевание Кавказа» в «Истории России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, III (перепечатана в сборнике «Дипломатия и войны царской России в XIX столетии»).

[2] В. И. Ленин. Соч., III, 139—141.

ности капиталисту-скупщику. На смену отработочной и продуктовой ренте приходит денежная рента, которая знаменует собой разложение феодальной системы эксплоатации и возникновение новых отношений: она необходимо сопровождается («даже антиципируется»— прибавляет Маркс) расслоением производителей на неимущих батраков и крестьян, эксплоатирующих наемную рабочую силу, т. е. складывающихся капиталистов. Массы мелких производителей сгоняются с земли, лишаются орудий производства и образуют кадры формирующегося пролетариата[1]. Так создаются необходимые предпосылки капиталистического способа производства: наличие капитала, рабочей силы и рыночного спроса. Новые производственные отношения оказываются в резком противоречии с феодально-крепостнической системой, которая начинает разлагаться и в конце концов рушится; но она рушится не сама собой, а в процессе ожесточенной классовой борьбы. При этом главными антагонистами в недрах феодального общества являются эксплоатируемое крестьянство и класс землевладельцев. «Когда было крепостное право,—говорит Ленин,— вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство»[2]. «Революция крепостных крестьян,—прибавляет Сталин,— ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму эксплоатации»[3].

В какой мере эти сложные социально-экономические процессы нашли себе отражение в концепции Покровского?

С самого начала Покровский сосредоточивает главное внимание на изменениях в области сельской экономики, точнее говоря, на эволюции помещичьего хозяйства. Полемизируя с Милюковым, он констатирует уже в XVIII в. значительные успехи товарно-денежного оборота, который вовлекает в свое течение и барское поместье. В начале XIX в. это явление приобретает особенно широкий размах и оказывает глубокое воздействие на все стороны общественной жизни. Главной движущей силой, которая подтачивает устои натурального хозяйства, оказывается у Покровского *хлебный экспорт,* вызываемый промышленной революцией в передовых западноевропейских странах. «Около эпохи наполеоновских войн Россия становится «житницей Европы»,—и прежде всего Англии... Хлебный вывоз был основой развития русского аграрного капитализма...» «Заграничный рынок сразу определил и внешнюю политику русского государя и внутреннюю—русского помещика»[4]. Эту мысль в различных вариантах Покровский повторяет во всех своих работах. Правда, в самом начале он придавал не меньшее значение

---

[1] К. Маркс. Капитал, т. I, гл. 24; т. III, гл. 20 и 47.
[2] В. И. Ленин. Соч., V, 311.
[3] И. В. Сталин. Речь на Первом всесоюзном съезде колхозников-ударников. «Вопросы ленинизма», 10-е изд., 527.
[4] М. Н. Покровский. Россия в конце XVIII века. «История России в XIX в.», I, 7; сборник «Внешняя политика», 23.

росту населения, который медленно, но верно двигает вперед хозяйственное развитие, но уже в «Очерке истории русской культуры» Покровский окончательно разделался с влиянием этой буржуазной теории и хлебный вывоз сделался в его исторических объяснениях настоящим «демиургом действительности». Отсюда—колоссальное влияние, которое Покровский приписывает хлебным ценам—не тем разнообразным, быстро меняющимся ценам, которые существовали на внутреннем рынке, а однородным и медленно эволюционирующим ценам, которые устанавливались в мировом обороте сельскохозяйственных продуктов. «Идею освобождения крестьян в XVIII веке убили хлебные цены. Дальнейшее повышение этих цен в половине XIX века сделало снова всех умных помещиков эмансипаторами»[1]. Повышение хлебных цен в начале XIX в. вызвало «первую сознательную революцию против самодержавия», упадок хлебных цен с 1820 г. погрузил Россию в глубокую политическую реакцию[2] и т. д.

У Покровского были свои предшественники в этом настойчивом, упорном подчеркивании колоссальной роли хлебного экспорта и хлебных экспортных цен. Еще в 1839 г. против таких экономистов с очень обоснованными и убедительными возражениями выступил авторитетный статистик, академик Кеппен. С цифрами в руках Кеппен доказывал, насколько незначительна была доля хлебного экспорта не только в валовой сумме хлебного сбора, но и в общем количестве хлеба, потребляемого русским населением. «Вывоз хлеба за границу гораздо менее у нас значителен, чем полагают многие, не исследовавшие сего предмета... Вывоз хлеба не составляет и сотой части количества, нужного для потребления в самой империи; из этого следует, что хлебная торговля с чужими государствами не может постоянно иметь значительного влияния на цены наших хлебов, которые, находясь в большом расстоянии от портов, нуждаются еще в средствах сообщения водою или большими дорогами»[3]. Покровский не согласен с Кеппеном и считает его доводы противоречащими друг другу.

Чтобы проверить утверждения Покровского, посмотрим официальную сводку статистических данных о развитии русского экспорта, в том числе вывоза хлеба, за первую половину XIX в.[4]. Первое, что бросается в глаза, это весьма скромное место, которое занимает хлеб среди экспортируемых товаров вплоть до 1845 г.: за исключением пятилетия 1816—1820 гг. хлебные продукты составляют от 8 до 18% общего вывоза и только в 1816—1820 гг., отмеченных исключительно богатыми урожаями в России и повсеместными неурожаями в Европе, достигают 31%. Еще ничтожнее оказывается отношение хлебного вы-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 97.
[2] М. Н. Покровский. Очерки революционного движения в России XIX и XX вв., стр. 14; Русская история с древнейших времен, IV, 40.
[3] Кеппен. О потреблении хлеба в России. 1839, стр. 12—13.
[4] Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Под редакцией В. И. Покровского. СПб., 1902, стр. 3, 6.

воза к валовой сумме хлебного сбора, которое колеблется от 0.2 до 2.5%. Совершенно ясно, что при слабой производительности земледельческого труда—вплоть до 1845 г.—собираемого хлеба едва-едва хватало для внутреннего потребления. Если оставались зерновые излишки, землевладельцы предпочитали использовать их для винокурения: хлеб, переработанный в вино, дешевле транспортировался и быстрее находил покупателя. Конечно, сбывался и хлеб в зерне, но больше всего на внутренний рынок: экономическая дифференциация районов и рост неземледельческого населения в стране ежегодно расширял и куплю-продажу хлеба.

Цифровые данные приводят нас еще к одному важному выводу: они разрушают схему Покровского о неуклонных колебаниях хлебного экспорта в зависимости от высоких и низких цен на мировом рынке. Оказывается, никакого «катастрофического» роста хлебного вывоза в начале XIX в. не было, так же как не было «катастрофического» падения вывоза в 20-е—30-е годы:

Годы	Ценность хлебного вывоза	% ко всему вывозу
1802—1807	11.8 млн. руб. асс.	18.7
1812—1815	18.0 » » »	10.5
1816—1820	74.2 » » »	31.2
1821—1825	17.5 » » »	8.4
1826—1830	35.6 » » »	15.7
1831—1835	34.1 » » »	15.4
1836—1840	55.1 » » »	14.8

В общем, перед нами—тенденция закономерного роста, но на этом основном фоне выделяются два исключительных пятилетия: чрезвычайного расширения вывоза в 1816—1820 гг. (урожаи в России—неурожаи в Европе!) и чрезвычайного сокращения в 1821—1825 гг. (период аграрного кризиса в результате сельскохозяйственного перепроизводства). Конечно, не следует забывать о влиянии кризисной конъюнктуры, но следует подходить к ней иначе, конкретнее, учитывая постоянные колебания спроса и предложения на мировом рынке. Сплошной линии торгового застоя после 1820 г. в действительности не было; вывоз пшеницы в 1830 и 1839 гг. вследствие неурожая в Европе поднялся до такой цифры, до какой он не достигал даже в 1817 г., в момент наивысшего подъема [1]. Наконец, нужно помнить, что депрессия мировых цен была преодолена уже в начале 30-х годов [2].

---

[1] В 1817 г. было вывезено 2 338 000 чтв. пшеницы.
» 1820 г. » » 2 542 000 » »
» 1839 г. » » 2 914 000 » »

(Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. Под редакцией В. И. Покровского. Приложения: таблицы вывоза товаров по всем границам с 1802 по 1850 г., стр. 104.)

[2] М. Зеринг. Аграрные кризисы. 1927, стр. 45—46.

Несомненно, хлебный экспорт имел определенное хозяйственное влияние, но не надо его преувеличивать, как это делал Покровский. Еще Кеппен подчеркнул, что экспортировали преимущественно приморские губернии (Прибалтика и Новороссия); экспорт действительно вырос и начал оказывать крупное воздействие на экономическую жизнь после отмены английских хлебных пошлин в 1846 г. Внутренняя торговля хлебом должна была не только иметь большие масштабы, но и более непосредственно, более могущественно влиять на разложение натурального хозяйства.

Преувеличенное внимание к хлебному экспорту заслонило в глазах Покровского более важные, хотя и более скрытые хозяйственные процессы, влиявшие на расширение *внутреннего рынка*. К началу XIX в., на ряду с крупной мануфактурой, существовало городское и сельское ремесло. Хотя мы не располагаем точными статистическими данными, однако, мы имеем полное основание утверждать, что за первую половину XIX в. ремесленная промышленность разрослась еще больше: городское население увеличилось и предъявило повышенный спрос на предметы первого потребления и на постройку жилищ; еще резче обозначилась хозяйственная дифференциация районов: целые села в потребляющих оброчных губерниях специализировались на том или ином промысле (Иваново, Шуя, Павлово, Ворсма и пр.). Из среды крестьянства выделились предприимчивые хищники—скупщики, которые стягивали в свои руки продукцию рассеянного ремесла и сбывали ее на ближайшие и отдаленные рынки; на ряду с торговцами, мануфактуристами и фабрикантами появляются крестьяне-землевладельцы, крестьяне-откупщики, крестьяне-подрядчики; с другой стороны, необходимо констатировать не только продолжающийся отлив населения в города, но и такие явления, как массовый отход на полевые работы в южные урожайные губернии и появление батрачества в недрах крепостной и особенно государственной деревни [1]. Некоторые из этих явлений—отхожие промыслы, рост мануфактуры, развитие кустарного производства—упоминаются Покровским, но они упоминаются вскользь, под углом зрения «интенсификации барщины». А между тем как раз эти молекулярные процессы больше всего расшатывали основы крепостнической натурально-хозяйственной системы: они вторгались в глубинные недра деревенской жизни, подчиняли своему влиянию миллионы людей, вступали в резкое противоречие с существующими правовыми институтами и шаг за шагом приводили к перерождению старой общественной ткани. С этой точки зрения разбогатевший крепостной мужик,

---

[1] Для XVIII в. и начала XIX в. большой материал, дополняющий старые данные Корсака («О формах промышленности») и Туган-Барановского («Русская фабрика в прошлом и настоящем») дают работы П. Г. Любомирова («Крепостная Россия XVII—XVIII вв.» в Энц. слов., изд. бр. Гранат, т. 36, ч. III, «Очерки по истории русской промышленности в XVIII в. и начале XIX в.», «Очерки по истории металлургической и металлообрабатывающей промышленности в России»).

который на имя барина приобретал для себя сотни десятин земли и ссужал этого барина крупными денежными суммами, не менее характерная фигура, чем крепостной отходник, заключающий свободный договор с фабрикантом и уплачивающий из полученного заработка денежную ренту своему господину. В своей совокупности все эти «незаметные» процессы создавали предпосылки для расширения внутреннего рынка, для подчинения массы населения всемогущей и неотвратимой власти денег.

Насколько в середине XIX в. были велики размеры внутреннего оборота, показывают некоторые статистические данные. По изысканиям И. С. Аксакова, в 1854 г. на украинских ярмарках было продано товаров на сумму 80 750 000 руб.; в том же году на Нижегородской ярмарке было реализовано сделок на 50 180 500 руб. По приблизительным вычислениям статистика К. Арсеньева, внутренний товарооборот к 1818 г. достигал солидной цифры, 900 млн. руб., т. е. почти в четыре раза превосходил размеры заграничной торговли [1].

Внимание Покровского приковано к другим явлениям: важнейшим фактом сельскохозяйственной жизни начала XIX в. он считает развитие дворянского «аграрного капитализма». Хлебный вывоз необычайно возбудил предпринимательскую энергию средних помещиков, началось производство хлеба на рынок, открылись винокуренные заводы, расцвела дворянская мануфактура. С точки зрения Покровского, все эти явления прогрессивны, они пробивали путь новым производственным формам. Какова же структура этих дворянских предприятий— «хлебных фабрик» и вотчинных промышленных заведений? Оказывается, в основе помещичьих начинаний лежала старая феодальная барщина, которая обнаруживала тенденцию неуклонного и сильного роста. Идеалом помещика-предпринимателя было «плантационное» (рабовладельческое) хозяйство, при котором крестьянин лишался своего надела, переставал вести собственное хозяйство и становился «месячником», т. е. получал месячный паек, отдавая целиком свою рабочую силу помещику. Подобные явления действительно типичны для крепостного хозяйства первой половины XIX в., но можно ли подводить их под понятие «аграрного капитализма»? Покровский считает, что можно: он настаивает на том, что «плантация есть явление капиталистического хозяйства, не феодального», в организаторах интенсифицированной барщины он видит прогрессивную часть помещичьего класса, а усовершенствованную «хлебную фабрику» считает исходным пунктом дальнейших хозяйственных новообразований [2].

---

[1] И. Аксаков. Исследование о торговле на украинских ярмарках. 1858, стр. 47; А. С. Гациссский. Нижегородка. 1877, стр. 182; К. Арсеньев. Начертание статистики Российского государства, ч. 1-я, стр. 174.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 80—100; Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX вв., 1927 г., стр. 9.

Несомненно, производство хлеба на рынок и вытекающее отсюда усиление барщины являлось симптомом разложения феодального хозяйства, как это неоднократно подчеркивал Ленин[1]. Но отсюда вовсе не следует, что непомерно вздутая барщина перестает быть феодальной категорией и становится аттрибутом капитализма. Делать подобный вывод значит вступать в противоречие с азбукою марксизма,—не в меньшей степени, чем признавая средневековое европейское поместье явлением «вотчинного капитализма». В свое время Покровский резко полемизировал с русскими допшианцами, но, как видим, он, сам того не замечая, сбивался на допшианскую точку зрения. Здесь сказывалось несомненное влияние «легального марксизма» Струве с его концепцией прогрессивного крепостного хозяйства, которое вбивает глубокий денежный клин в господствующую натурально-хозяйственную систему.

Перерождение крепостного хозяйства в плантационное (т. е. фактически в рабовладельческое) в тот самый период, когда в городе и деревне зарождались и крепли отношения свободного договора, было явлением глубоко регрессивным, вскрывавшим одно из острых противоречий отживающего строя. Насильственно отрывая производителя от земли, лишая его орудий производства и ликвидируя его самостоятельное хозяйство, помещик-предприниматель подрывал главные устои действующей системы. Но, экспроприируя непосредственного производителя, он не создавал из него свободного пролетария, а превращал его в безземельного раба. Покровский не усмотрел этой важной стороны «месячины» и не осветил факта во всем его огромном социальном значении. Массовый сгон крепостных крестьян с земли, перечисление их в дворовые и в «месячники», продажа их «на своз» заполняют собою всю первую половину XIX в., переплетаясь с фактом насильственного и замаскированного захвата земли у государственных крестьян. Результатом этого длительного процесса было резкое перемещение земельной площади: если в конце XVIII в. под крестьянской запашкой было более половины полезной площади, то к середине XIX в. в губерниях Причерноморья она сократилась до 20—25%. Правительство понимало социальную опасность подобного явления и разнообразными мерами пыталось бороться против «злоупотреблений крепостным правом». Однако если на государственных землях реформою Киселева удалось задержать дальнейший процесс экспроприации, то на помещичьих землях все предпринимавшиеся попытки разбивались об упорное сопротивление господствующего класса: обстоятельно мотивированные проекты Зубова, Сперанского, Киселева, Перовского не претворились в дело, не остановили прогрессирующего распада феодально-крепостнической системы.

Нельзя отрицать наличия прогрессивных тенденций в помещичьем имении первой половины XIX в., но эти прогрессивные тенденции

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 349—350; III, 140.

проявлялись не там, где усматривал их Покровский. Как ни редки были островки вольнонаемного хозяйства, они существовали и не только на купеческих, но частью и на дворянских землях (преимущественно на украинском юге, в районе Причерноморья с его портовыми центрами отпускной торговли). И на юге и на севере—в зонах интенсивного сбыта—медленно и с большими затруднениями прокладывала себе дорогу европейская техника. Кое-где, спорадически, зарождалась новая форма использования земли—капиталистическая аренда. После издания закона 1801 г. началась свободная мобилизация ненаселенных дворянских земель,—чиновники, купцы, государственные и даже крепостные крестьяне становились собственниками скупленных феодальных угодий. В различных районах—преимущественно в нечерноземной полосе—утверждалась оброчная система, которая при данных условиях была симптомом разложения феодально-крепостного строя,—не меньшим, чем отнятие земли у непосредственных производителей. Наконец, взаимные отношения помещика и крестьянина, в противоположность плантационному рабству, нередко складывались на новых основаниях смягченного внеэкономического принуждения: крепостной, отпущенный на оброк, иногда поднявшийся до роли независимого купца и фабриканта, так же как крестьяне, платившие оброчную ренту за пользование всею барскою землею имения, занимали иное, более свободное положение, чем обыкновенные барщинные тяглецы. Так, разнообразными путями буржуазные отношения вторгались в крепостную деревню и разрывали старую патриархально-крепостническую оболочку. Характерно, что, переводя крестьян в дворовые, помещики сплошь да рядом не могли использовать их в собственном хозяйстве и предпочитали отпускать их на отхожие промыслы.

Таким образом, из фактического раба крепостной превращался в оброчника. Законодательство первой половины XIX в. отчасти следовало за этими социальными изменениями и старалось регулировать их развитие: таковы были законы об ограничении права наказания крепостных, о выкупе крестьян на свободу, о приобретении их в казну и прочие робкие попытки дворянского правительства безболезненно решить «вопрос о крепостном состоянии».

Все указанные новообразования не учитываются Покровским, а как раз в них отражались зарождающиеся элементы капиталистических отношений.

В изображении *промышленного развития* дореформенной России Покровский следует концепции Туган-Барановского, но еще больше подчеркивает стимулирующую роль континентальной блокады, в 1807 г. навязанной России Наполеоном. Если в своем раннем очерке «Александр I» Покровский был склонен расценивать континентальную блокаду как явление, тормозившее свободное хозяйственное развитие, то очень скоро он резко изменил свою точку зрения. Континентальная блокада, подобно хлебному экспорту, получила в его глазах значение могущественного внешнего толчка, который привел в движение рус-

скую промышленность. «В первой четверти XIX века русский промышленный капитализм переживал период сильного подъема» благодаря континентальной блокаде [1]; «промышленный капитал точно живой водой спрыснули. Избавленные от английской конкуренции русские фабрики стали расти буквально как грибы» [2]. Континентальная блокада, которая больно ударяла по классу землевладельцев и по экспортерам русского сырья, оказывается восприемником русского промышленного капитализма, каким-то благодетельным «deus ex machina», который во-время появляется, чтобы направить страну на новую экономическую дорогу.

Повторяя Туган-Барановского, Покровский ссылается в доказательство своих выводов на донесения французского посланника Коленкура и особенно подчеркивает тот факт, что в 1808—1812 гг. в Москве возникло 11 частных бумагопрядилен [3].

В действительности русской промышленности, в частности капиталистической индустрии не нужно было ждать континентальной блокады, чтобы появиться на свет и достигнуть определенных успехов. Если отвлечься от социальной структуры предприятия, нужно констатировать значительное развитие промышленности уже в XVIII в. По официальным данным, в 1796 г. в России насчитывалось 2322 «фабрики» со 119 тыс. рабочих. Можно оспаривать безусловную точность этих статистических цифр, но нельзя отвергать установленного ими факта—наличия многих промышленных заведений, зарегистрированных правительством. К началу следующего столетия рядом с крепостною—вотчинною и посессионною—мануфактурою все чаще встречаются крупные предприятия, основанные на вольнонаемном труде. По исследованию П. Г. Любомирова, в области кожевенного, льноткацкого и металлообрабатывающего производства вольнонаемный труд получил к этому времени решительное преобладание [4]. Первые годы XIX в. дали новые успехи в том же направлении—промышленный капитализм (в этом отношении Покровский прав) был реальной и заметной величиной в это время. Но континентальная блокада была тут не при чем: расстраивая и парализуя товарно-денежный оборот, подтачивая курс русского рубля, затрудняя заграничные и внутренние сделки, континентальная блокада мало благоприятствовала нормальному развитию производства. Исследование А. В. Предтеченского, построенное на свежих архивных материалах, показало всю зыбкость построения Покровского. Оказывается, блокада не могла помешать проникновению английских товаров, в частности английской пряжи. Подрезывая

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 152.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 112.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 177; Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 152.

[4] П. Любомиров. Очерки по истории русской промышленности в XVIII в. и начале XIX в.

вывоз русского сырья, она оказывалась бессильной против заграничной контрабанды. Ни о каком «бурном» росте отечественной промышленности за эти годы не приходится говорить: если мы возьмем наиболее важный из тогдашних промышленных районов—Москву и Московскую губернию, то увидим, что с 1807 по 1810 г. количество промышленных предприятий не увеличилось, а уменьшилось; прирост начался с 1811 г., но обязан не континентальной блокаде, а покровительственному тарифу 1810 г. Больше того: стимулирующее действие тарифа на крупную промышленность стало обнаруживаться только тогда, когда прекратилась континентальная блокада[1]. Еще больше влияния оказал запретительный тариф 1822 г.: если мы справимся с данными импортной статистики, то увидим, что резкое понижение заграничного ввоза, особенно английских хлопчатобумажных изделий, падает как раз на это время[2]. Только к 1825 г. можно отнести значительные успехи хлопчатобумажной промышленности, работавшей на внутренний рынок и оперировавшей вольнонаемным трудом.

И здесь, при анализе развития промышленности, с Покровским случилось то же самое, что произошло раньше, при освещении сельскохозяйственной экономики. Чтобы объяснить возникновение «аграрного капитализма», Покровский превратил Россию в английскую колонию и, закрыв глаза на внутренние органические процессы, свел происходящие изменения к воздействию некоей внешней силы. Теперь, чтобы объяснить возникновение промышленного капитализма, ему потребовалось отыскать новый механический толчок, и он нашел его в виде наполеоновской экономической политики, навязанной России извне, вопреки желаниям и воле народа. Правда, в «Очерке истории русской культуры» Покровский оговаривается, что «континентальная блокада пала на благоприятную почву», он признает наличие в стране известных внутренних предпосылок к развитию промышленности, но он уделяет им очень мало внимания, скользя по поверхности затрагиваемых процессов. При этом социальная структура промышленного предприятия недостаточно учитывается в его работах: сплошь и рядом Покровский не выделяет мануфактуры, основанной на вольнонаемном труде, из общей массы промышленных предприятий и наличие вотчинных и посессионных «фабрик» считает показателем роста промышленного капитализма[3]. Очень редко, мимоходом, он касается ремесленного производства, почти не признает наличия самостоятельных кустарей в первой половине XIX в. и всех ремесленников, успешно конкурирую-

---

[1] А. Предтеченский. К вопросу о влиянии континентальной блокады на развитие торговли и промышленности в России. «Известия Академии Наук», 1931, VI.

[2] В 1820 г. было ввезено хлопчатобумажных изделий на 22 млн. руб. асс., в 1821 г.—на 19 млн. руб., в 1822 г.—на 9 млн. руб. Сборник сведений по истории и статистике. Табл., стр. 136.

[3] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 17—21.

щих с «фабрикой» (точнее с мануфактурой), готов считать ответвлениями торгового капитала [1]. Покровский не останавливается на таких явлениях, как превращение самостоятельного кустаря в крупного капиталиста и параллельный процесс постепенного подчинения самостоятельных кустарей капиталисту-скупщику.

Важнейший момент в истории капиталистической промышленности—введение машин, превращение мануфактуры в фабрику, вытекающие отсюда изменения в составе рабочих и в изменении заработной платы—тоже выпадает из поля зрения Покровского. Между тем для разрешения выдвинутой проблемы—разложения феодально-крепостнической системы—необходимо в первую очередь учесть указанные глубокие изменения, которые исподволь, но радикально преобразовывали старые способы производства. В этом вопросе мы имеем прочную методологическую базу—марксистско-ленинское учение о стадиях развития капиталистической промышленности и формах соединения промысла с земледелием [2]. Изложение Покровского игнорирует эти руководящие указания классиков марксизма и одновременно не считается с конкретными фактами, рассеянными в различных монографиях и частично затронутыми Туган-Барановским. В нашей стране классический образец развития капитализма представляет хлопчатобумажное производство, которое уже в первой половине XIX в. переживало этапы закономерного перехода от домашней промышленности, соединенной с земледелием, к самостоятельному ремеслу, от ремесла к мануфактуре и от мануфактуры к фабрике. Ориентируясь на внутренний массовый рынок и подгоняемое его непрерывным ростом, хлопчатобумажное производство с классической ясностью воплотило в себе основные процессы, разлагавшие феодально-крепостническую систему: превращение разбогатевшего кустаря в капиталиста и подчинение рассеянных кустарей экономическому господству скупщика и мануфактуры. Именно здесь расцвела крупная капиталистическая мануфактура, а в 30-х—40-х годах произошла механизация производства. Превращение мануфактуры в фабрику сопровождалось здесь всеми сопутствующими явлениями: массовой эксплоатацией женского и детского труда, понижением уровня заработной платы, вытеснением рабочей силы машиной. Все эти преобразующие процессы неравномерно охватывали различные стадии производства; отсюда—возможность не только одновременного существования ремесла, но до известного момента и успешной конкуренции ремесла с мануфактурой: при господстве ручного труда такой исход не представлял собой ничего удивительного. Однако не следует забывать, что кажущаяся самостоятельность победившего кустаря сплошь и рядом скрывала за собою или экономическую зависимость мелкого производителя от капиталиста-скупщика или гетерогенную форму ману-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 150.

[2] В. И. Ленин. Соч., III, 293 и др.

фактуры, рассеянной по крестьянским светелкам, но фактически подчиненной раздаточной конторе. Кажущийся перевес кустаря над «фабрикой» (точнее мануфактурой), в свое время озадачивший «легального марксиста» Туган-Барановского, только подтверждает учение Маркса и Ленина о стадиях капиталистического развития и о преимуществах крупного производства над мелким. В конце концов «победивший» кустарь капитулировал перед настоящей машинной фабрикой, превращаясь в ее бессильный придаток или становясь ее наемным рабочим.

То, что в законченной форме уже в первой половине XIX в. переживала хлопчатобумажная промышленность, начинали испытывать и другие промышленные отрасли,—успехи общественного разделения труда пробивали путь новому способу производства. Народившаяся капиталистическая промышленность требовала не только расширения кадров свободной рабочей силы (о чем говорит Покровский), но и других условий, необходимых для ее дальнейшего развития,—интенсивного накопления капитала и расширения внутреннего рынка. Преградой на этом пути стояла феодально-крепостническая система,—ее крушение рано или поздно было неизбежно. Но следует ли отсюда, что капитал промышленный, как утверждает Покровский, должен был вступить в единоборство с капиталом торговым, и что борьба этих «антагонистических» форм капитала—и в области экономики и в сфере политики—составила главное содержание нашей истории в первой половине XIX в.? Принять такую теорию—значит принять пресловутую концепцию «торгового капитализма», согласиться, что «по русской земле ходил торговый капитал в Мономаховой шапке», другими словами, отказаться от ленинского учения о феодальной базе самодержавия, о господствующей роли класса землевладельцев в системе феодально-крепостнических отношений. Сам Покровский, выдвигая концепцию «торгового капитализма», повторяя на разные лады мысль о борьбе промышленного и торгового капитала, не подтвердил этот тезис никакими конкретными данными. В его первых работах по истории XIX в. (вплоть до 1914 г.) о подобной борьбе не было и речи,—самодержавие выступало в роли дворянской власти, буржуазия боролась и блокировалась с землевладельцами. Развитие теории «торгового капитализма»—сначала неуверенное в «Очерке истории русской культуры», потом решительное и даже задорное в «Русской истории в самом сжатом очерке» и в лекциях по истории революционного движения,—ничего не изменило в конкретном содержании исторической картины—все персонажи остались на своих местах, изменились только названия: самодержавие стало именоваться воплощением торгового капитала, а дворянство—его агентурою. После изобретения этой абстрактной схемы Покровский постарался подогнать под нее реальные события и отношения. Немудрено, что в его конкретных характеристиках, данных после 1914 г., реальный торговый капитал совершенно отсутствует. Напрасно мы будем искать конкретных носителей этой могущественной

силы—живых исторических деятелей, которые действуют, борются, управляют, воплощая в себе ее интересы. Торговый капитал для первой половины XIX в. оказывается у Покровского отвлеченной фикцией, которая безнадежно путает ранее установленные связи. Если дворянство—агентура торгового капитала, то как объяснить борьбу крупного (не буржуазного) дворянства с самодержавием, этим воплощением торгового капитала? Если торговый капитал в начале XIX в. являлся реакционной силой, то как объяснить прогрессивный характер помещичьего предпринимательства, в котором была заинтересована вся масса среднего дворянства? и т. д. и т. д.

В действительности дворянское сословие оставалось, как и раньше, социальной базой самодержавия. Попрежнему господствующее дворянство преследовало свои самостоятельные классовые интересы. Купеческий капитал жил и развивался благодаря росту внешней и внутренней торговли. Несмотря на косность российской буржуазии, она не была отпетой реакционной силой: купечество было кровно заинтересовано в дальнейшем развитии товарно-денежных отношений, в изживании натурального хозяйства, но оно было лишено всяких политических прав, занимало подчиненное общественное положение и нередко сталкивалось с дворянством на экономической почве. Споры, которые велись между дворянством и купечеством в екатерининской комиссии 1767 г., время от времени возрождались в записках и проектах: записка анонимного купца, которую цитирует Покровский, носит на себе печать сословной оппозиции, направленной против правящего класса. Наконец, между купеческим и промышленным капиталом не было и не могло быть глубокого социального антагонизма: промышленный капитал вырастал из купеческого, нередко сращивался с ним, вступал с ним в деловые сделки и соглашения. Если купеческий капитал был заинтересован в развитии промышленности, то мануфактуристы и фабриканты были заинтересованы в сбыте своих товаров. Конечно, это не исключало между ними известных противоречий и взаимных столкновений (например в вопросах таможенной политики), но это были не классовые расхождения, а групповые споры в пределах одного и того же класса—класса торгово-промышленной буржуазии.

III. КЛАССОВАЯ БОРЬБА

Противопоставляя промышленный капитал капиталу торговому и делая их взаимную борьбу основным «стержнем истории», Покровский забывал главного антагониста феодально-крепостнической системы—угнетенные массы *крепостного крестьянства.* Правда, то здесь, то там—при описании политики Павла I или в связи с предпосылками крестьянской реформы—у него встречаются упоминания о крестьянских волнениях, но это волнующееся крестьянство не выступает у него в качестве активного субъекта истории. Оно остается скрытым за кулисами исторического процесса как некая угрожающая сила, воз-

действующая на психику тех, кто творит внутреннюю политику империи. Мы не видим на страницах Покровского непрерывной и упорной борьбы, которую на протяжении всей первой половины XIX в. вело крепостное крестьянство против класса помещиков, не находим детального анализа этой борьбы—ее причин, целей, приемов и результатов, ничего не узнаем о всестороннем влиянии, которое она оказывала на политику самодержавия и социальную позицию дворянства.[1] Вот почему картина разложения феодально-крепостнической системы получает у Покровского односторонний механистический характер: существующий строй подтачивается у него закономерными экономическими процессами, но мы не видим, чтобы он расшатывался периодическими крестьянскими восстаниями—стихийными и разрозненными, обреченными на поражения, но сыгравшими крупную историческую роль в крушении всей системы.

Переходный период 1801—1856 гг., на ряду с текущей непрекращающейся борьбой в барских имениях, знает целую полосу массовых взрывов крестьянского революционного движения: первый из них последовал за окончанием Отечественной войны, растянулся на целое пятилетие и нашел бурное завершение в донских волнениях 1820 г.; второй вспыхнул на Украине в 1826 г., непосредственно после восстания декабристов и под его косвенным влиянием; третий падает на холерные годы—1830-й и 1831-й; четвертый охватил Поволжье во время пожарной эпидемии 1839 г.; пятый был отголоском европейской революции 1848 г.; последний разразился в 1854/55 г. в связи с Севастопольской кампанией. Поводы к этим волнениям были разнообразны, но их причины и задачи оставались одни и те же. Шеф жандармов Николая I Бенкендорф довольно точно выразил основную тенденцию их развития. «Простой народ,—писал он,—ныне не тот, что был за 25 лет перед сим... Весь дух народа направлен к одной цели, к освобождению... Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян же...»[2].

Движение не только нарастало количественно, оно изменялось качественно: лозунг освобождения от крепостного гнета начинал доминировать над всеми частными варьирующимися требованиями. Изменившиеся условия крепостной деревни неотвратимо толкали крестьянство на усиление борьбы,—этот факт вытекал из всей создавшейся обстановки, из распада феодально-крепостнической системы. С одной стороны, чрезмерное увеличение барщины отражалось на собственном

---

[1] Покровский впервые заговорил о крестьянстве как активном двигателе исторического процесса в своей статье «Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х годов» («Историк-марксист», 1928, т. X), но эта статья относится уже к периоду разработки реформы 1861 г.; никакого методологического влияния на пересмотр всей концепции в целом эта новая точка зрения не оказала.

[2] Крестьянское движение 1827—1869 гг. Изд. Центрархива, I, 31.

хозяйстве крестьян, подрывая его силу и платежеспособность. Крестьянину все труднее было справляться с уплатою податей и поддержанием живого и мертвого инвентаря, особенно в повторяющиеся неурожайные годы. Крестьяне черноземного центра все больше беднели и разорялись, проникаясь чувством отчаяния и ненависти к помещикам. С другой стороны, открепление крестьян от земли, уничтожение их самостоятельного хозяйства разрушало привычные устои крестьянской жизни, вызывало бурную реакцию со стороны земледельца, стремившегося отстоять свое положение как непосредственного производителя. Наконец, развитие оброчных отношений частично подрывало режим внеэкономического принуждения, воспитывало в крестьянах чувство личной самостоятельности и делало крепостное право труднее переносимым. Общий процесс развития товарно-денежного хозяйства усиливал и обострял эти явления: рынок вторгался в спокойное течение крестьянской жизни, порождал хроническую денежную нужду крестьянина, толкал неимущих к полному разорению и вместе с тем обогащал немногих, открывая заманчивые перспективы самостоятельного успешного хозяйствования—без барщины и оброка, без власти и назойливого вмешательства помещика. Старая патриархальная психика крестьянина ломалась и уступала место новому мироощущению, характерному для складывающегося буржуазного общества. На усиление барщины, на экспроприацию земли, на унижение личности крестьянство отвечало бурными вспышками, которые охватывали сразу по нескольку губерний.

Правда, крестьянское движение сохраняло свои прежние недостатки—оно страдало монархическими иллюзиями, неорганизованностью, локальностью, неспособностью слиться в единый и мощный поток, низвергающий власть помещиков. При отсутствии пролетариата как класса-гегемона оно не могло одержать окончательной победы. И тем не менее оно становилось все более опасным: моментами оно смыкалось со стихийными движениями крепостных рабочих и заражало революционным духом царскую армию. Волнения помещичьих и государственных крестьян начинают перемежаться с волнениями посессионных мастеровых, военных поселян, армейских полков, матросских команд. Социальная почва, на которой держалась феодальная власть, становилась все менее и менее надежной. Каждому проницательному современнику становилось ясно, что существующая социально-политическая система переживает затяжной и все более обостряющийся кризис. Ощущение близости катастрофы с наибольшею силою проявилось после севастопольского поражения: создалась революционная ситуация, которая вынудила дворянское правительство приступить к реформе. Этого грозного кризиса, растянувшегося на десятки лет, мы напрасно будем искать в изложении Покровского. Даже в тех случаях, когда Покровский уделяет больше внимания крестьянскому движению, он склонен скептически относиться к преувеличенным страхам правительства: опасение «пугачевщины», которое заста-

вило Александра II поставить на очередь крестьянскую реформу, скоро сменилось, по Покровскому, более «трезвым» отношением к фактам, «сознанием того, что революционность крестьянской массы была значительно переоценена». «Крестьянство оказывалось гораздо благонамереннее, чем от него ожидали»[1].

Насколько мало внимания уделял Покровский этим массовым движениям угнетенных классов, показывает яркий пример ликвидации посессионных предприятий. Покровский специально останавливается на этом вопросе, приводит известное заявление фабрикантов Хлебниковых о невыгодности принудительного труда, излагает содержание закона о праве посессионных владельцев освобождать своих рабочих, сообщает практические результаты реализации этого права, но ни словом не упоминает об упорных волнениях самих посессионных рабочих, которые десятками лет добивались своего освобождения. Ликвидация принудительного труда в промышленности оказывается результатом мирного эволюционного процесса, инициативы самих предпринимателей, мудрого содействия власти. Классовая борьба элиминирована, взамен диалектического раскрытия сталкивающихся противоречий дается механическое объяснение крупного общественного явления[2]. Конечно, подобная постановка вопроса о разложении феодально-крепостнической системы резко расходится с методологическими установками классиков марксизма.

Принципиально Покровский понимает необходимость раскрытия классовой борьбы, но он видит эту борьбу не там, где она была в действительности. Анализируя политические события 1801—1856 гг., он сосредоточивает все внимание на *фракционных группировках в недрах господствующего класса:* перед нами выступают, с одной стороны, аристократическая группа крупных землевладельцев («феодальная знать»), с другой стороны—масса средних хозяйствующих помещиков. Противоречия интересов этих дворянских прослоек объясняют Покровскому колебания правительственной политики и составляют для него ключ к пониманию событий. Такое суммарное и чисто внешнее противопоставление разных групп дворянства по размерам их землевладения не стоит ни в какой связи с кризисом феодально-крепостнической системы и очень мало помогает действительному пониманию явлений. Вот почему, исходя из данных предпосылок, Покровский оказывается в резком противоречии с историческими фактами и не в состоянии последовательно проводить даже собственную точку зрения.

«Феодальная знать» наделена у Покровского определенными социально-политическими признаками: это—крупные помещики, не ведущие собственного хозяйства, а предпочитающие держать крестьян на

---

[1] М. Н. Покровский. Крестьянская реформа. «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, III, 115—116.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 23—25.

оброке. Они живут в столице, занимают командующие посты на военной и гражданской службе, близки ко двору и, как правило, руководят политикой правительства. В силу своего социально-экономического положения они заинтересованы в сохранении существующего порядка и если вступают с ним в политическую борьбу, то исходят из традиций феодального прошлого. В общем эта реакционная общественная сила, которая стоит на страже феодально-крепостнической системы и является преградой всякому социальному и политическому прогрессу. Кто же попадает у Покровского в эту аристократическую группировку? Самые разнообразные, не похожие друг на друга дворянские прослойки: при Павле—заговорщики 11 марта, которые борются против крайностей произвола, при Александре—«молодые друзья», которые хотят умеренной социально-политической реформы, при Николае—столпы правительственной реакции. Исходя из определения Покровского, мы должны отнести в рубрику «знати» и сторонников умеренного прогресса вроде Мордвинова, Воронцовых, Киселева и носителей самой оголтелой и черной реакции вроде Шишкова, Алексея Орлова, Клейнмихеля. В своих ранних высказываниях о декабристах Покровский протягивает даже нить от феодальной фрондирующей знати к членам тайного революционного общества—к этим «дворянам, обиженным самодержавием». Остается необъяснимым, почему одна и та же группировка при Павле старается обуздать неограниченный произвол самодержца, при Александре составляет проекты конституции и выдвигает из своей среды революционного Мамонова, а при Николае противится всякому, даже незначительному, движению вперед? Здесь не помогает даже всеобъясняющий хлебный экспорт: крупные оброчники не заинтересованы в сбыте собственных продуктов и должны быть равнодушны к колебаниям цен на рожь и пшеницу. С другой стороны, неясно, почему же реакционный поход против прогрессивных попыток Александра I начинают не реакционные крупные землевладельцы, а среднее дворянство в лице его лидера Карамзина? Почему реакционный режим аракчеевщины возбуждает особенное негодование в среде реакционнейшей знати? Почему Николай I очень часто не доверяет крупному дворянству и противопоставляет ему покорный и безличный аппарат бюрократии?

«Феодальной знати» противостоит «масса средних помещиков», преимущественно провинциальных: они живут в своих имениях, ведут собственное хозяйство, эксплоатируют крестьян посредством барщины и сбывают хлебную продукцию на рынок. Среднее дворянство чутко реагирует на движение хлебных цен и в зависимости от них меняет социально-политическую позицию. Эта группа помещиков прогрессивна, поскольку воплощает в себе буржуазно-предпринимательские тенденции, но в начале царствования Александра I она настроена консервативно: ей нужна барщина и, следовательно, сильная центральная власть. Впоследствии, по мере роста хлебного экспорта, она проникается мыслью о непроизводительности барщинного труда и

выдвигает из своей среды сторонников преобразования, которые солидаризируются с промышленной буржуазией. Аграрный кризис 20-х—40-х годов отбрасывает ее назад («зажатому в тиски аграрным кризисом помещику было не до политики»[1]), а подъем хлебного вывоза с конца 40-х годов возвращает ее на прогрессивные социальные позиции.

И здесь мы имеем суммарную, и вдобавок вульгаризированную, характеристику. «Средние помещики»—крайне растяжимое понятие: оно охватывает и верноподданных крепостников, идущих за Карамзиным, и боевых революционеров, составляющих заговор против власти. Из этой социальной среды одновременно выходят политические доносы и конституционные проекты, призывы к уничтожению рабства и вопли в защиту барщины. Большинство средних помещиков остается неподвижным и косным, а их верхняя культурная прослойка исповедует самые различные взгляды, никак не поддающиеся воздействию «хлебного экспорта»: разгром восстания декабристов не уничтожил либерального течения, которое продолжало жить в дворянских кружках и неоформившихся группах. В свою очередь подъем хлебных цен в 40-х—50-х годах не устранил поклонников «официальной народности» и охранителей домашнего порядка и спокойствия. Если принять характеристику Покровского, то как объяснить кружок молодого Герцена, вышедший из среднепомещичьих кругов? Как объяснить борьбу западников и славянофилов, которая находила отзвук в дворянской провинции? Как понять разгул крепостнической реакции (не только правительственной, но и дворянской, общественной) под впечатлением европейской революции 1848/49 г.?..

Подобные вопросы не разрешимы с точки зрения Покровского, так как его концепция «классовой борьбы» исходит из неверных методологических установок. Нужно помнить, что первая половина XIX в. была периодом кризиса феодально-крепостнической системы. Новые буржуазные отношения вторгались в дворянское поместье, нередко превращали наследственного дворянина в торговца и мануфактуриста, толкали его на дорогу рациональной техники и свободного договора, подтачивали прежнюю сословную замкнутость, вовлекали дворянство в водоворот новых буржуазных идей. Этот сложный и долгий процесс, в зависимости от местных условий и меняющейся конъюнктуры, совершался далеко неравномерно. Окружающая хозяйственная обстановка заставляла многих критичнее отнестись к феодальным институтам. Все больше выяснялась экономическая невыгодность барщинного труда. Все меньше продуктов давали выпаханные поля при низком уровне рутинной техники. Повторяющиеся неурожаи лишали помещиков привычных доходов и требовали от них экстренных трат на прокормление голодающих крепостных. Попытки ввести рациональную европейскую технику оказывались убыточными

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 40.

при господстве крепостных отношений. Развитие денежного оборота расширяло потребности и расходный бюджет помещиков. Их задолженность росла с каждым годом и при наблюдающемся упадке крестьянского хозяйства грозила вырасти еще больше. К отрицательным явлениям экономической жизни присоединялось впечатление хронически бунтующей деревни, ожидание нового, повсеместного страшного взрыва. Помещикам, которые сильнее были втянуты в рыночные отношения, становилась ясной необходимость ликвидации крепостного режима. Сохраняя единство землевладельческого фронта перед лицом нарастающего крестьянского движения, дворянство начинало расслаиваться по своим хозяйственным интересам и социально-политическим взглядам: огромное большинство цеплялось за старую барщину и за власть самодержавия, но выделялось прогрессивное меньшинство, которое—в собственных классовых интересах—понимало необходимость европеизации России и проведения социально-политической реформы.

Если мы хотим подвести экономическую базу под основные дворянские группировки, то должны искать определяющий признак не в размерах помещичьего землевладения (крупные, средние, мелкие помещики), а в меняющейся структуре помещичьего хозяйства, в постепенном переходе от феодальной вотчины к юнкерскому имению. Такое превращение,—начавшееся, но далеко не закончившееся,—имело место не только на землях средних помещиков, но и на землях крупных собственников.

Одна из несомненных ошибок Покровского и его «школы»—отрицание самостоятельного хозяйства у так называемой «феодальной знати». Достаточно ознакомиться с агрономическими опытами Апраксина, Румянцева, Полторацкого, посмотреть хозяйственную переписку между Растопчиным и Цициановым, проследить деятельность дворянских экономических обществ (особенно Московского общества сельского хозяйства), чтобы увидеть фактическую необоснованность подобного вывода. Крупные землевладельцы, обладавшие большим капиталом, чаще выступали пионерами новых агрономических начинаний, смелее и увереннее пытались перейти на дорогу отмены внеэкономического принуждения. Даже в тех случаях, когда феодальные магнаты не вели собственного хозяйства, они могли выдвигать экономические проекты прогрессивного направления. Яркий пример представляют собой «молодые друзья» Александра I, которые в Негласном комитете 1801—1803 гг. высказывались за постепенное уничтожение крепостного права. Напрасно Покровский зачисляет эту правящую крупновладельческую группу в разряд «феодальных реакционеров»: и в экономических и в социально-политических вопросах она стояла на умеренно прогрессивной позиции, исходила из идеала английских капиталистических отношений и английского конституционного строя и в этом отношении отчетливо отмежевывается от последовательных крепостников—сторонников барщины и патриархального самодержавия.

Программа реформ, выдвинутая Строгановым и Чарторыйским, своей внутренней противоречивостью очень характерна для феодальных помещиков, затронутых буржуазными отношениями. Подобная двойственность неразрывно связана со всяким дворянским либерализмом, она вытекает из существа землевладельческих интересов и неизменно сопутствует всем дворянским реформам. Закон 1803 г. о вольных хлебопашцах, предложенный представителем «феодальной знати» графом С. П. Румянцевым, тоже типичный образчик подобной двойственности: Румянцев хотел ликвидировать крепостнические отношения, но ликвидировать постепенно и безболезненно, по инициативе самого дворянства и с соблюдением его экономических интересов. Борьба, вспыхнувшая вокруг этого закона, показывает, что по крестьянскому вопросу дворянство расслаивалось в зависимости не от размеров землевладения, а от давления новых буржуазных отношений. Нельзя ставить знак равенства между заговорщиками 11 марта, которые не шли дальше устранения личности ненавистного самодержца, и принципиальными сторонниками реформ, хотя бы и непоследовательно проводившихся в жизнь. Умеренные аболиционисты из среды крупного дворянства выступали и позже—таковы инициаторы неосуществившегося общества по обсуждению проектов освобождения крестьян в 1820 г., таковы Воронцовы и Киселев при Николае I.

Расслоение наблюдалось и в рядах среднего дворянства: и тут были различные типы дворянского хозяйства, начиная с традиционно барщинного и кончая прогрессивно-новаторскими (типа Шелехова). И здесь, с одной стороны, рождались проекты уничтожения крепостничества (при Александре—Якушкина, Пассека, при Николае—тульских помещиков 1844—1847 гг.), с другой стороны мобилизовались силы против всяких нововведений (записка Карамзина при Александре I, записка Норова против указа 1847 г. при Николае I).

Экономические сдвиги, совершавшиеся в деревне, питали постоянное брожение социально-политических идей, составляя базу таких явлений, как кружок молодого Герцена или борьба западников и славянофилов. При этом «крупные» и «средние» помещики—независимо от размеров землевладения и степени родовитости—группировались вокруг одного и того же знамени, крепостнического или буржуазного. Карамзин был идеологом всех крепостников—крупных, средних и мелких; Искандером в средине 50-х годов зачитывались все прогрессисты, не исключая иных сановных бюрократов.

Борьба этих основных группировок в рядах землевладельческого дворянства проходит через всю первую половину XIX в., и никакие колебания «хлебного экспорта» (даже в том случае, если бы они были реальным фактом) не могли уничтожить эту непрекращавшуюся фракционную борьбу: чем больше нарастал кризис существующей системы, тем острее и настоятельнее выдвигалась основная проблема: что произойдет—дворянская реформа или крестьянская революция, мирное преобразование по «прусскому пути», с сохранением хозяй-

ственного и политического господства землевладельцев, или насильственное уничтожение всех феодальных институтов, быстрое капиталистическое развитие по «американскому пути»? Прогрессивное дворянство, за исключением отдельных революционеров типа колебавшегося Герцена, страшилось перспективы крестьянской революции, стремилось избежать грозящего потрясения. Тем настойчивее и упорнее оно вступало в споры с заядлыми и косными крепостниками, которые, по мнению прогрессивного дворянства, вели дворянское государство на край пропасти. В последнем, законченном варианте своей концепции Покровский рассматривает противников самодержавия и крепостничества как идеологов промышленного капитала. Поскольку речь идет о прогрессивном слое дворянства, эта характеристика безусловно неверна: как бы ни сближались между собой требования аграрной и промышленной фракции буржуазии, первая имела свои особенности, коренившиеся в ее социально-экономическом положении. Анализируя классовую борьбу первой половины XIX в., мы должны помнить ленинское учение о двух путях аграрно-капиталистического развития: антитеза «Кавелин—Чернышевский», характеризующая положение вещей в период реформы 1861 г.[1], была подготовлена всем процессом предшествующего развития. Если Чернышевский имел своим предшественником Белинского, то «освободительная программа» Кавелина имела зачатки в разнообразных записках и проектах—С. П. Румянцева, Н. И. Тургенева, А. П. Заблоцкого, А. И. Кошелева и др. Определенные слои дворянства превращались в аграрную буржуазию. Они стремились перейти к капиталистическому способу производства, но хотели сохранить при этом свою феодальную собственность и традиционную власть. Именно эти слои составили основные кадры сторонников «крестьянской реформы». Моментами Покровский приближается к пониманию этого факта, но он игнорировал ленинское учение о двух путях развития и сбился на вульгарное, ошибочное противопоставление капитала промышленного капиталу торговому, крупной феодальной знати массе средних помещиков.

Какую роль в развертывающейся борьбе играла молодая *промышленная буржуазия?* Недостаточно окрепшая, поддерживаемая протекционной политикой правительства, малообразованная, она была неспособна осознать свои классовые интересы с широкой и всесторонней точки зрения. Но если ее отдельные передовые представители и разбирались в окружающей обстановке, они оставались очень далеки от революционной точки зрения. Русская промышленная буржуазия поздно выходила на историческую арену, «умудренная» опытом западноевропейских событий. Исход европейских революций, разлив социалистических идей, постепенное нарастание пролетарского движения—все это предопределяло консервативную позицию русской промышленной буржуазии. Какие документы характеризуют ее полити-

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 96.

ческие взгляды в этот период? Отдельные заявления вроде записки купца Свешникова, отдельные проявления солидарности с оппозиционным лагерем и куцая программа сословно-экономических реформ—вот все, что мы имеем в первой половине XIX в. Промышленная буржуазия хотела уничтожения крепостного права и в этом отношении занимала позицию, близкую к прогрессивному дворянству: в конце 50-х годов «Экономический указатель» Вернадского подвел итоги ее размышлениям на эту тему. Но буржуазия оказалась неспособной развернуть самостоятельную и продуманную программу ликвидации феодально-крепостнического строя. Приписывать промышленному капиталу первой половины XIX в. какие бы то ни было революционные стремления—значит впадать в большую историческую ошибку. Единственные революционные имена, которые может назвать Покровский,—это имена Радищева и декабристов, типичных дворянских революционеров, очень слабо связанных с промышленными кругами. Правда, у Покровского есть еще одно имя, которое воплощает в его глазах революционную буржуазию начала XIX в. Это—имя поповича Сперанского, автора неосуществленного конституционного проекта 1809 г.[1] Но анализ конституции Сперанского лишний раз доказывает всю ошибочность концепции Покровского.

В своем принципиальном введении Сперанский действительно исходит из буржуазной идеологии. Опираясь на доводы французской просветительной литературы, он дает определенное толкование хода исторического процесса на Западе и в России—от феодализма через самодержавие к политической свободе. Но этот «буржуазный революционер»[2] больше всего боится революций («превращений») и заклинает правительство не препятствовать закономерному развитию жизни, предупредить насильственные перевороты своевременной разумной реформой. Логически и ясно он чертит абрис такой реформы: под его пером Россия превращается в конституционное государство, наделяется стройной системой выборных учреждений—законодательных, исполнительных и судебных, увенчивается государственной думой как верховным воплощением народной воли. Но за этим блестящим конституционным фасадом Сперанский сохраняет старые знакомые институты: сословную иерархию, социальные и политические привилегии дворянства, феодальную зависимость крестьянина от землевладельца и чрезвычайно широкую, почти неограниченную власть императора. Только императору принадлежат права—законодательной инициативы, решения вопроса о войне и мире, издания уставов и учреждений. Государственный совет, представляющий совещательный орган при особе императора, состоит из лиц, назначенных по его выбору, и соединяет

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 164; Декабристы, 11; Сперанский. Энц. сл. бр. Гранат, т. 41, ч. IV; Русская история с древнейших времен, III, 174 и сл.

[2] Выражение Покровского («Русская история в самом сжатом очерке», 113).

в себе все нити законодательства, администрации и суда. Но особенно важно, что активного избирательного права по проекту Сперанского лишаются не только ремесленники, рабочие, домашние слуги, помещичьи крестьяне, но и все обладатели движимого капитала: государственная дума избирается четырехстепенным голосованием, причем основой этого вотума служат голоса обладателей недвижимой собственности, живущих в пределах волости. Собственникам капитала, т. е. промышленной и торговой буржуазии, принадлежит только «право представления», т. е. право быть избранным в депутаты думы [1]. Можно ли считать такую конституцию последовательным буржуазным документом, выражением интересов промышленного капитала?.. Перед нами—типичная попытка дворянского самодержавия руками «гениального секретаря» [2] Александра I подновить шатающееся здание империи. Но приспособляя его к «духу времени», правительство оставляло неприкосновенным социальное и политическое господство землевладельцев и сохраняло решающее влияние за властью императора. Рукою Сперанского двигала не промышленная буржуазия, а более прогрессивные слои дворянства, находившиеся под сильным впечатлением только что пережитого военного и политического разгрома. Прусские реформы Штейна—Гарденберга и российский проект Сперанского совпадают не только хронологически, но и по существу—по движущим мотивам реформаторов и по своему основному принципиальному направлению.

Дифференциация общественных течений осложнялась еще одним моментом, который мало учитывал Покровский,—формированием более демократической разночинной среды в связи с развитием промышленного капитализма и ростом городской жизни. Идеологическое сближение представителей прогрессивного дворянства и демократических разночинцев очень характерно для слабо дифференцированного общества 30-х—40-х годов; именно таковы кружки Критских, Сунгурова, петрашевцев, таково отчасти левое крыло западничества. Покровский почти не говорит об этих явлениях. Напрасно мы будем искать на страницах его исторических курсов анализа мировоззрения молодого Герцена, просветительной роли Белинского, борьбы западничества и славянофильства. Эти крупнейшие факты, ярко вскрывающие кризис феодально-крепостнической системы, не раз приковывали к себе внимание Ленина, который давал им сжатые характеристики и оценки. Но Покровский проходит мимо этих явлений, потому что они не умещаются в его историческую схему!

Конструируя свою теорию о взаимной борьбе промышленного и торгового капитала, Покровский не может миновать вопроса о *социальной структуре власти.* Он детально останавливается на

[1] План государственного преобразования гр. М. М. Сперанского, 1906, стр. 73—76.

[2] Выражение Покровского («Александр I». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, I, 45).

политике царизма, выясняет взаимоотношения между правительством и борющимися группировками, постоянно возвращается к вопросу—на какую социальную базу опирается самодержавие? Но он остается чуждым марксистско-ленинскому учению о социально-экономических формациях—отсюда его сбивчивые и меняющиеся объяснения, которые сплошь и рядом заводят в тупик его читателя. Это особенно чувствуется в ранних работах Покровского (1907—1913), где он дает развернутые очерки трех последовательных царствований—Павла I, Александра I и Николая I. Игнорируя ленинскую теорию о феодальной основе самодержавия, Покровский представляет себе иначе существо русского царизма: он признает не только относительную самостоятельность государственного аппарата (чего не отрицал и Ленин), но и способность правящей власти попеременно опираться то на одну, то на другую классовую группировку. Основою царской политики служит у Покровского то феодальная знать, то среднее дворянство, то промышленная буржуазия и разночинцы, то блок дворянства с буржуазией. В конце концов Покровский находит единую классовую базу самодержавия в лице торгового капитала, действующего через свою агентуру—помещиков. Однако эта теоретическая предпосылка, резко противоречащая ленинскому учению, ничего не изменяя в конкретном построении Покровского, еще больше запутывает его социально-политический анализ.

Немудрено, что при такой методологической постановке проблемы Покровский не дает отчетливых классовых характеристик внутренней и внешней политики царизма. Особенно неясен и сбивчив у Покровского образ *Павла I.* Вначале Покровский не усматривал в павловском режиме никакой внутренней последовательности: дворянский царь восстановил против себя господствующее сословие антидворянской политикой и в конце концов пал жертвой дворянской революции. Причины этого загадочного факта лежат отчасти в патологической наследственности Павла, отчасти—в противоречии между сущностью и формой самодержавной власти (дворянская власть в форме личного деспотизма). Тем не менее сумасбродная политика Павла имела определенные социальные результаты: «...помимо и даже против своей воли, «все перековеркав», Павел не мог изменить законов истории и, сделавшись врагом господствующего класса, стал воплощением надежд и чаяний классов угнетенных». Павел I был «прогрессистом, хотя и бессознательным», а его четырехлетнее правление было «грозным предостережением по адресу дворянства»[1]. Таким образом, павловский режим—результат психической болезни императора, т. е. «ненормальное явление», историческая случайность, а в результате этой исторической случайности дворянский царь превратился в царя народного. Ссылка на противоречие между сущностью и формою власти ничего

[1] «Павел Петрович». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, I, 27; «Александр I» (там же, 31).

не объясняет: неизвестно, почему же понадобилась деспотическая форма власти и в чем именно заключается указанное противоречие? Очень скоро Покровский понял ненаучный, антимарксистский характер своего объяснения и на страницах пятитомника решительно отмежевался от гипотезы «патологической наследственности». Павел I представился ему иначе,—как воплощение полицейской диктатуры, продолжавшей под впечатлением «пугачевщины» традиции Потемкина и Зубова. Однако Павел опасался не только крестьянского бунта, но и дворянского дворцового заговора, а раз так, то ему «не на кого было опереться в феодальном обществе, кроме низов, так еще недавно бунтовавших против дворянской монархии»[1]. Отсюда—«социальная демагогия» Павла, которая восстановила против него дворянство, но снискала ему симпатии «низов». В довершение всего Павел из чисто личных соображений порвал с Англией и своей сумасбродной внешней политикой нанес удар экономическим интересам дворянства. Ответом была «дворянская революция» 11 марта 1801 г., совершенная феодальной знатью. «Павел в припадке личной злобы и мстительности пошел против правящего класса и жестоко поплатился за это, потому что угнетенные классы не сумели и не смогли его поддержать»[2]. Как видим, элементы «случайности» и «народности» не исчезли; до конца Покровский рисует Павла какой-то загадочной фигурой—дворянским царем, ведущим антидворянскую, личную политику и расплачивающимся собственной жизнью за уклонение от «закономерного» пути самодержавной власти.

Ошибка Покровского заключалась в том, что он не учел колоссального влияния двух исторических явлений: французской революции 1789—1799 гг. и начавшегося кризиса феодально-крепостнической системы, ярким симптомом которого были повсеместные крестьянские волнения 1796/97 г. Оба явления находились во взаимной связи и определили собою всю внутреннюю и внешнюю политику Павла. «Павловский режим» был неудавшейся попыткой расправиться с обоими врагами—и внешним и внутренним—решительно и быстро, грубыми методами военно-полицейской диктатуры. Попытка была предпринята в интересах дворянства, но потерпела одинаково неудачу и в международном, и в национальном масштабе. Попытка интервенции во Францию закончилась военным поражением и вынужденным компромиссом с Наполеоном Бонапартом. Попытка ввести осадное положение в стране и подавить «дух революции» не только в бунтующей крепостной деревне, но и в дворянском фрондирующем салоне, уничтожила элементарные условия личной безопасности и обрушилась на голову самого дворянства. Методами голой диктатуры нельзя было спасти разлагающегося режима,—павловский режим не достиг поставлен-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 144—145; Русская история в самом сжатом очерке, 129—130.

[2] «Строго научный метод» («О веяниях времени». 1908, стр. 104).

ных целей, не оправдал себя в глазах господствующего класса. Заговор 11 марта хотя и не был «революцией», но явился предупреждением по адресу собственной, дворянской власти о необходимости избрать иные, более тонкие и успешные методы для охраны существующего порядка. К такому выводу неизбежно приводит нас изучение фактов, если мы не станем необоснованно преувеличивать так называемую «социальную демагогию» Павла.

Александр I в освещении Покровского хотя не более последователен, но все же более ясен, чем Павел I. Наученный горьким опытом недавнего заговора, Александр непрерывно лавирует между различными социальными группировками: в начале он опирается на феодальную знать; после заключения Тильзитского мира, в обстановке нарастающей дворянской оппозиции, он избирает своей опорой промышленную буржуазию и разночинцев; в преддверии войны 1812 г. он снова восстанавливает союз с крупнопоместным дворянством. В результате он обманывает всех по порядку: пользуясь рознью между крупными и средними помещиками, он отделывается от своих «молодых друзей» и не дает конституции, которой так жаждет феодальная знать. Используя рознь между промышленным и торговым капиталом, между знатью и дворянской массой, он отделывается от Сперанского и хоронит проект «буржуазной конституции» 1809 г. «Случайно» одержав победу и заняв руководящее положение в Европе, Александр правит самостоятельно, продолжая давать обещания и неисполнять их. Впрочем, Покровский сомневается, можно ли назвать период после 1812 г. реакцией: еще попрежнему давались конституции, поэтому «в чисто политической области был скорее застой, чем реакция»[1].

Несомненно, в этой характеристике Александра I удачно схвачен основной «стиль» его внутренней политики—умение лавировать и приспособляться к существующей обстановке. Но остается неясным,—во имя каких социально-политических целей и в интересах какого общественного класса развертывалась эта политика лавирования. Покровский склонен считать молодого Александра «безличностью», а его позднейшее властное положение в Европе—«случайностью». Столкновения фракционных дворянских группировок и преувеличенная роль промышленного капитала заслоняют перед читателем основные явления первой четверти XIX в. Правда, Покровский говорит о «борьбе старого порядка с новым строем» в Европе как о решающем факторе, но он не делает отсюда необходимых выводов. Он подчеркивает традиционные черты в политике Александра I, но не указывает, чем диктовалась продолжающаяся «концентрация крепостного режима». Моментами он даже спускается до узко личных объяснений и «оживление гатчинских привычек» Александра после 1812 г. объясняет его продолжительными занятиями «военными делами».

В действительности, дело обстояло иначе. Александр I был таким

---

[1] «Александр I». Энц. сл. бр. Гранат, II.

же дворянским царем, каким был и Павел I. Так же, как Павел, он чувствовал над собой давление грозных европейских событий и ощущал непрерывное сотрясение почвы в самой России. Крушение феодального строя в Западной Европе и усиливающийся кризис феодально-крепостнической системы у себя дома определяли программу его внешней и внутренней политики. Так же, как Павел, Александр I спасал положение российского дворянства, но он спасал его иначе—более тонкими и гибкими методами. Обладая широким кругозором и понимая сложность создавшейся обстановки, Александр пошел дорогой компромисса и приспособления. Но эта внешне изменчивая, зигзагообразная политика была пронизана прежней руководящей идеей борьбы с буржуазной революцией. Александр I мечтал предупредить ее своевременными реформами. В этом отношении его стремления совпадали и со взглядами умеренных представителей прогрессивного дворянства—Сперанский выражал не только свои собственные убеждения, но и заветные мысли самого императора. Правда, Александр больше разговаривал о реформах, чем действительно реформировал, больше обещал, чем выполнял обещания. Этот «республиканец в душе» держался определенного политического принципа—как можно меньше поступаться своей неограниченной властью. В результате его «преобразований» феодальные институты остались нетронутыми, а когда страшный враг оказался сломленным и «успокоенная» Европа встала под охрану Священного союза, курс на реформы можно было оставить. Последнее десятилетие царствования Александра, о каких бы «конституциях» ни велись у него беседы с Новосильцевым и Розенкампфом, было периодом самой черной дворянской реакции. Победа ослепляла и делала самоуверенным. Под покровом религиозного мистицизма и душевной подавленности самодержец твердо руководил государственным рулем в определенном классовом направлении. И у него, так же как у его отца, не было измены «выстраданным» принципам,—Александр после 11 марта 1801 г., Александр тильзитского периода и Александр, превратившийся в гегемона Европы, служили одному и тому же принципу, сначала искусно привлекая симпатии и надежды прогрессивного дворянства, потом поощряя и поддерживая представителей крепостнической реакции. Ни о какой опоре на промышленную буржуазию, тем более на слой «разночинцев» в период 1807—1811 гг. не приходится говорить: Покровский сам отказался от своей первоначальной мысли, что финансы и кредит составляли «становой хребет» конституционного проекта 1809 г. Смягчая свою классовую характеристику тильзитского периода, Покровский должен был признать, что конституцией Сперанского Александр хотел «подольститься» к дворянству. Анализ самого проекта не оставляет сомнений, в чьих интересах он был составлен. Согласиться в этом пункте с Покровским—значило бы допустить, вопреки историческим фактам и вразрез с характеристикой Ленина, что феодальная Россия уже в 1807 г. превратилась в буржуазную монархию.

Николай I представляется Покровскому такой же двойственной фигурой. «Сказочные успехи купеческого предпринимательства» (следствие континентальной блокады!) и внезапный крах предпринимательства дворянского (влияние хлебных цен!) произвели перетасовку в отношениях общественных сил. «Дворянство продолжало господствовать, сильное своей массой и исторической традицией: но историю двигало уже не оно, по крайней мере не оно одно»[1]. Николай I воплотил в своей политике этот переходный период: с одной стороны, он опирается на дворянство и осуществляет принципы полицейской диктатуры, с другой стороны, его социальной базой служит промышленная буржуазия, а его политика окрашена буржуазными тонами: император «ласкает купечество», строит железные дороги, насаждает реальное образование, ведет внешнюю политику «промышленного империализма». Социально это означало, что «крупное землевладение нашло для себя выгодным вступить в союз с буржуазией—союз, направленный по крайней мере отчасти против землевладения среднего»[2].

Конечно, народившаяся капиталистическая промышленность значительно шагнула вперед в царствование Николая I, но Покровский чересчур преувеличивает ее успехи. Говорить о «бурном» развитии индустрии в этот период нет никаких оснований. Никакого радикального перемещения общественных сил не происходило: в стране продолжало господствовать натуральное хозяйство, в экономической жизни задавал тон крупный землевладелец, промышленность развивалась только при наличии сильной правительственной поддержки.

Россия Николая I оставалась аграрной дворянской империей, а сам Николай выступал прежде всего как «рыцарь легитимизма», как хранитель феодальных традиций в Европе и у себя дома. Кризис крепостнической системы достиг при нем кульминационного пункта; барщинное хозяйство зашло в безнадежный тупик; крепостное крестьянство готово было сбросить с себя крепостное иго. Действуя как «первый дворянин империи», Николай стремился раздавить всякие проявления мятежа, но в то же время, не задевая устоев существующего порядка, частично реформировать феодальные институты.

Борьба с революцией сознавалась им как важнейшая очередная задача еще напряженнее и острее, чем Александром I. Субъективно он не хотел допускать никаких компромиссов с «духом времени», фактически он вынужден был считаться с логикой хозяйственного развития и в интересах государственных финансов поддерживать развитие отечественной промышленности. Но и в этих прогрессивных сторонах своей политики Николай оставался на традиционной феодально-дворянской позиции, стараясь поставить промышленность и торговлю на службу господствующему классу. Буржуазные мероприятия Николая I показы-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 19.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 21—22.

вают, насколько сильно было давление складывающихся капиталистических отношений; но такая политика была одинаково характерна и для Александра I и для Александра III, она нисколько не колеблет ленинского тезиса о феодальной природе царского самодержавия.

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Из всех исторических работ М. Н. Покровского его статьи, посвященные внешней политике,—наиболее конкретны и фактичны. Покровский старался неразрывно связать дипломатические и военные события каждого периода с переживавшимися страною внутренними процессами. Однако, подходя к проблеме международных отношений, Покровский оставался во власти неизжитого «экономического материализма» и грубо вульгаризировал сложную внешнеполитическую обстановку в соответствии со своей упрощенной схемой. Кроме того, он исходил из предвзятых теоретических взглядов, не имевших ничего общего с учением марксизма-ленинизма. Эти ошибки Покровского налагали определенную печать и на освещение событий и на обобщающие выводы, которые мы находим в его работах. Например, Покровский был искренне убежден, что «всякая война принижает и развращает, будя низшие инстинкты»[1], и в соответствующем духе излагал военные события, независимо от задач и мотивов сражающихся сторон. Полемизируя с буржуазными историками, он утверждал, что «несимпатичный» национализм и «симпатичный» патриотизм растут на одном корню»[2] и в таком же ироническом тоне описывал соответствующие явления исторической жизни. Понятно, почему и здесь, в вопросах внешней политики, Покровский допустил грубые методологические ошибки.

В свое время Маркс и Энгельс сосредоточенно следили за ходом международной жизни и, изучая ее на основании разнообразного материала, детально анализировали происходившие события. Царская Россия была предметом их особенного внимания в силу ее громадного реакционного влияния на европейском континенте. С точки зрения пролетариата преодоление этой мощной реакционной силы имело огромное историческое значение: только освободившись от гнета «европейского жандарма», можно было развязать общеевропейскую буржуазно-демократическую революцию и, следовательно, приблизить момент ее перерастания в революцию социалистическую. Накануне Крымской кампании Маркс писал в «Нью-Йоркской трибуне»: «...На европейском континенте существуют фактически только две силы: Россия со своим абсолютизмом и революция с демократией. Теперь революция кажется подавленной, но она живет, и ее боятся, как никогда раньше... Но если Россия овладеет Турцией, ее силы увели-

[1] «Александр I». «История России в XIX в.» Изд. бр. Гранат, I, 62—63.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 198.

чатся почти вдвое, и она окажется сильнее всей остальной Европы, вместе взятой. Такой исход дела явился бы неописуемым несчастьем для дела революции»[1].

Неудивительно, что Маркс и Энгельс уделяли такое внимание внешней политике Николая I. Они рассматривали ее конкретно, во всех опосредствованиях, учитывая традиционное тяготение России к Константинополю, анализируя взаимоотношения царской России и ее реакционных союзников, изучая экономическое соперничество, которое существовало между Россией и Англией. Но над всеми многообразными и сложными вопросами поднималась одна основная проблема: «кто победит—царская Россия или европейская революция?» Когда Ленин касался внешней политики дореформенной России, он тоже подчеркивал реакционную роль царизма как международного жандарма[2].

Как ни странно, но именно эта проблема меньше всего интересовала Покровского. Даже тогда, когда он анализирует взаимоотношения России и Польши, России и Пруссии, России и Венгрии, он переносит центр тяжести на экономическое соперничество европейских стран и с легким сердцем сбрасывает со счетов вопрос о реакционных задачах царизма, о его систематической, упорной борьбе с европейской революцией.

Основным двигателем *внешней политики Александра I* оказывается у Покровского хлебный вывоз, все тот же исторический фантом, который сталкивает между собой не только различные классы, но и различные европейские народы. Хлебный вывоз на английские рынки с конца XVIII в. превратил Российскую империю в фактического вассала Великобритании. Интересы торгового капитала и помещиков требовали союза с Англией, а, следовательно, участия в военно-экономической борьбе против ее соперницы—Франции. Павел I не понял этой глубокой хозяйственной связи и, произвольно порвав с Англией, поплатился за это собственной жизнью. Наоборот, Александр понял действительное положение вещей и, оставаясь верным английскому союзу, всю свою жизнь воевал с Францией. Был момент, когда Англия перестала выплачивать Александру военные субсидии, и он вынужден был заключить с Наполеоном невыгодный Тильзитский мир, который едва не стоил ему короны и жизни: разрыв с Англией и континентальная блокада наносили тяжелый удар торговому капиталу и классу помещиков. Однако сила экономических интересов в конце концов взяла верх—континентальная блокада была нарушена, союз с Англией возобновился, и войной 1812—1815 гг. было восстановлено нормальное положение вещей. При этом Покровский скептически относится к национально-европейской борьбе против гнета наполеоновской империи: «освобождение» из-под «ига» «угнетателя» неизменно сопровождается у него ироническими кавычками. Что касается России,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 386.
[2] В. И. Ленин. Соч., XII, 362; XIV, 112. XXIII, 314.

то, «ведя борьбу с «игом Наполеона», русское дворянство вело в сущности борьбу за свободу торговли»[1], (торговли продуктами крепостного хозяйства). Отечественная война 1812 г. изображается Покровским вульгарно-материалистически: он решительно восстает против «романтической картины народа, как один человек поднявшегося на защиту своей родины»: дворяне только болтали о своем патриотизме, крестьяне сводили счеты со своими господами, Москву сожгла полиция, «французская армия пала жертвою не народного восстания, а недостатков собственной организации,—и поскольку она не была дезорганизована (так именно было с императорской гвардией), к ней до конца не смели подойти не только партизаны, но и регулярные войска». «Все это факты слишком элементарные и слишком хорошо известные,—заключает Покровский,—чтобы о них стоило здесь распространяться»[2]. Ничего прогрессивного в войне 1812 г. Покровский не усматривает, русское отступление он считает механическим движением, возникшим от внешнего толчка, в Бородинской битве видит только поражение, а решающую роль в неудаче наполеоновского похода приписывает не живым борющимся людям, а климату, голоду и болезням.

Характерно, что международным фоном всей этой картины является экономическое соперничество Англии и Франции, причем Россия выступает исключительно в подчиненной роли английского орудия. Что касается борьбы между буржуазными и феодальными принципами, то о ней упоминается вскользь. Контрреволюционные задачи восточноевропейских монархов остаются затушеванными. Даже акт Священного союза кажется Покровскому только «пустым и звучным документом», который сам по себе лишен реакционного содержания[3].

Вся эта концепция внешней политики Александра I насквозь механистична и очень далека от исторической действительности. Стараясь связать международные и внутренние события первой четверти XIX в., Покровский просмотрел самое главное—процесс разложения феодально-крепостнической системы не только в России, но и в соседних странах Восточной Европы, он не учел колоссальной роли основного исторического явления, которое переживала в это время Европа, *борьбы двух социально-экономических систем*—вновь народившейся буржуазной и умирающей феодально-крепостнической системы. Между тем, начиная с французской буржуазной революции 1789—1793 гг., международные отношения определялись в первую очередь этим фактом. Внешняя политика Александра I не была изолированной—она продолжала контрреволюционную деятельность Екатерины II и Павла I и смыкалась с феодальной политикой отсталых восточноевропейских

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, III, 203.

[2] Там же, 198; ср. «Александр I» и «Внешняя политика России в первые десятилетия XIX в.». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, I, 62—63, 560 и пр.

[3] «Священный союз». Энц. сл. бр. Гранат, т. 37.

государств—Австрии и Пруссии. Восточная часть европейского континента уже испытывала кризис феодально-крепостнических отношений: землевладельческое дворянство Австрии, Пруссии и России во главе со своими монархами было солидарно в своей оценке французской революции и ее социально-политических завоеваний. Буржуазные влияния, которые шли с европейского Запада, были особенно опасными, потому что они падали на благодарную почву, встречали сочувственный отголосок среди преобразующегося общества. С точки зрения правящих классов нужно было предотвратить возникновение революции у себя дома, остановить социальное потрясение, восстановить нормальный порядок в Европе. Этими мотивами и были продиктованы планы интервенции Екатерины II и ее формальный договор с Англией. Павел осуществил екатерининский проект коалиционного похода, но, потерпев военное поражение, вынужден был изменить способы борьбы; его переписка с Наполеоном Бонапартом не оставляет сомнения, что он стремился, под непосредственным впечатлением переворота 18 брюмера, вступить в контрреволюционное соглашение с будущим французским самодержцем. Павел видел в Наполеоне восстановителя порядка и монархии и не ошибся. Но он не понял всей глубины социального переворота, происшедшего во Франции, и должен был рано или поздно испытать разочарование: Наполеон растоптал политические завоевания революции, но, представляя интересы крупной буржуазии, не мог посягнуть на ее социальные достижения. Феодальные институты дореволюционной Франции остались уничтоженными, и этого было достаточно, чтобы восстановить против буржуазной Франции феодальную аристократию всей Европы.

Войны с наполеоновской империей были продиктованы не только ее завоевательной политикой, но также ее опасным буржуазным влиянием. С точки зрения землевладельческого дворянства Наполеон был прежде всего «исчадием революции», похитителем «законного» королевского трона, а борьба с этим «узурпатором» должна была закончиться восстановлением нарушенного порядка, т. е. возвращением не только свергнутой династии, но и сословного строя с его феодальными привилегиями. Так мыслили себе цели войны в 1805—1807 и 1812—1815 гг. и Александр I, и его ближайшие соседи-союзники, и его приближенные. Поскольку речь идет о правящем классе, реакционные тенденции антифранцузских войн и коалиций не возбуждают никакого сомнения.

Но Наполеон восстановил против себя не только силы феодальной реакции. Представляя интересы французской крупной буржуазии, он развернул широкую агрессивную политику для овладения хозяйственной и политической гегемонией на континенте. Англия была преградой при осуществлении этого плана,—нужно было устранить эту могущественную соперницу. Александр продолжал сопротивляться и лицемерить, не выполняя условий континентальной блокады,—нужно было оккупировать Россию и превратить ее в послушного вассала напо-

леоновской империи. Правительства и народы должны были склониться перед волей завоевателя, т. е. поставить себя в полную хозяйственную и политическую зависимость от французской крупной буржуазии. Но европейские народы вовсе не хотели примириться с подобной участью. На основе растущих буржуазных отношений оформилось национально-освободительное движение против французской агрессии в защиту собственной независимости и права на свободное развитие. Вдохновителями и участниками этой борьбы выступали не только представители складывающейся буржуазии и прогрессивного дворянства, но и народные трудящиеся массы. Верным инстинктом они чувствовали, что завоевания Наполеона несут им новое порабощение и новые страдания.

Тильзитский мир 1807 г. сыграл в этом отношении роль великого возбудителя. Ленин оценивал этот момент определенным образом: «Империалистские войны Наполеона продолжались много лет, захватили целую эпоху, показали необыкновенно сложную сеть сплетающихся империалистских отношений с национально-освободительными движениями». «Тильзитский мир был величайшим унижением Германии, и в то же время поворотом к величайшему национальному подъему». «Когда Наполеон вел германские войска, чтобы душить другие народы, он их научил революционной войне. Вот как шла история»[1].

Россия вынуждена была принять условия Тильзитского мира не потому, что она потеряла английские субсидии, как утверждает Покровский: ее живая военная сила была действительно разгромлена, продолжать военные операции было невозможно,—об этом наперерыв заявляли и генералы, и приближенные Александра. Россия выходила из войны менее униженной, чем Пруссия, но фактически она должна была превратиться в вассала Наполеона и, приняв континентальную блокаду, взвалить на себя непосильное экономическое бремя. Изучая последствия тильзитских условий, мы видим, как дорого обошлась России континентальная блокада: расстройство товарного оборота и падение курса рубля дезорганизовали всю экономическую жизнь государства и больно ударили не только по дворянству и купечеству, но и по трудящимся массам. Продолжение тильзитской политики должно было привести к хозяйственному разорению страны и к ее полному политическому подчинению Франции. Вот почему условия тильзитского союза единодушно осуждались всем помещичьим классом, не исключая и его прогрессивного, буржуазно настроенного крыла. У представителей передового дворянства, сочувствовавшего французской революции, были свои основания, чтобы ненавидеть Наполеона: он представлялся им тираном, похитителем свободы, угнетателем европейских народов. И когда в 1812 г. встал вопрос о защите родины от иностранного вторжения, эти элементы дворянского общества вступили в войну с иными

[1] В. И. Ленин. Соч., XXII, 287, 377, 409. К слову «империалистских» Ленин делает подстрочное примечание: «Империализмом я называю здесь грабеж чужих стран вообще, империалистской войной—войну хищников за раздел такой добычи».

мыслями и чувствами, чем представители реакции. Воспоминания и письма декабристов достаточно ясно характеризуют этот боевой прогрессивный патриотизм, связанный с мыслью о независимости освобожденной родины,—освобожденной не только от внешнего, но и от внутреннего тирана.

То, что переживала Россия, наблюдалось также и в других государствах: в борьбе с Наполеоном под военными знаменами был заключен временный блок против общего противника между феодальными и буржуазными элементами общества. Только таким путем, превратив дело правительственной коалиции в могучее общенародное предприятие, можно было добиться победоносных результатов. Но мотивы и цели объединившихся союзников были глубоко различными: это сказалось сейчас же после одержанной победы. Феодальная аристократия, еще недавно привлекавшая прогрессивные элементы обещаниями свободы, пошла по пути реставрации и беспощадной борьбы с революцией. В лице Александра I и восточноевропейских монархов она организовала «Священный союз», который должен был стать на страже пошатнувшейся феодально-крепостнической системы. Наоборот, прогрессивное крыло дворянства и буржуазии пошло по пути тайных союзов и революционных заговоров, стараясь покончить с феодально-крепостническим строем и установить новый буржуазный правопорядок. Противоречия борьбы с Наполеоном сменились новым противоречием—гражданской борьбы внутри каждого отдельного государства. Покровский не видел этой диалектики исторических событий,—отсюда его односторонний механистический подход к войне 1812 г. и к русской внешней политике первой четверти XIX в.

В действительности дело шло не только об экспорте,—на карту было поставлено все будущее дворянской империи. Вопросы внешней политики тесно сплетались с процессом разложения феодально-крепостнической системы. Реакционному дворянству желанное будущее рисовалось укреплением традиционного строя, прогрессивным помещикам—его социально-политическим преобразованием. Изгнание интервентов и освобождение от гнета наполеоновской империи—с точки зрения каждой из борющихся прослоек—должны были привести к осуществлению желаемой цели.

Верный своей концепции, Покровский вульгарно освещает войну 1812 г.; скованный своими предвзятыми установками, он не хотел увидеть действительного национального подъема, организованного отпора, оказанного интервентам, тяжелого удара, нанесенного французской армии под Бородином. Покровский не заметил того, что было ясно Марксу и Энгельсу, когда они писали свои статьи о событиях 1812 г.,—что на войне решающей силой являются не стихии природы, и не случайные внешние обстоятельства, а живая энергия людей, которые борются, страдают и завоевывают победу [1].

[1] К. Маркс. Барклай-де-Толли; Ф. Энгельс. Бородино. Соч., XI, ч. 2-я, стр. 569—570, 631—637.

Таким образом, внешняя политика Александра I была более сложной и самостоятельной, чем это представлялось Покровскому. Рассматривать Россию как пассивное орудие Англии—глубоко неправильно. Александр одержал победу далеко не «случайно» и после 1815 г. действительно занял позицию реакционного гегемона Европы. В акте Священного союза он собственноручно начертал программу общеевропейской реакции: патриархальный союз монархов, которые, как пастыри, должны охранять безгласные и покорные народы, противопоставлялся добровольному союзу освободившихся народов, который стремилась основать французская революция. Религиозно-мистическая оболочка, в которую облекался Священный союз, особенно подчеркивала его реакционные задачи: она говорила о восстановлении авторитарных традиций, которые стремился ниспровергнуть революционный разум XVIII в., и вполне соответствовала систематическому насаждению религиозных начал, широко практиковавшихся феодальной реакцией.

Но и раньше, до низложения Наполеона, международная позиция России вовсе не исчерпывалась покорным исполнением английских требований. Об этом говорит ее восточная политика 1801—1815 гг. Стремление к Константинополю, военная оккупация дунайских княжеств, аннексия Грузии, захват черноморского и каспийского побережий Кавказа, удачная война с Персией—резко противоречили интересам и планам английской буржуазии. Напрасно Покровский,—на этот раз изменяя своему «экономизму»,—отрицает всякие материальные и торговые мотивы завоевания Кавказа [1]. Докладная записка адмирала Мордвинова, излагавшая программу предстоящих аннексий, и инструкция Ермолову об экономическом освоении этой аннексии вскрывают наличие определенных, вполне осознанных торговых интересов в черноморско-каспийском бассейне [2]. Между восточной политикой Александра I, его предшественников (в частности Екатерины II) и его ближайшего преемника не было никакого принципиального различия: перед нами все та же «традиционная политика России», как называли ее Маркс и Энгельс [3], сочетавшая в себе военно-феодальную агрессию дворянства с торговыми притязаниями растущей буржуазии.

С этой точки зрения нельзя согласиться с Покровским и в его характеристике *внешней политики Николая I*. Преувеличивая успехи промышленного капитализма во второй четверти XIX в., Покровский переоценивает буржуазные черты в дипломатической и военной истории этого периода. «Потрясающая Стамбул и Тегеран десница нужна была русскому промышленному капиталу уже в 1830 г. Русский империализм не дожидался военно-промышленных комитетов» [4]. Николай I под

---

[1] «Завоевание Кавказа». «История России в XIX в.», III, 293; «Кавказские войны». Энц. сл. бр. Гранат, т. 23.

[2] Акты Кавк. археогр. комиссии, VI, ч. 2-я, стр. 857. Записки А. П. Ермолова, прилож., стр. 145.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 436—441.

[4] «Из истории русско-германских отношений». «Внешняя политика», 102.

давлением окрепшей буржуазии,—и в отличие от Александра I,—повернул внешнюю политику на новую дорогу борьбы за рынки. «Становым хребтом» этой политики был восточный вопрос, который столкнул между собою Россию и Англию—торговых конкурентов на берегах Черного и Каспийского морей. Так думает Покровский. Экономическая борьба заслонила в его глазах все остальные мотивы международной политики. Если вначале Покровский придавал немалое значение контрреволюционным стремлениям Николая I[1], то впоследствии он стал на иную точку зрения. Он начал иронизировать над «традиционной схемой», которая подчеркивала международную роль европейского жандарма[2], стал усиленно выдвигать задачи промышленной и торговой экспансии России. По мнению Покровского, «дворянство оказалось наиболее задетым результатами внешней политики Николая»... «дворянство должно было принести эту жертву на алтарь промышленного империализма»[3]. Наоборот, буржуазия оказалась вполне удовлетворенной и, благодарная царизму за его внешние достижения, легко отказалась от своих либеральных тенденций 20-х годов. Покровский как будто забывает, что русско-турецкие войны Николая I продолжали то, что было начато Екатериной II, «аппробовано» Павлом при чтении программной записки Растопчина и стало предметом настойчивых домогательств Александра I. Аккерманская конвенция 1826 г. и Адрианопольский мир 1829 г. только подтверждали и расширяли условия Кучук-Кайнарджийского договора 1774 г. Идея раздела Турции, которая составляла основной, хотя и скрытый мотив военной агрессии Николая I, была завещана царизму «греческим проектом» XVIII в. Такая же преемственная связь соединяла персидскую кампанию 1826 г. с походами Петра и Зубова, с проектами Потемкина и Мордвинова. И там, и здесь мы видим завоевательную политику дворянства, которое использовало результаты одержанных побед в своих классовых экономических интересах.

Покровский сильно переоценивал значение хлебного экспорта, но все же это было реальная и неуклонно выраставшая величина. Помещики украинского юга были кровно заинтересованы в завоевании турецких проливов, которое обеспечивало бы им беспрепятственную дорогу в Средиземное море. Но выигрывало не только «благородное дворянство»,—выигрывал купеческий капитал, который был влиятельным посредником между помещиками и внешним рынком. Выигрывала и молодая развивающаяся промышленность, которая в условиях барщинного натурально-хозяйственного строя не могла завоевать себе широкого внутреннего сбыта. Вывоз русских товаров через азиатскую границу приобретал все большее хозяйственное значение, а в числе экспортируемых грузов были не только продукты сельского хозяйства, но и готовые изделия текстильного производ-

[1] «Крымская война». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, II.
[2] «Внешняя политика», 88, 97.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 53.

ства. Отдельные предприимчивые капиталисты—вроде московского миллионера Голубкова—уже лелеяли обширные планы систематического продвижения в Среднюю Азию, к границам Британской Индии[1]. Но это еще не дает нам права говорить о «промышленном империализме» николаевской эпохи, механически перенося хозяйственные категории XX в. в дореформенную крепостную Россию. С другой стороны, у нас нет никаких оснований говорить о столкновении интересов дворянства и промышленной буржуазии в вопросах внешней политики 30-х—50-х годов. Если дворянство терпело от перерыва экспортных операций во время военных походов Николая I (единственный аргумент Покровского!), то не меньшие потери несли представители торговли и промышленности: это были неизбежные «издержки производства», которые должны были компенсироваться выгодными результатами новых завоеваний. Покровский сам опроверг свою искусственную концепцию, когда перешел к анализу среднеазиатской политики 60-х—80-х годов: с фактами в руках он показал, как «гармонически» сочетались на территории завоеванного Туркестана военно-феодальные аппетиты российского дворянства и хищнические притязания отечественного капитала[2].

Внешняя политика Николая I была традиционною и в другом отношении: никогда с такой обнаженностью и цинизмом не проявлялась деятельность европейского жандарма, как в этот период сменяющихся революций, никогда императорская Россия не играла такой влиятельной реакционной роли, как в это время. Чем острее становился кризис феодально-крепостнической системы, тем ожесточеннее и упорнее боролся Николай I на международной арене: задерживая победоносный ход европейской революции, он спасал собственное дворянское государство. Все силы европейской реакции тянулись к могущественному русскому колоссу. Не только Австрия и Пруссия в лице своих правящих группировок, но и консервативные слои Франции и Англии «почтительно» относились к правительству Николая I: в международном влиянии царизма они усматривали гарантию против надвигающейся демократической революции в Европе. Именно так расценивали международную обстановку накануне Крымской кампании вожди пролетариата Маркс и Энгельс. В цикле статей по восточному вопросу они показали, насколько европейские правительства зависят от Николая I, насколько робка и нерешительна дипломатическая борьба против воинствующей агрессии царизма[3].

Покровский иначе расценивает международную обстановку этой эпохи. Он повторяет ту же историческую ошибку, какую он сделал раньше, при освещении событий первой четверти XIX в.,—он крайне

---

[1] Е. Н. Кушева. Среднеазиатский вопрос и русская буржуазия в 40-е годы XIX века. «Исторический сборник». Л., 1934, кн. 3.

[2] «Внешняя политика России в конце XIX века». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, т. IX, гл. VII, ч. 2-я.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX и X.

преуменьшает международную роль царской России, старается опровергнуть «легенду» о Николае как «вершителе судеб Европы», изображает русскую дипломатию покорной силой, идущей на поводу у своих союзников [1], затушевывает контрреволюционные задачи венгерского похода [2] и договаривается до парадоксального вывода: Николай I «в дело Западной Европы остерегался вмешиваться» [3].

При такой постановке вопроса Покровский не сумел сомкнуть отдельные звенья внешней политики царизма. Даже тогда, когда он улавливает реакционный характер восточной ориентации Николая I, он не в состоянии дать ей правильное, достаточно глубокое объяснение. По мнению Покровского, устремление на Царьград было продиктовано желанием самодержавия «обезоружить либеральную буржуазию удовлетворением ее экономических интересов» [4]. Не нужно прибегать к мифическому понятию «либеральной буржуазии» 30-х—50-х годов, чтобы установить действительную связь между планами завоевания Константинополя и контрреволюционными задачами царизма: эту связь давно установили и подробно проанализировали Маркс и Энгельс. Раздел Турции и захват Константинополя должны были окончательно утвердить реакционную гегемонию царизма в Западной Европе и обратно—контрреволюционная политика царизма должна была облегчить нейтрализацию соперников и обеспечить осуществление аннексионистских проектов.

Вот почему военный и политический разгром николаевской России представлялся очередной задачей с точки зрения европейской демократии. Остановить движение царской России на Балканы, разоблачить реакционную подоплеку «демократического панславизма», укрепить позиции европейских противников Николая—значило лишить царизм его командующего положения на континенте и, следовательно, устранить важнейшую силу на пути революционного движения. «Сохранение турецкой независимости или расстройство аннексионистских планов России в случае, если Оттоманская империя все же распадется, являются фактами величайшей политической важности. В этом вопросе интересы революционной демократии и Англии идут рука об руку. Ни та, ни другая не могут позволить царю сделать Константинополь одной из своих столиц, и если дело дойдет до крайности, то обе указанные силы окажут царю одинаково энергичное противодействие». Так характеризовали Маркс и Энгельс международную ситуацию в начале 50-х годов [5].

Не понимая этой связи между «экономикой» и «политикой» в

---

[1] «Крымская война». «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, 4—5.

[2] «Николай ходил в 1849 г. в Венгрию под предлогом усмирения тамошней революции, но не мог там остаться» (М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 81).

[3] Там же, стр. 92.

[4] «Внешняя политика», 23.

[5] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., IX, 386.

восточном вопросе, Покровский не в состоянии дать диалектического освещения *Восточной войны 1853—1856 гг.* Он подробно останавливается на экономических противоречиях между Англией и Россией, ему ясна материальная заинтересованность Австрии и Франции в разразившемся конфликте, он отмечает враждебное отношение европейской буржуазии к политике Николая I. Но те глубокие классовые антагонизмы, которые раздирали европейские государства и которые создали два фронта по отношению к Восточной войне 1853—1856 гг., не нашли себе освещения в работах Покровского. Не надо забывать, что европейская революционная демократия и особенно идеологи пролетариата расценивали происходящие события иначе, чем правящие классы. Для европейской буржуазии борьба с Россией (какие бы либеральные фразы ни расточали Пальмерстон, Россель и другие парламентские лидеры) сводилась к борьбе за новые колонии, за гегемонию в Европе, за утверждение своей классовой эксплоататорской власти. Они с оглядкой действовали против императорской России, боялись полного сокрушения ее реакционной силы, страшились развязать стихию европейской революции. Моментами они колебались и медлили, сознательно ограничивая масштабы военных операций и стараясь локализовать борьбу рамками восточного конфликта. Совершенно иначе рассуждала и действовала революционная демократия Европы: она стремилась превратить Восточную войну в общеевропейскую революционную «войну за принципы», поднять угнетенные национальности Венгрии, Польши, Италии, Германии и окончательно сокрушить реакционное наследство Священного союза. Тем самым расчищалась почва для грядущей социалистической революции.

Чем дальше развертывалась война с Россией, тем отчетливее становился ее действительный—ненародный и далеко нереволюционный характер. Консервативно-буржуазные тенденции, приданные войне европейскими правительствами, определили ее окончательный исход: выиграла Франция Наполеона III, завоевавшая себе гегемонию в Европе; выиграла английская буржуазия, устранившая опасного конкурента на Ближнем Востоке; выиграла австрийская монархия, восстановившая свой престиж и вернувшая себе инициативу на Балканах. «Но ни политический, ни социальный уклад Европы не поколеблен в результате войны. Все эти громадные расходы и потоки пролитой крови ничего не дали народу»[1].

Только в такой связи можно правильно понять и оценить севастопольскую оборону 1854—1855 г. Покровский подходит к ней с тем же критерием, с каким он подходил к Отечественной войне 1812 г. С фактами в руках он показывает техническую и культурную отсталость крепостнической России в ее состязании с передовыми, прекрасно оснащенными европейскими государствами. Он вскрывает неподготовленность и бездарность русского военного командования,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, 596.

плохое оборудование тыла, отталкивающие черты дореформенного административного аппарата. Читателю становится ясно, почему была разгромлена феодально-крепостническая Россия. Но за этими отрицательными сторонами дворянской империи Покровский не видит борющегося народа, не учитывает своеобразной, внутреннепротиворечивой обстановки, которая сложилась под стенами осажденного Севастополя. Мы не должны забывать, что консервативная позиция европейской буржуазии определила основное направление ее боевого удара. Союзники не ограничились изгнанием России из турецких владений, но и не пытались поднять национально-освободительное движение в Польше. Они поступили иначе—организовали интервенцию на русскую территорию и, уничтожив лучшую русскую крепость на Черном море, заставили огромную страну отказаться от законного права независимого государства—иметь в этом море необходимые средства обороны [1]. Конечно, мы должны учитывать своеобразную международную ситуацию 50-х годов, но мы имеем полное основание провести историческую аналогию между Отечественной войной 1812 г. и севастопольской обороной 1854—1855 г. Какова бы ни была внешняя и внутренняя политика царизма, вторжение врага на русскую территорию затрагивало жизненные интересы русского народа. В случае быстрого военного разгрома под Севастополем союзники получили бы полную возможность оторвать от России не только Крым, но и Кавказ,—английское правительство уже предпринимало в этом направлении определенные практические шаги. Больше того, если бы союзники не встретили активного противодействия, они могли бы двинуться во внутренние губернии России и, пользуясь технической отсталостью крепостной страны, продиктовать ей аннексионистские, хищнические условия (не забудем, что лавры Наполеона I не давали спать его агрессивному племяннику). Таким образом, в России создалось бы положение, вполне аналогичное трагическому положению Пруссии, которой в 1807 г. Наполеон I навязал грабительские условия Тильзитского мира. Борьбу пруссаков с Наполеоном I Ленин рассматривал как национально-освободительное движение, как борьбу угнетенного народа за независимость и право самостоятельного развития [2]. Интервенция англо-французской буржуазии на территорию Крымского полуострова не могла не вызвать подобного же отпора. Так же как в 1611—1613 гг. и 1812 г., интервенция пробудила на борьбу русский народ, и он, несмотря на гнет крепостничества и деспотизм самодержавия, вопреки бездарному командованию и прогнившей системе управления, сумел проявить чудеса храбрости и самоотверженного героизма. Маркс и Энгельс не раз отмечали в своих военных обзорах

[1] Как известно, Парижский трактат 1856 г. лишил Россию права иметь на Черном море военные суда и строить на его берегах военно-морские арсеналы.

[2] В. И. Ленин. Соч., XXII, 287, 301—303, 309—310, 377—378, 400—401, 408—409.

упорство, храбрость и выносливость русских солдат, проявленные во время Севастопольской кампании, несмотря на отупляющую систему феодального военного обучения[1]. Десятки тысяч крепостных крестьян в различных губерниях одновременно и стихийно поднялись с одним и тем же требованием—записать их в военное ополчение и освободить от помещичьего гнета. Правда, настроение прогрессивной интеллигенции было менее цельным и единодушным. «Когда враги появились под Севастополем,—вспоминает историк Соловьев,—мы находились в тяжком положении: с одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России; с другой стороны, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могли произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение... Мы терзались известиями о неудачах, зная, что известия противоположные приводили бы нас в трепет»[2]. О наличии пораженческих настроений свидетельствуют записки Кошелева, высказывания Чернышевского и Добролюбова. Но мы не должны преувеличивать это явление—у нас есть другие, не менее авторитетные документы, в том числе «Севастопольские письма» Пирогова и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, проникнутые противоположными чувствами—восхищением перед героизмом солдат и их стремлением отстоять свою землю.

Одиннадцатимесячная оборона Севастополя была проявлением народной самодеятельности, мужества и самопожертвования в противовес рутине, дезорганизации, казнокрадству, которые воплощала в себе официальная николаевская Россия. Но одержать победу над силами союзников было безнадежно: слишком далеко зашло разложение феодально-крепостнической системы, слишком отстала и слаба была дореформенная Россия. Самое большее, что можно было сделать,—это задержать развивавшуюся агрессию союзников и предупредить возможность грабительского договора. Эту очевидную истину поняли лучшие, наиболее проницательные люди страны. Около севастопольских редутов, под огнем союзнической бомбардировки родилось то общественное движение, которое привело к революционной ситуации конца 50-х годов, к частичной европеизации России и к созданию социально-экономических предпосылок для возникновения пролетарской борьбы.

Покровский не заметил этой скрытой диалектики Севастопольской кампании. Исходя из установок «экономического материализма» и скованный абстрактно понятой идеей пораженчества, он не разобрался в конкретной обстановке исключительно сложного исторического момента.

V. ИТОГИ

Подведем итоги: как же разрешена Покровским проблема разложения феодально-крепостнической системы?

Прежде всего мы должны установить механистический характер

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., X, 178, 192, 650 и др.
[2] Записки С. М. Соловьева. Изд. «Прометей», 150.

его концепции. Покровский подробно останавливается на экономической базе совершающегося процесса, но хозяйственные изменения происходят у него автоматически, независимо от нарастающей борьбы между классом эксплоатируемым—крестьянством, и классом эксплоататоров — помещиками. При этом оба основных процесса—преобразование сельскохозяйственной экономики и развитие капиталистической промышленности—совершаются под влиянием чисто внешних толчков: в сельском хозяйстве—под давлением хлебного экспорта и связанной с ним эволюции цен, в промышленности—под воздействием континентальной блокады и сопутствующего ей устранения английских конкурентов. Но при ближайшем анализе и тот и другой факторы оказываются мнимыми: влияние хлебного экспорта крайне преувеличено, а благотворного влияния континентальная блокада никогда не имела. Хотя Покровский оговаривает наличие известной подосновы развертывающегося процесса, но он уделяет ей исключительно мало внимания: он не анализирует сложных процессов образования внутреннего рынка и закономерного перехода от ремесла к мануфактуре и от мануфактуры к фабрике. В сущности, мы не находим у Покровского конкретной картины *разложения* феодальной системы. Подробнее всего он говорит о развитии денежного хозяйства, но и здесь он не дает всестороннего представления о совершающемся процессе, оставляя в тени глубокие социально-экономические сдвиги в недрах крепостного крестьянства. Такие кардинальные факты, как насильственное закрепление крестьян от земли, фактическое и законодательное смягчение внеэкономического принуждения, преобразование сельскохозяйственной техники, не находят никакого освещения в работах Покровского. Остаются нераскрытыми и другие, не менее важные явления переходного периода: и превращение отдельных кустарей в капиталистов, и рост влияния скупщика, и распространение рассеянной (гетерогенной) мануфактуры, и введение машин со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что происходило в более крупном масштабе и более быстрыми темпами в пореформенный период, не прослежено в зародышах и в начальной стадии на конкретном материале первой половины XIX в. Мы узнаем от Покровского больше о результатах происходящего процесса, чем о самом процессе, но и эти экономические итоги показаны им неверно—в неправильном антимарксистском истолковании. Модернизируя слабо развитые отношения крепостнического прошлого, Покровский выдвигает понятие «аграрного капитализма», основанного на феодальной барщине, и «открывает» в 30-е—50-е годы такие бурные темпы индустриального развития, которые приводят к «промышленному империализму». Все эти экономические построения игнорируют марксистско-ленинское учение о смене феодальной формации крепостнической и находятся в полном противоречии с методологическими высказываниями классиков марксизма и с конкретным историческим материалом.

Ошибки экономического анализа повлекли за собой неверные

классовые характеристики. Борьбе крестьянства с помещиками, которая составляет основное существо нарастающего социального кризиса, Покровский придает очень мало значения: теоретически он видит основной стержень исторического процесса в борьбе развивающегося промышленного капитала с господствующим торговым капиталом. Конкретно он сосредоточивает все свое внимание на борьбе фракционных дворянских группировок и на борьбе с дворянством отдельных идеологов промышленного капитала. Эти слабо связанные между собою построения тоже расходятся с историческими фактами и с марксистско-ленинским учением о классовой борьбе в феодально-крепостническую эпоху: господствующий класс феодального дворянства подменивается у Покровского абстрактным понятием «торгового капитала»; главный антагонист отмирающей системы, закрепощенное крестьянство, подменивается абстрактно применяемым понятием «промышленного капитала»; фракционные дворянские группировки получают несоразмерно большое значение и определяются не по структуре хозяйства, а по внешнему признаку размеров землевладения; промышленной буржуазии приписывается преувеличенная политическая роль, причем типичный идеолог умеренно прогрессивного дворянства Сперанский попадает в «буржуазные революционеры»—выразители взглядов промышленного капитала. Наконец, очень слабо учитывается процесс формирования разночинной демократии. Исходя из неверной, антиленинской теории о структуре самодержавной власти, Покровский дает извращенные, сбивчивые характеристики правительственной политики Павла I, Александра I и Николая I: дворянская власть у него опирается то на «народные низы», то на промышленную буржуазию и разночинцев, то на блок дворянства и промышленного капитала. Во всей этой пестрой, противоречивой, нередко меняющейся картине трудно уловить главное содержание исторической жизни рассматриваемого периода—отмирание, кризис феодально-крепостнической системы, а там, где устанавливается связь между экономической базой и классовой борьбой, это не помогает научному анализу: и здесь определяющими факторами выступают прежние мнимые величины—хлебный экспорт и «бурное» развитие промышленного капитализма.

Такая же искусственная связь, в духе вульгарного экономизма, устанавливается Покровским в сложных вопросах международной политики. Те же «могущественные» двигатели—хлебный экспорт и промышленный империализм попеременно определяют собою весь ход внешнеполитической жизни: и сложную игру дипломатии, и возникновение войн, и содержание заключаемых трактатов. То основное, что выделяло крепостническую Россию в концерте европейских держав, что обеспечивало ей могущественное отрицательное влияние, что постоянно подчеркивалось классиками марксизма,—борьба с европейской революцией,—почти выпадает в изложении Покровского. Такая постановка проблемы лишает его возможности органически связать международную политику царизма с разложением феодально-крепостнической

системы. Подходя к вопросу односторонне экономически, он не в состоянии связать хозяйственные и политические задачи международной борьбы. В этом отношении особенно характерно его неправильное антимарксистское освещение Восточной войны 1853—1856 гг. Но Покровский не только отодвигает на задний план деятельность «европейского жандарма»,—он игнорирует также влияние народных движений и с легким сердцем вычеркивает из истории такие факты, как борьбу народа с интервентами в 1812 г. Народные массы, которые плохо учитывались Покровским при освещении экономических процессов, которые почти отсутствовали в его изображении классовой борьбы,—и здесь, в крупнейших массовых событиях эпохи, не играют никакой исторической роли.

Таким образом, Покровский не дал всестороннего, фактически обоснованного, марксистски выдержанного решения поставленной проблемы. Его концепция остается чуждой марксистско-ленинскому учению о формациях, основана на неправильном представлении о сущности феодально-крепостнической системы и не считается с важнейшими моментами возникновения капиталистического строя.

Покровский проявлял мало внимания к методологическим высказываниям классиков марксизма, относящимся к рассматриваемой проблеме. Стать на деле последовательным марксистом ему мешало влияние неизжитого «экономического материализма». Покровский сам сознавал этот недостаток и, повидимому, старался от него избавиться. Еще в 1916 г. в одной из своих статей, посвященных внешней политике царизма, он пытался заново перестроить свою методологию. «Нам, по правде сказать, начинают сильно надоедать упрощенно-экономические объяснения. Все чаще и чаще мы вспоминаем слова Энгельса, что экономика объясняет историю лишь *в конечном счете*»[1]. Тем не менее наследство буржуазного прошлого продолжало тяготеть над ним и в советский период: сжатый очерк и лекции по истории революционного движения воспроизвели, нередко в ухудшенной редакции, те же «упрощенно-экономические объяснения», то же пренебрежение к марксистско-ленинской диалектике.

Но Покровскому мешало не только это. В одной из своих лекций он рассказал аудитории о только что полученном письме: его читатель горько жаловался, как трудно ему понять исторические книги Покровского,—не потому, что они трудно изложены, а потому, что они «выворачивают историю наизнанку». Покровский с большим удовлетворением принял эту характеристику и увидел в ней высшую похвалу своему научному творчеству; он предупредил своих слушателей, что им и дальше придется делать «заворот мозгов»[2]. Если под этим образным выражением разуметь смелую критическую пере-

---

[1] Сборник статей «Внешняя политика», 6.

[2] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX—XX вв., 35—36.

оценку традиционных буржуазных теорий, такое отношение к историческому материалу можно только приветствовать. Но, к сожалению, Покровский был менее прав, чем его неизвестный скромный корреспондент: Покровский не только сокрушал буржуазную историографию, он производил критическую ревизию марксистско-ленинских исторических взглядов. При этом, заменяя предпосылки Маркса и Ленина собственными «оригинальными» построениями, он мало считался с конкретными фактами, втискивая их в заранее изобретенную абстрактную и неправильную схему, которая тормозила развитие советской исторической науки.

Е. МОРОХОВЕЦ

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 г. В ОСВЕЩЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

Крестьянской реформе 1861 г. М. Н. Покровский посвятил большую статью в т. III «Истории России в XIX в.», в издании бр. Гранат, вышедшем еще в 1908 г.[1], и небольшую статью в сборнике «Вперед (№ 2, 1911)[2]. Известное место реформа 19 февраля занимает, конечно, в общих работах Покровского по истории России: «Русская история с древнейших времен» (т. V первого издания, 1912). «Очерк истории русской культуры» (ч. 1-я, 1914) и «Русская история в самом сжатом очерке» (ч. 1-я и 2-я, 1920), а также в статье «Александр II» в т. II Энциклопедического словаря бр. Гранат, вышедшем в 1914 г. Слегка касается Покровский этого вопроса в «Очерках по истории революционного движения в России XIX и XX вв.» (1924); наконец, он возвращается к нему в статье «Чернышевский и крестьянское движение конца 50-х годов» («Историк-марксист», т. X, 1928). В течение 20 лет взгляды М. Н. Покровского на ряд вопросов, связанных с крестьянской реформой, значительно изменялись, что необходимо учитывать при дальнейшем изложении.

Рассмотрим последовательно, как освещались Покровским основные вопросы истории реформы 19 февраля: 1) общие экономические причины реформы, 2) политические ее предпосылки, 3) борьба классов вокруг реформы, 4) сущность реформы и ее историческое значение.

I

Основной экономической причиной реформы Покровский правильно считает развитие капитализма в первой половине XIX в. Складывавшаяся в это время капиталистическая промышленность нуждалась в «свободном» рабочем, нуждалась в резервной армии труда. «Обрабатывающая промышленность не могла существовать без резервной армии труда,—и эту армию нельзя было сформировать, не создав юридически свободного работника». «„Вольнонаемные“ рабочие в пода-

[1] Вышла отдельным изданием в 1926 г. в издательстве «Пролетарий».
[2] Вышла отдельной брошюрой в издательстве «Вперед». Париж, 1911.

вляющем большинстве были тоже крепостные люди, но крепостные не фабриканта, а помещичьи—или отданные в работу на фабрику их владельцами, или отпущенные по оброку и нанявшиеся на фабрику сами. И в том и в другом случае фабрикант оказывался в зависимости от землевладельца—и очень тягостно чувствовал эту зависимость». «Правительство пыталось помочь беде паллиативами: запрещением, например, помещикам снимать своих людей с фабрики до истечения срока найма. Но оно не могло заставить помещика отдавать в наймы или отпускать на оброк своих крепостных, когда это нужно фабриканту,—ни брать их обратно, как только они становились фабриканту не нужны. Отношения попрежнему оставались неподвижными—свободная фабрика немыслима была в крепостной деревне»[1].

В «Очерке истории русской культуры» Покровский добавляет еще одно соображение: пользование трудом оброчных крепостных повышало расходы фабриканта на заработную плату, так как «в их заработной плате заключался оброк, который они должны были платить своему барину. Косвенно фабрикант, таким образом, обязан был выплачивать помещику, под видом *заработной платы* рабочим, часть его *поземельной ренты:* вот секрет высоких заработных плат первой половины XIX столетия»[2]. Разделяемое Покровским мнение Туган-Барановского о высоких заработках промышленных рабочих во второй четверти XIX в., правда, не соответствует действительности: заработная плата падала в связи с введением машин и ростом применения женского и детского труда[3]; но все же процесс падения заработной платы замедлялся в силу того, что в заработную плату входила не только стоимость воспроизводства рабочей силы, но и та сумма, которую рабочий должен был уплачивать помещику в виде оброка.

Правильно в общем характеризуя те затруднения, которые господство крепостных отношений создавало для развития капиталистической промышленности в сфере рынка труда, Покровский упускает из вида еще одно очень существенное обстоятельство—задерживающее влияние крепостных отношений на развитие внутреннего рынка. Правда, внутренний рынок развивался; спрос на продукты промышленности повышался не только среди господствующих классов, но и среди массы крестьянского населения, в связи с тем, что товарные отношения все больше и больше проникали в деревню, все больше захватывали крестьянскую массу. По подсчетам А. Семенова, в начале 50-х годов (1851—1853) производилось промышленных изделий в среднем на 230 млн. руб. сер.; из них вывозилось только на 10 млн.,

---

[1] «История России в XIX в.». Изд. бр. Гранат, III, 70—71.

[2] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры. М., 1915, ч. 1-я, стр. 155.

[3] К. А. Пажитнов. Положение рабочего класса в России, Л. 1925, т. I, гл. V.

т. е. всего 4½%; «большая часть наших изделий,—пишет Семенов,—находит сбыт свой на отечественном рынке, внутри государства»[1]. Показателем рыночных отношений в это время является развитие ярмарочной торговли: в одной Полтавской губ. в 50-х годах Ив. Аксаков насчитывал 372 ярмарки, в Харьковской—425. Половину товаров, привозившихся в эти годы на украинские ярмарки, составляли хлопчатобумажные ткани, шедшие из Московской и Владимирской губ.; значительные размеры имел также привоз льняного полотна из Ярославской губ., железных изделий из Нижегородской, сукон из Польши, стеклянных изделий из Смоленской губ. и пр. В 1854 г. на «малороссийские» и «новороссийские» ярмарки было привезено из «Великороссии» промышленных товаров на 80 млн. руб.[2].

Но покупателями промышленных изделий были преимущественно государственные крестьяне и те из помещичьих, которые сидели на оброке; да и о последних нужно сказать, что их покупательная способность росла медленно, так как оброки непрерывно повышались. Что же касается барщинных крестьян, то они в гораздо большей мере продолжали оставаться в условиях натурального хозяйства. Барщинный крестьянин отдавал помещику непосредственно прибавочный труд в его натуральной форме; поэтому он, за отдельными исключениями, почти совсем не соприкасался с рынком, почти ничего не продавал из продуктов своего хозяйства; в его руках оказывалось слишком мало денежных средств, которые он мог бы употребить на покупку промышленных изделий. А барщинные крестьяне в середине XIX в. составляли около 40% всего крестьянского населения Европейской России[3].

К этому нужно еще прибавить, что помещики пользовались своей властью над крепостным крестьянством, чтобы сохранить монопольное положение на рынке, прибегая нередко к ограничению или даже к полному запрещению крестьянской торговли. Многие помещики разрешали крестьянам продавать свой хлеб лишь после того, как помещичий хлеб был доставлен на рынок; другие вообще допускали продажу продуктов крестьянского хозяйства лишь с особого каждый раз разрешения; некоторые же помещики совсем запрещали крестьянам продавать свои продукты. Не мудрено, что при таких условиях крестьянский хлеб в 50-х годах, по очень приблизительному, конечно,

---

[1] А. Семенов. Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности. СПб., 1859, ч. III, прилож. к стр. 149, 169, 185, 200.

[2] И. Аксаков. Исследование о торговле на украинских ярмарках. СПб., 1858, стр. 22—25.

[3] По данным 9-й ревизии (1851) государственных крестьян было 9 828 тыс. душ, помещичьих (с дворовыми) 11 745 тыс.; из них барщинных было, по материалам редакционных комиссий, около 72%, т. е. примерно 8½ млн.

подсчету современников, составлял не более 10% хлеба, обращавшегося на рынке[1].

Передовые представители буржуазии 50-х годов понимали, какое значение должна иметь для развития внутреннего рынка ликвидация крепостных отношений. «Когда новый порядок,—писал В. А. Кокорев в своей известной непроизнесенной речи,—сообщит довольство крестьянам, тогда вся торговля разовьется и примет другие размеры, значит и мы, купцы, будем иметь новую огромную выгоду»[2]. Покровский цитирует этот самый отрывок из речи Кокорева, но в другой связи[3]. Только в «Сжатом очерке» он мимоходом касается вопроса о внутреннем рынке, в связи с крымским разгромом. «Поиски внешнего рынка кончились крахом: приходилось волей-неволей расширять внутренний»[4].

Переходя к вопросу о развитии сельского хозяйства во второй четверти XIX в., Покровский отмечает прежде всего развитие предпринимательства в помещичьих имениях: помещики все более начинают стремиться к производству хлеба на продажу. Но в условиях рыночного производства барщинный труд крепостных крестьян становится невыгодным в силу его низкой производительности, и владельцы барщинного хозяйства все больше склоняются к мысли о целесообразности замены принудительного труда барщинных крестьян «свободным» трудом вольнонаемных рабочих. «Для всякого рассуждающего хозяина замена внеэкономического принуждения экономическим, или, как тогда красиво выражались, принудительного труда вольным,—являлась самым очередным вопросом»[5].

Все это совершенно верно, но как представляет себе Покровский сущность барщинного хозяйства, производящего на рынок? Этот тип хозяйства он характеризует как «ублюдочный», «уже не феодальный, но и не вполне буржуазный». «Крупное сельское хозяйство на крепостном труде,—пишет он,—становится все более буржуазным: в нем все большую и большую роль начинает играть капитал», а «буржуазное хозяйство требовало и нового буржуазного права в деревне». В других

---

[1] И. Сабуров. Влияние земледелия на государственное богатство с русской точки зрения. «Журнал землевладельцев», 1858, № 10, II, 58.

[2] «Современная летопись Русского вестника», 1857, № 12, стр. 213.

[3] «История России в XIX в.», III, 102.

[4] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, Гиз, 1922, ч. 1-я и 2-я, стр. 86; ср. также стр. 88. Нужно, однако, сказать, что еще в «Очерке истории русской культуры», говоря о пореформенной экономике, Покровский попутно замечает, что «до 19 февраля внутренний рынок туго развивался, между прочим, и потому, что крестьянство барщинных имений, почти не видя денег (где бы оно их заработало?), поневоле жило в условиях полунатурального хозяйства» (стр. 171). Следовательно, он видел неблагоприятное влияние крепостного права на внутренний рынок, но почему-то в том месте «Очерка», где он говорит о противоречии крепостного права интересам промышленности (стр. 154—156), он все же об этом не упоминает.

[5] «История России в XIX в.», III, 74.

местах он говорит даже о «капиталистической барщине» и «крепостном капитализме»[1]. Таким образом, барщинное хозяйство является, по мнению Покровского, буржуазным (хотя и «не вполне»), поскольку оно связано с рынком и поскольку в нем играет большую или меньшую роль «капитал», т. е. принадлежащие помещику орудия производства—живой и мертвый инвентарь. Это представление резко противоречит марксистско-ленинской экономической теории: ни связь предприятия с рынком, ни применение хозяйственного инвентаря не делают его еще капиталистическим; в основе капиталистического способа производства лежит, как известно, присвоение прибавочной стоимости, создаваемой наемным рабочим; барщинное хозяйство, основанное на труде крепостных рабочих, является поэтому чисто феодальным, как бы ни было оно связано с рынком и какую бы роль ни играл в нем хозяйский инвентарь. Конечно, растущая связь помещичьего имения с рынком расшатывала феодально-крепостное хозяйство, одним из необходимых условий преобладания которого является господство натурального хозяйства. «Производство хлеба помещиками на продажу, особенно развившееся в последнее время существования крепостного права,—писал Ленин,—было уже предвестником распадения старого режима»[2]. Расшатывала его и экспроприация крестьянства, когда помещик лишал крестьян надела и хозяйственного инвентаря и переводил их на месячину, потому что другим необходимым условием преобладания феодально-крепостного хозяйства является наделение непосредственного производителя средствами производства, в частности землей[3]. Но ни то ни другое не превращало помещичье хозяйство в капиталистическое, пока оно держалось на «внеэкономическом принуждении», на личной зависимости крестьянина от помещика. «Капиталистическая барщина» или «крепостной капитализм» звучит поэтому как «деревянное железо».

Представление о барщинном хозяйстве как о хозяйстве капиталистического типа сложилось у Покровского, несомненно, под влиянием Струве. Струве, как известно, представлял крепостное хозяйство как систему «денежно-хозяйственного» типа, являющуюся переходной ступенью от феодализма к капитализму. «Крепостное помещичье хозяйство,—писал он,—было денежно-хозяйственным клином, глубоко вбитым в натурально-хозяйственное тело страны. «Производство хлеба на продажу» вовсе не было чем-то противоречившим существу крепостного хозяйства, как думает один выдающийся исследователь нашей новейшей экономической эволюции[4], а, наоборот, составляло его дви-

[1] «История России в XIX в.», III, 73, 74, 102; «Русская история с древнейших времен». Изд. 4-е, М., 1922, IV, 51—52; «Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г.». Париж, 1911, стр. 7, 13.

[2] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., III, 140.

[3] Там же.

[4] Владимир Ильин. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности. СПб., 1899, стр. 128—130 (примечание П. Струве.—*Е. М.*).

жущий мотив и определяющую цель. Как денежно-хозяйственная организация оно непосредственно примыкает к экономическому строю пореформенной эпохи»[1].

Заимствуя у Струве характеристику барщинного хозяйства, Покровский преувеличивает, вслед за Струве, производственное значение залога помещичьих имений. Факт роста дворянской задолженности несомненен, но едва ли прав Покровский, утверждая, что залог дворянских имений вызывался преимущественно потребностью в капитале для ведения хозяйства. Конечно, в отдельных случаях помещики закладывали имения и с этой целью, но несомненно очень часто получаемые в ссуду средства расходовались помещиками непроизводительно: привыкнув к паразитическому существованию, помещики не умели производительно расходовать деньги. «Получив из приказов капиталы,—пишет один из помещиков того времени, Шелехов,—и не заботясь о приискании средств к возврату ссуды, иные приступали немедленно к постройке в деревнях своих великолепных домов, к разведению роскошных садов, выписывали бронзу, хрусталь, мрамор, экипажи, одевали людей в богатые ливреи и лошадей в серебряную сбрую, нанимали французов-поваров, ездили в столицу, прокатились по краям, дали несколько пиров и издержали все»[2]. О том же свидетельствует и ряд других современников. Известный исследователь истории русского дворянства А. В. Романович-Словатинский рисует очень безотрадную для помещиков картину: «Масса долгов на дворянских имениях не переставала накопляться без всякого усовершенствования земледелия или другой полезной промышленности; имения не выходили из опек за неплатеж в приказы; нередко они продавались и с молотка»[3].

Приводимая Покровским в защиту своего положения аргументация говорит против него. Подчеркивая, что наибольший процент заложенных имений приходится на губернии черноземные, он объясняет это тем, что в этих губерниях «в силу требований международного рынка имение все больше и больше превращалось в „хлебную фабрику“». Но перечисленные им губернии[4], за исключением разве Саратовской, были как раз наиболее отсталыми, в которых господствовала традиционная барщина и всякие попытки рационализации помещичьего хозяйства являлись редким исключением. Против Покровского говорит и приводимый им пример Пушкина, который занимал деньги, конечно, отнюдь не с производственными целями[5].

---

[1] П. Струве. Крепостное хозяйство. 1913, стр. 159.

[2] Н. Огановский. Закономерность аграрной эволюции. Саратов, 1911, II, 284—285.

[3] А. Романович-Словатинский. Дворянство в России. СПб., 1870, стр. 337.

[4] Казанская, Орловская, Пензенская, Саратовская, Тульская, Калужская, Рязанская, Тамбовская.

[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 52—53.

Влияние П. Струве сказалось также и на трактовке Покровским вопроса о хлебных ценах, которому он уделяет очень много внимания в «Русской истории с древнейших времен» и в «Очерке истории русской культуры» (в большой статье о крестьянской реформе он этого вопроса еще не касался, как не касался и вопроса о задолженности дворянства). Колебания хлебных цен, которые Покровский ставит в прямую зависимость от колебаний хлебного экспорта, по его мнению, непосредственно отражались на отношении дворянства к вопросу о крепостном праве: с повышением цен на хлеб усиливалось стремление помещиков к замене непроизводительного крепостного труда вольнонаемным; наоборот, понижение хлебных цен заставляло их держаться за крепостной труд, хотя и невыгодный, но бесплатный, так как при низких ценах в руках помещиков было слишком мало денежных средств, необходимых для перехода к новой системе хозяйства. «Помещики 40-х годов, по крайней мере более образованная их часть, отлично сознавали малую продуктивность барщинного труда, но он имел ту огромную выгоду, что не заставлял вынимать деньги из кармана, где их было не много. Низкие хлебные цены были лучшим оплотом крепостного права, нежели всяческие «крепостнические вожделения» людей, власть имеющих. Быстрый рост хлебных цен—и, с ним вместе, быстрый рост русского хлебного вывоза—в 50-х годах был совершенно необходимым антецедентом реформы 19 февраля»[1].

Струве также считал, что низкие хлебные цены способствовали устойчивости барщинного хозяйства. «При узости рынка,—писал он,—выражавшейся в низких ценах в годы хорошего урожая, сельские хозяева нуждались в том, чтобы денежные издержки производства были *возможно ниже*. Этой потребности хозяйства в возможно низких денежных издержках производства соответствовала натуральная оплата принудительного труда. Принудительность труда гарантировала абсолютно низкий уровень вознаграждения за труд; натуральная оплата этого труда земельным наделом уменьшала сумму денежных издержек производства и тем самым уменьшала общую массу продукта, которая должна была быть выброшена на и без того переполненный в годы обильных урожаев рынок... Конечно, при узости рынка, крепостное барщинное хозяйство, не нуждавшееся в денежном возмещении одной из самых важных статей издержек производства—оплаты рабочей силы, могло, не подрывая себя, итти дальше в уступках спросу, чем вполне денежное хозяйство. В этом состояла экономическая сила, а не слабость русского дореформенного помещичьего хозяйства. При очерченных условиях не могло быть и речи о большей выгодности вольнонаемного труда, сравнительно с принудительным, поскольку дело шло о массе земледельческих рабочих сил»[2].

---

[1] Там же, 15—18, 48—51; «Очерк истории русской культуры», ч. 1-я, стр. 136—139.

[2] П. Струве. Крепостное хозяйство, 136—137.

В этом, как мы видим, Покровский полностью следует за П. Струве. В дальнейшем он, однако, с ним расходится. В то время как Покровский думает, что рост хлебного экспорта в 50-х годах и связанное с ним повышение хлебных цен «убили крепостное хозяйство», Струве считает, что повышение хлебных цен шло медленнее, чем развитие помещичьего хозяйства, и что поэтому и при подъеме хлебных цен барщинное хозяйство оказывалось выгоднее для помещика, чем хозяйство с наемным трудом; к тому же помещичье хозяйство страдало не только от низких хлебных цен, но и от резких колебаний их в отдельные годы и в разных районах, в зависимости от колебания урожаев и от бездорожья. «В общем,—пишет он,—крепостное хозяйство, конечно, имело дело с «повышающимся», а не «падающим» рынком, но повышение цен шло слишком неправильно и слишком медленно сравнительно с развитием хозяйства... Благодаря развитию крепостного хозяйства предложение хлеба обгоняло спрос, и при этих условиях последний строил цены...»[1]. Следовательно, и в 50-х годах, по мнению Струве, крепостное хозяйство сохранило для помещика свои преимущества перед капиталистическим, и владельцы барщинных имений и в это время попрежнему были заинтересованы в сохранении крепостного права. «Крепостное право было отменено вопреки интересам помещичьего класса»[2].

В самом деле, если стать на точку зрения определяющего влияния хлебных цен, то придется признать вывод П. Струве правильным. Чтобы избежать этого вывода, Покровский делает ряд натяжек. Вопреки утверждению Покровского, хлебный вывоз рос и до 1847 г. (после резкого падения в 1821 г.), хотя медленнее, чем после 1847 г.; росли, хотя и медленно, хлебные цены; «революции» же хлебных цен в 1847 г., которой Покровский придает такое значение[3], статистика не отмечает. По данным Главного статистического комитета Новороссийского края, средний ежегодный вывоз хлебов из южных портов (составлявший в 40-х годах 75% всего хлебного вывоза) выражается в следующих цифрах[4]:

Годы	Из всех портов	Из Одессы	
1824—1831	1 307 066 чтв.	865 921 чтв.	
1832—1840	2 032 654 »	1 029 706 »	увеличение на 20%
1841—1846	2 349 966 »	1 371 024 »	» » 30
1847—1852	3 493 970 »	2 034 694 »	» » 48

[1] П. Струве. «Крепостное хозяйство», 136—137.
[2] Там же, 140.
[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 48—49.
[4] Хлебная торговля в черноморских и азовских портах Южной России. «Журн. мин. вн. дел», 1854, ч. 4-я, стр. 6 и 44.

Как повышались экспортные цены, видно из следующей таблицы (цены приведены в рублях за четверть [1]:

Годы	Пшеница		Рожь		Овес	
	в балт. портах	в черном. портах	в балт. портах	в Архангельске	в балт. портах	в Архангельске
1822—1826	5.70	4.28	3.81	2.57	2.41	1.50
1827—1831	5.84	4.26	3.34	2.27	2.34	1.85
1832—1836	5.83	5.11	4.34	4.80	2.27	1.74
1837—1841	8.13	5.39	4.76	3.60	2.43	1.90
1842—1846	7.80	6.09	4.61	3.77	3.55	2.05

По отдельным годам за десятилетие (1842—1852) средние цены на пшеницу в Одессе изменялись следующим образом (за четверть) [2].

Годы	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852
Цены	5.37	4.57½	4.14	5.18	5.93	8.14	5.42	5.74	5.57½	4.96	5.3

Из этой таблицы видно, что после резкого скачка в 1847 г. цены со следующего же года возвращаются к нормальному уровню; за пятилетие до 1847 г. (1842—1846) средняя цена составляла 5 р. 06 к., а за пятилетие после 1847 г. (1848—1852) 5 р. 41 к.

Любопытно, что Покровский сам приводит эту таблицу (не за все годы), и именно из нее делает свой вывод о «катастрофическом значении 1847 года» [3], для которого она, конечно, не дает никаких оснований.

Незаметно «революции» хлебных цен в 1847 г. и на внутреннем рынке. Вот, например, таблица справочных цен на пшеницу (за четверть) по некоторым производящим губерниям [4].

	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853
Таврическая	5.16	5.23	6.48	6.00	5.93	5.11	4.73
Екатеринославская	3.91	4.73	5.79	5.59	6.45	3.84	4.08
Харьковская	4.00	4.56	6.63	4.25	4.28	3.35	4.24
Саратовская	2.77	3.56	4.30	3.89	4.47	3.15	2.52

[1] Г. Неболсин. Статистическое обозрение внешней торговли России, СПб., 1850, ч. 1-я, стр. 60—61; ср. К. С. Веселовский. О ценах на хлеб в России, «Журн. мин. гос. имуществ», 1845, № 4, стр. 75—76, 78.

[2] Хлебная торговля в черноморских и азовских портах Южной России, «Журн. мин. вн. дел.», 1854, ч. 4-я, стр. 44.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 49.

[4] А. Н. Егунов. О ценах на хлеб в России. М., 1855, таблица III.

Быстрое повышение цен началось позже, во второй половине 50-х годов, когда вопрос о крестьянской реформе был уже решен; следовательно, это повышение уже никак нельзя отнести к предпосылкам реформы:

Цены на пшеницу в Одессе (в метал. копейках за пуд[1])

Годы . . .	1856	1857	1858	1859	1860
Цены . . .	102.3	85.7	72.8	62.6	85.0

Я привел эти цифры только затем, чтобы показать, к каким натяжкам приходилось прибегать Покровскому для подтверждения своей схемы. Количество подобных примеров можно было бы увеличить, но в этом нет надобности. Основная ошибка Покровского заключается в том, что его схема построена на методологически ложной почве: причины кризиса барщинного хозяйства нужно искать не в условиях рынка, а в условиях производства. Неизбежным следствием интенсификации барщины и регламентации крестьянского труда было расстройство хозяйства барщинного крестьянства. Помещик отбирал себе значительную часть пашни и превращал ее в барскую запашку, до последних пределов урезывая размер крестьянского надела. Заставляя крестьянина большую часть недели работать на барщине, он оставлял ему лишь обрывки времени для работы в собственном хозяйстве. В результате крестьянин разорялся, а по мере того как расстраивалось его хозяйство, он все меньше и меньше оказывался способным исправно выполнять свои повинности—работать со своим инвентарем на барской пашне и доставлять на рынок барский хлеб. Помещичье хозяйство попадало, таким образом, в заколдованный круг: чем больше помещик нажимал на крестьянина с целью повышения продукции своего хозяйства, тем больше он уменьшал возможность повышения этой продукции, так как расстраивал этим хозяйство барщинных крестьян, тесно связанное с его собственным хозяйством и составлявшее придаток последнего. Выход из этого заколдованного круга был только один—ликвидация крепостных отношений, переход к капиталистическому хозяйству.

Усматривая элементы капитализма в барщинном хозяйстве, где их не могло быть, Покровский не уделял должного внимания наличию в дореформенной России действительно капиталистических хозяйств. А между тем в середине XIX в. таких хозяйств было уже не мало,—и не только в купеческих имениях, но и в имениях дворянских, в слабо населенных окраинных районах, где крепостных было недостаточно. Таковы были губернии Нижнего Поволжья и особенно «Новороссии». Даже к 1863 г. плотность населения Херсонской губ. составляла всего 20.7 человек на квадратную версту, Екатеринославской—20, Самарской—12, Таврической—11.3, а Донской обл.—6.7; численность

[1] В. И. Покровский. Сборник сведений по истории и статистике внешней торговли России. СПб., 1902, I, 35.

же крепостного населения по данным 10-й ревизии (1858) в Екатеринославской и Херсонской губ. и обл. Войска Донского не достигала трети общего числа населения (составляя от 31.2 до 31.9%), в Самарской составляла 15.32%, а в Таврической—всего 5.97%[1]. В этих губерниях помещикам приходилось систематически прибегать к наемному труду, нанимая преимущественно крепостных крестьян, приходивших на заработки из густо населенных районов. По данным конца 50-х годов, ежегодный прилив сельскохозяйственных рабочих в «Новороссию» из центрально-черноземных и «малороссийских» губерний достигал 300 тыс. человек. В этих же окраинных губерниях наиболее широко применялись и сельскохозяйственные машины: в виду недостатка рабочей силы заработная плата здесь была довольно высока, и введение машин давало помещику возможность сэкономить на оплате живого труда. Систематически применяли помещики наемный труд и на свекловичных плантациях Правобережной Украины и во многих имениях Литвы и Белоруссии.

Не останавливается Покровский и на тех суррогатах наемного труда, к которым прибегали в это время владельцы барщинных имений и на которые обратила внимание еще И. И. Игнатович[2]: некоторые помещики давали крестьянам, исправно отбывавшим барщину, прирезки земельных наделов; другие платили своим барщинным крестьянам некоторую денежную плату; иногда барская пашня обрабатывалась из доли урожая и т. п. При всей редкости таких случаев, являвшихся единичными исключениями на общем фоне «внеэкономического принуждения», они все же представляют интерес, так как показывают, что крепостное хозяйство начинало уже разлагаться изнутри, что в нем начинали, хотя бы изредка, применяться принципы, несовместимые с его сущностью. Любопытно, что Покровский упоминает о применении наемного труда в имениях Хомякова и Стремоухова, но говорит об этом в иной связи и не делает из излагаемых фактов нужных выводов[3].

Еще важнее другой недочет: говоря о развитии капитализма в деревне, Покровский имеет в виду исключительно помещичье хозяйство. О разложении крестьянства, о выделении из крестьянской массы сельскохозяйственных предпринимателей, ведущих капиталистическое хозяйство на земле, ни в статье о крестьянской реформе, ни в «Истории России» нет ни слова. Правда, когда Покровский писал эти работы, вопрос этот был почти не освещен в литературе, но поставить

---

[1] «Военно-статистический сборник». СПб., 1871, IV, 27, 32—35; А. Т р о й н и ц к и й. Крепостное население в России по 10-й народной переписи. СПб., 1861, стр. 49—50, 85—86.

[2] И. И. И г н а т о в и ч. Помещичьи крестьяне накануне освобождения. 2-е изд., М., 1910, стр. 130—135.

[3] «История России в XIX в.», III, 72—73, 86—87; «Русская история с древнейших времен», IV, 73—74; «Очерк истории русской культуры», ч. 1-я, стр. 135—136, 139.

его было все же необходимо, тем более что отдельные факты из этой области были известны и ранее. В «Очерке истории русской культуры» сам же Покровский приводит некоторые из этих фактов, цитируя Гакстгаузена и Кавелина, но опять-таки в другой связи и без необходимых выводов [1]. Между тем крепостное право тормозило развитие капиталистических отношений и в крестьянской среде. Непомерный рост денежных и натуральных повинностей разорял крестьянскую массу, замедляя процесс выделения из нее сельской буржуазии и мешая последней расширять и укреплять свое хозяйство.

Ограничение вопроса о капитализме в деревне пределами одного лишь помещичьего хозяйства приводит Покровского в струвистскому выводу о неизбежности для России «прусского» пути капиталистического развития деревни. «Заранее можно было предвидеть,—пишет Покровский,—что русский крестьянин останется полукрепостным и что дело сведется к замене в деревне феодального «внеэкономического принуждения» буржуазным экономическим принуждением в минимальных размерах—необходимых для того, чтобы парализовать невыгодные для помещика результаты барщины» [2]. Между тем Ленин считал, что перед Россией лежали тогда «два пути объективно-возможного буржуазного развития»—«прусский» и «американский». «Остатки крепостничества,—писал он,—могут отпадать и путем преобразования помещичьих хозяйств и путем уничтожения помещичьих латифундий, т.-е. путем реформы и путем революции. Буржуазное развитие может идти, имея во главе крупные помещичьи хозяйства, постепенно становящиеся все более буржуазными, постепенно заменяющие крепостнические приемы эксплуатации буржуазными,—оно может идти также, имея во главе мелкие крестьянские хозяйства, которые революционным путем удаляют из общественного организма «нарост» крепостнических латифундий и свободно развиваются затем без них по пути капиталистического фермерства». Из-за способа проведения реформы и шла тогда борьба между помещиками и крестьянами. «И те и другие отстаивали условия буржуазного экономического развития (не сознавая этого), но первые—такого развития, которое обеспечивает максимальное сохранение помещичьих хозяйств, помещичьих доходов, помещичьих (кабальных) приемов эксплуатации. Вторые—интересы такого развития, которое обеспечило бы в наибольших, возможных вообще при данном уровне культуры, размерах благосостояние крестьянства, уничтожение помещичьих латифундий, уничтожение всех крепостнических и кабальных приемов эксплуатации, расширение свободного крестьянского землевладения. Само собою разумеется, что при втором исходе развитие капитализма и развитие производительных сил было бы шире и быстрее, чем при помещичьем исходе крестьянской реформы» [3].

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 138—139.
[2] «История России в XIX в.», III, 86.
[3] В. И. Ленин. Соч., XI, 348—349.

Допустим даже, что когда Покровский писал свою статью о крестьянской реформе, он мог еще не знать работы Ленина «Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—7 годов», где Ленин впервые развил свое учение о двух путях капиталистической эволюции деревни (написанная в конце 1907 г., эта работа появилась в печати в 1908 г., но была конфискована, а затем напечатана только в 1917 г.); он мог не знать и автореферата этой работы, напечатанного в 1908 г. в журнале «Przeglad Socjal-Demokratyczny»; но когда он писал последний том «Русской истории с древнейших времен» и «Очерк истории русской культуры», он уже имел полную возможность познакомиться с юбилейными статьями Ленина о реформе 1861 г., где развиваются те же взгляды. Однако и в этих, и даже в более поздних работах Покровского, учение Ленина о двух путях капиталистического развития русской деревни не нашло никакого отражения. К этому еще придется вернуться ниже.

II

Переходим к политической обстановке, предшествовавшей реформе. Покровский совершенно правильно подчеркивал значение роста крестьянского движения как стимула, побудившего правительство и широкие круги дворянства «поторопиться с реформой». «Условием,—пишет он,—принудившим помещиков ликвидировать барщинное хозяйство с быстротой, совсем не отвечавшей их ближайшим экономическим интересам, было несомненно опасение, что иначе ликвидация пойдет снизу, революционным путем, и не ограничится уже одной барщиной». «Главной пружиной, толкавшей вперед крестьянское дело в конце 50-х годов, был страх перед пугачевщиной: без этого мы имели бы медленную эволюцию экономических отношений, а не революцию сверху 19 февраля» [1].

Но ход крестьянского движения 50-х годов Покровский представлял себе неверно: следуя либеральной традиции, он утверждал, что с опубликованием рескриптов крестьянское движение затихает и крестьяне спокойно ждут решения своей участи от царя. А между тем уже давно был известен ряд фактов, опровергающих это положение [2]. О том же свидетельствуют статистические сведения о числе крестьянских вол-

---

[1] «История России в XIX в.», III, 74 и 115. Нужно кстати отметить здесь не марксистскую характеристику реформы 19 февраля, как «революции сверху».

[2] См. например А. А. Богодуров. Обзор хода крестьянского дела в Нижегородской губ. «Нижегородский сборник», I, Н.-Новгород, 1867; В. Снежневский. Крепостные крестьяне и помещики Нижегородской губ. накануне реформы 19 февраля и первые годы после нее. «Действия Нижегор. учен. арх. комиссии», III, Н.-Новгород, 1898; А. Повалишин. Рязанские помещики и их крепостные. Рязань, 1903; Н. Огарев. Дворянско-чиновничий разбой в с. Деднове. «Колокол», № 26, 1858; Шнуровая книга обличений. «Голоса из России», III, Лондон, 1858 и др.

нений за последние годы перед реформой, опубликованные И. И. Игнатович еще в 1911 г. (на основании материалов министерства внутренних дел)[1]. Только в 1928 г., обратившись к архивным делам III отделения, Покровский убедился, что эта либеральная традиция не соответствует действительности, что после опубликования рескриптов крестьянское движение поднялось с новой силой, причем движение помещичьих крестьян нередко находило поддержку среди крестьян государственных и удельных. «Как только появились царские рескрипты, в деревне разгорелась такая классовая борьба, какой не было раньше, и это совершенно понятно, потому что теперь дело было уже у самого порога»[2].

Эта ошибка повлекла за собой другую; колебания правительственной политики по отношению к дворянству в годы реформы Покровский объяснял колебаниями крестьянского движения. Получилась следующая схема. Напуганное ростом крестьянского движения к середине 50-х годов, правительство стремится опереться на широкие круги дворянства: «эта-то атмосфера *испуга* ближайшим образом объясняет нам, почему николаевский режим, во всем цвете и красе стоявший еще в первые годы нового царствования, унизился до заискивания перед общественным мнением». Но летом 1858 г. правительство убедилось, что «страхи перед бунтом совершенно неосновательны»: «крестьянство оказалось гораздо благонамереннее, чем от него ожидали». В то же время среди дворянства обнаружились политические притязания, представлявшиеся опасными для абсолютизма; на этом психологическом фоне заигрывание с дворянством сменилось заигрыванием с мужиком. «Теперь,—пишет Покровский,—пугачевщина оказалась мифом, а «конституционные вожделения» совершенно неожиданной реальностью... «Мужик с факелом» вдруг стал лояльнейшим верноподданным, а верноподданный еще вчера дворянин—едва не Робеспьером. И в первую минуту ничто не могло быть естественнее, как перенести свое благоволение с одной социальной группы на другую». «Если крупное землевладение становилось крамольным,—надо было в противовес ему создать мелкое землевладение облагодетельствованных и верноподданных крестьян», сохранив при этом их сословную обособленность и оградив их от произвола помещиков. Но это колебание в сторону мужика оказалось кратковременным. Правительство «не могло выдержать такой совсем не свойственной ему роли»; к тому же оно увидело, что мнимые «революционеры» из дворянской среды оказались совершенно безобидными. «И очень скоро, вернувшись к своему привычному положению—правящего комитета помещиков,—оно примирилось на мини-

---

[1] И. Игнатович. Крестьянские волнения. Сборник «Великая реформа». М., 1911, III, 64.

[2] М. Н. Покровский. Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х годов. «Историк-марксист», 1928, т. X, 5.

мальных экономических уступках, сделанных наиболее отсталой частью дворянства»[1].

Схема эта совершенно не соответствует действительности. Прежде всего страх перед крестьянским движением в правительственных кругах отнюдь не рассеялся и в период редакционных комиссий. Сам же Покровский указывает, что Ростовцев еще в августе-сентябре 1858 г. «вполне разделял быстро старевший предрассудок о неизбежности пугачевщины, сохранив его даже и долго после: «мужик с топором» зачастую всплывал в речах и в заседаниях редакционных комиссий»[2]. И конечно, Ростовцев выражал не только свои личные настроения; Покровский сам отмечает, что эти настроения разделял, например, и Александр II[3]. «Забота о мужике» в редакционных комиссиях объясняется в значительной мере именно этим страхом, а вовсе не стремлением опереться на крестьян против «революционеров» из помещичьей среды. Помимо страха эта «забота» вызывалась еще и другими соображениями—боязнью образования пролетариата и заботой о «казенном интересе»: крестьянин, получивший кошачий надел и обремененный высокими повинностями в пользу помещика, не мог быть исправным плательщиком государственных налогов, а крестьянин, совсем лишенный надела, совсем не связанный с землей, представлял опасность для существующего «общественного порядка». Оба эти мотива неоднократно звучали на заседаниях редакционных комиссий; наличие их признает и Покровский. Излагая, например, прения в редакционных комиссиях по вопросу об оценке крестьянского надела, он справедливо замечает: «Если государству было суждено и в будущем оставаться прежде всего организацией классового господства крупных землевладельцев,—а ради этого и была предпринята вся реформа,—то последним в *целом* было совсем невыгодно хищничество харьковских и нижегородских помещиков»[4]. Говоря в другом месте об исходе борьбы в редакционных комиссиях по вопросу о размере надела, Покровский прибавляет: «Редакционным комиссиям оставалось только утешать себя, что «как бы ни мал наименьший размер надела, быт безземельных крестьян сравнительно с настоящим тяжелым их положением сделается лучше». Пролетариата все-таки не будет, с точки зрения государственного интереса это главное, так как,—аргументировали комиссии в другом месте,—«коалиции работников, коллективная оппозиция против капиталистов и властей, со всеми их последствиями..., развились почти исключительно в тех условиях, в которых распущенные личности, не связанные никаким общим поземельным интересом и предоставленные самим себе, сознали свою единичную слабость и сложились в искус-

---

[1] «История России в XIX в.», III, 94—95, 113, 116, 125—126; ср. «Русская история с древнейших времен», IV, 64, 76, 80, 84, 88—94.

[2] «История России в XIX в.», III, 129—130; ср. стр. 136.

[3] Там же, 95.

[4] Там же, 152; ср. стр. 139; ср. также «Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г.», Париж, 1911, стр. 14.

ственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку...» Там, где у крестьянина есть хоть квадратная сажень земли, привязывающая его к «естественному» союзу—общине с круговой порукой—нет места ничему подобному»[1].

Таким образом, для объяснения «заботы» правительства о мужике изложенная выше схема оказывается ненужной. Не нужна она и для объяснения колебаний правительства по отношению к дворянству. Стремление правительства опереться на широкие круги дворянства объясняется растерянностью его после севастопольского разгрома. Проявленная же некоторыми губернскими комитетами самостоятельность и политические притязания части дворянства,—исходившие при этом не только из «левого» его лагеря, но и из «правого»,—являются достаточным объяснением решения правящей верхушки взять крестьянское дело непосредственно в свои руки. В конце концов, как по экономическим, так и по политическим вопросам придворной знати удалось в основном договориться с местным дворянством, так как те и другие принадлежали к одному классу.

Сущность этого конфликта Покровский представлял себе в общем правильно. «Социальный смысл конфликта,—пишет он,—представляющегося нам с внешней стороны как столкновение «правительства» с «помещиками», заключается в сущности в относительной противоположности интересов самого крупного землевладения, представители которого непосредственно окружали императора, с землевладением средне-крупным и просто средним, представленным в губернских комитетах[2]... Экономический конфликт был уже почти улажен, когда стороны встретились: осталось политическое недоразумение. Крупное землевладение держалось за власть не меньше, чем за землю, а провинциальные помещики—казалось из Петербурга—покушались на эту власть. Но тут было именно недоразумение: и достаточно было спорящим сторонам увидать друг друга, чтобы оно рассеялось»[3]. «Недоразумением» эти политические разногласия назвать, правда, нельзя: они были реальны, так как вызывались различием интересов разных групп помещичьего класса, но острой противоположности здесь не было—не было борьбы за власть; в этом Покровский прав.

Говоря о ближайших предпосылках реформы, Покровский отмечает громадное значение крымского разгрома, вызвавшего полную растерянность в правительственных кругах и глубокую неуверенность их в своих силах: «боялись всего на свете—Наполеона III, крепостного

---

[1] «История России в XIX в.», III, 166.

[2] Как видно из контекста, Покровский имеет здесь в виду разницу не столько в размерах землевладения, сколько в характере хозяйства, но он неправильно ставит характер помещичьего хозяйства в непосредственную зависимость от размеров землевладения: среди владельцев латифундий было не мало передовых в экономическом смысле помещиков, так же как среди средних помещиков было не мало экономически отсталых.

[3] «История России в XIX в.», III, 153—154.

мужика, отпускного солдата,—боялись между прочим и дворянина». Покровский говорит и о сознании в правящих сферах «необходимости крупных реформ как средства загладить тот конфуз, который только что испытала Россия под Севастополем». Отмечает он и обострение вопроса о внутреннем рынке в связи с неудачей Крымской войны [1]. Но он не видит непосредственной связи между крымским разгромом и крестьянской реформой, которую видели еще современники. «Так, Самарин,—пишет он,—неудачу в Крыму склонен был приписать главным образом крепостному праву,—которое, нужно сказать, было в этом виновато меньше, чем многое другое» [2]. А между тем сам же Покровский приводит цитату из «Политических писем» Погодина, в которой последний объясняет поражение России ее технической отсталостью, а эту последнюю ставит в связь с отсталостью ее общественного строя и видит историческое значение войны в том, что она должна «возбудить Россию, державшую свои таланты под спудом, к принятию действительного участия в общем ходе потомства Иафетова на пути к совершенствованию гражданскому и человеческому...» [3]

Не учел Покровский и тех замечаний, которые имеются по этому вопросу у Энгельса. «Так как,—писал Энгельс в «Послесловии к статье «Социальные отношения в России»,—после поражений Крымской войны и самоубийства императора Николая I старый царский деспотизм продолжал существовать в неизмененном виде,—оставался только один путь: как можно более быстрый переход к капиталистической промышленности. Армия погибала вследствие гигантских пространств империи при продолжительных переходах к театру военных действий; необходимо было уничтожить эту отдаленность посредством сети стратегических железных дорог. Но постройка железных дорог означает создание капиталистической промышленности... Невозможно построить и эксплоатировать широкую сеть железных дорог, не имея отечественной промышленности, поставляющей рельсы, локомотивы, вагоны и т. д.» [4] «...Если для России,—писал Энгельс Николаю—ону,—после Крымской войны потребовалась собственная крупная промышленность, то она могла получить ее лишь в *одной* форме, *т. е. в капиталистической*, а не в какой-либо иной» [5].

Разгром России в Крымской войне наглядно показал правящей группе техническую отсталость именно тех отраслей промышленности, которые непосредственно обслуживали армию и должны были обслуживать транспорт, и заставил признать необходимость повышения техники в этих отраслях промышленности. Но как раз именно эти

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 66; Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1 и 2, стр. 86.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 76.
[3] «История России в XIX в.», III, 67—68.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2-я, стр. 398.
[5] Переписка Ф. Энгельса с Николаем —оном. «Летописи марксизма», 1930, III (XIII), 138.

отрасли были основаны преимущественно на труде крепостных или посессионных рабочих; следовательно, необходимость ликвидации крепостного права подсказывалась и непосредственно военными потребностями помещичьего государства. Правительственные круги усваивали мысль о необходимости капиталистической реорганизации промышленности именно под давлением военных потребностей, а вовсе не под давлением промышленной буржуазии, как думал Покровский. Про буржуазию николаевского царствования никак нельзя сказать, что она «властно шла вперед, бесцеремонно ломая юридические рамки, в свое время придуманные для своей охраны феодальным режимом»; и режим Николая I никак нельзя рассматривать как союз крупного землевладения с буржуазией, «направленный, по крайней мере отчасти, против землевладения среднего»[1].

Необходимо, наконец, отметить, что Покровский не дает четкого изображения революционной ситуации, сложившейся ко времени крестьянской реформы. Правда, он затрагивает отдельные элементы революционной ситуации, как ее определяет Ленин в своей работе «Крах II интернационала»[2]: 1) он показывает рост эксплоатации крестьянской массы помещиками-крепостниками, достигающей к этому времени максимального напряжения; 2) показывает рост крестьянского движения, захватывающего широкие массы крестьянства и проявляющегося нередко чрезвычайно активно; 3) показывает, наконец, как правящая группа крепостнического дворянства, в результате неудач Крымской войны и роста крестьянского движения, приходит к сознанию невозможности «сохранить в неизмененном виде свое господство» и признает необходимость ряда уступок в целях удержания власти в своих руках. Но эти отдельные элементы разбросаны в разных местах и не объединены в одну цельную и полную картину.

III

Освещая борьбу помещичьих групп вокруг реформы, Покровский исходит из правильной предпосылки о различии экономических интересов помещиков разных районов, а также владельцев оброчных и барщинных имений. Но конкретная характеристика этих интересов дается в разных его работах по-разному. В большой статье о крестьянской реформе он намечает следующие три основные группы среди владельцев барщинных имений: 1) наиболее отсталые помещики-феодалы, стоявшие за «status quo, украшенное новой юридической терминологией», т. е. за сохранение барщинного хозяйства под видом передачи крестьянам в бессрочное пользование их наделов (к ним он причисляет, между прочим, Ю. Ф. Самарина); 2) наиболее пере-

---

[1] «История России в XIX в.», III, 69; «Русская история с древнейших времен», IV, 22.

[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 244.

довые помещики нечерноземной полосы, стремившиеся перейти сразу от барщины к капиталистическому хозяйству и настаивавшие на обязательном выкупе крестьянских наделов (Унковский и др.) и 3) владельцы барщинных имений черноземной полосы, выдвигавшие проекты безземельного освобождения крестьян, рассчитывая вести хозяйство при помощи отработков (комитеты полтавский, воронежский, тамбовский и др.). «Тут,—пишет Покровский,—был на очереди переход не к буржуазному хозяйству, а к самому беззастенчивому земельному ростовщичеству», позволявшему получать «рабочие силы» «дешевле действительной их стоимости», «выжимать доходы из земельной нужды крестьянина, не затрачивая никакого капитала». «Если Самарин выражал интересы докапиталистического землевладельца, Унковский—интересы развитого сельскохозяйственного капитализма, то проекты безземельного освобождения отражают собою интересы капитализма эпохи первоначального накопления». Что касается владельцев оброчных имений, то они все стремились к полному обезземелению крестьян, «с целью заставить их арендовать их бывшие наделы и заменить таким способом устаревшую категорию *оброка* более современной—*арендной платой*». Но если на черноземе владельцы как оброчных, так и барщинных имений готовы были освободить крестьян хотя бы даже бесплатно, только бы сохранить в своих руках землю, то в нечерноземных губерниях, где источником оброка было не столько сельское хозяйство крестьян, сколько всякого рода «промыслы», помещики были заинтересованы в выкупе крестьянской личности, который пытались замаскировать путем неимоверно высокой оценки выкупаемых крестьянами усадеб[1]. Таким образом, получается пять основных помещичьих групп, интересы которых не совпадали между собою.

В небольшой брошюре 1911 г. Покровский говорит уже только о двух основных течениях среди дворянства: одно из них выражало интересы помещиков черноземного юга, другое—нечерноземного севера. «Если на севере речь шла о том, чтобы обратить крестьянина в «свободного землевладельца», по вольному найму работающего на барской пашне, то на юге главный вопрос был в том, как отнять у крестьянина его пашню, и притом так, чтобы он не убежал, а остался под руками у барина. Выход постепенно нашли: надо было отнять у крестьянина столько земли, чтобы он с оставшегося у него надела прокормиться не мог; тогда он поневоле будет обрабатывать барскую землю за самую низкую цену, только чтобы не помереть с голоду,—или возьмет эту же, отнятую у него, землю в аренду, напротив, по самой высокой цене, какую только можно получить за эту землю»[2].

В «Русской истории с древнейших времен» речь идет уже не о двух, а о трех основных течениях. «Одно из этих течений можно назвать *феодальным*, другое—*буржуазным*. Первое заботилось главным об-

---

[1] «История России в XIX в.», III, 108—112.

[2] «Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г.», Париж, 1911, стр. 10.

разом о сохранении за помещиками *земли* в максимальном количестве и во что бы то ни стало; второе ставило на первое место обеспечение землевладельцев *капиталами и рабочими руками*, хотя бы и ценою некоторых уступок в пользу крестьянства в земельном вопросе. Была и третья точка зрения, компромиссная между двумя первыми, надеявшаяся обеспечить помещиков нужными капиталами без уступки земли крестьянам или с уступкою чисто фиктивною». Первая точка зрения, одним из наиболее ярких представителей которой является кн. П. П. Гагарин, соответствовала интересам владельцев оброчных имений, стремившихся увековечить этот оброк в новых юридических формах аренды, превратить крепостного крестьянина «в вечного невольного арендатора помещичьей земли; в этом именно смысле был редактирован знаменитый рескрипт 20 ноября 1857 г.» Вторая точка зрения, наиболее выдающимися выразителями которой были Кавелин, Кошелев и Унковский, отвечала интересам большинства владельцев барщинных имений (преимущественно нечерноземных губерний), стремившихся окончательно ликвидировать крепостные отношения и перейти к капиталистическому хозяйству и нуждавшихся для этого в капитале. Центральным пунктом «буржуазной» программы было наделение крестьян землей за высокий выкуп при содействии правительства. «Экономическое значение крестьянского надела,—пишет Покровский, ссылаясь на Кавелина,—здесь совершенно ясно: это—и обеспечение выданного из банка капитала и средство его постепенной уплаты». Промежуточную точку зрения представлял Позен, выражавший интересы владельцев барщинных имений черноземного юга, тоже нуждавшихся в капитале для перехода к капиталистическому хозяйству, но дороживших землей и старавшихся удержать максимальное ее количество; Позен «надеялся получить этот капитал в обмен не за весь крестьянский надел, а только за одну усадьбу», остальная же крестьянская земля должна была отойти к помещику. Таким образом, «интересы нарождавшейся аграрной буржуазии на юге и на севере были неодинаковы»[1].

В «Очерке истории русской культуры» мы видим уже опять новую группировку помещиков по их экономическим интересам: 1) непримиримые противники всякой реформы—самые мелкопоместные, «которые эксплоатировали *личность* своих крепостных, продавая их в рекруты в более богатые имения, торгуя «на вывод» крестьянскими девушками и т. п.; эти, конечно, потерпели бы убыток от упразднения самого «крепостного права», в тесном смысле слова»; 2) средние владельцы оброчных имений нечерноземной полосы, предлагавшие в сущности выкуп личности крестьянина, чтобы получить капитал для перехода к интенсивному хозяйству (Кавелин, Унковский); 3) средние владельцы барщинных имений черноземной полосы, нуждавшиеся в безземельном батраке, «который бы не имел своего хозяйства и

[1] М. Н. Покровский. Русская история, IV, 67—68, 72, 74, 79, 81.

экономически вынужден был наниматься работать в барской экономии»; 4) крупнейшие владельцы оброчных имений, стремившиеся к «обезземелению и прикреплению к земле крестьян одновременно» (рескрипт 20 ноября), но возражавшие против полного обезземеления крестьян и чрезмерного обременения их денежными платежами, так как не в их интересах было разорять «будущего арендатора барской земли»; «чтобы арендовать эту последнюю, крестьянин непременно должен был *сохранить свое хозяйство*—свой инвентарь и хотя бы небольшой клочок земли»[1].

Наконец, в статье «Александр II», помещенной в т. II Энциклопедического словаря бр. Гранат, Покровский говорит опять о противоположности интересов только двух групп дворянства, но уже не северных и южных помещиков, а владельцев оброчных и барщинных имений. «Наиболее крупные землевладельцы, имения которых были на оброке, желали увековечения этого оброка путем превращения его в ренту, а крепостных крестьян в «свободных», но в сущности невольных арендаторов помещичьей земли; с этой точки зрения наиболее желательным было безземельное освобождение крестьян. Иначе смотрели представители среднего землевладения, которые сами вели хозяйство в своих имениях при помощи барщины; теперь они желали ликвидировать эту последнюю и перейти к вольнонаемному труду, но для этого им нужны были, во-первых, капиталы, во-вторых, рабочие руки. Освобождение крестьян с землею за выкуп удовлетворяло сразу и ту и другую потребность: помещик получал деньги за отходившую от него землю, а в крестьянах, привязанных к месту своим наделом (размеры которого всеми комитетами предполагались небольшие), имел и готовый запас рабочих рук»[2].

Таким образом, характеристики различных течений в помещичьей среде получаются у Покровского чрезвычайно противоречивые: Унковский, например, является выразителем интересов то передовых владельцев барщинных имений вообще, то средних владельцев оброчных имений нечерноземной полосы; Позен выражает интересы то барщинных владельцев черноземного центра, стремившихся заменить барщину отработками, то «аграрной буржуазии» юга, жаждавшей перехода к чисто капиталистическому хозяйству; Самарин оказывается представителем наиболее отсталой части помещиков, пытавшейся удержать барщинное хозяйство, и т. д.

Наиболее правильно характеризует Покровский группу мелкопоместного дворянства, занимавшую крайний правый фланг в борьбе вокруг реформы. Самыми непримиримыми крепостниками были действительно мелкопоместные дворяне типа гоголевских «старосветских помещиков», хозяйство которых носило преимущественно потребительский

---

[1] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 158, 160, 163, 164.

[2] «Александр II», Энц. сл. бр. Гранат, II, 142.

характер, было очень слабо связано с рынком, если не считать продажи крепостных в рекруты, «на вывод» и т. д. Как бы ни была проведена реформа, они во всяком случае теряли право полного распоряжения личностью крестьянина, имевшее для них существенные выгоды; думать же о какой-нибудь коренной перестройке своего хозяйства они не могли в виду его незначительной мощности. Судить о настроениях этой группы можно, однако, только по мемуарам, так как ни в губернских комитетах, ни в редакционных комиссиях она не была представлена, не имела своих представителей и в современной публицистике.

Экономически не нужна была реформа и тем из владельцев оброчных имений, которые не только не вели своего хозяйства, но и не предполагали его вести; к этой группе принадлежала, между прочим, значительная часть представителей крупной земельной знати, занимавших высшие административные посты и принимавших непосредственное участие в государственном управлении. Признавая необходимость реформы в целях сохранения в руках дворянства политической власти, эта группа стремилась провести реформу таким образом, чтобы ей и впредь была обеспечена возможность получения денежной ренты. Интересы этой группы нашли выражение и в рескрипте 20 ноября 1857 г. и в проектах гр. Шувалова, кн. Паскевича, кн. Гагарина и др. Сущность проекта Шувалова и Паскевича, как и рескрипта 20 ноября, сводится к оставлению всей земли в собственности помещика с предоставлением крестьянам надела лишь в пользование за повинности и с сохранением помещичьей власти[1]. Близко к этому проекту стоял проект кн. Гагарина, который предлагал освободить крестьян без полевого надела, с одной лишь усадьбой, и также с сохранением полицейской власти помещика[2]. Такого рода «освобождение» привело бы неизбежно к тому, что крестьянин, привязанный усадьбой к месту, но не имевший земли, должен был бы арендовать помещичью землю на каких угодно условиях.

Интересы тех помещиков, которые занимались производством на рынок или рассчитывали им заниматься после реформы, разнились в зависимости от местных условий той полосы, где находились их имения. Интересы помещиков нечерноземных промышленных губерний требовали наделения крестьян землею, так как в этой полосе развитого отхода помещик не имел бы возможности удержать обезземеленных крестьян на месте; с другой стороны, для перехода к капиталистическому хозяйству им важно было получить капитал; поэтому они стояли за выкуп крестьянского надела. Их интересам наиболее отвечал самый

---

[1] Н. Семенов. Освобождение крестьян в России в царствование имп. Александра II. СПб., 1889, I, 262—266; А. Скребицкий. Крестьянское дело в России в царствование имп. Александра II. Бонн-на-Рейне, 1862, I, 655—656.

[2] А. Попельницкий. Секретный комитет в деле освобождения крестьян от крепостной зависимости. «Вестник Европы», 1911, № 2, стр. 58—59.

«буржуазный», по правильному определению Покровского, проект Унковского, который предлагал освободить крестьян от помещичьей власти с наделением их землею в собственность за высокий выкуп, уплачиваемый единовременно государством. Высокий выкуп вознаградил бы помещиков за потерю дорого стоившей в этом районе рабочей силы и дал бы им в руки капитал, который можно было бы вложить в хозяйство на оставшейся земле, пользуясь тем, что под руками был емкий и все возраставший рынок для продуктов сельского хозяйства в связи с развитием промышленности в этом районе. С другой стороны, освобождение крестьян по этому проекту, наиболее последовательно стремившемуся к ликвидации крепостных отношений, дало бы сильный толчок развитию промышленности, а, следовательно, содействовало бы развитию сельскохозяйственного рынка.

Помещики черноземного центра заинтересованы были в сохранении в своих руках максимального количества драгоценной земли, но в то же время не в их интересах было полное обезземеление крестьян; им было нужно сохранить крестьянское хозяйство, чтобы иметь возможность вести отработочное хозяйство или хозяйство смешанное, отработочно-капиталистического типа. Их интересам отвечал проект Позена, согласно которому по истечении определенного точным сроком переходного периода вся земля должна быть возвращена помещику; в случае же добровольного соглашения с крестьянами помещику должно быть предоставлено право прекратить обязательные отношения и до истечения срока; но правительство должно обеспечить крестьянам возможность покупки земли в собственность—у своего ли помещика, или у других землевладельцев, или наконец у казны. Таким образом, вся сельскохозяйственная площадь имения сохранялась в руках помещика, а крестьянин, купивший клочок земли, в громадном большинстве случаев недостаточный для его прокормления, оказывался вынужденным работать на помещика на каких угодно кабальных условиях. Другие черноземные комитеты рассчитывали достигнуть того же результата путем предоставления крестьянам за выкуп незначительных по размерам наделов[1]. Сохранение при этом в руках помещика, в той или иной мере, власти над крестьянами давало ему возможность прибегать и к мерам внеэкономического принуждения.

В слабо населенных степных губерниях, где и до реформы больше, чем в других местах, применялся наемный труд, помещики мечтали о полном переходе от барщины к наемному труду, но не считали возможным совершить этот переход сразу, боясь остаться без рабочих рук. Интересы именно степных помещиков выражал Самарин, возражая против осуществления выкупа «немедленно и повсеместно» и настаивая

---

[1] М. П. Позен. Бумаги по крестьянскому делу. Дрезден, 1864, стр. 99—109; Н. Семенов. Освобождение крестьян в России в царствование имп. Александра II, I, 541—542; II, 53, 72—73; А. Скребицкий. Крестьянское дело в России в царствование имп. Александра II, I, 587—588, 597, 608—614, 668—669; II, ч. 2-я, стр. 1188, 1195—1197, 1253—1255.

на сохранении барщины в продолжение 10—12 лет, «пока не установится само собой равновесие между предложением и запросом на вольный труд—этот почти небывалый у нас товар». В течение этого переходного периода помещик сохраняет и вотчинную власть по отношению к крестьянам. В таком же смысле высказывались губернские комитеты новороссийских губерний, с той, однако, разницей, что они настаивали на возвращении помещику всей земли по истечении временнообязанного периода. Самарин же, в противоположность тому, что говорит о нем Покровский, высказывался за выкуп крестьянами их надела, даже без согласия помещика[1]. Может быть, эта разница объясняется тем, что заволжские помещики, представителем интересов которых был Самарин, надеялись таким путем обеспечить свои хозяйства рабочей силой, что было очень важно при редкости населения этого края, особенно южных его уездов (в Николаевском у. плотность населения в 1863 г. составляла 9.9 человека на 1 кв. версту, в Новоузенском у. 4.9 человека)[2].

Нужно сказать, что все подобные суммарные характеристики, в том числе и предложенная выше, страдают неизбежным схематизмом. В действительности картина была гораздо более сложной и пестрой: помещичьи интересы не вполне совпадали не только в пределах крупных районов, но и в пределах отдельных губерний и даже уездов. Только детальное исследование истории крестьянской реформы в отдельных районах может дать возможность более точной характеристики экономических интересов различных помещичьих групп. Пока же этого еще нет, приходится прибегать к общим характеристикам, пытаясь наметить преобладающие тенденции в разных районах. Но уж если давать такие общие характеристики, то нужно делать это с большой осторожностью, опираясь на факты, а не «рубить с плеча», как это делал Покровский.

Нужно, однако, отдать справедливость Покровскому в том, что, характеризуя различные течения среди дворянства, он порывает с либеральной традицией, резко делившей помещиков на «крепостников» и «либералов», позиции которых были якобы противоположны. Он показывает, что и «либералы» и «крепостники» были в одинаковой мере защитниками помещичьих интересов, только защищали интересы различных помещичьих групп; и те и другие одинаково были не склонны жертвовать своими интересами в пользу крестьянства. «Едва ли нужно говорить,—писал Покровский,—что на какое-либо «принудительное отчуждение» того, что имело действительную, а не номинальную только ценность, тогдашние помещики так же мало были согласны, как и теперешние»; «либерализм передовых помещиков» отлично сочетался «с крайней жадностью по отношению к крестьянской земле и

---

[1] Ю. Ф. Самарин. Соч. М., 1885, III, 32—45; А. Скребицкий. Цит. соч., II, ч. 2-я, стр. 160.

[2] «Военно-статистический сборник», СПб., 1871, IV, 32.

крестьянскому грошу». Иногда даже Покровский готов был преувеличить близость между крепостниками и либералами: «либералы»,—писал он, например,—отличались от «крепостников» более в собственном воображении и изображении, чем объективно»[1].

Что касается политических притязаний либералов, то Покровский совершенно правильно подчеркивает их умеренность; даже наиболее «левый» из них, Унковский, отнюдь не думал посягать на «юридический источник феодального произвола», т. е. на самодержавие. «В сущности, дальше *ответственности чиновников* Унковский не шел: все рекомендуемые им нововведения—гласность, независимый (от местной администрации) суд, ответственность должностных лиц перед судом, «строгое разделение власти» и «самоуправление общества в хозяйственном отношении»—при сохранении политического абсолютизма могли обуздать произвол разве провинциальных администраторов не выше губернатора,—а на практике, вероятно, не обуздали бы даже и их». Кавелин, «в противоположность» шатаниям влево «либеральных помещиков типа Унковского или даже Кошелева», «твердо ставит как идеал прогрессивной буржуазии не конституционную, а самодержавную Россию», настаивая лишь на «самой широкой административной реформе по всем частям». «Абсолютизм и отречение от *политической* свободы при максимуме *гражданской* свободы, как необходимое условие дальнейшего капиталистического развития без революции»,—так характеризует Покровский политическую программу Кавелина[2]. Осуществление крестьянской реформы либералы также представляли себе не иначе, как «сверху», самодержавной властью, опирающейся на дворянство: «грядущий переворот» «должен был отлиться в акт самодержавной власти, поддержанный дворянским обществом». Эту «солидаризацию имущих классов с самодержавием» Покровский правильно объяснял «опасностью снизу, почуянной общественными верхами», «угрозой демократической революции»[3].

Таким образом, характеристика либералов у Покровского совпадает в общем с их характеристикой у Ленина. «Либералы,—писал Ленин в своей работе «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция»,—так же, как и крепостники, стояли на почве признания собственности и власти помещиков, осуждая с негодованием всякие революционные мысли об *уничтожении* этой собственности, о *полном свержении* этой власти... Либералы хотели «освободить» Россию «сверху», не разрушая ни монархии царя, ни землевладения и власти помещиков, побуждая их только к «уступкам» духу времени. Либералы были и остаются идеологами буржуазии, которая не может мириться с крепостничеством, но которая боится революции, боится движения

---

[1] «История России в XIX в.», III, 102—103; «Очерк истории русской культуры», ч. 1-я, стр. 165.

[2] «История России в XIX в.», III, 119; «Русская история», IV, 75—76.

[3] «История России в XIX в.», III, 82, 85, 88.

масс, способного свергнуть монархию и уничтожить власть помещиков»[1]. Покровский понимал, что борьба между крепостниками и либералами была борьбой внутри одного класса, и притом класса господствующего, стремившегося сохранить свое экономическое и политическое господство ценою больших или меньших уступок назревшим потребностям капиталистического развития.

Но правильно характеризуя «борьбу» либеральных помещиков за реформу, Покровский явно недооценивает реальное значение крестьянской борьбы за свое освобождение: эта борьба не только заставила правительство поставить на очередь вопрос о реформе, как думал Покровский, но оказывала на него давление и в течение всего времени ее разработки. Именно «революция крепостных крестьян,—как говорит товарищ Сталин,—ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму эксплоатации»[2]. Не видел он и того, что помещики и крестьяне боролись за *разные типы* капиталистической аграрной эволюции: борьба между крепостниками и либералами шла лишь из-за степени решительности поворота русской деревни на «прусский» путь капиталистического развития, тогда как крестьяне боролись за «американский» путь этого развития[3]. Только непониманием этого существенного различия можно объяснить, например, утверждение Покровского, что «между черноземным «плантатором», тверским либеральным буржуа и самарским феодалом было не больше ладу в иных пунктах, чем между помещиком и крестьянином»[4].

Этим же непониманием объясняется и неправильная характеристика у Покровского позиций Герцена и Чернышевского. Ленин, как известно, считал, что защищаемая Герценом «идея «права на землю» и «уравнительного раздела земли» есть не что иное как формулировка революционных стремлений к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения». Ленин утверждал, что «при всех колебаниях Герцена между демократизмом и либерализмом, демократ все же брал в нем верх», что в конце концов «он безбоязненно встал на сторону революционной демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции»[5]. У Покровского же Герцен является представителем «либерально-монархического» течения. «Политическая наследственность Герцена,—пишет он,—ведет, как к ближайшим предкам, не к Пестелю, и даже не к Рылееву, а к Никите Муравьеву или даже Волконскому или Михаилу Орлову»[6].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 143—144.
[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. 10-е изд., 527.
[3] Ср. выше, стр. 398.
[4] «История России в XIX в.», III, 112.
[5] В. И. Ленин. Соч., XV, 467—468.
[6] М. Н. Покровский. «Русская история с древнейших времен», IV, 137, 139.

«Либеральное течение,—продолжает Покровский,—концентрировавшееся около кружка друзей Герцена, опиралось, как на свою социальную базу, на группу левых дворян, не позабывших еще традиций 20-х годов». «Дворянский авангард, который вел реформы 60-х годов», пользовался «Колоколом», когда нужно было бороться с «феодальной камарильей»; но когда реформа 19 февраля прошла, в «Колоколе» уже не стало надобности. «Герцен должен был утратить влияние, или перейти на более левую позицию. Он смутно понимал это, стал нерешительно, ощупью сближаться с революционными кругами... В конце концов он примкнул к той революции, которую мог понять: к польской... Но тут уже всякие точки соприкосновения с прежней герценовской публикой были потеряны», а, «потеряв своих дворянских читателей, Герцен лишился всякой социальной опоры—политически он теперь не представлял никого»[1]. Достаточно сопоставить эти высказывания с приведенными выше цитатами из Ленина, чтобы стало ясно, что в понимании исторического значения Герцена взгляды Покровского нельзя иначе квалифицировать как антиленинские.

Впоследствии впрочем Покровский частично исправил свою ошибку в характеристике Герцена. В «Сжатом очерке» он уже не изображает Герцена либералом, а правильно характеризует его как «провозвестника мелкобуржуазного социализма в России», т. е. народничества. Но здесь он впадает в другую ошибку: в понимании народнического социализма он становится не на ленинскую, а на меньшевистскую точку зрения. В народничестве он видит только реакционную его сторону—непонимание прогрессивного значения капитализма и революционной роли пролетариата—и не видит его положительной стороны—того, что оно формулировало «революционные стремления к равенству со стороны крестьян, борющихся за полное свержение помещичьей власти, за полное уничтожение помещичьего землевладения»[2].

То же самое нужно сказать и относительно трактовки Покровским Чернышевского. Вот что писал о нем Ленин: «...Чернышевский, развивший вслед за Герценом народнические взгляды, сделал громадный шаг вперед против Герцена. Чернышевский был гораздо более последовательным и боевым демократом. От его сочинений веет духом классовой борьбы. Он резко проводил ту линию разоблачений измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма несмотря на свой утопический социализм»[3]. Чернышевский «умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя—через препоны и рогатки цензуры—идею крестьянской революции, идею борьбы масс

---

[1] Там же, 149—150.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 136—139.

[3] В. И. Ленин. Соч., XVII, 342.

за свержение всех старых властей»[1]. Покровский же хотя и признает Чернышевского демократом, но отнюдь не революционным. Отождествляя его позицию с позицией «Великорусса» (что совершенно неверно), он считает, что «первым кардинальным пунктом расхождения «либералов» и «демократов» в их практической программе» было требование созыва учредительного собрания для свободного составления конституции. Но созыву учредительного собрания должно предшествовать свержение самодержавия, а для этого нужна реальная сила. «В руках Чернышевского и его кружка этой силы не было—тут-то и была ахиллесова пята российского демократизма 60-х годов»; о рабочих еще «никто не думал», на крестьян «можно было рассчитывать лишь для более или менее отдаленного будущего: при данном уровне крестьянской сознательности так легко было, вместо демократии, получить черносотенную пугачевщину,—и Чернышевский отлично это понимал»; об этом, по мнению Покровского, свидетельствует его призыв в прокламации «Барским крестьянам»—«покуда пора не пришла, силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать». Оставалось обратиться к «образованному обществу», а следовательно принять и тактику либералов. «И начавший с такого правильного, так решительно заявленного утверждения, что от правительства ничего не дождешься и не добьешься, «Великорусс» заканчивает проектом всеподданнейшего адреса». Характеризуя «публику Чернышевского», Покровский говорит, что «это опять была публика из зажиточных слоев общества, и в этом отношении сам лидер «великоруссцев» не составлял исключения: Чернышевский, по показанию его самого, зарабатывал до 10 тыс. в год (до 20 тыс. зол. на теперешние деньги), имел экипажи, лошадей и собственную дачу в аристократическом Павловске. И в его лице, таким образом,—а в лице его последователей тем менее,—русская революция не выходила из того круга «порядочных людей», где она основалась со времен тайных обществ 20-х годов»[2].

В «Сжатом очерке» Покровский дает более правильную характеристику позиции Чернышевского: он не приписывает уже ему спасений «черносотенной пугачевщины» и правильно истолковывает конец его прокламации как призыв к крестьянам «*организоваться*, готовясь к восстанию в будущем, в благоприятную минуту». Но и здесь он повторяет свое неверное утверждение, что Чернышевский «стоял в центре» «великоруссцев»[3].

В «Очерках по истории революционного движения», вышедших в 1924 г., т. е. через 13 лет после статей Ленина о крестьянской реформе и через 10 лет после его статьи «Из прошлого рабочей

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 144.

[2] М. Н. Покровский. «Русская история с древнейших времен», IV, 147—149, 150—151.

[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1-я и 2-я, стр. 140.

печати в России», Покровский снова возвращается к той характеристике Чернышевского, которая была им дана в «Русской истории». Признавая, правда, «великолепной» прокламацию Чернышевского и неправильно усматривая в ней даже зародыши аграрной программы РСДРП, поскольку «он предсказал знаменитые отрезки с их экономическим значением в самый момент их появления», Покровский снова подчеркивает мнимое тождество позиции Чернышевского с позицией «Великорусса» и, совершенно искажая подлинное лицо Чернышевского, изображает его типичным соглашателем. «Чернышевский,—по словам Покровского,—был не только родоначальником нашей аграрной программы, ...но несомненно был и родоначальником меньшевистской тактики, которая в том и состояла: «зачем булгу поднимать, и что из этого выйдет, нужно спокойствие сохранять», и потихоньку да полегоньку, опираясь на буржуазию («образованные классы» у Чернышевского), постепенно, путем мирного давления этих «образованных классов», в которых царское правительство не может стрелять, постепенно добиваться от царя всяких уступок»[1].

Только в 1928 г., в связи с юбилеем Чернышевского, Покровский, наконец, уяснил себе его действительное историческое значение. «Это был рупор,—говорит он здесь,—через который говорило негодование широчайших масс». «Материалы для решения крестьянского вопроса» Чернышевского—«не что иное, как в цензурном виде выраженные, ловко замаскированные лозунги крестьянского движения». «Чернышевский с той атмосферой революции, которая веет с его страниц, был той основой, на которой происходило революционное воспитание следующих поколений»[2].

IV

Перейдем теперь к вопросу о сущности реформы и ее историческом значении. Как известно, Ленин называет реформу 19 февраля «проводимой крепостниками буржуазной реформой». С одной стороны, она «была крепостнической реформой и не могла быть иной, ибо ее проводили крепостники». «Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними... Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве». Но с другой стороны, «это был шаг по пути превращения России в буржуазную монархию. Содержание крестьянской реформы было буржуазное, и это содержание выступало наружу тем сильнее, чем *меньше* урезывались крестьянские земли, чем *полнее* отделялись они от помс-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., Л., 1924, стр. 58—59.

[2] М. Н. Покровский. Чернышевский и крестьянское движение конца 1850-х годов. «Историк-марксист», 1928, X, стр. 11—12.

щичьих, чем *ниже* был размер дани крепостникам (т.-е. «выкупа»), чем *свободнее* от влияния и от давления крепостников устраивались крестьяне той или иной местности. *Поскольку* крестьянин вырывался из-под власти крепостника, *постольку* он становился под власть денег, попадал в условия товарного производства, оказывался в зависимости от нарождавшегося капитала. И после 61-го года развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века»[1].

В противоположность Ленину, Покровский занимает в этом вопросе нечеткую и противоречивую позицию. «Буржуазное содержание» реформы осталось для него неясным; поэтому он не видит и того значения, которое она имела для развития капитализма. Он говорит, правда, что «в истории развития русского капитализма это, если не самое замечательное, то самое яркое событие»[2]; говорит также о пореформенной России как о «буржуазной монархии»; в «Русской истории» даже тот раздел, в котором излагается политическая история 60-х годов, так и озаглавлен «Буржуазная монархия». Отсюда, казалось бы, можно было бы заключить, что Покровский чрезмерно переоценивает значение реформы, что он видит в ней гораздо больше, чем только «шаг по пути превращения России в буржуазную монархию». Но это было бы неверно. Покровский сам разъясняет в своей парижской брошюре, как он понимает этот термин. «Русское самодержавие,—пишет он здесь,—не теряя своего феодального значения, своих крепостнических привычек, давно стало приспособляться к потребностям буржуазного капиталистического общества. Крепко держа власть в руках, русские коронованные помещики пользовались ею в интересах не одного только феодального дворянства, а также и в интересах нарождающейся буржуазии. Еще Петр I заботился о нуждах русского капитализма не меньше, а пожалуй даже больше, чем современные ему государи Западной Европы... Реформы Александра II—крестьянская, земская и судебная—представляют собою один из эпизодов этой «буржуазной» политики русского самодержавия»[3]. С этой точки зрения «буржуазной монархией» можно было бы назвать и монархию Петра и монархию Николая I, в политике которого Покровский также подчеркивает заботы об интересах промышленности и торговли.

В большой статье о крестьянской реформе Покровский видит политическое значение реформы в том, что она усилила и укрепила самодержавие. Реальные результаты реформы сводились, по его мнению, лишь к тому, что «феодальная стена, отделявшая 1/3 деревенского населения России от центральной власти, была сломлена:

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 142—143.
[2] «Крестьянская реформа 19 февраля 1861 г.», Париж, 1911, стр. 1.
[3] Там же, 2.

крестьянин перестал быть «подданным» помещика и превратился в то, с чего он начал в XVI в.,—в крепкого земле государева тяглеца». «Связь между ростом самодержавия и крестьянской реформой» представляется Покровскому несомненной: «на пути превращения феодальной России в централизованную бюрократическую монархию 19 февраля было самым важным этапом». В результате «дворянская Россия» «вышла из «эпохи великих реформ» укрепленной и освеженной—способной еще раз дать бой той буржуазной России, перед которой она как будто пасовала уже в 30-х годах». Таким образом, освободившись от остатков «феодальной раздробленности» и превратившись окончательно в «централизованную бюрократическую монархию», самодержавие окрепло, оставаясь попрежнему «правящим комитетом помещиков»: «на счет власти отдельного помещика усилилось централизованное помещичье государство»[1].

Политические последствия реформы Покровский изображает здесь совершенно неверно. Конечно, ценою реформы помещикам-крепостникам удалось сохранить свою диктатуру, но утверждать, что эта диктатура в результате реформы окрепла, никак нельзя: хотя крестьянская реформа и не разрешила вопроса о превращении России в буржуазную монархию, она все же, несомненно, поколебала вековую твердыню феодального государства. Сам же Покровский признает это в более поздних своих работах. «Крепостническое государство,—пишет он, например, в «Сжатом очерке»,—создание торгового капитала представляло собою целую систему управления. Когда вынули, или, по крайней мере, сильно пошатнули краеугольный камень—крепостное право, все здание должно было пошатнуться и дать трещины»[2]. После реформы «феодализм,—писал он еще в «Русской истории с древнейших времен»,—и в *политической* области вынужден был пойти навстречу буржуазному государству... И тем, кто говорил о «буржуазной монархии» в России 1912 г., не следовало забывать, что фундамент этого здания был заложен задолго до того в судебной, земской и других реформах Александра II»[3]. А в «Очерке истории русской культуры» Покровский даже бюрократию объявляет «органом буржуазии» и дворянскую оппозицию «бюрократии» в годы реформы истолковывает как борьбу помещиков с буржуазией[4]. Выходит, следовательно, что «превращение феодальной России в централизованную бюрократическую монархию», о котором он говорит в большой статье о крестьянской реформе, уже само по себе является победой буржуазии. Я не буду останавливаться на том понимании социальной сущности

---

[1] «История России в XIX в.», III, 74, 175, 179.

[2] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, ч. 1-я и 2-я, стр. 101.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 113.

[4] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я, стр. 270—271.

бюрократии (совершенно неверном, конечно), которое предлагает здесь Покровский, так как это выходит за пределы темы настоящей статьи. Моей задачей было лишь показать, какая путаница царит в представлениях Покровского о политических последствиях реформы.

Не меньшую путаницу находим мы у Покровского и в вопросе об экономических последствиях реформы. Вот как изображает он эти последствия. «Крестьяне были освобождены в результате компромисса между торговым и промышленным капиталом, причем львиная доля добычи досталась именно торговому капиталу». «Торговый капитал сохранил все же мелкого самостоятельного производителя, к которому привык: крестьянин был освобожден с землей и прикреплен к этой земле... А главное, торговый капитал сохранил ту машину, которая выжимала из крестьянина «прибавочный продукт», только усовершенствовал ее. Прежде каждый отдельный помещик выжимал этот продукт из крестьянина барщиной, либо оброком, теперь это стало делать все дворянское государство при помощи податей». «Вместо нового костюма, о котором мечтали некоторые, Россия должна была получить несколько довольно прочных заплат на старый». И хотя «самый факт открепления крестьянина от помещика был несомненно успехом промышленного капитала, которому был необходим свободный рабочий», однако этого свободного рабочего промышленный капитал не получил: «ограбленный «великой реформой 19 февраля» крестьянин все же не стал пролетарием», так как он «остался прикрепленным к своей деревне и отданным под опеку дворянской полиции в лице мирового посредника (позже—земского начальника)». «Резервная армия труда, необходимая для промышленного капитала, не была создана у нас сразу, падением крепостного права, а должна была складываться медленно и с трудом *вопреки* тем условиям, при которых произошло это падение». Не оправдался расчет промышленного капитала и на развитие внутреннего рынка: «ограбленный крестьянин далеко не стал тем выгодным покупателем, который русским фабрикам, особенно текстильным, был нужен». В результате «в первые десятилетия после реформы промышленный капитал в России рос довольно медленно», а «в первые годы после освобождения наша промышленность пошла назад, а не вперед». «В „освобожденной“ России индустрия развивалась туже, чем в разгар николаевского „крепостничества“». Таким образом, «для развития капитализма в России условия «освобождения» сыграли роль колодок». Но «понемногу русский капиталист приспособился и к этому «испанскому башмаку». «Одно предсказание дворянских публицистов, проповедывавших реформу перед 1861 г., оправдалось вполне: вольный труд оказался несравненно производительнее крепостного»; «подъем производительности земледельческого хозяйства постепенно поднял и покупательную способность народной массы», и «после небольшой заминки промышленность, особенно текстильная, быстро пошла вперед». Получил в конце концов промышленный капитал и нужную ему «резервную армию труда»: «то, чего так старалось избегнуть правительство императора

Александра II в 1861 г., *пролетаризация крестьянства*, под влиянием податной политики этого самого правительства, шла медленно, но неуклонно, и притом чем дальше, тем быстрее». Помимо податного гнета, разорявшего крестьян, пролетаризации крестьянства способствовала и урезка крестьянского надела в результате реформы: «освобождение» по феодальному типу более способствовало развитию буржуазных отношений в деревне, чем реформа по типу буржуазному... «Дарственник», «освобожденный» по гагаринскому проекту, вел хозяйство более «денежное», нежели щедрее его наделенный землею «собственник»: другими словами, первый был ближе к чистому пролетарию капиталистического общества, тогда как последний являлся промежуточною ступенью не между пролетарием и мелким собственником, как это было бы в условиях развитого буржуазного строя, а между пролетарием и крестьянином феодального типа». Наделение крестьян землей, которого требовала буржуазная программа реформы с целью получения капитала для переустройства помещичьего хозяйства на капиталистических началах, ставило «преграды развитию денежного хозяйства в деревне» и служило тормозом для развития пролетариата. «Превращение дворянского имения в капиталистическое предприятие было куплено, таким образом, ценою задержки буржуазного развития в деревне» [1].

Разберем теперь изложенную схему. Не касаясь вопроса о «торговом капитале» (которому посвящена специальная статья), я остановлюсь только на конкретных последствиях реформы, как они изображены у Покровского. Прежде всего нужно отметить, что Покровский, говоря об экономических последствиях реформы, ни слова не говорит о разложении крестьянства. А между тем быстрое развитие товарных отношений в деревне в связи с реформой чрезвычайно ускорило процесс разложения крестьянства, начавшийся еще в первой половине XIX в. Как было указано выше, Покровский не видел этого разложения в дореформенной России; не видит он его и после реформы. По его мнению, начало этого процесса нужно относить лишь к 80-м годам, годам аграрного кризиса [2]. Но ведь земские обследования 80-х годов, на которых основаны выводы Ленина в «Развитии капитализма в России», подводят итоги длительному процессу, начавшемуся, конечно, гораздо раньше обследования. Игнорирование этого важного явления ведет Покровского к целому ряду других ошибок.

Так, возникновение пролетариата Покровский объясняет, как мы видели, давлением податного гнета и урезкой крестьянского надела.

---

[1] «История России в XIX в.», III, 85; «Русская история с древнейших времен», IV, 98—99, 105, 109—110; «Очерк истории русской культуры», ч. 1-я, стр. 167, 170—172, 174; «Русская история в самом сжатом очерке», ч. 1-я и 2-я, стр. 87—89; «Очерки русского революционного движения», 48, 51, 56.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 225.

Здесь он явно смешивает пролетаризацию крестьянства с пауперизацией: изображая разорение пореформенного крестьянства, он прямо отождествляет разоренного крестьянина с пролетарием. Между тем разоренный крестьянин может быть и не пролетарием, живущим продажей своей рабочей силы, а просто пауперо́м, т. е. крестьянином-бедняком, ведущим полуголодное существование в своем нищенском хозяйстве. Пролетаризация крестьянства представляет лишь одну сторону двустороннего процесса, другой стороной которого является выделение из крестьянской массы сельской буржуазии. «Этот процесс означает коренное разрушение старого патриархального крестьянства и создание *новых типов* сельского населения»[1], свойственных капиталистическому обществу, возникающих на почве развития товарных отношений в деревне. Таким образом, возникновение сельского пролетариата, как и возникновение сельской буржуазии, объясняется не давлением податного гнета и не урезкою крестьянского надела, а той общественно-экономической обстановкой, в которую было поставлено пореформенное крестьянство, т. е. развитием товарного хозяйства.

Другая ошибка Покровского, вытекающая из того же источника, заключается в том, что развитие внутреннего рынка он объясняет повышением производительности крестьянского хозяйства, освобожденного от барщины. Действительно, в первые годы после реформы, в результате усиленной разработки крестьянами их наделов, продуктивность крестьянского хозяйства увеличилась, но с течением времени разорительные для крестьян стороны реформы сказывались все ощутительнее, и о «повышении покупательной способности народной массы» говорить никак не приходится. Внутренний рынок развивался именно вследствие разложения крестьянства, которого Покровский не видел. «*Разложение крестьянства*,—писал Ленин,—*создает внутренний рынок для капитализма*. В низшей группе это образование рынка происходит на счет предметов потребления (рынок личного потребления). Сельский пролетарий, по сравнению с средним крестьянством, *меньше потребляет*,—и притом потребляет продукты худшего качества (картофель вместо хлеба и пр.),—*но больше покупает*. Образование и развитие крестьянской буржуазии создает рынок двояким путем: во-первых и главным образом,—на счет средств производства (рынок производительного потребления), ибо зажиточное крестьянство стремится превратить в капитал те средства производства, которые оно «собирает» и от «оскудевших» помещиков и от разоряющихся крестьян. Во-вторых, рынок создается здесь и на счет личного потребления вследствие расширения потребностей у более состоятельных крестьян»[2]. Любопытно, что крестьянское частное землевладение Покровский не считает буржуазным: «основным типом» буржуазного землевладения он считает землевладение купеческое. Поэтому, отмечая

---

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 125.
[2] В. И. Ленин. Соч., III, 132.

факт роста крестьянского частного землевладения после реформы, он не делает из этого факта никаких выводов[1]. А между тем не только «единоличные» и «товарищеские» покупки земли, но в значительной мере и покупки сельскими обществами определенно свидетельствуют о накоплении земельного фонда в руках крестьянской буржуазии, так как и купленная обществами земля часто распределялась пропорционально количеству внесенных на покупку денег.

Из того же источника вытекает и третья ошибка Покровского—утверждение, что наделение крестьян землей «ставило преграды развитию денежного хозяйства в деревне» и что освобождение «по феодальному типу», т. е. без земли или с нищенским наделом, «более способствовало развитию буржуазных отношений в деревне, чем реформа по типу буржуазному», т. е. с сохранением за крестьянами их наделов. Эта точка зрения резко противоречит действительности: на самом деле именно то обстоятельство, что крестьяне 28 губерний не удержали в своих руках даже своих прежних наделов, а в очень многих случаях получили лишь ничтожные клочки земли, обремененные высокими платежами, служило главным тормозом для развития капитализма в деревне, способствуя сохранению пережитков крепостных отношений. Это обстоятельство прежде всего задерживало процесс разложения крестьянства, процесс образования из него «новых типов сельского населения». Крестьянская масса, сидевшая на нищенских наделах, обремененных высокими платежами, часто не столько пролетаризировалась, не столько превращалась в свободных от личной зависимости и от средств производства наемных рабочих, сколько пауперизировалась, т. е. просто разорялась, превращаясь в задавленных нуждой и кабальной зависимостью бедняков, которые, однако, не окончательно еще освободились от средств производства, ставших уже тяжелым бременем для них самих, но нужных крепостнику-помещику, ведущему отработочное хозяйство руками крестьянина-паупера, привязанного к земле своим нищенским наделом. С другой стороны, это же обстоятельство задерживало также превращение хозяйств зажиточных крестьян в капиталистические предприятия: высокие цены на землю, высокая арендная плата, высокие платежи в казну—все это замедляло процесс накопления в среде зажиточного крестьянства, задерживало распространение усовершенствованных машин и применение наемного труда в хозяйстве зажиточных крестьян.

Это же обстоятельство задерживало капиталистическое развитие и помещичьего хозяйства. Помещикам часто бывало выгоднее вести полукрепостническое хозяйство при помощи издольщины и отработков, сдавая крестьянам в аренду часть своей земли под отработки или даже всю землю на условиях издольщины, чем заводить свой инвентарь, приобретать машины и пользоваться трудом вольнонаемных

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 103—104.

рабочих, словом, переходить к чисто капиталистическому хозяйству. Покровский отрицает, однако, крепостнический характер отработочной системы: *«отработочное хозяйство,*—говорит он,—не простая маскировка крепостного: это, экономически, *хозяйство полубуржуазное»;* «отработочный крестьянин, батрак с наделом, сельский пролетарий—это три последовательные ступени развития наемного труда в земледелии»[1]. Но как раз взятая *с чисто экономической* стороны отработочная система хозяйства ничем почти не отличается от барщинной. И здесь и там крупный землевладелец эксплоатирует крестьянина, владеющего средствами производства и получающего от землевладельца участок земли, который является, и в том и в другом случае, выражаясь словами Ленина, «как бы натуральной заработной платой», «или средством обеспечения помещика рабочими руками». И здесь и там крестьянское хозяйство является «придатком» помещичьего хозяйства. Отработочная система,—говорит Ленин,—«прямое переживание барщинного хозяйства», и «экономическая характеристика последнего приложима к отработочной системе почти целиком»[2]. Разница между отработочной системой и системой барщинной, конечно, есть, но она лежит не в экономической плоскости, а в юридической: барщина основывалась на юридической зависимости крестьян от помещика, отработочный же крестьянин юридически от помещика не зависел. Но и в дореформенной России элементы «внеэкономического принуждения» еще в значительной мере сохранились, способствуя с своей стороны устойчивости отработочной системы.

«В действительности,—писал Ленин,—обезземеление крестьян в 1861 году означало в большинстве случаев создание не свободного рабочего в капиталистическом производстве, а *кабального* (т.-е. фактически полукрепостного или даже почти крепостного) *арендатора* той же «барской», помещичьей земли». «...Слишком часто «надел» был так мал, так обременен чрезмерными платежами, так неудачно для крестьянина и «удачно» для помещика отмежеван, что «надельный» крестьянин неминуемо попадал в положение безысходной кабалы, оставался фактически в крепостнических отношениях, отрабатывал ту же барщину (под видом аренды за отработки и т. п.)». «...С другой стороны, несомненно, что чем больше земли получили бы крестьяне при освобождении, чем дешевле бы они ее получили, тем быстрее, шире, свободнее шло бы развитие капитализма в России, тем скорее исчезли бы остатки крепостнических и кабальных отношений, тем значительнее был бы внутренний рынок, тем обеспеченнее развитие городов, промышленности и торговли»[3]. «Только карикатурные марксисты,—писал Ленин в другом месте,—как их старались размалевать борющиеся с марксиз-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 101.

[2] В. И. Ленин. Соч., III, 139, 140, 142.

[3] В. И. Ленин. По поводу юбилея. Соч., XV, 94—95.

мом народники, могли бы считать обезземеление крестьян в 1861-ом году залогом капиталистического развития»[1]. Таким образом, не *наделение* крестьян землею задерживало развитие капитализма, как думал Покровский, а, наоборот,—*недостаточное* их наделение и те условия, которыми оно было обставлено. Обезземеление крестьян и лежавшие на них тяжелые платежи, вопреки мнению Покровского, не только не способствовали капиталистическому развитию деревни, а, наоборот, замедляли это развитие. Там же, где крестьяне получили земли больше, где гнет выкупных платежей и налогов меньше давил крестьянство,—капиталистические отношения в деревне развивались быстрее.

Крестьянская реформа сохранила, конечно, множество пережитков крепостничества, и эти пережитки задерживали развитие капитализма. Если,—писал Ленин,—сравнивать быстроту развития капитализма в России «с той, которая была бы возможна при современном уровне техники и культуры вообще, то данное развитие капитализма в России действительно придется признать медленным. И оно не может не быть медленным, ибо ни в одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии учреждения старины, несовместимые с капитализмом, задерживающие его развитие, безмерно ухудшающие положение производителей, которые „страдают и от капитализма и от недостаточного развития капитализма“»[2]. Но, несмотря на все сохраненные реформой пережитки крепостничества, она все же дала сильный толчок развитию капитализма,—и прежде всего именно тем, что бросила крестьянское хозяйство в товарный оборот, превратила крестьян «из производителей с преимущественно натуральным хозяйством в товаропроизводителей»[3]. «Основная черта пореформенной эволюции земледелия,—пишет Ленин,—состоит в том, что оно принимает все более и более торговый, предпринимательский характер. По отношению к частновладельческому хозяйству этот факт настолько очевиден, что не требует особых пояснений. По отношению же к крестьянскому земледелию это явление не так легко констатируется»[4]. От Покровского это явление не укрылось, но он не понял его действительного значения. В «Очерке истории русской культуры» он излагает факты, показывающие растущую связь крестьянского хозяйства с рынком после реформы, но рассматривает их только с точки зрения конкуренции крестьянского хлеба с помещичьим[5]. А между тем, как мы видели, с ростом товарности крестьянского хозяйства тесно связано и разложение крестьянства, и развитие внутреннего рынка, и создание «резервной армии труда»,—словом развитие капиталистических отношений, быстро двинувшееся вперед после ре-

---

[1] В. И. Ленин. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции. Соч., XI, 349—350.
[2] В. И. Ленин. Соч., III, 469.
[3] В. И. Ленин. Соч., XV, 93.
[4] В. И. Ленин. Соч., III, 237.
[5] М. Н. Покровский. Очерк истории русской культуры, ч. 1-я и 2-я, стр. 167—169.

формы. «Если,—писал Ленин,—сравнивать докапиталистическую эпоху в России с капиталистической (а именно такое сравнение и необходимо для правильного решения вопроса), то развитие общественного хозяйства при капитализме придется признать чрезвычайно быстрым»[1].

У Покровского же получается, что реформа не только не способствовала развитию капитализма, но, наоборот, задержала его развитие, и если капитализм все-таки развивался, то не *благодаря* реформе, а *вопреки* ей. Недооценив «буржуазное содержание» реформы, Покровский пытался найти объяснение роста капитализма после реформы как раз в тех крепостнических пережитках (обезземеление крестьян, высокие платежи в казну и пр.), которые этот рост задерживали. Неудивительно, что дать удовлетворительное объяснение росту капитализма после «реформы» Покровскому не удалось.

Концепция крестьянской реформы 1861 г., содержащаяся в работах Покровского, противоречит, таким образом, и марксистско-ленинской теории и исторической действительности.

1. Следуя буржуазной теории Струве, Покровский отрицает феодальный характер барщинного хозяйства, рассматривая его как хозяйство «полубуржуазное»; в еще большей мере «буржуазным» представляется ему пореформенное отработочное хозяйство (являвшееся, по выражению Ленина, «прямым переживанием барщинного хозяйства»), которое он рассматривает как первую степень развития наемного труда в земледелии. Это представление о промежуточных, переходных формах, через которые последовательно проходит общественное хозяйство в своем развитии от феодализма к капитализму (крепостное хозяйство—«капиталистическая барщина»—отработочная система—батрацкое хозяйство), резко противоречит учению Маркса об общественных формациях.

2. Рассматривая вопрос о развитии капитализма в деревне, Покровский ограничивается исключительно пределами помещичьего хозяйства, совершенно игнорируя процесс разложения крестьянства, которому Ленин придавал кардинальное значение, так как в результате этого процесса складываются новые типы сельского населения, свойственные капиталистическому обществу, и развивается внутренний рынок, а «степень развития внутреннего рынка есть степень развития капитализма в стране»[2].

3. Следуя той же теории Струве, Покровский ищет причин кризиса барщинного хозяйства в условиях рынка, придавая преувеличенное значение вопросу о хлебных ценах и прибегая к натяжкам для оправдания своих выводов, тогда как причин кризиса всякой хозяйственной

---

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 469.
[2] В. И. Ленин. Соч., III, 42.

системы нужно искать не в условиях обмена, а в условиях производства. «Ни одна общественная формация,—писал Маркс в предисловии к работе «К критике политической экономии»,—не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора...»[1].

4. Признавая значение роста крестьянского движения как стимула, побудившего правительство поставить на очередь вопрос о реформе, Покровский, следуя либеральной традиции, не видит реального значения крестьянской борьбы за свободу в самом ходе реформы, сосредоточивая свое внимание на борьбе между собою различных помещичьих группировок. Не видит он и вскрытого Лениным объективного смысла крестьянского движения этой эпохи как революционной борьбы за «американский» путь капиталистического развития деревни и высказывает даже предположение, что крестьянское восстание легко могло вылиться в «черносотенную пугачевщину».

5. Характеризуя экономические интересы различных помещичьих групп, Покровский неправильно ставит характер помещичьего хозяйства в непосредственную зависимость от размеров землевладения и мало считается с фактическим содержанием проектов губернских комитетов и отдельных их членов, вследствие чего характеристики получаются слишком схематичными и к тому же противоречат одна другой в разных его работах.

6. В оценке исторического значения реформы Покровский решительно расходится с Лениным: в то время как Ленин характеризует реформу как «шаг по пути превращения России в буржуазную монархию», Покровский видит в ней лишь «один из эпизодов.... «буржуазной» политики русского самодержавия», на ряду с «заботами о нуждах русского капитализма» Петра I и Николая I.

7. Политические последствия реформы Покровский видит в окончательном превращении самодержавия в «централизованную бюрократическую монархию», которое он трактует то как усиление помещичьей диктатуры, то как победу буржуазии, что одинаково неверно.

8. Говоря об экономических последствиях реформы, Покровский не замечает как раз того, что Ленин считал самым главным—быстрого развития товарных отношений в деревне и чрезвычайного ускорения в связи с этим процесса разложения крестьянства.

9. С этой основной ошибкой связан ряд других антиленинских положений Покровского: смешение пролетаризации крестьянства с пауперизацией, неверное объяснение развития внутреннего рынка и возникновения «резервной армии труда», неверное утверждение, что наделение крестьян землею задержало развитие капитализма. Отсюда же вытекает и непонимание Покровским того громадного значения, которое имела реформа в процессе капиталистического развития России.

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XII, ч. 1-я, стр. 7.

10. Наконец, нужно отметить еще одну черту, присущую не только рассмотренным, но и всем вообще работам Покровского: следуя традиции великодержавной историографии, Покровский ограничивал поле своего зрения лишь пределами «русской истории», не касаясь вопроса о взаимодействии исторических процессов, протекавших в центре страны, с одной стороны, и в районах, населенных нерусскими народами,—с другой. В этом отношении его трактовка крестьянской реформы также не удовлетворяет тем требованиям, которые выдвинуты в замечаниях товарищей Сталина, Кирова и Жданова по поводу конспекта учебника по истории СССР: чтобы «история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР», чтобы была подчеркнута «аннексионистско-колонизаторская роль русского царизма, вкупе с русской буржуазией и помещиками», и чтобы были показаны «условия и истоки национально-освободительного движения покоренных царизмом народов России» [1].

[1] Сборник «К изучению истории». Партиздат, 1937, стр. 22, 24.

Д. БАЕВСКИЙ

НАРОДНИЧЕСТВО В ОСВЕЩЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I. ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОРНЯХ НАРОДНИЧЕСТВА

В своих лекциях 1923/24 г., изданных под названием «Очерки по истории русского революционного движения XIX—XX вв.», М. Н. Покровский дает свою концепцию русского исторического процесса в целом и истории революционного движения в особенности. Нарисовав широкими мазками картину того, как по русской земле в мономаховой шапке ходил торговый капитал, у которого «на посылках» были помещики-крепостники, Покровский пишет:

«Если мы, став на эту точку зрения, будем рассматривать самодержавие как политически организованный торговый капитализм, мы поймем всю трагедию истории революционного движения. Промышленный капитал, который развивался из торгового капитала стихийно и неизбежно..., этот стихийно, с железной необходимостью вырастающий промышленный капитал требовал совершенно других условий. Поскольку промышленный капитал организует производство—ему не нужно внеэкономического принуждения... И вот то, что внеэкономическое принуждение не нужно для промышленного капитала, делало его великим смертельным врагом самодержавия не только в России, но и во всех странах»[1].

Для Покровского характерно утверждение, что во всех странах великим смертельным врагом самодержавия является не крестьянство, а «промышленный капитал». Если безликое понятие «промышленный капитал» попытаться представить себе в лице хотя бы Милюкова—Гучкова, то трудно вообразить более комическое зрелище, чем выступление этих «почтенных» кадето-октябристских заправил в роли «смертельных врагов самодержавия».

В чем же, однако, особенности революционного движения в России? Проследим весь ход мыслей М. Н. Покровского по этому вопросу.

Тезис 1. Русское самодержавие это не власть крепостников-помещиков, а власть «торгового капитала».

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 1924, стр. 10—11.

Тезис 2. Вопрос о борьбе с самодержавием в России «снимается» (здесь уже начинается «трагедия»), так как «промышленный капитал», «с железной необходимостью» вырастающий из «торгового», «не нуждается» во внеэкономическом принуждении, «а значит» и в самодержавии. Раз «хозяин земли русской» не нуждается в услугах царизма, повидимому, теряет свой смысл и революционное движение[1].

Несбывшуюся мечту меньшевиков о гегемонии буржуазии в русской революции, о превращении пролетариата в ее «пушечное мясо», Покровский принимает за историческую действительность. По схеме Покровского, выступление на историческую сцену революционных масс рабочих и крестьян, свергающих самодержавие, совершенно излишне, так как самодержавие оказывается ликвидированным в течение 12 лет—с 1905 по 1917 г. все тем же промышленным капиталом, который «восстает и против политической организации торгового капитала» (т. е. самодержавия) и, «опираясь на начавшуюся рабочую революцию, ликвидирует самодержавие с 1905 по 1917 г.»[2]. Казалось бы, «опора» более чем странная. Ведь пролетариат России был гегемоном в революциях 1905 и 1917 гг., он боролся под руководством партии Ленина—Сталина. Здесь надо обратить внимание не только на этот антибольшевистский «перл», но и на тезис о «ликвидации самодержавия с 1905 по 1917 г.» Не случайно здесь речь идет о «ликвидации», а не о свержении самодержавия, не случайно победа пролетариата и идущего под его руководством крестьянства в феврале 1917 г. подменяется постепенным исчезновением самодержавия в период 1905—1917 гг. Это видно из следующего рассуждения Покровского о том, почему «история жестоко обошлась именно с Николаем II, а не с его предшественниками».

Все дело в том, что при «предшественниках» капитал (тогда еще торговый) нуждался в «этой коронованной верхушке», а «трагедия» Николая Кровавого была в том, что он стал царем тогда, когда «коронованная верхушка» стала ненужна капиталу (на этот раз промышленному) и он ее за ненадобностью выкинул, как ржавый болт, или, как «образно» пишет Покровский, «поскольку она (упомянутая выше «коронованная верхушка».—*Д. Б.*) не нужна, постольку ее история совершенно безжалостно, как из машины винт негодный, вышвырнула вон».

Получается картина даже не *автоматического краха самодержавия, а его постепенного исчезновения.* Ленин, как известно, считал, что

---

[1] В этих же «Очерках» (стр. 11) М. Н. Покровский пишет, что буржуазным интеллигентам и революционное движение XIX в. «казалось борьбой за свободу», и дальше там же он критикует индивидуалистическое объяснение русской истории XIX в. как «борьбы за свободу» против самодержавия. Следовательно, «борьба с самодержавием»—измышление «буржуазных индивидуалистов». Вот он—струвистский объективизм и «экономизм» Покровского.

[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 12.

«старое правительство... никогда, даже в эпоху кризисов, не «упадет», если его не «уронят»[1]. А «уронить» его может только революционный *класс* путем *массовых революционных действий*. У Покровского в его антимарксистской схеме нет места на исторической арене ни для революционного класса, ни для действия масс и их вождей, их партии. «Действует» у него безликий «торговый капитал», безликий «промышленный капитал», и все это вместе создает то, что Покровский называет «безжалостной историей», неумолимой, как рок, как фатум. Вот где начинается подлинная трагедия, трагедия Покровского, пытавшегося писать историю революционного движения в России, оставаясь на позициях струвистского «объективизма» и фатализма, «дополненного» отвлеченными «социологическими» схемами богдановцев.

«Факты—упрямая вещь». Покровский в силу этого не в состоянии уложить историческую действительность в прокрустово ложе своей карикатурной антимарксистской схемы. Но он искажает историческую действительность. Это сказывается и на освещении им народнического движения.

* * *

Истоки народничества лежат, как известно, в том периоде, когда было отменено крепостное право. Ленин считает, что уже в 60-х годах в народничестве ясно наметилась либеральная и демократическая тенденция[2]. Кадеты и трудовики в 1905—1907 гг. «прямые потомки и преемники, непосредственные проводники обеих тенденций... И то обстоятельство, что в течение полувека обе тенденции выжили, окрепли, развились, выросли, свидетельствует, бесспорно, о силе этих тенденций, о том, что *корни их лежат глубоко во всей экономической структуре России*»[3]. Борьба этих двух тенденций отражает борьбу классовых интересов двух основных классов того времени, отражает борьбу двух путей развития капитализма в сельском хозяйстве—«прусского» и «американского». Народничество Ленин рассматривает как теорию «массовой *мелкобуржуазной* борьбы капитализма демократического против капитализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского»[4]. Корни народничества «лежат глубоко во всей экономической структуре России».

Отсталость царской России второй половины XIX в., слабое развитие промышленности и рабочего класса, огромная сила пережитков крепостничества, преобладание в ней мелкокрестьянского хозяйства—вот те условия, которые породили народничество. «Источник» народничества—преобладание класса мелких производителей в пореформенной капиталистической России»[5].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XVIII, 245.
[2] Там же, XV, 95—96.
[3] Там же, 97 (курсив мой.—*Д. Б.*).
[4] Там же, XIV, 214.
[5] Там же, Соч., I, 283.

Нельзя понять народничества, не изучив эпоху реформы 1861 г., ту эпоху, когда царское самодержавие сделало шаг по пути превращения в буржуазную монархию. Покровский пытается трактовать народничество вне связи с реформой 1861 г. Это особенно наглядно выражено в его «Русской истории в самом сжатом очерке». Достаточно взглянуть в оглавление этой книги, чтобы убедиться, что в главе «Народническая революция» нет даже упоминания о реформе 1861 г. В предшествующей ей главе говорится о Пугачеве, о Радищеве, о декабристах. Лишь в главе «Промышленный капитализм» есть беглое упоминание о «крестьянской реформе 1861 г.». Это, как мы увидим, не случайно.

Покровский трактует крестьянскую реформу как сделку между торговым и промышленным капиталом за счет... помещиков. Например, в «Очерках русского революционного движения XIX—XX вв.» он приводит эту реформу, как пример того, что царь (т. е. торговый капитал в мономаховой шапке) не всегда действовал в интересах помещиков. «Ведь все-таки царь,—пишет он,—освободил крестьян: как ни изображали это событие, как уступку, вырванную у царизма благородными борцами за свободу, борцы как-то мало обнаружили себя именно в это время»[1].

Для Покровского не приемлемо ленинское определение реформы 1861 г., как буржуазной реформы, проводимой крепостниками под напором крестьянского движения. Он иронически пишет о «благородных борцах за свободу». Ведь, по Покровскому, борьба с самодержавием за свободу—это выдумка буржуазных интеллигентов, значит, неуместно о ней говорить и применительно к данному случаю. Промышленный и торговый капитал нашли одинаково приемлемую для того и другого форму сделки, при чем же тут борьба с самодержавием? М. Н. Покровский недооценивал ни крестьянских волнений, предшествовавших и сопутствовавших проведению реформы 1861 г., ни выступлений Чернышевского, ни революционных прокламаций 1861—1862 гг., ни других фактов, которые Ленин расценивает как *революционный натиск на самодержавие.*

Ленин считал, что в 1859—1861 гг. в России была налицо революционная ситуация[2]. Почему из этой революционной ситуации не выросла революция? Потому что не было налицо революционного класса и его партии, способных использовать революционную ситуацию, потому что рабочий класс еще делал лишь первые неуверенные шаги и не мог еще повести за собой весь народ на штурм твердынь самодержавия. «Реформа 1861 года,—пишет Ленин,—осталась только реформой в силу крайней слабости, бессознательности, распыленности тех общественных элементов, интересы которых тре-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 7.

[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 244.

бовали преобразования»[1]. Даже земскую реформу Ленин рассматривает как одну из тех уступок, «которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска»[2].

Покровский старается доказать, что народничество возникло в условиях «тусклого и тоскливого застоя», в условиях, когда Россия двигалась вперед несравненно медленнее, чем в годы николаевского режима. «Эпоха великих реформ,—пишет он,—наоборот, дает чрезвычайно медленный рост русской промышленности и русского капитализма. Совершенно естественно, что это должно было отражаться как-то на общественных движениях... В 40-х годах мы имеем «расцвет русской литературы, расцвет Московского университета, эру Грановского и т. д. и т. п., а на 70-е годы приходится отчаянная борьба небольших групп революционеров и несомненно тусклый и тоскливый застой наверху, в широких буржуазных слоях»[3].

Покровский пытается показать, что размах «общественных движений» целиком определяется «ростом русской промышленности и русского капитализма». В угоду «экономическому материализму», в угоду своей антимарксистской схеме борьбы промышленного и торгового капитала он искажает историческую действительность.

Покровский пытается дать «оригинальную» схему развития общественного движения в XIX в. «применительно» к кривой роста промышленности в России. Почему 60-е—70-е годы в России это—эпоха застоя по сравнению с годами николаевского режима, трудно понять. Даже «эра Грановского» и «расцвет Московского университета» не являются убедительными аргументами. Иную характеристику развития революционного движения в России мы находим у Ленина. В статье «Памяти Герцена» (1912 г.) Ленин пишет:

«Чествуя Герцена, мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала—дворяне и помещики, декабристы и Герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной Воли». Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. «Молодые штурманы будущей бури»—звал их Герцен. Но это не была еще сама буря.

Буря, это—движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой, революционной борьбе миллионы крестьян»[4].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 97.
[2] Там же, IV, 129.
[3] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 39.
[4] В. И. Ленин. Соч., XV, 468—469.

Для Ленина борьба за свободу против самодержавия это—не выдумка буржуазных интеллигентов. Не придавая такого значения, как Покровский, «эре Грановского», Ленин считал, что русский народ может гордиться такими мужественными борцами против самодержавия, как Радищев в 18 веке и революционный демократ Чернышевский. Ленин и декабристов считал революционерами, правда страшно далекими от народа. Не борьба «промышленного» капитала с «торговым», а революционные действия сначала узкой группки революционеров, потом пробуждающихся широких масс, приближение бури, нарастание народной революции—вот что является стержнем истории русской революции для Ленина.

Историческое значение народничества определяется степенью близости революционеров-разночинцев к народу. «Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом»,—пишет Ленин о просветителях-народниках. Это совсем не то, что пытается утверждать Покровский, противопоставляя «эру Грановского» и «расцвет Московского университета» «эпохе реформ» и движению в «народ».

В то же время Ленин ясно показывает, что народническое движение—«это не была еще сама буря», что *только пролетариат,* только большевистская партия смогли поднять к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. По Ленину, народники и большевики—не только люди разных поколений в революции, но и представители *разных классов.*

Говоря о народничестве, Ленин подчеркивает реакционный характер их теории. Их борьба против самодержавия не освещалась правильной революционной теорией. «В течение около полувека,—пишет он,—примерно с 40-х и до 90-х годов прошлого века, передовая мысль в России, под гнетом невиданного, дикого и реакционного царизма, жадно искала правильной революционной теории...»[1]

Ленин считал, что эта теория складывалась в России не только под влиянием развития социальных противоречий, роста классового антагонизма, обнажения классовых интересов, опыта борьбы масс, революционного героизма и исканий борцов против самодержавия, но и под влиянием буржуазно-революционных и социалистических теорий Западной Европы и Америки. Передовая мысль в России,—пишет он,—следила «с удивительным усердием и тщательностью за всяким и каждым «последним словом» Европы и Америки в этой области»[2]. Действительно передовой революционной теорией является лишь учение Маркса и Энгельса, которое было развито великими вождями пролетариата—Лениным и Сталиным.

Ленин связывал народническое движение с попытками (обычно неудачными) применения на русской почве передовых идей Запада.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXV, 175.
[2] Там же.

Нельзя понять народничество, беря его вне связи со всей эпохой 1848—1871 гг., отрывая его от борьбы марксизма с бакунизмом и лассальянством. Но прежде всего исторические корни его надо искать в положении русской деревни непосредственно после реформы. Покровский считает, что не только в «широких буржуазных слоях» царит «несомненно тусклый и тоскливый застой», но и в деревне не заметно никакого движения воды, здесь царит «мертвый штиль» [1]. Этот штиль царит в деревне потому, что «положение крестьян не ухудшилось, а улучшилось, хотя и незначительно» [2]. Трудно представить утверждение более вопиюще противоречащее исторической действительности. Картина, которую рисует Покровский, совершенно неверна даже в том случае, если народническое движение рассматривать лишь на фоне 70-х годов, отрывая его от первых лет пореформенной эпохи. В действительности же нельзя не видеть органической связи народнического движения с тем, что происходило в русской деревне в конце 50-х и в 60-х годах. И крестьянские волнения 1855 г. на юге России, и волнения последующих годов— все это были подземные толчки, вызвавшие к жизни движение разночинцев-революционеров. Хотя Покровский пишет, что борцы против самодержавия «как-то мало обнаружили себя именно в этот момент», в действительности необходимость *уступок* понимал в то время и Александр II, который в своей речи московскому дворянству в 1856 г. говорил, что лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать, пока оно начнет отменяться само снизу.

Наконец, в ходе проведения самой реформы 1861 г. мы имеем такие события, как восстания в селе Бездна, Кандеевке и др. в 1861 г., крестьянские волнения 1862—1863 гг. в разных концах России и «возбуждение крестьян, которых «очень часто» приходилось с помощью военной силы и с пролитием крови *заставлять* принять «Положение», обдирающее их как липку, коллективные отказы дворянмировых посредников принять *такое* «Положение» [3]. Где же здесь «мертвый штиль», «тусклый застой», о котором говорит Покровский? А широкое распространение по всей России герценовского «Колокола», выступления Чернышевского и Добролюбова в «Современнике», студенческие волнения 60-х годов, недовольство в Финляндии, брожение в Польше, перешедшее в вооруженное восстание в 1863 г., повстанческое движение в Литве и Белоруссии, разве вся эта грозовая обстановка не подготовляла «хождение в народ»? Ведь народническая пропаганда начинается не с 1873 г., а со второй половины 60-х годов. Да и в 70-х годах, помимо стачек, помимо возникновения рабочих союзов, мы имеем то, что Ленин называл «общественным

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 61.
[2] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен. Изд. 7-е, IV, 174.
[3] В. И. Ленин. Соч., IV, 126.

возбуждением». И все это на фоне глубокого недовольства ограбленного реформой крестьянства. Вот почему Ленин считал, что и в 1879—1880 гг. налицо была революционная ситуация. В брошюре «Гонители земства и аннибалы либерализма» он показывает колебания и разногласия в правящей верхушке вплоть до манифеста 29 апреля 1881 г., когда «второй раз, после освобождения крестьян, волна революционного прибоя была отбита»[1].

Покровский не понял того, что борьба народников с самодержавием отражает революционную борьбу крестьянства против самодержавно-крепостнического строя. Он не признает связи между этим движением и стихийным протестом, зреющим в недрах крестьянства, «обобранного до нищеты» и отданного «на поток и разграбление фиску и капиталу» (Ленин). Он совершенно искусственно пытается связать народничество с молодым рабочим движением России.

Проиллюстрировав рядом цифр рост промышленности в России в XIX в., приведя ряд цитат, доказывающих, что «рабочий вопрос» существовал еще при Николае I, Покровский пишет: «И вот когда вы к этому комплексу именно присмотритесь, вас перестанет удивлять появление на этой почве *русского социализма*... Бурное развитие промышленности было связано с нарождающимся рабочим вопросом, в связи с этим борьба правительства против пролетаризации, в связи с этим настроенные оппозиционно элементы интеллигенции естественно шли по социалистической линии»[2]. И дальше, подкрепляя свою мысль новыми «доказательствами», он пишет: «Движение 70-х годов идет непосредственно за стачечным движением, движением второй половины 60-х годов... наконец, обострение революционного движения, «Народная Воля» идет вслед за второй волной стачечного движения в Петербурге, за стачками 1878 г.»[3]. Буржуазно-революционное движение народников, этого левого крыла буржуазной демократии в России, Покровский ставит в тесную и непосредственную связь с нарождающимся рабочим движением, подчеркивая в то же время, что в деревне был мертвый штиль, что там революционеры «должны были встретить глухое эхо».

Прежде всего надо отметить упрощенческий подход к объяснению причин, породивших выступление народников. Невольно вспоминается рассказ Н. К. Крупской об одном социал-демократе, добивавшемся ответа на свой вопрос о том, какие изменения в экономике вызвали раскол на II съезде партии. Ленин не раз показывал, как идейная борьба, борьба политических течений «предвосхищают и подготовляют грядущую открытую борьбу классов»[4].

Правильно ли поступает Покровский, ставя создание «Народной

---

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 138.
[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 42.
[3] Там же, 44.
[4] В. И. Ленин. Соч., XXV, 176.

Воли» в тесную связь со стачками 1878 г.? Всякий, кто читал мастерское описание этих стачек и петербургских революционных кружков 70-х годов Г. В. Плехановым, должен притти к выводу, что Покровский в данном случае не прав. Органически связаны с петербургским рабочим движением 70-х годов Степан Халтурин, Виктор Обнорский и созданный ими Северный союз русских рабочих. Характерно, что землевольцы, ознакомившиеся с программными документами союза, почувствовали себя, по выражению Плеханова, в положении курицы, высидевшей утят. Террористические методы политической борьбы народовольцев были не менее чужды этой первой организации петербургских рабочих, чем проповедь воздержания от политической борьбы землевольцев.

Халтурин и Обнорский не были марксистами. Несмотря на желание сблизиться с социал-демократией Западной Европы, они остаются в плену народнических идей. И все же первые рабочие вожаки, те, кто действительно был органически связан с рабочим движением 70-х годов, вступили уже, пусть неуверенно и непоследовательно, на путь, неприемлемый для народников, путь организации сил рабочего класса для борьбы за собственное освобождение и освобождение всего народа. Этот путь к социализму был указан рабочему классу Марксом и Энгельсом. Первые рабочие вожаки стояли на голову выше многих своих руководителей из народнической интеллигенции.

Попытка Покровского «породнить» народничество с рабочим движением подводит нас к вопросу о классовой сущности народничества, о чем будет итти речь в следующей главе. Сейчас отметим, что неверная, антимарксистская схема Покровского приводит его к искаженному изображению тех условий, в которых возникло народничество. Все многообразие исторических фактов гражданской истории 60-х—70-х годов прошлого века Покровский подменяет узко экономической трактовкой вопроса о росте «промышленного капитала». Вот почему выпадают основные, характерные и решающие для той эпохи явления и совершенно искусственно на первый план выдвигается «рабочий вопрос». Получается аберрация и искажение исторической действительности. И здесь антиисторизм Покровского дает себя знать.

II. О КЛАССОВОЙ СУЩНОСТИ НАРОДНИЧЕСТВА

Чьи интересы отражает народничество, с каким классом связывают его узы идейно-политического родства?

Давая ответ на этот вопрос, М. Н. Покровский исключает прежде всего крестьянство, которое, в силу его «экономического индивидуализма», является чуть ли не антиподом социалистически настроенной народнической интеллигенции. Показывая близость народников и либералов, Покровский, однако, не считал первых идеологами крупной буржуазии. Он «роднит» народников с рабочим

движением, но не говорит прямо о том, что они были представителями интересов рабочего класса. Представителем интересов какого же класса является в таком случае народничество? Не видя того, что народники являются идеологами наиболее многочисленного класса мелких производителей—крестьянства, Покровский считает их выразителями интересов самой интеллигенции и прежде всего студенчества. «Борьба за кассы и кухмистерские,—пишет он,—была в буквальном смысле слова исходной точкой всего революционного движения» [1]. Применительно к студенческим кухмистерским Покровский дает анализ теории и практики народничества. Он подкрепляет свою точку зрения данными о возрастном составе подсудимых в процессах 70-х годов и в заключение пишет: «С какого бы конца мы ни подходили, революционное движение 70-х годов отовсюду будет нам представляться как движение учащейся молодежи» [2].

Студенческое движение 60-х—70-х годов Покровский рассматривает как нечто *самостоятельное.* Он даже противопоставляет историю студенческих кружков «истории русской деревни с 60-х по 90-е годы». Он тщательно анализирует социальную психологию, мировоззрение и «классовые интересы» студенчества того времени. Он даже пишет, что «русский социализм 70-х годов являлся отражением интересов и мировоззрения очень небольшой и экономически совершенно невлиятельной общественной группы—студенчества» [3].

В «Русской Истории в самом сжатом очерке» Покровский признает, что у народничества имеется более широкая социальная база—мелкобуржуазная интеллигенция в целом. «Народничество,—пишет он,—мировоззрение грамотея-десятника». Он пускает в ход даже термин «интеллигентская революция».

Насколько неправильно рассматривать интеллигенцию как особый класс, видно из той кристально ясной постановки вопроса об интеллигенции, которую дал товарищ Сталин в своем докладе о проекте Конституции СССР на Чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов. Показав, среди каких классов рекрутировала своих членов интеллигенция в старое время и теперь, товарищ Сталин говорит: «Но как бы она ни рекрутировалась и какой бы характер она ни носила, интеллигенция все же является прослойкой, а не классом» [4]. Покровский, говоря об «интеллигентской революции», все же не оригинален. Он повторяет мысль, высказанную одним из столпов меньшевизма Потресовым («Этюды о русской интеллигенции»). Нельзя не видеть и того, что в вопросе об особой роли интеллигенции сам Покровский не далеко ушел от народников.

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 176.
[2] Там же, 179.
[3] Там же, 168.
[4] И. В. Сталин. О проекте Конституции Союза ССР. Партиздат, 1936, стр. 35.

Чувствуя шаткость постановки вопроса об интеллигенции как представительнице классовых интересов... самой интеллигенции, Покровский дает более «широкую» трактовку классовой сущности народничества. «Революционное движение 60-х и 70-х годов,—пишет он,—есть таким образом движение мелкобуржуазной интеллигенции. Именно интеллигентность и делала его революционным. Мелкая буржуазия, по мере развития капитализма разоряющаяся, превращающаяся в пролетариат (реформа 19 февраля разорила между прочим как раз мелких помещиков, владельцев десятков душ, которым выкупная сумма не дала капитала на заведение нового хозяйства, и *только их*), обыкновенно недовольна, раздражена, брюзжит, ворчит, но ее раздражение не всегда направлено по надлежащему пути»[1].

Сначала отметим некоторые характерные «обмолвки» и курьезы в процитированном отрывке. Говорить, что именно интеллигентность делала определенную часть мелкой буржуазии революционной, значит сбиваться на меньшевистскую точку зрения о том, что «самый бледный либерализм любого интеллигента все же гораздо выше некультурного мировоззрения» крестьянских масс, как писал в 80-х годах П. Б. Аксельрод... Характерно также выставление в качестве представителей разоряющейся мелкой буржуазии («превращающейся в пролетариат»)... мелких помещиков. Это особенно курьезно потому, что забытым оказывается действительно разоренный реформой и действительно мелкобуржуазный по своей природе крестьянин, который, если верить Покровскому, не был в числе недовольных и молчал, «бо благоденствовал», после 19 февраля 1861 г.[2]

Основной же вывод, который надо сделать из приведенного выше высказывания М. Н. Покровского,—это, что народничество—идеология пролетаризующегося городского мелкого буржуа, вытесняемого крупным хозяйством.

В деревне 60-х—70-х годов Покровский видит лишь кулаков и пауперов[3]. Очевидно, середняк в это время уже исчез. Крестьянина как *мелкого производителя* нет. Есть деревенский капиталист—кулак и деклассированный паупер.

Покровский искажает историческую перспективу. Из его поля зрения исчезают борьба с крепостническими пережитками и с само-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Изд. 6-е, 122.

[2] Несколькими строками выше, показывая, кого надо отнести к «недовольной» и «раздраженной» мелкой буржуазии, Покровский пишет: «Сельский поп, владеющий участком земли, уездный чиновник, у которого свой домик в уездном городе, помещик, владелец десятков гектаров,—все это собственники, буржуазия, но буржуазия мелкая». Покровский «забыл» о том, что в России 60-х годов были еще и такие «недовольные» мелкие собственники, как... крестьяне. Вот уж подлинно—слона-то он и не приметил.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 319, 320 и др.; Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., стр. 58—61 и др.

державием, борьба крестьянства в целом против помещиков. На первый план выдвигается вторая социальная война, война в недрах капиталистического общества.

В чем расхождение Покровского с Лениным?

Ленин считал, что народничество 70-х годов (или «крестьянский социализм») сложился «в эпоху, когда капитализм в России был еще весьма слабо развит, когда мелко-буржуазный характер крестьянского хозяйства совершенно еще не обнаружился»[1], когда крестьянство только что вышло из недр феодально-крепостнического общества, когда деревня еще начинала только раскалываться. Известно, что в этой связи Ленин пишет о «крестьянском социализме» 70-х годов в отличие от сложившегося в 90-х годах мещанского социализма. Развернув полностью свою аргументацию против оценки сущности народничества Струве, Ленин в заключение пишет: «Вот эта-то перемена и заставляет отличать идеологию крестьянства от идеологии мелкой буржуазии»[2].

Крестьянин 60-х—70-х годов для Ленина это—мелкий производитель, только что вышедший из недр крепостнического общества, не ставший еще вполне «мещанином», «мелким буржуа»[3]. Покровский же считает, что уже тогда дифференциация крестьянства зашла так далеко, что в деревне остались лишь кулаки и пауперы, что народничество отражает классовые интересы пролетаризующейся мелкой буржуазии. Не усвоив основного в ленинской оценке классовой сущности народничества, Покровский не дает и правильного ответа на вопрос о том, каково должно быть наше отношение к народничеству 70-х годов, не дает правильной постановки вопроса о «наследстве».

Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?» показывает, каково должно быть отношение пролетариата и его партии к революционному движению 40-х—70-х годов, к «просветительству» и народничеству. Он показывает, что традиция борьбы против крепостничества была создана еще до появления народничества. В 40-х—60-х годах нарождается русское просветительство. Лучший представитель его—революционный демократ Н. Г. Чернышевский. Для просветителя,—говорит Ленин,—характерны: 1) горячая вражда к крепостному праву, 2) «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы», 3) «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян». Просветители искренне верили, что отмена крепостного права принесет общее благосостояние, они не видели противоречия и борьбы антагонистических интересов внутри капиталистического общества. Это объясняется условиями того времени «...Когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, *все* общественные вопросы

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 284.

[2] Там же.

[3] Ленин пишет: «Мелкий производитель, хозяйничающий при системе товарного хозяйства,—вот два признака, составляющие понятие «мелкого буржуа», Kleinbürger'a или, что то же, «мещанина» (Соч., I, 284).

сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии»[1].

Ленин подчеркивает, что ничего народнического в наследстве просветителей 60-х годов нет. Он показывает, что «народничество по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось *позади* по сравнению с «просветителями», а то, что они присоединили к наследству, «оказалось в конце концов *минусом*»[2].

Ленин показывает, в чем отличие марксистов («учеников» К. Маркса) от просветителей и народников. «Просветитель,—пишет он,—верит в данное общественное развитие, ибо не замечает свойственных ему противоречий. Народник боится данного общественного развития, ибо он заметил уже эти противоречия. «Ученик» верит в данное общественное развитие, ибо он видит залоги лучшего будущего лишь в полном развитии этих противоречий»[3]. Поэтому народник, в отличие от просветителя и «ученика», стремится задержать это развитие. Дальше Ленин дает характеристику классовой сущности этих трех течений. «Первое и последнее направление соответствуют, по содержанию своих пожеланий, интересам тех классов, которые создаются и развиваются капитализмом; народничество по своему содержанию соответствует интересам класса мелких производителей, мелкой буржуазии...»[4]

Ленин доказывает, что народники, это—представители иного класса, чем марксисты, что они—представители не пролетариата, а мелкой буржуазии. Он показывает, что народничество, продолжая борьбу «просветителей» с крепостничеством (и в этом его прогрессивность), делает шаг назад, развивая теорию о «самобытном пути» развития России и о социалистическом характере русской общины.

Народники не понимали, что капитализм, являющийся злом по сравнению с социализмом, является шагом вперед по сравнению с средневековьем. Они пытались доказать, что с уничтожением крепостничества Россия может пойти не по капиталистическому пути, они «считали буржуазность какой-то случайностью, ждали, что должны еще в «народном строе» открыться другие какие-то общественные отношения»[5].

Считая капитализм в России упадком, регрессом, народники видели самобытность русского «народного строя» в том, что крестьянская община, дожившая у нас до XIX в., является зародышем социалистического общества, залогом развития России по «самобытному» социалистическому пути. Герцен, основоположник народничества, «ви-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., II, 331—332.
[2] Там же, 348.
[3] Там же, 349.
[4] Там же, 350.
[5] Там же, I, 187.

дел «социализм» в освобождении крестьян *с землей*, в общинном землевладении и в крестьянской идее «права на землю»[1].

«Община,—писал Герцен,—спасла русский народ от монгольского варварства, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хотя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти, она благополучно дожила до *развития социализма в Европе*.

Это обстоятельство бесконечно важно для России... Из всего этого вы видите, какое счастье для России, что сельская община не погибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной; какое счастье для русского народа, что он остался вне всех политических движений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания... Человек будущего в России—мужик, точно так же, как во Франции—работник»[2].

В этих высказываниях коренное отличие реакционных теорий народников, в которых, по выражению Ленина, «нет ни грана социализма», от революционной теории марксизма. Эти идеи народничества глубоко враждебны марксизму с его борьбой за организацию сил рабочего класса как гегемона революции, как освободителя всех трудящихся от всякой эксплоатации. Ленин писал в 1905 г.: «Человек будущего в России—мужик, думали народники, и этот взгляд вытекал неизбежно из веры в социалистичность общины, из неверия в судьбы капитализма. Человек будущего в России—рабочий, думали марксисты, и развитие русского капитализма, как в земледелии, так и в промышленности, все более и более подтверждает их взгляды»[3].

Товарищ Сталин, борясь за гегемонию марксизма, отстаивая его революционную теорию, в 1906 г. писал:

«В 80-х годах XIX столетия в среде русской революционной интеллигенции возник замечательный спор. Народники говорили, что главная сила, которая может взять на себя «освобождение России»,—это бедное крестьянство. Почему?—спрашивали их марксисты. Потому,—говорили они,—что крестьянство многочисленнее всех и в то же время беднее всех в русском обществе. Марксисты отвечали: правильно, что крестьянство сегодня составляет большинство и очень бедно, но разве дело в этом? Крестьянство уже давно составляет большинство, но до сих пор оно без помощи пролетариата никакой инициативы не проявляло в борьбе за «свободу». А почему? Потому, что крестьянство, как сословие, изо дня в день разрушается, распадается на пролетариат и буржуазию, тогда как пролетариат как класс *изо дня в день* растет и крепнет. И бедность не имеет тут решающего значения: «босяки» беднее крестьян, но никто не может сказать, что они возьмут на себя «освобождение России».

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 466.
[2] А. Герцен. Собр. соч., изд. Павленкова, 1905, V, 274—275.
[3] В. И. Ленин. Соч., VIII, 361.

Дело лишь в том, кто растет и кто стареет в жизни. И так как пролетариат единственный класс, который непрерывно растет и устремляется к жизни, поэтому наш долг встать рядом с ним и признать его главной силой русской революции,—так отвечали марксисты»[1].

Нельзя было бороться за гегемонию пролетариата в революции, не разгромив народничества, не показав его антипролетарскую, антиреволюционную сущность.

Ленин в заключительной части третьего выпуска работы «Что такое «друзья народа?» пишет: «Я везде старался показать необходимость такого вырождения старых теорий, везде старался уделять возможно меньше места критике этих господ в частности и возможно больше—общим и основным положениям старого русского социализма»[2]. То, что Ленин пишет о реакционности народнических теорий, в полной мере относится и к воззрениям «революционного народничества». Ленин дает в 1897—1898 гг. такую общую характеристику народнических теорий (что относится и к народникам 70-х годов и ко всему более позднему народничеству):

«Под народничеством мы разумеем систему воззрений, заключающую в себе следующие три черты: 1) *Признание капитализма в России упадком, регрессом.* Отсюда стремления и пожелания «задержать», «остановить», «прекратить ломку» капитализмом вековых устоев и т. п. реакционные вопли. 2) *Признание самобытности русского экономического строя вообще и крестьянина с его общиной, артелью и т. п. в частности...* 3) *Игнорирование связи «интеллигенции» и юридико-политических учреждений страны с материальными интересами определенных общественных классов*»[3].

Ленин считал теории народничества «*безусловно* реакционными, *поскольку* они выступают в качестве социалистических теорий»[4]. Ленин не допускает и мысли о том, чтобы в народничестве видеть «зародыш» пролетарского социализма. Народничество это—идеология другого класса. Сущность ленинской постановки вопроса о «наследстве» сводится к тому, что марксизм и народничество две идеологии двух различных классов. Марксизм, использовав практический опыт предшествующего ему революционного движения, возник, сложился и рос в «*непримиримой идейной борьбе со всем народничеством в целом и со всеми народническими партиями*» (тезисы Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б) к 50-летию «Народной Воли»).

Покровский же считает, что революционное движение 60-х—70-х годов «с точки зрения *эмбриологии собственно и стоит изучить. Для нас важно проследить наши лозунги до самых последних корней*»[5].

[1] Л. Берия. К вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, 1937, стр. 78—79.

[2] В. И. Ленин. Соч., I, 188—189.

[3] Там же, II, 339.

[4] Там же, I, 189.

[5] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 62.

Он считает, что «большевистские лозунги вытекают из народнических теорий» и «корни» их надо искать в народничестве. Он считает, что в зародышевом состоянии большевизм можно найти еще у народников, что для нас народничество интересно как период эмбрионального развития большевизма. Это значит, что для Покровского народничество это—идеология *того же класса,* что и марксизм (вспомним, что Покровский роднит народников с рабочим движением 70-х годов). Что это, как не идеализация народничества? В поисках «пророческих» высказываний в документах революционного движения 60-х и 70-х годов Покровский делает ряд «открытий». Оказывается, что в 60-х годах были представители большевистской и меньшевистской тактики. В «меньшевики» Покровский зачисляет революционного демократа Чернышевского, в «большевики»—авторов «Молодой России».

«...Позвольте привести,—пишет Покровский,—образчик настроения большевистского. Это—знаменитая прокламация «Молодой России», прокламация, вызвавшая среди тогдашних меньшевиков страшный шум и гвалт». Это,—пишет он дальше,—«первый памятник нашего революционного социализма, содержащий ряд пророческих черт. Многие черты будущей пролетарской революции были в нем уже налицо»[1].

У Покровского это не обмолвка, не случайность. Он, например, считает, что Ткачев «несомненно был первым русским марксистом»[2]. Это тот самый Ткачев, которого так едко высмеял Энгельс, писавший (по поводу взглядов Ткачева на роль государства в России): «И когда после этого г. Ткачев уверяет нас, что русское государство «не имеет никаких корней в экономической жизни народа, не воплощает в себе интересов никакого сословия», висит «в воздухе», то нам начинает казаться, что не русское государство, а скорее сам г. Ткачев висит в воздухе»[3].

Не трудно видеть, что эти высказывания Покровского созвучны с разоблаченной товарищем Сталиным еще в 1925 г. клеветой фашистского бандита Зиновьева, тщетно пытавшегося превратить Ленина в «крестьянского философа». Вспомним, как товарищ Сталин сорвал маску с троцкистских контрабандистов типа Слуцкого и Волосевича, пытавшихся, подобно Покровскому, превратить большевиков из пролетарских революционеров в буржуазных демократов.

Особенно недопустимы и вредны писания Покровского о народовольческой программе рабочих членов партии «Народной Воли». «Это—программа высоко интересная,—пишет Покровский,—поскольку она предугадывает и конспиративно-революционную работу организации и возможность массовой тактики, т. е. предвидит большевиков не только 1905 г., но и большевиков 1910 г., с их поворотом на госуд.

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 48, 50.

[2] Там же, 50.

[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XV, 256.

думу, поскольку она предвидит даже 1917 г., в лице Временного правительства, контролируемого рабочим классом»[1]. Покровский «предвосхищает» антиленинские высказывания Теодоровича, Рындича, Мицкевича, всех тех, кто, в связи с юбилеем «Народной Воли», пытался выступить с прикрашиванием народовольчества и смазать различие между марксизмом и народничеством[2].

Прикрашивая народничество, Покровский в то же время сбивается на меньшевистско-троцкистскую недооценку революционности крестьянства, недооценку способности пролетариата России повести за собою крестьянство и стать гегемоном в революции, освободителем крестьянства от гнета помещиков. Объясняя неуспех пропаганды народников 70-х годов в деревне, Покровский указывает, что пролетарского влияния в то время в крестьянстве не было. Не было и почвы для восприятия крестьянами социалистической доктрины народников. Наиболее «классово-сознательная» часть крестьянства, по Покровскому, это—кулачество. «Итак,—пишет он,—если можно так выразиться, идейно в деревне в 70-х годах царит кулак... Таким образом, кулаки представляли собой уже в 70-х годах несомненно слой наиболее демократический в деревне и могли бы быть опорою политической революции»... «В этой политической (?!) революции впоследствии кулак принял участие и был на ее стороне (?!), но только до того момента, когда социализм в лице комитета бедноты прямо свалился к нему в деревню»[3].

Отметим прежде всего совершенно нетерпимое, антибольшевистское замечание Покровского о роли кулака в Октябрьскую революцию. Товарищ Сталин, разоблачая тех, кто пытался извратить ленинскую постановку вопроса о трех основных лозунгах партии по крестьянскому вопросу, писал: «Как можно утверждать, что кулаки (тоже, ведь, крестьяне) могли поддерживать свержение буржуазии и переход власти к пролетариату?»[4]. Говорить, что Октябрьская революция была «политической», а социализм появился лишь с введением комбедов (лето 1918 г.), значит заодно с врагами народа Зиновьевым, Радеком и Бухариным отрицать социалистический характер Октябрьской революции и протаскивать те контрреволюционные идейки, которые Сталин еще в 1927 г. охарактеризовал как попытку реставрировать каменевщину 1917 г. Не верно, разумеется, и утверждение Покровского о том, что кулаки представляли слой «наиболее демократический в деревне».

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 80.

[2] В ходе дискуссии о «Народной Воле», в ряде случаев, правильно критикуя Тедоровича и приводя соответствующие высказывания Ленина, Покровский не подверг пересмотру и критике свои собственные антиленинские взгляды (см. его статью «По поводу юбилея «Народной Воли», «Историк-марксист», № 15, 1930).

[3] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 58, 29.

[4] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 10-е изд., 153.

Середняки и бедняки—вот кто прежде всего был заинтересован в доведении до конца борьбы против пережитков крепостничества, в уничтожении господства класса помещиков. Кулак, который не прочь был поживиться за счет помещичьего землевладения, мог ужиться и с помещиком и с царем.

Кроме кулаков, в деревне, по Покровскому, «не было революционных элементов вовсе»[1]. Чтобы обосновать этот антиленинский тезис, он пытается доказать, что вся остальная масса крестьянства «была пауперизована». А «паупер был совершенно не восприимчив к социалистической пропаганде, потому что он ниже всякой политики»[2].

Покровский видит в крестьянстве лишь его средневековые предрассудки и не видит того, что сближает его с рабочим классом. Он пишет, например, «что *царизм* являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян». И дальше: «Несмотря на все ужасы, рисовавшиеся народнической статистике, экономическое положение крестьян после 19 февраля не ухудшилось, а улучшилось, хотя и незначительно, и этого незначительного улучшения было достаточно, чтобы внушить крестьянам известный оптимизм по отношению к будущему»[3]. Монархические настроения крестьянства Покровский считает проявлением не предрассудка, а классового рассудка. У крестьянина, ограбленного в 1861 г., якобы имелись основания с надеждой взирать на царское правительство.

Гениально простая мысль Ленина о двойственной природе мелкого производителя недоступна Покровскому. Вот почему он в своих рассуждениях о классовой природе крестьянства (в связи с народническим движением) впадает в противоположную крайность—затушевывает стихийный характер крестьянских восстаний вплоть до начала XX в., не показывает того, что «крестьяне вне руководства рабочего класса были способны лишь на стихийные и неорганизованные движения» (из постановления жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник по истории СССР). Покровский заменяет марксистский термин «крестьянские войны» другим—«крестьянские революции». В вожди крестьянской «революции» у него попадают не только Богдан Хмельницкий, но и Лжедмитрий.

Говоря о народниках и «бунтарях», Покровский пишет, что они «все ждали стихийного движения, не понимая того, что «стихийными», т. е. слепыми, бессознательными, как стихия, как вода, как огонь, как ветер, прозвала народные революции буржуазия, чтобы их опорочить. На самом деле именно народные движения никогда не бывают слепыми,

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 61.

[2] Там же, 60.

[3] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 174.

народу нужен ясный, отчетливый, хорошо им понимаемый лозунг»[1]. Такая переоценка сознательности эксплоатируемой крестьянской массы до появления пролетариата как гегемона революции искажает историческую перспективу и снижает роль пролетариата как освободителя крестьян от ига помещиков.

В действительности ставка бунтарей на «разбойничий бунт», на появление нового Степана Разина предполагала именно стихийное крестьянское движение. Известно, что товарищ Сталин в беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом показал, что крестьянские войны под руководством Болотникова, Разина и Пугачева представляли «отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета»[2].

Товарищ Сталин подчеркивает, что даже более организованные крестьянские движения, чем выступления Разина, «ни к чему серьезному не могут привести. Крестьянские восстания могут приводить к успеху только в том случае, если они сочетаются с рабочими восстаниями и если рабочие руководят крестьянскими восстаниями»[3].

Только руководство рабочего класса может обеспечить крестьянскому движению успех, только руководимое пролетариатом восстание крестьян перестает быть стихийным народным движением. Покровский отрицает стихийность крестьянских «революций», а Ленин, как известно, считал стихийными не только рабочие «бунты», но и в определенном смысле слова даже стачки 90-х годов. «Ясный, отчетливый лозунг», о котором говорит Покровский, может осветить путь народного движения только тогда, когда налицо пролетарская партия, вооруженная революционной теорией марксизма. О каком ясном, отчетливом лозунге в движении Пугачева или Разина говорит Покровский? Товарищ Сталин напоминает, что, «говоря о Разине и Пугачеве, никогда не надо забывать, что они были царистами: они выступали против помещиков, но за «хорошего царя». Ведь таков был их лозунг»[4]. Разве такой «лозунг» не подчеркивает именно стихийность, бессознательность этих движений?

Товарищ Сталин не раз высказывал одно гениальное положение, дающее в руки историков ключ для понимания многих сложных исторических явлений. Сущность его заключается в том, что до Великой Октябрьской Социалистической революции все революционные движения вели к замене одного вида эксплоатации другим.

«Революция крепостных крестьян,—говорил товарищ Сталин на первом съезде колхозников-ударников,—ликвидировала крепостников и отменила крепостническую форму эксплоатации. Но она поставила

---

[1] М. Н. Покровский. Русск. история в самом сжатом очерке. 148—149.
[2] И. В. Сталин. Статьи и речи от XVI до XVII съезда ВКП(б). Партиздат. 1934, стр. 158—159.
[3] Там же, 159.
[4] Там же.

вместо них капиталистов и помещиков, капиталистическую и помещичью форму эксплоатации трудящихся»[1].

В свете этих сталинских указаний надо рассматривать и вопрос о нашем отношении к лучшим представителям народничества 70-х годов. Ленин говорит, что «марксисты должны заботливо выделять из шелухи народнических утопий здоровое и ценное ядро искреннего, решительного, боевого демократизма крестьянских масс»[2]. Говоря об искреннем боевом демократизме крестьянских масс (наличие которого отрицает, как мы видим, Покровский), Ленин не отождествляет народников с революционными демократами. Еще в своих работах в 1894—1897 гг. Ленин показал, что народники 70-х годов были выразителями демократических требований крестьянства, поскольку они боролись «против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества»[3]. Он показал в то же время, что русское народничество 70-х годов «по целому ряду важнейших вопросов общественной жизни оказалось *позади* по сравнению с «просветителями»[4], что они сделали шаг назад по сравнению с революционным демократом Н. Г. Чернышевским.

К этому же вопросу (о народничестве и революционных демократах) Ленин возвращается в 1912 г. в связи с китайской революцией. На примере китайских народников он показывает то специфическое, что характерно для народничества даже тогда, когда оно сочетается с боевым демократизмом (как это было в России в 70-х годах XIX в.). Вот что он пишет: «Но эта идеология боевого демократизма сочетается у китайского народника, во-первых, с социалистическими мечтами, с надеждой миновать путь капитализма для Китая, предупредить капитализм, а во-вторых, с планом и проповедью радикальной аграрной реформы. Именно эти два последние идейно-политические течения и представляют тот элемент, который образует *народничество* в специфическом значении этого понятия, т.-е. в отличие от демократизма, в добавление к демократизму». И дальше идет высказывание, особенно важное для понимания того, что Ленин имел в виду, когда говорил о *«революционном народничестве»*. «Они субъективно социалисты, потому что они против угнетения и эксплуатации масс. Но *объективные* условия Китая ...ставят на очередь дня» уничтожить *«лишь один определенный исторически-своеобразный вид этого угнетения и этой эксплуатации, именно феодализм»*[5]. Следовательно, лучшие представители народничества вели борьбу за уничтожение *лишь одного вида эксплуатации*—именно феодализма, они были идеологами массовой мелкобуржуазной борьбы «капитализма демократического против капи-

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 10-е изд., 527.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVI, 166.
[3] Там же, I, 189.
[4] Там же, II, 348.
[5] Там же, XVI, 28—29 (курсив мой.—*Д. Б.*).

тализма либерально-помещичьего, капитализма «американского» против капитализма «прусского»[1].

Ленин рассматривал народников как представителей крестьянской буржуазной демократии, стоящих целиком на почве сохранения капитализма, не отождествляя их с либералами. Показывая родство народников и либералов, показывая либерализм эпигонов народничества, говоря о том, что среди эсеров много либералов с бомбой, Ленин в то же время разоблачает меньшевиков, «чудовищная, идиотская, ренегатская идея» которых сводилась к тому, «что крестьянское *движение* реакционно, что кадет прогрессивнее трудовика»[2].

Ренегатские идеи о реакционности крестьянства, наиболее полно развитые Иудушкой Троцким, не чужды и Покровскому. Это мешает ему правильно поставить вопрос о классовой сущности народничества и приводит его к двоякого рода ошибкам, исключающим ленинскую оценку народничества. В своих взглядах на крестьянское движение и на народничество Покровский часто повторяет антимарксистские высказывания Плеханова, никогда не умевшего правильно поставить вопрос о классовой природе мелкой буржуазии и потому допускающего в этом вопросе крен то в одну, то в другую сторону (вспомним хотя бы его высказывания 1883—1885 гг. и 1900—1903 гг.).

Ленин еще в 1894 г. писал, что, поняв, что народнические теории безусловно *реакционны* как социалистические, надо поставить вопрос, «*как следует отнестись рабочему классу к мелкой буржуазии и ее программам?* И на этот вопрос нельзя ответить, не приняв во внимание двойственный характер этого класса... Он является прогрессивным, поскольку выставляет общедемократические требования, т.-е. борется против каких бы то ни было остатков средневековой эпохи и крепостничества; он является реакционным, поскольку борется за сохранение своего положения, как мелкой буржуазии, стараясь задержать, повернуть назад общее развитие страны в буржуазном направлении»[3]. Ленин, ценя в лучших представителях народничества 70-х годов их борьбу против каких бы то ни было остатков средневековья, не считал их последовательными демократами. Последовательно и решительно бороться со всеми пережитками феодализма способен только пролетариат и его партия. Только под руководством пролетариата крестьянство способно на деле вести революционную борьбу со своими врагами. Ленин, на основе опыта 1905 г., писал, что в крестьянстве «с одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости»[4], и эта сильная сторона его нашла свое отражение в творчестве Льва Толстого, который отразил и слабую сто-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIV, 214.
[2] Там же.
[3] Там же, I, 189.
[4] Там же, XII, 333.

рону крестьянства. «Толстой,—пишет Ленин,—отразил накипевшую ненависть, созревшее стремление к лучшему, желание избавиться от прошлого,—и незрелость мечтательности, политической невоспитанности, революционной мягкотелости»[1]. Эта «мечтательность» и «незрелость» присущи и лучшим представителям народничества.

Не народники, не трудовики повели за собой крестьянство на победоносную борьбу против помещиков и капиталистов,—его повела за собой партия Ленина—Сталина.

В условиях подготовки победы буржуазно-демократической революции, когда имела значение борьба американского и прусского пути развития капитализма, Ленин писал о наличии в народничестве на ряду с его реакционными теориями и некоторых прогрессивных демократических тенденций. Когда в порядок дня стала вооруженная борьба масс за свержение капитализма, народники в союзе с кадетами, рука об руку с помещиками и капиталистами боролись против рабочих и крестьян за *сохранение* капитализма, ценою отказа от любых демократических завоеваний революции 1917 г. Естественно, что после того как революция вымела из нашей страны и помещиков и капиталистов, когда был ликвидирован и наиболее многочисленный эксплоататорский класс—кулачество, народническое охвостье, эсеры, вместе с меньшевиками и с самыми гнусными врагами народа из троцкистско-бухаринской банды, борясь за *реставрацию капитализма,* стали агентурой фашистских охранок. Народническое охвостье кондратьевско-чаяновской и эсеровской породы рука об руку с бандитами из шайки Бухарина и Рыкова боролись *против перехода крестьянства на социалистический путь,* против коллективизации. Уничтожая колхозное добро, борясь против зажиточной культурной жизни крестьянства, они показали себя как враги не только рабочего класса, но и *крестьянства.*

В свете всего этого видно, как чудовищны попытки тех, кто пытается, подобно Покровскому, породнить народничество с марксизмом, скрыть тот факт, что все народники стоят на почве *сохранения* и «улучшения» капитализма. Марксисты же борятся за *уничтожение* капитализма и за построение социалистического общества. Ясно, что классовая природа народничества и марксизма *разнородны,* что это идеологии *двух разных классов.* Теории народничества *антиреволюционны* (это относится и к «старому русскому крестьянскому социализму»), без разгрома их невозможно было создание гранитной теоретической базы революционного марксизма в России. Вот та марксистская истина, которую пытался извратить Покровский, гримируя Желябова под большевика, искажая в угоду своей антимарксистской схеме историческую действительность 60-х и 70-х годов, не умея сказать правду о классовой природе народничества.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XII, 334.

III. ВЫРОЖДЕНИЕ НАРОДНИЧЕСТВА И РАЗГРОМ ЕГО МАРКСИЗМОМ

Историю народнического движения 70-х годов М. Н. Покровский сводит к попыткам осуществления сначала социалистической, а затем демократической революции. Народники первой половины 70-х годов и землевольцы это, по мнению Покровского,—борцы за социалистическую революцию, народовольцы, изменившие социалистическим идеалам,—буржуазные демократы. *Особенностью* «Народной Воли» Покровский считает то, что она не восставала против буржуазии и эксплоатации вообще, а ставила себе определенную задачу—путем заговора *добиться политического переворота*, низвержения царской власти и созыва учредительного собрания»[1]. Как будто народники до «Народной Воли» вели борьбу и «против буржуазии» и против эксплоатации вообще, как будто они не были так же, как и народовольцы, *буржуазными* революционерами! То, что Ленин считал сильной стороной народничества 70-х годов, его борьбу с самодержавием («исторический переворот»), его боевой демократизм, Покровский считает слабым местом тактики народничества.

«Промежуточное положение народнической интеллигенции,—пишет Покровский,—между буржуазией и народными массами, портило таким образом всю ее тактику. Воззвать прямо и открыто против *всего* старого строя, бросить эту массу на помещика и купца народовольцы не могли, не умели, как не умели они представить себе политического переворота без участия «либералов», без содействия буржуазии»[2].

Ленин, показывая вред народничества, подчеркивал антиреволюционный характер его теории, тактики, методов. «Не в том состояла ошибка народовольцев,—писал Ленин,—что они постарались привлечь к своей организации *всех* недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. В этом состоит, наоборот, их великая историческая заслуга. Ошибка же их была в том, что они опирались на теорию, которая в сущности была вовсе не революционной теорией, и не умели или не могли неразрывно связать своего движения с классовой борьбой внутри развивающегося капиталистического общества»[3]. Покровский же считает, что народовольцы изменили народничеству, взяв новую ориентировку—на буржуазию[4]. Он даже пишет об изменении и «классового фундамента» народничества во времена «Народной Воли». Он подчеркивает, что землевольство надеялось опереться на крестьянство, народовольцы мечтали использовать оппозиционную буржуазию»[5].

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 147.
[2] Там же, 149.
[3] В. И. Ленин. Соч., IV, 464.
[4] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 77.
[5] М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен, IV, 326.

Не желая видеть в народовольцах *буржуазных демократов,* отражающих, в первую очередь, стихийный протест *крестьянских масс* против пережитков крепостничества, Покровский приписывает им то курс на буржуазию, то ориентировку на пролетариат. Так, на стр. 67 «Очерков по истории русского революционного движения в XIX—XX в.» мы читаем, что народовольцы во главе с Желябовым взяли «курс на буржуазию», а на стр. 75 узнаем, что Желябов примкнул к ориентировке на рабочую массу.

О какой собственно «ориентировке на рабочую массу» народовольцев во главе с Желябовым говорит М. Н. Покровский? О попытке *использовать* рабочих в интересах буржуазной демократии или о защите интересов пролетариата как единственного последовательного борца против всякого гнета, всякой эксплоатации? Ленин показал, что может быть *два подхода* к вовлечению рабочих в политическую борьбу: «К выводу о необходимости поднять рабочего на борьбу с абсолютизмом,—писал Ленин,—можно притти двумя путями: *либо* смотреть на рабочего, как на единственного борца за социалистический строй, и тогда видеть в политической свободе одно из условий, облегчающих ему борьбу. Так смотрят социал-демократы. *Либо* обращаться к нему просто как к человеку, наиболее страдающему от современных порядков, которому уже нечего терять и который всего решительнее может выступить против абсолютизма. Но это и будет значить—заставлять его тащиться в хвосте буржуазных радикалов, не желающих видеть антагонизма буржуазии и пролетариата за солидарностью всего «народа» против абсолютизма»[1]. Так Ленин еще в 1894 г. ясно и решительно ставил вопрос о гегемонии пролетариата.

Покровский, избегая такой ясной постановки вопроса, пытается приписать народовольцам стремление обеспечить рабочему классу гегемонию в революции. Так, например, он пишет, что в программе рабочих членов «Народной Воли» рабочему классу отводится... *самостоятельная классовая* роль. Можно ли более вопиющим образом искажать действительность? Ведь даже приведенная им цитата из программы говорит против *этого* «открытия». Может быть это обмолвка? Увы, нет. По Покровскому, Желябов в этой программе не только «предвосхищает» большевизм (как это было показано выше), но является, по его мнению, прямым предшественником Ленина в деле создания партии нового типа. «Прежде всего,—пишет Покровский,—в этой программе мы встречаем идею, которая потом реализовалась... Идею самостоятельной рабочей революционной партии»[2]. И дальше: «Тут мы встречаем уже совершенно четкую социал-демократическую тактику»[3]. Делая тщетные попытки доказать, что Желябов «пред-

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 194—195 (примечание).
[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 79.
[3] Там же, 80.

восхитил» Ленина, Покровский сам предвосхищает оппортунистические антимарксистские высказывания Теодоровича в связи с юбилеем «Народной Воли».

По Покровскому, большевики реализовали желябовскую «идею самостоятельной революционной партии». Вот как далеко Покровский заходит в идеализации народничества—этого злейшего врага марксизма. Но это еще не все. Известно, что «марксизм у нас вырос и окреп в борьбе с народничеством (народовольчество и т. п.), как злейшим врагом марксизма, и на основе разгрома его идейных положений, средств и методов политической борьбы (индивидуальный террор, исключающий организацию массовой партии)»[1]. Покровский в этом вопросе расходится с ленинизмом, отдавая свое перо историка на службу врагам рабочего класса, врагам советского народа. Он становится на путь идеализации индивидуального террора. Он пишет, например, о террористической организации «Народной Воли», что у нее «скромная программа сочеталась с тактикой самой революционной (!!), какую только можно себе представить»[2]. Это утверждение находится в вопиющем противоречии со взглядами нашей партии на индивидуальный террор на всем протяжении ее существования. У Покровского это опять-таки не описка. Он не только нигде не пытается дать ленинской оценки тактики индивидуального террора, но, говоря, например, о народовольцах 90-х годов и эсерах как об ошибочном течении в *рабочем классе*, так излагает их взгляды на рабочее движение: «В чем же может выразиться этот *революционный почин* интеллигенции? Как она может своим примером показать путь рабочему к революции? Очевидно, одним путем, путем личного *террора*»[3]. И дальше нет ни словечка критики этих взглядов. Так наш «историк-марксист» пишет о террористах языком самих террористов. Обычно охотно полемизирующий М. Н. Покровский здесь превращается в «объективного» летописца, который «добру и злу внимает равнодушно».

Известно, что индивидуальный террор не вызывал, а наоборот, ослаблял массовое движение. Известно, что индивидуальный террор исключал возможность создания массовой партии. Ведь индивидуальный террор органически вытекал из «народнической теории активных «героев» и пассивной «толпы», ждущей от героев подвига. А такая теория и практика исключают всякую возможность активизации масс, возможность создания массовой партии и массового революционного движения»[4]. «Народники отвлекали внимание трудящихся от борьбы с классом угнетателей бесполезными для революции убийствами отдельных представителей этого класса. Они тормозили развитие рево-

---

[1] Постановление ЦК ВКП(б) «О пропагандистской работе в ближайшее время», «Правда», 14 июня 1935 г.

[2] М. Н. Покровский. Русская история с древн. времен, IV, 206.

[3] М. Н. Покровский. Русск. история в самом сжатом очерке, III, 47.

[4] История гражданской войны в СССР, I, 26.

люционной инициативы и активности рабочего класса и крестьянства»[1].

В борьбе с народническими идеями большую роль сыграл еще Плеханов, который в своих работах «Наши разногласия», «Социализм и политическая борьба» и других,—показал ошибочный характер взглядов народовольцев. Своей яркой критикой реакционной народнической идеологии Плеханов нанес народничеству решающий удар. Покровский совсем проходит мимо той положительной роли, которую сыграл Плеханов в борьбе с народничеством. Он не показывает также, что Плехановым «идейный разгром народничества далеко еще не был завершен. Эта задача—добить народничество, как врага марксизма—выпала на долю Ленина»[1]. Еще Плеханов показал, что народовольцам народ представлялся как «неуклюжий черноземный богатырь, способный сотни лет оставаться недвижимым на своих пресловутых „устоях“»[2]. Ленин в 1897 г. показал, что «для народовольца понятие политической борьбы тождественно с понятием политического *заговора*»[3]. Несколько лет спустя он писал о том, что первые марксисты росли на борьбе с заговорщическими тенденциями народовольцев, «которые понимали под «политикой» деятельность, оторванную от рабочего движения»[4]. Индивидуальный террор это—тактика тех, кто *оторван от масс,* кто не чувствует поддержки масс, кто боится их выступления на политическую арену. Совершенно естественно, что в 1917 г. народники-террористы, увидев народ поднявшимся на борьбу со своими угнетателями, попытались вместе с Половцевыми и Корниловыми усмирить его пулеметным огнем. Когда советский народ справился с Корниловым и вел борьбу с Каледиными, Деникиными и с интервенцией их заграничных хозяев, господа Савинковы и Семеновы вкупе с фашистами Троцким и Бухариным пошли по пути бандитизма и индивидуального террора против лучших представителей народа, против вождей большевистской партии, против Ленина и Сталина. Понятно, что и германская, и английская, и прочие разведки щедро оплачивают «услуги» этих остервенелых врагов народа и их соратников из троцкистско-бухаринской банды.

Гениальность Ленина заключается между прочим и в том, что он еще накануне революции 1905 г. считал террор эсеров средством, «дезорганизующим не правительственные, а революционные силы»[5]. Позднее, в 1906 г., опираясь на опыт 1905 г., Ленин писал: «Террор был заговором интеллигентских групп... Террор не подготовлял никаких боевых руководителей масс. Террор был результатом—а также симп-

---

[1] «История Всесоюзной Коммунистич. партии (б). Краткий курс». «Правда», 9/IX 1938.
[2] Г. В. Плеханов. Соч., III, 55—56.
[3] В. И. Ленин. Соч., II, 188.
[4] Там же, IV, 56.
[5] Там же, 109.

томом и спутником—*неверия в восстание, отсутствия условий для восстания*»[1]. Ведь именно потеря надежды на возможность массовых антисоветских восстаний после ликвидации кулачества как класса, сознание полной беспочвенности и обреченности подсказала троцкистско-бухаринским бандитам и всем другим врагам советского народа переход к индивидуальному террору.

Покровский, повествуя о «подвигах» народовольцев, пытается доказать нечто прямо противоположное: он указывает, что неосновательность «обывательского представления, что власть можно запугать» террором, прекрасно понимали сами народовольцы: на психологический эффект испуга они сами рассчитывали только как на минутное средство в решительный момент—в начале *народного восстания*. Без этого последнего и помимо него они сами не мыслили террористической тактики»[2]. Неверно, что террористическая тактика «Народной Воли» была лишь «почином», «примером», для масс, подымающихся на восстание. Она была результатом *неверия в восстание*, она была спутником отказа от восстания. Лучшим подтверждением этого является террористический акт против Александра II. Событие 1 марта 1881 г. Исполнительный комитет «Народной Воли» меньше всего мыслил как пролог к всенародному восстанию. Это видно и из показаний самих народовольцев (например Ошаниной), но самым убедительным и красноречивым документом являются прокламации, выпущенные народовольцами непосредственно после 1 марта 1881 г. Ни в обращении «К обществу» (прокламация Исполнительного комитета «Народной Воли» 1 марта 1881 г.), ни в воззваниях к рабочим («От рабочих членов партии «Народной Воли» 1 марта 1881 г.), ни в послании «к честным мирянам, православным крестьянам и всему народу русскому» (2 марта 1881 г.) нет и намека на призыв к восстанию. В последней прокламации, например, говорится: «Православные крестьяне. Подавайте всем миром Государю прошение, посылайте к нему ходоков...» И дальше: «Собирайтесь всем миром и пишите прошения»[3].

Где же тут начало «народного восстания», о котором пишет Покровский? Непростительно смешивать своеобразную петиционную кампанию с вооруженным восстанием.

При такой установке на идеализацию народничества тщетно было бы искать в исторических трудах Покровского показа борьбы марксизма против народничества и разгрома народничества Лениным. Вместо того чтобы показать Маркса и Энгельса как первых критиков народничества, вместо того чтобы показать борьбу Маркса и Энгельса с Бакуниным, их критику Ткачева, Лаврова, критику народнических иллюзий относительно особой роли общины в России, вместо всего этого

---

[1] Там же, IX, 26 (курсив мой.—*Д. Б.*).

[2] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 206.

[3] «1 марта 1881 года». П., 1920, стр. 9.

Покровский пытается превратить Маркса в «почти народника». Так, например, он пишет, что народники до такой степени настойчиво повторяли, что в России социализм пойдет не от фабрики, а от сельской общины, что «сам Маркс на минуту поколебался»[1].

Борьбу группы «Освобождение труда» против народничества Покровский совсем не показывает. Ее членов он представляет как народников «со знаком минус» как представителей «мужикофобства», пришедшего на смену народническому крестьянофильству. Процитировав слова программы 1884 г. о том, что главнейшей опорой абсолютизма являются политическое безразличие и умственная отсталость крестьянства, Покровский пишет: «Такого полного и совершенного мужикофобства мы не встретим и в позднейшей марксистской литературе. С этой точки зрения «проект программы группы „Освобождение труда“ навсегда остался наиболее решительным и последовательным памятником русского марксизма»[2].

Покровский видит в членах группы «Освобождение труда» «последовательных» марксистов именно тогда, когда они становятся на антиреволюционные позиции в крестьянском вопросе, когда в их литературных выступлениях пробивается меньшевистская тенденция.

Понятно, что, не будучи последовательным марксистом, критикуя часто народничество с неправильных позиций, Плеханов не в состоянии был решить задачу разгрома народничества. Это смог сделать только Ленин.

Ленин еще в 1894 г. дал уничтожающую критику народнических теорий, сорвал маску с этих «друзей народа» и показал их подлинное антиреволюционное мещанское лицо.

В ходе борьбы с народничеством Ленин сделал величайший вклад в сокровищницу революционной теории марксизма. Достаточно упомянуть такой памятник революционного марксизма, как «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» Ведя борьбу за партию нового типа, Ленин добился разгрома идейных положений народничества, его средств и методов политической борьбы. Покровский и в четвертом томе своей «Истории России с древнейших времен», и в третьей части «Русской истории в самом сжатом очерке» и в «Очерках по истории русского революционного движения» замалчивает борьбу Ленина с врагами марксизма.

Единственное упоминание о Ленине в четвертом томе «Истории России с древнейших времен» имеется у Покровского в том месте, где он «поправляет» меньшевика Мартова, якобы переоценившего значение К. Тулина (Ленина). Он отмечает, что «объективность историка» заставила Мартова признать, что Плеханов не сумел в 90-х годах дать Струве ту оценку, которую ему дал К. Тулин

---

[1] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 241.

[2] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 283.

(Ленин), и тут же Покровский пишет: «И Тулин не предвидел того, что дала русская действительность, что ...крупная промышленная буржуазия может стать вернейшей опорой политической реакции»[1].

Здесь же Покровский утверждает, что легальные марксисты развивали «те самые идеи, которые десятью годами раньше были формулированы группой «Освобождение труда»[2]. Искажая картину борьбы за революционный марксизм в 90-х годах, Покровский дает карикатурное изображение первых марксистов и их борьбы с либеральными народниками. Он утверждает, что «первые социал-демократы» в своей пропагандистской работе не выдвигали «на первый план свои марксистские лозунги», что «первые рабочие-марксисты подходили к пропаганде новых идей с чисто народническими приемами»[3]. Наконец, он рисует картину того, как сознательные рабочие пытались примирить марксистов и народников и заставили в конце концов лучших народовольцев писать прокламации, «совершенно удовлетворявшие марксистов»[4]. Эта идиллическая картина должна затушевать тот исторический факт, что марксизм в России возник в жестокой борьбе с народничеством.

Покровский не показывает вырождения народничества в 90-х годах. Он не различает, как это делает Ленин, «старое» и «новое» народничество. «Трагедия народников, не находящих отклика своей «социалистической пропаганды» среди «индивидуалистически» настроенных крестьян, студенчество как «главный корпус» народнического движения—все это остается неизменным и в 90-х годах. Нарисовав несколько эпизодов из крестьянского движения, свидетельствующих об «ограниченности кругозора революционного крестьянства», Покровский пишет: «Более общую постановку хотя бы земельного вопроса можно было найти как раз не у того элемента деревни, на который возлагала все надежды революционная интеллигенция, не у «деревенской бедноты», а у ее социального противника—так ненавистного интеллигенту-народнику сельского кулака, которого этот интеллигент готов был зачислить в первые друзья исправника и помещика»[5]. Иронические кавычки, в которые взяты слова «деревенская беднота», и полемика по поводу кулака как друга помещика и исправника метят явно не столько в народников, сколько в Ленина.

Единственный элемент,—пишет дальше Покровский,—у которого интеллигенция могла встретить политическое понимание, оказывался по ту сторону баррикады в социальном отношении. Ибо, не нужно забывать, наша крайняя левая интеллигенция и в начале XX века продолжала оставаться *социалистической*, какой она была в 50-х го-

---

[1] Там же, 285.
[2] Там же, 284.
[3] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке, 176.
[4] Там же, 177.
[5] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 319.

дах XIX века: и причина была та же: попрежнему главный корпус этой интеллигенции составляло студенчество»[1].

Сравнивая же эту выдержку с тем, что цитировалось в главе второй о народничестве 70-х годов, мы убеждаемся, что Покровский не ставит вопроса об эволюции народничества. Политический радикализм партии «Народной Воли», сближение ее с либералами Покровский трактует как некое «грехопадение». Чтобы «марксистски» обосновать этот «печальный факт», он обращается к анализу бюджета «Народной Воли», обнаруживает в нем значительные поступления от буржуазных кругов и делает отсюда вывод: «Материально, значит, они (народовольцы.—*Д. Б.*) зависели от буржуазии; и эта материальная зависимость от буржуазии мало-по-малу приводит к тому, что «Народная Воля» перестает быть фактически социалистической партией». И дальше: «Под влиянием того материального фактора, от от которого зависела «Народная Воля», начинается понижение лозунгов этого движения»[2]. И в заключение снова грустные размышления на ту же тему: «Буржуазия дала некоторые материальные средства, но зато почти вынула социалистическую душу из революционеров народников 70-х годов»[3]. Народники как бы продали свою «социалистическую душу» буржуазному дьяволу. Вот он—антимарксистский метод Покровского во всем его блеске!

Эта плоская вульгарная схема не объясняет процесса эволюции народничества. Она в корне противоречит ленинской оценке этой эволюции. В действительности корней эволюции народничества, его вырождения надо искать в тех процессах, которые происходят далеко за стенами университета и студенческих кухмистерских и прежде всего—в процессе дифференциации крестьянства под влиянием быстро идущего вперед развития капитализма в России. В пореформенную эпоху производительность труда повышается. Если в 1864—1866 гг. на одну душу приходилось 2.48 четвертей сбора зерновых хлеба и картофеля, то к 1885—1894 гг. производство хлеба возрастает до 3.02 четвертей хлеба на душу. Растет торговое земледелие: «...Увеличивается торгово-промышленное население; земледельческое население раскалывается на сельских предпринимателей и сельский пролетариат»[4].

Внутри крестьянской общины идет борьба классовых интересов крестьянской буржуазии и деревенской бедноты. «Нет ни одного экономического явления в крестьянстве, которое бы не имело этой, специфически свойственной капиталистическому строю, противоречивой формы, т. е. которое не выражало бы борьбы и розни интересов,

---

[1] М. Н. Покровский. История России с древнейших времен, IV, 320.
[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения, XIX—XX вв., 75.
[3] Там же, 76.
[4] В. И. Ленин. Соч., III, 189—191.

не означало плюс для одних и минус для других»[1]. Дифференциация крестьянства идет за счет середняка. Создаются «два новых типа сельского населения»—сельская буржуазия, кулачество и «класс наемных рабочих с наделом»—деревенская беднота.

Именно в этих экономических процессах, происходящих в пореформенной деревне, Ленин видит первопричину вырождения народничества. Так, еще в 1894 г., он пишет: «...Деревня... раскалывается. Мало того, деревня давно уже совершенно раскололась. Вместе с ней раскололся и старый русский крестьянский социализм, уступив место, с одной стороны, рабочему социализму; с другой—выродившись в пошлый мещанский радикализм. Иначе как вырождением нельзя назвать этого превращения»[2].

Мещанскому радикализму народовольцев и народников 90-х годов Ленин находит объяснение не в поступлениях средств от буржуазии на конспиративную работу против самодержавия, как это делает Покровский. Ленин, как подлинный диалектик-материалист, вскрывает противоречия развивающегося в России капиталистического общества и дает единственно правильное материалистическое объяснение факту *вырождения* народничества и разгорающейся борьбе между представителями рабочего социализма—марксистами, и мещанскими радикалами-народниками.

Ленин показывает, что к 90-м годам народничество вырождается в буржуазное реформаторство, которое расплывается в либерализме. «Это было уже,—пишет он,—в основе своей, не более как буржуазное реформаторство; народничество расплывалось в либерализме; создавалось либерально-народническое направление, которое не хотело видеть или не могло видеть, что проектируемые мероприятия (все эти кредиты, кооперации, мелиорации, расширения землевладения) не выходят из рамок *существующего* буржуазного общества»[3].

По мере нарождения крестьянской буржуазии народники все более обнаруживают свое настоящее лицо как идеологов «чумазого» капиталиста, кулака. Вот почему они, говоря о разных «прогрессах» в крестьянском хозяйстве, умалчивают о том, что все эти «прогрессы» «сопровождаются (и обуславливаются) массовой экспроприацией крестьянства»[4]. В этом отношении они продолжают традиции старых либералов, усиленно замазывавших «антагонистичность русской жизни»[5].

Ленин показывает *неизбежность вырождения* народнических идей. К 90-м годам отпадает словесная шелуха социалистических утопий раннего народничества и обнажается классовая основа народничества как идеологи деревенской буржуазии.

Приведя высказывания гг. Кривенко, Южакова, Карышева и про-

---

[1] Там же, 125.
[2] В. И. Ленин. Соч., I, 168.
[3] Там же, VI, 113.
[4] Там же, I, 98.
[5] Там же.

чих «друзей народа», Ленин показывает, в чем сущность их политической программы. «Всмотритесь,—пишет он,—в эту программу и вы увидите, что эти господа *вполне и целиком становятся на почву современного общества* (*т.-е. на почву капиталистических порядков*, чего они не сознают) и хотят отделаться штопанием и починкой его, не понимая, что все их прогрессы—дешевый кредит, улучшения техники, банки и т. п.—в состоянии *только усилить и развить буржуазию*» [1].

Покровский пишет об эпигонах народничества, ставших выразителями интересов кулачества, что они не нашли общего языка с кулаком (то же он пишет и об эсерах). А Ленин показывает, как народники из сантиментальных романтиков превращаются в певцов всяких «прогрессов», хозяйства крепкого мужичка. Ленин, разоблачая народников, срывая с них маску «друзей народа», показывая, что скрывается под их социалистической фразеологией, пишет: «Вот они, эти друзья мелких «народных» буржуев, во всем самоуслаждении своими мещанскими прогрессами!» [2].

Сохранить и «заштопать» капитализм, усилить и развить буржуазию—вот в чем сущность народничества, этого злейшего врага марксизма. Ленин видел, куда растет народничество. Он считал, что карьера русского террориста Караулова поучительна, что его превращение из бывшего народовольца в одного из самых подлых контрреволюционных кадетов III Думы не случайность. Не случайным считает Ленин заявление этого народника-террориста на одном из митингов 1905 г.: «Если передо мной будет два лагеря—в одном—правительственные войска, в другом—революционеры с пресловутым лозунгом диктатуры пролетариата, то я, не задумываясь, пойду с первыми против вторых». Процитировав эти слова Караулова, Ленин пишет: «Это не случайность, а неизбежный результат развития классового сознания русской буржуазии, увидавшей *на опыте*, как близок момент, когда «лагерь» монархии и лагерь революции встанут друг против друга,—увидавшей на опыте, *какой* выбор приходится при этом делать ей, буржуазии» [3]. Ленин считает, что в лице Караулова мы имеем типичного представителя буржуазной интеллигенции, в том числе и эсеровской, которая перед лицом революционного выступления масс против своих угнетателей будет на стороне тех, кто возьмется усмирить восставший народ, особенно, если он выступит с «лозунгом диктатуры пролетариата».

Ленинская оценка народничества, с его враждебными пролетариату тактикой и методами политической борьбы (индивидуальный террор), с его стремлением *сохранить капитализм*, приводит к пониманию неизбежности *вырождения* народников вплоть до современных про-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., I, 145 (курсив мой.—*Д. Б.*).
[2] Там же, 160.
[3] Там же, XV, 77.

фессиональных убийц и шпионов фашистских охранок. Она говорит о том, что такие люди, как белобандит Савинков, как эсеровские убийцы вроде Каплан или Семенова,—не случайность, что эти «активные герои» с неизбежностью должны были стать белобандитами, субсидируемыми соответствующими контрразведками, когда те, кого они считали «пассивной толпой», обманули их надежды и взялись за строительство новой прекрасной жизни, нового социалистического общества. Она объясняет нам, почему один из «теоретиков» народничества, С. Маслов, оказался практиком фашистской шпионско-диверсионной вредительской и террористической «деятельности», работающим «в контакте» с мерзавцами из троцкистско-бухаринской банды.

Взгляды Покровского на народничество ничего общего не имеют с ленинскими, они диаметрально противоположны им и льют воду на мельницу меньшевистско-троцкистских врагов народа. Террористы-народники, по Покровскому, не только не дезорганизовали борьбу масс, а были застрельщиками массового революционного движения. Их антипролетарскую практику Покровский считает «самой революционной». Он рисует идиллическую картину гармонического «слияния» народничества с марксизмом в 90-х годах. Он не признает факта эволюции и *вырождения* народничества, борьбы с ним марксизма и *разгрома* последышей народничества Лениным и Сталиным.

А. СИДОРОВ

ОШИБКИ М. Н. ПОКРОВСКОГО В ОЦЕНКЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 1904 — 1905 годов

Марксизм требует безусловно точной оценки, на основании конкретных данных, каждой отдельной войны.

(Ленин. Соч., т. XXI, стр. 305)

Изучение истории русско-японской войны 1904—1905 гг. военщиной и другими фашистскими кругами Японии имеет своей целью оправдание современной японской империалистической грабительской политики в Китае и Корее и подготовку новой войны против Советского Союза. Между тем наши историки слишком мало уделяют внимания этому эпизоду борьбы двух империалистических государств—царской России и Японии—за раздел Китая и Кореи в период формирования империализма в обоих государствах.

М. Н. Покровский в последнее десятилетие своей жизни неоднократно писал о русско-японской войне. Но на все его исследования об этой войне наложила свой отпечаток его антимарксистская, антиленинская методология. Он часто пересматривал свои взгляды, вносил поправки, переделывал свою концепцию в деталях. Но это мало помогало. В конечном итоге все его варианты истории русско-японской войны являются чрезвычайно далекими от ленинизма. Концепция русско-японской войны М. Н. Покровского не вскрывает ни действительных причин этой войны, ни ее характера. Она тем самым помогает японскому империализму использовать опыт этой войны против нашей родины, для подготовки нового нападения на страну пролетарской диктатуры.

Конкретное исследование русско-японской войны у Покровского упиралось в его антимарксистские, антиленинские общеисторические взгляды, отступить от которых он не мог. Методология «экономического материализма» приводила его к антиленинской трактовке таких важнейших вопросов истории, тесно связанных с оценкой русско-японской войны, как характер экономического развития царской России начала XX в., вопрос о вступлении российского капитализма в стадию империализма и о сущности военно-феодального империализма, о месте и роли царской России в системе мирового империа-

лизма, о классовой природе царизма накануне русско-японской войны, вопрос о характере колониальной политики царизма и т. п. Наконец, для Покровского характерно полное пренебрежение военно-технической и стратегической сторонами войны. Фактически Покровский бросает свою тему на том месте, где, собственно, и начинается существо дела. Он доводит исследование лишь до начала войны. Лишь в своей работе «Русская история в самом сжатом очерке» он дает коротенький очерк военных действий, в других же своих работах совсем обходит этот вопрос.

Война между царской Россией и империалистической Японией началась 26 января (старого стиля) 1904 г. внезапной атакой японских миноносцев на русскую тихоокеанскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде портартурской крепости. Япония формально даже не объявила войны царской России. 24 января, после многомесячных переговоров между обоими правительствами, в течение которых они не договорились между собою о разделе Китая и Кореи, были прерваны дипломатические отношения. Днем 25 января из Порт-Артура ушел японский пароход, забравший японских резидентов и выполнивший функции разведчика.

Несмотря на то, что война висела в воздухе, наместник Дальнего Востока адмирал Алексеев и командующий флотом адмирал Старк не приняли никаких мер предосторожности. Эскадра после учения была оставлена на якорях, с потушенными огнями, на внешнем рейде. Не была выставлена надлежащая охрана. На кораблях не были спущены минные сети, пары в котлах не разведены. Экипаж эскадры мирно спал, а высшее командование, начиная с самого адмирала Старка, нарушив военный приказ, бросило корабли и тайком перебралось в город справлять именины жены адмирала Старка.

За эту беспечность и расхлябанность царское правительство было жестоко наказано: два лучших броненосца русского флота—«Ретвизан» и «Цесаревич»—и один крейсер «Паллада» были подорваны. Нападение японцев, означавшее фактическое начало войны, было полной неожиданностью как для правительства, так и для наместника Алексеева, поставленного в Порт-Артуре специально для защиты престижа царского правительства на Дальнем Востоке и охраны награбленных у Китая территорий. Когда адмирал Алексеев ночью с 26 на 27 января запросил, почему происходит стрельба, дежурный офицер штаба ответил, что это—ученье; флот отражает минные атаки. Русскому народу пришлось расплачиваться в Манчжурии в течение почти 20 месяцев за это «ученье».

Непосредственным агрессором, начавшим эту войну, является империалистическая Япония. Причины этой войны—в соперничестве и колониальной борьбе на Дальнем Востоке между японским военно-феодальным империализмом и русским из-за раздела Китая и Кореи. Эти причины войны можно проследить за целые 10 лет до начала войны.

Как оценивали эту войну и каково было отношение к ней большевистской партии и вождей этой партии и русского пролетариата—товарищей Ленина и Сталина?

Русские большевики с самого начала этой войны характеризовали ее как войну грабительскую, империалистическую, связанную с появлением финансового капитала и империализма в царской России и Японии начала XX в. Большевики видели причины войны в борьбе между «военно-феодальным империализмом» царской России и Японии, борьбе, особенно обострившейся в самом начале XX в. Большевики занимали пораженческую позицию в этой войне, считая, что военный разгром царизма развяжет русскую революцию и приведет к полной победе революции над царизмом.

Вслед за Покровским троцкистские вредители на историческом фронте особенно старались «обосновать» в своей псевдонаучной продукции тезис об отсутствии в царской России периода русско-японской войны и первой русской революции настоящего империализма и финансового капитала. Нужно им это было для того, чтобы подкрепить ссылкой на историю свою контрреволюционную, меньшевистско-троцкистскую теорию о невозможности перерастания буржуазно-демократической революции 1905 г. в социалистическую. В этой связи они отрицали и империалистический характер русско-японской войны.

Эти антиленинские взгляды Покровского на революцию 1905 года и русско-японскую войну были подвергнуты критике Е. Ярославским еще в 1936 году («Об одной неверной оценке революции 1905 года»). В этой статье, на основе высказываний Ленина, тов. Ярославский показывает, что взгляды Покровского, изложенные им в докладе «Значение революции 1905 года»—«ничего общего с марксизмом-ленинизмом, с учением Ленина и Сталина о революции не имеют»[1].

Изложим кратко взгляды вождей большевистской партии товарищей Ленина и Сталина на этот вопрос.

Товарищ Сталин, критикуя троцкистские, контрреволюционные взгляды оппозиции 1925—1927 гг. на развитие китайской революции, говорил: «Основная ошибка оппозиции состоит в том, что она *отождествляет* революцию 1905 г. в России, в стране империалистической, угнетавшей другие народы, с революцией в Китае, в стране угнетенной, полуколониальной, вынужденной бороться против империалистического гнета других государств.

У нас в России, в 1905 г., революция шла против буржуазии, против либеральной буржуазии, несмотря на то, что революция была буржуазно-демократической. Почему? Потому, что либеральная буржуазия *империалистической* страны не может не быть контрреволюционной»[2]. Товарищ Сталин совершенно ясно связывает контрревo-

[1] «Историк-марксист» № 2, 1936 г., стр. 8.

[2] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Партиздат, 1937, стр. 175.

люционную позицию буржуазии и перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую с наличием империализма в России в начале XX в. В. И. Ленин пишет: «Что в России тоже капитализм стал монополистическим, об этом «Продуголь», «Продамет», сахарный синдикат и пр. свидетельствуют достаточно наглядно» [1].

Монополистические организации в области промышленности, на которые указывает товарищ Ленин, создались как раз в конце 90-х годов и начале XX в. Сахарный синдикат—в 1895 г., Электрический синдикат—в 1889 г., Продамет—в 1902 г., в годы промышленного кризиса. В это же время созданы Зеркальный синдикат (1903), Продвагон и Гвоздь (1904), Цементный синдикат (1904). Лишь Продуголь и Продруда созданы в 1906 г.

Г. Циперович, специально исследовавший вопрос о синдикатах и трестах в России, отмечает, что синдицирование больше всего наблюдалось в отраслях тяжелой промышленности, особенно близко связанных с банками и с иностранным капиталом: «Образование этих крупных капиталистических монополий происходит на почве усиленной концентрации производства, в которой играет все возрастающую роль иностранный капитал, вливающийся в русскую промышленность в акционерной форме и оплодотворяющий ее большим синдикатским опытом. Этот процесс особенно бурно развивается в южной металлургической и горной промышленности, куда иностранные капиталы идут массой в погоне за легкой наживой на казенных заказах. Поэтому здесь же особенно сильно проявляется и действие кризиса 1900—1902 гг. К 1905 г. процесс сращивания иностранных капиталов с русскими (в разных отраслях производства в разных соотношениях), банкового капитала с промышленным и таким образом образовавшегося финансового капитала с государственной властью был в полном ходу» [2]. Эта характеристика Циперовича является лишь экономической иллюстрацией к высказываниям товарищей Ленина и Сталина об образовании в России монополистического капитализма.

Ленин и Сталин неоднократно доказывали в своих блестящих работах, что «последняя треть XIX века была переходом к новой империалистской эпохе» [3]. Переход к империализму передовыми капиталистическими странами был завершен к началу XX в. Из этой характеристики В. И. Ленин не исключает и Россию. В силу закона неравномерности капиталистического развития Россия в последние двадцать лет XIX в. далеко продвинулась вперед на пути развития капитализма и при помощи иностранного капитала создала крупную капиталистическую промышленность, банки и железные дороги.

К концу XIX—началу XX в. русский капитализм, несмотря на свою молодость, отсталость и слабость, приобретает все черты моно-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., XXI, 186.
[2] Г. Циперович. Синдикаты и тресты. 1927, стр. 177—178.
[3] В. И. Ленин. Соч., XIX, 309.

полистического и финансового капитала, свойственные западноевропейскому капитализму.

Еще в «Развитии капитализма в России» В. И. Ленин писал: «товарное обращение и, след., товарное производство вполне прочной ногой стоит в России. *Россия—страна капиталистическая*»[1].

В 90-х годах развитие капитализма в России шло особенно быстрым темпом. Это развитие шло и вглубь и вширь, охватывая колонии. «Важно то, что капитализм не может существовать и развиваться без постоянного расширения сферы своего господства, без колонизации новых стран и втягивания некапиталистических старых стран в водоворот мирового хозяйства. И это *свойство капитализма с громадной силой проявлялось и продолжает проявляться в пореформенной России*»[2]. Приток иностранных капиталов в царскую Россию еще более усиливал стремление русского капитализма к приобретению новых колоний.

Одна из характернейших черт эпохи империализма—вывоз капитала, который приходит на смену экспорту товаров. Заключение русско-французского союза 1891 г., протекционистский тариф 1891 г. и введение золотой валюты при Витте особенно стимулировали приток в царскую Россию иностранных (главным образом французских) капиталов. С начала 90-х годов усиливается зависимость России от иностранного капитала и превращение ее по отношению к передовым империалистическим государствам Европы в зависимую, а к мировой войне фактически полуколониальную страну. За одно последнее десятилетие XIX в. внешний долг царского правительства вырос на 1.6 млрд. руб. В огромной степени выросли акционерные капиталы торгово-промышленных и кредитных учреждений, а в них усилилась роль иностранного капитала. Если в 1890 г. вся сумма акционерных капиталов составляла лишь 734 млн. руб., а иностранных из них—лишь 186 млн. руб. (25%), то в 1905 г. акционерные капиталы промышленно-торговых и кредитных учреждений достигли почти 2400 млн. руб., а иностранные капиталы из них 850 млн. руб., или 35% общей суммы. Этот приток иностранных капиталов в русскую промышленность и торговлю и рост кредитной задолженности царизма у иностранных банков, несомненно, способствовали в 90-х годах бурному подъему промышленности, росту финансового капитала, монополий и превращению русского капитализма в империализм. Одновременно этот процесс приводит к усилению зависимости России от западного империализма, превращая царизм в его верного жандарма на Востоке.

К характеристике царской России начала XX в. целиком относятся следующие блестящие слова товарища Сталина, в которых он дает совершенно точную, классическую, ленинскую характеристику

---

[1] В. И. Ленин. Соч., III, 391 (курсив мой.—*А. С.*).
[2] Там же, 464 (курсив мой.—*А. С.*).

роли царской России в системе империалистических государств и объясняет классовую природу русского самодержавия и его внешней политики:

«Начать с того, что царская Россия была очагом всякого рода гнета—и капиталистического, и колониального, и военного,—взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому не известно, что в России *всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма,* агрессивность русского национализма—с палачеством царизма в отношении нерусских народов, эксплоатация целых районов—Турции, Персии, Китая—с захватом этих районов царизмом, с войной за захват? *Ленин был прав, говоря, что царизм есть «военно-феодальный империализм». Царизм был средоточием наиболее отрицательных сторон империализма, возведенных в квадрат.*

«Далее. Царская Россия была величайшим резервом западного империализма не только в том смысле, что она давала свободный доступ заграничному капиталу, державшему в руках такие решающие отрасли народного хозяйства России, как топливо и металлургию, но и в том смысле, что она могла поставить в пользу западных империалистов миллионы солдат...

«Дальше. Царизм был не только сторожевым псом империализма на востоке Европы, но он был еще агентурой западного империализма для выколачивания с населения сотен миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине и Брюсселе.

Наконец, царизм был вернейшим союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и т. д.»[1].

Эти замечательные слова товарища Сталина являются исходными для понимания и объяснения всей конкретной политики царского правительства, особенно внешней, XX в.

Эта сталинская характеристика является дальнейшим развитием указаний В. И. Ленина о том, что с начала XX в. в России существуют финансовый капитал и империализм, что начиная с 1904 г. государственная власть находится у помещиков в союзе с магнатами финансового капитала.

«В 1904—1916 годах особенно рельефно обрисовалось соотношение классов в России за последние годы царизма. *Горстка крепостников-помещиков,* возглавляемая Николаем II, *была у власти, в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала,* которым доставались неслыханные в Европе прибыли и в пользу которых заключались грабительские договоры внешней политики»[2].

Здесь прямо подчеркивается, что во внешней политике XX в. царизм—«военно-феодальный империализм»—защищал интересы не торгового капитала, а финансового и что помещики были у власти в союзе с финансовой олигархией.

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. 10-е изд., стр. 4—5 (курсив мой.—*А. С.*).

[2] В. И. Ленин. Соч., XX, 570 (курсив мой.—*А. С.*).

Русский царизм, оставаясь попрежнему крепостническим, сделал после реформы 1861 г. под влиянием развития капитализма, как говорил В. И. Ленин, первый шаг в сторону буржуазной монархии, начал выражать и интересы промышленной буржуазии. В статье «„Крестьянская реформа“ и пролетарски-крестьянская революция» Ленин писал: «Третья Дума и столыпинская аграрная политика есть вторая буржуазная реформа, проводимая крепостниками. Если 19-ое февраля 61-го года было первым шагом *по пути* превращения чисто крепостнического самодержавия в буржуазную монархию, то эпоха 1908—10 годов показывает нам второй и более серьезный шаг *по тому же пути*»[1].

Третьеиюньский переворот Столыпина 1907 г. и созыв III Думы закрепили «союз царизма с черносотенными помещиками и верхами торгово-промышленной буржуазии. Став по необходимости окончательно на путь капиталистического развития России и стремясь отстоять именно такой путь, который сохранял бы за крепостниками-землевладельцами их власть и их доходы, самодержавие лавирует между этим классом и представителями капитала»[2]. В XX в. государственная власть была в руках класса крепостников-помещиков в союзе с верхушкой буржуазии. Помещики не отгораживались каменной стеной от некоронованных владык капиталистического общества, магнатов финансового капитала, вели свою государственную политику так, что явно защищали интересы капитала.

В. И. Ленин писал: «Россия есть тюрьма народов не только в силу военно-феодального характера царизма, не только потому, что буржуазия великорусская поддерживает царизм, но и потому, что буржуазия польская и т. д. интересам капиталистической экспансии принесла в жертву свободу наций, как и демократизм вообще»[3]. Есть много других высказываний Ленина, из которых совершенно ясно, что он характеризовал царизм в эпоху империализма как военно-феодальный империализм. Так, в статье «О двух линиях революций», написанной в 1915 г. против Иудушки-Троцкого и других меньшевиков, Ленин говорит об «освобождении *буржуазной* России от *военно-феодального* «империализма» (= царизма)»[4].

Ленинско-сталинская характеристика царизма насквозь диалектична, полнокровна и совершенно несовместима с антимарксистской, мертвой схемой Покровского, утверждавшего, что царизм есть политический аппарат торгового капитала, и выдававшего это богдановское измышление за марксизм.

Ленинская и сталинская характеристики России начала XX в. как империалистической страны целиком основаны на огромном историче-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XV, 146.

[2] «ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Из резолюции Общерусской конференции 1908 г. «О современном моменте и задачах партии». Партиздат, 1933, ч. 1-я, стр. 145.

[3] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 328.

[4] Там же, 318.

ском материале, подытоживающем как развитие капитализма в Западной Европе и России, так и все важнейшие явления политической истории.

Говоря о развитии империализма, В. И. Ленин писал: «Империализм, как высшая стадия капитализма Америки и Европы, а затем и Азии, сложился вполне к 1898—1914 г.г. Войны испано-американская (1898), англо-бурская (1900—1902), русско-японская (1904—1905) и экономический кризис в Европе 1900 г.—вот главные исторические вехи новой эпохи мировой истории»[1]. Эта характеристика В. И. Ленина не только устанавливает совершенно четко время появления империализма в России, но и не оставляет абсолютно никакого сомнения в ленинских взглядах на войну России с Японией как войну империалистическую. Надо сказать, что эта характеристика была известна Покровскому, но вопреки высказываниям Ленина он выступил на защиту своей гнилой «теории» торгового капитала.

Огромный интереснейший материал об империализме в России содержат Ленинские сборники (XXII, XXVII, XXVIII, XXIX). Опубликованные там конспекты ленинской работы об империализме показывают, что лишь цензурные условия помешали Ленину дать в своей работе соответствующие разделы об империализме и финансовом капитале в России.

В. И. Ленин в конспекте «К вопросу об империализме» определяет место России в ряду других империалистических стран. На первом плане у него стоят «*три главные, вполне самостоятельные страны*»: Англия, Германия, Соединенные штаты Америки. На втором месте В. И. Ленин ставит Францию, Россию и Японию: «*Второстепенные: первоклассные, но не вполне самостоятельные*»[2]. Итак, Россия—первоклассная империалистическая, но не вполне самостоятельная страна. Эта ленинская характеристика была ревизована в писаниях троцкистского фальсификатора Ванага, отрицавшего наличие в царской России даже во время мировой войны каких-либо элементов русского финансового капитала. Характерно, что В. И. Ленин ставит Россию в один ряд с Японией и Францией, из которых одна—Франция—являлась финансовым кредитором России, а другая—военным противником в начале XX в.

Для изучения экономического развития России конца XIX и начала XX в. и формирования в России монополистического капитализма огромнейшее значение имеют гениальные работы Ленина: «Развитие капитализма в России» и «Империализм, как высшая стадия капитализма». Между тем обе эти работы Покровский и его «школа» обходят молчанием и не используют их для характеристики финансового капитала в России.

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 302.
[2] Ленинский сборник, XXII, 335 (курсив мой.—*А. С.*).

В XXVII Ленинском сборнике опубликовано несколько вариантов плана брошюры «Империализм, как высшая стадия капитализма»[1].

Во втором разделе плана этой брошюры, говоря о росте и концентрации производства, Ленин в отношении России прямо ссылается на свою работу «Развитие капитализма в России». В разделе плана, говорящем об изучении роли банков в эпоху финансового капитала, имеется пункт о роли банков в России; Ленин намечал для себя исследовать роль банков начиная с 1905 г., а не с кануна мировой войны, как это делают Покровский, Ванаг и др. Ленина особенно интересовала практика назначения русским правительством крупных чиновников на посты директоров банков.

В разделе о вывозе капиталов Ленин намечал исследовать вопрос о банках в колониях, об иностранных займах, о роли иностранного капитала в Китае, Японии и России. Ленин внимательно проштудировал и сделал много выписок из книги Агада «Крупные банки и мировой рынок». Эта книга показывает роль банкового капитала в довоенной России с начала XX в. Вся совокупность этих неоценимых ленинских материалов, опубликованных в четырех сборниках, с совершенной ясностью рисует ленинские взгляды на монополистический капитализм в России.

Ленин относил появление монополистического капитализма в царской России к концу XIX—началу XX в., а Покровский, Ванаг и др.— непосредственно к кануну мировой империалистической войны. Ленинская работа «Развитие капитализма в России» даже с поправками Ленина для второго издания содержит материал, относящийся главным образом к концу XIX в. и лишь в части таблиц о промышленности есть данные, относящиеся к 1903—1905 гг. Тем не менее именно на эту работу ссылается В. И. Ленин, характеризуя концентрацию производства при монополистическом капитализме.

Ленинская и сталинская характеристики «военно-феодального империализма»—царизма—подчеркивают наличие грабительских целей в русской внешней политике, стремление царизма к экспансии, колониальному грабежу и захватам, к национальному угнетению, к эксплоатации главным образом на основе внеэкономического принуждения.

Хозяевами и руководителями колониальных предприятий царизма в эпоху империализма являются крепостники-помещики и магнаты финансовой и промышленной буржуазии. Царское правительство Николая II, несмотря на огромную роль банков и экспорта капиталов в эпоху империализма, опиралось в своих колониальных захватах главным образом на военную силу, на внеэкономическое принуждение. Эти захваты расчищали дорогу господству финансового и промышленного капитала.

Не даром Ленин писал: «В Японии и России монополия военной силы, необъятной территории или особого удобства грабить инород-

[1] Ленинский сборник, XXVII, 104—123.

цев, Китай и пр. отчасти восполняет, отчасти заменяет монополию современного, новейшего финансового капитала»[1].

Политика колониальных захватов русского царизма и Японии на Дальнем Востоке проводилась в качественно иной внутренней и международной обстановке, отличной от предшествующей эпохи домонополистического капитализма.

Появились банковые, финансовые, промышленные консорциумы и монополии. Их интересы и деятельность переплетаются с деятельностью государства и чиновников. Царизм не мог не считаться с интересами этой силы в колониальных захватах. В Манчжурии впереди идет государство, маскируя свою деятельность формой частного предприятия. Конкретный пример политики царизма в эпоху империализма представляет Русско-китайский банк, ворочавший миллиардными делами, привлекавший помимо русских капиталов и французские. В данном случае под частной фирмой банка делала свои дела царская монархия.

Царизм, оставаясь полукрепостническим, не игнорировал и не мог игнорировать интересов новой экономической силы—магнатов финансового капитала и промышленности. Вот почему колониальные предприятия русского царизма в Китае и Корее при всем авантюризме царизма, который так подчеркивал Ленин, неминуемо приобретали новые, специфические особенности и черты, вытекающие из господства империалистической эпохи. Однако по методам эксплоатации политика военно-феодального империализма России отличалась от политики главных империалистических стран. Методы эксплоатации царизма покоились главным образом на внеэкономическом принуждении, а не на деятельности банков. Так было в Манчжурии, где всегда для большей верности деятельность банка охранялась и подкреплялась военными отрядами. Так было и в 1898 г. при захвате Порт-Артура и в 1900 г. во время китайской войны или усмирения боксерского восстания, когда царское правительство заняло Манчжурию.

Подчеркивая империалистический характер грабежа Китая, Ленин указывал, что «эту политику грабежа давно уже ведут по отношению к Китаю буржуазные правительства Европы, а теперь к ней присоединилось и русское самодержавное правительство. Принято называть эту политику грабежа колониальной политикой»[2]. В этой же работе, «Китайская война», Ленин дал ответ на вопрос о том, в чьих классовых интересах ведется эта колониальная политика военно-феодального империализма: «Кому выгодна эта политика? Она выгодна кучке капиталистов-тузов, которые ведут торговые дела с Китаем, кучке фабрикантов, производящих товары на азиатский рынок, кучке подрядчиков, наживающих теперь бешеные деньги на срочных военных заказах (некоторые заводы, производящие предметы вооружения, при-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 309—310.
[2] В. И. Ленин. Соч., IV, 61.

пасы для войск и т. п., работают теперь во-всю и приманивают сотни новых поденщиков). Такая политика выгодна кучке дворян, занимающих высокие места на гражданской и военной службе. Им нужна политика приключений, потому что в ней можно выслужиться, сделать карьеру, прославить себя «*подвигами*». *Интересам этой кучки капиталистов и чиновных пройдох наше правительство, не колеблясь, приносит в жертву интересы всего народа*»[1].

В. И. Ленин внимательно следил и изучал политику империалистических государств по отношению к Китаю. В. И. Ленин дал образец марксистского анализа политики империалистических государств и их борьбы за раздел Китая. В своей таблице «Главнейшие кризисы в международной политике великих держав после 1870—1871 годов»[2] он совершенно четко и ясно определил роль каждого государства. Картина у В. И. Ленина получается совершенно непохожей на ту, которая нарисована в исторических работах Покровским. В этой таблице Ленин пишет: «1895: Китайско-японская война. Грабят («делят») *Китай*. Япония + *Россия* + Англия + Германия + Франция». Здесь перечислены все великие государства Европы. Все они вместе с Японией принимают участие в грабеже и разделе Китая. После «протеста» трех государств (России, Франции и Германии) во главе с Россией против условий Симоносекского мира—Япония должна была потесниться и отдать обратно Китаю захваченный лакомый кусок—Порт-Артур вместе со всем Ляодунским полуостровом.

Японии пришлось удовольствоваться частью Кореи. Вскоре после этого Порт-Артур захватила Россия; Англия и Германия тоже захватили китайские гавани—Вей-хай-Вей и Киао-чао. Это был международный раздел Китая империалистическими государствами, в котором активное участие принимала Россия.

Подавление империалистами боксерского восстания 1900 г., которое привело к международной военной оккупации Китая и Пекина, было вторым туром раздела Китая. «Душат Китай все вместе: Германия + Россия + Соединенные штаты + Япония + Англия + Франция»[3]. Этот «раздел» порожден, как совершенно ясно показывает ленинский текст, эпохой империализма.

Наконец, в рубрике 1904—1905 гг. у Ленина записано: «Русско-японская война. Грабят («делят») *Китай и Корею (Россия* и Япония)»[4]. Здесь В. И. Ленин подчеркивает самостоятельные империалистические цели и противоречия России и Японии в Китае, которые привели к войне.

Как было уже сказано, в этой империалистической войне между Японией и царской Россией большевики занимали пораженческую позицию в отношении царизма, хотя и со стороны царской России

---

[1] В. И. Ленин. Соч., IV, 62 (курсив мой.—*А. С.*).
[2] Ленинский сборник, XXIX, 285—287.
[3] Там же, 287.
[4] Там же, 285.

и со стороны Японии эта война являлась одинаково захватнической, грабительской и империалистической. Чем вызывалась и обосновывалась пораженческая позиция большевиков? Разумеется, большевики отлично видели захватнические, империалистические цели Японии в этой войне. Большевики руководились интересами революции: «дело русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений самодержавия» [1]. Не русский народ, а самодержавие вело эту колониальную войну. Военное поражение царизма развязывало революцию в России, русский народ выигрывал от него: «Развитие политического кризиса в России всего более зависит теперь от хода войны с Японией. Эта война всего более разоблачила и разоблачает гнилость самодержавия, всего более обессиливает его в финансовом и военном отношении, всего более истерзывает и толкает на восстание исстрадавшиеся народные массы, от которых эта преступная и позорная война требует таких бесконечных жертв» [2].

Большевики были пораженцами потому, что поражение царизма в войне приводило его к поражению внутри страны, к победе революции. Пораженческая тактика большевиков является развитием и практическим выполнением указаний Маркса и Энгельса. Последний в своей статье «Внешняя политика русского царизма» [3] прямо указывает, что существование русского царизма, являющегося жандармом на Востоке, является препятствием для революционной борьбы не только русского, но и всего европейского рабочего движения.

В послесловии к статье «Социальные отношения в России» Энгельс указывал на огромное значение русской революции и победы над царизмом для победы европейского пролетариата. «...Русская революция даст также новый толчок рабочему движению Запада, создаст для него лучшие условия борьбы и тем ускорит победу современного промышленного пролетариата» [4]. Русская большевистская партия под руководством Ленина и Сталина отлично понимала огромное революционное значение факта военного поражения царизма. Только она вела интернационалистскую, до конца революционную линию: «Военный крах не мог не оказаться поэтому началом глубокого политического кризиса. Война передовой страны с отсталой сыграла и на этот раз, как неоднократно уже в истории, великую революционную роль. И сознательный пролетариат, будучи беспощадным врагом войны, неизбежного и неустранимого спутника всякого классового господства вообще,—не может закрывать глаза на эту революционную задачу, выполняемую разгромившей самодержавие японской буржуазией. Пролетариат враждебен всякой буржуазии и всяким проявлениям буржуазного строя, но эта враждебность не избавляет его от

---

[1] В. И. Ленин. Соч., VII, 49.
[2] Там же, 33.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., XVI, ч. 2-я, стр. 3—40.
[4] Там же, 401.

обязанности различения исторически прогрессивных и реакционных представителей буржуазии»[1]. Исходя из этой марксистской точки зрения, Ленин выступил в защиту позиции вождей французских и английских социалистов—Жюля Гэда и Гайндмана, открыто высказавшихся за желательность поражения царской России. Эта их позиция встретила осуждение со стороны мелкобуржуазной партии эсеров в их центральном органе «Революционная Россия». «Гэд и Гайндман не защищали японской буржуазии и японского империализма,—писал Ленин, критикуя эсеров,—но в вопросе о столкновении двух буржуазных стран они правильно отметили исторически-прогрессивную роль одной из них»[2].

В. И. Ленин разоблачил реакционную позицию меньшевиков и нынешнего фашиста и убийцы Троцкого, стоявших сначала на позиции «мир во что бы то ни стало», а потом сбившихся на точку зрения, что война «есть бедствие», независимо от того, кто победит.

Эта точка зрения меньшевиков обрекала пролетариат на бездействие, на пассивность, предоставляя буржуазии договориться о мире друг с другом, когда это им будет выгодно. Ленин ответил меньшевикам: «Нет. Дело русской свободы и борьбы русского (и всемирного) пролетариата за социализм очень сильно зависит от военных поражений самодержавия. Это дело много выиграло от военного краха, внушающего страх всем европейским хранителям порядка... Борясь против всякой войны и всякой буржуазии, мы строго должны отличать в своей агитации прогрессивную буржуазию от крепостнического самодержавия, *мы всегда должны отмечать великую революционную роль исторической войны, невольным участником* которой является русский рабочий»[3].

Таким образом, войну между двумя империалистическими противниками Ленин использовал для революционного, марксистского воспитания масс, для разъяснения им того великого революционного значения, которое война может иметь в капиталистическом обществе. Война обнажила всю гнилость царизма. Одно поражение армии следовало за другим, обнаруживая полнейшую неспособность царизма и правящего класса успешно вести войну, победить врага. Ленин внимательно следил за ходом войны. Он предсказывал еще до сдачи Порт-Артура полное поражение царизма:

«Самодержавная Россия разбита уже конституционной Японией, и всякая оттяжка только усилит и обострит поражение. Лучшая часть русского флота уже истреблена, положение Порт-Артура безнадежно, идущая к нему на помощь эскадра не имеет ни малейших шансов не то что на успех, но даже на то, чтобы дойти до места назначения, главная армия с Куропаткиным во главе потеряла более 200 000 че-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., VII, 48.
[2] Там же.
[3] Там же, 49 (курсив мой.—*А. С.*).

ловек, обессилена и стоит беспомощно перед неприятелем, который неминуемо раздавит ее после взятия Порт-Артура»[1].

Это предсказание Ленина целиком оправдалось. Статьи В. И. Ленина о сдаче Порт-Артура и о разгроме царской эскадры при Цусиме дают великолепный анализ хода войны, причин поражения царской армии и флота и того значения, какое эти поражения имели для развития первой русской революции 1905—1907 гг.

II

Выяснив оценку характера русско-японской войны большевиками и их отношение к этой войне, рассмотрим теперь взгляды М. Н. Покровского и его трактовку этой войны. Мы уже говорили, что взгляды Покровского на русско-японскую войну изменялись, поэтому рассмотрим их исторически, в порядке смены одного варианта другим.

Раньше всего эти взгляды изложены им в «Очерках русского революционного движения в XIX и XX вв.», вышедших в 1924 г. Как видно из самого содержания книги, Покровский имел в своих руках все важнейшие архивные материалы и документы о войне: дневник Куропаткина, переписку между Николаем II и Вильгельмом и т. д. Все эти документы, ранее недоступные, теперь напечатаны, они проливают яркий свет на империалистические цели и задачи дальневосточной авантюры царизма.

Разумеется, М. Н. Покровскому были хорошо известны и ленинские работы о русско-японской войне и империализме, а также высказывания товарища Сталина о царизме как о резерве западноевропейского империализма, как о сторожевой собаке империализма на востоке Европы, как о военно-феодальном империализме. И с фактической и с методологической стороны Покровский располагал всем, чтобы дать марксистско-ленинский анализ войны, вскрыть империалистический характер борьбы царской России и Японии за раздел Китая и Кореи.

Однако в своем исследовании Покровский исходит не из марксистских, ленинско-сталинских высказываний, а из пресловутой механистической теории борьбы торгового и промышленного капитала, которую он признает «стержнем русской истории». Он открыто выступает против ленинской характеристики царизма как политического аппарата класса полукрепостников-помещиков и военно-феодального империализма, считая «это объяснение недостаточно глубоким». Ленинской оценке царизма он противопоставляет свой взгляд на самодержавие «как политически организованный торговый капитал»[2]. Мы видим, как антимарксистская методология приводит Покровского к

---

[1] Там же, 33—34.

[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. Изд. 1924 г., стр. 16.

антиленинской оценке русского самодержавия. Как же М. Н. Покровский объясняет возникновение войны и ее характер?

Отвечая на этот вопрос, он признает, что война возникла не случайно, не в результате ошибки Николая II или японского правительства, что Николай вполне сознательно шел на войну, что она вытекала из экономических и классовых интересов и соответствующей политики русского правительства. Покровский признает даже русско-японскую войну империалистической войной, связывая ее формально с наличием империализма в России и с империалистическим характером политики Николая II.

Однако следует сейчас же указать, что, признавая наличие империализма в России, Покровский понимает империализм совсем не по-ленински, отрицательно решает вопрос о наличии в России класса империалистической буржуазии, выдавая тем самым свое антиленинское понимание империализма: «Русская буржуазия была еще не империалистична, а царь у нее был империалистический»[1]. Чтобы яснее подчеркнуть империалистический характер политики Николая II, Покровский сравнивает его с такими империалистами, как Грей, Керзон, Пуанкаре, Бюлов, Вильгельм II и др.: «Он (Николай II—*А. С.*) был совершенно вровень с этими империалистическими акулами Западной Европы, вровень, конечно, не по своим талантам, не по своей умелости, а *по своему аппетиту*»[2].

Получается, на первый взгляд, как бы вполне марксистская оценка. На самом деле Покровский выступает в качестве сторонника теории финансового капитала Гильфердинга и решительного противника ленинской теории империализма. Гильфердинг рассматривал империализм как внешнюю политику финансового капитала—и только; Ленин же—как монополистический, загнивающий капитализм, как новейшую, современную стадию в развитии капитализма.

Ленин и Сталин, говоря об империализме, всегда подчеркивают и экономические признаки капитализма: «1 ...монополия, как итог концентрации. 2 ...*Вывоз капитала как главное.* 3 и 4. Раздел мира: а) соглашения интернационального капитала; в) колонии. 5 ...Банковый капитал и его «нити». 6 ...смена свободной торговли и мирного оборота политикой насилия (пошлины); захваты etc. etc.»[3]. Ленинско-сталинский анализ империализма подразумевает наличие класса империалистической буржуазии, которая выступает в революции 1905 г. в России как контрреволюционная сила, как вернейший оплот царизма и злейший враг рабочих и крестьян.

Покровский обнаруживает явное непонимание ленинской теории империализма и социал-демократической оппортунистической природы Гильфердинга. Он смазывает принципиальное различие между

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв. Изд. 1924 г., стр. 117.

[2] Там же (курсив мой.—*А. С.*).

[3] Ленинский сборник, XXII, 335 (курсив мой.—*А. С.*).

теорией империализма Ленина и теорией финансового капитала Гильфердинга. Последний—кантианец, антимарксист. По мнению же Покровского, В. И. Ленин внес всего только «плодотворную поправку в формулу Гильфердинга».

Теоретические ошибки работы Гильфердинга о финансовом капитале Ленин сводит к следующим четырем пунктам: «1. Теоретическая ошибка относительно денег. 2. Игнорирует почти раздел мира. 3. Игнорирует соотношение финансового капитала с паразитизмом. 4. Игнорирует соотношение империализма с оппортунизмом»[1].

Таковы «недостатки» работы Гильфердинга, поклонником которого был Покровский. С точки зрения этой социал-демократической теории он и оценивает экономическое развитие России, видя империализм в России только в захватнической политике царизма: «Суть дела не в синдикатах и трестах, а суть дела именно в этом стремлении к монополии, в какие бы формы она ни выливалась. Синдикаты и тресты попадают сюда как частный случай. Как частный случай они, само собой разумеется, являясь средством установления монополии на данной территории для той или иной группы предпринимателей,—этим покрываются, но самая формула шире. С этой точки зрения для того, чтобы оценить, вошла ли страна в империалистический период, нужно присматриваться не к тому, имеются ли у нее в достаточном количестве тресты и синдикаты, а к двум другим признакам, которые отмечает и Гильфердинг.

Этими признаками являются: во-первых, высокие таможенные пошлины, которые делают территорию страны монопольным достоянием отечественной промышленности, все равно синдицированной или нет, а с другой стороны—стремление раздвинуть таможенные границы возможно дальше, стремление захватить в эти границы возможно более широкую территорию.

Вот, если мы с этого конца подойдем к России конца XIX в., то увидим, что оба эти признака империализма: чрезвычайно высокие таможенные пошлины, чрезвычайно интенсивный протекционизм, с одной стороны, и стремление раздвинуть границы территории—с другой, они имеются у нас налицо в течение всей второй половины XIX в., и уже безусловно в 90-х годах XIX века»[2]. Итак, все признаки империализма свелись Покровским к протекционизму—таможенным барьерам и стремлениям к захватам, к расширению территории.

М. Н. Покровский фактически игнорирует все основные особенности империализма: загнивание капитализма, экспорт капитала и монополию, вытекающую из концентрации производства, т. е. те самые тресты, синдикаты и картели, против которых он так настроен и которые рассматривает как домысел Гильфердинга. В. И. Ленин признавал огромное принципиальное значение экспорта капитала для

---

[1] Там же.

[2] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 118—119.

эпохи империализма. Таможенный барьер еще защитит страну от ввоза иностранного товара, но он уже не является более преградой при экспорте капитала, ибо банковый капитал легко шагает через таможенные стены.

Покровский не принимает этого обстоятельства в расчет. Для него фактически не важно, есть ли экспорт капитала, сложились ли монополии в промышленности, произошло ли сращивание банкового капитала с промышленным или нет, существует ли буржуазия и превратилась ли она в империалистическую или нет. Раз таможенный барьер в царской России 90-х годов был выше, чем даже в передовых капиталистических странах, то вопрос о наличии империализма решен. Поэтому нет ничего удивительного и в признании Покровским наличия империализма без империалистической буржуазии, в трактовке империализма исключительно как политики царизма, а не закономерной эпохи в развитии капитализма.

Итак, первый вывод, который необходимо сделать, заключается в том, что хотя Покровский и признает наличие империализма в царской России 90-х годов, но в самой трактовке этой проблемы он стоит не на ленинской, а на гильфердинговской точке зрения.

Формальное признание Покровским наличия империализма вовсе не значит, что он признает превращение домонополистического капитализма в монополистический в том смысле, как это понимал Ленин, который говорил о наличии империализма в царской России периода русско-японской войны. Покровский же игнорирует все важнейшие особенности империализма. Он понимает империализм в смысле захватнической политики русского самодержавия—и только. Говоря об оккупации Манчжурии, Покровский видит суть дела в стремлении царизма к новым территориальным захватам и называет эту политику империалистической, так как она, по его мнению, удовлетворяла двум основным признакам империализма: с одной стороны, были высокие таможенные пошлины, с другой—было стремление захватить возможно более широкую территорию, которая находилась бы в монопольной эксплоатации торгового и промышленного капитала[1].

Раз в стране не сложился еще класс империалистической буржуазии, раз не было монополий, сращивания банкового капитала с промышленным, то о каком империализме может быть речь? Ясно, что его нет. Покровский термином «империализм» определяет лишь захватническую и колониальную политику царизма на Дальнем Востоке, не связывая ее, по существу, с эпохой империализма. Его характеристика вовсе не совпадает с ленинской и сталинской формулой—царизм есть военно-феодальный империализм—не только потому, что он не понимает экономической природы империализма, но и потому, что Покровский дает неленинскую характеристику классовой природы царизма.

[1] М. Н. Покровский. Очерки русского революционного движения XIX—XX вв., 121.

Вопреки своей формуле—царизм есть политическая организация торгового капитала—Покровский признает, что фактически у власти в 90-х годах стоял промышленный капитал в лице Витте. Но эта гегемония промышленного капитала продолжалась недолго и была свергнута торговым капиталом. Эта «победа» торгового капитала над промышленным произошла в 1903 г. и привела к отставке Витте, так как «торговый капитал у нас был главным, если можно так выразиться, содержанием романовского государства»[1]. Кроме того, изменилась мировая конъюнктура: кончились низкие цены на хлеб, стала расти ценность экспорта за границу, и торговый капитал опять пришел к власти. Вот «философия истории» Покровского. Колебания хлебных цен—вот магический ключ, открывающий самые сокровенные тайны, объясняющий самые запутанные исторические ситуации.

«Победа» торгового капитала привела к власти Плеве, «типичного представителя не старой дворянской знати, а именно торгового капитала, как такового»[2]. Попытка Покровского выдать Плеве за купца, а Витте за представителя промышленного капитала, является совершенно неудачной, ибо Плеве, типичный представитель служебной бюрократии, наиболее близко стоял именно к старой, реакционной дворянской знати, в руках которой находилась вся власть. По мнению Покровского, направление политики русского империализма «определялось именно интересами русского торгового капитала в первую голову»[3]. Интересами русского купца Покровский объясняет и строительство Сибирской железной дороги. В противоречии с историей он превращает министра финансов Александра III—Вышнеградского—в главного инициатора строительства Сибирской железной дороги. Между тем никто так не саботировал строительство этой дороги, как Вышнеградский и небезызвестный Абаза. Отчасти потому, что Вышнеградский не понимал значения Сибирской железной дороги и не давал на ее строительство денег, ему и пришлось распроститься с постом министра финансов. На этой должности его сменил Витте, энергично принявшийся за строительство дороги сразу с двух концов.

М. Н. Покровский не понимает новой эпохи, эпохи империализма, не видит своеобразной роли царской России среди империалистических держав Европы, охарактеризованной товарищами Лениным и Сталиным. Он не видит, как еще в 90-х годах царская Россия вместе с империалистическими странами Европы приступила к разделу Китая.

Дальневосточная политика царизма, направляемая руками крепостников-помещиков, являлась авантюрой, имевшей целью империалистический захват и раздел Китая и Кореи. Это была политика военно-феодального империализма. Она в первую голову отвечала интересам полукрепостников-помещиков и верхушки магнатов финансового и

---

[1] М. Н. Покровский. Там же, 127.
[2] Там же, 132.
[3] Там же, 129.

торгово-промышленного капитала. Стремление Покровского свести империализм царской России эпохи русско-японской войны к политике торгового капитала ничего общего не имеет с ленинской теорией империализма и с его характеристикой царизма, как военно-феодального империализма.

В заключительной картине, нарисованной Покровским, чтобы во всем объеме показать экономические и классовые интересы царизма на Дальнем Востоке, уже нет места утверждениям об империализме. Экономические интересы купца заняли все поле битвы; они толкают царизм в XX в., как некогда, по Покровскому, толкали Ивана IV, Петра I, Александра I, на колониальные авантюры. Поэтому он не вскрывает и не показывает всей остроты борьбы между царской Россией и Японией за раздел Китая. Неизбежность военного столкновения не является доказанной. Роль Японии и ее империалистические интересы не разоблачаются. Война как-то появляется вдруг, совершенно неожиданно, ибо империалистическая политика Японии за последнее десятилетие до войны не анализируется. Более подробно Покровский не останавливается на причинах войны и совершенно ничего не говорит о ходе военных действий. Как будто и не было ни минных атак японского флота без объявления войны на русский флот в Порт-Артуре, ни величайших в мировой истории сражений под Ляояном, Мукденом и при Цусиме.

Такова антиисторическая и глубоко враждебная марксизму схема Покровского, изложенная автором в 1924 г. Здесь нет ничего о Японии, нет ничего о вооружении, о настроениях армии, о борьбе за раздел Китая, о месте России в системе империалистических государств. Вся его схема свидетельствует о том, что Покровский совершенно напрасно припутал ленинскую теорию империализма к своему объяснению внешней политики царя. Этим замечательным ленинским ключом он не пользуется. По Покровскому, империализм—вовсе не высшая стадия в развитии современного капитализма, результат мощного развития промышленного и банкового капитала, а лишь политика самодержавия в интересах торгового капитала. Конкретная характеристика экономического положения России в начале XX в. не имеет ничего общего с ленинской оценкой, данной в «Развитии капитализма в России» и других, более поздних, работах. Надо со всей решительностью подчеркнуть, что Покровский старательно обходил и замалчивал ленинские высказывания, как будто бы их и не было. Он совершенно обходит вопрос о пораженческой позиции большевиков и не объясняет ее глубочайшее принципиальное и интернациональное значение, не анализирует уроков этой войны и не разоблачает империалистический характер японской политики в Китае и Корее начиная с войны 1894—1895 гг.

Освещение М. Н. Покровским русско-японской войны не дает конкретного представления о войне, и запутывает принципиальные вопросы ее истории.

III

В 1925 г. Покровский пересмотрел свою точку зрения на характер русско-японской войны и на экономическое развитие России накануне революции 1905 г. Если раньше Покровский хотя формально называл русско-японскую войну империалистической, то во всех последующих своих работах[1] он решительно отрицает империалистический характер войны, связывая это с отрицанием финансового капитала и империализма в России до революции 1905—1907 гг. Если раньше антимарксистская схема Покровского внешне прикрывалась ссылками на Ленина и ленинизм, то теперь даже этих формальных ссылок нет. Надо сказать, что как раз в эти годы (1924—1926) «историческая школа» Покровского выпустила ряд троцкистских работ о финансовом капитале и империализме в России—это работы врага народа Ванага и др. Во всех этих работах протаскивался контрреволюционный троцкистско-меньшевистский тезис о том, что во время революции 1905—1907 гг. в России не было никакого финансового капитала и империализма и что, следовательно, не могло быть и речи о перерастании буржуазно-демократической революции 1905 г. в социалистическую[2]. Покровский не только не разоблачил эти контрреволюционные теорийки, но являлся их идейным вдохновителем. Во всех своих работах 1925—1932 гг. он пропагандирует эти троцкистские взгляды, исходя из них, строит все свои исторические исследования. Повсюду он, как и его «школа», протаскивает мысль о том, что империализм в России, в его зачаточных формах, развивается буквально лишь накануне мировой империалистической войны 1914 г., во время предвоенного промышленного подъема.

Так, в своих лекциях «Внешняя политика России в XX веке» Покровский решительно отрицает империалистический характер российского капитализма и империалистические цели России и Японии в этой войне. «*Для России она* (эта война.—*А. С.*) *не была империалистической войной, потому что Россия только после 1906 г., т. е. после русско-японской войны, вступила в полосу империализма*»[3]. Точка зрения Покровского решительно расходится с ленинизмом и в оценке войны. Покровский считал, что торговый капитал определял русскую внешнюю политику, так как страна была «в торгово-капиталистическом периоде».

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Изд. 1925 г.; Внешняя политика России в XX веке. Изд. 1926 г.; ст. «Японская война», сборник «1905 год». Изд. 1925 г., I.

[2] Эта точка зрения Покровского была подвергнута критике тов. Ярославским в журнале «Историк-марксист», 1936, № 2, в статье «Об одной неверной оценке революции 1905 года».

[3] М. Н. Покровский. Внешняя политика России в XX в., 18—19 (курсив мой.—*А. С.*).

Покровский делает принципиальную ошибку и исторического характера, утверждая, что между Россией и Японией в 1904—1905 гг. не было таких острых противоречий, которые бы привели к войне. «И несомненно, если бы на сцене были только Россия, с одной стороны, и только Япония, с другой стороны, то тоже до войны не дошло бы, не взирая на все эти интересы торгового капитала и т. д. Все эти интересы были не в такой степени обострены, чтобы толкать на войну».

Как же Покровский объясняет происхождение войны, если он отрицает экономические и вытекающие отсюда политические причины борьбы между Японией и царской Россией? Чтобы как-то объяснить войну, длившуюся в Манчжурии полтора года, Покровский сочиняет путаную, антиисторическую версию о том, что Россия якобы дралась с Японией на Дальнем Востоке не ради захвата Манчжурии и Кореи, а дралась с Англией за захват Босфора и Дарданелл. Чтобы утвердить свое господство на Ближнем Востоке, России пришлось построить Сибирскую железную дорогу, ибо «только на берегах Тихого океана было легче всего уязвить Англию»[1].

Весь конфликт царской России и Японии Покровский ставит на голову: остроту империалистических противоречий на Дальнем Востоке Покровский видит в борьбе Германии с Англией, а не России с Японией. Противоречия последних двух государств теряют свое самостоятельное значение: «На Дальнем Востоке Россия представляла интересы не только свои, но в *гораздо большей степени интересы германского империализма,* а Япония на *Дальнем Востоке представляла в гораздо большей степени, чем свои национальные интересы, интересы английского и американского империализма*»[2].

С одной стороны, Россия дралась с Англией за проливы, с другой—за интересы не своего, а германского империализма. Не нужно заниматься изучением архивных материалов, чтобы видеть, что Германия провоцировала царскую Россию на военную авантюру на Дальнем Востоке. Это прекрасно видно из переписки Вильгельма II с Николаем II, опубликованной Центрархивом. Германии было выгодно, чтобы Россия запуталась в дальневосточных авантюрах: Германия получила бы развязанные руки на Западе. Но отсюда огромная и непроходимая дистанция до шаткого и необоснованного вывода о том, что Россия являлась агентом германского империализма и дралась за его, а не свои интересы.

Настоящие, коренные империалистические противоречия двух государств—царской России и империалистической Японии—затушевываются. Это приводит к замазыванию империалистического характера войны и грабежа Китая со стороны обоих государств. И это называется конкретно историческим анализом специалиста-историка! Вместо конкретного анализа борьбы царской империалистической России и

---

[1] М. Н. Покровский. Внешняя политика России в XX в., 34.
[2] Там же (курсив мой.—*А. С.*).

Японии за раздел Китая и Кореи Покровский сочиняет «схему», где главная роль отводится борьбе торгового капитала за Дарданеллы и борьбе между Англией и Германией. Эта схема ничего общего не имеет с конкретно историческим ленинским анализом. Зато эта схема целиком увязана с антиленинскими социологическими взглядами Покровского, с пресловутой теорией торгового капитала. Захватническая политика военно-феодального империализма царской России и Японии смазывается и подменяется борьбой Германии с Англией. Империалистические колониальные предприятия царской России и Японии, тесно связанные с борьбой империалистических хищников за передел мира, с экспортом капитала, международными займами, ролью современных банков, промышленным учредительством и грюндерством,—одним словом, со всей спецификой империалистической эпохи, превращаются в побочный продукт борьбы Англии и Германии. Здесь антиленинский и антиисторический характер этой «теории» Покровского выступает во всей остроте.

IV

Рассмотрим теперь взгляды Покровского на русско-японскую войну, изложенные им в статье «Японская война» в сборнике «1905 год», т. I, и в его «Русской истории в самом сжатом очерке», ч. 3-я. Обе эти работы так же, как и статьи в сборнике «Внешняя политика», отрицают империализм в России в период русско-японской войны и империалистический характер этой войны. Тем не менее в них Покровский разоблачает изложенную им же самим в сборнике «Внешняя политика» версию, будто в Манчжурии в 1904—1905 гг. Россия дралась за Босфор и Дарданеллы и являлась безвольным орудием политики Германии, Япония же являлась орудием политики Англии.

«Но неужели Россия была на Дальнем Востоке только орудием парижских банкиров и германских фабрикантов?» [1],—спрашивает Покровский. И сам же отвечает на поставленный вопрос вполне правильно: «Если на Дальний Восток шли послушно, не упираясь, то не только потому, что там шишек и синяков не опасались, но и потому, что видели в этом выгоду, а с последних лет XIX в. стали видеть в этом даже единственный выход» [2]. Царизмом проводилась захватническая империалистическая политика на Дальнем Востоке не потому, что она отвечала интересам германских и французских банкиров, а потому, что это было выгодно для русского капитализма. «Так Витте,—пишет Покровский,—он был душою дальневосточной политики конца XIX в., предусмотрительно расширял рынок русской про-

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. Партиздат, 1933, ч. 3-я, стр. 290.

[2] Там же.

мышленности. С той только разницей, что дело шло теперь главным образом о металлургии, а не о текстильной промышленности (но не об одной металлургии: в Китай собирались вывозить и русский керосин и «жизненные припасы»); политика Витте *точка в точку напоминала политику Николая I на Ближнем Востоке.* Только прямой захват, при помощи штыка, играл в политике Витте меньшую роль, чем в политике Николая: Витте был человек больше буржуазного мира, чем феодального. Рано или поздно до вооруженного столкновения и тут должно было конечно дойти»[1]. До войны дело дошло скорее, потому что этой войны очень хотели японские империалисты и русские крепостники-помещики, державшие власть в своих руках. Они не постеснялись убрать и Витте за слишком большую осторожность и мягкость в употреблении силы штыка для подкрепления своих империалистических притязаний. Признав Витте «душой» дальневосточной политики царизма начала XX в., Покровский подчеркивает преемственность его политики с политикой военно-феодальных захватов Николая I. В конечном итоге господствующей явилась не «нормальная», т. е. экономическая, в современном, империалистическом смысле, политика Витте, а «дикое, первобытно торгашеское и феодальное колонизаторство его коронованных господ Романовых»[2], политика Безобразова, Алексеева, Абазы и других, свалivших Витте, Куропаткина и Ламсдорфа.

Надо сказать, что эти взгляды Покровского весьма далеки от ленинской оценки русско-японской войны. Антиленинская методология мешает Покровскому дать правильную классовую характеристику самодержавия. В своей работе «Японская война», написанной в один год с главой о японской войне в сжатом курсе (в 1925), Покровский всячески старается доказать торгово-капиталистический характер всей дальневосточной авантюры царизма в Манчжурии. Несколько десятков страниц им отводится «доказательству» той мысли, что как в завоеваниях Кавказа, Средней Азии, так и в Манчжурии решающая роль принадлежит торговому капиталу. Разумеется, эта точка зрения ничего общего не имеет с ленинской. Ленин характеризовал царизм XX в. как диктатуру крепостников-помещиков и магнатов капитала. Ленин видит новую эпоху, эпоху империализма. Он показывает, как романовская монархия Николая II является защитником интересов империалистической буржуазии. Покровский же не видит никакой новизны, он видит лишь повторение политики захватов, которая была у предшественников Николая II.

Во главу всей дальневосточной авантюры царизма Покровский ставит строительство Сибирской железной дороги. Подробно анализируя причины этого строительства и характер деятельности Русско-

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. ч. 3-я, стр. 291 (курсив мой,—*А. С.*).

[2] Там же, 292.

китайского банка, он при этом совершенно отводит вопрос об империалистических интересах. Он полемизирует даже с Витте, выдвигавшим на первый план торговое и колонизационное значение дороги, и противопоставляет ему другой тезис: «Это была стратегическая дорога»[1]. В изложении Покровского строительство Россией Сибирской дороги превращается само по себе в факт международной агрессии, что, несомненно, помогает японским империалистам оправдывать свою империалистическую политику в Китае.

Финансовая и предпринимательская деятельность китайского банка, организованного Витте в 1895 г. на французские капиталы, рассматривается Покровским лишь в плане деятельности «торгового капитала», а не рассматривается как крупнейшее финансово-капиталистическое предприятие, как проводник империалистической политики русского самодержавия и его союзника—французской биржи. Концессионная деятельность банка, организация промышленных предприятий, железнодорожное строительство, страховые, торговые и чисто банковские учетные операции—все это является неразрывной функцией банка эпохи финансового капитала. Строительство банком Китайско-восточной дороги, назначение директоров банка министром финансов и т. д. не обращают на себя внимания Покровского, для которого банк—лишь придаток к русской торговле, в частности к чайной. «Едва ли можно найти документ, где связь железнодорожного строительства именно с торговым капиталом выразилась бы более четко. Я должен таким образом взять назад высказанное мною однажды (в «Русской истории в самом сжатом очерке», ч. 3-я) утверждение, будто Русско-китайский банк имел главной целью железнодорожное строительство и будто эту цель поставил перед Витте металлургический кризис конца 90-х годов»[2]. А ведь фактически строительство дороги, железнодорожные концессии, несомненно,— основное в деятельности банка.

Покровский не прошел мимо даже такой детали, как остановка Ли Хун-чанга в доме чаеторговца Перлова в Москве. Он все использует для того, чтобы подтвердить свою «теорию» торгового капитала. Покровский не видит, что и самая торговля в эпоху финансового капитала вовсе не велась старомодными, дедовскими методами охотнорядских и замоскворецких купцов, описанных Островским. Она также стала одной из форм деятельности банков и была в крупной, оптовой своей части поставлена под контроль банковского капитала. Покровский не понимает этого. Вся история захватов Китая Россией, Англией, Германией и Японией выглядит слишком мирной операцией.

Покровский совершенно не вскрыл империалистический характер борьбы за раздел Китая. История боксерского восстания им так изложена, что это восстание выглядит лишь как протест мелких торгов-

---

[1] М. Н. Покровский. Японская война. Сборник «1905 год», I, 523.
[2] Сборник «1905 год», I, 533.

цев и собственников Китая против проникновения торгового капитала. Национально-освободительный характер движения китайского народа против господства империалистов и международной интервенции, борьба китайского народа за освобождение своей страны от полуколониального гнета Покровским не показаны.

«Заключительный протокол», подписанный Китаем 7 сентября 1901 г., по которому весь блок империалистических государств предъявил итоговый счет Китаю за усмирение боксерского восстания и разгром Пекина, у Покровского изложен так, что создается впечатление, будто Китай в силу великодушия европейских дипломатов дешево отделался: территорию Китая не тронули, заставили лишь уплатить 450 млн. таэлей контрибуции и—все. По мере уплаты контрибуции войска выводятся из Китая. А этот «протокол» явился для Китая новым этапом завоевания страны империализмом и усиления колониального гнета в стране. Япония и царская Россия были одними из участников этого грабежа Китая. В 1940 г. Китай должен будет закончить выплату этой контрибуции. Все империалистические государства, подписавшие протокол, продолжают получать контрибуцию, только СССР решительно покончил с политикой царского правительства и добровольно отказался от получения следуемой по протоколу доли.

Установим последующую связь событий. После «усмирения» боксерского восстания одним из самых крупных фактов на пути к войне являются оккупация Россией Манчжурии и договор Японии с Англией 30 января 1902 г. Этот договор свидетельствует о несомненном поражении дипломатии царского правительства. Это поражение привело к заключению договора России с Китаем 26 марта—8 апреля 1902 г., по которому царское правительство должно было освободить Манчжурию от русских войск в течение 18 месяцев. Вокруг выполнения этого договора и разгорелась борьба между Витте, Куропаткиным, Ламсдорфом, с одной стороны, и Плеве, Безобразовым и Алексеевым—с другой. Борьба закончилась отставкой Витте и согласием Николая на отставку Куропаткина. Безобразовцы выступили с лозунгом покончить с политикой уступок, якобы проводившейся Витте, Куропаткиным и Ламсдорфом. Они были убеждены, что Витте не может итти с ними в одной запряжке и добились его отставки. Победил так называемый «новый курс», т. е. политика Безобразова—Николая II, исключающая какие-либо уступки. Существо этой политики сводилось к следующему: удержать за собой Манчжурию, не выводить из нее войск, а усилить их, а потом под видом защиты интересов России в Манчжурии,—поглубже запустить лапу в Корею. Отсюда естественно вытекал и вывод—образование наместничества на Д. Востоке. Это решение было осуществлено еще до отставки Витте,—Николай провел его, не посоветовавшись предварительно с Куропаткиным и Витте. Оба они узнали о принятом решении уже из газет. Все это чрезвычайно важные вещи, требующие тщательного

анализа и правильного объяснения. Но четкой классовой характеристики этого конфликта, ускорившего войну с Японией, Покровский не дает. С одной стороны, он противопоставляет эти фактически существовавшие «два правительства» с «диаметрально противоположными программами». С другой стороны, на деле эти разногласия между ними он сводит к разногласиям между торговым капиталом второй половины XIX в. (Витте) и торговым капиталом более ранней формации (XVII в.—Безобразов).

Подводя итоги конкретного разбора материала о причинах войны с Японией, Покровский резюмирует их в следующих словах: «*Манчжурская авантюра была последним колониальным предприятием царской России.* Ее план был задуман широко. Он захватывал сначала весь Китай, потом весь северный Китай, лишь позже, как на программе-минимум, остановились на Манчжурии и Корее, под самый конец уступив и эту последнюю японцам. Руководителем авантюры был *торговый капитал* в двух ипостасях: «старой редакции», военно-грабительской, воплощавшейся в Николае и безобразовской шайке, и «новой», с промышленной, отчасти с финансовой складкой—эта «новая редакция» нашла свое воплощение в Витте, на поводу у которого шла русская дипломатия на Дальнем Востоке. Но если во внутренней политике Витте промышленный капитализм с его тенденциями явно брал верх, то на Дальнем Востоке он занимал то второстепенное место, какое было ему отведено вообще в системе российского *абсолютизма.* Этот последний был ценен для русского капитализма вообще именно своей внешнеполитической ролью—ролью *завоевателя колоний*»[1].

Разумеется, совершенно не соответствуют действительности подчеркнутые автором слова, будто Манчжурия—последнее колониальное предприятие царизма. После русско-японской войны мы имели еще более грандиозный мировой конфликт—войну 1914 г., в которой царизм добивался ряда новых колониальных приобретений.

Покровский подчеркивает руководящую роль торгового капитала в русском самодержавии и его внешней политике, тем самым явно демонстрируя свою антиленинскую позицию. Ленин особенно отмечает в самодержавии отсталые полукрепостнические черты, связанные с дворянством и землевладением, а не торговый капитал, да еще в «двух редакциях», как это делает Покровский.

Ненаучно и вредно противопоставлять «старый» и «новый» торговый капитал, также неверно отрывать внешнюю политику от внутренней и противопоставлять классовый характер одной политики другой. Во внутренней политике царской России 90-х годов промышленный капитал никогда, ни при Витте, ни после него, не играл решающей,

---

[1] М. Н. Покровский. Японская война. Сборник «1905 год», I, 606.

определяющей всю политику самодержавия роли. Промышленный капитал, в собственном смысле этого слова, за всю историю существования царизма никогда не был у власти.

Но Ленин указывает на наличие в аппарате самодержавия большой массы бюрократии, связанной с помещиками, но буржуазной по своему существу. Далее, вовсе не значит, что крепостническое самодержавие не выражало интересов и растущей буржуазии. Наоборот, Ленин именно указывает, что царизм начиная с буржуазных реформ 60-х годов, с Александра II, оставаясь все же полукрепостническим, стал выражать интересы промышленной буржуазии. Политически ошибочно и нелогично заявлять, что во внешней политике, особенно на Дальнем Востоке, эту политику определял торговый капитал, а во внутренней политике—промышленный.

Во всех отраслях политики царизма по решающим, коренным вопросам экономической жизни страны и внешней политики решающее слово оставалось за классом дворян-землевладельцев, представлявших в своем большинстве еще полукрепостников-помещиков. И не торговый капитал, а именно класс крепостников-помещиков в союзе с магнатами банков, биржи и промышленности в эпоху империализма возглавлял и организовывал колониальные предприятия царизма. Именно поэтому Ленин и Сталин указывают нам на военно-феодальный характер империализма царской России, достаточно прочесть лишь фамилии членов безобразовского кружка, чтобы видеть политическую ошибочность заявлений Покровского о роли торгового капитала. Это «свои» люди для Николая II-го. Великие князья, высокотитулованная знать, крупные помещики, надеявшиеся при помощи государственного сундука извлечь пользу из концессии на Ялу, ничем не рискуя, всерьез дрались за изменение нашей политики на Дальнем Востоке. Для этого им нужна была власть, нужно было свалить Витте. Витте был близок к финансово-капиталистическим банковским кругам. Сам тесно связанный с служилой бюрократией, которую В. И. Ленин называет капиталистической, Витте и скрывающиеся за его спиной банковские дельцы представляли империалистическую тенденцию. Но он сделал все, что мог: золотая валюта была введена, железная дорога через Сибирь построена, Дальний и Порт-Артур заняты, в промышленность, банки и государственное казначейство притекали миллиарды рублей иностранных денег, тихоокеанская эскадра была построена. По железной дороге можно было уже перебросить сотни тысяч солдат, чтобы в случае необходимости помериться с врагом. Иллюзия огромной военной силы царизма была велика.

Сам Витте не считал, что момент для вооруженной борьбы с Японией созрел. Чисто экономические интересы русской банковской, промышленной и торговой буржуазии в Корее и Манчжурии были еще, по мнению Витте, не особенно велики. Железной дороге угрозы не было, а она и Китайский банк «мирно» обеспечивали проникновение и усиление влияния русско-французского капитала. Поэтому

Витте соглашался ждать, итти на уступки, не рисковать немедленной войной.

Наиболее реакционная часть помещиков и знати, близкая ко двору, более близкая Николаю по своим политическим симпатиям, считала момент благоприятным для окончательной оккупации Манчжурии. Достаточно и двух строк из письма от 12 марта 1902 г. одного из членов безобразовской группы—Балашева к Николаю II, чтобы почувствовать, чем пахла эта политика авантюр. Балашев советует Николаю поехать на Д. Восток, чтобы на месте провозгласить присоединение Манчжурии к России. Он пишет, что «более удобного времени не было, да вряд ли и будет, для разрешения разом всех вопросов, интересующих нас на Д. Востоке. Нам очень пора покончить с ними теперь же, дабы мы могли обратить должное внимание на действия Англии в Персии и Германии в Малой Азии, принявшие для нас все более и более опасные размеры и характер»[1]. Эта политика по существу делала войну неизбежной, о чем и предупреждал барон Розен—русский посол в Японии, прекрасно осведомленный в настроениях японских военных кругов. А оккупация Россией Манчжурии при наличии в Порт-Артуре сильной эскадры и большого гарнизона расценивалась японским империализмом как угроза японскому влиянию в Корее. История с концессией на Ялу потому приобретала острый характер, что она не была частным эпизодом. Япония расценивала этот факт как показатель общей линии наступления русского военно-феодального империализма на Корею. В этой войне речь шла не только о Манчжурии или о Корее, как пишет Покровский, но борьба шла и за Корею и за Манчжурию одновременно.

Авантюризм русского самодержавия, ставка Плеве на легкую, победоносную войну, необходимую по внутриполитическим мотивам, ускоряли войну с Японией и делали ее неизбежной. Если учесть империалистические аппетиты самой Японии, ее настойчивые домогательства об укреплении своего влияния в Манчжурии, то становятся ясными и борьба между Японией и царской Россией и неизбежность столкновения.

Линия Безобразова—Николая, более милитаристская, открыто захватническая, исключила возможность серьезного сговора об «уступках» России в Манчжурии и форсировала войну. Линия Витте—более гибкая. Он лучше учитывал соотношения сил и реальную выгоду для царизма и банковского капитала. Его политика, не устраняя в конечном итоге войны, открывала более возможностей для маневрирования, компромиссов и оттяжек конфликта.

М. Н. Покровский не понимает существа и не делает всех выводов из «двух программ» и «двух правительств», существовавших летом 1903 г. А между тем создание наместничества было подготовкой

---

[1] «Русско-японская война». Гиз. 1925, стр. 134.

войны. На портартурских совещаниях Безобразов, ни от кого не получив поддержки, остался в одиночестве. «Безобразов окончательно убедился,—пишет Покровский,—что ничего великого ни в Манчжурии, ни в Китае не удастся совершить, пока там будет пользоваться властью хоть один из его врагов-министров»[1]. Этот факт отмечен верно, но выводы из него делаются неправильные. Видя оппозицию, Безобразов и Николай II сделали свои выводы: создали наместничество с Алексеевым во главе, и последовала отставка Витте. Куропаткин с предупреждением об отставке отправился в отпуск.

Николай и вся безобразовская шайка вели политику авантюры, уверенные в том, что войны не будет, так как Россия не готова к войне, а Япония не посмеет напасть первая. К сожалению, Покровский не показывает, в чем же выразилась неподготовленность войны со стороны царской России, ибо на этом фоне авантюризм царского правительства выглядел бы значительно ярче и убедительнее.

Ошибочны и неубедительны следующие слова Покровского, в которых он оценивает обстановку осени 1903 г. «В августе 1903 г. от военных действий было еще далеко, но картина была уже достаточно угрожающая»[2]. Эта оценка совсем не вяжется с тем, что говорил Покровский о безобразовской группе, забравшей власть в свои руки, с тем, что создание наместничества—прямой путь к войне. Теперь Витте сломали шею. Его заменила шайка еще больших авантюристов, мечтавших о войне, прямо и откровенно говоривших о необходимости попугать Японию угрозой войны, а по Покровскому,—до войны «еще далеко». В этой оценке Покровский игнорирует и внутреннюю обстановку в Японии. Ведь фактически к осени 1903 г. Япония закончила подготовку к войне и поэтому проявляла исключительную неуступчивость при переговорах с Россией. Адмирал Того в первом томе своего отчета о военных действиях против русского флота рассказывает, что к осени 1903 г. весь японский флот находился в боевой готовности,—были перемещены командиры, командующим эскадрой был назначен Того. Все это проделано с учетом приближающейся войны.

М. Н. Покровский не анализирует политику Японии осенью 1903 г., ту бешеную подготовку к войне, которая велась в стране, несмотря на переговоры с Россией. По существу политика Николая—Безобразова была наруку военно-империалистическим кругам Японии, стремившимся поскорей довести дело до войны. Они понимали, что оттяжка войны будет наруку царскому правительству, поэтому «неуступчивость» безобразовцев была определенно использована японскими империалистами не с целью найти компромисс, а для того чтобы прямиком поставить Россию перед войной. В каждом новом варианте японских предложений (а их было 4) мы замечаем новые

[1] Сборник «1905 год», I, 594.
[2] Там же, 597.

требования, закрепляющие позиции японского империализма в Корее и Китае и ослабляющие позиции царизма.

Перед явной угрозой войны уже со стороны Японии царское правительство согласилось пойти на ряд важных уступок японскому империализму, но было уже поздно. Не дождавшись даже решающего ответа царского правительства, Япония прервала переговоры. Она отозвала своего посла и без объявления войны, внезапно напала на русский флот в Порт-Артуре вечером 26 января 1904 г. Эта атака миноносцев вывела из строя русской эскадры 2 броненосца и 1 крейсер и сразу обеспечила превосходство японского флота над русским.

Статья Покровского «Японская война» заканчивается фактически на разрыве дипломатических отношений между Россией и Японией. Каково отношение автора к факту нападения японской эскадры на русский флот, мы видим из сжатого очерка истории России, в котором коротко дается история самого хода военных действий.

Очерк военных действий русско-японской войны Покровский начинает политически ошибочной и вредной оценкой нападения японских миноносцев на русский флот 26 января 1904 г. Эта оценка Покровского фактически льет воду на мельницу японских фашистов. Вместо того чтобы разоблачить японский империализм, он скатился на точку зрения японских империалистов, так как оправдывает эту атаку и находит ее допустимой даже с точки зрения международного права.

Покровский фактически совсем снимает ответственность с японского империализма за войну, делая одно царское правительство виновником войны, что совершенно неправильно: «Царское правительство могло на это ответить только воплями об «изменническом нападении коварного врага»—воплями лицемерными, *ибо поступок японцев, допускавшийся международным правом, которое вовсе не требует непременного торжественного объявления войны* перед началом военных действий, много прямее и искреннее проектов Безобразова—занять русскими войсками ту самую Северную Корею, нейтрализации которой требовала Россия от Японии. Только Безобразову его хитрость не удалась, он не успел этого сделать, а японцы успели»[1]. Опереди Безобразов Японию—не стал же бы Покровский оправдывать этот шаг агрессии?

В отчете адмирала Того: «Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи», т. I, стр. 31—с откровенным бесстыдством рассказано, как японцы по-воровски готовили нападение на русскую эскадру. «Когда 24 января (6 февраля) 1904 года соединенный флот получил императорский указ начать военные действия, то адмирал Того с подведомственными ему силами находился в порту Сасебо. Немедленно в 1 час ночи, собрав на флагманское судно «Микаса» всех

---

[1] М. Н. Покровский. Русская история в самом сжатом очерке. 300 (курсив мой.—*А. С.*).

флагманов и командиров судов, он объявил им императорский указ и прибавил следующее: «Я предлагаю теперь же со всем флотом направиться в Желтое море и атаковать суда неприятеля, стоящие в Порт-Артуре и Чемульпо. Начальник 4-го боевого отряда, контр-адмирал Уриу, со своим отрядом (с присоединением крейсера «Асама») и 9-м и 14-м отрядами миноносцев имеет итти в Чемульпо и атаковать там неприятеля, а также охранять высадку войск в этой местности. 1-й, 2-й и 3-й боевые отряды, вместе с отрядами истребителей, пойдут прямо к Порт-Артуру. Отряды истребителей ночью атакуют неприятельские суда, стоящие на рейде. Эскадра же предполагает атаковать неприятеля на другой день».

Так, издеваясь над международным правом, готовила Япония нападение на русскую эскадру. Этот «метод» войны японские фашисты прочно усвоили и теперь. Обязанностью историка-марксиста является разоблачить и показать лицо хищника в подлинном неприглядном виде. Покровский же фактически оправдывает это нападение японцев, положившее начало военным действиям.

С каких это пор большевики стали в начавшейся войне между двумя империалистическими государствами оправдывать то из них, которое оказалось хитрее и, нарушая договоры, первым начало палить из пушек? Это позиция не ленинская, не интернационалистская, а шовинистская. Внешний «радикализм» высказываний Покровского ничего общего не имеет с ленинской пораженческой позицией, занятой большевистской партией в этой войне. Пораженчество большевиков вытекало из интересов как русской, так и международной революции, помогало развитию этой революции, вело к разгрому царизма не только на полях Манчжурии, но и в классовой борьбе.

Позиция Покровского ничего общего с ней не имеет. Не даром он даже не освещает позицию большевистской партии, показывающую верность партии интернациональным задачам, уменье на основе применения марксистско-ленинской теории использовать конфликт двух империалистических государств в интересах революции, в интересах пролетариата. Точка зрения Покровского сводится к оправданию хищничества более сильного и более ловкого империалиста.

Мы не будем заниматься детальным разбором хода самой войны и высказываний Покровского по этим вопросам. Необходимо лишь отметить, что Покровский не показывает причины поражения русской армии—настроение армии и неспособность, ограниченность высшего командного состава, так блестяще обрисованные в замечательных статьях В. И. Ленина о войне. Поражение русской армии под Мукденом Покровский совершенно неправильно сравнивает с разгромом русских войск под Аустерлицем в 1805 г. Наполеоном. Между тем японское командование, прошедшее школу Мольтке, далеко не отличалось наполеоновскими талантами. Главнокомандующий Ойяма не только не походил на Наполеона, но не может равняться и с самыми посредственными маршалами Наполеона.

В исследовании советского ученого комбрига тов. Левицкого[1] о русско-японской войне довольно ярко вскрыты эти слабые стороны японского командования, о которых ничего не говорит Покровский. Мы знаем хорошо, как несколько раз сражение, носившее нерешительный характер, превращалось в японскую победу только потому, что русское командование больше всего заботилось об отступлении. Имея выигрышное положение, оно добровольно отдавало победу в руки врагов. Так было под Ляояном, где Куропаткин и Ойяма соревновались друг с другом, кому из них первому начать отступление. Пальма первенства осталась за Куропаткиным. Он на два часа раньше Ойямы отдал приказ об отступлении. Лишь на море японцы разгромили русских полностью. Цусимский разгром означал бесповоротный проигрыш войны царским правительством.

Никто, кроме большевиков, не дал исчерпывающего анализа и ответа на вопрос о причинах поражения царизма в войне с Японией. Этот ответ партия под руководством В. И. Ленина дала еще в ходе самой войны. Никто так решительно, настойчиво и последовательно не боролся с самодержавием, не разоблачал его, не вскрывал его разложение и неспособность организовать даже военную победу, как большевистская партия.

Во всех исторических работах Покровского, посвященных русско-японской войне, не найдешь четкого и ясного ответа на вопрос, почему японский империализм добился победы над царским военно-феодальным империализмом. Зато этот ответ ясно и точно дает Ленин. Он дал яркую, красочную и исчерпывающую характеристику причин поражения царизма: «Генералы и полководцы сказались бездарностями и ничтожествами... Офицерство оказалось необразованным, неразвитым, неподготовленным, лишенным тесной связи с солдатами и не пользующимся их доверием. Темнота, невежество, безграмотность, забитость крестьянской массы выступили с ужасающей откровенностью при столкновении с прогрессивным народом в современной войне... Военное могущество самодержавной России оказалось мишурным. Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований стоящей, организации военного дела,—того самого дела, которому царизм отдавался всей душой, которым он всего более гордился, которому он приносил безмерные жертвы, не стесняясь никакой народной оппозицией. Гроб повапленный—вот чем оказалось самодержавие в области внешней защиты, наиболее родной и близкой ему, так сказать, специальности»[2].

Эта характеристика Ленина показывает цену противника японского империализма. Но и над этим «гробом повапленным» победу японский империализм одержал нелегко. Понадобилось огромное на-

---

[1] Н. А. Левицкий. Русско-японская война 1904—1905 г. II изд. Воениздат, 1936.

[2] В. И. Ленин. Соч., VII, 47—48.

пряжение материальных и финансовых средств, полная мобилизация всех призывных возрастов, огромнейшие финансовые займы за границей. Долг империалистической Японии достиг 2.4 млрд. иен, в том числе занято на войну в Англии и Америке свыше 1 млрд. иен.

По Портсмутскому миру с Россией, заключенному в августе 1905 г., главной добычей японского империализма, кроме южного Сахалина, являются Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, Дальним, с Южноманчжурской железной дорогой и Корея, ставшая монопольной колонией японского империализма.

Японский империализм укрепился на азиатском материке, в Китае и Корее, чтобы использовать завоеванный плацдарм в качестве базы для своей дальнейшей империалистической экспансии в Китае.

Подведем некоторые итоги нашей критики взглядов Покровского на русско-японскую войну. Не только методология Покровского, но и вся постановка конкретных вопросов, связанных с историческим развитием России XX в., вся схема русско-японской войны (причины войны, ее характер, ход войны, причины поражения России, роль и место Японии и царской России в системе мирового империализма и др.) являются антиленинскими. Ленинские высказывания и оценки Покровским замалчиваются и искажаются. Игнорируется роль империализма. Причины войны сводятся к колониальным интересам торгового капитала. Поэтому рассмотрение политики царской России и империалистической Японии совершенно не вскрывает империалистического характера ожесточенной борьбы за Китай и Корею между царской Россией и Японией, не разоблачает их хищнические колониальные аппетиты. Антиленинское определение самодержавия как военной организации торгового капитала противопоставляется ленинско-сталинской характеристике царизма как военно-феодального империализма.

Покровский замазывает империалистический и аннексионистский характер устремлений японского империализма, не разоблачает грабительские цели войны как со стороны России, так и особенно Японии, не показывает конкретного влияния поражения царизма на полях Манчжурии на развитие революции.

V

Японские военно-фашистские круги ссылаются на «опыт войны» 1904—1905 гг., чтобы подготовить и повторить новую войну—против Советского Союза. Но они изучают итоги прошлой войны однобоко и тенденциозно. Мы им должны указать, что изучение опыта и итогов русско-японской войны показывает прежде всего, что сейчас японским империалистам придется иметь дело с другой исторической ситуацией, с качественно иным противником.

Читая страницы Ленина о бездарности и глупости русского гене-

ралитета, невежестве офицерства, забитости русского солдата, советский человек прежде всего чувствует, какое огромное расстояние отделяет нас от прошлых исторических событий, происходивших всего 30 с небольшим лет назад.

СССР—не царская Россия, брошенная царизмом в авантюрное колониальное предприятие: СССР будет защищать свое социалистическое отечество, а Красная армия будет сражаться так, как никогда не сражалась ни одна другая армия, ибо за нашей Красной армией весь народ нашей родины и мощная социалистическая индустриальная база.

Вождь нашей коммунистической партии и страны великий Сталин, оценивая прошлое историческое развитие царской России, особенно четко и убедительно подчеркивал связь между экономической и политической отсталостью и военными поражениями государства:

«История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. *Били японские бароны. Били все—за отсталость.* За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно... Они били и приговаривали: «ты убогая, бессильная»—стало быть, можно бить и грабить тебя безнаказанно. Таков уже закон эксплоататоров—бить отсталых и слабых. Волчий закон капитализма. Ты отстал, ты слаб—значит ты неправ, стало быть, тебя можно бить и порабощать. Ты могуч—значит ты прав, стало быть, тебя надо остерегаться»[1].

Наше государство ведет мирную политику. В противоположность бывшей царской России и нынешней империалистической Японии, а также в противоположность всем фашистским поджигателям войны народы СССР не думают о приобретении каких-либо колоний, угнетении других народов. Но мы не допустим покушения японских фашистов на нашу границу, на нашу социалистическую родину. У рабочих и трудящихся СССР «есть отечество и мы будем отстаивать его независимость» *(Сталин)*. Мы не хотим отставать ни в одной области—промышленной, сельскохозяйственной, культурной, военно-технической. Наша социалистическая родина быстро движется вперед во всех областях социалистического строительства. СССР создал мощную Красную армию, являющуюся оплотом мира и мирного социалистического строительства. Эту армию, неразрывно связанную со всеми трудящимися нашей страны, выпестовала великая партия Ленина—Сталина.

Пролетарская диктатура разгромила и уничтожила подлых бандитов, фашистских агентов и предателей социалистической родины:

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 445 (курсив мой.—*А. С.*).

Зиновьева, Каменева, Тухачевского, Пятакова, Бухарина, Рыкова и их свору. Народы СССР еще теснее сплотились вокруг коммунистической партии, они по зову партии и правительства дадут отпор зарвавшимся фашистским поджигателям войны.

А как дерется советский народ, защищая свою родину от иностранной интервенции, японская военщина имела возможность убедиться на собственном опыте во время гражданской войны на Дальнем Востоке и в последних боях в районе озера Хасан. Наглая авантюра японских самураев была разбита бойцами доблестной Первой (Приморской) Красной армии. Японская военная клика получила новый предметный урок, свидетельствующий о силе, крепости и беззаветном героизме нашей доблестной Красной армии. С огромными потерями японцы были отброшены советскими войсками на территорию Манчжурии, и на советской территории не осталось ни одного японского солдата. Японская военная клика не в первый уже раз убедилась, что Советский Союз—это не бывшая царская империя, армию которой японцам однажды удалось разбить.

Прекрасно снабженная и оснащенная технически, имея крепкие, культурные пролетарские командные кадры, преданные родине и партии, Красная армия во главе с тов. Ворошиловым разобьет любого врага, который попробует прощупать прочность наших границ, на его территории.

Пусть это учтет японская военно-фашистская клика и внесет в качестве обязательного дополнения к опыту изучения русско-японской войны.

Пусть поостережется начинать войну против Страны Советов, которая не стремится к завоеванию хотя бы пяди чужой земли, но никому никогда не уступит ни пяди советской земли.

А. ЕРУСАЛИМСКИЙ

ПРОИСХОЖДЕНИЕ МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 1914—1918 гг. В ОСВЕЩЕНИИ М. Н. ПОКРОВСКОГО

I

В своих «Замечаниях по поводу конспекта учебника по истории СССР» товарищи Сталин, Жданов и Киров особо подчеркнули необходимость изучать «корни первой империалистической войны и роль царизма в этой войне»[1]. Одним из препятствий, задерживающих научное марксистско-ленинское изучение этих вопросов, является, как правильно было указано в этих замечаниях, распространение взглядов М. Н. Покровского и его «школы». Антиисторический характер взглядов М. Н. Покровского в полной мере проявился и в постановке и разрешении вопроса о происхождении первой мировой империалистической войны. «Нам все еще некогда быть историками»,—писал Покровский в 1924 г. в статье «Как готовилась война»[2]. Эти как бы мимоходом оброненные слова объясняют многое. Они неразрывно связаны с известным представлением Покровского о том, что история—это политика, опрокинутая в прошлое. Они как бы призваны оправдать по существу ликвидаторское отношение Покровского к марксистско-ленинской исторической науке.

Покровский много писал о первой мировой империалистической войне, но всегда совершенно неправильно освещал вопрос о происхождении этой войны, о ее характере, о ее глубочайших экономических, политических и классовых корнях. Это объясняется тем, что Покровский никогда не мог понять самых основ ленинской теории империализма. То, что некоторые работы Покровского были написаны до появления книги Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», ничего не объясняет, ибо, переиздав эти работы в 1928 г., Покровский в предисловии к ним писал, что, «устарев кое в чем, в основном эта социология войны... остается, по моему, верной и доселе»;

---

[1] Сборник «К изучению истории». Партиздат, 1937 г., стр. 23.

[2] М. Н. Покровский. Империалистская война. Сборник статей. Соцэкгиз, М., 1934 г., стр. 179.

он продолжал настаивать на том, что его работы дают «в основном неустаревшую картину возникновения империалистической войны»[1]. Но и работы Покровского, написанные после выхода в свет книги Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма», не несут на себе печати ленинской теории империализма, хотя, как известно, Покровский был одним из первых, кто ознакомился с этой работой Ленина в рукописи до выхода ее в свет[2].

Что мировая война 1914—1918 гг. являлась войной империалистской, об этом Покровский писал во всех своих работах, посвященных данному вопросу. Однако в разных своих работах М. Н. Покровский по-разному трактует самое понятие империализма, причем все эти трактовки в основе своей расходятся с учением Ленина. Так, во всех своих многочисленных работах Покровский ни разу не обнаружил хотя бы приближенное понимание действия закона неравномерного развития капитализма в эпоху империализма—закона, столь блестяще разработанного Лениным и Сталиным. В неразрывной связи с этим стоит и то, что Покровский не видел в империализме тех отличительных признаков, из которых складывается единственно правильное марксистско-ленинское научное понимание вопроса. Как известно, Ленин считал необходимым в полное определение империализма включение пяти основных его признаков, а именно: господство монополий, образование финансового капитала, вывоз капитала, борьба международных монополий за экономический раздел мира, борьба между империалистскими государствами за передел уже поделенного мира. Ленинское определение империализма составляет единственное научное основание для изучения империалистской эпохи. Учение Ленина об империализме как высшей и последней стадии капитализма является основой его учения об империалистских войнах[3].

Между тем эта единственно научная теория империализма и учение об империалистских войнах не нашли своего отражения в работах Покровского, который в качестве основной черты империализма выдвигает те или иные, иногда экономические, а иногда политические моменты, обычно имеющие второстепенное значение. «Империализм в современной Европе,—пишет Покровский,—означает тяготение к сильной центральной власти». Тут же Покровский следующим образом раскрывает свое понимание империализма: «Высокие таможенные пошлины, дававшие «отечественной» индустрии монополию внутри страны, стремление под защитой этих пошлин расширить свою хозяйственную территорию до необъятных размеров, ряд завоевательных войн и «экспедиций», как последствие этого стремления»[4].

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война. Сборник статей 1915—1927 гг., М., 1929, стр. 13.

[2] См. письмо Ленина Покровскому 2 июля 1916 г. (В. И. Ленин. Соч., XXIX, 268—269).

[3] В. И. Ленин. Соч., XIX, 142—143.

[4] М. Н. Покровский. Империалистская война, 1934, стр. 12.

Такое же совершенно недостаточное и потому неправильное определение империализма Покровский дает и в своих более поздних работах. В некоторых из них он выдвигает на первый план те или иные дополнительные экономические или политические черты империализма, не выделяя, однако, основных его признаков, вскрытых Лениным. Несмотря на это, Покровский в одном месте пытается доказать, что к критике теории Гильфердинга об империализме и к правильному ленинскому пониманию империализма как загнивающего капитализма он подошел еще в мае 1915 г.[1], т. е. якобы одновременно с Лениным или даже ранее Ленина.

Указывая, что эти его взгляды относительно империализма якобы подверглись в свое время критике со стороны Пятакова, Покровский замечает: «К сожалению, я не знаю, как отнесся к той попытке—в 1915 г. критиковать Гильфердинга—Ленин, заметил он или не заметил, что... я пытаюсь обосновать его ленинскую мысль: о загнивании капитализма. Повидимому, он не обратил внимания на мою статью»[2]. Напрасно Покровский, стремясь представить свое понимание империализма как обоснование и даже едва ли не предвосхищение ленинских мыслей, сослался на мнимую критику Пятакова, который уже тогда являлся врагом учения и дела Ленина. В действительности же Ленин обратил внимание на статью Покровского «Виновники войны» и подверг ее глубокой и суровой критике. Ленин не мог в этой статье Покровского обнаружить то, чего в ней не было,—а именно, обоснования ленинских мыслей об империализме. Но он обнаружил в ней крупнейшие ошибки Покровского.

Дело в том, что, «критикуя» Гильфердинга, Покровский не только не продвинулся в сторону ленинского понимания империализма, а, наоборот, сделал шаг назад даже по сравнению с Гильфердингом. Так, в этой статье Покровский совершенно игнорирует роль экспорта капитала в эпоху империализма и тем самым совершенно неверно освещает самые основы господства финансового капитала. «Германия начала двадцатого столетия,—пишет Покровский,—оказывается, очень близка, по своим интересам к Англии первой половины девятнадцатого. Для Германии, как тогда для Англии, оказывается нужна не «возможно обширная хозяйственная территория», огражденная от иностранной конкуренции «таможенными стенами», а сокрушение всяких «таможенных стен» и «открытые двери» повсюду. И этому экономическому положению, как нельзя лучше, отвечала германская политика за последние 40 лет: целью этой политики было отнюдь не расширение территории, а заключение торговых договоров»[3]. И это Покровский писал в те годы, когда германский империализм уже вел войну за передел мира, когда германские войска уже захватили обширные тер-

---

[1] Там же, 68.
[2] Там же.
[3] Там же, 70.

ритории на востоке Европы, а на западе захватили Бельгию, ряд французских департаментов, когда руководящие круги германского империализма уже не скрывали своих обширных захватнических планов во имя утверждения мировой гегемонии!

Эти взгляды Покровского своими корнями переплетались со взглядами Каутского, который, как известно, также утверждал, что стремлению капитала к расширению противоречат «насильственные методы империализма». Таким образом, в своей «критике» Гильфердинга Покровский не только не приблизился к правильному ленинскому пониманию империализма, а тем более не предвосхитил его, но просто продолжал оставаться на позициях каутскианства. Все последующие работы Покровского свидетельствуют о том, что он никогда не усвоил ленинской теории империализма, всегда оставаясь в этом важнейшем вопросе на позициях Каутского и Гильфердинга. В 1924 г. Покровский достаточно ясно сам сформулировал свою приверженность к теории Гильфердинга [1]. Тогда же своим «открытием» сверхнационального капитализма Покровский еще более ясно обнаружил свою приверженность к каутскианской теории ультраимпериализма: «Фактически перед 1914 г.,—писал Покровский,—уже не было национальных капитализмов—французского, английского или германского: был мировой капитализм, отдельные группировки которого спекулировали на национальных чувствах мелкой буржуазии различных стран» [2].

Несколько позднее, в 1928 г., Покровский, говоря об империалистическом характере войны, еще более ясно обнаружил свои антиленинские взгляды на империализм. Он утверждал даже, будто для раскрытия империалистического характера мировой войны 1914—1918 гг., для оценки роли империализма, для анализа конкретной исторической обстановки, в которой эта война возникла, безразлично, «как бы ни понимали мы термин «империализм»—по Гильфердингу или по Ленину...» [3]. Такое отношение Покровского к теории вообще и к ленинской теории империализма в особенности объясняет эклектический характер его взглядов по вопросу о происхождении первой мировой империалистической войны, объясняет, почему Покровский в своих многочисленных работах не дал правильного научного, ленинско-сталинского освещения этого вопроса. Даже в тех из поздних своих работ (например, в статье «Мировая война», написанной в 1930 г.), в которых Покровский останавливается на роли экспорта капитала, на значении сращивания промышленного и банковского капитала, он все же не стоит полностью на гранитном фундаменте ленинской теории империализма. Основой всех его работ по вопросу о происхождении мировой войны 1914—1918 гг. являются оппор-

---

[1] М. Н. Покровский. Очерки по истории революционного движения, XIX—XX вв. Курс лекций, М., 1924, стр. 119.

[2] М. Н. Покровский. Империалистская война, 145.

[3] Там же, предисловие.

тунистические антиленинские теории империализма Каутского и Гильфердинга. На такой основе Покровский, конечно, не мог дать правильного конкретно исторического анализа основных антагонизмов империалистической эпохи, ввергнувших человечество в мировую войну.

«Материалист» Покровский, очевидно, не понимал того, что так замечательно сформулировал еще идеалист Клаузевиц: война есть продолжение политики другими средствами [1]. Покровский не понимал сущности империалистической войны, как не понимал и сущности империалистской политики, предшествовавшей войне. «...Для понимания современной войны,—писал Ленин,—мы должны прежде всего бросить общий взгляд на политику европейских держав в целом... Надо взять всю политику всей системы европейских государств в их экономическом и политическом взаимоотношении, чтобы понять, каким образом из этой системы неуклонно и неизбежно вытекла данная война» [2]. Покровский никогда не занимался подобным всеохватывающим анализом корней первой мировой империалистической войны, ибо к изучению этого вопроса он подходил не с оружием революционной диалектики, а как «экономический материалист», который искал «статистического» обоснования войны. В поисках статистического обоснования войны Покровский подходил к изучению цифр вывоза и ввоза товаров без учета того, какое место занимает внешний товарооборот в общей системе империалистской борьбы, без конкретного анализа специфических черт, свойственных империализму, и без анализа конкретно исторической обстановки классовой борьбы. В основе большинства статей Покровского о происхождении мировой войны лежит весьма упрощенная, чуждая ленинизму схема: внешняя политика каждой страны определяется развитием ее внешней торговли. Не случайно поэтому Покровский ищет не столько конкретно-исторические особенности, свойственные эпохе империализма, сколько моменты сходства этой эпохи с эпохой домонополистического капитализма. Он утверждает, что русский империализм накануне мировой войны 1914 г. имеет сходство с эпохой Николая I, причем это сходство «не ограничивается, по его мнению, «материалом империализма», если можно так выразиться: оно идет гораздо дальше» [3]. «Сходство ситуаций начала XX в. и середины XIX в. поразительное» [4],—пишет он в другом месте. Он указывает далее, что будто бы имеется «разительное, до мелочей, сходство ситуаций 1830-х годов, на другой день после разгрома декабристов, и 1910-х годов, на другой день после разгрома русской революции» [5]. «Ситуация начала 80-х годов

---

[1] Клаузевиц. О войне. М., 1934, стр. 27.
[2] В. И. Ленин. Соч., XXX, 334.
[3] М. Н. Покровский. Империалистская война, 13.
[4] Там же, 18.
[5] Там же, 66.

повторялась буквально»,—пишет Покровский, рисуя русско-германские отношения накануне войны 1914 г.[1].

Такой схематизм, лишающий эпоху господства финансового капитала ее специфических, выясненных Лениным, конкретно-исторических черт, приводит к тому, что в отношении эпохи империализма Покровский оперирует категориями, более свойственными эпохе домонополистического капитализма. Только один раз на протяжении своего многолетнего изучения вопроса о происхождении мировой империалистической войны Покровский указывает на увеличивающуюся роль экспорта капитала по сравнению с экспортом товаров. Но и тут Покровский дает этому утверждению весьма ограниченное толкование: он относит его только к характеристике английского империализма и только к периоду, непосредственно предшествующему первой мировой войне. Больше к вопросу о роли экспорта капитала в обострении основных империалистических противоречий, вызвавших мировую войну, Покровский нигде не возвращается, он всюду говорит только о значении экспорта товаров, но и последнему вопросу он не дает правильного, научного, ленинского толкования. Однажды бросив мысль, «что суть империализма заключается в борьбе за мировой рынок, за монополию на мировом рынке»[2], Покровский всюду и везде говорит только о промышленном соперничестве. При этом Покровский часто вступает в противоречие с самим собой: в одних случаях этому промышленному соперничеству он придает преувеличенное, обычно даже всеопределяющее значение, в других случаях, главным образом в более поздних работах, Покровский вообще отрицает какую бы то ни было роль борьбы империалистических государств за мировой рынок. Если Ленин писал, что конкуренция Англии и Германии «на мировом рынке все более и более обостряется»[3], указывая, что это является одним из факторов, ускоряющих военное столкновение, то Покровский в одном месте договаривается даже до того, что англо-германское промышленное соперничество объявляет легендой.

На самом деле Покровский, который говорил о себе как о мастере по части разрушения всякого рода исторических легенд, на сей раз сам создал легенду о том, что в годы, предшествующие мировой империалистической войне, «мировой рынок сам по себе был еще достаточно емок и на нем пока находилось место для всех трех империалистских колоссов: как Германии, так и Англии и Америки»[4]. Разумеется, эта каутскианская точка зрения не дает ключа к правильному, научному пониманию вопроса. Склонный преуменьшать значение основного империалистического антагонизма предвоенного периода между Англией и Германией, Покровский, в конце концов, сводит

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 80.
[2] Там же, 130.
[3] В. И. Ленин. Соч., XV, 165.
[4] М. Н. Покровский. Империалистская война, 40.

сложный комплекс противоречий между империалистическими державами к какому-нибудь одному, весьма узкому и ограниченному, вопросу, например к вопросу о борьбе за морской транспорт. Так, сущность англо-германского конфликта Покровский видит «в морском соперничестве Англии и Германии»[1]. Это, однако, не мешает Покровскому в другой работе писать: «Если искать одной определенной, конкретной причины англо-германской войны 1914 г., то придется указать именно на Багдадскую дорогу»[2]. А это, в свою очередь, не мешает Покровскому в третьем месте утверждать, что Багдадская железная дорога не была «корнем англо-германских разногласий»[3], и в то же время неоднократно возвращаться к Багдадской дороге как основному и решающему фактору англо-германского антагонизма. Все эти, как и многие другие случаи, когда Покровский вступает в противоречие с самим собою, объясняются тем, что точка зрения Покровского на империализм (или, вернее, его многочисленные и часто меняющиеся точки зрения) находится в полном противоречии с ленинским пониманием империализма и империалистских войн, которое единственно научно объясняет всю сложную действительность эпохи империализма.

II

С особенной настойчивостью Ленин всегда подчеркивал необходимость конкретно-исторического изучения вопроса о причинах и классовом содержании войн: «необходимо, прежде всего,—говорил Ленин,—установить, каковы объективные условия и конкретная обстановка данной войны»[4]. Но Покровский, который не уяснил ленинской теории империализма, естественно, не мог разобраться ни в основных исторических антагонизмах, вызвавших мировую войну, ни в классовом содержании этой войны. Систему вооруженного мира—эту комбинацию международных отношений, установившуюся в Европе после франко-прусской войны, он определяет лишь «как ряд дипломатических конфликтов, опиравшихся на перекрестные вооружения и, в свою очередь, дававших повод к новым вооружениям»[5]. Характеризуя эту систему, Покровский ограничивался двумя моментами: во-первых, он видел в ней только дипломатические столкновения, а во-вторых, он рассматривал ее лишь в определенных территориальных рамках, куда входила только Западная Европа, исключая, следовательно, даже царскую Россию, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки и о Японии. В этой связи следует отметить, что

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 40.
[2] Там же, 37.
[3] Там же, 44.
[4] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 49.
[5] М. Н. Покровский. Империалистская война, 30.

в своем анализе системы вооруженного мира Покровский совершенно игнорировал вопрос об империалистическом угнетении колониальных народов. Анализируя систему вооруженного мира, Покровский даже в самой отдаленной степени не приблизился к правильному ленинскому пониманию вопроса. «В Европе,—писал Ленин,—господствовал мир, но он держался потому, что господство европейских народов над сотнями миллионов жителей колоний осуществлялось только постоянными, непрерывными, никогда не прекращавшимися войнами»[1].

Неверная характеристика системы международных отношений, сложившейся в Европе, не случайна для Покровского: не поняв ленинского учения об империализме, Покровский и колониальное соперничество рассматривал (и притом лишь в отдельных случаях), как «фактор», оторванный от общей империалистической борьбы за передел мира. Бесконечная цепь колониальных войн, которые велись империалистскими державами, и даже локальные войны в пределах Европы оказались в характеристике Покровского вне непосредственной связи с той борьбой, которая шла между основными империалистскими державами и которая привела к образованию двух противостоящих друг другу империалистических блоков.

Не поняв содержания империалистской войны, не вскрыв ее глубочайших корней, не установив конкретных этапов ее подготовки, Покровский, естественно, не мог дать и правильной картины расстановки империалистских сил, а также образования империалистских блоков. Не случайно, что к вопросу об образовании Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия) Покровский подходит лишь один раз, и то только для того, чтобы дать удивительное по своей несуразности объяснение. «Стремление Германии... найти союзников в Австрии и Италии,—пишет Покровский,—было естественным в ее положении ответом на... чувства российского помещика»[2]. Покровский имеет в виду «чувства» недовольства, вызванные у русских помещиков таможенной политикой Германии. При анализе обстановки, в которой возник тройственный союз, Покровский, таким образом, обходит полным молчанием то, что Германия ставила перед собой задачу во что бы то ни стало добиться полной изоляции Франции, что в Тройственном союзе, даже в период его образования, Германия видела орудие утверждения своей гегемонии на европейском континенте. Покровский обходит также вопрос об использовании Германией в тот период противоречий между царской Россией и Австро-Венгрией на Балканах, о разжигании и использовании Германией соперничества между Францией и Италией на колониальном поприще. Ни одним словом он не затрагивает также вопроса о расчетах Германии в период образования Тройственного союза относительно политики Англии и т. д. Как увидим в дальнейшем, Покров-

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XXX, 334.
[2] М. Н. Покровский. Империалистская война, 79.

ский не случайно молчит обо всем этом,—это вполне увязывается с его общей концепцией об исключительном миролюбии, свойственном политике германского империализма, с представлением Покровского об отсутствии «агрессивных тенденций в политике Германии этого периода» [1].

Если относительно Тройственного союза Покровский ограничивается только незначительными замечаниями, подчеркивая в них оборонительный, неагрессивный характер этой коалиции, то гораздо чаще Покровский возвращается к истории образования другой империалистской группировки—Тройственного согласия (Антанты), в которой он всегда видел главных «виновников войны». Однако, и в этом вопросе мы находим у Покровского несколько версий; последнее, естественно, объясняется тем, что он дает и несколько версий развития основных империалистских противоречий в довоенный период. «Восточный вопрос,—пишет Покровский,—дает фон всей ужасающей бойне 1914 г.» [2]. И на этом фоне Покровский в ряде работ выдвигает противоречие между царской Россией и Германией как основное противоречие, породившее мировую войну. В других статьях, где Покровский вспоминает о колониальном соперничестве между империалистскими державами или говорит о столь преувеличенном им самостоятельном значении соперничества в развитии морского транспорта, он выдвигает в качестве основного фактора, подготовившего войну, противоречие между Англией и Германией. «Железная необходимость,—пишет он,—...вела... к войне между Англией и Германией», и эту железную необходимость он непосредственно выводит из простого сопоставления цифр тоннажа морского транспорта. «Но в войне,—пишет он далее,—участвовали еще Франция и Россия. Как были втянуты в войну эти две страны...?» «Тут железная необходимость столкновения отсутствовала, но было искушение драться у известных групп» [3]. Но когда Покровский подходит к классовой характеристике этих групп, желавших «подраться», он нагромождает ряд самых противоречивых утверждений. Однако эти противоречия не из тех, о которых Гегель говорил, что они ведут вперед. Эти противоречия коренятся все в том же непонимании Покровским природы империализма, все в том же отсутствии у него конкретно-исторического анализа.

Это ясно сказывается в тех его статьях, в которых, характеризуя правящие классы эпохи финансового капитала, он фактически игнорирует сращивание промышленного капитала с банковским. Он, например, значительно преуменьшает влияние промышленников в политике Англии. «Английской политикой,—говорит он,—руководят не они, а банковая аристократия» [4]. Однако в дальнейшем Покровский

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 35.
[2] Там же, 251.
[3] Там же, 131—132.
[4] Там же, 16.

и «банковой аристократии» отказывает в руководстве политикой Англии и передает эту роль им самим изобретенному классу—«английскому юнкерству». Под этим термином Покровский понимает не крупных английских землевладельцев, а нечто совершенно иное—колониальные круги британского империализма. При этом никакой разницы между английской колониальной политикой XVIII и XX вв. Покровский не видит. «В том же XVIII столетии,—пишет Покровский,—у Англии завелся огромный, коллективный, «заморский мужик» в лице цветного населения захваченных ею колоний. Новейшее английское юнкерство воспиталось именно на этом мужике—на египетском феллахе, на негре, в особенности на „индусе“»[1]. С точки зрения Покровского, господство финансового капитала не внесло, по сравнению с XVIII столетием, никаких изменений в колониальную политику Англии. Английское «юнкерство» у него оказывается классом отсталым, а английскую империалистскую буржуазию он готов изображать в виде передового класса, вынужденного итти на подчинение все тому же пресловутому «юнкеру». «Но отказаться от колоний и тем вырвать из-под ног у английского юнкера социальную почву — это было выше сил английского империализма»[2],—пишет Покровский, как бы предполагая, что английский империализм когда-либо мог ставить перед собой подобную задачу. Совершенно очевидно, что Покровский весьма далек от понимания колониальных интересов английского финансового капитала в целом. Война, считает Покровский, осуществляла лишь «чаяния юнкерства» и при том «в большей мере, чем оно само могло ожидать». Почему? Оказывается потому, что «опирающееся на вооруженную силу юнкерство оказалось сильнее парламентского министерства»[3].

Но чьи интересы выражало и чью политику проводило парламентское министерство Англии накануне мировой войны? Прямого ответа на этот вопрос Покровский не дает. Можно только догадаться, что он имеет в виду промышленную буржуазию, политику которой в эпоху империализма он рисует в духе доктрин раннего манчестерства. Война, по мнению Покровского, не нужна была английской промышленности. В этом вопросе Покровский полностью разделяет точку зрения «экономического материалиста» Павловича. И если английская промышленная буржуазия взяла политический курс на войну, то, с точки зрения Покровского, только потому, что попала «под иго(!) юнкеров»[4], т. е. все тех же колониальных кругов, английских «юнкеров». Бедная английская буржуазия, подпавшая под «иго»! Неизвестно только, кто ее из-под этого ига должен был освободить! Единственное утешение, вероятно, заключалось в том, что ее французские собратья, с точки

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 92.
[2] Там же, 92—93.
[3] Там же, 99.
[4] Там же, 95.

зрения Покровского, находились в том же невыносимо тяжелом положении...

Ленин, как известно, указывал на необходимость изучения конкретных особенностей империализма различных стран и соответственно конкретно-исторических особенностей структуры и соотношения классов в этих странах. Мы видели, какую путаницу привнес Покровский, анализируя английский империализм накануне первой мировой войны. Еще бóльшую путаницу Покровский создал при анализе французского империализма. Сначала крупная французская промышленность выступает у Покровского как носитель миролюбивых настроений (особенно французская металлургия). Затем оказывается, что носителем этих миролюбивых настроений была не «тяжелая индустрия и синдицированная промышленность», а финансовая буржуазия, не желавшая войны «хотя бы из страха за огромные капиталы, помещенные французскими банками за границей, в том числе и в Германии»[1]. В одном месте Покровский говорит, что борьба между Францией и Германией не вытекала из их экономического соперничества в качестве «железной необходимости». В другом месте он утверждает, что «начиналась борьба не на жизнь, а на смерть между двумя могучими металлургическими концернами... Столицей одного концерна был Берлин, другого—Париж». В одном месте Покровский утверждает, что миролюбивая промышленная буржуазия Франции вынуждена была пойти «под иго» правых групп—ростовщического капитала[2]. В другом месте Покровский утверждает, что финансовая буржуазия сама вынуждена была подчиняться все возрастающей роли промышленной буржуазии и даже интересам «парижского ремесленника», выделывающего... игрушки. Объяснение этому удивительному и необычайному явлению Покровский дает довольно простое: все «освещают кое-какие цифры французского ввоза и вывоза за последнее десятилетие». Эти пресловутые цифры на сей раз объясняют, что германские фабрики детских игрушек стали ущемлять интересы парижских мастеров, что создало, по Покровскому, для политики Пуанкаре «прочный фундамент в очень широком слое французской и, в особенности парижской, народной массы»[3]. В полном соответствии с таким пониманием характера и интересов французского империализма, а с другой стороны, в соответствии с трактовкой германского империализма как неагрессивного и миролюбивого по природе своей Покровский совершенно не затрагивает вопроса ни о политических противоречиях между Францией и Германией, ни об их борьбе в связи с экспортом капитала в различные страны, ни об их острой борьбе на арене колониального соперничества. Так же, как и англо-германские, франко-германские империалистские противоречия во всей их глубине и в конкретных проявлениях остались у Покровского необъясненными.

---

[1] Там же.
[2] Там же, 101.
[3] Там же, 87.

III

В такой же мере неправильными являются различные взгляды Покровского относительно русского империализма и его места в общей империалистической цепи.

Приходится говорить именно о *различных взглядах* Покровского, ибо этих взглядов у него примерно столько же, сколько и статей по данному вопросу. «Россия,—пишет Покровский,—ультрадиалектическая страна». Но чтобы разрешить сложные диалектические вопросы экономического и политического развития царской России в эпоху империализма, Покровский считает достаточным высказывать различные, обычно крайне противоположные, но всегда неверные взгляды.

Отличительные черты русского империализма и его роль в международной империалистской борьбе совершенно точно определены в работах Ленина и Сталина. Русский империализм, как известно, по характеру своему отличался от империализма западноевропейских стран, ибо царская Россия представляла собой «страну наиболее отставшую в экономическом отношении..., в которой новейше-капиталистический империализм оплетен, так сказать, особенно густой сетью отношений докапиталистических»[1]. Ленин и Сталин определяли империализм царской России как военно-феодальный империализм. Уже ко времени революции 1905 г. в России сложилась экономическая база империализма в виде крупных финансово-капиталистических монополий. В книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» Ленин отмечал, что «слияние банков и промышленного капитала, в связи с образованием капиталистических монополий, сделало и в России громадные шаги вперед»[2]. В то же время в экономике России еще крепко держались сильные пережитки крепостнических отношений, и в политике господство сохраняли за собой помещики-дворяне с «первым помещиком»-царем во главе. По уровню капиталистического развития Россия в системе мировой экономики принадлежала не к слабейшим, а к «среднеслабым» странам, но в то же время рядом с капитализмом новейшего типа в русской деревне сохранились черты средневековья. Поэтому-то Ленин дал характеристику русского империализма как «гораздо более грубого, средневекового, экономически отсталого, военно-бюрократического»[3]. Военно-феодальные черты преобладали в русском империализме над чертами, характерными для новейшего финансово-капиталистического империализма. «В России,—писал Ленин,—капиталистический империализм новейшего типа вполне показал себя в политике царизма по отношению к Персии, Маньчжурии, Монголии, но вообще в России преобладает военный и феодальный империализм»[4].

---

[1] В. И. Ленин. Соч., XIX, 136.
[2] Там же, 112—113.
[3] Там же, 272.
[4] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 198.

Товарищ Сталин, основываясь на работах Ленина, дальше развил и углубил ленинское понимание русского империализма.

«...Царская Россия,—писал товарищ Сталин,—была очагом всякого рода гнета—и капиталистического, и колониального, и военного,—взятого в его наиболее бесчеловечной и варварской форме. Кому не известно, что в России всесилие капитала сливалось с деспотизмом царизма, агрессивность русского национализма—с палачеством царизма в отношении нерусских народов, эксплоатация целых районов—Турции, Персии, Китая—с захватом этих районов царизмом, с войной за захват? Ленин был прав, говоря, что царизм есть „военно-феодальный империализм“»[1].

Рассуждения Покровского о русском империализме ничего общего не имеют со взглядами Ленина и Сталина. Сначала Покровский считал, что «России первой половины XIX века был знаком империализм в самом подлинном его виде»,—при этом Покровский имел в виду империализм новейшего капиталистического типа. Не замечая тех новых и огромных изменений, которые произошли в экономическом развитии царской России в XX в., Покровский отождествлял политику русского империализма накануне первой мировой войны с политикой Николая I и даже Екатерины II. Обнаружив, таким образом, в царской России империализм еще в те времена, когда его вообще не существовало, и тем самым повторив точку зрения некоторых германских буржуазных историков, Покровский впоследствии отказывался признавать наличие в царской России системы империализма даже в ту эпоху, когда эта система, несомненно, уже сложилась. Но как бы ни были противоречивы взгляды Покровского, который часто бросался от одной крайности к другой, они неизменно оставались антиленинскими.

Как бесконечно далек был Покровский от взглядов Ленина и Сталина о русском империализме, можно заключить из следующего его замечания: «Как и в дни Николая I, русский империализм—это, главным образом, ситцевый империализм»[2]. Текстильную промышленность Покровский считал самой агрессивной силой в царской России накануне войны. «Это, конечно, противоречит распространенному у нас мнению,—пишет Покровский,—будто металлургия—чуть не главная виновница войны... Простые смертные, вроде Гужона, больше нажили бы на кровельном железе, чем на броне, на рельсах—чем на пушках»[3]. Открыв, таким образом, пацифизм русской металлургии,—в полном соответствии с его трактовкой политических настроений и классовых интересов промышленной буржуазии западноевропейских капиталистических стран,—Покровский приступает к объяснению агрессивно-политических и захватнических планов русских текстильных фабрикантов. И тут оказывается, что наряду со стре-

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 10-е изд., 4.
[2] М. Н. Покровский. Империалистская война, 13.
[3] Там же, 77.

млением к завоеванию для русской мануфактуры ближневосточных рынков выступает еще одно, до того никем не отмеченное, обстоятельство, а именно: русские мануфактуристы, заинтересованные в увеличении потребления на внутреннем рынке, искали возможности ликвидировать в России пьянство: «Повальное отрезвление,—заключает Покровский,—без войны провести было бы трудно» [1].

В других статьях Покровского наряду с текстильными фабрикантами в качестве носителей империалистических тенденций царской России выступают помещики-крепостники, купцы-экспортеры хлеба, финансисты. И в этих статьях, конечно, нельзя обнаружить четкого и правильного анализа русского империализма. Впоследствии Покровский объявил, что термин «империализм» в применении к царской России вообще не более как метафора и что не империализм, а торговый капитал определял внешнюю и внутреннюю политику царизма. «А самодержавие, как я уже сказал однажды и как имею все основания повторять,—писал Покровский,—несмотря на всякую критику и возражения, это есть та политическая организация, которая свойственна торгово-капиталистическому государству или, как я выразился короче, это есть политическая организация торгового капитала» [2].

В одних статьях Покровский утверждает, что внешняя политика царской России накануне мировой войны проводилась в интересах «ситцевого империализма», при этом не претерпела в сущности своей никаких изменений со времени Николая I. В других статьях Покровский вообще отрицал наличие империализма в России, утверждая, что внешняя политика царской России накануне мировой войны проводилась в интересах торгового капитализма и при этом не претерпела в сущности никаких изменений со времен Ивана Грозного. Так создавал Покровский различные, в одинаковой степени антиисторические схемы. Но, защищая свою антиленинскую схему торгового капитализма, Покровский пытался дать ей диалектическое обоснование. Разумеется, это ему ни в какой мере не удалось. «Прежде всего,—писал Покровский,—позвольте отвести одно возражение... Говорят, что это (имеется в виду универсально-историческое значение схемы торгового капитализма.—*А. Е.*) противоречит диалектике. Как? в XVI в. Россия—государство торгового капитала, в XVIII в.—Россия государство торгового капитала, в XIX в. тоже, в начале XX в. тоже. Это, говорят, явное отрицание диалектики. Покровский не диалектик. Покровский метафизик,—для него все вещи неподвижны» [3]. Так иронизировал Покровский, имея слишком мало основания для иронии.

В доказательство правильности и диалектического характера своих взглядов Покровский в качестве убедительного примера ссылался на

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 77.
[2] Там же, 379.
[3] Там же.

то, что Англия, еще в XVII в. являвшаяся страной капиталистической, таковой же осталась и в XX в.

«Отрицание диалектики!—продолжает иронизировать Покровский. Как же, и 200 лет тому назад Англия была страной капиталистической и сейчас она капиталистическое государство? Нельзя... Если в XVII в. Англия—страна капиталистическая, то сейчас она значит не капиталистическая»[1]. Так Покровский проглядел в истории Англии «сущую мелочь», а именно—отличие периода промышленного капитализма от периода господства империализма. Не удивительно, что, пользуясь своей мертвой схемой торгового капитализма, Покровский и в вопросах истории царской России приходит к аналогичным же результатам. Не удивительно, что история внешней политики царской России накануне мировой империалистической войны в изображении Покровского страдает той же безжизненностью, как и его универсальная схема торгового капитализма. Не понимая всей сложности экономических, классовых и политических отношений в царской России и не понимая сущности русского империализма, Покровский в соответствии со своей схемой торгового капитализма всю внешнюю политику России сводил к борьбе за торговые пути и главным образом к борьбе за проливы, соединяющие Черное море со Средиземным,—Босфор и Дарданеллы. Борьбой за проливы Покровский склонен объяснять решительно все агрессивные проявления русского царизма. Колониальные интересы русского царизма Покровский в этом контексте или вовсе отметает или, в лучшем случае, подчиняет вопросу о борьбе за все те же торговые пути.

Это заставляет его самое простое объяснение конкретных исторических фактов ставить на голову. Так, например, всю дальневосточную политику русского царизма в конце XIX и в начале XX в. Покровский рассматривает лишь как стремление обходным путем ущемить Англию—основного врага в проливах. Он считает, что захватническую политику на Дальнем Востоке русский царизм проводил главным образом с целью обеспечить успех своей захватнической политики на Ближайшем Востоке. Считая почему-то, что «Англию всего легче уязвить на Тихом океане», Покровский договаривается до того, что постройка Сибирской железной дороги должна была помочь царской России не только «нанести жестокий удар дальневосточной торговле Англии», но даже «разорить Гон-Конг, угрожать Австралии или, по крайней мере, связям Англии с Австралией, угрожать Индии»[2], и все это для того чтобы обеспечить захват проливов—Босфора и Дарданелл. Если вспомнить, как это впрочем отмечает и Покровский, что русский «добровольный флот», плававший в дальневосточных водах, в тот период был приспособлен лишь для перевозки арестантов на

---

[1] Там же.
[2] Там же, 385.

Сахалин, то станет ясно, насколько реальны были подобные фантасмагории, о которых всерьез говорит Покровский. Создается впечатление, что Покровский считает захват Порт-Артура и Дальнего не этапом в колониальной политике русского царизма на Дальнем Востоке, а этапом в борьбе, преследующей цель перерезать главнейшие морские коммуникации Англии, с тем чтобы облегчить себе овладение торговыми путями, ведущими из Черного моря в Средиземное.

В полном соответствии с неправильным пониманием русского империализма Покровский неправильно ставит и вопрос о роли русского империализма в общей мировой системе империализма. Во многих своих работах Покровский, неимоверно преувеличивая удельный вес царской России, изображал последнюю чуть ли не одним из демиургов всей мировой политики. Русского помещика он изображал в качестве «рыцаря», нуждающегося «в спутнике и в слуге, в своем крестовом походе против германских хлебных пошлин»[1]. При этом слугою русского помещика Покровский считает французскую дипломатию и парижские банки. Согласно весьма своеобразной «диалектике», Покровский считает, что, снабжая царскую Россию займами и помещая свои капиталы в ее промышленные предприятия, Франция сама подпадала под иго русского царизма. «Пятнадцать миллиардов французских денег, помещенных в предприятие, именуемое русским царизмом,—писал Покровский,—обязывали—но не царизм—считаться с мнением французского народа, а этот последний—беспрекословно подчиняться интересам царизма»[2]. Вопрос о зависимости русского царизма от западноевропейского капитала Покровский, таким образом, перевернул на голову, изображая, например, Пуанкаре слепым орудием в руках русского «рыцаря»—помещика. «Итак,—рассуждает Покровский,—рыцарь всего менее страдает отсутствием «экономизма» в его политике... Он убежден, что хороший удар кулака может разрешить и любую международную экономическую проблему. Немец нас бьет хлебными пошлинами? В лепешку немца! Венгерец отбивает у нас сахарный рынок? В порошок венгерца! Г-н Пуанкаре, что вы смотрите? Мобилизуйте ваших зуавов! И г-н Пуанкаре мобилизует: не мобилизуешь,—рыцарь, чего доброго, обидится и вывернет карман; пойди получай с него тогда по купону»[3]. Нет нужды доказывать, что такое понимание зависимости русского царизма от западноевропейского капитала полностью противоречит правильному ленинско-сталинскому пониманию вопроса.

Впоследствии Покровский изменил свою точку зрения относительно зависимости русского царизма от западноевропейского капитала, однако, и тут он не стал на более правильную позицию в понимании

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 86.
[2] Там же, 90—91.
[3] Там же, 84.

этой проблемы. Признав наличие в России финансово-капиталистических элементов, Покровский начал защищать тезис об отсутствии каких бы то ни было самостоятельных интересов у *русской* империалистической буржуазии. Покровский заявил о своем полном согласии с теорией Крицмана, согласно которой «вместо системы русского финансового капитала мы имели на территории России части *трех* могущественных систем финансового капитализма — французской, германской и английской»[1]. Ленин и Сталин установили военно-феодальную сущность русского империализма и полуколониальное положение царской России накануне мировой войны. Покровский, который раньше считал царскую Россию повелителем французского империализма, впоследствии стал говорить о полной колониальной зависимости царской России от западноевропейского капитализма. Покровский в данном случае шел так далеко, что готов был признать, будто англо-французский империализм просто «командовал империалистской Россией». Весь сложный процесс проникновения западноевропейского капитала в царскую Россию, всю сложную проблему о зависимости царской России от западноевропейского капитала, которую необходимо рассматривать в общей связи с остальными сторонами роли русского царизма, Покровский, оставаясь по существу на позициях «экономического материализма», сводит к процессам, отражаемым в колонках банковских цифр. «Банковские действия,—говорит он,—весьма аккуратно, хотя и бескровно, отвечали операционным линиям будущей войны». Так упрощенно и неправильно Покровский пытается разрешить сложный вопрос о роли царской России в системе мирового империализма. Этот вопрос, как известно, нашел свое классическое разрешение в работах товарища Сталина, который указал, что «царская Россия была величайшим резервом западного империализма», что царизм являлся «сторожевым псом империализма на востоке Европы», «агентурой западного империализма для выколачивания с населения сотен миллионов процентов на займы, отпускавшиеся ему в Париже и Лондоне, в Берлине и Брюсселе», наконец «вернейшим союзником западного империализма по дележу Турции, Персии, Китая и т. д.»[2]. Все эти моменты в их совокупности Покровский в своих работах о роли царской России в мировой империалистской войне не учел.

Следует отметить, что в одной из самых последних своих работ Покровский начал подходить к более правильному пониманию русского империализма и его роли на международной арене. В своей статье «Русские документы империалистской войны» (1930 г.) Покровский уже говорит о существовании «российского империализма, военно-феодального в своей сущности, но уже начавшего переходить в капитали-

---

[1] Там же, 324—325.

[2] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма, 10-е изд., 5.

стический»[1]. Покровский в этой статье впервые подходит и к проблеме колониального гнета, который несла с собою царская Россия, выступавшая в качестве союзника западных империалистических держав по дележу Персии, Турции и Китая. Однако, и в этой статье четкой, всесторонней и полной картины, дающей представление о роли русского империализма и русского царизма в цепи империалистических стран, Покровский не дает. «Империалистская война,—пишет Покровский в полном противоречии с тем, что писал раньше,—не была исключительно или даже главным образом русским делом. Русский империализм был на мировом театре второстепенным или даже третьестепенным, а европейскую войну... мог развязать только империалистский конфликт первого порядка. Первостепенным было—или казалось—военное могущество России, и это дало последней такое положение в конфликте, которое совершенно не соответствовало ее значению экономическому»[2].

Таким образом, и в этой работе, признав, наконец, существование русского военно-феодального империализма, Покровский не сумел показать ни размеров зависимости царской России от западноевропейских капиталистических стран, ни всех остальных черт царской России, классическую характеристику которым дали Ленин и Сталин. В частности, Покровский, правильно подчеркнув в этой работе аннексионистско-колонизаторскую роль русского царизма, совершенно обошел вопрос о роли последнего как жандарма по отношению к странам Востока. И в других его статьях этот вопрос не нашел своего освещения. Таким образом, вопрос о месте царской России в общей империалистической цепи и вопрос о роли царской России в возникновении мировой войны за империалистический передел мира нашли в работах Покровского неправильное освещение. *Вообще во всех своих работах об империалистической войне Покровский ни разу не употребил даже выражения—передел мира.* Уже одно это достаточно говорит о том, что Покровский не понимал подлинных, глубочайших экономических, политических и классовых причин, вызвавших мировую империалистическую войну.

IV

Вопреки указаниям Ленина о необходимости разоблачения политики всех империалистских держав, Покровский это делал только по отношению к странам Антанты. И это не случайно, ибо он считал, что германский империализм не имел агрессивных тенденций. «Приписывавшиеся Германии французскими шовинистами планы территориальных захватов, раздела Франции и т. п.,—писал Покровский,—настолько резко противоречили экономическим интересам Германии, что о них никто уже теперь серьезно не говорит»[3]. Как указывалось

[1] М. Н. Покровский Империалистская война, 361.
[2] Там же, 366.
[3] Там же, 70—71.

выше, Покровский даже считал, что территориальные захваты резко противоречили экономическим интересам Германии, которая, по Покровскому, «отнюдь не стремилась к максимальному расширению своей территории; она начала войну потому, что думала, что *на нее* хотят напасть»[1]. Это утверждение полностью противоречит правильному ленинскому анализу роли германского империализма в подготовке и развязывании мировой войны 1914 г. Разоблачая политику всех империалистических держав, Ленин, как известно, не раз подчеркивал особенную жадность и агрессивность германского империализма как более молодого и сильного разбойника. Далее Ленин подчеркивал также особую реакционную роль германской империалистской буржуазии в Европе. «...На деле именно эта буржуазия, лакействуя перед прусскими юнкерами с Вильгельмом II во главе их,—писал Ленин,—всегда была вернейшим союзником царизма и врагом революционного движения рабочих и крестьян в России»[2]. Эту правильную ленинскую мысль Покровский объявляет несостоятельной легендой. В одном месте Покровский назвал германский империализм «сволочью», которая «не меньше всякой другой стремилась к этой бойне, но и не больше всякой другой»[3], но, употребив крепкое словцо, Покровский тем не менее нисколько не приблизился к правильному пониманию роли германского империализма. Именно группировка австро-германского империализма была, по словам Ленина, «еще более хищническая, еще более разбойничья» по сравнению с англо-французской группой. При этом Ленин давал этому определению глубокое научное обоснование. Он указывал, что империалистическая группировка, возглавляемая Германией, пришла «к столу капиталистических яств, когда места были заняты», и потому она внесла «в борьбу новые приемы развития капиталистического производства, лучшую технику, несравненную организацию, превращающую старый капитализм, капитализм эпохи свободной конкуренции в капитализм гигантских трестов, синдикатов, картелей»[4]. Ленин, таким образом, увязывал вопрос об особой, более резко выступающей агрессивности германского империализма с вопросом о неравномерном развитии капитализма. Но, как известно, закон о неравномерном развитии капитализма не нашел в работах Покровского никакого отражения. Если вопрос о роли германского империализма Покровский освещает неправильно, то он вовсе не затрагивает вопроса о роли австро-венгерского империализма.

Двуединая австро-венгерская монархия во главе с Габсбургами была сложным многонациональным государством, раздиравшимся изнутри национальной борьбой. В ней издавна шла борьба за дележ власти между буржуазией и помещиками господствующих национальностей

[1] Там же, 74.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 61.
[3] М. Н. Покровский. Империалистская война, 102.
[4] В. И. Ленин. Соч., XXX, 336—337.

ностей, которые к тому же стремились проводить захватническую политику на Балканах. Среди угнетенных национальностей, входивших в состав Австро-Венгрии, поднималось национально-освободительное движение, возглавляемое буржуазией соответствующих национальностей. Еще за два года до начала мировой империалистской войны товарищ Сталин обращал внимание на «хронический политический кризис, которым Австрия давно болеет». Товарищ Сталин указывал, что «национальный вопрос составляет там ось политической жизни, вопрос существования»[1]. Господствующие классы Австро-Венгрии, находясь в политическом и военном союзе с империалистской Германией, вели агрессивную империалистскую политику, надеясь путем завоевания новых территорий и, особеннно, путем разгрома Сербии остановить все более усиливавшееся разложение двуединой монархии. Этот вопрос Покровский ни одним словом не затрагивает в своих работах об империалистской войне, ибо вообще роль империализма в деле национального угнетения остается совершенно вне его поля зрения. Вопреки утверждению Ленина, что «на деле австрийская буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии»[2], Покровский считает Сербию главнейшим провокатором войны. Сербия, с точки зрения Покровского, явилась сознательным агентом, осуществившим ту провокацию, которая была задумана французским империализмом в союзе с царской Россией.

Правильно указывая, что сараевское убийство не следует рассматривать как причину войны и что причины войны надо искать в хронологически более отдаленном прошлом, Покровский приходит к выводу, что «вспыхнула война по инициативе, несомненно, Антанты»[3]. Во всех своих работах Покровский пытается доказать, что германский империализм был не заинтересован в войне и в 1914 г. вел себя миролюбиво, что война была «„нападательной“ со стороны Антанты вообще, и России в частности»[4]. При этом на вопрос о том, кому в Антанте принадлежала инициатива развязывания войны, Покровский дает столько же ответов, сколько членов входило в эту империалистическую группировку. В одном месте он утверждает, что «не было оснований, и в особенности для Англии, откладывать войну в долгий ящик»[5]. В другом месте он утверждает, что «желание воевать со стороны Франции было основным из войнообразующих факторов»[6]. В третьем месте,— и это наиболее часто встречающаяся в его работах точка зрения,—он считает царскую Россию главным поджигателем войны. Объясняет он это довольно своеобразным образом. «Русские помещики и Николай II,

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Партиздат, 1937, стр. 18.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 45.
[3] М. Н. Покровский. Империалистская война, 46.
[4] М. Н. Покровский. Империалистская война, изд. 1928 г., 14.
[5] М. Н. Покровский. Империалистская война, изд. 1934 г., 141.
[6] Там же, 176.

их коронованное возглавление, бросаются в драку первыми... Это тем и объясняется, что для Англии тут жизнь на карте, а когда для человека или для целого государства на карте стоит все, то он десять раз подумает прежде, чем начать драку. А Россия в это время находилась в управлении людей, которые чрезвычайно легко относились ко всему происходящему... Таким образом,—заключает Покровский,—готовность воевать объясняется... легкомысленностью самой верхушки»[1]. Нужды нет, что этому «объяснению» противоречат другие утверждения Покровского, например, о подготовленном за много лет до начала войны «фитиле», который должен был именно в 1914 г. вызвать военный взрыв[2]. Впрочем и относительно момента, когда этот «фитиль» был Антантой заложен, у Покровского имеются расхождения с самим собою (в различных работах он этот момент относит к 1907, 1908, 1912/13 и даже точно—к зиме 1913/14 г.).

Важно отметить то, что Покровский, который все и вся готов объяснять цифрами вывоза и ввоза товаров, при анализе конкретной исторической обстановки, в которой в 1914 г. вспыхнула мировая империалистическая война, отрывается от свойственного ему «экономического материализма» и бросается в объятия чистого психологизма. Ненаучное исходное положение приводит Покровского к политически и исторически неправильному выводу, что в 1914—1918 гг. только Антанта вела наступательную войну, которая оправдывалась ею тем, что Германия «хочет напасть». «Имея такого миролюбивого соседа, как царская Россия,—иронизирует Покровский,—хочешь-не хочешь, а нападешь...»[3]. «В Лондоне были не менее предусмотрительны, чем в Петербурге,—пишет Покровский в другом месте,—знали с точностью чуть не лиги времени, когда злые немцы „нападут“»[4]. Иронические кавычки, в которые Покровский обычно ставит слова о нападении Германии, свидетельствуют о том, что он неправильно освещал роль германского империализма в возникновении мировой войны. Все, что Покровский говорит о позиции германского империализма в дни июльского кризиса 1914 г., свидетельствует о том, что он просто замалчивал официальные германские документы и другие исторические материалы, которые со всей несомненностью устанавливают стремление германского империализма вызвать войну в 1914 г. Покровский так распределяет светотени, что у читателя создается впечатление, будто только Антанта и главным образом Россия, но никоим образом не империалистская Германия, заинтересованы были в развязывании войны летом 1914 г.

Само собой разумеется, Покровский доказать этого не может, а там, где он пытается это сделать, он вынужден или замалчивать, или даже извращать смысл опубликованных материалов. Так, например,

---

[1] Там же, 407.
[2] Там же, 129.
[3] Там же, 173.
[4] Там же, 183.

разоблачая политику царской России, Покровский пишет: «Весною 1914 г., за три месяца до начала войны, Россия готовилась к разделу Австро-Венгрии и уговаривалась об этом со своей союзницей Францией»[1]. Вместе с тем Покровский принимает версию германской буржуазной исторической «науки», что в происходивших тогда же секретных переговорах между Германией и Австро-Венгрией вопрос о захватнической войне против Сербии не стоял. Между тем даже официальные документы, изданные после войны германским министерством иностранных дел, дают возможность убедиться, что в этих австро-германских переговорах ставился вопрос не только о расправе с Сербией, а еще более широко—об использовании благоприятно сложившейся ситуации, для того чтобы разжечь войну против России и Франции. Но Покровский этих документов не цитирует, да и вообще во всех своих работах об империалистической войне он основывается исключительно на произвольно выбранных материалах бывшего русского министерства иностранных дел, не привлекая никогда и нигде английских, германских, австрийских и французских публикаций исторических материалов. А между тем систематическое изучение всего богатейшего конкретно исторического материала, опубликованного после мировой войны, полностью подтверждает взгляды Ленина о роли германского империализма в возникновении мировой войны 1914—1918 гг. «На деле,—писал Ленин,—немецкая буржуазия предприняла грабительский поход против Сербии, желая покорить ее и задушить национальную революцию южного славянства, вместе с тем направляя главную массу своих военных сил против более свободных стран, Бельгии и Франции, чтобы разграбить более богатого конкурента. Немецкая буржуазия, распространяя сказки об оборонительной войне с ее стороны, на деле выбрала наиболее удобный, с ее точки зрения, момент для войны, используя свои последние усовершенствования в военной технике и предупреждая новые вооружения, уже намеченные и предрешенные Россией и Францией»[2]. Ленин, таким образом, установил, и все опубликованные документальные материалы это подтверждают, что в 1914 г. инициатива в развязывании войны принадлежала империалистической Германии и ее австро-венгерской союзнице. Покровский же считал, что в 1914 г. «вспыхнула война по инициативе, несомненно, Антанты»[3]. В одной из последних своих статей Покровский писал, что «в надежде на нейтралитет Англии Тройственный союз со своей стороны готовился напасть на Россию и Францию—но последние опередили его». Это заявление Покровского, что Россия и Франция «опередили» Тройственный союз, прямо противоречит правильному утверждению Ленина, который еще в начале войны писал, что «два разбойника (Германия и Австро-Венгрия.—*А. Е.*) напали раньше,

---

[1] М. Н. Покровский. Империалистская война, 158.
[2] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 61—62.
[3] М. Н. Покровский. Империалистская война, 46.

чем *трое* (Англия, Россия и Франция.—*А. Е.*) успели получить заказанные ими новые ножи»[1]. Ленин дал замечательный образец конкретно исторического анализа международно-политической ситуации накануне войны 1914—1918 гг. Ответственность за возникновение этой войны Ленин возложил на правящие классы всех империалистических стран. Однако Ленин различал вопрос об ответственности от вопроса о том, кто в данной конкретной исторической ситуации *начал* войну. Признавая Антанту в такой же мере ответственной за возникновение мировой войны, как и империалистическую группировку, возглавляемую Германией, Ленин вместе с тем поставил вопрос о германском империализме как о главном зачинщике войны 1914 г. Этому выводу, имеющему глубокое историческое основание, Ленин дал правильное научное объяснение. Все исторические материалы и документы, в изобилии публиковавшиеся после войны, полностью подтверждают этот глубоко научный ленинский анализ. В такой же мере эти материалы полностью опровергают точку зрения Покровского, который, между прочим, эти материалы никогда и нигде не использовал.

Статьи Покровского благодаря их тенденциозному характеру широко используются в апологетических целях германскими буржуазными националистическими историками. Более того, некоторые статьи Покровского вследствие их явно германофильского содержания были в свое время приложены к официальному германскому меморандуму в качестве доказательства германского тезиса о «виновниках войны».

Задачей советских историков является, наряду с критикой антиленинских взглядов Покровского, положительная научная разработка, на основе учения Ленина и Сталина, материалов по вопросу о первой мировой войне.

«Действительная политика обеих групп величайших капиталистических гигантов—Англии и Германии, которые со своими союзниками двинулись друг против друга,—эта политика за целый ряд десятилетий до войны должна быть изучена и понята в ее целом,—писал Ленин в мае 1917 г.—Если бы мы этого не сделали, мы не только бы забыли основное требование научного социализма и всякой общественной науки вообще,—мы лишили бы себя возможности понять что бы то ни было в современной войне»[2]. В условиях, когда над человечеством вплотную надвигается опасность новой мировой империалистической войны, это замечание Ленина, сделанное более двух десятилетий тому назад, полностью сохраняет свою научную и политическую актуальность.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

[1] В. И. Ленин. Соч., XVIII, 93.
[2] В. И. Ленин, Соч., XXX, 335.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

От Института истории Академии Наук 3

А. Панкратова. Развитие исторических взглядов М. Н. Покровского . . 5

Акад. Б. Греков. Киевская Русь и проблема происхождения русского феодализма у М. Н. Покровского 70

С. Бахрушин. «Феодальный порядок» в понимании М. Н. Покровского . 117

К. Базилевич. «Торговый капитализм» и генезис московского самодержавия в работах М. Н. Покровского 140

А. Савич. Польская интервенция начала XVII в. в оценке М. Н. Покровского 179

М. Нечкина. Восстание Разина и Пугачева в концепции М. Н. Покровского 244

В. Пичета. М. Н. Покровский о войне 1812 года 276

М. Нечкина. Восстание декабристов в концепции М. Н. Покровского . 303

Н. Дружинин. Разложение феодально-крепостнической системы в изображении М. Н. Покровского 337

Е. Мороховец. Крестьянская реформа 1861 г. в освещении М. Н. Покровского 387

Д. Баевский. Народничество в освещении М. Н. Покровского 427

А. Сидоров. Ошибки М. Н. Покровского в оценке русско-японской войны 460

А. Ерусалимский. Происхождение мировой империалистической войны 1914—1918 гг. в освещении М. Н. Покровского 495

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Следует читать*
30	9—10 св.	«левых» коммунистов	«левых коммунистов»
38	10 св.	, в 1918 г.,	в 1918 г.,
69	9 св.	«левый» коммунизм,	«левый коммунизм»,
69	21 св.	«левый» коммунизм)	«левый коммунизм»)
70	10 сн.	Киевград	Киев-град
136	1 св.	объясняется	объясняется, по мнению Покровского,
153	17 св.	ускоряя	укоряя
167	17 сн.	Олеарий-Кильбургер	Олеарий, Кильбургер
212	1 сн.	польской	посольской
257	2 св.	несчастных	«несчастных»
395	2 св.	четверть 1:	четверть) 1:
432	17 св.	движению в «народ»	«хождению в народ»
445	5—6 сн.	революционные движения	революции
449	16 св.	(«исторический переворот»),	(«политический переворот»),
450	9 сн.	против этого	против этого
457	2 сн.	идеологи	идеологии
468	6 св.	об изучении роли	о роли
493	6 св.	СССР будет	трудящиеся СССР будут

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:

НОВГОРОДСКИЕ записные кабальные книги 100—104 и 111 годов (1591—1596 и 1602—1603 гг.) Под редакцией А. И. Яковлева. (Институт истории Академии Наук СССР) 1938. 444 стр. Цена в переплете 28 руб.

НАХОДЯТСЯ В ПЕЧАТИ:

ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ № 2. 1938. Сборник (Институт истории). Объем около 25 печ. л.

КОЛОНИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА царизма в Казахстане. Сборник документов и материалов (Материалы по истории народов СССР), т. IV. 1938. Объем около 40 печ. л.

ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИИ истории германскими фашистами. Сборник статей. (Институт истории Академии Наук СССР). 1938. Объем около 28 печ. л.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

Москва, Б. Черкасский пер., д. 2. Конторе по распространению изданий «Академкнига» Почтово-Абонементному сектору

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Веселовский, А. Н. Собрание сочинений. Том шестнадцатый. (Серия V, том I). Фольклор и мифология. Статьи о сказке. (1868—1890). (Институт литературы. Пушкинский Дом). Настоящий том подготовлен к печати Фольклорной комиссией при Институте этнографии под редакцией М. К. Азадовского и В. Ф. Шишмарева. 1938. VIII + 368 стр. Ц. 13 р. 50 к.

Горький, М. и **Чехов, А.** Переписка, статьи и высказывания. Под ред. С. Д. Балухатого. 1937. 288 стр. + 9 вкл. Ц. 11 р.

Литературный архив. I. (Институт литературы. Пушкинский Дом). 1938. 488 стр. 19 рис. 6 вкл. Ц. в пер. 21 р.

Глеб Успенский. Материалы и исследования. I. (Институт литературы). 1938. IV + 744 стр. Ц. в пер. 22 р.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Конторе по распространению изданий «Академкнига» — **Москва,** Больш. Черкасский пер., д. № 2

ФИЛИАЛАМ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

Ленинград 104, проспект Володарского, 53-а
Киев, ул. Свердлова, 15
Харьков 3, ул. Свободной Академии, 13
Одесса, ул. 10-летия Красной Армии, 28
Ростов н/Дону, ул. Энгельса, 68
Минск, Советская, 57

ПОДПИСНЫМ ПУНКТАМ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»

Новосибирск, Центр. почтамт, БОСК 47
Свердловск, ул. Малышева, 31/8
Горький, п/я № 46
Саратов, Советская, 3, кв. 18
Воронеж, ул. Таранченко, 34, кв. 26
Тбилиси, ул. Барнова, 22
Ташкент, Главный почтамт, п/я № 128

Заказы принимаются также доверенными, снабженными удостоверениями Конторы «Академкнига»